Россия в мемуарах

Институтки

Воспоминания
воспитанниц институтов
благородных девиц

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Институтки

Воспоминания воспитанниц
институтов благородных девиц

ББК 74.03(2)53
УДК 371(47)(09)
И 71

Scan By Vitalius & Kali

Составление, подготовка текста и комментарии
В.М. Боковой и Л.Г. Сахаровой;
вступительная статья
А.Ф. Белоусова

Серия выходит под редакцией
А.И. Рейтблата

Оформление серии
Н.Г. Песковой

Художник тома
А. Бондаренко

И 71 **Институтки: Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц** / Сост., подг. текста и коммент. В.М. Боковой и Л.Г. Сахаровой, вступ. статья А.Ф. Белоусова. Изд. 4-е. — М.: Новое литературное обозрение, 2008. — 576 с., ил.

Воспитанницы институтов благородных девиц, с раннего детства изолированные от дома и семьи, отличались повышенной эмоциональностью и чувствительностью, оторванностью от быта, специфическими обычаями, речью и стилем общения. Включенные в книгу воспоминания пяти институток, охватывающие период с конца XVIII в. до начала XX в., выразительно рисуют этот своеобразный социальный тип дореволюционной России.

ББК 74.03(2)53
УДК 371(47) (09)

© В.М. Бокова, Л.Г. Сахарова.
Составление, комментарии, 2008
© А.Ф. Белоусов. Вступ. статья, 2008
© Новое литературное обозрение.
Художественное оформление, 2008

ISBN 978-5-86793-637-2

ИНСТИТУТКИ

5 мая 1764 г. Екатерина II подписала указ об учреждении Воспитательного общества благородных девиц. Воплощались в жизнь просветительские планы императрицы и ее окружения «преодолеть суеверие веков, дать народу своему новое воспитание и, так сказать, новое порождение»[1]. Это учреждение должно было создать «новую породу» светских женщин, которые в том же духе воспитают своих детей, продолжающих их дело, что в конечном счете цивилизует все общество: смягчит нравы, одухотворит его интересы и потребности.

Образование, которое давалось питомицам Воспитательного общества, соответствовало «тому духу, тому психическому строю и практическим навыкам, какие сложились в золотую пору нашего дворянского быта — быта очень твердого, очень высокого, о котором мы можем судить по множеству художественных отражений литературы, который мы все невольно любим уже в этих отражениях»[2]. Основное место в учебной программе уделялось тому, что считали необходимым для светской жизни: изучению языков (прежде всего — французского) и овладению «дворянскими науками» — танцами, музыкой, пением и т.д. Этих умений было более чем достаточно, чтобы иметь репутацию не просто образованных, но «ученых» девушек.

Однако первостепенное значение придавалось другому, о чем свидетельствует название первого в России учебного заведения подобного типа — «Воспитательное общество благородных девиц». Основной целью было образование сердца и характера. Выработка «хороших манер» и светского «благородства» должна была помочь питомицам Воспитательного общества занять видное положение в обществе, чтобы воспитанная в них «привычка» к добродетели подняла его нравственный уровень. Сколь бы ни противоречило действительное положение дел в Воспитательном обществе замыслам его основателей, следует все же согласиться с историком женского образования в России, считавшей, что воспитание здесь «было во всяком случае выше того, какое до тех пор давалось девушкам в частных домах и пансионах, и <...> воспитанницы <...>, несмотря на аристократический дух заведения, выходили из него более человечными, более развитыми и менее зараженными предрассудками, нежели другие девушки»[3].

В соответствии с просветительскими теориями создания «новой породы» людей Воспитательное общество благородных девиц было училищем закрытого

[1] Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. XVI. № 12103.

[2] *Розанов В.В.* Сумерки просвещения. М., 1990. С. 58.

[3] *Лихачева Е.И.* Материалы для истории женского образования в России (1086—1796). СПб., 1890. С. 244.

типа. Начиная с пяти-шести лет (возраст, который служил гарантией того, что девочки еще не испорчены окружавшей их невежественной средой), они воспитывались в строгой изоляции от дома, которая прерывалась лишь в дни свиданий с родственниками, проходившими под бдительным надзором персонала училища. Эти «казенные затворницы», как назвал их Александр Бенуа[4], чаще видели императрицу и придворное общество, чем своих близких. Особенное впечатление производили встречи с выдающимися деятелями русской культуры (ср.: «она на всю жизнь сохранила воспоминания об институте, о Петербурге, и это были самые светлые ее воспоминания. <...> Я помню ее рассказы о Жуковском, который приезжал к ним на выпускной экзамен, — о том, какое необыкновенно кроткое было у него лицо и какие удивительно добрые были у него глаза. О том, какой высокий, толстый, седой и тоже добродушного вида был человек Крылов, также приезжавший к ним на этот экзамен. Она видела где-то на вечере или на балу Пушкина. Видела Брюллова и, как все люди того времени, была в восхищении от его "Последнего дня Помпеи"... Она была чуть ли не единственная женщина в целом уезде, которая читала немногочисленные тогдашние журналы и книги... <...> Все эти воспоминания и люди в ее рассказах были какие-то восторженные, сантиментальные, но они, во всяком случае, не давали ей всецело погрузиться в мир наливок, варенья, соленья, в мир талек и оброков»[5]). От остального мира, погрязшего в «суеверии» и «злонравии», защищали стены Воскресенского девичьего монастыря, в которых размещалось Воспитательное общество благородных девиц.

Монастырь начал строиться еще при Елизавете Петровне на месте принадлежавшего ей Смольного дворца и был открыт одновременно с Воспитательным обществом. Этой чисто символической ролью и ограничивалось значение монастыря для Воспитательного общества. В 1809 г. он был преобразован во Вдовий дом и окончательно упразднен в 1868 г. Женские училища, открывавшиеся с конца XVIII в. и постепенно образовавшие систему учебных заведений (они подчинялись канцелярии императрицы Марии Федоровны, а после ее смерти — IV отделению Собственной его императорского велчества канцелярии), уже не имели никакой связи с монастырями, сохраняя при этом строжайшие традиции интерната образца Смольного монастыря, как в неофициальном обиходе обычно называли Воспитательное общество благородных девиц. Изменения, произошедшие в женских училищах при императрице Марии Феодоровне, когда стали принимать девочек более старшего возраста (девяти-десяти лет), а срок обучения был сокращен до шести лет (в Воспитательном обществе — до девяти), не коснулись основного принципа их внутреннего устройства. Изоляция от внешнего мира воспитанниц государственных женских

[4] *Бенуа А.* Мои воспоминания: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 336.

[5] *Атава Сергей* [С.И. Терпигорев]. Узорочная пестрядь. СПб., 1883. С. 238.

училищ, которые обычно получали наименование «институтов», была значительно большей, чем это практиковалось в частных учебно-воспитательных заведениях закрытого типа (пансионах). Институтское затворничество смягчается лишь с 1860-х гг., когда стало дозволяться увольнение воспитанниц домой (сначала только на каникулы, а затем и в праздники), а в институтских классах начали появляться приходящие девицы. Однако до самого своего конца институты в основном сохраняли закрытый характер, резко отличаясь от открытых учебных заведений (какими были, например, женские гимназии).

Особые условия воспитания в женских институтах хотя и не создали «новую породу» светских женщин, но сформировали оригинальный женский тип. Об этом свидетельствует само слово «институтка». Его семантика не исчерпывалась обозначением воспитанницы женского института: слово «институтка» имело и более общий смысл (отсутствовавший у «гимназистки» или «курсистки»), означая любого человека «с чертами поведения и характером воспитанницы подобного заведения (восторженном, наивном, неопытном и т.п.)»[6] («Что ты такое, Анциферов, не поймешь, институтка какая-то, — говорил, например, один из одноклассников будущему историку и культурологу Н.П. Анциферову. — Пишешь об игре в какие-то куклы (т.е. рыцарей), ведешь дневник, записываешь про маменьку, ну, совсем институтка»[7]). Этот образ вошел в пословицу, породил множество анекдотов и отразился в художественной литературе. Обстоятельства, в которых выработался культурно-психологический тип «институтки», его основные особенности и отношение к нему общества заслуживают внимания и объяснения[8].

Изображая поступление в институт, мемуары и беллетристика XIX — начала XX в. живо передают потрясение, которое испытывали девочки, оказываясь в непривычной для себя обстановке. Из семьи они попадали в мир строго официальных отношений с институтским начальством и воспитательницами (классными дамами), утрачивая при этом имена, которые отныне заменялись их фамилиями: «тяжело было им из Ани, Сони и Маши стать сразу Ивановой, Петровой, Семеновой» и даже «номером двадцатым, тридцатым, сороковым»[9] — так метилось белье воспитанниц, и так же они иногда обозначали друг друга. Еще более болезненным было переодевание в одинаковое для всего «возраста» (класса) платье, что окончательно превращало девочек в лишенную всякой индивидуальности, однообразную массу воспитанниц казенного учебного заведения. Особенно трудно приходилось тем, кто поступал в институт

[6] Словарь русского языка: В 4 т. М., 1981. Т. 1. С. 670.

[7] *Анциферов Н.П.* Из дум о былом: Воспоминания. М., 1992. С. 86.

[8] О литературной истории институток см.: *Белоусов А.Ф.* Институтки в русской литературе // Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 77—99.

[9] *А.Л.* [Луканина А.Н.] Из детства и школьных лет // Северный вестник. 1886. № 4. С. 93.

позже своих сверстниц. Хотя прием новичка в женских институтах и не был столь суровым, как это делалось в мужских учебных заведениях, знакомство с обычаями зачастую неизвестного прежде коллективного быта производило весьма тяжелое впечатление: «...они все, все такие странные, — думает о воспитанницах перед сном "новенькая", которая только что в умывальной была поражена тем, что они стояли совсем раздетыми и еще говорили при этом и смеялись, — и все так неприятно, неуютно»[10]. Это слишком отличалось от той жизни, которой жила воспитанница до своего поступления в институт.

«Перешагнув двери института, — вспоминала М.М. Воропанова, — мы должны были забыть нашу семью, родину, обстановку нашей прежней жизни, наши бывшие радости»[11]. Даже в тех институтах, где «семейные разговоры» и не вызывали гонений со стороны классных дам, они порой пресекались самими воспитанницами, среди которых «дразнить <...> чем-нибудь домашним, не подходящим под институтские обычаи и понятия, было дурной привычкой»[12]. Однако чаще всего эти разговоры исчерпывались сами собой: по мере того как забывалась прежняя жизнь, начинались «воспоминания не о доме, а о своих институтских же прошлогодних проказах и шалостях»[13]. Встречались, конечно, воспитанницы, которые никогда не забывали своего дома (вроде героини повести Н.Г. Помяловского «Молотов»), но в сознании большинства институток домашние воспоминания с течением времени вытеснялись реалиями окружающего мира. Эту подмену хорошо описал Антоний Погорельский, представляя читателям свою «монастырку»: «Смольный монастырь <...> сделался для нее как бы новою родиною, в которой сосредотачивались все ее мысли, желания и заботы. Вне монастырских стен одна только тетушка иногда занимала ее воображение, да и та представлялась ей совсем в ином виде, нежели какова была в самом деле. Все местные впечатления <...> давно уже исчезли из ее памяти и уступили место другим картинам, заимствовавшим краски свои от новых понятий, развившихся в ее уме. Тетушка, например, представлялась ей в образе одной инспектрисы, более других ею любимой, а двоюродных сестер она уподобляла тем из своих подружек, которые наиболее ей нравились»[14].

Институт постепенно становился для воспитанниц «второй семьей». Этому должна была способствовать и соответствующая символика институтской жизни. Одним из ее важнейших элементов являлось обращение к начальнице — «maman», обязательное для институток до 1880-х гг. Возможно, что первое

[10] *Львова М.А.* Былые годы. М., 1900. С. 27—28.

[11] *Воропанова М.М.* Институтские воспоминания // Рус. школа. 1902. № 10/11. С. 50—51.

[12] Записки институтки: Предание о Патриотическом институте с 1818 по 1834 г., из рукописей покойного В.И. Даля, доставленных по его распоряжению в редакцию // Семейные вечера (для старшего возраста). 1873. № 1. С. 49.

[13] *Дол|гомость|ева М.* Институтки // Эпоха. 1864. № 10. С. 25.

[14] *Погорельский А.* Избранное. М., 1985. С. 188.

время обиход Воспитательного общества и отличался семейственностью, как о том свидетельствуют воспоминания Г.И. Ржевской[15]. Однако впоследствии от нее осталась одна форма. Обычно эту должность занимали женщины, чье отношение к детям, находившимся под их попечением, отнюдь не отличалось материнскими чувствами. Maman была всего лишь «казенной матерью»[16] для этой «семьи», где «дочками» считались только фаворитки своих воспитательниц[17]: «Какая она мне maman! После этого нас экономка заставят называть папа!»[18] Институтская жизнь в XIX в. вообще мало соответствовала идеям устроителей Воспитательного общества.

Основополагающий принцип развития и поощрения самодеятельности воспитанниц сменился принуждением и муштровкой. Это плохо отразилось на образованности институток: отсутствие внутренней потребности в знаниях превратило учение в «долбню», бессмысленную и малопродуктивную зубрежку (или, как пишут мемуаристки, «зубряжку») уроков. Хорошо учиться, по справедливому замечанию одной из воспитанниц, значило здесь «уметь хорошо болтать по-французски и делать книксены»[19]. Вырабатывалась особая, «институтская складка»: «У нас был тихий и осторожный голос, воздушная и вместе торопливая походка, движения и спокойные, и робкие. Яркая краска беспрестанно разливалась на наших щеках, а приседая, мы наклоняли голову с неподражаемою скромностью»[20].

«Воспитание наше, — писала Е.А. Половцева, — было основано больше на манерах, уменье держать себя comme il faut, отвечать вежливо, приседать после выслушания нотации от классной дамы или при вызове учителя держать корпус всегда прямо, говорить только на иностранных языках»[21]. Ведущую роль в воспитании всех этих навыков у институток играли классные дамы, которые должны были постоянно находиться рядом с ними и следить за их поведением. Они не имели никакой педагогической подготовки, а часто и никаких педагогических способностей, что делало их, по выражению С.Д. Хвощинской, «институтскими дамами, а не воспитательницами»[22]. Единственное требование,

[15] См.: *Ржевская Г.И.* Памятные записки // Рус. архив. 1871. № 1. Стб. 12.

[16] См.: *Титова Н.* [Водовозова Е.Н.] К.Д. Ушинский и В.И. Водовозов: Из воспоминаний институтки // Рус. старина. 1887. № 2. С. 471—472; *Стерлигова А.В.* Воспоминания о С.-Петербургском Екатерининском институте. 1850—1856. М., 1898. С. 26.

[17] См.: *Сысоева Е.А.* История маленькой девочки. СПб., 1904. С. 396.

[18] *Разумовский С.* [Махалов С.Д.] Светлое заточение: Картины институтской жизни // Сборник товарищества «Знание» за 1910 год. Кн. 29. СПб., 1910. С. 92.

[19] *Шабельская А.С.* [Монтвид А.С.] Друзья // Рус. богатство. 1894. № 5. С. 29.

[20] *N* [Хвощинская С.Д.] Воспоминания институтской жизни // Рус. вестник. 1861. № 10. С. 526—527.

[21] *Половцева Е.А.* Екатерининский институт полвека назад: (Из воспоминаний бабушки). М., 1900. С. 17.

[22] *N* [Хвощинская С.Д.] Указ. соч. // Рус. вестник. 1861. № 9. С. 286.

которое предъявлялось к женщинам, претендовавшим на должность классной дамы, — не состоять в браке. Поэтому среди классных дам было много «старых дев», завидовавших молодежи и с особенным рвением исполнявших свои «полицейские обязанности»[23]. Вся воспитательская деятельность классных дам, в сущности, и сводилась к поддержанию установленного в институте порядка: «Они наблюдали за тем, чтобы воспитанницы были одеты, кланялись, здоровались, отвечали на те или другие вопросы точь-в-точь так, как это было в институтских обычаях»[24].

Институт был царством порядка. Порядок начинался с наблюдения за опрятностью и аккуратностью воспитанниц, поддерживался строгим контролем за исполнением ими обычаев и правил институтской жизни и основывался на твердом распорядке дня. Все совершалось по звонку в одно и то же, строго определенное время. Лишь чрезвычайные обстоятельства (вроде приезда высочайших особ) могли нарушить однообразный строй институтских будней. Мало чем в этом отношении отличались от них и институтские «праздники»: воскресенья, когда устраивались свидания с родственниками, праздничные и летние «вакации» (каникулы), которые имели свой раз и навсегда определенный порядок проведения. Отступления от него были столь редкими, что воспитанницы запоминали их на всю жизнь (как, например, летняя прогулка в Таврический сад, которая для Е.М. Новоселовой стала одним из двух «событий» ее институтской жизни[25]). Монастырски правильный, размеренный быт оберегал институток от излишних волнений, но и придавал жизни в институте то «скучное однообразие», о котором прежде всего и вспоминали впоследствии многие его питомицы.

Эта «правильно установленная и до точности рассчитанная машина»[26] требовала от воспитанниц дисциплины и беспрекословного повиновения. Выше всего здесь ценилось полное подчинение правилам и обычаям институтской жизни, на что указывает само определение воспитанниц, отличавшихся послушанием и отменным поведением — «парфетки»/«парфетницы» (от фр. «parfaite» — совершенная). Всякое же нарушение порядка было отступлением от институтского «благонравия» и считалось «дурным поведением». Отсюда и институтский «термин» для шалуний и строптивиц — «мовешки» (от фр. mauvaise — дурная)[27]. С теми, кто совершил какой-либо проступок, особенно не церемонились: окрик, брань, наказание — таков был привычный арсенал средств и методов институтской педагогики. До рукоприкладства, а тем более

[23] См.: *Виницкая А.* (Будзианик). Повести и рассказы. СПб., 1886. С. 3.

[24] *Водовозова Е.Н.* На заре жизни: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 360.

[25] См.: *Новоселова Е.М.* Воспоминания 50-х годов // Рус. старина. 1911. № 10. С. 99.

[26] *А.*[Казина А.Н.] Женская жизнь // Отечественные записки. 1875. № 4. С. 366.

[27] С точки зрения самих воспитанниц «мовешками» были доносчицы и болтуньи (см.: *Водовозова Е.Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 32).

до сечения воспитанниц, допущенного в женских институтах при Марии Феодоровне[28], дело все же доходило довольно редко. Однако и обычных наказаний, когда нарушительницу позорили перед всем институтом (снимая передник или заменяя его на особый, тиковый; одевая «постыдный капот»; переводя за черный стол в столовой, за которым обедали стоя, а не сидя; или вообще оставляя стоять посреди столовой во время обеда и т.д., и т.п.), вполне хватало для того, чтобы потрясти детскую психику, пристыдить и унизить провинившуюся воспитанницу. Жестокость в обращении с воспитанницами делала некоторые институты похожими на «исправительный приют для малолетних преступников»[29]. Если эти институтки и являлись исключением, то исключением, лишь подтверждавшим общее правило: апология «порядка» как основы, «души всего доброго, всего прекрасного»[30] приводила к тому, что «чинность, безгласие, наружная добропорядочность и повиновение во что бы то ни стало царили в институтах»[31].

Институтский «порядок» должен был обеспечить не только нравственное, но и физическое здоровье воспитанниц. Между тем далеко не все в нем являлось полезным и для их физического здоровья. Весьма неудобной и плохо приспособленной к условиям жизни была, например, одежда институток. Она не защищала от зимнего холода в спальне и в классах, о чем с ужасом вспоминали некоторые мемуаристки много лет спустя после окончания института: «Первое ее впечатление от Смольного — холод. Температура не выше плюс 16 градусов. Холодно везде: в спальнях, в классах, в столовой»[32]. Образ жизни институток вообще трудно назвать здоровым. В течение учебного года воспитанниц почти не выпускали из институтских помещений. Однако и летом, когда они целыми днями находились в институтском саду, им нередко запрещали бегать и играть в подвижные игры, что хоть в какой-то мере компенсировало бы отсутствие физических упражнений. Ведь единственным видом физических упражнений в женских институтах долгое время были танцы, которые императрица Мария Феодоровна считала «презервативом от всех господствующих бо-

[28] См.: *Лихачева Е.И.* Материалы для истории женского образования в России (1796—1828). СПб., 1893. С. 226. Сечение розгами воспитанницы описано в романе Елизаветы Кондрашовой «Дети Солнцевых» (см.: *В.* [Кондрашова Е.Н.] Дети Солнцевых // Рус. вестник. 1887. № 2. С. 617).

[29] См.: *Шумигорский Е.С.* Павловский институт (1798—1898). СПб., 1898. С. 31.

[30] См.: *Корсини М.* Институтка // Корсини М. Мысли и повести, посвященные юношеству. СПб., 1846. С.131. Между тем сама М.А. Корсини не отдала свою дочь в институт, а воспитывала по собственной программе и методе (см.: Иллюстрация. 1859. № 58. С. 126).

[31] *В.Г.* [Гольцев В.А.] Институт и новая женская школа // Рус. мысль. 1903. № 3. С. 172.

[32] *Одинцова Н.* Терпение смолянки [: Интервью с А.В. Сусловой] // Веч. Петербург. 1996. № 34. 21 февр. С. 3.

лезней»[33] и ввела в повседневный обиход своих учреждений. Отсутствие физических упражнений так или иначе сказывалось на здоровье институток. Об этом свидетельствовал и их внешний облик: хрупкость и малокровие являются характерными особенностями образа институтки в русской литературе XIX — начала XX в.

Внешний облик воспитанниц обнаруживал и существенные недостатки институтского питания, которое не удовлетворяло потребностей «вечно голодных институток»[34]. В этих условиях важное значение имели дополнительные источники питания, вроде гостинцев от родственников или лакомств, которые покупались при помощи обслуживающего персонала в обход институтских правил. Однако далеко не все институтки могли таким образом увеличить свой рацион. Многим приходилось голодать, а часть воспитанниц становилась попрошайками-«кусочницами» (от институтского названия гостинцев или лакомств — «кусочки»), что, конечно же, не способствовало их нравственному здоровью (как, впрочем, и частые ссоры по поводу еды: например, из-за «закорявочки» — нижней корки хлеба). Институтский рацион был мал, но и его качество зачастую оставляло желать лучшего. Можно представить, какой скверной едой кормили в Патриотическом институте, если его благонамеренные воспитанницы решились на открытый «бунт» против эконома, усмирять который приезжал сам Николай Павлович[35]. Серьезными недостатками институтского рациона являлись однообразие и отсутствие в его составе некоторых важных элементов. Именно потребность в них, а вовсе не «болезненное расположение организма» или же «извращенный вкус» воспитанниц[36], заставляла институток есть всякую «дрянь». «Эта еда изобретение чисто институтское. <...> Печатная бумага, глина, мел (его тоже толкли и нюхали как табак), уголь и в особенности грифель — все у нас поглощалось. От грифелей, длиною в четверть, к концу месяца после выдачи, часто не оставалось ничего. Лакомки крали у неевших и отламывали углы своих грифельных досок»[37]. Очень часто этот обычай институтской жизни связывался с желанием воспитанниц «казаться интересными»[38], с их стремлением приобрести «необходимые качества молодой девушки» — «бледность и эфирность»[39], с «институтской модой» на «интересную бледность»[40] и т.п. Од-

[33] См.: *Лихачева Е.И.* Материалы для истории женского образования в России (1796—1828). С. 162.

[34] См.: *А.* [Казина А.Н.] Указ. соч. С. 374.

[35] См.: Записки институтки // Семейные вечера. 1873. № 2. С. 180.

[36] См.: *Помяловский Н.Г.* Сочинения. М., 1949. С. 110; *В.* [Кондрашова Е.Н.] Дети Солнцевых. С. 559—560.

[37] *N* [Хвощинская С.Д.] Указ. соч. С. 282.

[38] *Помяловский Н.Г.* Указ. соч. С. 110.

[39] См.: *Лазарева А.* Воспоминания воспитанницы Патриотического института дореформенного времени // Рус. старина. 1914. № 8. С. 237.

[40] *Чарская Л.А.* Вторая Нина: Повесть для юношества. СПб.; М., б.г. С. 289.

нако, по объяснению С.Д. Хвощинской, «ели просто для еды, потому что находили вкусным; очень немногие с целью приобрести интересную бледность. Кокетство пришло к нам позднее, едва ли не перед выпуском, а есть мы принялись с первого дня. Страшно вспомнить, какие были между нами зеленые лица. Страшно вспомнить, как умерла одна — ее задушил грифель...»[41] Институтский обычай основывался на физиологических потребностях воспитанниц, но поддерживался и оправдывался усвоенным ими идеалом романтической «неземной красавицы». Малокровные, хрупкие, с тонкой талией, они приводили в восхищение людей 1840-х гг., но раздражали шестидесятников, которые видели в этих «эфирных созданиях» лишь жалких «бледненьких, тоненьких, дохленьких барышень, с синими жилками на лбу, с прозрачной матовой кожей на лице»[42].

Обстановка и порядки казенного «дома» порождали и соответствующую реакцию со стороны воспитанниц. Чем формальнее и суровее был его режим и тяжелее принуждение, тем большую неприязнь у институток вызывали обстоятельства их жизни. Она проявлялась в насмешливо-пренебрежительном отношении к институтским порядкам (ср. слой «сниженной» лексики и фразеологии в институтском «языке»: maman — «маманя» или «мамуха»[43]; приседать в реверансе — «обмакиваться» или «нырять»[44]; причесанные в строгом соответствии с институтскими правилами — «прилизанные, как коровы»[45] и т.п.). Очень были распространены «и насмешки над педагогами и воспитательницами»: «имена и фамилии классных дам перевертывались на все лады. Эпитеты сыпались, и vilaine было самое милостивое»[46]. Есть свидетельства о том, что сочинялись целые стихотворные «сатиры» и «пасквили», посвященные институтскому воспитанию[47]. Дело доходило до открытых «выходок» против классных дам и даже «издевательств» над ними. Во всяком случае, «надуть, обмануть, ловко провести классную даму, устроить ей какую-нибудь каверзу» часто «считалось настоящим геройством»[48]. Оппозиция обстановке и порядкам казенного «дома»

[41] *N* [Хвощинская С.Д.] Указ. соч. С. 282. Среди младших институток в романе Кондрашовой циркулирует слух о том, что старшие по этой причине съели стену (см.: *В.* [Кондрашова Е.Н.] Указ. соч. // Рус. вестник. 1887. № 1. С. 184—185).

[42] *Помяловский Н.Г.* Указ. соч. С. 110.

[43] *Чарская Л.А.* За что?: Моя повесть о самой себе. СПб.; М., б.г. С. 349; *А.Л.* [Луканина А.Н.]. Указ. соч. С. 118.

[44] *Лухманова Н.А.* Девочки: Воспоминания из институтской жизни. СПб., 1899. С. 2; *Чарская Л.А.* Т-а И-та. Пг.; М., 1916. С. 89.

[45] *Ф.Л.* [Левицкая Ф.] Из воспоминаний о Московском Александровском институте // Ист. вестник. 1900. № 9. С. 897.

[46] См.: *N* [Хвощинская С.Д.]. Указ. соч. С. 289. Vilaine — гадкая, мерзкая (*фр.*).

[47] См., напр.: *N* [Хвощинская С.Д.]. Указ. соч.. С. 294; *Вербицкая А.* Моему читателю: Автобиографические очерки. М., 1911. Кн. 1.С. 241 и след.

[48] См.: *Водовозова Е.Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 361.

создавала институтское «товарищество». Отношениям с начальством противопоставлялись отношения между самими воспитанницами, нормой которых были искренность и правдивость.

Описывая институтский обычай собираться вместе и пересчитывать «красивых и безобразных подруг», которым «тут же в лицо кричат <...>: Ты первая по красоте в нашем классе! Ты первая по уродству! Ты вторая по идиотству», Е.Н. Водовозова подчеркивает отсутствие «деликатности, бережного отношения к чувствам ближнего»[49]. Этого действительно не было, но было другое: институтки просто проявляли детскую прямоту и непосредственность в выражении своих чувств, за что их особенно ценили русские романтики 1820—1830-х гг. Так, Бестужев-Марлинский выставил институтку[50] образцом «высокой простоты и детской откровенности» в свете, а Софья Закревская в своем романе «Институтки» (Отечественные записки. 1841. № 12) противопоставила «детское простосердечие» главной героини лжи и лицемерию ее недоброжелателей, светских людей. В отношениях между самими институтками манерность и чопорность институтского этикета сменялись откровенностью и непосредственностью дружеского общения. Институтское воспитание учило «держать себя comme il faut» и вырабатывало известную «институтскую складку» поведения, тогда как эмоциональные контакты с другими воспитанницами культивировали иной образ действий и характер поступков. «Выправке» противостояло свободное проявление чувств. Это приводило к тому, что в определенных ситуациях окончившие институт «запуганные и грациозные создания» могли повести себя совершенно по-детски. Вспоминая о том, что произошло с ней, когда разговор с неизвестным молодым человеком перешел на «институтскую тему» и затронул любимые ее предметы («начала хлопать в ладоши, скакать, хохотать...»), мать Е.Н. Водовозовой называет это «глупым институтством»[51]. «Институтство» означало детскую непосредственность (как, впрочем, и детскую наивность) институток, господствовавшую в их общении между собой. Здесь они давали полную волю эмоциям, которые вынуждены были строго контролировать и аккуратно дозировать, подчиняясь институтской дисциплине и сохраняя наружную благопристойность в присутствии своих воспитательниц, когда даже «улыбаться нельзя»: «Один раз был случай, когда инспектриса встретилась с нашим классом и сделала замечание классной даме по поводу кого-то из девочек. А я улыбнулась так саркастически. Инспектриса это заметила, мне сбавили три балла за поведение в четверти»[52].

[49] Там же. С. 410.

[50] Ольга Стрелинская из его повести «Испытание» (см.: *Бестужев (Марлинский) А.А.* Ночь на корабле: Повести и рассказы. М., 1988. С. 51).

[51] *Водовозова Е.Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 34.

[52] *Одинцова Н.* Указ. соч. С. 3.

Отметим и экспрессивность, эмоциональную насыщенность институтской речи. Она сразу же стала одной из отличительных особенностей образа институтки в русской литературе. Впервые изображенная на русской сцене «монастырка», героиня комедии Алексея Копиева «Обращенный мизантроп, или Лебедянская ярмонка» (1794), не только пишет, но и говорит «ни по-русски, ни по-французски»[53]: чуть ли не одними восклицаниями, то и дело «айкая», употребляя бессмысленные, хотя и весьма эмоциональные, гиперболы (например, «префатальной») и т.п. Междометие «ай» некогда было столь характерной приметой речи смолянок-«монастырок», что Василию Капнисту пришлось заменять его на «ах», когда цензура потребовала убрать из «Ябеды» все, что относилось к «монастырскому» прошлому героини комедии[54]. Впоследствии, правда, и «ах» стало отмечаться как «институтское» слово. Оно, конечно, не является изобретением самих институток (как, впрочем, и междометие «ай») — институтское словотворчество ограничивалось, судя по всему, лишь наименованием специфических явлений окружающей жизни («парфетки», «мовешки», «кофульки» / «кофушки» — воспитанницы младшего «возраста» (класса), и «синявки» — классные дамы, названные так по цвету своих платьев и др.). Однако междометия употреблялись институтками гораздо чаще, чем это дозволялось светскими приличиями, что и предопределило их роль в институтском «словаре», который использовался в художественной литературе. Это же относится и к передаче институтской речи с помощью таких средств, как восклицательные предложения, словесные высказывания с определительными местоимениями «какой» (ср.: «какая она жантильная!») и «такой», которые выражают или усиливают эмоциональную оценку тех или иных человеческих качеств, словообразования, обозначающие высшую степень этих качеств («префатальной», «предобрый» и др.), и, наконец, слова, обладающие яркой эмоциональной окраской (вроде «институтского словечка» — «противный»).

Эмоция, лежавшая в основе институтской речи, отнюдь не исчерпывается одним лишь «восторгом». Восторженность, которая особенно проявлялась в редких ситуациях общения с внешним миром (когда многое поражало воображение институток своей необычностью — ср.: «от всего приходят в восторг: от кружева, от платья, от серег; даже просили показать ботинки»[55]) и часто действительно преобладавшая в настроении институток, вступавших в новую для себя взрослую жизнь (почему она прежде всего и бросалась в глаза окружающим, видевшим в ней специфическую особенность институтского характера), легко сменялась прямо противоположным ей состоянием раздражения и озлобленности. «Бранный» лексикон занимает видное место в институтском «языке». «Ан-

[53] См.: Русская комедия и комическая опера XVIII века. М.; Л., 1950. С. 497.
[54] Там же. С. 703.
[55] *Гончаров И.А.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1979. Т. 5. С. 27.

гел», «божество» и «прелесть» перемежаются «дрянью», «ведьмой» и «уродом»; «божественный» и «обворожительный» уживаются с «гадким» и «противным»; за «обожать» следует «презирать» и т.д. Эмоциональная подоплека институтской речи по-детски проста и определенна: или восторг, или отвращение.

Институтская речь вообще во многом идет от детского языка. Весьма показательным является обилие уменьшительных форм: «душечки», «медамочки», «милочки», «амишки» и т.п. Эти «нежно-институтские названия»[56] использовались не только в общении институток между собой, но и служили обозначением для членов своего узкого, дружеского круга или же всего «возрастного» (классного) сообщества. Отсюда — бытование таких оксюморонных на первый взгляд «бранных» формул, как «душечка поганая» или «бессовестная душечка»[57]. Вместе с тем подобные формулы оттеняют эмоциональный фон коллективного быта институток, где детская речь являлась нормой непринужденной и зачастую бесцеремонной фамильярности в общении между воспитанницами. С официальным языком женских институтов, которым чаще всего был французский язык, сосуществовал (и обогащался за его счет) своеобразный «девический» вариант русского молодежного жаргона — язык, употреблявшийся в неофициальном обиходе институток[58]. Он представляет собой один из основных элементов культурной традиции, которая бытовала и передавалась «из рода в род» среди воспитанниц женских институтов.

Важную роль в этой «девической» культуре играли обычаи, регламентировавшие общение и вместе с ним весь неофициальный обиход институток. Особое место во взаимоотношениях институток одного «возраста» (класса) занимали дружеские связи. Дружба начиналась своего рода «обетом»[59]. Дружеский кодекс институтских «амишек»: говорить друг другу «ты», звaться по имени, вместе готовить уроки, заступаться за подругу, «кучкой» (сообща) сидеть по праздникам, беседовать после отхода ко сну («приходить на кровать» к подруге) и, конечно же, иметь общие «секреты» (тайны), — возможно, создавал всего лишь «ребяческие подобия дружбы»[60]. «Ходить известным образом, говорить

---

[56] *Крестовский В.* [Хвощинская Н.Д.] Недописанная тетрадь // Отечественные записки. 1859. № 12. С. 479. Ср. «ласкательные слова, вроде cheri, mignonne, милка, дуся ты моя», в речи институток — героинь рассказа Александра Апраксина «Неземные создания», где их разговор именуется «лепетом» (*Апраксин А.Д.* «Неземные создания» и другие рассказы. СПб., 1890. С. 13).

[57] *Р.Ф.* Воспоминания институтки шестидесятых годов // Рус. старина. 1909. № 9. С. 490; № 10. С. 170.

[58] Этот «жаргон» сохранялся в речевом поведении институток, становившихся классными дамами, что в свою очередь влияло на «язык» их воспитанниц (см. в этой связи очерк Салтыкова-Щедрина «Полковницкая дочь» — *Щедрин Н.* (Салтыков М.Е.). Собр. соч.: В 12 т. М., 1951. Т. 11. С. 327—339).

[59] См.: *Лазарева А.* Указ. соч. С. 239.

[60] *Соханская Н.С.* Автобиографическое письмо к петербургской приятельнице // Рус. архив. 1885. № 4. С. 635.

особенные выражения» — этим еще не исчерпывался этикет институтской жизни: надо было «выбрать себе подругу и делиться с нею и мыслями и сластями, чтобы не казаться смешной»[61]. Однако и они, эти «подобия дружбы», нередко служили единственной опорой и поддержкой для воспитанниц. Взаимная привязанность и теплота человеческих отношений скрашивали жизнь в официальной обстановке казенного «дома». Обычно при выпуске подруги клялись в вечной и неизменной привязанности и дружбе и даже оставляли друг другу «взаимные расписки» в своих альбомах:

На последнем я листочке
Напишу четыре строчки
В знак дружества моего,
Ах, не вырвите его![62] —

но далеко не всегда институтская дружба имела продолжение. Особенно проблематичной она становилась при разнице положения институтских приятельниц, которая ясно открывалась им после выпуска из института.

Известное неравенство между воспитанницами существовало и в самом институте. Это определялось не разницей положения родителей или родственников (ср., впрочем, заискивание «кусочниц» перед «богачихами»), но различным положением воспитанниц в «возрасте» (классе), которое они занимали в соответствии со своими достоинствами или недостатками. Весьма существенную роль в этой связи играл обычай обсуждения внешних данных совоспитанниц и определения их иерархии по красоте, которой придавался поистине судьбоносный смысл: «У нас в каждом классе подруги сообща решали, кто первый, кто второй по красоте. Я числилась только девятой. Вот они и были уверены, что первая по красоте выйдет замуж раньше других, <...> следовательно, я должна была выйти замуж девятой»[63]. Институтский обычай сосуществовал с официальной иерархией воспитанниц: иногда на классной доске записывалась «пересадка по красоте» (с номерами)[64], что прямо соотносилось с периодически проводившейся в классах пересадкой, отражавшей учебные успехи институток. Иерархии могли строиться и на других основаниях (например, учитывать умственные способности воспитанниц). Однако иерархия по красоте обычно являлась основной и четко определяла не только место институтки среди воспитанниц, но и их отношение к ней. Институтское сообщество восхищалось своими красавицами и преклонялось перед ними. Дружба с красавицей часто принимала форму прислуживания ей со стороны других совоспитанниц, кото-

[61] *Львова М.А.* Указ. соч. С. 35.

[62] *Воскресенский М.Н.* Сердце женщины. М., 1842. Ч. 1. С. 111 (с указанием: «из институтских альбомов»). О «взаимных росписках» см. с. 113.

[63] *Водовозова Е.Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 34.

[64] См.: *Вербицкая А.* Указ. соч. С. 133.

рые обували, одевали, причесывали ее и т.д., сопровождая свои действия возгласами «красавица», «богиня» и т.п.

Это напоминает знаменитое институтское «обожание», заключавшее в себе и восхваление своего «предмета», и оказание обожаемой определенных услуг (например, «чинить перья; шить тетрадки, что было признаком обожания»[65]), среди которых, правда, нигде не упоминается прислуживание при утреннем туалете обожаемого «ангела». Во имя своего «предмета» институтка должна была «делать все» (поэтому исполнялась любая просьба «au nom»)[66]. «Адоратрисы» (обожательницы) испытывали всяческие мучения (вырезая ножиком, например, или выкалывая булавкой на руке «вензель»/инициалы «божества»[67]) и совершали любые «подвиги» (вроде того, чтобы съесть кусок мыла или выпить бутылку уксусу[68], пойти ночью на церковную паперть или пробраться в церковь и там молиться за свое «божество»), лишь бы доказать силу своего чувства и обратить на себя благосклонное внимание обожаемой воспитанницы, которая «счастливила» обожательницу, позволяя ей целовать себя «в плечико» и давая переписывать набело свои тетрадки[69].

Однако «обожание» имело место только в отношениях между лицами, занимавшими разное положение в институтской жизни. Младшие воспитанницы должны были «обожать» старших, институтского священника, а кроме того, могли «обожать» классных дам, учителей и даже служителей; тогда как «предметами» старших воспитанниц становились не только те же учителя или классные дамы, но и приходившие к ним родственники, появлявшиеся на институтских балах молодые люди и т.д. Общим и главным «предметом» институтского «обожания» были особы царствующего дома, и прежде всего сам государь. «Обожание» царя выглядело настоящим обожанием со всеми характерными для него особенностями: когда Александр II приезжал в московский Николаевский институт, его «обступят, целуют руки, спину, во все места! А он доволен. Нет, с Л[ьвом] Н[иколаеви]чем [Толстым] ничего подобного. Сияющие, приветливые»[70]. Институтки собирали и тщательно хранили «кусочки жаркого, огурца, хлеба» со стола, за которым обедал государь; выкрадывали платок, который

---

[65] Записки институтки // Семейные вечера. 1873. № 2. С. 175.

[66] См.: *Викторова Н.* [Моллер Н.С.] Как аукнется, так и откликнется: Повесть // Сын Отечества. 1858. № 42. С. 1227.

[67] См.: *Водовозова Е.Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 355; *А[мфитеатров] А.* Алимовская кровь // Рус. ведомости. 1884. 25 окт.; *Чарская Л.А.* Записки институтки: Повесть для юношества. СПб.; М., б.г. С. 47; *Разумовский С.* [Махалов С.Д.] Указ. соч. С. 54.

[68] См.: *Чарская Л.А.* Записки институтки. С. 47; *А.* [Казина А.Н.] Женская жизнь. С. 398; *А[мфитеатров] А.* Указ. соч. С. 1.

[69] См.: *N* [Хвощинская С.Д.] Указ. соч. С. 540, 518.

[70] *Горбунова-Посадова Е.Е.* Друг Толстого Мария Александровна Шмидт. М., 1929. С. 15.

разрезался на маленькие кусочки и распределялся между воспитанницами, носившими эти «талисманы» у себя на груди[71]. Зная об этом, царь сам отдавал свой платок институткам. «Со мной делайте, что хотите, — говорил Александр II воспитанницам московского Александровского института, — но Милорда моего [собаку. — *А.Б.*] не трогайте, <...>, не вздумайте стричь у него шерсть на память, как это было, говорят, в некоторых заведениях»[72]. Однако «институтки совсем отрезали шерсть не только у собаки, но даже ухитрились вырезать в нескольких местах дорогой мех от шубы Государя»[73]. В меньших масштабах такой же фетишизм проявлялся и в отношении институток к обожаемым ими учителям (в первую очередь — к священнику-законоучителю). А между тем это было совершенно не свойственно «обожанию» младшими воспитанницами старших. Его действительно «правильнее было бы назвать почитанием, уважением, но институтки не знают для определения своих чувств другого слова, как обожание»[74]. «Избыток ребяческой нежности», о котором пишет в этой связи С.Д. Хвощинская[75], распределялся между дружбой, которая сплачивала институток одного «возраста» (класса), и «обожанием», объединявшим воспитанниц со «старшими» и «высшими» существами в их жизни: «разве ты не понимаешь, что я тебя люблю так, а Машеньку иначе — и тебя крепко, и ее крепко... Только мы с тобой дружим, а ее будем обожать...»[76] Оттого в самой обрядности «обожания» отношения между воспитанницами разных «возрастов» содержат элементы институтского этикета, регламентировавшие общение институток с воспитательницами (например, «поцелуй в плечико»), а отношения с «высшими» существами отличаются чертами примитивного фетишизма.

«Обожание» было настолько пронизано самой разнообразной обрядностью, что и его конец иногда имел вполне определенную форму: «...если же кому-нибудь наскучало долго обожать одно и то же лицо, то та выходила на средину и просила девиц позволить ей разобожать»[77]. Вся эта обрядность могла показаться смешной и нелепой даже самим институткам. Одна из таких благоразумных воспитанниц, серьезная и деятельная героиня романа Елизаветы Кондрашовой «Дети Солнцевых» говорит об институтском «обожании»: «я этой науке не научилась»[78]. Между тем основная масса институток овладевала навыками

[71] См.: *Гарулли В.* Институтские воспоминания и стихотворения. Нежин, 1901. С. 11—12; *Вербицкая А.* Указ. соч. С. 236.

[72] *Ф.Л.* [Левицкая Ф.] Указ. соч. С. 898.

[73] *Гарулли В.* Указ. соч. С. 13.

[74] *Лазарева А.* Указ. соч. С. 240.

[75] См.: *N* [Хвощинская С. Д.] Указ. соч. С. 518.

[76] *А.Л.* [Луканина А.Н.] Указ. соч. // Северный вестник. 1886. № 3. С. 110.

[77] Записки институтки // Семейные вечера. 1873. № 2. С. 175.

[78] *В.* [Кондрашова Е.Н.] Указ. соч. // Рус. вестник. 1887. № 6. С. 676.

этой «науки», занимавшей особое место в культурной традиции институтского сообщества. «Обожание», конечно, могло впоследствии перейти в «положительность и хлопоты об окружающем»[79], но и в этом случае заученная манера выражения своего преклонения перед лицами, воплощавшими собой институтские идеалы и совершенства, чаще всего оставалась характерной особенностью воспитанниц женских институтов.

Обрядность институтского быта упорядочивала хаос детских эмоций и чувств, переполнявших воспитанниц. Она придавала им определенные формы внешнего выражения. Одной из только что выпущенных в свет институток, например, хочется попросить у человека, к которому она испытывает симпатию, «что-нибудь на память»: «и это "что-нибудь" — перчатку, платок или хоть пуговицу — носить на груди, тайно осыпая поцелуями; затем подарить что-нибудь соответственное ему, а главное, плакать и молиться, плакать на виду у всех, возбуждая к себе этими слезами интерес и сочувствие», — ведь «так делали все в институте» и, по ее мнению, «выходило очень хорошо»[80]. Представления институток о том, что чувства обязательно должны иметь внешние формы проявления и даже носить публичный характер, резко выделяли их на фоне окружавшего общества. Институтская «чувствительность» казалась чрезмерной, аффектированной, а сами институтки — «сентиментальными». «Показать всем свою печаль, — думает героиня романа Лухмановой, — еще смеяться станут, скажут: сантиментальная институтка»[81]. Именно поэтому Достоевский назвал императрицу Марию Александровну «настоящей институткой» («она прослезилась во время разговора» с писателем)[82]. «Сентиментальная институтка» — не только очень устойчивый стереотип восприятия и оценки воспитанниц институтов благородных девиц, вступавших во взрослую жизнь с душой и культурными навыками девочки-подростка, но и выразительный образ чувствительности: изумляясь тому, сколь «младенчески сентиментален» поэт Ратгауз, Валерий Брюсов предположил, что «г. Д.М. Ратгауз не мужчина с пышной бородкой, каким он изображен на портрете, предупредительно приложенном к "Полному собранию стихотворений", а 16-летняя институтка»[83].

А между тем во многих отношениях институтки мало чем отличались от своих сверстниц. Отгороженные от внешнего мира, они так и не смогли, например, преодолеть «суеверие веков», на что рассчитывали просветители XVIII в. Институтские суеверия отражают основные особенности бытовых предрассудков

[79] См.: *N* [Хвощинская С.Д.] Указ. соч. С. 519.

[80] *Лукманова Н.* Институтка. М., 1904. С. 89.

[81] Там же. С. 90.

[82] *Иванова М.А.* Воспоминания // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 48.

[83] *Брюсов В.* Далекие и близкие. М., 1912. С. 185—186.

дворянского общества. Они включали в себя и характерные для послепетровской России формы «цивилизованного» язычества (ср. обожествление супруги Александра I, императрицы Елизаветы Алексеевны, воспитанницами Патриотического института, причисливщими ее после смерти к «лику святых» и сделавшими из нее своего «ангела-хранителя»: «к ней обращались за заступничеством в маленьких институтских бедах»[84]). Элементы традиционных верований тесно переплетаются здесь с заимствованиями из западноевропейской религиозно-бытовой культуры. Институтки «все до одной боялись покойников и привидений»[85], что способствовало широкому распространению легенд о «черных женщинах», «белых дамах» и тому подобной чертовщине, населявшей помещения и территорию институтов. Весьма подходящим местом для бытования таких рассказов являлись старинные здания Смольного монастыря, с которыми была связана ходячая легенда о замурованной там монахине, пугавшей по ночам боязливых смолянок[86]. Институтки изобретали магические действия, которые имели сугубо прикладной характер: например, помочь им в учебе (когда для того, чтобы не «срезаться» на экзамене, требовалось положить за лиф образ Николая Чудотворца, соль и кусок хлеба, а кроме того, пока не вызовут — крепко держаться за руку с соседкой[87]).

Институтская жизнь, конечно же, состояла не из одних только страхов. Важное место в ней занимали шутки, насмешки и другие формы смеховой культуры. Она проявляется в шуточных вопросах, которыми испытывали «новеньких» («ели Вы физику с молоком?» и т.п.[88]), развивается в прозвищах классных дам и в анекдотах об их глупости, доходит до комического абсурда в бытовавших среди институток стихотворных «небылицах»:

Черт намылил себе нос,
Напомадил руки
И из ледника принес
Ситцевые брюки[89].

[84] Записки институтки // Семейные вечера. 1873. № 1. С. 39.

[85] Там же. № 2. С. 184.

[86] См.: *Соколова А.* Из воспоминаний смолянки // Вестник всемирной истории. 1901. № 5. С. 137.

[87] См.: *Калугина Е.* Из институтской жизни // Еженедельное Новое время. СПб., 1880. Т. 6. С. 598.

[88] *Лазарева А.* Указ. соч. С. 232. Ср.: «подавали у вас дома геологию под соусом?» (*Сысоева Е.А.* Указ. соч. С. 390); «катались вы на экваторе?» (*Сизова А.К.* Поступление и выпуск. (Из институтских воспоминаний) // Сборник «Родника» в пользу сирот воинов, павших в Русско-японской войне. СПб., 1904—1905. С. 187) и т.п.

[89] *Лухманова Н.* Девочки. С. 105. О стихотворных «небылицах», к которым принадлежит и отрывок, процитированный Н.А. Лухмановой, см.: *Белоусов А.Ф.* «Когда стремился гимназист преобразовывать Россию...» // Знание — сила. 1993. № 2. С. 77—81.

Однако нельзя сказать, что комический элемент преобладал в умонастроениях воспитанниц институтов благородных девиц. Женское общество больше волнуют серьезные проблемы: «что и как сказал учитель, хорошо ли мы пели в Церкви, приезжала какая-то дама, зачем и к кому неизвестно, какое платье и какого цвета желательно иметь после выпуска» и т.п.[90] А когда по вечерам «напуганное воображение» рисовало институткам «ночных призраков» и они «закрывались одеялами, прятали головы, не смели дышать, и в таком мучительном состоянии не спали ночи»[91] — со страхами приходилось бороться испытанным детским способом. «Разговор о чудесном и о привидениях был одним из самых любимых, — вспоминала воспитанница Патриотического института. — Мастерицы рассказывать говорили с необыкновенным увлечением, меняли голос, вытаращивали глаза, в самых поразительных местах хватали за руку слушательниц, которые с визгом разбегались в разные стороны, но, поуспокоясь немного, трусихи возвращались на покинутые места и с жадностью дослушивали страшный рассказ»[92]. «Страшные рассказы» институток не похожи на детские «страшилки» нашего времени: это — типичные былички. Однако жанр этих «страшных рассказов» — единственное, что отличает современных детей от институток, болтавших перед сном о «разных ужасах, привидениях, мертвецах и небывалых страшилах» вовсе не потому, что, по мнению Е.Н. Водовозовой, они были «умственно неразвитыми, изолированными от света и людей, лишенными какого бы то ни было подходящего чтения»[93]. Очевидно, что коллективное переживание страха помогает бороться со страхом и преодолевать его.

Вечернее рассказывание расширяло свой тематический диапазон по мере того, как взрослели его участницы. Институтская «страсть ко всему таинственному, романическому и необыкновенному»[94] перестает удовлетворяться одними лишь «страшными рассказами». Она требовала большего разнообразия сюжетов и заставляла «записных рассказчиц» искать все новые и новые источники. Если младшие воспитанницы довольствовались пересказом «суеверных сказок», услышанных от сиделок и прислуги, то старшие рассказывали «волшебные сказки» собственного сочинения[95], пересказывали прочитанные или же выдуманные ими самими романы и т.д.

Институтки долгое время имели репутацию весьма начитанных особ. «Вы в своих кельях, — обращаясь к «монастырке», говорит легкомысленная мать героини повести Николая Остолопова «Евгения, или Нынешнее воспитание», —

---

[90] *Половцева Е.А.* Указ. соч. С. 23.

[91] *Воропанова М.М.* Указ. соч. С. 47.

[92] Записки институтки // Семейные вечера. 1873. № 2. С. 185.

[93] *Водовозова Е.Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 343.

[94] *Шабельская А.С.* Указ. соч. С. 34.

[95] См.: Записки институтки. С. 189; *Р.Ф.* Указ. соч. С. 174.

тому лишь учитесь, чтоб книги читать»[96]. Эта репутация имела определенные основания, если даже Тургенев, который не жаловал воспитанниц институтов благородных девиц и много сделал для их дискредитации, поручил «очень чувствительной, доброй и лживой», но любившей литературу и пописывавшей «стишки» институтке приохотить к чтению Елену Стахову[97], благодаря чему героиня романа «Накануне» и стала «новой женщиной» в русской культуре XIX в. Однако с утратой дворянством передовой роли в культурной жизни России обнаружилось, что институтская начитанность сильно отстает от запросов и требований времени. Дело дошло до того, что передовые гимназистки начала XX в. с презрением отзывались о «малограмотности» институток в «вопросах искусства и литературы»[98]. Она являлась прямым следствием сословного воспитания, исходившего из идеалов дворянского общества. Оторванные от интересов современной жизни институтские курсы русской и иностранных литератур не восполнялись внеклассным чтением, которое всячески ограничивалось (вплоть до его запрета[99]) и контролировалось, чтобы оградить институток от «вредных» идей и неблагопристойностей и сохранить в них детскую невинность ума и сердца: «Зачем им душу возвышающее [чтение], — говорила начальница московского Николаевского института классной даме, читавшей по вечерам воспитанницам Тургенева, Диккенса, Достоевского и Льва Толстого, — это надо народ возвышать, а они и так из высшего класса. Им важно невинность воспитать»[100].

Институт строго оберегал младенческую непорочность своих воспитанниц. Она считалась основой высокой нравственности. Охраняя институток от греховных страстей и пороков, воспитатели доходили до форменных курьезов: иногда седьмую заповедь (запрет на прелюбодеяние) заклеивали бумажкой, чтобы воспитанницы вообще не знали, о чем здесь идет речь[101]. Однако некоторым содержание заповеди было известно, а многие догадывались. Есть сведения о том, что институтки знали «невыносимой пошлости анекдоты»[102] и зачитывались «порнографической литературой», которую они получали от братьев и кузенов[103]. Вместе с тем большинство воспитанниц, судя по всему, действительно отличалось «блаженным неведением» в этой области жизни: «...мне

---

[96] *Остолопов Н.* Евгения, или Нынешнее воспитание. СПб., 1803. С. 57.

[97] См.: *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем. Сочинения. М., 1981. Т. 6. С. 182.

[98] *Берберова Н.* Железная женщина: Рассказ о жизни М.И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней самой и ее друзьях // Дружба народов. 1989. № 8. С. 132.

[99] См.: *Лихачева Е.И.* Материалы для история женского образования в России (1828—1856). СПб., 1895. С. 117—118.

[100] *Горбунова-Посадова Е.Е.* Указ. соч. С. 14.

[101] См.: *Половцева Е.А.* Указ. соч. С. 26.

[102] *А.Л.* [Луканина А.Н.] Указ. соч. // Северный вестник. 1886. № 4. С. 133.

[103] См.: *Титова Н.* [Водовозова Е.Н.] К.Д. Ушинский и В.И. Водовозов. С. 472.

было 18 лет и <...> я сказала Александрине Зубовой: "Моя милая, что делают, чтобы иметь детей?" Она сказала мне: "Ах, Сашенька, Делош нам не сказал, что нужно делать"»[104]. О невинности институток свидетельствовала не только подцензурная литература. В эротической поэме Николая Языкова «Волки» отставной майор-калека, лишенный возможности исполнять свои мужские обязанности, находит подходящую для себя жену не где-нибудь, а в Смольном институте, среди девушек, которые «не ведают таинств любви». Характерно, что женскому учреждению, о котором идет дурная слава, обычно противопоставляют именно институт благородных девиц, где воспитанницам часто даже запрещали читать романы, чтобы не развратить их воображение и не зародить в них греховные помыслы и желания.

Институтки умели обходить любые запреты. Однако многое в институтском восприятии литературы зависело и от них самих, от их возраста и культурного развития. Литературные вкусы институток проявлялись не только в их альбомах (где сентименталистская традиция мирно уживается с отголосками романтической поэзии). О них свидетельствует и творчество институтских поэтесс и писательниц. «Оля <...> пишет роман, — рассказывается в одной из многочисленных «записок» институтки. — Она прочла нам <...> свой роман под заглавием "Непонятая", хотя героиня была понятна, как дважды два. Ее беда состояла в том, что она жила среди каких-то невероятных злодеев и никак не могла догадаться уйти от них, хотя ее решительно никто не удерживал, а в деньгах она, очевидно, не нуждалась, судя по тому, что "в ее темных локонах сверкала брильянтовая диадема". Значит, просто она не догадывалась или не решалась расстаться с диадемой. Впрочем, может быть, потому-то она и называлась "непонятой"»[105]. Ироническое описание романа принадлежит «шалунье» и «насмешнице», которая уже переросла идеалы институтской «эстетики». Автор же «Непонятой» — «неземная» Оля, чей взгляд устремлен «куда-то вдаль» и талия перетянута «в рюмочку», — является типичной институткой. Интересы и мироощущение девочки-подростка передаются ею с помощью столь же экспрессивных и банальных литературных штампов, как и те формы выражения своих чувств, которые использовались «сентиментальными» институтками. Они ведь считали: если не есть и все грустить друг о друге в первый день после выпуска, то это будет очень «поэтично»[106].

Институтки относились к романам как к «учебнику жизни». Они знакомили с тем, что происходило за «монастырскими» стенами: «...я вышла из институ-

[104] *Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 412. Никола Делош — аббат, профессор физики и естественной истории в Екатерининском институте.

[105] *Выставкина Е.* Перед выпуском: (Записки институтки) // Друг детей. 1907. № 10. С. 303.

[106] См.: *Лухманова Н.* Институтка. С. 10.

та, — вспоминала В.Н. Фигнер, — с знанием жизни и людей только по романам и повестям, которые читала»[107], поэтому по ним готовились к будущей жизни. Многие институтки жаждали «попасть в героини романа»[108]. Очень способствовали тому и «фантазерки, начитавшиеся романов» и выводившие «затейливые узоры по канве <...> бедняжек, бедных фантазией, но жаждавших романтических картин в их будущем»[109].

Мечты о будущем занимали все более существенное место в жизни воспитанниц по мере того, как приближался выпуск из института. Мечтали не столько в одиночку, сколько сообща: вместе с ближайшей подругой или всем отделением перед сном, когда героинями романических рассказов становились сами институтки. Этот обычай является ярким примером «чрезмерной сообщительности» коллективного быта воспитанниц, которая «приучает не только действовать, но и думать вместе; советоваться со всеми в мельчайших пустяках, высказывать малейшие побуждения, проверять свои мнения другими»[110]. Показательно, что, овладевая сложным искусством парного хождения (которое служило одним из характерных признаков институтского воспитания), институтки разучивались ходить в одиночку. Им действительно «чаще приходилось говорить *мы*, чем *я*»[111]. Отсюда — и неизбежность коллективного мечтания вслух, которое было таким же важным навыком институтской жизни, как «обожание».

Обсуждались не только такие возвышенные предметы, как «любовь» и т.п. Институтские мечтания заключали в себе и очень много житейской прозы: «будущие балы, наряды, любовь и замужество»[112]. Обращает внимание подчеркнуто праздничный характер этой будущей жизни. Институтки отталкивались от скучного однообразия порядков и суровой дисциплины институтской жизни, и будущее должно было быть полной противоположностью окружавшей их действительности. Определенную роль играл и опыт контактов с внешним миром, будь то встречи с нарядно одетыми людьми во время воскресных свиданий с родственниками или же институтские балы, на которые приглашались воспитанники самых привилегированных учебных заведений. Оттого будущая «жизнь <...> казалась <...> беспрерывным праздником»[113].

Отсутствие подлинно нравственного воспитания приводило к тому, что «оторванный искусственно от жизни мирок за каменными стенами <...> жил

[107] *Фигнер В.* Запечатленный труд: Воспоминания: В 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 93.
[108] *Брянчанинов А.А.* Безысходная доля // Рус. вестник. 1868. № 11. С. 177.
[109] *Лаврентьева С.И.* Пережитое: (Из воспоминаний). СПб., 1914. С. 28.
[110] *Виницкая А.* (Будзианик). Указ. соч. С. 7.
[111] Там же. С. 8 (курсив автора).
[112] *N* [Хвощинская С.Д.] Указ. соч. // Рус. вестник. 1861. № 9. С. 275.
[113] *Каминова Евгения* [Михаэлис Е.Е.] Разочарование // Сын Отечества. 1847. № 6. С. 45.

все теми же низменными идеалами улицы и пошлыми веяниями толпы»[114]. «Истые монастырки» порой ничем не выделялись на общем фоне дворянского общества: так же, как и большинство остальных благородных девиц, они презирали бедность и стыдились ее. Аристократизм и богатство казались даже не идеалом, но — нормой жизни. Этому способствовал институтский «гонор», который легко приобретался в учебных заведениях, находившихся под управлением (или по крайней мере — в поле зрения) высочайших особ, что чрезвычайно льстило самолюбию воспитанниц, гордившихся собой и своим институтом. В связи с этим институтки, мечтавшие о «роскошной веселой жизни» и уверенные, что «будет мужем непременно барон или князь»[115], часто возвращались домой «с такими привычками и претензиями, которые в их круге решительно неуместны, неисполнимы и составляют несчастье как их самих, так и всех, к ним близких»[116].

Институт представлял собой слишком абстрактную и искусственную модель действительности, чтобы приобретенный в нем опыт соответствовал обычному житейскому опыту, который естественным образом и дает знание жизни. Институтский опыт лишь порождал драматическую коллизию между образовавшимися в институте привычками, претензиями и иллюзиями и теми условиями жизни, которые окружали институтку после выпуска. Многим институткам пришлось «прямо с облаков спуститься <...> в самый неказистый мир»[117], что крайне осложняло и без того трудный процесс адаптации к новой жизни. Она противоречила «мечтательной теории» институток и оказывалась совсем не той, к какой готовились в институте. Выяснялось, что даже знаменитая институтская «выучка» не гарантировала от ошибок в светском обращении. Об одних его правилах и обычаях институтки просто не имели понятия, другие же противоречили опыту их прежней жизни (как, например, институтское заискивание перед слугами, покупавшими лакомства для воспитанниц: «...в былое время <...> смеялись над выпущенными институтками, что они обращались за столом к лакею со словами: "Потрудитесь дать мне квасу"»[118]). Оттого институтку порой мучил «смертельный» страх совершить какую-нибудь «неловкость»[119]. Он омрачал даже такое желанное для любой девушки событие, как первый бал. Институтки прославились своей конфузливостью, которая «в большом обществе <...>

[114] *Вербицкая А.* Указ. соч. С. 97.

[115] Вспоминает героиня чеховского рассказа «Муж» (см.: *Чехов А.П.* Собр. соч. Т. 4. С. 274).

[116] *Добролюбов Н.А.* Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. 2. С. 363—364.

[117] *Лаврентьева С.И.* Пережитое // Лаврентьева С.И. Из жизни. М., 1903. С. 27.

[118] Записки институтки // Семейные вечера. 1873. № 2. С. 173.

[119] См.: *Закревская С.* Институтка: Роман в письмах // Отечественные записки. 1841. № 2. С. 205.

нередко доходила просто до потери сознания»[120]. Очень уж непривычной была обстановка новой жизни. «Прошло много лет, — пишет одна из мемуаристок, — прежде чем я перестала бояться людей и начала находить удовольствие в обществе»[121]. Адаптация воспитанниц женских институтов к новым условиям жизни во многом зависела от отношения к ним в том обществе, куда они попадали после выпуска.

Институтки были весьма благосклонно приняты культурной элитой конца XVIII — начала XIX в., которая связывала с ними понятие о «чем-то изящном, утонченном»[122]. Литераторы превозносили новый тип русской светской женщины, хотя и усматривали в нем совершенно различные достоинства: классицисты — серьезность и образованность, сентименталисты — естественность и непосредственность. Институтка продолжала играть роль идеальной героини и в романтическую эпоху, которая противопоставила ее светскому обществу (как образец «высокой простоты и детской откровенности»). Внешний вид институтки, «младенческая непорочность» ее мыслей и чувств, отстраненность от мирской прозы жизни — все это помогало видеть в ней романтический идеал «неземной красавицы». Вспомним юную институтку из «Мертвых душ», «свеженькую блондинку <...> с очаровательно круглившимся овалом лица, какое художник взял бы в образец для мадонны» — «она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо выточенную из слоновой кости; она только одна белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной толпы»[123].

В то же время существовал и прямо противоположный взгляд на институтку, в свете которого все благоприобретенные ею манеры, привычки и интересы выглядели «жеманством» и «сентиментальностью». Он исходил из того, что отсутствовало в институтках. Воспитанницы женских институтов предназначались для духовного преобразования светского быта, и поэтому институт почти не готовил их к практической жизни. «Девочки выходили оттуда, точно спускались с луны, им приходилось не только первое время по выпуске, но иногда, смотря по характеру и степени впечатлительности, всю жизнь представлять

---

[120] *Водовозова Е.Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 31.

[121] *Р.Ф.* Указ. соч. // Рус. старина. 1909. № 10. С. 193.

[122] См.: *Лихачева Е.И.* Материалы для истории женского образования в России (1796—1828). С. 224. «На институток тогда существовал взгляд, далеко не похожий на нынешний, — говорится об этой эпохе в "Захудалом роде" Лескова. — Их считали *девицами блестяще образованными и носились с ними как невесть с какими знаменитостями» (Лесков Н.С.* Собр. соч.: В 11 т. М., 1957. Т. 5. С.118). Героиня повести Алексея Шлихтера «Смолянка» именуется «женщиной 19-го века!» (см.: *Шлихтер А.* Смолянка: Сцены из частной жизни // Сын Отечества и Северный архив. 1834. Т. 46. С. 35).

[123] *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 166, 169.

из себя лишних, ненужных членов того общества, в которое они вступали»[124]. Институтки не только ничего не умели, они вообще мало что понимали в практической жизни. «Тотчас после выхода из института, — вспоминала Е.Н. Водовозова, — я не имела ни малейшего представления о том, что прежде всего следует условиться с извозчиком о цене, не знала, что ему необходимо платить за проезд, и у меня не существовало портмоне»[125]. Это вызывало резко негативную реакцию со стороны людей, занятых повседневными делами и заботами. Они считали институток «белоручками», «набитыми дурами», «кисейными барышнями» (выражение, восходящее к выпускной форме воспитанниц женских институтов: белые кисейные платья с розовыми кушаками).

Выпущенные в жизнь не подготовленными к ней и не знающими ее, воспитанницы женских институтов «в обществе и тем более в провинции не пользовались сочувствием и не встречали себе поддержки»[126]. Вместе с насмешками над «неловкостью» институток распространялись «стереотипные суждения» о них как об «изрядно невежественных существах, думающих, что на вербах груши растут, остающихся глупо-наивными до конца своей жизни»[127]. Институтская наивность стала притчей во языцех.

Высмеивание и возвеличивание институток, по сути дела, имеют одну и ту же точку отсчета. Они лишь отражают различное отношение к *детскости* воспитанниц женских институтов, которую культивировали обстановка и быт закрытого учебного заведения. Стоило взглянуть на «набитую дуру» с некоторым сочувствием, как она оказывалась просто «дитя малое» (как говорит, обращаясь к воспитаннице, институтская горничная: «несмышленыш вы, как дитя малое, только что каля-баля по-французски, да трень-брень на рояле»[128]). А с другой стороны, скептическая оценка образованности и воспитанности ходячего образца «светскости» и «поэтичности» сразу же обнаруживала его «детское, а не женское достоинство» (что должен был открыть герой задуманной А.В. Дружининым драмы, которая затем превратилась в знаменитую повесть «Полинька Сакс»)[129]. Институтки обычно и воспринимались как дети. Любопытно, что даже такой мало знающий русский общественный быт человек, как князь Мышкин,

---

[124] *А.* [Казина А.Н.] Указ. соч. С. 366.

[125] *Водовозова Е.Н.* Указ. соч. Т. 2. С. 20.

[126] *Лихачева Е.И.* Материалы для истории женского образования в России (1828—1856). С. 217.

[127] *Воропанова М.М.* Указ. соч. С. 35.

[128] *Лухманова Н.А.* Девочки. С. 117.

[129] См.: *Дружинин А.В.* Повести. Дневник. М., 1986. С. 411. Институтское прошлое героини повести затемняется указаниями на «пансион», в котором она якобы воспитывалась (см., впрочем: «институтские bons mots» — с. 7). Скорее всего это было сделано по цензурным соображениям.

разговаривая с Аглаей и вдруг увидев в ней «ребенка», спрашивает: «Вы никуда не ходили, в школу какую-нибудь, не учились в институте?»[130] В связи с этим и сами институтки, чувствовавшие себя «детьми» в непривычном для них взрослом мире, иногда сознательно играли роль «ребенка», всячески подчеркивая свою детскую наивность: «...всё жеманство, так называемое жантильничанье, приторное наивничанье, все это легко развивалось в институтках в первые годы после выпуска, потому что этим забавлялись окружающие»[131]. Во всяком случае, «выглядеть» институткой значило говорить ребячьим голосом, придавая ему специфически-невинный тон, и смотреть девочкой[132].

Институты воспитали тысячи русских девушек. По-разному складывалась их дальнейшая жизнь. Одни уходили в монастырь, другие становились шантанными певичками, среди выпускниц были и революционерки-«бомбистки», и агенты охранки (вроде известной провокаторши Зинаиды Жученко, урожденной Гернгросс), институткой была первая русская летчица Лидия Зверева, но большинство мирно воспитывало и учило детей. Очень может быть, что культурно-психологический тип «институтки», который описан нами, не соответствует многообразной действительности. Однако этого уже не проверить. Видимо, никого из воспитанниц институтов благородных девиц, закрытых большевиками весной 1918 г., уже нет в живых.

Остается лишь образ институтки, который возникает в период расцвета дворянской культуры и переживает все перипетии ее истории: и неприязнь со стороны разночинной интеллигенции 1860—1870-х гг., видевшей в институтках жалкий пережиток крепостнического быта и дворянской «эстетики», и презрение передовой молодежи начала XX в. Эти перипетии, конечно, сказались на представлениях о воспитанницах институтов благородных девиц и отразились в значении слова «институтка», которое давно уже означает не столько «восторженного, наивного, неопытного», сколько *слабонервного* человека. Особенно явно это проявляется, когда «институтками» зовут мужчин, как в 1917 г. называли А.Ф. Керенского[133].

Определенные изменения происходят и с «институтской» темой в русской литературе, где с 1860-х гг. все чаще изображалось, как обстоятельства превращают институтку в ее противоположность — проститутку. Литературный контекст вскрывает смысл подобной трансформации: это — падение ангелов, в качестве которых с самого начала и воспринимались институтки. Восхищаясь

[130] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Т. 8. С. 358.
[131] Записки институтки. С. 179.
[132] См.: *А.* [Казина А.Н.] Указ. соч. // Отечественные записки. 1877. № 3. С. 189.
[133] См.: *Амфитеатров-Кадашев В.А.* Страницы из дневника // Минувшее: Ист. альманах. 20. М.; СПб., 1996. С. 491—492.

смолянками, впервые появившимися перед публикой в Летнем саду, поэт предположил, что

> ... сами ангели со небеси сошли,
> Ко обитанию меж смертных на земли[134].

Хотя литературная судьба некоторых из них скорее напоминает библейское сказание об «ангелах, посланных в Содом»[135], институтки по-прежнему исправляют порочных и возрождают к жизни разочарованных в ней людей, о чем мечтает Чичиков в «Мертвых душах» и как это происходит в чеховской «Даме с собачкой». Этот ключевой для институтской темы сюжет исходит из основополагающего для нашей культуры понятия о том, что очиститься от греховной «скверны» мирской, повседневной жизни и спастись можно только с помощью сверхъестественных, потусторонних сил и средств, воплотившихся в данном случае в «Шиллеровых ангелочках»[136] из институтов благородных девиц.

Едва ли этот сокровенный смысл ощущается современным человеком. Он забылся не столько за давностью лет, сколько под давлением обстоятельств: люди, закрывшие институты благородных девиц, похвалялись тем, что они не институтки, и всячески поносили воспитанниц «благородных заведений». Однако им так и не удалось окончательно дискредитировать институток. Один лишь пример: в глухую пору конца 1940-х — начала 1950-х гг. в захолустном городке Слободском (что в Кировской области) директриса образцовой школы нарядила выпускниц «ни дать ни взять институтками» — не только в белые передники, но и в белые пелеринки[137].

О первых питомицах Воспитательного общества благородных девиц свидетельствуют не только прославившие их портреты Д.Г. Левицкого. Лучшая из «смолянок» первого выпуска, Глафира Ивановна Алымова (в замужестве — Ржевская) оставила мемуары: самые «прелестные воспоминания» относятся к пребыванию в Смольном монастыре. Она хвалит воспитанниц, превозносит начальницу С.И. де Лафон и славословит Екатерину II, создавшую этот «приют невинности и мира», в котором прошли «счастливые времена» ее жизни.

---

[134] [*Сумароков А.П.* (?)] Стихи госпожам девицам первого возраста, воспитываемым в Новодевичьем монастыре, на присутствие их в первый раз в саду летнего Е.и.в. дома, сего 1773 году, маия 20 числа // Санкт-Петербургские ведомости. 1773. № 45. 4 июня. Прибавления.

[135] *Барон Брамбеус* [Сенковский О.И.] Вся женская жизнь в нескольких часах // Библиотека для чтения. 1834. Т. 1. С. 114.

[136] Выражение П.А. Плетнева (см.: Записки институтки // Семейные вечера. 1873. № 4. С. 16).

[137] См.: *Кашнева Т.* «Земная коротка наша память...»: Невыдуманная повесть. Таллинн, 1993. С. 200.

Очень тепло отзывались о своих институтах и женщины, кончавшие их в начале XIX в. Воспоминания одной из них — Елизаветы Аладьиной, впервые изданные в 1834 г., были первой и долгое время единственной публикацией мемуаров об институтской жизни[138]. Ее «Воспоминания институтки» посвящены «безмятежной» жизни в столичном Доме Трудолюбия, которую Аладьина описывает с «чувством беспредельной благодарности», уделяя особое внимание посещениям высочайших особ (и прежде всего — императрицы Елизаветы Алексеевны, чьей пансионеркой она была и в честь которой институт впоследствии стал называться Елизаветинским).

Воспоминания, которые публиковались с начала 1860-х гг., резко отличаются от мемуаров Елизаветы Аладьиной: это уже не «дань признательного сердца <...> благотворителям», а обвинительное показание против институтов благородных девиц. Обличая обстановку и быт женских институтов, мемуаристки не столько критиковали режим, основанный на казарменных идеалах николаевской эпохи, сколько отвергали саму институтскую «идею»: с точки зрения писательницы Софьи Хвощинской и ее единомышленниц, институт не давал ни удовлетворительного образования, ни настоящего, нравственного воспитания[139]. «Отжившая» институтская «идея» дискредитировалась, чтобы утвердить совершенно новый тип женского училища — открытую и общедоступную гимназию, которая появилась в России в эпоху кардинальных перемен в женском образовании, осуществлявшихся с конца 1850-х гг. Обличительный пафос противниц институтского воспитания жестко контролировался цензурным ведомством, которое очень заботилось о репутации воспитанниц казенных заведений: стоило Е.Н. Водовозовой пообещать вспомнить об их «кокетстве перед учителями и мужчинами вообще», как газете «Голос» было запрещено печатать ее статьи «Из заметок старой пансионерки»[140]. Окончательно разоблачить институтское воспитание Е.Н. Водовозовой удастся только почти через полвека.

Оценивая книгу Надежды Лухмановой «Двадцать лет назад», рецензент «Русского богатства» в 1895 г. писал: «В нашей литературе есть много изображений институтской жизни былого времени, и тема эта могла бы даже несколько надоесть»[141]. Он и представить себе не мог, сколько институтских мемуаров по-

[138] См.: *Ал[адьина] Ел[изавета]*. Воспоминания институтки. СПб., 1834 (второе издание: *Аладьина Е.В.* Воспоминания институтки // Невский альманах на 1846 год. СПб., 1846. С.1—37).

[139] См.: *N* [Хвощинская С.Д.] Указ. соч. // Рус. вестник. 1861. № 9. С. 264—298; № 10. С. 512—568.

[140] См.: *Водовозова Е.Н.* Указ. соч. Т. 2. С. 214—216. Версия Е.Н. Водовозовой неверна: обличение институтских порядков дозволялось, если они не касались невинности и нравственности самих институток.

[141] Рус. богатство. 1895. № 2. Новые книги. С. 70.

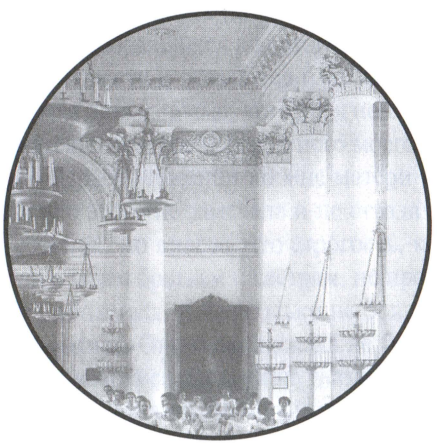
явится с конца XIX в. Именно в это время будет опубликована основная масса самых разнообразных воспоминаний о женских институтах: для детей и для взрослых, беллетризованных и сохраняющих строго мемуарный характер. Одной из главных причин для воспоминаний послужили столетние юбилеи ряда женских институтов, открытых в конце XVIII — начале XIX в. Оказалось, что многие институтки довольны институтским прошлым и сохранили светлую память о своем институте. Воспоминания, приуроченные к юбилеям, наверное, не отличаются особой объективностью. Однако нет никаких оснований подозревать в неискренности всех мемуаристок, которые не считают себя жертвами институтского воспитания и отдают ему должное: «...если прежние институтки уступали нынешним гимназисткам и курсисткам в смелости и предприимчивости, — писала Н.П. Грот, — зато приученные с детства к дисциплине, порядку и заботе о своих обязанностях, они были вообще скромнее, женственнее и семейственнее их»[142]. Автор этих слов предназначала свои мемуары для детей и внуков и потому писала, что думала. Одни мемуаристки думали так, другие (как, например, Е.Н. Водовозова) иначе. Воспоминания конца XIX — начала XX в. наконец отразили неоднозначность и противоречивость отношения к институтскому воспитанию. Лишь учитывая и сопоставляя все точки зрения, мы сможем понять, что же представлял собой институт благородных девиц.

А.Ф. Белоусов

[142] *Грот Н.* Из семейной хроники: Воспоминания для детей и внуков. СПб., 1900. С. 75.

Г. И. Ржевская

Памятные записки



I
Вступление[1]

Нерадостно было встречено мое появление на свет. Дитя, родившееся по смерти отца[2], я вступала в жизнь с зловещими предзнаменованиями ожидавшей меня несчастной участи. Огорченная мать[3] не могла выносить присутствия своего бедного девятнадцатого ребенка и удалила с глаз мою колыбель, — а отцовская нежность не могла отвечать на мои первые крики. О моем рождении, грустном происшествии, запрещено было разглашать. Добрая монахиня взяла меня под свое покровительство и была моею восприемницею. Меня крестили как бы украдкой. По прошествии года с трудом уговорили мать взглянуть на меня. Она обняла меня в присутствии родных и друзей, собравшихся для этого важного случая. День этого события был днем горести и слез. Отец благословил меня еще до моего рождения и завещал дать мне имя, которое я ношу. Это обстоятельство часто служило мне утешением среди горестного моего сиротства. Мне постоянно твердили о нерасположении ко мне матери моей. Пока я жила возле нее, я нисколько этого не замечала и не страдала от этого: напротив, хотя я была ребенок, но видела, что строгость, которой придерживались в отношении к моим братьям и сестрам, не простиралась на меня; причины этого я не понимала. Я нисколько не боялась матери, но всячески старалась ей угодить. Она меня ласкала не более других детей, но чаще улыбалась мне и всегда со слезами на глазах. Когда, семи лет, меня разлучили с нею, чтобы поместить в Смольный монастырь, я начала огорчаться всем, что́ приходилось мне слышать до этой поры. Чувствительность моя развилась при виде ласок, которыми осыпали родители моих подруг. Из пятидесяти девушек я была почти единственная, не видевшая родительской нежности. Некоторого рода обожание, предметом которого служила я для всех окружающих, не могло заменить чувства, недоставшего для моего счастия. Я имела повод сомневаться в любви моей матери. Наконец, через семь лет, дождалась я желаемого свидания с нею.

В минуту доброта ее изгладила все внешние впечатления, а доверие ее развернуло передо мной трогательную картину добродетели, борющейся с несчастием. Горе моей матери еще сильнее привязало меня к ней; я дрожала при виде страданий, исказивших ее благородные черты. Степенный вид ее внушал почтение, придавая вес ее речам, из которых почерпнула я познание священных обязанностей супругов, родителей и детей; вся жизнь ее была образцом самого совершенного исполнения правил евангельских. Ее советы глубоко вкоренились в моем сердце. Смотря на нее и слушая ее, я не переставала оплакивать несчастную судьбу, которая так долго удаляла меня от нее и скоро должна была разлучить нас навеки. Я вскоре имела несчастие лишиться ее.

Чувство мое к матери, слабое вначале и как бы призрачное под конец, искусственно мной поддерживаемое, без поощрения, исчезло в течение трех месяцев.

Я не знала других моих родных, у меня осталось пять братьев и семь сестер[4]; из них всех один Д[митрий] был моим другом до конца жизни. Нежность его ко мне доходила до слабости: он только возле меня был счастлив.

Теперь бы следовало поговорить о муже и детях, на которых сосредоточились мои чувства. Но предварительно расскажу об эпохе, предшествовавшей моей свадьбе. Не повторю сказанного о влиянии на меня воспитания; по-моему, оно не перерождает человека, а лишь развивает его природные склонности и дает им или хорошее, или дурное направление.

II

Одиннадцатилетнее пребывание мое в Смольном монастыре

Прелестные воспоминания! Счастливые времена! Приют невинности и мира! Вы были для меня источником самых чистых наслаждений. Благоговею перед вами!

Августейшая и великодушная государыня, положившая первые основания заведения, достойного тебя, прими здесь выражение столь заслуженной тобою благодарности. Память о тебе не изгладится в самые отдаленные века!

Обширнейшее государство в мире провозглашает имя Екатерины II. История сохраняет славные события самого великого царствования, целое поколение свидетельствует о ее благодеяниях; но ее можно вполне оценить, лишь узнав, как она была ласкова к тем, кого называла своими детьми, как была доступна для них.

Сироты, бедные и богатые, имели одинаковое право пользоваться прекрасным воспитанием, основою которому служило совершенное равенство. Это была община сестер, подчиненных одним правилам. Единственным отличием служили достоинства и таланты. Скрывая всегда расстояние, отделяющее подданных от государыни, мать и покровительница заведения не могла лишь скрыть от воспитанниц великих качеств, ее отличавших. Дозволяя детям короткое обращение с собою, она никогда не роняла своего величия.

Первый выпуск, к которому я принадлежала, наиболее воспользовался всеми выгодами заведения.

Плоды хорошего воспитания проявляются во всяком положении: я это испытала как в счастии, так и в горе. Теперь же, в преклонных летах, я с признательностию вспоминаю об этой счастливой поре моей жизни. Прожив долго в свете и при Дворе, среди вражды и страстей людских, я вполне могу оценить прелесть этого мирного приюта.

Образчиком тамошнего воспитания могу служить я. Поставив себе целью перебрать все мои привязанности, я в то же время постараюсь доказать мудрость Основательницы заведения. Она с намерением поместила его вне города, дабы удалить воспитанниц от сношения с светом до той поры, когда вполне развитый разум и твердо вкоренившиеся в сердце нравственные начала способны будут охранить их от дурных примеров. Как многих других, природа одарила меня счастливыми наклонностями, основательным же развитием их я преимущественно и единственно обязана воспитанию. В свете ничего нет прочного; обычай берет верх над правилами. Видишь лишь обезьян и попугаев, а не встретишь самобытного характера, отличающего человека от других, как отличается он чертами лица; но, при всеобщем однообразии, резко выдаются характеры девушек, воспитанных в наших заведениях, из них каждая имеет свой личный характер. Так называемая оригинальность их, которую осмеивали многие, имела весьма хорошие стороны. Из них вышли прекрасные супруги. Им приходилось бороться против существовавших предубеждений насчет

институтского воспитания, встречаемых даже в собственной семье, и против общего нерасположения. Во всех испытаниях они действовали прямо, энергично защищая свои правила. Лишь немногие из них отступили от данного им хорошего направления.

Не считаю эти рассуждения неуместными, потому что для обсуждения действий необходимо ознакомиться с обстоятельствами жизни, их вызвавшими. Впрочем, в моих воспоминаниях я не держусь никакого плана: я лишь самой себе отдаю отчет в том, что видела, чувствовала и испытала.

Нельзя вообразить себе более счастливого положения, как то, в котором я находилась в течение одиннадцати лет в Смольном[5]. Счастие, которым я пользовалась, нельзя сравнить ни с богатством, ни с блестящим положением светским, ни с царскими милостями, ни с успехами в свете, которые так дорого обходятся. Скрывая от нас горести житейские и доставляя нам невинные радости, нас приучили довольствоваться настоящим и не думать о будущем. Уверенная в покровительстве Божием, я не ведала о могуществе людей и навеки бы в нем сомневалась, если бы опыт не доказал мне, что упование на Бога не охраняет нас от их злобы.

Первая наша начальница была княжна Анна Сергеевна Долгорукова[6], титулованная дама, пожалованная портретом Императрицы. Судить ее я не позволю себе, потому что была тогда слишком молода. Помню случай, лично относившийся ко мне, который обнаружил ее неспособность занимать это важное место, вследствие чего ее осыпали милостями, чтобы склонить отказаться от должности. Она кичилась богатством, знатностью рода и притом была ханжа и суеверна. Будучи остроумна, она не имела достаточно ума для того, чтобы быть выше предрассудков, которые решено было изгнать из нашего мирного приюта. Гордая повелительница, она хотела, чтобы все склонялось пред нею, и не продержалась на своем месте более восьми месяцев.

Княжна присутствовала при молитвах воспитанниц. Однажды во время вечерней молитвы кто-то вошел в комнату, и мы все обернулись. Каково же было мое удивление, когда в этой общей вине одна я признана была виноватою: меня поставили на колени и сделали мне строгий выговор. Я очень была огорчена своим проступком; мне не приходило в голову разбирать, виновны ли были и другие; я плакала целые сутки и даже на другой день, когда стало известно, что наказание мое было лишь предлогом, чтобы сделать неприятности г-же Л[афон][7] и г-ну Б[ецкому][8],

начальница нисколько не скрыла этого, прямо сказав мне, что наказала их любимицу, и потом, чтобы вознаградить меня, начала нежно ласкать. Правда, что я была общею любимицею в заведении и осталась ею до конца; но в ту пору я была восьмилетним ребенком, не имевшим ни родных, ни протекции, и лишь хорошим поведением старалась заслужить общее расположение.

Около этой же поры я действительно провинилась, и проступок мой был такого рода, что обличал необыкновенную гордость и упрямство; но он же послужил мне уроком, и потому я стала недоверчиво смотреть на самые качества свои. Случилось это вследствие наказания, которому подвергся весь класс, исключая пять или шесть учениц, в числе которых была и я. Их поставили на колени во время обедни, а после службы простили и всем позволили играть по обыкновению. Сама не знаю почему, я имела превосходство над подругами; они всегда собирались вокруг меня, во всем спрашивали моего совета и спорили из-за дружбы со мной. Надо заметить, что в это время все мы были одногодки, от 8 до 9 лет. На этот раз я вздумала сторожиться[9] ото всех, которые были под наказанием, и вместе с остальными держалась в стороне, не позволяя виновным подходить к нам. Одна из них, от которой я в особенности сторожилась, обиженная оскорбительными словами, сказанными ей с презрением, пожаловалась гувернантке. Этой выходки я не ожидала, так как я привыкла, чтобы подчинялись моему приговору. В этом же случае я уверена была, что поступила вполне с достоинством. Когда мне доказали громадность моего проступка, он мне показался до того отвратительным, что от стыда я не хотела в нем признаться. Свидетельство и улика еще более смутили меня; сознавая свою вину и каясь в ней внутренно, я не решилась сознаться во лжи при подругах, которые меня считали своим оракулом. Но, преследуемая угрызениями совести и страхом прогневать Бога, в горести, я на коленях умоляла Его о помощи, обещая вперед не впадать в эту вину, лишь бы Он дал мне выпутаться из беды на этот раз. Но мне не уступали; я продолжала отпираться, и меня строго наказали.

Это обстоятельство сделало на меня сильное впечатление. Образцовым поведением старалась я загладить случившееся. Старания мои увенчались таким успехом, что впоследствии ко мне стали требовательнее, чем к кому-либо. Я начала сомневаться в успехе своих усилий; самая большая похвала могла лишь разочаровывать меня. Благодаря стараниям и размышле-

ниям, я стала до того строга к себе, что, чем более меня отличали, тем старательнее становилась я, желая усовершенствоваться и сохранить общее расположение.

Между нами царило согласие: общий приговор полагал конец малейшим ссорам. Обоюдное уважение мы ценили более милостей начальниц, никогда не прибегали к заступничеству старших, не жаловались друг на друга, не клеветали, не сплетничали, потому не было и раздоров между нами. В числе нас были некоторые, отличавшиеся такими качествами, что их слова служили законом для подруг. Вообще большею частию были девушки благонравные и очень мало дурных, и то считались они таковыми вследствие лени, непослушания или упрямства. О пороках же мы и понятия не имели.

Г-жа Лафон (Lafond), с редким умом управлявшая заведением в течение 30 лет, утвердила на прочных основах принятую систему воспитания. Она всецело предалась делу. С дальновидностию наблюдавшая за общим порядком, она выказывала большую деятельность в частных распоряжениях. С свойственною ей предусмотрительностью она предупреждала злоупотребления. Твердо и бдительно следя за тем, что все лица, которые должны были содействовать успеху ее предприятия, добросовестно исполняли свои обязанности, она как бы воспитывала их прежде, нежели удостоить своим доверием. Ту же заботливость выказывала она при выборе прислуги, что так важно в заведении, где чистота нравов почитается залогом всех добродетелей. Г-жа Лафон принадлежала к доброму семейству, которое вследствие религиозных раздоров принуждено было покинуть Францию и искать убежища в России. Поселившись в Петербурге, родители ее продолжали свою торговлю вином и открыли первую в городе гостиницу, которую стали посещать знатные особы. Нажив состояние, они позаботились дать хорошее образование своей единственной дочери, которая родилась у них на старости лет; мать родила ее, будучи 50 лет. Красивая и богатая, она имела много женихов и в пятнадцать лет вышла замуж за француза, генерал-майора в русской службе. Она была несчастлива в замужестве, все свое состояние и спокойствие принесла в жертву мужу, который под конец совершенно сошел с ума и угрожал не раз убить ее и двух дочерей. Расстроив женино состояние, он требовал в припадке сумасшествия, чтобы она и дети приняли католическую веру, к которой сам он не принадлежал, но считал это необходимым для получения наследства от своих родителей, находившихся во Франции. Он непременно хотел вернуться

на родину; жена возила его за границу на воды, истратив на лечение его последние средства. Ничто не помогло; он умер, и г-жа Лафон с двумя детьми осталась в крайней нужде, без помощи, на чужой стороне. Она желала вернуться в Россию, чтобы собрать деньги, данные ее отцом взаймы нескольким лицам, и обратилась за помощью к нашему посланнику в Париже. Тут-то познакомился с нею г-н Бецкий и стал рассчитывать на нее как на особу, способную исполнить задуманный им план.

Возвратясь в Россию, г-жа Лафон продолжала видеться со своими прежними друзьями и знакомыми, находилась в лучшем обществе, всеми была любима и уважаема. В особенности привязался к ней г-н Бецкий; он ценил общество этой женщины, извлекшей столько пользы из своих несчастий, притом умной, веселой и заслужившей общее уважение своим примерным поведением. Познания ее были нужны для его любимого предмета; он часто советовался с ней, так что она уже вполне была подготовлена, когда ей поручено было заведение, и ей оставалось лишь привести в исполнение глубоко обдуманный план. На ее долю пал весь труд. Сначала, находясь при заведении в качестве директрисы, она на каждом шагу встречала противодействие главной начальницы; заменив ее, она ввела надлежащий порядок. Под ее рукою заведение вполне процветало. Ему можно было уподобить лишь Сен-Сирское учреждение во Франции[10]. Чтобы внушить более доверия к этому новому учреждению, во главе его поставили знатную особу, пожаловали ее портретом Императрицы, с целью придать ей еще более весу[11]. Но выбор этот удовлетворил лишь тех, которые прельщаются внешностию, не заботясь о сущности дела. Люди же разумные, принимавшие к сердцу общественную пользу учреждения, ясно видели превосходство г-жи Лафон и считали знатность рода излишнею. Вполне достойная вознаграждений за свои услуги, г-жа Лафон лишь незадолго перед смертью своей получила портрет вместе с орденом Св. Екатерины. Умерла она в бедности, ровно ничего не оставив своей дочери. Общее уважение к ее личным достоинствам вознаграждало ее за недостаток отличий, которых старались ее лишать с помощию интриг. Прежде, нежели сказать, как дорога она была для меня лично, я должна была высказать, как ценима она была вообще. Она была предметом моей первой привязанности. Никто впоследствии не мог мне заменить ее: она служила мне матерью, руководительницею, другом и была покровительницей и благодетельницей моей. Я вполне поняла это, будучи в таких летах, когда могла отдать себе отчет в различных чувствах моих к ней. Любить,

почитать и уважать ее было для меня необходимостью. Мое чувство в ту пору походило на сильную страсть: я бы отказалась от пищи ради ее ласок. Однажды я решилась притвориться, будто я не в духе, рассердить ее, чтобы потом получить ее прощение: она так трогательно умела прощать, возвращая свое расположение виновным. Это заметила я в ее отношениях к другим и пожелала испытать всю прелесть примирения. Видя ее удивленною и огорченною моим поведением, я откровенно призналась ей в своей хитрости. С свойственною ей кротостию она советовала мне умерять мою излишнюю чувствительность, которая будет возмущать мое спокойствие, если я ей предамся без меры. Она говорила, что предпочитает меня другим, но не должна этого выказывать, чтобы не возбудить зависти. «Дитя мое, — сказала она мне, — вы заслуживаете общую любовь в заведении, но не надейтесь встретить в свете то же расположение и бойтесь, чтобы привычка к отличию и предпочтению не сделала бы вас гордою и требовательною».

Таким образом эта умная наставница не пропускала случая дать мне добрый совет. Я же старалась чаще подавать ей повод к этому, сообщая ей самые тайные мысли свои и намерения. Я не могла наслушаться ее и извлекала из ее советов и увещаний правила, с которыми согласовала свое поведение. По окончании уроков я бежала к ней, чтобы пользоваться ее беседою или чтением. Иногда меня выпроваживали, я угадывала почему и возвращалась в сопровождении подруг. Наконец, благодаря моей настойчивости и похвальной цели моих посещений, г-жа Лафон не стала противиться тому, чтобы я находилась возле нее, и сама не могла обойтись без меня. Я стала ее другом; мне поверяла она свое горе, я же была ее сиделкою (в последнее время она часто хворала).

Из других моих привязанностей в Смольном одна лишь дружба с г-жой Рубановской[12] была сериозным чувством. Она осталась моим единственным, искренним другом до последней минуты своей жизни. С обеих сторон чувство доходило до совершенной преданности. По смерти ее я имела счастие оказать услуги ее семейству, детям и тем исполнила священный долг, заплатив за ее дружбу, которая до того времени не требовала от меня ни малейшего пожертвования. Искусное перо могло бы написать целую книгу о ее добродетелях, несчастиях и твердости духа, которая послужила бы к назиданию многих.

Остается мне поговорить о И.И. Бецком, игравшем столь важную роль в моей жизни с самого детства моего и до замужества. Затрудняюсь опре-

делить его характер. Чем более я о нем думаю, тем смутнее становится он для меня. Было время, когда влияние его на меня походило на очарование. Имея возможность делать из меня что ему вздумается, он по своей же ошибке лишился этого права. С сожалением высказываю это, но от истины отступать не хочу. Факты докажут, что мы, несмотря на свободную волю, не можем избежать своей судьбы.

И.И. Бецкий своим усердием, бескорыстием и патриотизмом отличался во всех отраслях вверяемого ему управления. Своими заслугами он достиг высших должностей, всеобщего уважения и полного доверия великой Екатерины. Полезные заведения, основанные им для общественного блага, были его величайшими заслугами. О значении, какое он имел, забыли; но заслуги его останутся всем памятны. Воспитательные дома в Москве и Петербурге[13] и два заведения при Смольном монастыре, одно для дворянских дочерей, другое — для мещанок[14], послужат незабвенными памятниками его трудов. Устав этих заведений, им составленный, свидетельствует о качествах его ума и сердца.

Императрица, определившая значительные суммы на содержание этих заведений, поручила их Бецкому, которому принадлежит честь составления плана и исполнения его. Будучи единственным распорядителем в этом предприятии, он не упустил из виду ни малейшей подробности, победил величайшие затруднения. Он удачно выбирал лиц, которые должны были помочь ему в деле. Они являлись со всех сторон; каждого допускал он к себе и в выборе своем редко ошибался, что могут засвидетельствовать даже самые враги его. Этого удивительного человека, этого почтенного старца приучили нас уважать как отца и защитника.

Таков он был до последней минуты нашего пребывания в Смольном для всех воспитанниц; достойнейшим старался доставить самые большие преимущества и был в этом случае справедлив без малейшего лицемерия. Отношения его ко мне были иного рода. С первого взгляда я стала его любимейшим ребенком, его сокровищем. Чувство его дошло до такой степени, что я стала предметом его нежнейших чувств, целью всех его мыслей. Это предпочтение нисколько не вредило другим, так как я им пользовалась для блага других: ничего не прося для себя, я всего добивалась для своих подруг, которые благодарны мне были за мое бескорыстие и вследствие этого еще более любили меня. Я не переставала просить его за всех, кто нуждался в его покровительстве, и не тщетно. Он всегда

исполнял мои просьбы. Имея намерение доставить какое-либо удовольствие воспитанницам, он сообщал мне об этом заранее и приводил свою мысль в исполнение лишь по настоятельной моей просьбе, так что за доставленную им радость честь приписывалась мне. Я любила Ивана Ивановича с детскою доверчивостию, как нежного и снисходительного отца, в котором я не подозревала ни единого недостатка и о достоинствах которого мне постоянно твердили. Я бессознательно чувствовала, что он мне подчинялся, но не злоупотребляла этим, предупреждая малейшие желания его. Исполненная уважения к его почтенному возрасту, я не только была стыдлива перед ним, но даже застенчива. Все мы были очень скромны, несмотря на полную свободу, в которой нас воспитывали. Впрочем, теперь не об этом идет речь. Я говорила о привязанности моей к Бецкому; безграничное чувство мое не имело особенной цены: с его стороны были все жертвы, я же лишь поддавалась упоительному чувству, составлявшему мое счастие. Но он мне не внушал такого доверия, как г-жа Лафон: перед нею я изливала свои чувства, а при нем радовалась, не высказываясь. Г-жу Лафон спрашивала я, хорошо или дурно я поступала. Она так умела направить мои мысли, что поведение мое всегда согласовалось с ее советами. Вскоре г-н Бецкий перестал скрывать свои чувства ко мне и во всеуслышание объявил, что я его любимейшее дитя, что он берет меня на свое попечение и торжественно поклялся в этом моей матери, затеплив лампаду перед образом Спасителя. Он перед светом удочерил меня. Три года пролетели как один день, посреди постоянных любезностей, внимания, ласок, нежных забот, которые окончательно околдовали меня. Тогда бы я охотно посвятила ему свою жизнь. Я желала лишь его счастия; любить и быть так всецело любимою казалось мне верхом блаженства. Я ровно ничего не смыслила в денежных расчетах и не обращала внимания на нашептывание о его богатстве; меня пугала мысль о перемене, а между тем пора ее настала, и участь моя должна была решиться.

Г-н Бецкий стал внимательнее, чем когда-либо; ни холод, ни дурная погода не удерживали его; ежедневно являлся он ко мне, под конец даже по два раза на день. Только мной и занимался, беседовал со мной о моей будущности. Видя, что я ничего не понимаю и что разговор этот мне надоедал, он решился действовать как бы согласно с моим характером и склонностями; на самом же деле он управлял мной по-своему. Стараясь удалить меня от всех, кто пользовался моим доверием и самому вполне

овладеть им, он так ловко устроил, что никто не смел открыть мне его намерений, а они были так ясны, что когда я припоминаю его поведение, то удивляюсь своей глупости. Сначала он попробовал ослепить меня драгоценными подарками; я отказалась от них как излишних для меня. Потом шутя, при всех спросил меня, что я предпочитаю: быть его женой или дочерью. «Дочерью, — отвечала я, — потому что одинаково могу жить возле вас, и никто не подумает, чтобы я любила вас из интереса, а не ради вас самих; говорят, что вы очень богаты». — «Но у вас ничего нет». — «Да разве мне чего-либо недостает?» Он смеялся до слез, переменял разговор, а я на все это не обращала внимания, как будто дело шло не обо мне.

При выпуске надо меня было одеть; родителей у меня не было, и Бецкий взялся позаботиться о моем гардеробе, приносил мне образчики разных материй и удивлялся, что я выбирала самые простые: и хорошо делала, потому что на другой день свадьбы мужу моему пришлось заплатить за них. Я была так неопытна, что воображала, что мне доставляют лишь должное. Между тем Императрица щедро помогала моему экипированию. Назначив меня для встречи будущей супруги Наследника[15] на русской границе, она ничего для меня не жалела. Меня всем снабдили на дорогу; к тому же у меня было 100 рублей, которые подарил мне брат Д[митрий]. Не зная цены деньгам, я истратила их в Риге, накупив подарков, которые я послала своим приятельницам. Разлука моя с Бецким огорчила его, но он в этой поездке находил ту выгоду, что, удаляясь от подруг и сближаясь со Двором, я нуждалась в его покровительстве. Несчастный старец, душа моя принадлежала тебе; одно слово, и я была бы твоею на всю жизнь. К чему были тонкости интриги в отношении к самому нежному и доверчивому существу?.. Тебя одного я любила и без всяких рассуждений вышла бы за тебя замуж. Значит, ты обманывал меня, говоря, что муж мой будет твоим сыном. И точно, он часто говорил со мной о блестящей участи, которую он мне готовил, и требовал от меня одного условия: выбрать того, кто согласится, подчиняясь ему, жить в доме, который он хотел мне подарить. Всякая бы другая заметила, что его поведение не согласовалось с его речами; я же о том догадалась, когда уже было поздно: поведение его сбило меня совершенно с толку. Покамест он все был ласков и выражал страсть свою, не называя ее. Потом, из ревности, начал удалять от меня даже женщин, меня возлюбивших. Я ничего не скрывала от него и лишь находила его менее любезным, потому что он дурно отзывался о тех, кто меня любил. Я, ничего не подозревая, простодушно на то сердилась.

Видя, что я не знаю света и что даже подозрение о зле возмущает меня, он всячески старался убедить меня, что все хотят меня обманывать, чтобы тем удалить меня от света. Он не выходил из моей комнаты и, даже когда меня не было дома, ожидал моего возвращения. Просыпаясь, я видела его около себя. Между тем он не объяснялся. Стараясь отвратить меня от замужества с кем-либо другим, он хотел, чтобы я решилась выйти за него как бы по собственному желанию, без всякого принуждения с его стороны. Страсть его дошла до крайних пределов и не была ни для кого тайною, хотя он скрывал ее под видом отцовской нежности. Я и не подозревала этого. В 75 лет он краснел, признаваясь, что жить без меня не может. Ему казалось весьма естественным, чтобы восемнадцатилетняя девушка, не имеющая понятия о любви, отдалась человеку, который пользуется ее расположением. Рассуждал он правильно, но ошибался в способах достигнуть своей цели. Повторяю, будь он откровеннее, я бы охотно сделалась его женою. Между тем многие искали мне нравиться. Из них лишь один, мой покойный муж[16], обратил на себя мое внимание. Сдержанный, почтительный, он пользовался расположением людей достойных уважения и доверия и желавших мне добра, между которыми был князь Орлов[17]. Он сериозно беседовал со мной об этом и говорил, что Императрица довольна бы была этим замужеством.

Г-н Ржевский сделал мне предложение. Я ничего не обещала ему, сказав, что завишу от Ивана Ивановича Бецкого, к которому пусть он и обратится. Он захотел знать, имею ли я к нему расположение и приму ли его предложение. Я отвечала, что не иначе как с согласия того, кто заменяет мне отца, а что без его одобрения я не отдам никому ни руки, ни сердца.

Я поспешила рассказать Ивану Ивановичу обо всем случившемся. К моему величайшему удивлению, этот человек, обыкновенно столь кроткий и сговорчивый, разгневался и пришел в отчаяние. Я растерялась, вообразив, что сделала большую неловкость; но хотела, однако, узнать, в чем именно. Успокоившись, он объяснил мне свою вспышку тем, что я огорчила его, необдуманно связав себя тем, что дала слово человеку, которого не знаю. При этом он мрачными красками описал, как меня поддели, употребив во зло имя Императрицы, и наконец сказал, что умрет с горя, если я буду несчастна. Всего этого достаточно было, чтобы внушить мне отвращение от всякого замужества. Я уверила его, что вовсе не

стою за эту партию, совершенно от нее отказываюсь и подчиняюсь его воле во всем, что касается моей судьбы. Успокоенный сверх ожиданий, он старался всячески изгладить сделанное на меня неприятное впечатление, оправдывал свою вспышку самою чувствительною нежностию ко мне, на коленях просил у меня прощения, предлагая мне требовать от него всевозможных жертв. Я стала просить за дочь г-жи Лафон; тотчас же он позволил мне объявить ей, что назначает ей 40 000 руб. Эта была счастливейшая минута моей жизни. (Слова своего он не сдержал под предлогом, будто бы поставил мне в условие не выходить замуж. Однако он мне не осмелился предложить оного.) С этой поры начались неприятности. Он меня опутывал интригами, причинял мне горести и заботы, внушал мне неразумные поступки, сам держась в стороне, и все это с целию лишить меня покровительства августейших особ, которые разоблачали его хитрости. Он все это делал не для того, чтобы меня губить, а чтобы заставить с отчаяния выйти за него замуж. Желая вооружить меня против разных лиц, он выдумывал на них небылицы и раздражал меня до того, что я готова была забыться перед ними. Он едва не одурачил меня. Но невидимая рука указывала мне правый путь в этом лабиринте интриг, и я выпуталась из сетей, расставленных перед моей невинностию и чистосердечием. Бог сохранил меня невредимою. Это отнесли к моей чести, я же убеждена была, что спасло меня Провидение. Книги недостанет, чтобы описать все западни, которые расставлял для меня человек, долгом которого было охранять мою молодость. Но страсть не рассуждает. Если никто не любил меня более Ивана Ивановича, зато никто не сделал мне столько зла, как он. Господь заботился о моей участи.

Разберем обстоятельства, сделавшие невозможным примирение, между тем как спору не должно было и существовать. Я более не думала о предложении Ржевского. Иван Иванович принял его прекрасно, разыграв как нельзя лучше роль нежного отца. Он составил план своего поведения и непременно достиг бы своих целей, если бы не случилось происшествия, расстроившего его намерения. Во-первых, в разговоре с г-ном Ржевским он уверил его, что препятствия были с моей стороны, что я противилась его желанию выдать меня замуж, увещевал его быть терпеливым, обещая действовать в его пользу. К несчастию, он напал на человека, который был хитрее его. Между тем как он по-своему учил меня, князь Орлов старался разъяснить мне, в чем дело; но меня так приучили быть недоверчи-

вою, что нельзя было подорвать влияния Ивана Ивановича. Орлов не щадил его в моих глазах, а меня сердило, что подвергали сомнению чистоту его намерений. С своей стороны Иван Иванович сообщал мне невыгодные отзывы о моем женихе. Между тем явился новый претендент, граф Брюль, которому покровительствовал Великий князь[18]. Он был приятный молодой человек; я видала его в Смольном, при Дворе, у графини Салтыковой, где мы вместе занимались музыкою. Он пел и играл на мандолине. Этого человека я могла бы сердечно любить, не будь я предупреждена, что девушка должна беречь свое сердце для человека, который за нее посватается. Я не могла понять намерений графа, приписывая его внимание ко мне обыкновенной светской любезности, которою я была окружена. Распускали слухи о скорой его тайной женитьбе на одной из бывших воспитанниц Смольного. Я верила этим слухам, не смея вдумываться в слышанное, тем менее расспрашивать его самого. Обратись он с предложением прямо ко мне, дело бы вышло иначе; но мне не разъяснили его чувств, а вмешательство Великого князя, вследствие некоторых обстоятельств, казалось мне подозрительным. Видя, что борьба ему не под силу, Иван Иванович выдумал хитрость, вследствие которой я почувствовала отвращение к ухаживанию графа и к участию Великого князя. Он представил мне дерзость их намерений. Я пришла в негодование, отказала наотрез и не велела мне поминать об этом. Великий князь, заметивший мое расположение к графу, которого он очень любил, весьма удивлен был моим отказом, причиной которого я выставляла слухи о скорой женитьбе графа; но, так как это были лишь сплетни, Великий князь не терял надежды победить мое упрямство и всеми силами старался об этом. Настойчивость его еще более убеждала меня в истине всего слышанного о нем. Иван Иванович решился во что бы то ни стало прекратить эти преследования. Призвав на помощь всю свою хитрость, он стал уверять меня, что его обманули в отзывах о Ржевском, что, собрав более точные сведения, он нашел эту партию выгодною и что мне следует дать свое согласие, но никому не говорить об этом, кроме Императрицы. Как сказано, так и сделано. Великий князь не унывал. Он открыто противился этому замужеству, дружески советовал мне иметь доверие к нему в том, что касается моего счастия, и говорил, что придет время и он докажет мне искренность своих слов, обогатив человека, который пока не имеет состояния. Я была непоколебима в своем отказе и, признаюсь, вопреки

своей склонности. Иван Иванович над всем восторжествовал. Надо знать, что делал он в это время. Отвлекая меня от человека, которого я бы охотно избрала, он запутывал меня в новые сети. Ему нельзя было унижать передо мной того, кого он только что восстановил в моем уважении, и потому он стал стараться возбуждать в нем виновность и ревность ко мне, заставлял его играть самую глупую роль, поощряя мои невинные ласки в его присутствии. Он выходил из терпения и готов был отказаться, если я не освобожу его от данного им обещания жить в одном доме с Бецким. Мне было тяжело огорчить старика, которому я считала себя обязанною посвятить всю жизнь. Я слегка противилась, а между тем сериозно размышляла о последствиях разрыва с Ржевским и о далеко не приятной зависимости от Ивана Ивановича, которая удерживала меня при Дворе, откуда я рвалась. Иван Иванович не терял меня из виду и едва не достиг своей цели. Но мне на помощь явился князь Орлов, который начал следить за каждым шагом Бецкого и открыл мне все его происки. Заслужив мое доверие, он добился того, что я решилась вперед слепо не поддаваться человеку, искавшему ввести меня в заблуждение. С помощью двоюродной сестры князя Орлова[19], жившей при Дворе, я ближе познакомилась с Ржевским и понемногу привязалась к нему. Этого не ожидали. Я стала тверда и последовательна в своих действиях. Тогда Бецкий стал еще деятельнее и решился ввести меня в немилость при Дворе Великой княгини, выставив меня неблагодарною, пред Императрицей и пред женихом двуличною, а их всех представил мне несправедливыми и достойными презрения. Я терпеть не могла придворную жизнь, желала распроститься с нею и выйти за Ржевского. Все это происходило весной перед отъездом в Царское Село, где Ржевский, с моего согласия, нашел помещение для себя, чтобы видаться со мной ежедневно. Императрица открыто покровительствовала моей свадьбе, хотя посредством преследований Бецкий вынуждал меня скрывать мое намерение и даже отложить свадьбу на два года. Будучи не в состоянии расстроить дело, он надеялся на время и на могущество интриги. И точно, в тот день, когда я укладывалась в дорогу, а Бецкий расхаживал взад и вперед, за мной прислала Великая княгиня. Она встретила меня в слезах и объявила мне, что Императрица приказала мне остаться в городе. Я просила Великого князя постараться об отмене этого приказания. Он два раза ходил к Императрице и объявил нам, что тут кроется какая-то тайна. Императрица не хотела выска-

заться, а лишь сказала ему, что не желает стеснять меня и, согласно моему желанию, позволяет мне подышать на свободе и отдохнуть от ревности его жены; прибавил, что напрасно я настаиваю, что он ничему этому не верит, зная мою правдивость и неспособность сочинить непростительную ложь. Великая княгиня сильно вспылила, я рассердилась и внезапно ушла. Бецкий ждал меня, все устроив по-своему. Он уверил меня, что сейчас вернулся от Императрицы, которая сказала ему, что, по настоятельной просьбе Великой княгини, оставляет меня в городе без ведома ее мужа, чтобы удалить меня от него. Мне рассказ показался правдоподобным. Императрица, желая семейного согласия, могла потакать капризам невестки. Но последней я не могла простить ее поведения в отношении ко мне, в случае, в котором она одна была виновата. Я не сдержала своего негодования. Вместо того чтобы успокоить меня, Бецкий приходил в ярость, говоря, что эта немилость окончательно испортит мою репутацию, о которой и без того ходят невыгодные слухи. Я клялась, что не хочу более оставаться при Дворе, где служу яблоком раздора. Этого он только и ждал. Сейчас представил он мне самые привлекательные картины жизни посреди дружбы, под отцовским кровом; хотел тотчас же перевести свой дом на мое имя, окружить всеми лицами, к которым я была привязана в Смольном, выписать оркестр из Германии, инструменты из Англии, дать мне способ усовершенствоваться в музыке и живописи, задавать балы, играть комедии и т.д. Горесть моя сменилась радостию; я поддалась уму и благосклонности моего защитника. Ему необходимо было поддерживать во мне это настроение, поспешить исполнением своих намерений. Все бы было потеряно, если бы кто-либо открыл мне истину. Он не дал мне даже проститься с Их Императорскими Высочествами и повез меня обедать к г-же Лафон. Ей он насказал, что хотел, и расположил в свою пользу, так что, обманутая подобно мне, она убеждала меня следовать впредь лишь советам Ивана Ивановича. Мне не пришлось побыть с нею наедине; я лишь заметила, что она была чем-то стеснена и беспокойна: будучи подвластна Бецкому, она считала себя обязанною во всем помогать ему; но грусть проглядывала на ее лице. Привыкши угадывать ее мысли, я поняла, что мне грозит опасность. Я была грустна и задумчива во весь вечер, проведенный у Ивана Ивановича. Мне хотелось повидаться с женихом; послали пригласить его на следующий день, но он отказался под предлогом нездоровья. Тогда его начали бранить, представили его низким, подлым куртизаном[20], которого влекла ко мне лишь выгода и который покидал

меня при кажущейся немилости. Я стала его защищать: такие неосновательные обвинения не согласовались с чистотой моего сердца и возвышенностию чувств; я с презрением отвергала их. Г-жа Рибас[21] — фурия, дьявол воплощенный, заклятый враг, отравила мое чистосердечие. Ядовито отзывалась она о Дворе, о всем человечестве, о глупой слепоте моей в отношении ко злу. Я попала точно в ад, и впервые зло показалось мне возможным. Я считала ее самым злейшим существом, и в ее-то обществе мне пришлось бы провести всю жизнь. Я испытывала дотоле неведомую мне грусть, которой я вовсе не скрывала и, не стесняясь, упрекала ее. По-видимому, она, стараясь помочь Бецкому, перешла границы. У нее были собственные планы: для нее необходимо было внушить мне отвращение к дому, в котором она была хозяйкою. Бецкий, испугавшись впечатления, сделанного на меня ее речами, присоединился ко мне, осыпая ее упреками. Чтобы развлечь меня, он повез меня кататься, и как нарочно мы встретили Ржевского, который сказывался больным. Старик подхватил этот случай и начал мне доказывать, что Рибас отчасти права, и в свою очередь описывал Ржевского самыми черными красками. Грусть овладела мной, но гордость оживила мою потрясенную душу. Проезжая мимо Ржевского, я приметила знак радости, обещавший мне разъяснение всего. Возвратясь во дворец в сопровождении сестры, я получила через горничную записку от Ржевского, который просил у меня свидания в тайне от старика, имея сообщить мне нечто весьма важное. И точно, в присутствии сестры моей он разоблачил передо мной тайны, которыми меня окружали, чтобы поставить непреодолимые преграды между нами. Он признался, что сам был обманут, подозревая, что я изменила ему, и всячески старался добиться истины; передал мне, что Императрица сказала князю Орлову, что Бецкий весь день не давал ей покою, от моего имени прося ее оставить меня в городе для приготовления приданого. С моей стороны я рассказала ему, как произошло все вышеописанное. Все разъяснилось, и объяснение это привело к желанной развязке.

Будучи уверена в чувствах Ржевского, я все простила Ивану Ивановичу и, чтобы не сконфузить его окончательно, скрыла от него, как известны мне были все его проделки. Он же до конца продолжал свои интриги; но, совершенно проиграв дело, так как хитрость его была обнаружена, он должен был охотно согласиться на наш брак. Из уважения я подчинялась его власти. Как отец, он необходим был для моего счастия, единственное же его желание было сделаться моим мужем. Я начала прими-

рением с Великой княгиней, которая считала себя обиженной моим обращением с нею при таких обстоятельствах, в которых она не была нисколько виновата. Я написала ей без ведома своего опекуна. Мы объяснились, и прошлое было забыто. Я вернулась ко Двору, где все принимали живое участие в моем замужестве. Все нас восхваляли, порицая моего гонителя и уговаривая меня скорее окончить дело, чтобы избавиться новых преследований. Императрица ожидала лишь моего решения, готовая нас благословить; но я в этом случае не хотела обойти старика, заменявшего мне отца, и желая получить высочайшее разрешение по его ходатайству. Он совсем потерялся и полагал, что, отсрочивая доложить об этом Императрице, он в состоянии будет расстроить дело. Он употребил все свое влияние на меня: соблазнительные обещания, горесть его и отчаяние, которого я не могла выносить. Ласки его сменялись угрозами. Наконец он заставил г-жу Лафон написать письмо, исполненное упреков, в котором она мне доказывала, что я буду самая неблагодарная девушка, если откажусь выйти за Бецкого. Напрасно уверяла я Ивана Ивановича, что все это ни к чему не ведет, что я люблю Ржевского. Он по-своему объяснял вещи, полагая, что я должна отказать Ржевскому, потому что я привязалась к нему лишь вследствие его собственных стараний об этом и что он мог требовать от меня изменения решения моего. Легко было опровергнуть эти софизмы, тем более что я вследствие им же данных уроков привыкла думать и рассуждать. Он приставал ко мне и мучил меня с утра до вечера. Его проделки лишь ускорили развязку дела. Я устала от страдания и объявила, что, ежели он будет продолжать мучить меня, я обойдусь и без его вмешательства в деле, в котором он играет роль вследствие моей же собственной воли. Ему пришлось покончить. Тогда он вывел на сцену давно забытое условие, а именно: обещание поселиться у него в доме, которое прежде пугало Ржевского и на которое он рассчитывал, чтобы расстроить свадьбу. Он унижался до мольбы передо мной, представляя необходимым для нашей репутации, чтобы мы хотя на несколько месяцев поселились в доме, который он устроил для нас. Я окончательно уговорила Ржевского согласиться. Тогда интриги прекратились, но Иван Иванович все-таки надеялся поколебать мою решимость и добиться моей руки с помощию своего настойчивого постоянства. Перед алтарем, будучи посаженым отцом, он представлял мне примеры замужеств, расходившихся во время самого обряда венчания, и подстрекал меня посту-

пить таким же образом. Замужество мое положило конец всем спорам. С дочернею нежностию старалась я утешить Ивана Ивановича, но усилия мои были бесполезны: дружба не могла удовлетворить его страсти. Мое положение становилось невыносимым посреди любви мужа и дружбы Ивана Ивановича. Оба они считали себя обиженными мною и мучили меня. Удовлетворить их притязаниям не было возможности; надо было дать предпочтение одному из них. Бецкий старался поссорить меня с мужем, попрежнему возбуждая его ревность и уверяя его, что он не может рассчитывать на исключительную привязанность ребенка, который ему, старику, изменил бессовестно. Мне он представлял ожидающее меня несчастие — жить с мужем при его подозрительном и вспыльчивом характере. Когда я упрекала его за все, что он насказывал обо мне мужу моему, он начинал ругать его, говоря, что он обращает в мрачную сторону его речи, убеждал меня не доверять человеку, неспособному оценить меня и который во зло употребил мое доверие. В поведении Ивана Ивановича я ясно видела намерение поссорить меня с мужем, отталкивая его от меня оскорблениями, а нежностию и обещаниями богатства завладеть мною. Он искал случая захватить меня в свои руки, не заботясь добиться на то моего согласия. Я вовремя остановила его. Доказав ему громадность его вины, предложив все способы примирения, я объявила ему, что я и муж более не должны оставаться в его доме; говорила, что от этого зависит его собственное спокойствие, и обещала во всю жизнь мою доказывать ему мою привязанность. Он и слышать не хотел об этом и, видя, что все настояния бесполезны, поклялся отмстить мне. На другой день я уехала. Он заболел, и г-жа Рибас распустила слух, что я убила его. С этого времени я навещала его, когда он этого желал, а его влекло ко мне неугасавшее чувство. Сначала он попробовал очернить меня в общественном мнении с помощию г-жи Рибас, а также и в глазах Императрицы, но поведение мое противоречило его словам. Впоследствии, поуспокоившись, он желал примириться со мною, но аргус[22] его противился этому. Он жаловался мне на обхождение с ним г-жи Рибас, тайно посылал ко мне своего доверенного камердинера, умоляя о помощи и прося оградить его от преследований г-жи Р[ибас], которую он уже не в силах был унять. Я приезжала и находила дверь запертою для меня: его уверяли, что меня нет в Петербурге. В эту пору он ослеп и почти терял рассудок. Прежде он мне говорил о своих распоряжениях, которые желал привести в исполне-

ние перед смертию, но его заставили изменить их. Это меня ничуть не заботило, но мне больно было видеть его в зависимости от самого неблагодарного создания, между тем как я не могла за ним ухаживать. Даже в последние дни его жизни меня не было при нем.

И.И. Бецкий мог мне сделать много добра, а между тем, имея самые благие намерения, он принес мне много вреда. Никто в мире не любил меня так сильно и с таким постоянством. Он мог сделаться моим мужем, служить мне отцом, благодетелем; но, по собственной вине не достигнув своих целей, он стал играть роль моего преследователя. Будучи предметом моей первой привязанности, он мог легко жениться на мне, без огласки, послужившей лишь к его стыду. Можно отчасти извинить скрытность и лукавство в свете, потому что они необходимы для преодоления встречаемых препятствий к достижению цели. Честолюбие и другие страсти, нуждаясь в некоторого рода оправдании, скрываются под благовидными предлогами; но чувства сердечные не имеют надобности в притворстве. Оба мы были свободны; отчета нам некому было отдавать; я была покорна и привязана к нему, он мог прямым путем достигнуть цели. К чему было стараться уверить свет, что страсть была с моей стороны, а что он женится на мне из желания осчастливить меня? Вот чего он добивался и почему принужден был прибегать к хитрости.

III
Об отношениях моих ко Двору

При Дворе и речи не бывает о глубоких и прочных чувствах; тут все поверхностно и подчиняется условным законам, которые беспрестанно изменяются; тут за свои личные качества столько же можно отвечать, сколько за царскую милость и за отличия, ею доставляемые.

Я говорила, с каким отвращением поступила я ко Двору; расскажу теперь, как тяжело мне было пробыть при нем около года. Потому странным могут показаться сношения мои со Двором, продолжавшиеся 26 лет и прекращенные вследствие немилости, ничем не заслуженной. Рассмотрим обстоятельства дела, лично меня касавшегося, но о котором до сих пор мне не пришлось сериозно подумать; зато праздные умы находили в нем пищу. Пора и мне поговорить об этом и доказать, что не все то золото, что блестит.

Не все тщеславны, суетны и низкопоклонны. Я имею счастие принадлежать к исключениям этого рода. Имея некоторую гордость душевную, я не поддавалась превратностям судьбы и посреди рабства сохраняла независимость, хотя и носила цепи, им налагаемые, но только до тех пор, пока положение это могло быть полезно детям моим; когда же они перестали в нем нуждаться, я покинула Двор.

Посмотрим, насколько каждый способен быть судьею в своем деле; буду рассуждать по-своему. У меня всегда был свой образ мыслей, хотя я не отвергала чужого мнения, когда признавала его разумнее своего. Выскажу всю правду. Пожалуй, рассказ мой покажется длинным, но все же может принести пользу неопытному.

Скажу лишь несколько слов об Императрице Екатерине II. Она была великодушна и добра. В моем детстве она облагодетельствовала меня, дав мне прекрасное образование. Впоследствии она заботилась о моей судьбе, взяла меня ко Двору[23], где защищала от интриг, которыми я была окружена. Обращение ее со мной было дружески-ласковое и внушающее почтение. Как нежная и снисходительная мать, она поощряла меня в развитии моих способностей, выставляла мое чистосердечие и ту долю природного ума, которым наградила меня природа, помогая мне и поддерживая меня в весьма трудном моем положении. Со времени моего замужества ей старались представить подозрительными мои сношения со Двором Великой княгини, но она не обращала на это внимания и при всяком удобном случае выражала мне свое благоволение. Вообще трудно перечислить, сколько я ей обязана. Всею моею любовию и почтением не могу я заплатить за ее благодеяния.

Хочу рассказать одно обстоятельство, случившееся задолго до всего рассказанного; оно доказывает, что нельзя миновать своей участи.

Еще в бытность мою в Смольном Наталья Алексеевна, первая супруга Великого князя, очень полюбила меня и всячески доказывала мне свою дружбу. По два и по три раза в неделю приезжала она в монастырь и проводила со мной по нескольку часов. Мы разговаривали и занимались музыкой. Она обещала взять меня к себе по окончании курса в качестве друга, выпросив согласие у Императрицы. Когда я была нездорова, она навещала меня. В последнее время своей беременности, будучи не в состоянии приехать в монастырь, она прислала ко мне графа Разумовского[24], которому поручила передать все цветы и конфеты в доказательство, что она не забывает обо мне. Незадолго перед смертию, лежа в постели, она

написала мне записку и прислала записку с графом Разумовским по случаю раздачи наград перед нашим выпуском из Смольного[25]. К несчастию, я затеряла эту записку, но у меня хранится письмо ее, писанное из Москвы и переданное мне братом ее принцем Дармштадтским[26]. Мне более не суждено было увидать ее, но место, которое она мне назначила, заняла я при той, которая заменила ее. Великий князь, обожавший ее, разделял ее предпочтение ко мне. С этой поры началось расположение его ко мне, бывшее причиной стольких неприятностей. Она была очень умна, любезна, приятна, вот все, что я могу сказать об ней. Я любила ее, жалела о ней и искренно оплакивала ее кончину.

Вскоре Великий князь уехал в Берлин, чтобы увидеть принцессу, которую ему назначили в супруги[27]. Получив ее согласие, поспешили послать к ней навстречу лиц, назначенных для ее придворного штата, в числе которых была я. Мы встретились с Великим князем за Митавою. Это было мое первое свидание с ним после его горестной потери. Я не могла удержать слез; он был тронут, хвалил мне свою невесту, был любезен и уехал. В Мемеле представили нас будущей Великой княгине. Меня поразили ее красота, молодость и простота в обращении. Когда дошла до меня очередь, она, с улыбкой обращаясь ко мне, сказала, что Великий князь особенно хвалил меня. Во всю дорогу она оказывала мне предпочтение; как казалось, она была предубеждена против супруги фельдмаршала Румянцева[28] и почти не обращала на нее внимания. По приезде в Петербург и до самой свадьбы происходили представления ко Двору, давались праздники, балы, и мне почти не приходилось видеть Великую княгиню наедине. Это было самое приятное время в моей придворной жизни. Впоследствии меня назначили компаньонкой к Великой княгине: я должна была читать ей вслух, присутствовать при уроках, которые она брала, сопровождать ее всюду, ко Двору Императрицы, в концерты, на балы, в собрания, в церковь, на прогулки и т.д. У меня не было свободной минуты. Я отдыхала только во время своего туалета или в те дни, когда под предлогом нездоровья обедала у себя в комнате или оставалась дома, чтобы только избавиться от докучливых выездов.

Одно время Великая княгиня была расположена ко мне, но это продолжалось недолго. Она постепенно стала охладевать, стала сдержанна, потом начала холодно обращаться со мной. К великому удивлению моему, я узнала, что ревность была причиной этой перемены. Мне тверди-

ли это со всех сторон. Но я знала, что не за что было упрекнуть меня, что, напротив, любезность моя доходила до того, что я жертвовала свободными минутами, стесняя себя, и потому нетерпеливо выносила нападки Великой княгини. Когда же мне объяснили, в чем дело, неудовольствие мое сменилось состраданием; я стала к ней еще внимательнее и разуверила ее на мой счет, но к мужу она оставалась по-прежнему недоверчивою, передавала мне свои горести, сомнения, и мне редко удавалось успокоить ее. Сначала она необдуманно поддалась обидным для меня подозрениям, жаловалась первому встречному и обращала общее внимание на мое поведение, которое объясняла по-своему. Но все это послужило в мою пользу, выказав мою невинность... Видно, что она мало заслуживала мою любовь, но по свойственной мне чувствительности я извиняла ее заблуждения и оказывала ей более уважения и признательности, нежели мужу ее, которого я имела основание любить и уважать. Всегда любезный и почтительный, он старался самою нежною внимательностию вознаградить меня за неприятности, которые мне приходилось переносить из-за него. Чтобы не подтвердить ложных слухов, он не изменял своего обращения со мною. На него обижались, а он в присутствии жены и всех вообще только мною и занимался и был любезен донельзя. Когда я его предостерегала, он отвечал, что ему надоели все сплетни, что он знать их не хочет, и по-прежнему был ко мне внимателен. Это продолжалось до моего замужества. Я надеялась, что свадьба моя положит конец этому ухаживанию. Ничуть не бывало: оно еще усилилось. Великая княгиня присоединилась к мужу; оба упрашивали меня принять участие во всех их удовольствиях. Между нами завязалась дружба, продолжавшаяся десять лет. Мне нужно было съездить в Москву. Во время моего отсутствия Великий князь привязался к Нелидовой[29]. Но прежде чем говорить об этом, посмотрим, что могло быть для меня привлекательного в дружбе, отнимавшей у меня время, которое я могла бы проводить в семейном кругу, и имевшей в глазах света вид необыкновенной милости. Великий князь искренно любил меня и старался быть полезным всем моим близким. Доверие его было безгранично, равно и постоянство в дружбе. Он смотрел на нас с мужем как на своих верных друзей. Сознавая, что мы жертвовали своими выгодами ради его, он был вполне благодарен.

Великая княгиня старалась превзойти мужа в любезности к нам, но, так как она действовала неискренно, у нее выходили противоречия на

каждом шагу. Ревность в ней боролась с уважением, которого я заслуживала. Своим обхождением она даже теряла право на благодарность с моей стороны... На то, что Их Высочества езжали к нам, смотрели недоброжелательно. Живя весьма скромно, мы не могли доставить им ни малейшего развлечения. Имея возможность постоянно видеть нас у себя, они непременно хотели бывать у нас в доме: приезжали то завтракать, то обедать. Все это возбуждало толки. Дружба наша была самого невинного свойства. Между тем милость эта обходилась мне весьма дорого, причиняя мне много неприятностей. До сих пор Великая княгиня действовала лишь из подражания мужу. Но Великий князь не упускал случая доказать нам свое уважение. Не любя шумных удовольствий, он искал общества близких ему людей и в беседе с ними был откровенен и доверчив. Я замечала в нем лишь хорошие свойства: чистоту намерений, прямоту, благородство души, великодушие, весьма приятный ум и особенную способность убеждать людей. Когда он хотел нравиться, нельзя было противиться его обаянию. Его некрасивая наружность и резкие манеры в обществе становились неприметными в дружеском кругу. В эту пору он был хорошим мужем, сыном и отцом. Необходимо было окружать его честными людьми; он легко поддавался влиянию лиц, искавших его доверия, и следовал их советам. Будучи доверчив по природе, он стал подозрительным вследствие обманов, которым подвергался. Что касается до меня, я всегда говорила ему правду. Он так привык верить мне, что, даже когда был мной недоволен, не переставал оказывать мне уважение. Не хвастаясь, могу сказать, что я удерживала его в пределах долга в отношении к его супруге, восхваляя ее достоинства. Не так действовала Нелидова, когда она попала в милость.

По возвращении моем из Москвы, где я провела два года, я нашла большие перемены в образе жизни Их Императорских Высочеств. Они принимали только особ, составляющих их придворный штат. Великая княгиня тотчас приехала ко мне, но одна. Великого князя я встретила на бале; он обрадовался моему возвращению, упрекал за то, что я по-прежнему не навещаю их, был любезен во весь вечер и только со мною танцевал. Он говорил мне о своих домашних неприятностях, причиной которых была г-жа Бенкендорф[30], любимица его жены. Великая княгиня и ее наперсницы пришли в негодование и всячески старались выказать свое неудовольствие. Г-жа Бенкендорф начала осуждать мой наряд, который

находила слишком небрежным. Я объясняла ей, что я только что с дороги, что вещи мои еще не получены и потому я всячески отговаривалась от бала. Она отошла, надувшись, и мне самой было неловко. Великий князь издали наблюдал за нами; лишь только она ушла, он подошел ко мне, пригласил меня на польский и настойчиво добивался узнать причину моего неудовольствия. Я сказала, что мне неловко быть в шляпе, когда все в нарядных чепцах, и хотела удалиться; но он не пустил меня, говоря, что я прекрасно одета и что все завидуют моей красоте, в простом наряде в английском вкусе. Во весь вечер он не отходил от меня и прислуживал мне за ужином. С Великою княгинею мне не было времени поздороваться. А Великий князь приглашал одну меня, давая понять, что без меня не явится на праздник. Когда я ему заметила, что оказываемое мне предпочтение могут истолковать в дурную сторону, увеселения вдруг прекратились, и Их Императорские Высочества начали жить уединенно. До меня дошли слухи о частых размолвках, происходивших в их домашней жизни. Причиной этого была г-жа Нелидова, овладевшая умом Великого князя[31]. Весьма умная, она была отвратительно нехороша собою. Великий князь прежде не мог ее терпеть, считал ее страшно злою, и мне не раз приходилось защищать ее. Живя вдалеке от Двора, я не хотела верить этим сплетням. Мой заклятый враг г-жа Бенкендорф (у которой я не бывала и которая не ездила ко мне) подтвердила мне верность всего слышанного мной. Она явилась ко мне с поручением передать мне обо всем, завербовать меня в приверженницы Великой княгини и заставить противодействовать ее врагам. Я неспособна была к интригам и со свойственной мне прямотой искренно пожалела о Великой княгине, обещая быть ей преданнее, чем когда-либо. Любя Великого князя, я сначала не хотела мешаться в это дело. Однако я поговорила откровенно с г-жой Нелидовой, высказав ей свой образ мыслей. Она нисколько не рассердилась на меня, а Великий князь, с которым я встречалась лишь в обществе, продолжал оказывать мне величайшее внимание. Великая княгиня начала хвалить меня, сравнивая мое поведение с поведением Нелидовой. Восхваляя мою добродетель, она думала заслужить расположение мужа, но этим лишь восстановила его против себя, окончательно повредив мне без моего ведома. Во время моих последних родов она у меня назначала свидания г-же Бенкендорф, которую Великий князь выслал из города, о чем я и не знала. Это дошло до сведения Великого князя, и с этих пор он не переставал сер-

диться на меня. Однако, сделавшись Императором, он не мстил мне, а ограничился лишь тем, что более не оказывал мне милости; но при всяком удобном случае выражал свое выгодное мнение о моем характере и изъявлял свое уважение ко мне. Со времени вступления его на престол мы стали реже видеться. Супруга его сделала фрейлиною дочь мою[32] и пожаловала мне малый орден Св. Екатерины[33]. В обществе она отличала меня, в частной же жизни стала неприступною; а я, с своей стороны, не заискивала ее расположения.

Не желая уронить своего достоинства, я держалась в стороне. Возвращаясь с аудиенции, я встретила знаменитого Кутайсова[34]. Он радостно схватил мои руки, говоря: «Я надеюсь, что мы заживем по-прежнему». — «Как бы не так», — думала я про себя.

Так произошло наше первое свидание. Но надо отдать справедливость Великой княгине. Сделавшись Императрицею, она не только оказывала мне свое расположение, но и ходатайствовала перед супругом своим за мужа моего и за детей. Видно было ее желание вознаградить меня за все, что приходилось мне терпеть до той поры. Несмотря на это, она полагала нужным для сохранения достоинства своего высокого сана принимать меня стоя. Во все царствование она одинакова была в отношении ко мне. Но сама она не была счастлива. Каждый раз, когда она выражала мне свое расположение, Император сердился. А когда он занимался мною и Императрица хотела принять участие в нашей беседе, он повертывался и уходил.

Несмотря на недоброжелательство и козни завистников, обращение его со мною было иное, чем с другими. Все замечали, что он расположен был возвратить мне прежнюю милость, но я не желала этого и нехотя являлась ко Двору, сопровождая дочь мою. После же ее замужества я перестала бывать при Дворе.

По случаю этой свадьбы Император был очень в духе, желал присутствовать при одевании невесты и велел сделать роскошные приготовления. Свадьба должна была происходить в Павловске. Фавориты Императора, Кутайсов и княгиня Гагарина[35], были недовольны всем этим. Чтобы досадить мне, Кутайсов, бывший в должности обер-шталмейстера, замедлил прислать к нам в Царское Село придворные экипажи. Зная, что Император терпеть не может, чтобы опаздывали, мы сели в свои кареты и отправились, найдя придворные экипажи около дворца. Мы прибыли ко Двору двумя часами позднее назначенного времени и нашли всех в трево-

ге. Императрица, будучи в отчаянии, всячески старалась скрыть от меня причину тревоги, а между тем все бегали, шептались, и туалет невесты не подвигался. Деликатность Императрицы в этом случае не изгладится из моей памяти. Дело было в том, что Император приказал отрешить от должности моего мужа, жениха и его отца[36]. Тщетно старались умилостивить разгневанного Императора. Ни Император, ни Императрица не присутствовали на свадьбе, и был отдан строгий приказ, чтобы никто не смел на ней присутствовать, кроме необходимых свидетелей. По прибытии в церковь не начинали службы, надеясь, что удастся укротить гнев Императора. Я не ведала причины всей этой суматохи, думала лишь о решившейся участи моей дочери, молилась о ее счастии и ждала вместе с другими прибытия Их Величеств. Наконец вбежал запыхавшийся Нарышкин и объявил, что Их Императорские Величества не будут. Я, как бы проснувшись при этом известии, обратилась к нему, спрашивая, что все это значит. Он отвечал, что ему очень прискорбно, но что Государь ужасно рассержен. Я сказала ему, что так как он отчасти виноват в этом, то должен немедленно объявить Императору о нашей невиновности. Потом я в первый раз в жизни заговорила с княгиней Гагариной, настойчиво требуя, чтобы она отправилась к Императору и объявила ему, что я не выйду из церкви, если не будет им признана наша невиновность, что все это вредит репутации моей дочери и что, наконец, сама я заслуживаю более уважения; словом, я высказала ей все, что было у меня на душе. Напрасно уверяла она меня, что не имеет свободного доступа к Императору. На это я сказала ей, что в подобных только случаях свободный доступ ее к Царю может принести ей честь и что я знаю, что Император всегда охотно выслушает истину. Наконец она решилась написать Государю из церкви карандашом на клочке бумаги. Записку тотчас отправили; венчание не кончилось, когда прибыл Кутайсов, умоляя меня во имя Бога не выражать своего неудовольствия перед Императором, который успокоился и приглашает меня со всем семейством к себе в кабинет: такой милости он никому доселе не оказывал. Он обошелся с нами как нельзя лучше, осыпал нас любезностями, и все мы остались весьма довольны его приемом.

После этого происшествия я прекратила всякое сношение со Двором. Там становилось небезопасно. До меня доходили слухи о бурях, происходивших при Дворе, где громовые удары сыпались без различия на больших и на малых. Отдаление мое от Двора не оградило меня от опалы. Муж

мой со многими другими сенаторами, столь же пожилыми и честными, как он, без всякой вины отрешен был от должности[37]. Но ему назначили пенсион за пятидесятилетнюю службу.

С шестнадцатилетним сыном моим Павлом[38] поступили недостойным образом. Прямо из маскарада его повезли в крепость, где он провел ночь в сыром и душном каземате из-за того только, что он в польском осмелился подойти близко к Императору. Впрочем, не стану пересказывать дело в подробностях, потому что Император старался вполне загладить этот поступок, как бы извиняясь в нем перед моим мужем. Он не знал сына моего и весьма сожалел об огорчении, которое причинил нам. Через четыре недели Государя не стало. Последний раз я его видела за год до кончины.

Таким образом, зло, которое мне делал Павел I, всегда было необдуманно. Снисходительность его ко мне считаю за особую милость, потому что он никого не щадил. Но между тем ни один государь не может сравниться с ним в расточительности касательно наград. Он обогащал, подчас и возводил в важные должности лиц, не имевших ни заслуг, ни особенных достоинств, являвшихся неизвестно откуда. При восшествии на престол он во все стороны раздавал громадные состояния, и не знаю, почему он обделил мою семью. Я имела немало прав на его милость. Это все сознавали, даже обогащенные им лица осуждали его несправедливость ко мне. Я никогда не искала его милостей, не желала их и не сокрушалась, будучи лишена их. Князь Безбородко[39] поместил мое имя в списке лиц, представленных к награде. Император вычеркнул его, и мне передали слова, сказанные им по этому поводу: «Она чересчур горда». Он заслуживает упрек с моей стороны. Император не обязан оказывать милости подданным, но должен быть к ним справедливым. А он был несправедлив по отношению к моему мужу в одном процессе с казною. Тяжба была давно окончена в нашу пользу, оставалось вознаградить нас за понесенный ущерб. Мы очень нуждались в вознаграждении, так как состояние наше было незначительно; кроме того, мы имели долги. Государь не хотел отвечать на многократные просьбы наши. Это был единственный случай, в котором я была огорчена его поведением, потому что мужу моему это было очень прискорбно. Вообще же я никогда не разбирала причин его поступков.

Мне было легче, чем кому-либо узнать Двор, если б я желала изучить его. Но я говорила, что моим единственным желанием было избавиться от придворной жизни. Я пользовалась малейшим неудовольствием, что-

бы удалиться, но меня постоянно вызывали обратно. Невольно сравнивала я свое положение с положением придворных вообще, которые, имея титулы, богатство, знатность, льнут ко Двору, подвергая себя унижениям, лишь бы добиться снисходительного взгляда монарха. Но меня удивляло, что моему положению при Дворе приписывали какую-то прочность. Не будучи тщеславна, я оставалась чужда и радостям, и беспокойствам. Я как бы поставлена была выше всех почестей, пользуясь непрочным титулом друга. При Дворе дружба — своего рода должность, требующая постоянного подчинения. Считая вас вполне вознагражденными отличием, которого вас удостаивают, вам отказывают в услугах, даже когда вы крайне в них нуждаетесь. Мне вменялось в обязанность быть всегда любезною. Оно нетрудно, когда все расположены признавать вас любезною: при Дворе тех, кто пользуется милостию, восхваляют не по заслугам. Положение мое, заслуживая мне уважение и внимание, не приносило никаких существенных выгод, и потому у меня не было и завистников. Но мне в тягость было придворное рабство при любви моей к домашней жизни, и я более делала усилий, чтобы выйти из моего положения, нежели сколько было нужно для сохранения его, о чем я не заботилась. Всякий раз возвращаясь домой из дворца, я позабывала обо всем, там происходившем, и лишь жалела о потерянном времени. Я оставалась всегда покойна. На поприще, где всякий подвигается ощупью, я с беспечностью отдавалась на волю судьбы. Среди развращения я сохранила чистоту нрава и всегда действовала прямо, никого не вооружая против себя. Все это истинная правда.

Перечисляя вкратце все происшествия царствования Императора Павла, относящиеся ко мне лично, сделаю несколько общих замечаний, дающих повод к размышлениям. Во-первых, история г-жи Нелидовой потребовала бы целые томы, если бы описать ее подробно. Так как она происходила в моем отсутствии, расскажу лишь ее важные черты. Павел сблизился с Нелидовой, еще будучи Великим князем, что было причиной изменений в домашней жизни его, не свидетельствующих в пользу Нелидовой. Произошла размолвка между супругами. Их явные ссоры повлияли на множество лиц как придворных, так и не принадлежащих ко Двору. Могу основательно говорить обо всем происходившем в эту пору, будучи единственной поверенной Великой княгини во время нерасположения к ней супруга ее, так как из всех ее друзей я одна отваживалась навещать ее по-прежнему, не подвергаясь личным оскорблениям, подоб-

но другим ее друзьям. Зато при возвращении монаршей милости одну меня лишили вознаграждения за незаслуженную опалу.

При восшествии на престол Императора Павла все милости оказывались через посредничество Нелидовой. Я обращалась к ней с просьбой за двух сестер моих, которым она оказала большие услуги, за что я ей благодарна. Вообще же она ко мне не благоволила. Но что казалось странным для всех, это расположение Императрицы к Нелидовой. Она доставляла ей все почести и отличия, зависящие исключительно от благоволения Императрицы; это можно было приписать воле Императора, но необъяснимо было то, что она сделала ее своим другом и защищала во время немилости, которой она вскоре подверглась, а по смерти Государя она стала с ней неразлучна.

Упомяну о низости людской, от которой мне пришлось пострадать по смерти Императрицы Екатерины.

Первой милостию Императора Павла при вступлении его на престол было пожалование во фрейлины дочери моей, из чего все заключили, что мне придется играть важную роль при Дворе, вследствие чего в течение нескольких дней ко мне нахлынуло множество друзей, принимавших участие в моей судьбе. Будучи опытна, я не стала разделять их надежд. К счастию, я вскоре от них избавилась. Впоследствии я узнавала, не выходя из дому, кто в милости при Дворе и кто нет. Те, кому не везло, постоянно вертелись у меня в доме; чуть лишь судьба им улыбалась, они переставали ездить ко мне. Из этого я заключила, что меня не жалуют при Дворе. О суета сует, до чего ты доводишь людей!

Я еще не упоминала о нашем юном Императоре Александре I. Посвящаю ему особую главу в моих воспоминаниях в знак моей признательности.

Он вырос на моих глазах и в детстве играл вместе с моими детьми. Во время отрочества его обстоятельства отвлекли меня от Двора, и нам не суждено было сблизиться.

Когда вследствие изменений при дворе Великого князя я стала реже посещать его, я видела Великого князя Александра лишь вскользь. При жизни Императрицы Екатерины мне не приходилось иметь сношений с молодым Великим князем, и я не думала в ту пору, что впоследствии он будет иметь влияние на мою участь.

Моему излюбленному, достойному и добродетельному старшему сыну Александру[40] пришлось поступить в Семеновский полк в ту пору, когда

Великий князь был назначен его шефом. Расположение В[еликого] князя к моему сыну отозвалось во всем семействе нашем. Он отличил его, удостоил своей дружбы, доверия, уважения и начал оказывать мне самое лестное внимание, как матери своего любимца. Мы оба, сын мой и я, были от него в восторге.

Встречаясь со мной, он постоянно говорил мне об Александре, не мог нахвалиться им. Слова его радовали меня более, чем некогда дружба его августейших родителей. Он окончательно очаровал меня своим поведением во время несчастия, случившегося с моим вторым сыном. Оно предсказывало, что подданные найдут в нем нежного отца. Сочувствие к нашим страданиям служило залогом для счастия наших детей в будущем. Из тысячи случаев приведу один, ко мне относящийся и свидетельствующий о добром его сердце. Угадав нашу горесть при арестовании сына моего Павла и не осмеливаясь открыто действовать, он дождался времени, когда Император заснул и отправил к нам в первом часу ночи князя Петра Михайловича Волконского[41] и г-на Федора Петровича Уварова[42] утешать нас, обещая на следующий день всячески ходатайствовать за сына нашего. Он сдержал свое слово. Впоследствии я узнала, что, заступаясь за несчастные жертвы произвола, он подвергал самого себя отцовскому гневу. Вовек не забуду, как он порадовал нас своим участием.

По смерти мужа моего Император назначил мне 4000 рублей пенсии и соизволил пожаловать мне 63 000 на уплату долгов. Кроме того, он исполнил мою просьбу об одном бедном семействе и вывел его из бедственного положения, также оказал помощь и другому семейству.

По мнению вдовствующей Императрицы, я была виновата перед ней в том, что, не посоветовавшись с нею насчет моего замужества[43], обратилась прямо к Императору. Она еще более рассердилась, узнав, что Император удостоил меня своим посещением. Я вовсе этого не добивалась, а случилось это вот каким образом. Я просила аудиенции у Императора через графа Толстого[44]. Последний вернулся через полчаса и объявил мне, что Император просит позволения приехать ко мне. Я приняла его, внутренне недовольная оказанною мне честью, предвидя гнев вдовствующей Императрицы. Когда я ему изложила все причины принятого мною решения, вот в каких выражениях он мне отвечал: «Никто не вправе разбирать, сообразуется ли такое замужество с вашими летами и положением в свете. Вы имеете полное право располагать собою и, по-моему, пре-

красно делаете, стараясь освятить таинством брака чувство, не воспрещаемое ни религией, ни законом чести. Так должно всегда поступать, если это только возможно. Я понимаю, что одиночество вам в тягость; дети, будучи на службе, не могут оказывать вам должного ухода. Вам нужен друг. По уважению, которое вы внушаете, в достоинстве вашего выбора нельзя сомневаться». Единственным его вопросом было, предупредила ли я детей моих и его мать о принятом мною решении. Я отвечала, что предупредила детей моих, а касательно вдовствующей Императрицы намекнула, что не миновать мне грозы, когда до нее дойдет о том слух; сказала, что равно и со стороны света ожидаю осуждений, и прибавила, что в поведении моем я обязана отдать отчет Богу да моему Государю, которым я облагодетельствована, что, получив его одобрение, я смело могу надеяться на его покровительство, буде окажется в нем нужда...

А. В. Стерлигова

Воспоминания

Счастливые годы, проведенные мною в Институте, не изгладятся никогда из моей памяти, и воспоминания о них заставляют горячо биться мое старое сердце и со слезами благодарности и признательности благоговеть перед теми высокими и светлыми личностями, которые не оставляли нас своими милостями и неусыпными заботами о нашем воспитании и благосостоянии. 25 июня 1898 года будет сто лет, как покойная Императрица Мария Феодоровна основала в Петербурге Екатерининский институт[1], отдав под него здание, ей принадлежавшее, Итальянский дворец[2]: так передавала нам классная дама Марья Григорьевна Аралова, которая хорошо помнила нашу высокую благотворительницу, в маленьком классе, во время ее посещений, носила за ней скамеечку и туфли и часто рассказывала нам много случаев и происшествий из прежней институтской жизни. Некоторые сохранились у меня в памяти, некоторые даже были записаны мною; но, к сожалению, мой ежедневный журнал, начатый со вступления в Институт, т.е. с августа 1850 года, не весь сохранился. Покажется странным, что я с ранних лет начала думать, рассуждать и как бы расценивать людей; но горе обыкновенно и детям, и молодежи приносит опытность и развивает их ранее, чем счастливая жизнь; а у меня было много горя. Поэтому я должна объяснить причину моего замкнутого характера. Я не любила ни танцев, ни музыки, но обожала, как говорят институтки, чтение.

Я родилась в богатой семье. Отец мой В.И. Дубровин[3] имел полторы тысячи душ крестьян в Калужской губернии Масальского уезда и более десяти тысяч десятин земли, человек образованный и умный. Он был потомственный дворянин Псковской губернии и остался сиротою семи лет. Опекун его генерал Сергей Васильевич Непейцын[4], родственник его по его матери Анне Степановне Азанчевской, отдал его и трех старших его братьев в корпус, а единственную сестру в Смольный институт[5]. Отец мой был не доволен воспитанием сестры и говорил, что никогда ни одну из своих дочерей не поместит в Институт; но вышло иначе. Достигнув совершеннолетия, отец продал свою часть братьям, а сам сперва купил в Брянском уезде село Чернетево, продал его княгине Солнцевой и вскоре купил семнадцать деревень у графа Орлова и Новосильцовой[6]. С покуп-

кою этого проклятого имения и начались наши бедствия. Деревни были куплены через поверенного и главного управляющего графа Орлова и Новосильцовой — Щеткина. Отцу чрезвычайно хотелось купить еще село Пятницкое, принадлежавшее им же; но, несмотря на значительную прибавку, Щеткин отказал в продаже, объясняя нежеланием своих доверителей продать старинную родовую усадьбу, где действительно были дом, сад и постройки. Не подозревая обмана, отец в 1839 году совершил купчую в Московской гражданской палате, затем поехал в купленное имение, выбрал место под усадьбу и приступил к постройкам и разным улучшениям, назвав сельцо Владимирским. Сначала он начал строить церковь на свой счет в одном из приходов (их было три: Пятницкое, Снопот и Любунь) Снопоте, во имя Святителя Николая, с двумя приделами Иверской Божией Матери и Св. Сергия, взамен пришедшей в совершенную ветхость старой. Потом он начал строить дом, хозяйственные флигеля, больницу, училище для крестьян и другие постройки, выписал лошадей, скот, начал рыть пруды, канавы, разводить сады и сажать кругом усадьбы рощи, так что в скором времени в центре владений появилась прелестная барская усадьба, которой так много восхищались в старину в Калужской губернии (теперь же все или большая часть этих построек представляют развалины, а роскошные здания переделаны на фабрики и другие заведения вроде хлевов для скота или амбаров для ссыпки хлеба). В хозяйстве отцу помогал управляющий англичанин, не говоривший по-русски, но взятый отцом потому, что он был и доктор, устроивший больницу и аптеку и избравший двух мальчиков, будущих фельдшеров (один из них после освобождения крестьян, Пантелей, поступил в аптеку в монастырь Преподобного Сергия под Москвою, где и постригся). Переводчиком в сношениях с людьми этого управляющего в отсутствие отца была наша гувернантка, кроме которой у нас жили: учитель музыки на скрипке и фортепиано, Шпревич, и кончивший курс университета Иван Андреевич, учивший нас русским предметам и мальчиков-крестьян в школе. В помощь управляющему из всей вотчины отец выбрал бурмистра Филата и семнадцать старост, из каждой деревни по одному, которые приезжали ежедневно за приказаниями и делать наряды на работу, т.е. назначать, какие работы производить и каких и сколько назначать в усадьбу сторожей (возле риг, больницы и проч.). Отец часто наведывался и в школу, и в больницу, смотрел за хозяйством и делал в нем усовершенствования, не забывая следить и за воспитанием детей. Таким образом отец наш зажил

богатою жизнью прежнего русского помещика, а освящение церкви сблизило его со многими соседями, так что многие желали его выбрать предводителем, что и породило вражду между ним и бывшим предводителем С.[7], который подговорил временное отделение (состоявшее в то время из предводителя, судьи и исправника), ссылаясь на соблюдение выгод казны, сделать опись всему имению за неплатеж казне 800 тысяч и назначить опекуна. Кто ему открыл существование запрещения, Бог весть! По предъявлении документов отец был сильно поражен этим известием. Если бы он был опытнее и менее честен, то мог бы откупиться крупною взяткой и отдалил бы на неопределенное время взятие в опеку имения; но, убежденный в правоте своего дела, отец предпочел вести дело с продавцами. Ни ум, ни энергия отца не спасли его в борьбе неравной, стоившей ему жизни.

Дело оказалось вот в чем. Крестьянин графа Орлова Марин, делая поставку провианта на армию в казну, за поручительством своего помещика (иначе не могло быть по законам того времени) оказался несостоятельным, и в 1817 году было наложено запрещение на имение графа Орлова, село Пятницкое с деревнями, количество которых было написано, но названия не поименованы, конечно, в угоду знаменитому владельцу. Из числа этих деревень семнадцать: Арефино, Речицы, Кислое, Косая, Приветка, Ломакино, Стаи, Загрязная, Ивановка, Яблоново, Ясеная, Митино, Шевцы, Карпово, Ползы, Козловка и Пригорье — купил мой отец; несколько деревень купил граф Федор Федорович Келлер и сколько-то управляющий Нарышкиных Багряновский (имение было огромное). Теперь отцу стало ясно, почему так упорно отказывался Щеткин от продажи села Пятницкого.

Положив кроме трехсот тысяч, заплаченных за имение, многие деньги на постройку церкви, устройство усадьбы и пр. и надеясь выиграть процесс, справедливость которого была столь очевидна, отец протестовал против наложения запрещения, обошелся сухо с приезжавшим судебным персоналом и, не принимая назначенного опекуна, отправился немедленно в Петербург искать защиты в правоте своего дела у покойного Императора Николая Павловича.

С собою он взял второго сына для окончательной подготовки его у Неймана, откуда старший сын уже поступил в Школу кавалерийских юнкеров и гвардейских подпрапорщиков[8]. Дома остались с матерью четыре девочки и брат. Все учителя, гувернантка, бонна остались при нас,

также и доктор Бауцен, который получал по тому времени большое жалованье (2 тысячи рублей кроме содержания), и его сын Виктор, наш общий любимец, учившийся с нами (с этим условием старик и выехал из Петербурга).

Московскую гражданскую палату отдали под суд; в низших инстанциях дело кончилось в нашу пользу, но когда перешло в гостеприимный Сенат, его положили под сукно, и оно лежало без движения, несмотря на энергические хлопоты отца. Грозою всех был в то время известный граф Алексей Федорович Орлов[9], и когда отец обращался к кому-нибудь, от кого зависело рассмотреть дело, то те лица дивились его дерзости, иногда молчали, а подчас отходили от него с ужасом на лице, как от зачумленного, и нередко высказывали: «Какая дерзость! Вести процесс с подобными лицами, столь высоко стоящими; удивляемся, что вы еще не в Сибири». Говорили, что многих дерзких, перечивших шефу жандармов, отправляли без суда и следствия, по одному подозрению, по Владимирке. Действительно, какая противоположность: поручик Дубровин является истцом к графу Орлову и Новосильцовой?!

По домашнему распоряжению графа Григория Владимировича Орлова селом Пятницким с деревнями владела с 1813 года жена его графиня Анна Орлова[10]. В 1817 году наложено запрещение на имение Орлова. Анна Орлова умерла 5 декабря 1824 года. Одна часть, 22 сентября 1824 года, уступлена Мятлевой[11], а остальное досталось графу Владимиру Орлову[12], который, скупив и мятлевскую часть, по смерти своей (30 января 1831 года), передал трем дочерям: 1) Новосильцовой, которая продала Елене Дубровиной в 1838 году, 2) гр. Паниной и 3) Давыдовой. Имение было ими продано Михаилу Федоровичу Орлову[13], который в свою очередь продал его в 1839 году Владимиру Дубровину.

Ответчиками по этому делу были Новосильцова и М.Ф. Орлов; последний ссылался на то, что его обманули: имение сбыто в чужие руки, чтобы тем запутать получение убытков потерпевшим, т.е. казне. Отец в числе многих прошений и напоминаний Сенату об окончании дела просил, наконец, одной милости: взыскать только с продавцов заплаченную за имение по купчей сумму, отказываясь от убытков и затраченных денег на устройство усадьбы, постройки и инвентарь. При личной подаче письменного прошения, подкрепляя словесно убедительною и унизительною просьбою не пустить по миру всю несчастную семью, получает он от высокостоящего лица следующий ответ: «Удивляюсь вашей дерзости вести

дело с лицами, имеющими такую силу; как еще вы на свободе?! Вас давно следует засадить в крепость».

Воспитатель и опекун отца, генерал Сергей Васильевич Непейцын, и другие знатные родственники советовали бросить дело и обещали отцу дать хорошее место; то же говорил и генерал Скобелев[14], комендант крепости, приятель деда, у которого я его видела. Он был без руки, а дед без ноги[15]. Как сейчас помню дедушку, каким молодцом заезжал он к нам на квартиру в Петербурге из дворца, с бархатными черными костылями, и каким смешным стариком бывал дома, сидя в каком-то ватном халате. Мы его очень любили, потому что он присылал нам свою карету с лакеем в генеральской шинели на гулянья или в театр, но никогда не позволял ездить матери в ней по делу. Его и Алексея Павловича Болотова[16], Хрущовых[17] и других более важных родственников мы узнали позже; они все у нас бывали, сожалели нас, но не только пальцем не шевельнули в нашу пользу, а еще громко осуждали самонадеянность отца, не пожелавшего прекратить дело и взять место где-нибудь подальше.

Доведенный до отчаяния, истратив последние деньги, несчастный отец решился на последнюю крайность: лично подать прошение Государю. Но он не подозревал, что за ним был устроен надзор, что за ним постоянно следят, опасаясь, что он пойдет на отчаянный риск и подаст лично прошение, а всем были известны рыцарская правдивость и беспристрастие обожаемого Императора. В июне месяце 1847 года отец отправился в Петергоф, где всем тогда была памятна любимая дорожка недалеко от Монплезира, по которой прохаживался очень часто Император. Движимый отчаянием, отец решился броситься на колени перед ним и подать прошение, имея маленький луч надежды, что он, вручив ему всеподданнейшее прошение, испросит милости прочесть самому. Все его любившие не советовали рисковать собою, но он никого не послушался, сделал надлежащие распоряжения по своим делам, не сказал ничего сыновьям, прибыл на пароходе в Петергоф, в определенный час отправился к Монплезиру и начал поджидать Императора, который приходил в восьмом, иногда в девятом часу утра и, сидя на скамейке, любовался на взморье. Долго ходил несчастный отец в нервном возбуждении. Волнуемый мыслями, разнообразно толпившимися в его мозгу, отец увидал шедшего к нему чиновника средних лет с Анною на шее, в штатском платье, который приподнял шляпу и спросил: «Скажите, правда ли, что Государь часто гуляет в этом месте? Я из провинции. Я давно слежу за

вашим хождением взад и вперед около этого места; сам имею надобность узнать, наверное ли сегодня придет Государь, и по вашему нервному возбуждению полагаю, что вам это известно. Но нельзя же так наглядно выдавать себя! Отойдемте немного в сторону, чтобы нас не заметили и не предложили покинуть это место». С таким сильным участием были сказаны эти слова, что отец поддался их искренности и отошел в сторону. Собеседник говорил, расспрашивал, давал советы и выказал в своих рассказах много ума, такта и знания придворных привычек и происшествий в высшем кругу. Отец, увлеченный им, старался не отдаляться от заветной дорожки, но его собеседник, как видно, прекрасно знал расположение сада и отвлек его в такое место, где и на близком расстоянии, но за деревьями, можно было не заметить приближающегося человека. Урочный час прогулки прошел, а Государя нет. Тогда его собеседник, вежливо раскланявшись, сказал ему: «Вы сегодня прозевали Государя, вам никогда не подать лично прошения Его Величеству. Неужели вы так наивны, что не можете сообразить, что за вами устроен полицейский надзор; вас удержат, если не хитростию, то силою».

По возвращении в Петербург отец рассказал об этом эпизоде своим друзьям и сослуживцам; сыновей же он не хотел волновать. Он с этого дня как-то осунулся, а на третий день слег в постель, чтобы больше не вставать. Сильный, энергичный, тридцатисемилетний мужчина скончался в конце июня 1847 года[18]. В бреду он говорил о жандармах, о преследовании, призывал Государя, который оставался ему одною надеждою на лучшее будущее. Друзья его передавали матери прямо, что жандармский чиновник категорически ему объявил решение своего шефа и сделал ему окончательное внушение, что он живой не увидит Государя; другие заходили в своих предположениях дальше, утверждая, что отец был отравлен. Одно скажу, что когда покойная мать[19] в 1848 году сама лично со своею старшею сестрою, в том же саду в Петергофе и на этом же месте, подала прошение Императору Николаю, он, приняв его, передал сопутствующему его адъютанту; мать же с ее сестрою Болотовою попросили в какое-то помещение, а всесильный шеф жандармов Орлов позвал их в свою канцелярию и стал делать выговор, зачем беспокоить Государя, когда дело в Сенате и кончится беспристрастно. Мать, убитая горем и не успевшая попросить Государя прочесть самому прошение, даже не слушала, что говорил граф Орлов; но сестра ее остановила его следующими словами: «Довольно, граф; сколько бы дело ни тянулось в Сенате, вы не успеете

нас всех уморить, как уморили покойного зятя». Слова эти поразили, как видно, всемогущего графа, а его подчиненные поспешили один за другим выйти. Конечно, и это прошение не было доложено покойному Императору.

На погребении отца, ни деда Непейцына, ни деда Азанчевского, ни Хрущова[20] не было; все уехали на лето из Петербурга. Только один товарищ отца маиор Подрезов (без руки) и два сына: один кавалерийский подпрапорщик и другой воспитанник Неймана (живущий ныне со мною, контуженный в голову в Севастополе, бедный, сумасшедший) провожали отца на Волково кладбище[21]. Незадолго до его смерти сосед по имению (граф Келлер), также потерпевший, но не начинавший дела с могущественными соперниками, дал отцу триста рублей серебром; на эти деньги его и хоронили. В то время телеграфов не было, да и на почту посылали мы за 80 верст, а потому известие о смерти отца пришло к нам только через месяц. Отца я не видала более двух лет; но отчаяние и слезы матери, сожаление и участие знакомых и это печальное и трогательное происшествие со всеми его последствиями, трауром, панихидами и причитаниями людей «бедные сироты», сильно подействовали на меня, восьмилетнюю девочку, и, не отдавая себе отчета, я чувствовала всю горечь людской неправды.

Конечно, горе наше было глубокое и поражающее; но нужно было все-таки прийти к какому-нибудь решению. После долгого обдумывания мать, подкрепляемая советами родных и знакомых, решила ехать в Петербург и продолжать хлопоты отца. Тяжело было расстаться со всеми удобствами привольной деревенской жизни, со множеством прислуги, с огромным домом, с прекрасным садом и парком: в несколько лет образовалась прелестная барская усадьба со многими постройками, окруженная со всех сторон большим сосновым лесом. Забрав нас (пять человек детей), гувернантку, которая жила у нас 10 лет без жалованья, двух горничных, повара и лакея, мать отправилась сначала проститься со своею матерью Болотовою[22] в Каширское имение и оставила там на хранение некоторые вещи, а все свое личное имущество (гардероб, ненужный ей по случаю траура, некоторые экипажи и мебель) продала и, набрав пять тысяч рублей серебром, кроме бриллиантов, серебра и мехов, двинулась в Петербург. Лошадей, скот и прочий инвентарь ей не позволили продать опекуны...

Только зимою мы прибыли в столицу в восьмиместном дилижансе Серапина[23], остановились в его гостинице и прожили у него до весны, пока

нашли себе квартиру у маиора Марковича, в Измайловском полку, где и прожили до самого отъезда. Семейство хозяина было многочисленное; он служил в фельдъегерях, был прекрасной души человек, вдовец, любивший страстно своих детей (из числа которых трое были идиоты, потому что были напуганы во время пожара их дома, отчего и умерла их мать).

По приезде в Петербург мать с теткою Болотовою начали свои визиты по всем родным и знакомым, имеющим связи в высшем кругу. С удовольствием и радушием везде их встречали, всюду приглашали бывать; но, узнав причину их приезда в Петербург — процесс с графами Паниным и Орловым — очевидно менялись в своем обращении, так что мать, убитая горем, отказалась их посещать. Некоторые из родных указывали на высокопоставленных особ, которые за большую сумму могли довести до сведения Императора все дело; но, посетив их, мать поняла, что не имела достаточно денег, чтобы подкупить людей, могущих обойти законный ход и доклад о деле. Противники имели явный перевес над нами: деньгами, связями, положением и родством.

В поисках и недоумении, что предпринять, изводимая постоянными приглашениями: «приходите еще раз, дело еще на рассмотрении у сенаторов», мать просила многих из них, но безуспешно; многие обещали, некоторые молчали, другие объявляли (посматривая на дверь, чтоб ее скорее выпроводить), что все по закону делается и что скоро очередь и нашему делу к докладу, теперь же еще нет некоторых справок. Я забыла сказать, что, проезжая Москву, мать со всеми нами детьми поехала к митрополиту Филарету[24], который нас не принял. Мать с отцом была и раньше у него и просила ходатайствовать у графини Орловой[25] о примирении и удовлетворении нашего иска, но получила отказ на том основании, что он не входит в мирские дела; между тем графиня Орлова во всем слушала его, и дело бы прекратилось миром.

Время шло; жить в Петербурге стоило больших расходов, гувернантка нас не оставляла; следовало ей уделять хотя сколько-нибудь в счет жалованья (остальное она получила уже по окончании процесса). Старший брат кончал учение в гвардейской школе вторым учеником, и плата за него не вносилась, но генерал Сутгоф[26] даже не напоминал о плате; также бесплатно готовил и второго брата Нейман. С глубокою признательностью мать вспоминала этих добрых немцев и, получив имение, расплатилась с ними. В горе и отчаянии мать имела одну постоянную мысль, одно желание: выполнить намерение покойного отца, подать лично прошение, вполне

уверенная, что если наше дело будет известно Императору, то оно благоприятно для нас кончится и все ее горести и страдания прекратятся. Все верили в справедливость Императора, и всем было известно величие души его; но прошение, поданное Его Величеству в Петергофе, было подменено, вероятно, другим и уничтожено, как и все то, чего не желали доводить до сведения Императора.

Ни одно, самое малое добро не остается без награды; так случилось и с матерью. В один из самых неудачных и печальных дней приезжает к нам с страшным выговором, что мать не дала ей знать о своем приезде в Петербург, пожилая дама, в которой мать едва могла узнать Дунечку, бывшую бедную соседку бабушки (которая помогала всей ее семье), вышедшую замуж за придворного истопника (потом смотрителя), очень разбогатевшего. Это была Авдотья Петровна Прокофьева, уже успевшая овдоветь. К ней прибегали многие знатные особы, занимая деньги; поэтому она знала почти всех придворных и, перечисляя, кто мог быть полезен матери, она не переставала придумывать, как бы помочь нам. Она была простая, без всякого образования женщина, но умная и сердечная, многим говорила, просила, езжала с матерью к некоторым лицам; но все напрасно.

Наконец как-то она приезжает довольная и сияющая и объявляет, что умела уломать своего хорошего знакомого лейб-казака Надаржинского дозволить матери пробыть в его комнате и допустить подачу прошения Наследнику-цесаревичу в нижнем коридоре Аничкова дворца. Они давно об этом мечтали. Всем известна была ангельская доброта Александра Николаевича[27], его желание утешить угнетенных и страждущих, и согласие лейб-казака помочь матери давало полную надежду, что Наследник-цесаревич защитит притесняемых, прикажет не тянуть окончанием процесса и по справедливости положить законное решение. Только на одной счастливой случайности и строила мать свою надежду; все ранее подаваемые прошения в Петергофе и в Царском Селе лежали в Комиссии прошений под сукном и никому не докладывались. Извещенная Прокофьевою мать с сестрою отправилась в Аничков дворец и стала на указанном месте в коридоре, в ожидании Цесаревича, ехавшего кататься со своим адъютантом, и как только он поравнялся с ними, мать упала на колени и, протянув руку с прошением, не могла ничего выговорить от волнения и слез. «Отдайте адъютанту». — «Одной милости прошу, Ваше Императорское Высочество: прочтите сами». Не договорив, она упала в обморок. Наследник-цесаре-

вич, со слезами на глазах, растроганный, обратился к тетке и сказал: «Успокойте ее; я все сделаю, что возможно и законно». Потом он велел подать немедленную помощь матери, перенести ее в дежурную комнату, а пакет с прошениями (мать вместе со своим вложила прошение Императору Николаю I, запечатанное и надписанное покойным отцом, которое ему не удалось лично подать в Петергофе) Александр Николаевич приказал положить на свой письменный стол и не распечатывать.

Этому прошло полстолетия, но я, как сегодня, вижу и слышу мать и тетку, как они рассказывают. Через несколько дней после подачи прошения в дом, где мы жили, является жандарм, который у хозяина дома Марковича спрашивает, где живет Дубровина. Наслушавшись ранее всех ужасов об Орлове, о тайной его канцелярии, мы, дети, попрятались от страху куда кто мог, уверенные, что и мать и нас всех увезут и засадят в крепость; но оказалось, что мать вызывали в назначенное время явиться в канцелярию Наследника-цесаревича.

В то время гофмаршалом двора Его Императорского Высочества был В.Д. Олсуфьев[28], в высшей степени честная и правдивая личность, которую встречаешь только в истинно русском человеке. Редкий был этот человек по своей правдивости, человеколюбию и простоте, с какою он обращался к просителям; он смотрел с одинаковым участием на всех богатых и бедных, обращавшихся к нему с просьбами.

«Ну, матушка, — встретил Василий Дмитриевич этими словами мать, — Его Императорское Высочество прошения ваше и вашего мужа изволил прочесть сам, но еще Императору не докладывал, а велел мне вызвать вас и узнать, не нужна ли вам денежная помощь, или не желаете ли устроить детей на казенный счет. Говорите без стеснения; о доброте и великом сердце Цесаревича нечего повторять, это всем известно, а то неизвестно, когда кончится ваш процесс; дело сложное по многим причинам». — «Ваше превосходительство, прошу только возвратить нам заплаченные за имение триста тысяч и взять обратно имение в прежнее владение продавцов; об убытках я не упоминаю, Бог с ними! Я продала все, что имела, на содержание себя и семьи; доходов с имения не получаю, принуждена занимать. Все знают нас за людей богатых и вполне верят в правоту нашего дела, которое тянется десять лет, нас совсем разорило, мужа уморило, и я жду того же. Доведенная до крайности, прошу вашего ходатайства испросить у Его Императорского Величества заимообразно три тысячи. Детей на казенный счет отдавать не желаю; это будет греш-

но, имея полторы тысячи душ и более десяти тысяч десятин земли». — «Эх, матушка, отбросьте гордость и вглядитесь хорошенько: все богатые, имеющие связи, помещают своих детей на казенный счет; мой вам совет, пользуйтесь случаем поместить детей. Принесите мне их бумаги через неделю, а я доложу к этому времени Его Императорскому Высочеству. Он по своей доброте и денег вам даст, и детей устроит по благоусмотрению. Прощайте».

Мать во всю свою жизнь не могла без сильного душевного волнения вспоминать об этом простом, истинно хорошем человеке; он оказал много благодеяний матери своими советами и указаниями и, оставляя мать посидеть у него в кабинете, сам уходил с докладом к Наследнику-цесаревичу, чтоб не заставлять ее приезжать лишний раз. Благодаря его хлопотам, приказано калужскому губернатору Смирнову[29] выдавать матери с имения ежегодно три тысячи, а пока она получила заимообразно три тысячи из канцелярии Цесаревича; неуплаченные же деньги за воспитание братьев были внесены из канцелярии Его Императорского Высочества, о чем сообщил матери Василий Дмитриевич и прибавил, что наконец Императору Николаю о нашем деле докладывал сам Цесаревич, что графа Орлова не принимали несколько времени и что сына Николая Наследник-цесаревич изволил заместить своим пансионером в гвардейскую школу, дочь Анну, т.е. меня, Государь Император назначил своей пансионеркой в Екатерининский петербургский институт, сына Ивана зачислили пансионером Великого князя Константина[30] в Морской корпус, дочь Елену выбаллотировали в Смольный[31]; остались неустроенными дочь Екатерина, шестнадцати лет, и самая младшая Любовь, шести лет.

Вот я неожиданно и поступила в Институт. После личного доклада Императору Наследником-цесаревичем дело наше пошло в ход. Государь был поражен поступками своих приближенных; говорили, что он несколько времени не принимал графа Орлова, но привычка берет свое; Орлов был так любим императором, что даже Наследник потому и мешкал с докладом, что боялся встретить недоверие в том, верны ли собранные сведения и документы по делу Дубровина. Орлов, конечно, подыскал оправдания; но покойный Император Александр II не имел к нему доверия, так как, проследив все дело, убедился, что богатые и знатные наследники графа Владимира Орлова устроили незаконную продажу, через своего поверенного и управляющего Щеткина; а ранее, во время их владения, они бездоимочно владели деревнями и пользовались доходами: тогда ни-

кто не смел напомнить о секвестре имения и о взятии его в казну. В низших инстанциях, повторяю, дело кончено было в нашу пользу; но Сенат молчал и не разбирал дела несколько лет, пока получил высочайшее повеление рассмотреть дело Дубровиных с Новосильцовой, Паниным и Давыдовым. После долгих пререканий Сенат пришел большинством голосов к следующему решению: возвратить имение Дубровиным, сняв запрещение, которое перенести на другие имения продавцов, предоставив потерпевшим право искать убытки за неполучение всех доходов с имения в продолжение десяти лет. Только два сенатора, Васильчиков и Оржевский[31а], возвысили голос в нашу защиту, не соглашаясь с общим решением и настаивая на том, чтобы теперь же назначить сумму убытков, что вдова с детьми, лишенная процессом всех средств к жизни, останется довольна, сколько ей ни назначать; но остальные сенаторы мотивировали свое решение неизвестностью и трудностью определить и вычислить сумму и под давлением угодливости и страха постановили прежнее решение. Говорили, что честные и правдивые сенаторы уклонились от подписи и более не присутствовали в Сенате.

Мать, чрезмерно обрадованная возвращением имения, и не помыслила хлопотать об убытках; являвшиеся поверенные требовали много денег для ведения процесса об убытках, да еще вперед, а денег совсем не было у матери, и потому она решила не начинать дела.

В 1849 году, возвратясь во Владимирское, мы нашли его совершенно разоренным. Постройки были запущены; все, что можно было увезти и присвоить, было украдено опекунами, которыми назначали самых бедных дворян, вполне уверенных, что никогда имение не будет нам возвращено. Не говоря о мелочах, поставлю на вид, что триста штук рогатого скота погибло от какой-то небывалой эпидемии, и когда дознано было, что этим воспользовался опекун Данилевский, который за это подвергался ссылке, то мать, сжалясь на просьбы его и многочисленной несчастной его семьи, простила ему. Исправив кое-что, как позволяли средства, и водворив дворню, распущенную или взятую опекунами к себе в услужение, мы начали мириться с мыслию жить не прежнею богатою жизнью, но понемногу устраиваться, и не знали, как благодарить Господа и молиться за заступничество и великую помощь Наследника-цесаревича, по милости которого нам возвратили нашу собственность, считавшуюся всеми навсегда утраченною.

С лишком год прошел после нашего водворения в имение, и весною 1850 года мать получила бумагу, чтобы меня, как уже зачисленную панси-

онерку Императора Николая, привезти в Екатерининский институт в августе месяце, десятого числа. Мы уже думали, что о приеме меня позабыто в Петербурге, и вот неожиданно начались сборы и приготовления к отъезду. Мать не могла по болезни везти меня сама и отправила меня к бабушке Болотовой, в Каширский уезд, на своих лошадях тройкою, в тарантасе, с нянькою Катериной, лакеем и кучером, людьми надежными и верными, которые, сдав меня бабушке, возвратились домой; далее же меня повезла тетка, родная сестра матери. Горько плакала я, расставаясь с матерью и со всеми любезными мне местами. Горе мое увеличивалось тем, что меня повезет тетка, которая не любила меня; ее баловнями были братья, а меня часто бранили и даже наказывали несправедливо по ее милости. Протестовать против решения матери было немыслимо, и я с тяжелым сердцем села в тот же дилижанс Серапина. Остановились в той же гостинице, близ Пажеского корпуса. С нами для услуг взят был лакей, он же и портной и парикмахер, Семен Константинов, и в продолжение трехдневного переезда от Москвы до Петербурга он искусно завивал мне волосы, припекая щипцами папильотки, а тетке букли, гладил и чинил платья и одежду, успевал услуживать и другим пассажирам, за что ему хорошо платили. После короткого отдыха в гостинице тетка повезла меня в Институт, где дежурная пепиньерка[32] провела нас в комнату начальницы, Екатерины Владимировны Родзянко[33], которая, приласкав меня, просила тетку подождать, пока меня осмотрят в лазарете доктора Блюм и Пицулевич[34], куда я отправилась с тою же пепиньеркой. По возвращении оттуда мне разрешили пробыть с теткою в приемной. Опять maman меня приласкала, а я не догадалась даже поцеловать у нее ручку, что делали при мне входившие пепиньерки и воспитанницы. Оказалось, как сказала навестившая меня на другой день тетка (привезшая мне, по заявлению начальницы, большой зеленый шерстяной платок и дюжину бумажных чулок), что m-me Родзянко, урожденная Квашнина-Самарина, была сродни Дубровиным, что, впрочем, никакой пользы мне не принесло. Экзамена мне в тот день, за отсутствием учителей, не было, а потому тетка, оставив мне немного денег у начальницы, вернулась домой.

Итак, я осталась одна, вдали от своих близких. Тяжело, невообразимо тяжело было мне привыкать и к начальству, и к порядкам и правилам Института. В особенности меня преследовала мысль, что я, точно в заключении, должна пробыть пять с половиною лет. По выходе из Института я благословляла день моего поступления туда. В Институте, благодаря непрестанным благородным внушениям, что достоинство человека

состоит в честном исполнении своего долга, я научилась молитве, поняла нашу религию, состоящую во всепрощении и любви, прониклась глубоким уважением и нелицемерною любовью к Царю и Отечеству и искреннею признательностью ко всему институтскому персоналу, начиная с начальницы и кончая пепиньеркой.

Поступив в Институт двенадцати лет, воспитанная иначе, чем мои подруги, в горе и несчастии, я рано стала наблюдать за различными происшествиями институтской жизни и с маленького класса начала писать свой журнал. Не могу по сие время привести себя к сознанию, ради чего я это делала; может быть, потому, что скрытная со всеми, даже с моими друзьями, я никогда никому не передавала печальной истории нашего процесса, который мне был известен с восьми лет, и находила одну отраду искренно высказаться на страницах своего дневника. Один раз, совершенно случайно, услыхала я разговор высокопоставленного лица обо мне: «Дубровина, дочь поручика, пансионерка Императора! Что-то непонятно». Обратясь ко мне, это лицо стало задавать вопросы о моей матери и родных; но я умышленно на все отвечала незнанием и в своем дневнике назвала его ослом. Страница оказалась вырвана, кем — не знаю. Можно ли было профанировать такое знатное имя!

Тетка уехала, и я осталась одна-одинешенька, с тяжестью на душе, при сознании своего одиночества. После экзамена меня привели во второе отделение младшего класса[35] и сдали пепиньерке. По своим познаниям я должна была поступить в первое отделение, и почему инспектор назначил меня во второе, не знаю. Меня посадили на лавочку еще в домашнем платье, с ученицею в казенном зеленом платье, и я дослушала последний урок Закона Божия. В пять часов зазвенел колокольчик, священник вышел, все вскочили со своих мест, и классная дама провозгласила: «Silence, mesdemoiselles!»[36] Большая часть девочек стали по парам и с классной дамой во главе вышли из класса. Я обратилась с вопросом: «Куда идут они?» — «Чай пить», — отвечала сидевшая рядом со мною девочка и объяснила, что классным дамам родители воспитанниц платили по 30 рублей в год за стакан чая и несколько сухарей, которые давались в комнате классной дамы ежедневно вечером. Классную даму заменила пепиньерка, и сию же минуту дежурная горничная внесла в класс корзину с черным хлебом и бутыль с квасом. При виде этого горести моей не было пределов; раздача черного хлеба, нарезанного ломтями, показалась мне сильнейшим наказанием, и я, не притрагиваясь к нему, зали-

лась горькими слезами. Ведь у нас дома наказывали так провинившихся горничных! Какой же проступок сделали мы, оставшиеся в классе? Меня обступили, начали расспрашивать, как моя фамилия, имя, кто мои родные? Я упорно молчала и только плакала неутешно, вспоминая своих и свой родной дом. Пепиньерка безучастно смотрела, работая у стола, окруженная девочками, своими любимицами. Напрасно подошедшая ко мне девочка П... утешала меня, уговаривая съесть кусочек хлеба: я со злостью ее отталкивала, не соображая, что она подвергалась одной участи со мной. Потом я очень подружилась с этою девочкою, бедною, но хорошею во всех отношениях, бывшею первою ученицею, и, подражая ей, всегда брала под свое покровительство новеньких, зная по опыту, как тяжело бывает им при поступлении; тем более, что я перегнала по учению свою утешительницу и, как хорошая ученица, могла и защитить, и оградить от насмешек, если новенькая поступала неловко или против правил Института. Слезы мои должны были прекратиться с приходом дежурной пепиньерки, которая повела меня наверх в белевую комнату, где кастелянша (а по-институтски белевая дама) m-lle Гардер сняла с меня мерку на платье и фартуки, отобрала кипу белья, велев мне его заметить № 73, и меня отвели назад в классную. Через пять или шесть дней меня позвали в мастерскую, и m-lle Гардер надела на меня зеленое камлотовое[37] платье, с белыми рукавчиками[38], пелериною и фартуком из полотна. Я долго не могла привыкнуть ни к белью, ни к твердому и жесткому платью, а более всего к кислому хлебу, от которого у меня болел рот. Часто я бывала в лазарете, а под конец, по слабости здоровья и с особого разрешения начальницы, постоянно там обедала и ночевала, потому что могла вставать позднее и пользоваться лучшим кушаньем, чем за общим столом.

Но ничто так дурно на меня не действовало, как звон колокольчика ранним утром, к которому я никак не могла привыкнуть. В шесть часов утра все должны были вставать и умыться в прихожей дортуара[39], где ночью всегда спала обязательно горничная. Все спешили к двум умывальникам из красной меди с тремя кранами, над огромными тазами из дикого камня или, лучше сказать, резервуаром, перебивая одна другую; каждой хотелось поскорее умыться, а потому место ушедшей заступала ее подруга или, как говорилось, уступала по любви. Потом убирали голову, всех новеньких обыкновенно стригли (я очень рада была избавиться от завивки волос), и оканчивали свой туалет. Обыкновенно одевали одна другую парами, как говорилось в Институте; в случае несогласия или не-

ряшества пары назначались классной дамой, конечно, в маленьком классе. В дортуаре стояло в ряд по 15 кроватей, железных с двумя тюфячками, двумя простынями и одеялом, летом белым тканьевым, а зимой натуральной желтой шерсти с красными каймами. Между кроватями посредине был широкий проход, а с другой стороны ряд кроватей от окон и стены отступал аршина на полтора; за ними, разостлав большие платки на полу, сиживали обыкновенно мы по нескольку девиц в праздничные и табельные дни[40], и это было любимым местом, где мы беседовали между собою, читали, работали и делили гостинцы, привозимые родными. Между кроватями стояли дубовые столики с выдвижными ящиками, особенными для каждой, где лежали принадлежности туалета: ночные чепцы, кофты, полотенца; мыло, щетки и другие мелочи покупались на свой счет, но после, по приказанию Императрицы Марии Александровны[41], стали давать казенные. Ящик запирался на ключ, который мы были обязаны носить в кармане, и в случае внезапной ревизии ящиков, в порядке ли они, если ключа в кармане не оказывалось, то виновная подвергалась наказанию стоять у доски в классе до прихода учителя, чему и я подверглась один раз (единственный случай, когда я была наказана, и то в маленьком классе). Белье было не тонкое, но всегда чистое, менялось два раза в неделю; если же пачкали пелеринки или передники, то хотя и с выговором, но переменяли их в белевой. У некоторых было свое белье; даже одевать, убирать голову и делать постели приходили горничные, за что им платили, или они делали по обожанию. Исключительно свои горничные, жившие в Институте, были у Софи Трубецкой (вышедшей потом за Морни; эта крепостная женщина Стефани, как ее все звали, из подмосковной Трубецких, не оставлявшая и боготворившая свою барышню, жила с нею и в пансионе, и в Париже) да у Дунечки Родзянко (племянницы начальницы)[42]. Зашнуровав платье и передник одна другой, к половине восьмого все спешили стать в один ряд по росту в средину пустого пространства между кроватями, потому что раздавался звонок, и немного спустя выходила классная дама из своей комнаты, одна дверь которой отворялась прямо в дортуар, и осматривала по очереди каждую, начиная с больших и кончая маленькими ростом, стоявшими всегда к выходу из дортуара. Это показывание себя было также уменьем, требовавшим привычки. Зорко осматривалась очередная институтка, и ее прическа, и чистота ногтей, и чистота передника и платья, даже завязывание бантика на переднике не ускользали от внимания классной дамы.

Опять не могу не вспомнить милую П.: она меня научила, потому что была старенькая, да к тому же из bons sujets[43], как нужно было вечером, ложась спать, сбрызнуть пелеринку, передник и рукавчики и, сложив аккуратно, положить между двумя тюфяками на постель; вынимая поутру, я находила их точно выглаженными и была поражена мудростию Marie, к которой прибегала потом за советами. Немало стоило труда и уменья в старших классах причесывать голову и завязывать бант в передниках; только некоторые славились своим искусством, и сколько приходилось им возиться в торжественные дни с нетерпеливо дожидавшимися своей очереди, чтобы завязать грациозно бант или окончить прическу.

Осмотрев туалет девиц, классная дама вызывала дежурную, которая выходила вперед на средину дортуара и читала наизусть утренние молитвы; новенькие пропускались одну очередь, а потом исполняли по алфавиту свою обязанность. В старшем классе все четыре отделения собирались в большой приемной зале, где одна из девиц первых отделений выходила вперед и читала молитвы как утром, так и вечером; обыкновенно назначались лучшие ученицы, читавшие ясно и громко и более смелые, потому что на вечерней молитве не раз присутствовали высочайшие особы.

После молитвы классная дама в старшем, а пепиньерка в младшем классе вели нас в столовую пить чай. Нам давали по кружке сладкого чая с молоком, или постного, и вечный розанчик, только Великим постом заменявшийся французскою трехкопеечною булкой. В столовой мы усаживались по пяти с каждой стороны стола; горничные приносили чай, а дежурная институтка каждого отделения большого и маленького классов получала мешок с булками по числу воспитанниц. После чая нас отводили в класс, где обязательно сидела пепиньерка, конечно, в меньших классах, или ходила возле своего класса по коридору с некоторыми обожательницами. В 9 часов сменяла ее дама по звонку и приходил учитель, который никогда не входил в класс, если не было классной дамы: это было запрещено. В половине одиннадцатого сменял другой учитель, а в 12 часов мы шли обедать в столовую, с классной дамой во главе, при окликах дам: «Silence, mesdemoiselles». Мы даже шепотом не передавали своих замечаний о кончившихся уроках, иначе были бы наказаны debout à table[44], т.е. стояли бы до подачи первого кушанья за столом. Нас кормили хорошо, но не всегда. Мы по качеству обеда знали об отъезде из Петербурга царских особ, нас посещавших; ведь Институт наш находится

близ Аничкова моста. В обед всегда давали три блюда, а в ужин два; садились в том же порядке, как и за чаем. По приходе всех классов и прочтении молитвы дежурною пели: «Отче Наш». Все садились, и горничные вносили оловянные миски, ставили их на стол посредине, и две средние девочки раздавали суп, каждая на свою сторону, а с оловянных блюд таким же путем раздавали жареное и пирожное; ложки были серебряные, а тарелки фаянсовые. Хлеб был вообще кислый, а квас очень плохой, и мы всегда просили дать пепиньерского хлеба, который был мягче и вкуснее. По окончании обеда и прочтении молитвы уходили тем же порядком; только старший класс по отделениям вперед, а потом маленький класс с дамами и пепиньерками. До двух часов отдыхали, брали уроки музыки, приготовляли уроки, делали, что хотели, кроме наказанных, и опять по звону колокольчика усаживались каждая на свое место, ожидая учителя. В половине четвертого его сменял другой, а в пять часов отправлялись пить чай к классным дамам. Вскоре по поступлении я тоже стала пить чай у своей классной дамы баронессы Ган; не столько желательно было иметь свой чай, как отрадно было мне хотя несколько минут посидеть у нее в комнате, поговорить с нею: она так участливо обходилась со мной. Впоследствии, по приказанию принца Ольденбургского[45], стали и вечером давать чай всем; но мы, взяв в столовой следуемые нам розаны, уходили пить свой чай. В шесть часов по звонку садились по местам готовить уроки, репетировали слабых учениц, метили свое белье, вязали чулки, что кому следовало делать по указанию классных дам и пепиньерок. Если был праздник, то нас водили ко всенощной и обедне, где на двух клиросах пели институтки старшего класса, под управлением регента Ламакина[46] или своих регентш-девиц. В большом классе многие не имели свободных часов от 6 до 8 часов: два дня были танцы, два дня церковное пение и два дня светское пение под управлением Кавоса[47]; оставался свободным один вечер субботы, когда шли ко всенощной. Поужинав в 8 часов, возвращались в дортуары, где, помолясь Богу, умывшись и приведя в порядок свой белый передник и все аксессуары к нему, ложились спать, снимая белые чехлы с кроватей, которые убирались и приводились в порядок двумя горничными; они же мели пол, чинили платья, приносили чистое белье и собирали грязное и проч. Раздавали белье по номерам дежурные по классу, раскладывая на кровати каждой согласно ее номеру; если что забывали положить, то делали выписку и посылали в белевую с горничной, приносившей недостающее[48].

Уложив нас, классная дама уходила к себе; но мы долго не засыпали, переговаривались между собой, перебегали одна к другой, чтоб передать что-нибудь секретное или окружали всю ночь горевший ночник, чтоб прочитать запрещенную книгу (романы нам не позволялись); и только когда выведенная из терпения классная дама, отворив свою дверь в дортуар, делала обычный окрик: «Silence, mesdemoiselles», тогда все смолкало и останавливалось, иначе подвергались наказаниям [те], которые попадались в нарушении тишины; иногда же наказывался весь дортуар. В старшем классе было свободнее: дозволили сидеть и готовить уроки до двенадцати часов, в особенности во время инспекторских экзаменов. Мы имели свечи, подсвечники и фонари, даже могли уходить в физическую и рисовальную комнату заниматься, или в просвет[49], где, при висячих лампах в коридорах, готовили уроки, ходя взад и вперед. Многие имели эту странную привычку учить уроки и ходить: иначе не могли твердо выучить.

Во время моего поступления в 1850 году в петербургском Екатерининском институте было только два класса с четырьмя отделениями в каждом. Выпуск производился изо всех четырех отделений старшего класса через три года, так же как и в Патриотическом институте и в Обществе благородных девиц; следственно, из этих заведений выпускали по очереди каждый год до ста пятидесяти учениц и менее, смотря по количеству оканчивавших курс учения. На выпуск к Патриоткам и Смольнянкам брали лучших учениц, а также имевших сестер в этих заведениях (я была на обоих выпусках 1854 и 1855 годов), где мы знакомились с успехами в науках девиц, смотрели их рукоделья и рисунки, выставленные в зале, слушали игру на фортепиано и пение, любовались танцами, и нас угощали чаем, десертом и ужином. В свою очередь и к нам приезжали из двух институтов на выпуск 1856 года.

Во втором отделении было, как и в трех остальных младшего класса, по две классных дамы и пепиньерки, которые делили поступавших девочек на две половины. Я попала к баронессе Ган и m-lle Потемкиной. На их обязанности было репетировать с нами уроки немецкого, арифметики, географии, естественной истории, а остальные предметы репетировать взяла на себя m-lle Семенова с m-lle Болховской. Кроме того, у них хранились наши деньги, к ним надо было обращаться с просьбою о покупке тетрадей, лакомства и пр.; у них пили чай и писали под их контролем письма родителям, а равно получались ими и распечатывались адресованные девочке.

К концу года, после инспекторского экзамена, я стала одною из первых, а ко времени перехода в старший класс первою ученицей. В особенности хорошо я читала стихи, писала сочинения; главное же, я сначала побаивалась высоких гостей, а под конец совершенно свыклась и никогда не боялась отвечать пред ними; поэтому меня вызывал каждый преподаватель отвечать в трудных минутах. Ко мне относились очень снисходительно и потому, что я была слабого здоровья, худая и бледная, и m-lle Ган избавила меня от корсета; я ходила в капоте[50] с зеленою из камлота пелеринкою, потому что доктора находили у меня признаки чахотки. Спала я в лазарете до восьми часов, пила там желудковый кофе, а за обедом, по приказанию принца Ольденбургского, давали мне рюмку красного вина и кровяной бифштекс; если я чувствовала себя нехорошо, то уходила после классов с шести часов в лазарет, где или занималась, или ложилась спать.

Многим я обязана своей классной даме m-lle Ган, которой, вероятно, уже нет в живых! Она требовала выполнения обязанностей с каждой вверенной ей девочки строго и педантично; но сколько доброты и любви сказывалось в ней, если девочка исправлялась, училась и вела себя хорошо! Меня мирила с Институтом в мое время идеальная справедливость начальства к учащимся, что наглядно показывает наш выпуск: предпочтения не было ни знатным, ни богатым; со всеми обращались одинаково и справедливо, ценили успехи и учение каждой, что не всегда бывает и в настоящее время прогресса и гласности не только в женских, но и в высших мужских заведениях, куда невозможно поступить обыкновенным смертным. В наше время честность и справедливость царствовали в институтах отчасти и потому, что они находились под постоянным контролем принца Петра Георгиевича Ольденбургского и часто посещались императрицами.

В маленьком классе я пробыла около трех лет, и первым моим горем был мой перевод в первое отделение к другой классной даме, Марье Григорьевне Араловой, старейшей из всех институтских дам[51]. Уважаемая всеми, но со множеством странностей, она осталась институткою до смерти, потому что ни разу не покидала стен Института во всю свою жизнь. Оставшись круглою сиротой, она была взята Императрицей Марией Феодоровной в Институт пяти лет, боготворила покойную, с умилением и слезами рассказывала о ней, говорила об ее частых посещениях и ласковом обращении с девочками и таинственно передавала некоторым, что

трогательные заботы Ее Величества и полное любви сердце к девочкам подвергались насмешкам и осуждению даже в царственной семье. К ней всегда обращались за советом, если встречались какие-либо затруднения в решении вопросов в отношении этикета, приема какого-либо царственного иностранца, распределения подарков или прочих подношений, встреч и других, на вид мелочных, но необходимых подробностей. Она с гордостью и любовью сохраняла все предания и порядки в Институте, сосредоточа на нем всю нежность своего сердца; ее любили, а на взгляд посторонних она иногда казалась странною. Более всего ее любили за рассказы о многих происшествиях, очень интересных, о Дворе, о нарядах того времени и пр.

Другая труженица, классная дама, которая, вероятно, заслужила себе райский венец своею любовью, самоотвержением и заботами о вверенных ей детях, была m-lle Орреджио, классная дама *четвертушек*: так звали в насмешку четвертое отделение, вверенное ее попечению, состоявшее из самых маленьких, плохо подготовленных детей. За нею я в старшем классе постоянно следила, удивляясь беспримерному терпению, с которым она относилась к каждой девочке, ей вверенной. Я видела, как она сама умывала и одевала девочек; каждую обласкает, утешит, если та плачет, расспрося почему, принесет гостинца новенькой. Ее в насмешку прозвали *нянькой*; она знала это и нисколько не обижалась, продолжая терпеливо ухаживать за детьми, и если ее четвертушка заболевала, то она навещала ее в лазарете, покупая на свой счет лакомств и игрушек.

В конце года бывали инспекторские экзамены в присутствии начальницы, инспектора и учителя того предмета, которого шел экзамен; редко приезжал кто-либо из попечителей, иногда министр народного просвещения Норов, граф Борх[52] или принц Ольденбургский; но в старших классах обязательно приезжали не только они, но и многие другие, даже часто. В продолжение трех лет во время обыкновенных уроков мы неоднократно удостоивались посещений высочайших особ, своих и иностранных. Первый год экзаменов маленького класса был самый пустяшный.

Все отделения маленького класса были собраны в физической комнате; начальница обратилась к нам с маленькой речью и наставлениями. Инспектриса взяла приготовленные бантики-кокарды и приколола каждой, удостоенной награды, на левое плечо, начиная с первого отделения. Я получила вторую кокарду, т.е. с белою пуговкой, и была в восторге от этого отличия. Кокарды постепенно меняли свой вид, и из банта крас-

ной ленты, получившего впоследствии смешное название петуха, образовалась уже круглая кокарда из двух белых и двух пунцовых петель, под конец постепенно переходившая в белую, и подразделение их по различным видам (белых из четырех петель, белых с красною пуговкой или с одной, двумя и тремя белыми петлями, а остальными красными) имело большое значение и наглядно показывало степень развития и учения девочки; а в старшем классе, судя по кокардам, ясно было, кто удостоился какой награды. Я переменила все кокарды, повышаясь каждую раздачу, и в большом классе в числе десяти получила совсем белую.

Раздача этого белого незначащего бантика, сшитого самими же ученицами, имела сильное влияние на успехи по учению и поведению девиц, производя большое соревнование между ними. С каким восторгом написала я о получении мною награды матери и всем своим родным! Кокарды надевались на левое плечо во время приема родных по воскресеньям и четвергам, а также в церковь по праздникам. Родители могли знать без отметок, как учатся их дети. В старшем классе раздача кокард была обставлена торжественнее, по числу присутствовавших лиц и речей.

Мало-помалу я совсем освоилась с институтским строем жизни; меня познакомили со всеми обычаями и привычками, и я, получивши награду, уже лишилась названия новенькой, а вступила в разряд bons sujets. Все классы находились в нижнем этаже. В классе, где я пробыла во втором отделении, кафедры не было, а стоял посредине стол, на котором лежали журнал с фамилиями девиц (где учителя выставляли баллы за ответы), перо и чернильница, по изяществу которых можно было судить о расположении девиц: когда любили учителя, ставили изящное и дорогое, в противном случае — казенную оловянную чернильницу и казенное гусиное перо или с простой деревянной ручкой. Как в маленьких, так и старших классах сидели по две на изящной дубовой скамейке, перед дубовым столом, разделявшимся на два пюпитра, в ящике которого каждая девочка отдельно прятала свои книги, тетради и прочие учебные мелочи и пособия; за порядком и чистотою ящиков строго смотрели. Обыкновенно лучших учениц сажали в первый ряд, больших ростом на средние скамейки, которых было пять в ряду, а на двух боках по росту, самых маленьких на самых крайних скамейках. Большой навык и уменье было рассадить в порядке, чтобы при входе посетителей в класс глазам высоких гостей предстала стройная группа или колонна девиц, а не торчали бы там и сям отдельные личности. При входе не только высочайших

особ, но даже учителей все вставали и приседали зараз; потом садились, и урок начинался в спокойном ожидании как начальства, так и того, что если будут неожиданные посещения, то сидевшие в первом ряду ответят хорошо и толково на все задаваемые вопросы, что тетради и записки их всегда красиво и четко написаны и в изящных переплетах и обложках. Да и мы, сидевшие на первых лавках, так привыкли в большом классе к частым посещениям различных особ, что не боялись осрамиться. Как только обозначалось, что поступившая девочка достаточно подготовлена, то классная дама назначала ей в ученицы одну или двух таких, новеньких или стареньких, которой она должна была толковать, спрашивать и говорить об ее успехах классной даме, лично проверявшей, как выучен и понят урок. Девочка-учительница называлась «maîtresse», а девочка-ученица «écolière»[53]. Это была страшная несправедливость в отношении первых учениц, которые, учив уроки, должны были тратить немало времени на подготовку ленивых, и вся тяжесть объяснения и ответственность за плохие успехи écolières ложились на метрессу. В случае упрямства и отказа готовить какую-нибудь тупицу или лентяйку непослушание отмечалось в «Petit rapport»[54]. У стола, стоявшего в глубине класса, задом к окнам, сидела обыкновенно особая классная дама; перед ней лежала большая переплетенная книга, называемая «Grand rapport»[55], куда вносились выдающиеся проступки, а равно и то, что заслуживало похвалы. Этот рапорт читали все посетители, его просматривали императрицы и начальство. «Petit rapport» был домашним отчетом дам и пепиньерок для вписывания провинившихся; оба писались по-французски. Записанная несколько раз неисправимая ученица вносилась в «Grand rapport». Тут значились смешные шалости вроде опоздания в класс на несколько минут, непорядка в туалете, в особенности волос; многим приходилось мочить водою свои непослушные волосы, которые, высохнув, поднимались вихрами. «Ведь не гвоздем же мне их прибить», — сказала одна из mauvais sujets[56], и ее записали за непослушание и дерзкий ответ. Проступки были все подобны приведенному. Когда же имена виновниц хотели перенести в «Grand rapport», поднимался такой плач, что им прощали. Скажу по совести, что там было более хороших отметок. Хорошие ученицы назывались bons sujets, плохие — mauvais sujets, или проще мовешки. Ничто так не преследовалось и не наказывалось, как насмешки и карикатуры на учебный персонал и воспитательниц; действительно, они были меткие и оригинальные, а карикатуры поразительно похожие. Напр[имер], одну прозвали Бог

мартышка, другую, за ее крики, Pestrella de la Criarda[57], Гиеной, Нянькой и проч.; учителей: Божество во фраке, Солнце на ходулях, Кашевар, Колбасник и пр. На многих сочинены стихи. Я на себе испытала мучение готовить девочек; только что возьмешься или прочесть интересное, или переписать набело заметки, extraits[58] (нам читал лекции каждый учитель по своим запискам, а мы составляли свои по прослушанному уроку), как зовут: «Дубровина, ваша écolière ничего не знает». — «А что же я буду делать с нею?» Прослушаешь ее, объяснишь; кажется, хорошо знает, отправишь к классной даме или пепиньерке, а она стоит столбом и ни слова, ни звука. Одни не желают отвечать, другие не в состоянии по своей тупости. Сколько крови перепортили они и учителям, и дамам, но сами оставались гордо-спокойными в своем нежелании учиться, а я попадала в «Petit rapport» за то, что плохо исполняла свою обязанность и делалась козлищем отпущения чужих грехов.

Хотя и по сие время нападки продолжаются на институтское образование, но нужно знать причину этих недостатков, которая не может быть известна не воспитывавшимся в Институте. Я провела почти 6 лет в стенах его, одна моя сестра пробыла 8 лет слишком в Смольном, третья, самая младшая, получила образование в Екатерининском московском институте, и я убедилась, что причиною дурных и нелепых отзывов об институтском образовании сами кончившие курс, и вот по какому случаю. Все институты были заведения закрытые, порядок и учение в них родителям были неизвестны; они отдавали своих детей или пансионерками царской фамилии, или на свой счет, как и теперь, радовались, что дочери их получают образование, подобающее высшей касте, будут себя держать прилично в обществе, говорить на иностранных языках, танцевать и пр., а не для того, чтобы добывать себе кусок хлеба, как в настоящее время. Но и тогда выходило из институтов много хороших и нравственных воспитательниц, как матерей семейств, так и гувернанток; тем более им чести, что они не готовились к этому, а так угодно было судьбе. Из 145 девиц, кончивших курс со мною в 1856 году, да еще взятых до экзамена домой по различным причинам, не могли же все быть одинаково развиты и способны. Меня страшно все-таки возмущал идиотизм многих воспитанниц, и я долго не могла понять, зачем их держать? На стыд, на посрамление! В наше время домой не отпускали, разве только опасно больных, с разрешения Императрицы; поэтому все шесть лет мы проводили вместе, без перерыва, и я после постоянных наблюдений пришла к за-

ключению, что в жизни вообще, как в частной, так и в общественной, все предосудительное, нехорошее выплывает наружу и подлежит нареканию, а о хорошем умалчивается. Состав выпускных институток много портило то обстоятельство, что неспособных и даже тупиц не исключали из заведения. Это и есть корень зла. Несколько таких выпущенных с аттестатом девиц, часто принадлежащих к аристократии, распространяя славу о неразвитости и нецелесообразности институтского образования, давали повод к неверным выводам и заключениям. Помещенные в Институт против их желания, это бывали уже порядочно-взрослые девочки, которым родители тщетно старались дать образование дома и, видя безуспешность их, сплавляли их преспокойно, как в исправительный дом, в Институт. Многих лет по 13 1/2 и более отдавали, чтоб они не мешали дома и не были наглядными доказательствами лет матери. Конечно, обе эти категории девочек принадлежали к высшему классу; они отчасти познали веселости света и были озлоблены своим помещением в Институт, ничего не делали, ничему не учились и, кроме уменья говорить на иностранных языках, ничего не приобретали. Их мы называли дурами на всех языках. Были идиотки вроде Т. и Б., из богатых и знатных семей. Т. была замужем за одним директором банка в Петербурге, жила роскошно; а потому, что ее нет больше в живых, я могу привести ее ответ на вопрос: «Сколько лет продолжалась Семилетняя война?» — «Десять лет», — отвечала она. Покойный принц П.Г. Ольденбургский звал ее «Сашенькой». Она пробыла в Институте девять лет и получила диплом. Такие-то особы разнесли по многим местам нашей благодатной и беспредельной матушки России славу о непрактичности институтского образования. К этой плеяде тупоумных патентованных дур институтское начальство относилось добросовестно, стараясь передать им хотя какие-нибудь познания; но ни усилия классных дам, ни старания учителей не могли ничего сделать. И все они, эти взрослые девочки, отданные по семейным причинам, только и ждали выпуска; некоторые из них поступали, с разрешения Императрицы, 14 и 15 лет. К третьей категории поступающих принадлежали пансионерки казенные, или своекоштные, которых отдавали именно для того, чтобы учиться; из среды их и выходили более всего дельные девушки, но они затерялись в числе других, им не сделано надлежащей оценки. А сколько из них было достойных матерей, жен, дочерей! Сколько добрых семян рассеяли они в своих и чужих семьях! Сколько из них поддерживали благосостояние семьи, занимаясь образованием своих и чужих детей!

Нет, на мой взгляд, не осуждать следует институтское воспитание, а благословлять императриц Марию Феодоровну, Александру Феодоровну[59] и Марию Александровну, принца Ольденбургского и других лиц, неусыпно заботившихся о нашем образовании и содержании, следивших за успехами и за справедливостью начальства и старавшихся все упростить и улучшить. Дух времени был не тот, что теперь; поэтому ошибки воспитания того времени были незаметны. Одно только можно строго осудить: несмотря на требования начальства исключать из заведения неспособных, разрешения не давалось. Множество богатых родителей и знатных людей восставало против выключки, и начальству оставалось одно: возмущаться при виде этих неудачниц и нести ответственность за их неспособность и нежелание учиться. Сколько бы дельных девиц можно было определить на места не желающих заниматься, которых ни наказания, ни насмешки, ни усилия ни к чему не вели; они отлично знали, что их не исключат. Да, это было большое зло!

Свою начальницу мы все любили. Она была добра и справедлива, делала нам различные удовольствия, не выходившие из пределов ее власти, испрашивала высочайшего соизволения отпускать некоторых слабых девиц к родителям на известное время летом. Но и она не избегла насмешек. Одна из мовешек на вопрос постороннего лица: «Все ли у вас казенное?» — отвечала: «Конечно, все, даже мать казенная»; а другая на вопрос: «Как ваша фамилия?» — отвечала: «Разве вы не знаете военного министра? Я его племянница». Судя по ответам, видно, что ученицы не были угнетены и забиты, как говорят. Раз в неделю назначались четыре девочки по азбуке, по одной из каждого отделения маленького класса, которые ходили обедать к maman, а из старших классов туда ходили по две в неделю; иногда по своей доброте и сожалению maman лишний раз звала к себе обедать слабенькую здоровьем. Помню, с каким страхом и радостью отправилась я в первый раз туда. Наша пепиньерка заранее осмотрела меня и около пяти часов вызвала в коридор; собравши всех четырех, дежурная у maman пепиньерка повела нас в столовую, небольшую комнату, где стоял обеденный стол. Вскоре пришла maman; каждая из нас поцеловала у нее руку, и наконец нас посадили рядом и по обе стороны пепиньерки, которая сидела против maman и разливала суп. На мое счастье, посторонних посетителей не было, а была только Екатерина Михайловна, дочь хозяйки[60], немолодая девушка, которую я обожала (а потому мои похвалы покажутся восторженными), да еще Соня Черевина[61] и Анета

Клодт, учившиеся в старшем классе. Это были две прелестные девушки, которых многие из нас, маленьких, обожали. Обед кончился для меня, новенькой, удачно; я не сделала ни одного промаха. В первый раз я тут увидела и больших, потому что нам запрещалось ходить по нижнему коридору возле их классов и по второму возле их дортуаров; наши же дортуары находились в третьем этаже, а классы в противоположной стороне, возле лазаретной лестницы. Если приходилось взбираться в дортуары, то не иначе, как по боковым лестницам: с парадной средней лестницы нас гнал старший класс и не позволяли по ней ходить. На сделанные мне вопросы во время обеда я отвечала также удачно. Поцеловав руку и сделав реверанс maman, мы пошли каждая в свое отделение, где расспросам не было конца.

Кроме классных дам надзор за нами имели три инспектрисы. При моем поступлении была у нас m-lle Гогель; все институтки звали ее тетя Саша, по примеру ее племянниц; ее заменила m-me Деер[62], которую мы не любили и звали «бомбой»; она сделана начальницей в московском Екатерининском институте, и вместо нее назначили к нам m-me Фан-дер-Фур[63], с которой мы и кончили свое воспитание.

Наступил третий месяц моего пребывания в Институте; приближалось торжество, празднование 24 ноября[64]. Начались вызовы в белевую или целого отделения, или некоторых девиц; там надевали новые платья, примеряли передники, m-me Гардер с карандашом в руках отмечала неровность в длине передника и с немецкою точностью чертила на нем карандашом заметки, сколько и где ушить, так что, когда мы становились в ряд, то нельзя было узнать, где начинался и где кончался передник у каждой из нас: такой наконец добивалась она ровности во всю длину стоящих в ряд девиц, а я по своей глупости, как новенькая, обратилась с вопросом: «Зачем так ровно?» «Wie dumm sind Sie!»[65], с добавлением по-русски: «чтоб глаз не уколоть!» Я и тут не разобрала, а спросить у старших боялась насмешек; потом, прочитав свои заметки, я одумалась и поняла. Когда я стала мерить башмаки, то мне сказали, что почти все имели свои, в особенности для балов и танцев, а казенные и толсты, и тяжелы; они были вроде нынешних туфель, но без лент, из плохой кожи; по моей просьбе m-lle Ган купила мне пару хороших башмаков на мои деньги, но перчатки нашла излишним покупать, и мне дали желтые замшевые казенные, потому что я, думали, как новенькая, не рискну танцевать. Утром мы все были в церкви, где служил архиерей; потом после хорошего обеда

в 12 часов (бульона с пирожком, дичи с вареньем и кондитерского пирожного) дали каждой по рюмке белого, очень вкусного вина, после которого отвели в дортуар. В церкви я в первый раз увидела принца Ольденбургского, но не могла его рассмотреть, потому что далеко стояла. Обыкновенно в церкви стояли по правую сторону от входа старшие, а по левую младшие, маленькие ростом впереди; посредине оставался проход для тех из посетителей, которые во время всенощной прикладывались к Евангелию, а после обедни ко кресту; за начальством прикладывались старший и младший классы. По церкви ходили дамы и пепиньерки для сохранения порядка и соблюдения правильности рядов; стояли по шести в ряд. В семь часов вечера, одетых в новые платья, нас повели по отделениям дама и пепиньерка в большую залу, где бывал прием родных, учились пению и танцам, давались концерты и балы, справлялись все торжества, кроме театра. Нас разместили за колонны на лавочках, стоявших в три ряда одна выше другой, чтоб удобнее было видеть отделенных от залы перилами аршина полтора в вышину. Во время приема по четвергам и воскресеньям на них сидели родители, а в зале стояли девицы и беседовали с родными. Зала была огромная; при входе из физической комнаты с левой стороны стоял огромный портрет Екатерины II над двумя ступеньками, покрытыми красным сукном во всю длину портрета. Мы в старших классах любили сидеть на них или на окнах и смотреть на проезжающих или во двор графа Шереметева[66], что строго запрещалось. На белых колоннах были прибиты овальные синие доски, на которых золотыми буквами красовались по выпускам фамилии девиц, получивших шифр[67] (теперь эти доски, по приказанию начальницы Бюнтинг[68], вынесены на чердак; очень любопытно, отчего?). Вслед за нами пришли старшие отделения. Когда вошла maman со своими гостями, то четыре девицы старшего класса сыграли на рояли, потом Наташа Черевина[69] танцевала с бубном в руках «болеро»[70], очень мило и грациозно; спели что-то «итальянское». Это были все сюрпризы maman (последующие годы были более разнообразны сюрпризами). Когда рояли вынесли, то начались танцы, заиграла своя музыка; начали кадриль, и старшие брали танцевать своих сестер и обожательниц младшего класса, которые большею частью уклонялись от этой чести, боясь насмешек. Принц Ольденбургский, а также Гофман и Броневский[71] приехали до начала сюрпризов. Все они сидели спиной к портрету Екатерины II. Рядом с Его Высочеством сидела maman с какою-то полною дамой, родными и знакомыми и со всем

воспитательным и учебным персоналом. Кадриль танцевали учителя со своими лучшими ученицами старшего класса; более же всего танцевали девица с девицей или, как говорили, ma chère с ma chère[72]. Молодежи, братьям и родственникам не позволялось бывать на балах, так что ни два сына нашей maman, молодые кавалергарды, ни брат Черевиных[73], который был в Николаевском кавалерийском училище, ни мой брат лейб-улан[74] не допускались туда. Только приезжие родные девушки и девочки оживляли танцы и своими костюмами разнообразили зеленый и коричневый цвет наших платьев. Во время вечера роздали нам каждой по яблоку, по кисти винограда и по пачке конфект. Под конец маленькие, ободренные своими классными дамами, толклись в одном углу залы подальше от гостей. Ко мне подошла одна девочка моего отделения, а с нею старшая из первого отделения: «Вы знаете Марш?» В недоумении я посмотрела и сконфуженная отвечала: «Нет, не знаю». Оказалось, что фамилия ее была Марш, она знала моих родных; а я в простоте души солгала. Я играла на фортепианах и марши, и полонезы и подумала, что меня заставят сыграть марш. Хорошо, что вышло удачно; иначе бы меня засмеяли подруги. В 11 часов нас маленьких увели спать после ужина, состоявшего из двух тартинок с сыром и колбасой, слоеного пирожка, рюмки вина, стакана аршада[75] и стакана лимонада. На другой день мы встали позднее обыкновенного, и опять пошло все своим чередом. Были еще балы 6 декабря, 1 января, 23 апреля, 2 и 22 июля. Летом было веселее: танцевали в саду на площадках, все было иллюминировано; кто танцевал, кто сидел, кто гулял в саду.

В начале декабря меня назначили к m-me Лалаевой в рукодельную (l'ouvroir)[76], где нас в числе восьми девочек засадили вышивать оборочки по белому батисту, а потом туфли по бархату, что сначала мы делали плохо и неумело; потом многие стали выполнять изящные работы, подносимые разным высоким посетителям и посетительницам. Там мы пробыли дня три, приходя в класс только в часы Закона Божия. В верхней мастерской, где учили шить белье и вышивать по канве, я только два раза и была из старшего класса и всегда жалела бедную учительницу, которая, как говорили, была из прислуги графа Шереметева; над ней сильно смеялись и постоянно дразнили институтки.

В середине декабря я заболела. Меня отвели в лазарет, также разделенный на две половины: больших и маленьких. У первых была смотрительница Мария Васильевна, у других Анна Андреевна (фамилии их ни-

кто не знал) под начальством лазаретной дамы m-me Ридигер и репетировавшей нас m-lle Флейн. Меня положили в постель, и у меня оказался круп; должно быть, я простудилась в коридоре; впрочем, и в классе постоянно открывались форточки для вентиляции. Меня привела сама m-lle Ган, и я совсем задыхалась. Анна Андреевна, до прихода докторов, сама дала мне какого-то маслянистого питья, от которого поднялась сильная рвота, и мне стало легче, так что к приходу докторов (вечером около пяти часов Пицулевича, а утром его и Блюма) я чувствовала себя легко. Мне прописали лекарство, а на другой день я не могла не улыбнуться, глядя на смешную фигуру Блюма, никогда не говорившего ничего по-русски, кроме двух слов: «Как вам?» Не понимавший ответов, переводимых ему m-me Ридигер или Анной Андреевной, тоже немкой, на его родной язык, он с заложенными за спину руками делал каждой больной тем же тоном тот же вопрос и даже, не выслушав ответа, продолжал осмотр далее с Пицулевичем и дамами. Они оба в мое время не внушали нам доверия; но мы были обнадежены тем, что при осложнении болезни или неудачном лечении вызовут докторов-специалистов. Институтское начальство не жалело денег, и содержали нас прекрасно, не отказывая больным в их прихотях при выздоровлении, что я и испытала на себе не один раз. Нам давали улучшенную пищу, вино, фрукты, ухаживали за нами очень усердно обе смотрительницы, сами давали лекарство, а к тяжко больным нанимали сестер милосердия, в особенности при повальных болезнях, содержали в безукоризненной чистоте белье на нас и постельное, которое часто меняли. Родственницам дозволялось посещать свою больную хотя каждый день, а не имевших родни всегда вспомнит maman, всегда пришлет чего-нибудь вкусного из кушаний или лакомства от себя, придет сама, расспросит, не хочет ли чего, приласкает и утешит. С глубоким чувством любви вспоминаю я ее. У меня были всегда свои деньги, и, по моей просьбе, что нужно мне покупала m-lle Ган и присылала или приносила сама, чтобы меня навестить. После этой болезни я долгое время ходила в лазарет кушать и ночевать.

К концу года я стала свыкаться с образом жизни и со странным обращением институток. Мало-помалу я начала сходиться и дружиться. Нас было четыре девочки, соединившиеся между собою дружбою. Это соединение в кружок называлось «кучкою»[77]. Если одна из кучки была именинница, то остальные члены кучки считали себя обязанными собирать подарки и устраивать на столике, принадлежавшем имениннице, в день ее

ангела в изящном порядке все сделанные подношения, украшая различными вещами и искусственными цветами. По числу подарков можно было заключить о любви подруг. В число подарков входили: букеты живых цветов, бомбоньерки, платочки разных цветов, которые носили на шее и считали шиком, кольца, несессеры[78], духи, перчатки и прочие мелочи; в большом классе бывали подарки более ценные, в особенности если дарили маленькие своих больших обожательниц; но преимущественно посылались букеты живых цветов, а от друзей кто что мог. Первый год 9 декабря я ничего не получила, на второй год получила более двадцати, а потому и просила m-lle Ган приготовить угощение для нашей кучки и друзей, делавших мне подарки, состоявшее из традиционного пирога, который подавался первым угощением. Каждую именинницу отпускали из класса; я отправлялась в комнату m-lle Ган, где с помощию ее горничной все приготавливала. К 5 часам варился шоколад, классная дама уходила на это время; я разбирала корзину с покупками, все приглашенные являлись, и начинался пир. После пирога подавали шоколад, потом различные сласти, называемые cochonneries[79], смотря по средствам именинницы. Но бывали очень богатые угощения и много приглашенных; тогда уже просили позволения праздновать или в столовой начальницы, или в рисовальной, или в дортуарах. Это происходило уже в старшем классе, где хотя и начиналось кулебякой с прибавлением многих холодных утонченных блюд, дичи, консервов, сыру, сардин и проч., но кончалось неизменным шоколадом с горою дорогих тортов и печений, дорогих редких фруктов и конфект. Все это привозилось родителями или присылалось из дому в швейцарскую комнату в корзинах и свертках с наклеенными надписями фамилий. Жены швейцаров относили туда, где происходило празднование. Трудно себе представить, что было на Рождество и Пасху, какие массы корзин и пакетов высились в классах и дортуарах. Ведь институток было более трехсот!

Праздник Рождества Христова начался всенощною и обедней в день Рождества. Пели превосходно, я нигде не слыхала такого стройного задушевного пения, как в Институте; после обедни возвратились в дортуар, где все разбрелись по разным местам или уселись на свои места за кроватями; кто читал, кто шил костюмы, кто делал украшения на елку. Маленькие сравнительно с большими мало наряжались, ограничиваясь обходом в костюмах своих дортуаров маленького класса, не дерзая даже спускаться на второй этаж к большим, где встречали их насмешками и бесцеремонно

прогоняли. Большие же целыми группами, в черных шелковых или уродливых масках, окруженные девицами других отделений, недружных с ними (чтобы нельзя было узнать), ходили везде. Здесь были и Пьеретты и Papes de fous[80], цветочницы, цыганки, маги, были и оригинальные костюмы и чрезвычайно дорогие; некоторым присылали из Большого театра, а в 1855 году М. была замаскирована членом Адского Парламента: сатира, направленная против Англии[81], очень удачная; костюм был замысловатый и дорогой. Маски пользовались большою свободою, ходили ко всем, даже к maman, где их угощали, а они танцевали согласно их костюмам, нередко высказывали свои обиды и замечания тем лицам, которыми были недовольны. Это было безопасно, потому что никто не имел права заставить снять маску, а никто из своих не выдавал подругу. То был старинный обычай Института, и нарушить его никто не смел[82].

Устройство елки было другим развлечением. Маленькие довольствовались их устройством в дортуарах; большие в физической или рисовальной зале. Привозимое родными и купленное по записке классными дамами, пополненное складчиною от девочек всего отделения, шло на украшение елки; каждое отделение старалось богаче ее украсить. Кроме того, каждая из нас имела право вешать на елку подарки, предназначенные своим обожательницам, которые после освещения елки снимались и подносились по принадлежности приятельницами, но не самими. После зажжения елки играли на фортепиано, танцевали, приходили приглашенные на елку, приезжали родные, которых угощали и подносили подарки.

По четвергам и воскресеньям были приемные дни. Выход девиц был торжественный. После обеда классная дама, приведя в дортуар, отбирала тех, которые ожидали посещения родных, и выводила в коридор свою партию; к ней присоединялись остальные из других отделений, и во главе с классною дамой в синем шелковом платье, в палевых перчатках, в черных кружевных или шелковых мантильках, в белом чепце из tulle illusion[83] (кто носил) двигались мы, одетые в праздничные костюмы и также в палевых перчатках, маленькие ростом впереди; за нами замыкалось шествие пепиньеркой. Выстроившись колонною посредине залы, мы становились dos-à-dos[84] и, сделав реверанс вместе, как бы по команде, направлялись к родным. Часто приезжала молодежь поглазеть на институток, в особенности с поступлением княжны Трубецкой[85]; кроме нее было множество хорошеньких. Если любопытные не удалялись, то к ним подходил наш полицеймейстер, всегда присутствовавший во время приема. Меня сна-

чала навещал брат лейб-улан, m-r Прокофьев, и обязательно каждый четверг приносил мне коробку конфет наш парикмахер Николай Федоров, крестьянин деревни Косой, настоящий франт со шляпой в руке и при часах, так что трудно было поверить, что этот человек не comme il faut[86]. Потом поступил в Инженерное училище мой cousin Болотов[87], который иногда бывал у меня, чем я была очень довольна. На Масленицу нам давали блины и икру, присылаемую от двора принца Ольденбургского, а от Императрицы — мороженое, и каждый год присылались придворные кареты, в которых размещали по шести девиц; более энергичных или достойных брала с собою начальница, ехавшая в первой карете, потом инспектриса и классные дамы брали своих любимиц, а остальные, более благоразумные, под ответственностью одной из bons sujets, садились одни по назначению и записке дам. Сидевшие одни были несказанно довольнее других. Маленьким давали в это время по чашке кофе с печеньями и распускали в дортуар.

Великим постом говели на первой неделе, и учителя не ходили. В свободное от посещения богослужений время нам читали духовные книги, а мы работали и свое, и казенное, метили белье, вязали чулки или вышивали. Духовник нас наставлял и объяснял значение исповеди. В пятницу с утра начинали исповедовать, приводили отделениями, в ожидании очереди сажали по шести в ряд на полу церкви. Первый ряд, сделав земной поклон, стоя ожидал своей очереди; сначала шла самая маленькая и так по росту до конца. В субботу, после причастия Св. Таин, в столовую приходила maman, поздравляла и говорила немного слов и наставлений; давали по чашке чая с красным вином и белым хлебом; обед был хороший. Весь пост давали постное. Пели в Институте прекрасно; лучше пения «Да исправится молитва моя», по-моему, нигде не пели, как наши солистки. Выразительное, прочувствованное, полное умиления и мольбы пение сильно действовало на наши души, вызывая часто слезы. Певчие занимали оба клироса: большие стояли с правой стороны, и если maman не было (она с посетителями стояла позади), то одна из певчих давала знак прикладываться к Св. Евангелию; в большом классе я первая стояла с краю, и мы, шесть девиц, стоявшие в ряд, делали земной поклон и подходили прикладываться, за нами певчие и потом маленькие в том же порядке, обойдя аналой, чинно становились на свои места. На Пасху пение было умилительное и торжественное; ходили к заутрене и обедне не только мы, но на хорах присутствовали и наши больные в бе-

лых капотах. Нам дозволяли их навещать целую неделю в лазарете. Разговляться нам давали по куску пасхи и кулича в столовой, после чего нас, маленьких, отводили в дортуар, а большие направлялись в залу, куда приходила maman христосоваться и приносила фарфоровые и стеклянные яйца по одному каждой, присылаемые Императрицею. После ухода начальства, разделясь на кучки, рассаживались мы или на кроватях, или на своих излюбленных местах за ними на полу; сюда приносились присланные гостинцы, глупо называемые «кусочками»[88]. Самая обидная брань в Институте было название «кусочница». Почему? Я, новенькая, не знала этого. Каждая кучка делила по ровным частям между своими членами присланные кусочки, и, лакомясь, мы поверяли друг другу и свои взгляды, и свои тайны, читали что-нибудь, делали свои замечания и критиковали многое и многих. Очень много и качеством, и количеством присылалось гостинцев; некоторым приносили пудовые корзины, начиная с дорогой дичи и паштетов и кончая конфетами и не менее дорогими фруктами, но предпочиталось cochonnerie: смесь орехов, изюму, миндалю, фиников, чернослив и т.п. Все имеющее специфический запах запрещалось и конфисковалось в пользу жен швейцаров: зеленый сыр, колбаса, селедки и пр. Это и были любимые вещи, как запрещенный плод. Чтение романов, которые иногда контрабандою проникали в Институт и читались с наслаждением, тоже было строго запрещено. В Институте была и своя библиотека, изобиловавшая одними «Лучами» и «Звездочками»[89], которые давали нам читать, и то редко, в старшем классе; иногда классные дамы давали своим избранным книги, более на иностранных языках.

Наступила весна 1851 года, вскоре начались каникулы, скучные потому, что определенных занятий не было, а повторялось с классными дамами все пройденное за год; занятия с бестолковыми раздражали нас, и для меня было только одно удовольствие — читать или ходить по саду, вспоминая наше гнездо и родных. Меня, как одну из слабеньких, поили каким-то декоктом[90] натощак по утрам, что производило сильную тошноту; других поили сывороткой, будили рано и заставляли ходить полчаса в саду. Сад до 1853 года был разделен на две половины; старший класс свободно прогуливался по всему пространству, а мы не только не смели гулять в саду на половине старших, но даже не имели права ходить вблизи; иначе нас немедленно выпроваживали. Мы, некоторые из младшего класса, желая украсить свою половину сада, сажали цветы, кустики, привозимые родными, и сеяли разные овощи; часто, возвращаясь в сад,

находили все вырванным и потоптанным; ребятишки подвального этажа[91] в дурную погоду истребляли посаженное. Посредине сада на круглой площадке, усыпанной песком, красовались pas de géant[92] и двое качелей. К стороне Литейной улицы был отгорожен садик с фонтаном для maman и находилась оранжерея с прекрасными цветами, которыми мы любовались. Другая половина до беседки, разделявшей отгороженный садик, носила громкое название ботанического сада, не имевшего ни одной былинки для этой цели, кроме нескольких яблонь с кислыми плодами, подвергавшихся нападениям мовешек, отчаянно рвавших яблоки из окон беседки — большой комнаты, уставленной тиковыми[93] диванами, с обилием пауков-крестовиков. Гордость и украшение всего сада составлял громадный каштан пред окнами первого садового отделения[94] старшего класса. Как он был величествен в своем цвету! Была перед террасой и клумба очень плохих цветов. Летом высочайшие особы посещали нас чаще, и по прошению maman разрешалось нам сходить в Летний сад посмотреть памятник Крылову и еще в домик Петра Великого[95]. Для этого и сшили нам шляпы особенного покроя и типа из серого батиста вместо розовых. Иногда в табельные дни выводили нас на балкон посмотреть иллюминацию или торжественную процессию.

В конце 1852 или начале 1853 года произвело большие толки в маленьком классе поступление княжны Трубецкой. Весть, что приехала какая-то новенькая красавица, облетела всех. Ее зачислили в первое отделение; но мы все увидели ее только в следующую субботу, когда инспектриса Фандер-Фур привела ее в рисовальную комнату, куда собраны были все отделения младшего класса, чтобы идти ко всенощной. Это была девочка лет 14, высокая, стройная, одетая в черное платье с белым отложным воротником и рукавчиками; а длинные белокурые косы ее, заложенные на затылке, были украшены двумя черными бархатными шу[96], с длинными, почти до колен и широкими концами. Нежный розовый цвет лица, большие черные глаза, изящество манер, «toute sa tenue»[97], как выражались мы, произвели на нас очарование. Я узнала, что новенькая Трубецкая — пансионерка Императора Николая I. Сколько раз в старшем классе я была с нею в одном отделении, даже учила ее по-русски Закону Божию. Я услышала от нее, что принцесса Матильда, княгиня Сан-Донато-Демидова[98], желала ее удочерить и спрашивала на это разрешения Императора, который предложил этот вопрос решить самой девочке; но та избрала возвращение в Россию под покровительство русского Императора, и из

Парижа, где она воспитывалась в пансионе с 1848 года, она вдвоем с горничною Степанидой, никогда ее не покидавшею, возвратилась в Петербург. Родных у нее было множество в знатном и придворном кругу. Мать ее не любила, а отец был разжалован в солдаты. Я иногда надписывала для нее к нему адрес на конвертах в Петровск; думаю, что многие помнят про его карточку, посланную родным: «Сергей Трубецкой, урожденный князь Трубецкой». Ее навещало много родственников, и она пользовалась особыми удобствами[99].

Вскоре после ее поступления пришло приказание от Ее Императорского Величества привезти несколько девиц с княжною Трубецкою в Зимний дворец. За нами присланы были придворные кареты; начальница и инспектриса нас сопровождали. Нам было и весело, и страшно. Одели нам лучшие форменные зеленые платья, самые тонкие передники, окутали шарфами, надели мантошки[100] с капишонами, и мы тронулись. По приезде нас раздели, осмотрели наш туалет и повели через множество комнат и зал на половину Императрицы Александры Феодоровны. Каждую дверь отворял камер-лакей, а в зеркальной зале арабы[101] в красных великолепных мундирах, в башмаках и чулках; везде изображения черных физиономий отражались в зеркалах и устрашали нас. Наконец мы вошли в сравнительно небольшую комнату; посредине ее стоял круглый стол, везде цветы и зелень, мебель была простая, старинная; там встретила нас фрейлина Бартенева[102] и сказала обождать; было между 12 и первым часом. Потом ввели нас в комнату побольше, где мебель была обита синим бархатом; перед диваном в углублении стоял стол, кругом стен были выставлены высокие, цветущие деревца, от которых мебель была отодвинута; в одном простенке на столе стояло деревянное блюдо с искусно выточенными вишнями и другими ягодами (это я успела рассмотреть до прихода Ее Величества). Потом каждая из нас не спускала глаз с Императрицы, с благоговением запоминая ее величественные черты лица. «Bonjour, Votre Majesté Impériale», — приветствовали мы ее, делая глубокий реверанс. «Bonjour, mes enfants»[103], — отвечала она нам и милостиво протянула руку, которую мы с восторгом поцеловали. Одета она была в синей шелковой юбке и черной бархатной, по талии сшитой, кофточке; на голове был чепчик кружевной с оранжевыми лентами; бант немного отпоролся, и как мы желали, чтобы он упал, и мы спрятали бы его на память. Милостиво расспросив нас, она стала говорить с княжной Трубецкой; не успели еще мы осмотреться, как вошел Император: «Здравствуйте, дети!» — «Здрав-

ствуйте, Ваше Императорское Величество», — весело отвечали мы, окружили и стали ловить его руку, чтобы поцеловать; но он не дал, подняв кверху, потом одних погладил по голове, других поцеловал.

Я еще в 1848 году часто видала Императора; еще дома, по приезде в Петербург, мы с гувернанткой часто ходили на единственную тогда железнодорожную станцию, поджидая приезда Его Величества из Царского Села; нас никогда не отгоняли, зная, как Император любил детей. Он всегда был, видимо, доволен, если нас собиралось много, и, сбросив, бывало, с плеча свою традиционную шинель, сам же натянет ее опять и, постояв несколько секунд, скажет: «Прощайте, дети!» Однажды повели нас на парад в том же 1848 году, происходивший, кажется, на Царицынском лугу[104]; мы выбрались вперед, и какой-то свитский офицер поставил нас очень близко от Императора, который был в казацком мундире; возле него стояли два кадетика в шинельках и фуражках без козырька; нам сказали, что это внуки Императора: Цесаревич Николай и Великий князь Александр[105]. Первый стоял тихо, а второй что-то говорил, дергая Императора за полу; брат, стоявший ближе, передавал мне потом, что он говорил: «Дедушка, возьми на руки». Император отсылал его к воспитателю, но тот не слушался и все просил его. Наконец мы увидали его на руках августейшего деда и по окончании парада удостоились слышать: «Прощайте, дети!»

«Пойдемте, я покажу вам зимний сад!» Мы пошли за ним и были поражены величиной деревьев, множеством цветов и летающих птиц. Государь сел на скамеечку; мы окружили его. Он делал каждой вопрос по-русски, а потом, обратясь к княжне Трубецкой, сказал: «Дети, переведите ей мои слова, что если она не выучится по-русски, то я ее и в солдаты не возьму». По возвращении Императора на половину Императрицы он обнял ее за талию и спросил: «Приготовлено ли детям угощение?» Нас вызвали к круглому столу в соседнюю комнату, где мы ожидали, и предложили шоколад с печеньями и по коробке конфект каждой из восьми девиц. Государя мы не видали более, а Императрица, сказав фрейлине: «Montrez les appartements aux enfants»[106], подозвала княжну Трубецкую, с которою неизвестно о чем изволила говорить. Нам показывали весь дворец. Более всего мне памятна на половине Императрицы спальня Императора: за ширмами простая железная кровать, покрытая белым тканьевым одеялом, и сафьянная зеленая подушка лежала в головах. На ширмах с наружной стороны висели портреты августейших родственников

в небольших размерах. Ванная Императрицы — белая мраморная, маленький сад с гротом, в котором бил фонтан; его пустила фрейлина Бартенева, и за брызгами мы не могли выйти из грота. Мы видели столько невиданных, роскошных вещей и такое множество зал и различных комнат, что у нас все смешалось и перепуталось; ведь, по правде сказать, мы только пробежали по дворцу! Я совсем иззябла в одной пелеринке, как и все мы, и m-lle Бартенева накрыла меня, по своей доброте, полою своей бархатной мантильи[107] и так ходила со мной.

Класс первого садового отделения был первый в коридоре налево, если выходили из швейцарской, против двери которой широкая и светлая парадная лестница вела в верхние этажи. Поэтому, кто бы ни входил из высокопоставленных особ, к первым попадал к нам. Нам объясняли ранее, что при посещении кого бы то ни было перерыва в занятиях и уроках не должно быть, за исключением посещения Их Величеств и Цесаревича с Цесаревной[108], и никаких извещений о посещении не было. Если же удостаивали нас посещением вышеназванные царственные особы, то швейцар звонил в особенный колокольчик с мягким звуком, извещавший о их прибытии, и все должны были собираться по своим классам. С переходом в старший класс мы всегда должны были быть готовы встречать в должном порядке высоких гостей.

С новыми классными дамами m-lle Араловой и Петровой началось наше учение более сложное и трудное: учителя сменились профессорами, курс учения пошел серьезно и дельно, требовал внимания и усиленных занятий; нас избавили от всяких écolières; из каждого предмета хорошая ученица вела свои записки, extraits, по которым училось большинство; учебных книг совсем почти не было, кроме Закона Божия: составляли и записывали лекции учителей сами девицы, которые просматривались и дополнялись учителями на так называемых feuilles volantes[109]. В первых отделениях программа преподавания была пространнее, и профессора были разные; только один законоучитель и духовник оставался один и тот же во всех отделениях и классах. Это был Дмитрий Максимыч Максимов[110], человек образованный и исполненный чрезмерной снисходительности и любви к своим духовным детям. У каждой из нас была тетрадь заметок, где я вписывала все, что рассказывал батюшка, его разные замечания и объяснения на непонятные нам славянские слова. По-славянски мы читали, но грамматики не знали. В старшем классе мы прочли жития многих русских святых, к изучению коих приступили после неудачного экза-

мена воспитанниц Николаевского сиротского института: инспектор заставил нас в короткое время приготовить многое, потому что Цесаревна на экзамене могла заметить нам то же самое: «Отчего мы не знаем житий святых русских?» Каждая прилагала все усилие, чтобы не осрамиться у батюшки, и на экзаменах все отвечали хорошо; а ведь в старшем классе приезжали нас слушать и экзаменовать такие светила духовного мира, как Макарий, протопресвитер Бажанов, Лебедев[111] и др. Наш духовник замечательно рассказывал. Многие иноверки оставались его послушать; он не задавал ни одного урока, не рассказав и не объяснив. Всякий раз казалось, что он говорит новое: так красноречиво передавал он уже пройденное нами. У католичек в здании нашего Института была своя церковь, а лютеранок с классною дамою-лютеранкою возили в кирку. Для занятий с ними Законом Божиим приходили ксендз и пастор.

Преподавателем русского языка был в маленьком классе Петр Иванович Боголюбов[112]. Он строго относился к лентяйкам; да и нельзя было не возмущаться, с какими грубыми ошибками писали многие девочки. Он приносил свои заметки, мы их списывали, по ним учили и отвечали. Мне было легко у него учиться: свои листки он передавал или мне, или своей дочери. В старшем классе преподавал сам инспектор Платон Григорьевич Ободовский[113]. Его лекции были интересны, особенно когда он читал сочинения поэтов и писателей, читал блестяще-увлекательно; он это делал в награду, если хорошо отвечали. Он увлекался и часто вместо своего предмета предлагал неподходящие вопросы. Например, читает «Три пальмы»[114]; мы все с замиранием сердца стараемся ловить каждый звук. Вот он кончил и обращается с вопросом к вызванной ученице: где растут пальмы, какая страна, жители, нравы, обычаи, правление, современные государи? И выходит не урок русской словесности, а экзамен по всем отраслям наук. К ответам своего предмета он относился строго; требовал, чтобы его лучше готовили, и задавал большие уроки; в особенности мучил он нас греческой литературой, не оставлял и индейскую и др. У Платона Григорьевича мы писали сочинения на темы довольно трудные и делали разборы. Учились также по его запискам, или каждая из лучших учениц после его лекции записывала с его слов. Писать приходилось много по всем предметам. Тема задавалась одна всему классу; но для проверки вызывали к доске (которых было две в классе) и заставляли писать на незнакомую тему: тогда и выяснялись способность и умение вызванной девицы писать правильно. Это делалось изо всех предметов. Подсказать было

невозможно, а передать листок еще труднее, несмотря на уменье это сделать через poste votante[115]. Меня в обоих классах постоянно вызывали: я хорошо читала стихи, писала без ошибок и сочиняла порядочно. На экзамене в последний год маленького класса я отвечала басню «Три мужика»[116], за что получила большие похвалы и не в очередь обедала у maman.

Древнюю историю начал с нами Аникиев[117], учивший и в Смольном. Это был хороший старичок, очень снисходительный, приносивший нам из Смольного письма сестер и передававший наши туда. Мне кажется, что часто они долго лежали в его боковом кармане и по нескольку раз бывали в стенах того и другого заведения, не попадая в руки адресатов. Он чертил на большой классной доске, показывая постепенное заселение Земли различными народами, всегда рассказывал задаваемый урок, но придерживался того, чтобы мы учились по книге изданной им истории и заучивали слово в слово, что было почти всем очень трудно и совершенно противоположно тому, как стал читать свои лекции Тимаев, сын инспектора Смольного[118], в старшем классе. Делая записки с его слов, мы прошли с ним древнюю, среднюю, новую и русскую историю пространно. Предмет этот в старшем отделении стал очень интересен, благодаря рассказам г-на Тимаева; но поставленный в известные рамки и увлекаясь изложением исторических фактов, он вдруг краснел, заикался и переходил на другое. Мы вызывались к доске и по порядку писали восшествие на престол Рюрика и его преемников и современников, царствовавших во всех известных в то время странах; тут иногда смешные несообразности отвечающих и писавших возбуждали искренний смех.

Географию в большом классе преподавал Вержбилович[119]. При первом приходе его в класс мы были поражены его наружностью. Высокий, худой, длинный, узкий в плечах, со странными манерами, он поразил нас своею уродливостию; но все насмешки затихли, когда он стал говорить. Он прекрасно чертил карты, заставлял нас делать то же, в особенности местности губернии, нашей родины; рассказывал нам многое из осады Севастополя. Щеголев[119а] был его воспитанник, и многие происшествия войны нам были известны более из его рассказов, чем из газет, которые читали нам ежедневно классные дамы. Он чертил на доске план северной и южной сторон Севастополя, прямо говорил, что посланные туда войска идут на бойню, что оборона невозможна. Я с сильным вниманием вслушивалась, соображала и много мучилась его разоблачениями,

так как в Севастополь перевелся мой брат; да я полагаю, что и многие, у кого были там близкие, разделяли со мною мои чувства.

Естественную историю начали мы учить с Феодором Дмитриевичем Студитским. Он приносил нам исписанные им самим листы, но столь неразборчивые, что я только одна и могла их прочесть, за что он ко мне благоволил. Он приносил картины для ознакомления нас с животными и растениями и минералы различных пород. После его первого урока, когда он стал вызывать повторить слышанное, я встала; но меня удержала опытная соседка по классу, объяснив потом, что я бы получила ото всех нелестное название «сувалки» (институтская брань: суешься, куда не следует). На первом экзамене я совершенно случайно отличилась. Maman, бывши на экзамене с инспектором, обратилась с вопросом к отвечавшей: «Из чего мы получаем хлеб?» О ужас! Этого многие не знали. В старину, в мое время, было стыдом ходить на скотный двор, смотреть на работы крестьян; поэтому нельзя было и осудить это незнание. Студитский вызвал меня, и я рассказала весь процесс посеянного зерна, объяснила, что значит пахать, боронить, сеять, жать, косить, молотить, молоть и названия земледельческих орудий. В большом классе мы проходили естественную историю вторично уже на французском языке с г-ном Менетрие[120], немолодым глухим учителем, наполовину не слышавшим, что ему отвечали, но занимательным рассказчиком всего виденного им (он путешествовал по всему свету). Часы в его классе проходили незаметно. Часто мы с ним уходили в физическую комнату для опытов, для осмотра электрических и других машин. Физику и естественную историю проходили мы по книгам его сочинения на французском же языке, но все-таки не обходились без заметок и объяснений.

Математику мы как начали с Францем Ивановичем Буссе, так и кончили. Это был немолодой, седой профессор, директор мужской гимназии[121], очень строгий и не любимый многими. Его привычкою было уходить на конец класса, сесть на последнюю лавочку, оттуда задавать вопросы и смотреть, как решали задачи вызванные к двум черным большим доскам четыре девочки. Это имело свою стратегическую цель: не было возможности передать что-нибудь по poste volante, и ни одна бумажка с решением задач не ускользала от его внимания. Он редко спрашивал первых учениц, только при объяснении нового урока, заставляя их повторить, ссылаясь на то, что они всегда знают и хорошо отвечают, почти никогда не вызывал последних, говоря, что их никогда ничему не выучишь, и занимался исключительно со средними, что было совершенно верно.

Средние очень поправлялись и занимались охотнее. Один раз он до того осерчал, вызвав одну из тупиц, которой задал самый пустяшный вопрос, что сказал: «Кто глупее осла?» — «Немец!» — отвечала та без запинки. В маленьком классе он всегда прибегал, объясняя дроби, к числу лиц, составлявших кучки, потому что знал все обычаи, названия и выражения институток.

По-французски учил нас m-r Bernard. Кроме чтения, списывания с книги переводов и грамматики он заставлял нас рассказывать, хотя и с ошибками, что нас окружало, что делали, что носили, чем были больны, что кушали и проч.; потом, исправив наши фразы, заставлял учить на память. Мы сделали у него большие успехи; он никогда не говорил по-русски, как и Леврие[122] в старшем классе.

Немецкий язык всегда был нелюбимым нашим предметом, кроме немок, конечно. В маленьком классе преподавателем его был г-н Эрнст[123], гораздо умнее и дельнее преподавателя старшего класса, г-на Эйринга[124]. Многие говорили хорошо по-немецки, но писали плохо, вероятно потому, что выписанные из Риги бонны едва ли сами умели писать правильно. Эйринга мы невзлюбили при самом переходе. Это был скорее актер, который мог бы подвизаться успешно во всякой шутовской роли. Он был толстяк, с красными руками и оттопыренными пальцами, в поношенном платье и измятой сорочке; он старался игриво и по-детски обращаться со старшим классом. От него все брезгливо сторонились; он не имел привычки читать лекции с кафедры, а обыкновенно ходил тихо и медленно по классу, перед скамейками учениц. Перед каждою ученицей на пюпитре лежали книги и тетради, могущие понадобиться; крышки пюпитров строго запрещалось открывать во время урока. Я сидела четвертая от окна и, как все сидевшие в первом ряду, расстилала белую бумагу, чтобы Эйринг не опирался своими противными руками на наши книги и тетради, объясняя это классной даме необходимостью заметок. Совершенно случайно попал кусок col à bouche[125] (я подклеивала что-то в тетрадях). Когда Эйринг в страшном возбуждении размахивал руками, поднимал их кверху, опирался на разложенную бумагу, закрывал глаза и жалостным голосом рассказывал одну из жалостных немецких трагедий («Эмилию Галотти»)[126], к поднятым его рукам прилип лист. Все рассмеялись. Эйринг рассвирепел; подозревая меня в намеренно устроенной шалости, он сбавил мне балл и, несмотря на мое старание и успехи, ставил средние отметки. Жаловаться никогда не было в обычае на старший класс; мы могли ото-

мстить или плохими ответами, или наивным обличением неправды пред начальством. На второй год нашего перехода в большой класс принц Петр Георгиевич Ольденбургский, часто посещавший Институт и знавший по фамилиям лучших учениц, на мое счастье, приехал к нам на урок немецкого языка; заняв, по обыкновению, место рядом с классною дамой за столом, перед окном и посмотрев отметки, он сказал m-lle Араловой, дежурной в классе, вызвать четырех девиц, сам задал тему на сочинение и заставил нас писать на доске. Мне, как более слабой по отметке, задал он написать письмо к родителям о болезни. Я скоро написала; он просмотрел, поправил (строго относился к непоставленным знакам препинания), сделал мне несколько вопросов из литературы и собственноручно поставил 12 баллов[127]. Его Императорское Высочество настолько был милостив и внимателен, к тому же имел прекрасную память, что, посетив московский Екатерининский институт во время ответа сестры моей в его присутствии, передал ей якобы от меня посланный поклон, чего я не дерзнула бы сделать; а некоторым из воспитанниц передавал поклоны от их братьев-правоведов и обратно.

В младшем классе Иогансон учил чистописанию, а рисованию в обоих классах учились: рисовать цветы у г-на Мухина[128], а головы и фигуры у г-на Мохначева, причем чередовались, рисуя то с одним, то с другим учителем.

Танцам учила нас в маленьком классе актриса[129], а в старшем заменил ее актер Шелихов[130]; в маленьком классе я редко танцевала, но все-таки выучилась танцевать менуэт, гавот и польский; эти три танца танцевали все воспитанницы на выпуске. Хотя я дома порядочно знала музыку (мать была хорошая музыкантша), но в Институте уроки стоили дорого у лучших преподавательниц, во главе которых стояла m-lle Бендер. Одна ее громадная фигура производила на меня неприятное впечатление. Она была англичанка, с пронзительным голосом и наводила на меня ужас, который увеличивался рассказами об ее строгостях: она била по рукам карандашом почтенных размеров, так что пальцы распухали. Однажды был случай с ее ученицей М., которая готовила урок на фортепиано, заданный Бендер на этот день. Погруженная в правильное исполнение звуков, она не слыхала, как дверь отворилась, и две дамы, стоявшие за ней, спросили: «Где же все ученицы?» Она встала по правилам Института, сделала реверанс и вежливо отвечала, что в столовой, но что она не имеет права проводить их, репетируя урок музыки, да еще заданный Бендер,

которая спуску не даст. Не окончила она своих жалоб, как раздался мягкий звук колокольчика. М. собрала свои ноты и помчалась по парадной лестнице в столовую, чтоб занять свое место по росту. Большие ростом сидели за первым столом, где во главе стола с краю стояло всегда пробное кушанье для царских особ и высоких посетителей. Когда М. вошла в столовую, то за ней показались две дамы, пред которыми распахнулись обе половинки двери; новенькая М. не видала еще ни разу Наследницы-цесаревны. Мы приветствовали Ее Императорское Высочество восторженным приветствием: «Bonjour, Votre Altesse Impériale!»[131] Ее Высочество с фрейлиной Долгоруковой[132] вошла, улыбаясь, в столовую, узнала девицу, откровенно ей отвечавшую, села возле нее на скамейку и милостиво с ней говорила. В другой раз она изволила прибыть так же неожиданно и проследовала в класс в половине пятого, во время урока Закона Божия. Назначенные обедать у maman уже отправились в столовую; m-lle Аралова сняла свои палевые перчатки и положила на стол, зная по традициям Института, что в неурочное время высокие посетители не бывают. Священник в старой рясе уже кончал вызывать девиц, как послышалось смятение в коридоре, раздался звон царского колокольчика, обе половинки двери отворились, и взошла нежданная высокая посетительница с фрейлиною. Все с восторгом ее приветствовали; она прошла к столу, села на стул классной дамы, взяла журнал и вызвала нескольких девиц. Отвечали прекрасно, в особенности отличилась Дружинина, которой пришлось отвечать об обязанностях к Государю и Отечеству. Высказав благодарность законоучителю, Ее Высочество, в сопровождении всего институтского персонала, обошла все классы, посетила лазарет, где я лежала больная в постели, села ко мне на кровать, расспрашивала подробно: что болит, чем кормят, довольна ли я уходом, и все по-русски. Потом она погладила меня по голове, а я поцеловала ей руку, осчастливленная, что видела ее так близко и удостоилась разговора. Узнав, что я из первого садового отделения, она сказала, что дети очень хорошо отвечали свой урок и что она довольна ответами. Затем, встав с постели и обратясь ко мне, изволила прибавить: «Выздоравливай скорее!» К приходу Цесаревны все убрали, переменили белье и без того всегда чистое, а m-me Ридигер и ее помощницы суетились, хлопотали, приводя все в порядок, и получили несколько благодарных слов от Ее Высочества. Иногда случалось, что ее посещения, всегда неожиданные, совпадали с свободными от занятий часами; тогда все собирались или в сад, или в рекреационную залу. Она

имела обыкновение ходить взад и вперед, окруженная девицами всех классов, приказав предварительно распустить их на свободу и не держать колоннами по отделениям. Девицы все стремились, перебивая и подталкивая одна другую, приблизиться к Ее Высочеству, и когда, при конце аллеи или в конце залы, она изволила обращаться назад, то шедшие назади становились впереди и шли задом до следующего неожиданного поворота Ее Высочества. Иногда она останавливалась, подзывала какую-нибудь девочку и спрашивала ее о многих предметах; следствием этих расспросов была выдача нам даром некоторых вещей: тетрадей, карандашей, перьев, гребней, щеток, мыла и других мелочей, покупавшихся нами. Случайно она получила правдивый ответ от маленькой девочки на вопрос, когда были в бане, ответ, совершенно противоположный ответу начальства. Она изволила выразить свое неудовольствие и сказала нам: «Дети, говорите одну правду, я только этого и требую; берегитесь лжи». Исполняя это ее приказание, мы часто высказывали истины, не нравившиеся начальству, и оно не преследовало той, которая их говорила, так как боялось, что может дойти до сведения Цесаревны. Так, в один из обедов, в присутствии принца Ольденбургского, сидевшего во главе стола и пробовавшего кушанья из мисок и блюд, подали пробную миску с габер-супом[133], которого мы терпеть не могли; да если б кто и вздумал из нас выловить чернослив и изюм, то подвергся бы презрению всего класса; раз навсегда было положено никогда не дотрагиваться до него. Видя, что тарелки стоят нетронутыми, принц заметил: «Pourquoi est-ce que vous ne mangez pas?» — «Nous ne l'aimons pas, votre Altesse Impériale». — «Et pourquoi pas? L'est très bon. Je l'aime bien moi». — «C'est si naturel, Votre Altesse Impériale; c'est Votre soupe nationale»[134]. С этих пор супа не подавали, и нам за это не досталось. Сколько раз заставляли нас краснеть маленькие! Однажды четвертушка Пекер потеряла в саду свой башмак во время толкотни в толпе. Башмак, по несчастию, попался на дорожке принцу Ольденбургскому; он поднял его на саблю, и владетельница злополучного башмака получила его от Его Высочества с глубоким реверансом. Покойная Императрица Мария Александровна удивляла нас знанием русского языка, а еще более Закона Божия и жития русских святых. Говорят, что Николаевские институтки были оставлены еще на год за плохие ответы по этим предметам; это мы слышали от своего инспектора Ободовского. Императрица Александра Феодоровна удостаивала нас редким посещением; обыкновенно знали заранее об ее приезде. Она входила

в класс, садилась на скамейку рядом с институткою и, подобно Марии Феодоровне, какая-нибудь счастливица снимала с нее теплые сапожки и надевала изящные туфельки, подаваемые фрейлиною. Не могу утверждать, но я слышала, что она не носила других туфель, как подносимых институтками; я могу только подтвердить, что от одного нашего Института (а их сколько в России!) вышивалось более трех пар; это был верх изящества, роскоши и вкуса. Она обходила все классы, лазарет, проходила в сад, и мы все толпою ее окружали; она изволила обращаться к нам с вопросами на французском языке. Но в мое пребывание она не присутствовала ни на одном уроке, ни на одном экзамене, и мы сомневались, понимала ли она по-русски[135].

В феврале 1854 года мы были все заняты одним вопросом: кто поедет на выпуск к Смольнянкам, а в 1855-м к Патриоткам[136]. Выбирались лучшие ученицы, и обязательно ездили сестры. В назначенный день выпуска, обыкновенно в феврале, присылались придворные кареты, и девиц 20 избранниц, одетых в белые изящные платья с пунцовыми лентами и кушаками, отправлялись с начальницей, инспектрисой и классной дамою к ним в гости. После угощения чаем хозяйки приглашали нас в залу осматривать выставленные работы и подарки императорской фамилии, а равно и рисунки выпускных, назначенные также на подношение. На каждой работе и рисунке приколота была записка с фамилией, чья работа и кому назначалась. Эта выставка роскошных, дорогих работ и изящных рисунков повторялась во всех трех наших первоклассных институтах; весь порядок выпускных, публичных и царских экзаменов был один, с программой музыки, пения и танцев. Ведь подарки и рисунки готовились в продолжение трех лет. В Смольном нам и Патриоткам любезно все показывали хозяйки-Смольнянки, пока нас не усадили на скамейки за колонны в зале слушать музыку и пение выпускных девиц, смотреть на танцы, которые кончались традиционным pas de châle[137], изображавшим громадную букву имени царствующей Императрицы. По окончании торжества я просидела с сестрою, бывшею в голубом классе[138], до ужина и говорила с ее милыми подругами. То же самое повторялось и на выпуске Патриоток и нашем.

Во все время пребывания моего в Институте инспектор и учителя не позволяли себе делать никаких замечаний девицам; но зато выговоры и замечания слышали мы в изобилии от инспектрис, классных дам и пепиньерок и иногда за такие пустяки, о которых не стоило и говорить, что

только озлобляло виновную, а не исправляло ее. Все отделение провинившейся собирали в класс или дортуар, и начинались выговоры, укоризны и увещания. Если классную даму любили, ценили ее правдивость и беспристрастность, то ее слушали и стыдили девочку. Многие из воспитательниц делали великие ошибки и часто непоправимые: вместо того чтобы пожурить виновную наедине, они выставляли ее на посмешище подруг. Это делалось большею частию невольно, по беспечности, по незнанию характеров; но это не забывалось и не прощалось, в особенности если классную даму не любили, заподозривали в пристрастии, и тогда ее речи были для всех пустыми звуками и втихомолку подвергались насмешкам; провинившуюся девочку не наказывали презрением, а сожалели, и классная дама не могла приобрести прочного влияния на своих воспитанниц. Проступки были следующие: плохо причесана голова, говорила во время урока, сидела сгорбившись и в пелеринке, забыла ключ в дортуаре от стола, запачкала чернилами руки, опоздала встать и лежала после звонка на кровати и т.д. Наказывать без обеда и снимать передник с провинившейся было запрещено принцем Ольденбургским. За особенные дерзости или за какой-нибудь проступок, из ряда выходивший, не пускали к родным во время приема, или не пускали кататься на Масленицу, или исключали из числа обедающих у maman; но эти наказания были очень редки.

Кроме музыки и уроков рисования некоторые брали уроки английского и итальянского языков. Французский и немецкий языки проходили все девицы, за исключением Софи Трубецкой, которой разрешено было не знать по-немецки; но ее заставляли усиленно заниматься русским языком, так что к концу выпуска она выучилась говорить и писать, а приехала со знанием двух слов: мужик и розги. Эта прелестная девушка была вдобавок ласкова и сердечна; ее обожали десятками и большие, и маленькие институтки. После выпуска ее сделали фрейлиной, и она вышла замуж за герцога Морни, а по смерти его вторично, за испанского гранда герцога Сесто.

Кроме концертов, елок и масок дозволялось играть на театре, который находился в третьем этаже, на конце дортуаров маленького класса, всегда запертый. По разрешению начальства его убирали, ставили декорации между арок, очень удобно устроенных для постановки пьес, которые выбирались с дозволения начальства, вроде: «Bosières de la Salency»[139], в большом классе. Меня также выбрали играть в какой-то пиесе, не по-

мню название, где высмеивали англичанку, говорившую по-французски. Эту роль играла наша первая ученица очень типично, так как она знала и по-английски. Декорации мы поправляли сами, т.е. разрисовывали их; сами шили костюмы или брали у родных; сами писали афиши и билеты, стараясь их получше разрисовать. На представление собиралось много родных, начальство, учителя, попечители Института и очень редко принц Ольденбургский. В антрактах играли на фортепиано наши лучшие музыкантши. В старшем классе посылали нас, по приказанию Императрицы, в образцовую кухню, по одной из отделения, и каждая из нас радовалась, когда приходила ее очередь. Чистая немка, в белом чепце и фартуке, готовила все сама, рассказывая нам, как что делать. Каждая из нас носила пробное кушанье к maman, изготовленное якобы нами; мы были очень счастливы, что могли помогать в стряпне, но не вынесли никакого существенного знания в кулинарном искусстве; мне пришлось там быть всего раза два. Иногда и в кухню заглядывали важные особы, недалеко ушедшие в знании по этому предмету.

Слух о Восточной войне давно беспокоил нас и тяготил: ведь у каждой из нас болело сердце за близких родных или знакомых. Неудачи огорчали и оскорбляли наши чувства, и мы старались по мере сил быть полезными: щипали корпию[140], шили рубашки для раненых, устроили лотерею из своих работ и жертв и собрали до тысячи рублей, отосланных им в помощь. Слухи одни других печальнее доходили до нас. В особенности поражены мы были известием о выходе гвардии из Петербурга: значит, дела наши были плохи! Быть может, много распространялось прибавлений и неверных критических замечаний, но мы с жадностию ловили голословные заявления; верили безусловно многим родным и знакомым, близко стоявшим к высшей администрации, и г-ну Вержбиловичу, сообщавшему нам много интересного и называвшего Севастополь бойнею, куда посылаются наши молодые силы. Суждения его были резки и правдивы, я могла их впоследствии проверить с рассказами двух моих братьев, участвовавших в войне: один (младший) был переведен в Севастополь из улан, во Владимирский пехотный полк, отличился с охотниками, был контужен в голову и грудь, вследствие чего вскоре лишился рассудка и теперь живет у меня. Второй (старший) прошел туда из гвардии. Часто толковали они при мне о составлении правдивых сказаний о войне, и я знаю, что старшим были подробно написаны заметки о том; но когда он хотел их напечатать, то ему их возвратили с письмом его знакомого генерала Г.,

и теперь еще находящегося в живых, следующего содержания: «Любезный товарищ, ваши записки превосходны, но несовременны; много действующих лиц еще живо». А когда Императору Александру III, тогда еще Наследнику-цесаревичу, как и его святой покойной матери Императрице, захотелось узнать одну правду, хотя и предосудительную, о Восточной войне и собрать все сведения о ней, а в особенности об обороне Севастополя, то старший брат умер, а куда девались его записки, неизвестно.

Мы переносили все гонения за то, что в назначенный день не говорили по-французски, и с гордостью носили вырезанный из картона язык, надеваемый на шнурке на шею в наказание; наказывали презрением француза и англичанку Бендер и за их жалобы терпели выговоры и замечания. В один из таких печальных дней, когда m-lle Аралова поутру читала нам вслух реляции князя Горчакова[141] и со своею всегдашнею наивностью в числе убитых прочла имена двух братьев девушки первого садового отделения Нади Попандопуло[142], мы все обернулись в ее сторону и увидали ее горько плакавшею; она едва сквозь слезы проговорила: «Слава Богу, что они умерли за царя и отечество». Мы почти все бросились ее утешать, сознавая, что и мы не избегнем той же участи. В этот день за обедом у maman (где кроме двух нас, очередных, ежедневно обедали ее племянница, Соня Трубецкая и Наташа Черевина) были и важные особы; конечно, без разговоров о войне не обошлось. Дунечка Родзянко, более решительная и правдивая, вмешавшись в разговор, заметила: «Сколько в истории восхваляют героинь Греции и Рима, а в настоящее время сколько их найдется у нас по нашей пространной России; возьмите пример хотя в нашей подруге Попандопуло: у нее убито два брата, единственная поддержка семьи, горе ее безысходное, а с каким героизмом сказаны были ею слова: “Слава Богу, что братья умерли за царя и отечество!”» Наверно не знаю, кто (говорят, maman) довел об этом до сведения Императрицы, пожелавшей увидеть Надю и наградившей ее подарком, а после наведенных справок оказалось, что остался у нее один старик-отец без средств; ему по высочайшему повелению выдали пенсию в тысячу рублей, которая после его смерти перешла к дочери. Maman всегда старалась быть полезною; к тому же она была очень добра и справедлива, ласкала и утешала, если у кого было горе или несчастие, и посылала в лазарет больным то одного, то другого лакомства. Это была исключительно русская барская натура. Она предлагала богатым родным платить за музыку или другие уроки, если девочка не имела средств, а имела желание или необходимость, и делала

это так внушительно, что не получала отказа. Да и приглашение обедать к себе много помогло нам после выпуска в умении держать себя в обществе. С ее кончиной, говорят, в числе многих нововведений честь обедать у maman уже не выпадает более на долю институток.

В большом классе потрясло нас событие, из ряда выходящее: это смерть классной дамы Семеновой. Нас водили прощаться с ней в церковь, во время чтения псалтиря каким-то необыкновенно странным человеком, у которого одна сторона лица нервно дергалась; долго боялись мы его и ночью от страха будили одна другую. Говорят, что она умерла от огорчения; у нее пропали деньги, которые она скопила в Институте; кто их похитил, никак не могли открыть. Мы еще с переходом в старший класс стали замечать, что то у одной, то у другой из нас пропадают вещицы поценнее; хотя мы не смели иметь денег, но у большей части они были и тоже пропадали. В нашем классе была одна девочка, очень богатая, у которой была мания — присвоения чужой собственности: карандашей, тетрадей, наперстков; у кого что пропадало, прямо обращались к ней, она отдавала назад; или сами брали из ее ящиков. Но ценных вещей она никогда не трогала. Когда пропало у maman из столовой серебро (уже после нашего выпуска), открылось, что вором был наш институтский слесарь Штейн. Он поддельным ключом отпирал шкапы в классе и шкатулки девиц с хранившимися там ценными вещами, а также столы в дортуарах, и выбирал, что ему нравилось. У него во время обыска нашли много мелочей: колец, брошек, крестов, цепочек, черепаховых гребней, несессеров и проч. Я также поплатилась: у меня пропала в день выпуска золотая цепочка с крестиком и три золотых кольца. Скорее всего они были украдены во время обеда.

С разрешения начальства бывшие институтки венчались у нас в церкви, и мы с любопытством поджидали прохода по коридору свадебного кортежа. Мне памятнее всего свадьба Веры Владимировны Панаевой с Толстым[143]; многие ее обожали. Это была чудная, красивая девушка и прелестна в своем белом свадебном платье.

В продолжение трех лет старшего класса нами приготовлялись работы для подношения царственным особам, нашим и иностранным, которые, посещая Институт, всегда присылали гостинцы. Более всего мне памятны присылки конфект и мороженого от императриц, принца Ольденбургского и персидского шаха, прислащего несколько пудов конфект с чудными картинками и вещицами. Мне в числе конфект досталась одна с

брошкой. Ему за это поднесли прелестно вышитую подушку. К концу нашего выпуска Императрице Александре Феодоровне готовили прелестный серый капот из мягкой шерстяной материи, вышитый широким узором под цвет шелками, суташем[144] и тесемочками; Императрице Марии Александровне шитый белый батистовый капот, а более прелестно вышитое платье Великой княжне Марии Александровне (broderie anglaise)[145]. Богатую из золотого глазета[146] салфетку, с наложенными из бархата цветами, прикрепленными шелками и блестками, поднесли мы Великой княгине Елене Павловне. Кроме этих подарков приготовлено было несколько пар изящно вышитых по бархату шелками и золотом туфель, подушек. В белошвейной мастерской кроме тонкого белья, которое шилось нами и отдавалось неизвестно кому, в продолжение трех лет вышивался ковер в спальню Императрицы; за составление узора для него было дорого заплачено одному знаменитому художнику; ковер состоял из 12 и более кусков, чтобы удобнее было вышивать нескольким девицам с обеих сторон. Из нарисованных картин лучшие выбирались и подносились в подарок высокопоставленным лицам, как светским, так и духовным. Мою картину (Христос в терновом венце) назначили митрополиту Никанору[147], а Св. Варфоломея — кому-то из архиереев. На каждой работе обозначалось на приклеенном билетике, кто работал или кто рисовал и кому назначалось.

В 1855 году усиленно начались и научные занятия: мы сильно боялись инспекторских экзаменов, где производилась действительная оценка познаний, а публичные и царские экзамены были только исполнением торжественных обычаев, на коих присутствовали царские особы, родные и знакомые. Но репетиции к ним нас изводили: как встать, как подходить, отходить, брать билеты, делать ровно и грациозно реверанс и прочие мелочи. Репетиции начались с 8 января вскоре после окончания инспекторских экзаменов, на которые соединяли оба отделения. На этих экзаменах, продолжавшихся три дня, присутствовали только принц Ольденбургский, министр народного просвещения, генерал Броневский, граф Борх, а на Законе Божием духовные светила церкви. Институток вызывали по алфавиту к столу по десяти в ряд, и они отвечали по вопросам или по билетам.

В феврале 1855 года стали говорить о болезни Императора[148]. Зная его сильную натуру, мы ничего не подозревали, как 18 февраля утром было получено ужасное известие, что здоровье его плохо. В 10 1/2 час[ов] утра

весь Институт собрался в церковь слушать молебен и просить Всевышнего о ниспослании исцеления обожаемому Монарху. Непритворные слезы лились у многих; не только мы, дети, любили и умели ценить его, но кто же не любил этого с виду сурового, но всегда справедливого Государя за его нравственные качества? Даже у нас, таких юных и незрелых в деле житейском, потихоньку говорилось, что венценосный страдалец умер вследствие того, что узнал о многих злоупотреблениях своих приближенных, которые обманывали его, почти все мудрые распоряжения его или искажали, или не выполняли, а доносили ему все в превратном виде. Это поняли и мы, девочки, и еще более жалели Государя. Эти вести доходили к нам от братьев и от многих знакомых и родных наших институток, которые прекрасно знали все, что делается в придворных сферах, а некоторые даже сами стояли высоко при Дворе, но говорили тихо, опасаясь, чтобы их не коснулись подозрения.

В половине второго часа maman сама пришла к нам сказать, что Императора не стало[149]. Повсюду поднялись страшные рыдания, горе было всеобщее, потрясающее, неожиданное, единодушное и искреннее. Нас увели в дортуары, где мы, заливаясь слезами, рассказывали одна другой про все слухи о его болезни и про разные происшествия на театре войны. Письма, посылаемые оттуда, не отдавались нам и большею частию пропадали, что я испытала на себе; ведь нераспечатанное письмо никогда не отдавалось воспитаннице. Мы понимали, в какое время скончался Император. К тому же ходили слухи, что фабричные и народ бунтуют, приписывая смерть такого здорового, полного сил Монарха отраве, которую будто поднес ему лейб-медик Мандт[150], взяв за это огромную сумму с англичан; что толпа требовала выдачи Мандта, отправилась к его дому с целью его убить, но будто бы его спрятали в Зимнем дворце. Все находившиеся со мною в одно время в Институте не откажутся в том, что это все говорилось и выдавалось за истину.

Нам сшили траур, передники из черного кашемира[151], дали черные платки и объявили, что пансионерок покойного Императора повезут в крепость прощаться. А сколько из нас придумывали средства бежать из Института, чтоб в последний раз посмотреть на незабвенные черты, помолиться и поклониться его праху! Конечно, это были одни мечты; была ли возможность уйти из Института? И так только одни пансионерки его удостоились этого печального счастия. И опять, как всегда, в придворных каретах в назначенный час нас повезли в крепость. Мы были потря-

сены и горько плакали: торжественно-печальная обстановка сильно на нас действовала; тихое чтение священника, на возвышении гроб, покрытый белой кисеей, везде черный бархат с горностаями и глубокий траур. На ступеньках, ведущих к гробу, стояли офицеры с саблями наголо. Лицо его было закрыто кисеей или белым батистом; мы его не видали, целовали икону через покрывало и руку покойного. Стоявшая у изголовья графиня Баранова[152] нам указала, куда прикладываться. В изголовье на маленьких табуретках, покрытых золотою парчою, лежали регалии покойного, и здесь же стоял горько плакавший седой генерал; нам сказали, что это Ермолов[153]. Мы не успели даже оглянуться, как нас поспешили увести, так как начиналась придворная панихида.

В продолжение этого печального года мы кончили весь курс наук и готовились к выпускным экзаменам. В промежутках нас посещало много придворных лиц; более всех на меня сделала впечатление своим траурным костюмом графиня Баранова; ее прислала Императрица Мария Александровна присутствовать на каком-то уроке. Одета она была в длинное с шлейфом черное суконное платье с белым полотняным воротничком и рукавчиками, а на голове батистовый белый чепец с широкой оборкою, нагофренною кругом лица. Моя бабушка всегда носила подобные, и я с умилением на нее смотрела.

Наконец, после Рождества, начались и самые экзамены. Экзамен Закона Божия продолжался три дня, и хорошо отвечавших maman звала к себе завтракать вместе с гостями. Это было верхом их счастия, потому что почти все обожали архиерея Макария (позднее митрополита Московского). Он дивно был божествен в службе, и его бледное, худое лицо, окруженное черною бородой, и выразительные глаза делали его святым. Сколько спрятано было у многих на память лоскутков бумажки, где он отмечал ответы девиц или брал в руки записки фамилий отвечавших или больных. Мне на экзамене досталось написать на тему: «Освящение храма и чувства каждого христианина в это время»; по-французски «Si j'étais petit oiseau»; по-немецки «Morgen im Dorfe»[154].

Окончив инспекторские экзамены, мы были совсем покойны в ожидании царских и публичных: здесь уже не предстояло опасности провалиться; заранее каждая знала, у кого что будет отвечать. На это обыкновенно составлялись советы учителей, которые делили девиц, долженствовавших отвечать у каждого из них. Иногда не обходилось и без споров между ними: каждому учителю хотелось, чтоб у него отвечала лучшая. На публичных

экзаменах посторонние вопросы редко предлагались, но на царских очень часто сама Императрица или приехавшие с ней особы царской фамилии и другие почетные лица, с ее разрешения, делали вопросы, совсем неожиданные, на которые следовало отвечать с толком, чего сильно боялись учителя, так что они подчас старались нас задабривать, ставя лишний бал, а иногда как будто не замечая невнимания хорошей ученицы, занятой перепискою тетради или чтением книги, что строго запрещалось и наказывалось, если учитель приносил жалобу классной даме.

Все выставленные рукоделия и картины смотрели родители и посетители, которых не пускали иначе как по билетам, выдаваемым институткам по их просьбе с надписью, кому они назначаются. Всех выпускных было 145 девиц, но многие были взяты до экзамена больные или не желавшие экзаменоваться. Посетители сидели за колоннами; но так было много желающих смотреть и присутствовать на выпуске, что приемная зала была полна, и молодежь стояла большими толпами за лавочками. В нашем выпуске, скажу без прибавления, было много красавиц, и молодежи интересно было посмотреть на хорошенькие свежие лица, изящные фигуры, так стройно выполняющие танцы в своих белых, воздушных, одинаковых платьях с пунцовыми лентами. В особенности безукоризненно исполнили последний танец, финал, где самые большие ростом танцевали с белыми воздушными шарфами из газа, средние с овальными большими венками и самые маленькие, из четвертушек, с корзиночкой цветов в руках. Все это окончилось изображением начальных букв Императрицы.

Эти два месяца, январь и февраль, мы жили точно в чаду: приезды родных, примеривание платьев, белья и прочих предметов; только и видишь портних, входящих со свертками в дортуары или комнаты дам и обратно выходящих. Везде движение, суета, хлопоты, что-то необыкновенное творилось в стенах спокойного и всегда чинного Института, по всем коридорам слышались смех, говор, и никто уже не смел возвысить голос «Silence, mesdemoiselles». Мы, выпускные, как будто на свободе, все ждали, когда Императрице угодно будет назначить выпуск и, главное, царский вечер.

Наконец получено уведомление от Двора, что 18 февраля назначен приезд всех выпускных в Зимний дворец, где бала не будет по случаю годовщины смерти Императора, а будут экзамены, потом музыка, пение и танцы, одинаково с программой публичного экзамена. 18 февраля еще

только рассветало, а мы уже все поднялись, толкуя о предстоявшем счастии ехать во дворец. Все были страшно возбуждены: вдруг не поедем во дворец или выпуск отложат? С нетерпением ждали мы этого памятного дня; но когда он наступил, у большей части выпускных появилась на лицах задумчивость и даже грусть! Жаль было и родных институток, и классных дам, и начальство, и maman.

Наконец горничные разложили наши выпускные платья, каждой по номерам на постель; зеленые мантошки на вате, теплые калоши и красные шарфы разложены были в зале. Фасон платьев выбирался всегда самою Императрицею, для чего обыкновенно три или более девушки за несколько времени до выпуска, в сопровождении maman, ездили во дворец, где Ее Величество удостаивала сама осматривать фасоны платьев, которые всегда и у всех трех первоклассных институток[155] были белые с различными лентами. У нас были прелестные кисейные платья, с затканными внизу юбки полосами и с пунцовыми лентами на плечах и поясе, у Смольнянок — голубые, у Патриоток — белые. Платья, конечно, были décolletées et manches courtes[156], на шее белый газовый шарф. За платье мы вносили в казну десять рублей.

Еще не все были одеты, как пришла инспектриса осмотреть наш туалет и объявить, что пора собираться в залу, где каждой выпускной, ехавшей за даму, вручен был листок с фамилиями девиц, которые отправлялись во дворец в одной карете с нею. Наконец в пятом часу кареты с придворными лакеями присланы. Вызвали по фамилиям девиц, ехавших с начальницей в первой карете, с инспектрисами, с классными дамами, а потом девиц, ехавших позади. Все по очереди выходили в швейцарскую, где после данного знака нашим институтским полицеймейстером, что все уселись, двинулись ко дворцу. По указанию камер-лакея, я со вверенными мне девицами взошла в назначенную нам комнату, довольно обширную и ярко освещенную, во всю длину которой стояли столы, накрытые белою скатертью, и на них множество маленьких и больших серебряных чайников с чаем и кипятком, с грудой различных печений, с молочником сливок и блюдцами с лимоном. Каждая девица наливала себе сама и кушала что и как хотела; но все были в таком возбуждении, что было не до еды. Здесь перед зеркалами разложено было все, что могло потребоваться из принадлежностей туалета. Когда мы поправили свои прически и платья, то нас отвели в залу, где мы ожидали в страшном волнении раздачи наград. Нас заранее учили, как подходить, как стано-

виться на левое колено, чтоб Императрице было удобнее приколоть шифр к левому плечу. В семь часов раздался голос инспектрисы: «Mesdemoiselles les chiffrées, avancez. Sa Majesté l'Impératrice vous demande»[157]. Десять шиферниц вышли со всех концов залы и пошли за нею; проходили много комнат, но шли так скоро, и от волнения и ожидания я не могла ничего вспомнить: все смешалось в голове. Но вот остановились мы в большой зале, где находились начальница и инспектор. Вся мебель золотая была обита красным бархатом или какой-то материей; комната была разделена на две половины золотыми столбами, задрапированными красною материей, не доходившею до потолка. Посредине стояла огромная ваза из малахита с тропическими растениями, около окна на возвышении столик с золотыми ножками, на котором лежал альбом, поднесенный Ее Величеству кавалергардами, в числе которых были два сына maman[158], и она обратила наше внимание на этот альбом, почему это и осталось у меня в памяти. Во всю длину комнаты лежал пушистый ковер, на который после раздачи наград споткнулась maman, падая, ударилась о малахитовую вазу или стол и сломала себе руку, так что ее немедленно отвезли домой. Это случилось в то время, когда десять шиферниц оставались еще на половине Императрицы Александры Феодоровны; поэтому я не была свидетельницей происшествия, а пишу понаслышке.

Императрица Мария Александровна взошла в залу вся в белом и с белыми цветами на голове, величественная, обожаемая нами; мы все с восторгом ее приветствовали. Она передала нам, что Императрица Александра Феодоровна как начала свое царствование раздачей шифров институткам Екатерининского института, то и хочет окончить нашим выпуском, а потому нас десять и повели в апартаменты Императрицы-матери. Остальные же девицы получили золотые и серебряные медали из рук Марии Александровны.

Нас привели в комнату, сравнительно небольшую; в глубине стоял диван, обитый синим, перед ним овальный стол, с правой стороны было два окна, спинами к которым нас поставили, и мы сделали низкий реверанс всем присутствующим. Александра Феодоровна сидела на кресле, выдвинутом вперед стола, на котором на серебряном подносе лежали шифры; под ее ногами стояла скамеечка, мягкая, обитая синим же, и кругом масса цветов и растений; на диване сидела Великая княгиня Мария Николаевна с дочерью Мариею Максимилиановною и стояли дамы, а также и Великие князья Михаил и Николай Николаевичи[159]. Мне по-

казалось, что это была также гостиная, в которой я была прежде с княжною Трубецкою. По своему обыкновению Императрица нас обычным образом приветствовала: «Bonjour, mes enfants». Мы не имели счастия ее видеть более года и нашли Ее Величество сильно изменившеюся: глаза были тусклые, голова заметно тряслась, и она сильно похудела. Обратившись к нашему инспектору, она приказала читать фамилии награжденных девиц, а принц подавал шифры, и каждая из десяти по очереди подходила, становилась на левое колено на скамеечку и подставляла левое плечо Императрице, которая прикалывала собственноручно булавкой, подаваемой ей фрейлиной; после чего каждая, поцеловав ручку Ее Величества, отвечала на вопросы, а потом, сделав низкий реверанс, отходила задом на свое место к окну, где и была удостаиваема милостивыми разговорами присутствующих особ царской фамилии. А Великие князья, как ученики нашего инспектора Ободовского[160], изволили благосклонно обращаться к нам с вопросами о нем, об его преподавании, строгости, и, несмотря на присутствие Императрицы и этикета, мы не могли не улыбаться шуткам Их Высочеств.

Начальница и инспектор классов удалились по раздаче шифров, чтобы продолжать раздачу наград прочим девицам Императрицею Марией Александровной. Великие князья подвинули кресло с Императрицей к окнам, т.е. к нам, и она изволила милостиво говорить с нами, спрашивать про семейства, куда кто уедет жить и пр. Мы оставались несколько времени с одною Императрицею и фрейлиною, пока она не обратилась к нам: «Adieu, mes enfants; ma faiblesse ne me permet pas d'assister à votre soirée et voir vos succès»[161]. Мы поцеловали протянутую руку с большою грустью, вполне уверенные, что более ее не увидим.

Раздача наград окончилась. Десять получили золотые, десять серебряные медали и две браслеты, которые давались девицам, поступившим в старший класс, учившимся прекрасно, наравне с шиферницами, но бывшим менее трех лет в Институте, а потому не имевшим права на шифр. Нас отвели в залу, уставленную рядами стульев; посредине стояли рояли, на которых исполнялись те же пьесы и теми же воспитанницами, что и на публичном экзамене, а равно и пение и танцы, после которых надлежало быть балу, отложенному по случаю дня кончины Императора Николая.

Здесь присутствовала почти вся царская фамилия. Наследник-цесаревич и Великий князь Александр были в кадетских мундирчиках, как мы

часто их видели и прежде, а Великие князья Владимир и Алексей Александровичи были одеты по-русски, в белых шелковых рубашках, подпоясанных серебряным поясом. Было множество генералов и придворных обоего пола. Здесь мы удостоились видеть в первый раз Великую княгиню Александру Петровну[162]. Потом нас угостили роскошным ужином; сидели только за одним столом и ужинали одни институтки, осчастливленные присутствием Великой княжны Марии Максимилиановны, которая также сидела с нами за ужином, а Великая княгиня Мария Николаевна изволила долго разговаривать с княжною Трубецкой. Потом нас угощали различными фруктами, разносимыми в огромных вазах в конце ужина камер-лакеями, и заставляли брать больше тех, которые стеснялись; но масса бутылок с винами на столе так и осталась нетронутой, в пользу придворной прислуги.

Каждая из нас получила по бомбоньерке с конфектами, и мы тем же порядком возвратились в Институт. Рядом, в другой зале, ужинали все начальствующие лица и учителя Института.

Наконец настал и день выпуска, день желанный и памятный всем. После молебна мы все переоделись в собственные платья и ходили прощаться с maman, инспектрисами, классными дамами и со своими обожательницами в младший класс. Но когда началось уже окончательное прощание друг с другом, тогда повсеместно послышались рыдания и уверения в дружбе, обещания не забывать друзей, писать и пр.

Одно скажу, и скажу истину, что где и когда бы мне ни случалось встретиться с институтками моего выпуска, я, кроме радости, внимания и участия, ничего не встречала с их стороны. Хотя многие по своему общественному положению стояли очень высоко, но всегда старались помочь и советом, и ходатайством своим товаркам, а многим помогали и деньгами и отысканием мест.

А. Н. Энгельгардт

Очерки институтской жизни былого времени

Из воспоминания старой институтки

I

Вступление

— Ну, Наташа, радуйся! ты принята в институт!

Так сказал мне в одно прекрасное утро отец[1] и заставил меня подпрыгнуть чуть не до потолка от радости.

Институт казался мне каким-то блаженным местом, раем, и попасть туда было моей заветной мечтой. Отец сам развил во мне это восторженное отношение к институту. В то время еще не появлялось в обществе критического взгляда на институтское воспитание, а если и был такой взгляд, то у весьма немногих, большинство же, в том числе и мой отец, считало это воспитание идеальным. Женские гимназии еще не учреждались; крепостное право царило во всей своей силе, и казалось, не предвидится ему и конца: Крымская война еще не начиналась, литература почти немотствовала, а общество, казалось, спит сном праведных.

Отец в самых ярких красках изображал мне всю прелесть институтского воспитания; возбудил во мне самолюбие и честолюбие, насказав мне, какие чуть ли не почести ожидают меня в жизни, если я добьюсь венца институтских стремлений — то есть *шифра*, словом: монтировал[2] меня так, что я спала и видела, как бы очутиться в институте и отличиться там перед всеми. Все свои рассуждения отец заканчивал обыкновенно фразой: «Смотри, Наташа, если ты не получишь шифра, то я умру!»

Эта фраза — а мне она вовсе не казалась фразой, я от души ей верила — усугубляла мое рвение, потому что я очень любила отца.

Расставаться с домом мне не было тяжело, потому что этого дома у меня, собственно, не было; мать моя умерла, когда мне было шесть лет[3], и с тех пор я уже не знавала семейной жизни.

Отец, дела которого требовали беспрестанных разъездов, поместил меня сначала у родственников, где мне жилось не особенно хорошо, а потом отдал в один из московских пансионов, где я провела два года.

Пансион, куда отдал меня отец, был любопытен в своем роде. Когда-то считался он первейшим и самым аристократическим во всей Москве. В мое время он уже доживал свои последние дни, однако не без величия.

Дом, занимаемый им, был очень большой, каменный, трехэтажный с большим садом. Помещение и вся обстановка вообще была гораздо роскошнее, чем обыкновенно бывает в пансионах, и отчасти напоминала своими грандиозными размерами институтскую обстановку. Учителя приглашались лучшие в городе; успешно ли шло обучение вообще, судить не могу, потому что была тогда очень мала.

Но самой характерной чертой этого пансиона было то, что в нем находилось столько же горничных, сколько и воспитанниц, потому что почти каждая поступавшая девочка привозила с собой крепостную девушку, которая и ходила за ней во все время ее пребывания в пансионе.

Полчища этих горничных (число воспитанниц переходило за сто) размещались в трех или четырех, как бы сказать, дортуарах, по всем трем этажам пансиона. Там зачастую происходили между ними стычки и баталии, и всякий такой скандал мгновенно облетал весь пансион, а воспитанницы принимали участие в происшедшей ссоре и вступались за ту или другую сторону. Нередко причиной междоусобиц служило препирательство об исключительном благородстве той дворянской фамилии, юный отпрыск которой вверен был заботам той или другой горничной.

— Мы-де графы, а вы что? какие такие ваши отличия?

— Ну уж тоже и графы! голь перекатная! не нынче завтра в трубу вылетят!

— Да ты как смеешь порочить моих господ!..

И пошло, и пошло...

В пансионе этом мне было не житье, а масленица.

Начальница пансиона, добрая, худенькая старушка, с аристократическими манерами и изящным старческим лицом, окаймленным седыми локонами, любила и баловала меня. В моих отношениях к ней не было ничего официального, *казенного*. Я попросту, без затей обращалась с ней, кидалась ей на шею, охватывала руками ее талию, когда она проходила мимо меня, нисколько не боялась ее, а классных дам и учителей не ставила ни во грош; ленилась самым безбожным образом, и, несмотря на это, меня знай себе переводили из одного класса в другой, а на публичных актах

давали награды за хорошее поведение и успехи в науках. Хорошее поведение мое заключалось в том, что я, во-первых, по целым часам кубарем каталась с лестниц, — в этом упражнении я достигла замечательного совершенства, и оно составляло любимейшее мое времяпрепровождение; во-вторых, на каждом шагу *дерзила* старшим воспитанницам, большим, пятнадцати- и шестнадцатилетним девушкам, которые только плечами пожимали, дивясь на мою дерзость.

Успехи же мои в науках выражались передразниванием учителей, и в особенности инспектора классов, какого-то совсем развинченного немца, с ужимками обезьяны, который уже потому одному был ненавистен пансионеркам, что заменил собой Грановского, которого боготворил весь пансион[4]. Этого немца я, должно быть, ловко изображала, потому что после каждого его посещения пансионерки заставляли меня представлять его и хохотали до упаду.

Упоминаю обо всем этом потому, что читатель увидит из последующего, как мало подготовляли такие вольные, распущенные отношения с начальством и воспитанницами пансиона к суровой формалистике и строгой казенщине тех же отношений в институте, как трудно было осваиваться с институтскими нравами и какая нравственная ломка требовалась для того, чтобы переработаться в чинную, бесстрастную (на вид) институтку.

Теперь скажу о том, что заставило меня писать эти воспоминания.

Сколько мне помнится, ничего цельного *об институтских порядках былого времени* еще не появлялось в литературе, а между тем мне кажется, что институты играли такую важную роль в деле женского образования, что могут претендовать на историческое значение в русской жизни и заслуживают попытки подвести итог их прошлой деятельности. Говорю *прошлой*, потому что с теми переменами, которые произошли в нашем общественном строе[5], прежнее значение институтов совершенно утратилось и роль их видоизменилась; да и самый характер этих учреждений, их быт и нравы стали иными.

Мало-помалу они перестают быть закрытыми, замкнутыми, обособленными от жизни монастырями — в чем заключалась в былое время одна из самых характерных черт этих учреждений — и становятся в разряд всех других женских учебных заведений.

Прежняя роль их кончена, а о новой говорить не буду, так как это не касается моего предмета.

Говорю все это во избежание недоразумений и прошу читателя помнить, *что все, что я ни скажу об институте, относится к прежнему институту, к институту отжившему и уже более не существующему.*

II

Первые впечатления за порогом института. — Вступительный экзамен и его значение. — Классы, отделения и дортуары. — Положение новенькой и отношение к ней институтского мира

Карета подвезла нас с отцом к большому, великолепному зданию с огромным двором[6], обнесенным чугунной решеткой, обсаженной акациями; у ворот, которые, пропустив нашу карету, немедленно захлопнулись, стояла будка и расхаживал часовой с ружьем. Здание было выстроено покоем[7] и олицетворяло собой то, что французы называют «un hôtel entre cour et jardin»[8].

Задний фасад действительно выходил в большой, прекрасный сад.

Когда швейцар ввел нас в длиннейший коридор, который проходил чрез весь нижний этаж и вел в покои директрисы, во мне совершилась резкая перемена. Я так живо помню все мои тогдашние ощущения, как будто события эти происходили вчера; все мое оживление пропало, восторг сменился унынием, сердце замерло, а со дна души поднялось незнакомое мне дотоле чувство, а именно *страх*, который покрыл и, так сказать, придавил собою все остальные чувства.

Да, войдя в этот бесконечный, мрачный коридор со сводами, *я испугалась*, да так с этим и осталась на много, много дней, недель и месяцев моей институтской жизни. Испуг мой не был тем внезапным и приходящим ощущением, какое испытывает человек под влиянием чего-нибудь неожиданного и страшного, ввиду грозной и определенной опасности; нет, это было тихое, гнетущее, бессознательное чувство, которое ядом разлилось по всему организму, сдавило мозг и оковало все члены.

Машинально последовала я за отцом в кабинет директрисы, куда ввела нас дежурная пепиньерка, которой швейцар сдал нас на руки.

Директриса[9], очень высокая и необыкновенно величественная женщина, весьма преклонных лет и, несмотря на то, статная, крепкая как дуб,

с седыми буклями на висках и лицом, свидетельствовавшим о ее былой красоте и все еще прекрасным, приняла нас с такой неописанной важностью, словно она была королева, а мы ее подданные и она милостиво давала нам аудиенцию.

Такой прием не мог, конечно, ободрить меня, в особенности когда я заметила, что мой отец, мой грозный отец, которого все в доме трепетало, здесь как-то съежился и утратил всю развязность и живость манер.

На зов директрисы явилась пепиньерка, которой та поручила проэкзаменовать меня, для того чтобы знать, в какое отделение посадить меня.

Надо знать, что в то время в институте было два класса: *большой* и *маленький* (я везде сохраняю терминологию института; у нас никогда не говорили, например, *старший*, *младший*, *старшая*, *меньшая*, а *большой*, *маленький*, *большая*, *маленькая*) — и каждый из них делился на три отделения: *четвертое*, *пятое* и *шестое* отделения маленького класса и *первое*, *второе*, *третье* — большого класса. Кроме того, было еще *седьмое*, приготовительное отделение, куда поступали совсем маленькие девочки, зачастую не умевшие даже читать и писать по-русски и отдаваемые в институт не на шесть, а на девять лет.

Выпуски происходили каждые три года; большой класс оставлял институт, а маленький переходил в большой таким порядком: *четвертое* отделение маленького класса переходило в *первое* — большого; *пятое* — во *второе*; *шестое* — в *третье*.

Переводов же из одного отделения в другое не существовало, так что кто куда попадал при поступлении в институт, так и должен был там сидеть все время.

Четвертое отделение считалось наилучшим отделением маленького класса, а *первое* — большого.

В *первом*, а соответственно тому и в *четвертом*, подготовлявшем к нему, учебная программа была обширнее, чем в остальных; награды, даваемые при выпуске, т.е. *шифры* и *медали,* сосредоточивались в первом отделении; остальные два их не получали. И вообще слава, честь и уважение всего институтского мира выпадало на долю *первого* отделения, а потому понятно, что для каждой вновь поступающей было важно попасть в *четвертое* отделение, из которого переводили в *первое*.

Был, правда, шанс и для учениц пятого и шестого отделений попасть в первое отделение. При переходе из маленького в большой класс пер-

вые три ученицы из этих двух отделений переводились в *первое* отделение, а следующие за тем три — из *шестого* отделения во *второе* — то есть повышались в ранге. Соответственно этому плохие и ленивые ученицы четвертого отделения переводились во второе и в третье, а такие же ученицы пятого — в третье, то есть понижались в ранге[10].

Размещение учениц по отделениям при их поступлении в институт зависело от степени их подготовки. В этой подготовке особенно важную роль играли, разумеется, языки, и преимущественно французский. Так как я знала его хорошо, читала совершенно свободно и писала почти без ошибок, то моя экзаменаторша признала меня достойною поступить в четвертое отделение и, приведя меня обратно к директрисе, объявила ей о результате экзамена.

Директриса поздравила отца, объяснив ему все значение пресловутого четвертого отделения, и сказала, что ученицы его *первые из маленьких*, так [же] как ученицы первого отделения *первые из больших.*

После этого отец раскланялся с директрисой и простился со мной, рекомендовав мне, как это водится в подобных случаях, не скучать, вести себя хорошо и проч. Я также машинально и без слез простилась с ним и последовала все за той же пепиньеркой, которая повела меня через длинный коридор во второй этаж, а там, после новых переходов по коридорам, которые показались мне бесконечными, ввела в класс, где уже заседали мои будущие товарки за уроком чистописания.

Представив меня дежурной классной даме, пепиньерка исчезла.

Классная дама указала мне место на одной из скамеек и велела дежурной воспитаннице, обязанность которой была наблюдать за порядком, дать мне тетрадь бумаги, перо и пропись.

Куда девалась вся моя пансионская прыть и шаловливость, даже лень как рукой сняло, и с этой минуты я начала старательно и прилежно выполнять все, что мне ни приказывали: я стала хорошо учиться — и не из честолюбия, как в последующее время, когда я освоилась с институтским бытом, а просто из чувства самосохранения. Мне казалось, что за малейшую оплошность меня постигнет нечто ужасное: что именно, я и сама не могла себе ясно представить. Меня долгое время импонировали и стены, и окружающие меня люди, не только начальство и учителя, но самые воспитанницы, институтская прислуга, горничные, швейцар и

даже истопник, последняя спица в институтской колеснице. Я всех их боялась и трепетала. Я чувствовала себя каким-то несчастным, ничтожным созданием, каким-то червяком, которого всякий мог раздавить, когда ему вздумается.

Это подавляющее впечатление, которое институт производил на впечатлительные натуры, было одной из его темных сторон. Слабые натуры с трудом и даже некоторым риском переносили тот внутренний переворот, какой совершался неизбежно в натуре каждого ребенка, когда он внезапно очутится, бывало, лицом к лицу с чуждым ему, да вдобавок еще таким суровым бытом. Многие платились болезнью за переживаемое потрясение; иные портились нравственно и превращались в гнусных, подленьких, заискивающих существ. Последних было, однако, немного, да и те по большей части уже вступали с дурными задатками, привитыми плохой семейной обстановкой.

В институте при нравственной и умственной муштровке, которой подвергалась личность как со стороны начальства, так и со стороны самого товарищества, и при отсутствии всякого теплого, согревающего душу ребенка элемента не существовало никаких физических наказаний и истязаний — и это было благо. Если бы к тому чувству нравственной беспомощности, которое бессознательно овладевало каждым ребенком, присоединилась физическая боль, то искалеченные нравственно существа являлись бы тогда в большинстве, а не составляли бы незначительное меньшинство, как было теперь.

Старательно выводила я в это первое утро моей институтской жизни назидательные истины, красовавшиеся на моей прописи, так что заслужила одобрение учителя, высокого, худого, черноволосого человека, с горбатым архиармянским носом и резким голосом, которым он то и дело выкрикивал: «*Писать! писать! писать! Госпожа NN писать, писать, писать! писать, госпожи, писать! писать!*»

Здесь позволю себе маленькое отступление.

Странное дело, как безапелляционно и почти безошибочно верно складывалось и уважение и презрение к учителям! И притом как-то разом, без всяких почти толков и совещаний. Так вот словно в воздухе пронесется какая-то струя, живительная для учителя или мертвящая, и баста! возвеличен или низведен. Я буду говорить об этом подробнее, когда коснусь

характеристики наших учителей, а теперь скажу только несколько слов по поводу учителя чистописания К[истова], который первый из плеяды наших педагогов предстал передо мной[11].

Ведь вот был он несколько смешной с виду человек, некрасивый (впрочем, в мое время все учителя без исключения были весьма неказисты, что, однако, нимало не вредило им во мнении учениц, о лицах их забывали или приглядывались к ним до того, что уже и не замечали, красивы они или нет)[12], с странными угловатыми манерами; самый предмет его был довольно презренный в институтских глазах! Ну что такое чистописание, посудите сами! Ну какой же это в самом деле *предмет*?

А вот поди ж, К[истова] уважали. Никогда не позволяли себе никаких школьничеств, обидных выходок, не дерзили ему, а если и передразнивали порой его комический оклик «*писать! писать!*», то самым добродушным образом, без злостной цели.

Что же нужно было учителю, чтобы заслужить уважение воспитанниц?

А во-первых, серьезное, ровное и, главное, *справедливое* отношение к ученицам. Беда, коли учитель начнет отличать кого-нибудь, да еще — чего Боже упаси! — за *хорошенькое* личико, ну и провалился в общественном мнении!

И ведь вот что страннее всего! *Красота* сама по себе была *силой* в институте, как увидит читатель дальше; сами воспитанницы поклонялись ей, но, со свойственным всем массам вообще инстинктом справедливости, отделяли красоту от успехов на поприще учения. Красота сама по себе, а хорошее учение само по себе! Красоту уважай, обожай, балуй! ставь ее в живые картины[13], выставляй в первый ряд на публичных торжествах, а незаслуженных *пятерок* ставить не смей!

Во-вторых, учителю нужны были ум, знания и уменье передавать их занимательно.

В-третьих, известная доза независимости в сношениях с высшим начальством, джентльменская, неподобострастная манера держать себя с ним; и наконец:

В-четвертых, широкая, так сказать, натура, бескорыстие, отсутствие жадности к деньгам, которое определялось хотя и оригинальным способом, но тоже почти всегда безошибочно.

Кто из учителей подходил под одну какую-нибудь категорию из этих четырех, того *уважали* и *любили*, или, лучше сказать, *поклонялись* ему. Таких, конечно, было немного.

Те же из учителей, которые не подходили ни под одну категорию, презирались самым беспощадным образом.

Учитель чистописания К[истов] подходил под первую категорию, и его *уважали*.

Возвращаюсь к прерванному рассказу.

Углубившись в свое писание, я не обращала никакого внимания на окружающее, как вдруг в коридоре раздался звонок колокольчика; учитель, раскланявшись, вышел из класса, классная дама вышла за ним, поручив дежурной наблюдать за порядком. Едва затворилась за ней дверь, как воспитанницы повскакали с мест. Поднялись шум и суматоха, умеряемые призывами к порядку дежурной, грозившей *записать* непослушных. Это означало, что она запишет их имена на черной доске, стоявшей в классе, что подвергнет их взысканию со стороны классной дамы. Это входило в число обязанностей *дежурной*, но редкие приводили в исполнение угрозу *записать*, предпочитая нести риск ответственности за беспорядок риску провиниться перед товариществом.

Меня окружила толпа любопытных:

— *Новенькая*! как ваша фамилия?

— *Новенькая*! вы на свой счет или на казенный?

— *Новенькая*! вы в какой дортуар?

Ответив удовлетворительно на первые два вопроса, я стала в тупик перед последним, для меня непонятным.

Вообще непривычное ухо поражалось множеством темных и совершенно особенных выражений, отличавших французско-русский жаргон институток, бог весть кем и когда составленный и переходивший постоянно, обогащаясь новыми терминами, из рода в род.

— *Mesdames*! отчего плачет NN?

— Лёнька *s'accroche à elle*![14]

Господи! это что такое? думалось мне, но не успела я раздуматься над этим загадочным возгласом, как раздался другой, не менее поразительный:

— *Mesdames! passez la langue à NN*![15]

Это еще что за штука? ломала я голову и поглядела в ту сторону, где толковалось о языке. Я увидела следующее: одна девочка убедительно навязывала большой красный кусок картона, висевший у нее на шее, другой[16], а та отнекивалась от него изо всех сил, повторяя упорно:

— *J'ai dit: comment dit-on en français! J'ai dit: comment dit-on en français*![17]

— Правда, правда! — закричало по-французски несколько голосов, и девочка *с языком* отступилась, бросая свирепые взгляды на торжествующую и отстоявшую себя подругу, которая закричала ей вслед:

— *Eh bien! NN. Vous avez mangé un champignon salé*![18]

— *Volaine! mauvais sujet*![19] — раздалось в ответ.

— Тс! *mesdemoiselles*![20] постыдитесь *новенькой*! — раздался укоризненный голос дежурной, высокой для своих лет, белокурой, полной девочки лет тринадцати, с миловидным, симпатичным лицом; то была *первая ученица*, личность замечательная в своем роде, к которой я еще возвращусь, когда коснусь характеристики воспитанниц. Мне она сразу очень понравилась еще в ту минуту, когда она с доброй улыбкой и несколько ленивой и небрежной грацией подала мне пропись и тетрадь.

Раздался вторичный звон колокольчика.

Это означало так называемую *перемену*, т.е. смену одного учителя другим. Между *переменой* давалось десять минут отдыха, во время которого учителя прохаживались по коридорам или отправлялись курить в какие-то неведомые пространства, куда никогда не проникала нога воспитанницы.

Таких закоулков в институте было несколько, и я так и не знаю, какой они имели вид, и не могу даже хорошенько отдать себе отчета, где именно они помещались; знаю только, что они существовали: например, канцелярия институтская и комнаты служащих в этой канцелярии, квартира эконома и квартира полицеймейстера и проч. К ним вели особые подъезды и лестницы, но и их я никогда не видала, потому что они выходили не на главные фасады, а на боковые, скрытые от глаз. Все это помещалось в общем здании института. Только причт церковный и священник жили в отдельных домиках, расположенных на задних дворах.

Итак, колокол позвонил, девицы уселись чинно по местам, говор смолк, и вошла классная дама, а за ней новый учитель.

Этот второй урок кончился в 12 часов.

По уходе учителя классная дама закричала:

— *Par paires*![21]

Все выстроились по росту в шеренгу, по две в ряд, и отправились в столовую обедать. Когда шли *парами*, то было запрещено разговаривать, и потому это длинное шествие — чтобы пройти из класса в столовую, помещавшуюся на противоположном конце в нижнем этаже, требовалось

добрых десять минут, тем более что шли очень медленно — совершилось в гробовом молчании.

Когда мы спускались с лестницы, то я была поражена следующим зрелищем: две воспитанницы, отделившись от пар, подхватили классную даму под локти и свели ее с лестницы. Классная дама поблагодарила их легким наклонением головы, и они снова смешались с парами.

После обеда все отправились в сад — я поступила в институт летом, в мае месяце. Здесь меня окружила толпа институток и забросала различными вопросами. В домашнем платье, среди форменных зеленых, я привлекала всеобщее внимание; все кричали: «*Новенькая, новенькая*!..» — и шли на нее посмотреть. Классные дамы, проходившие мимо, тоже оглядывали меня с головы до ног и осведомлялись, в какое отделение и в чей дортуар я поступила. Тут я и узнала, что означает этот вопрос, смутивший меня в классе: на каждое отделение было по две классные дамы, которые дежурили по очереди, через день. В свободный день классная дама могла уезжать из института, могла оставаться в нем, но уже не несла никаких обязанностей, не отвечала ни за какой беспорядок, случившийся в ее отделении, даже не показывалась ему на глаза. Каждое отделение делилось на два дортуара: один находился под специальным руководством одной дамы, другой под руководством другой дамы, — это деление было вместе и материальное и нравственное. Воспитанницы каждого дортуара спали в одной общей большой спальной, которая и называлась дортуаром; они теснее были связаны между собою, гораздо ближе узнавали друг друга и имели общие интересы. Их классная дама имела непосредственное отношение к ним, обязана была специально наблюдать за ними во всех фазисах и во всех положениях их институтской жизни, следить за их характером и нравственностью; между тем как другой дортуар находился под ее надзором только в дежурный день, а в остальное время не касался ее[22].

Такое положение порождало некоторый антагонизм между дортуарами, в котором принимали участие и классные дамы. Каждая желала, чтобы ее дортуар был лучшим по поведению и по учению, покровительствовала своим, выставляла их, родственнее и, так сказать, патриархальнее относилась к ним, а с чужим дортуаром сохраняла всегда сухой, холодный и официальный тон.

Воспитанницы тоже старались не выдавать *своих* чужому дортуару, скрывать всякий скандал, случившийся в дортуаре; в ссоре уважаемой воспи-

танницы одного дортуара с воспитанницею другого зачастую принимал участие весь дортуар. Всем членам этого дортуара запрещалось в таких случаях не только сноситься с другим дортуаром, ходить туда, но даже разговаривать с его членами. Словом, каждое отделение *берегло свою честь* перед остальным институтом, и в этом оба дортуара помогали друг другу и сливались в одно целое; но в своей среде, в своем домашнем, так сказать, быту, каждое отделение распадалось на два лагеря, зачастую враждовавшие, стремившиеся перещеголять друг друга, и тут уже каждый *берег честь* своего дортуара перед другим.

Классные дамы, при переходе учениц из маленького класса в большой, переходили вместе с ними, так что ученицы находились под началом одних и тех же дам во все время пребывания в институте.

В этот день я мало успела просветиться насчет моей новой обстановки, не разглядела даже хорошенько лиц, окружавших меня, не запомнила фамилий; узнала только, между прочим, что институтки обязаны говорить между собой один день по-французски, а другой день — по-немецки. За несоблюдение этого правила привешивался к шее вышеупомянутый красный картонный *язык*. Воспитанница, получившая язык на шею, прислушивалась к говору подруг и, услыша русскую фразу, в свою очередь передавала язык той, которая ее произнесла. Этим объяснялась сцена, виденная мною поутру в классе.

Так как большинство институток плохо объяснялось на иностранных диалектах, в особенности на немецком, знание которого исчерпывалось весьма небольшим репертуаром фраз, вроде: «*Geben Sie mir*», «*übergeben Sie mir*», «*Kommen Sie*», «*erlauben Sie mir*»[23], да и только, то для избежания языка изобретена была следующая уловка, освященная обычаем и допущенная классными дамами, а именно: всякой русской фразе предпосылалась немецкая, институтской фабрикации: «*Wie sagt man auf Deutsh?*»[24] Заручившись этой спасительной фразой, можно было говорить сколько угодно по-русски. Я, дескать, не знаю, как сказать, и прошу вразумить и научить!

Для французского, на котором, впрочем, воспитанницы говорили охотнее, — хотя Богу одному да институтским стенам известно, что это был за французский язык, — существовал такой же громоотвод, или, лучше сказать, языкоотвод: «*Comment dit-on en français?*»[25]

Впрочем, правила эти наблюдались не особенно строго, и, во всяком случае, не постоянно, потому что не в русском характере систематиче-

ски преследовать какую бы то ни было цель. *Язык* по целым неделям, даже месяцам валялся где-нибудь в шкáпу и только по внезапно осенявшему по временам классную даму усердию вытаскивался на свет Божий, гулял по институтским шеям дня три-четыре, а затем снова сдавался в архив на неопределенный срок.

Общее внимание страшно смущало меня. Впрочем, все обходились со мной чрезвычайно вежливо, хотя холодно и свысока.

В противность мужским учебным заведениям, где принято *новичков* обижать, бить и чинить над ними всякие каверзы, в институте с *новенькими* обращались вежливо, говорили им «*вы*» и оберегали от неприятностей. Сами воспитанницы наблюдали за этим, и беда, если какая-нибудь девочка осмеливалась обидеть *словом* новенькую (voies de fait[26] не существовало вовсе ни для новеньких, ни для стареньких; всякая ручная расправа была противна институтским понятиям, институтскому духу и навлекла бы на виновную такую бурю и такую гонку со стороны товарищества, что самые строптивые вели себя безукоризненно в этом отношении), то все остальные налетали на нее разом и осаживали словами: «Как вам не стыдно, разве вы забыли, что она новенькая!»

Это бережное обращение длилось неделю-две — определенного срока не было — и затем внезапно прекращалось. Случалось это почти всегда следующим образом: кто-нибудь из стареньких повздорит невзначай с новенькой, иногда даже без вызова с ее стороны, а так, из шалости или дурного расположения духа. Сначала поднимутся, бывало, возгласы: «Что вы, как вам не стыдно, она новенькая!» Реприманды[27] и брань между воспитанницами сопровождались всегда местоимением «*вы*», что делало их еще ядовитее.

На это укоряемая возразит: «Какая она *новенькая*, она уж *старенькая*!»

Остальные умолкнут, как будто сообразят, что точно, новенькая стала старенькой... и очарование нарушено, *табу* снято и девочка поступает в общий разряд, подпадает власти законов, из-под которой была изъята на время.

Когда после ужина мы пришли в дортуар, окна которого выходили на тот двор, с которого мы с отцом подъехали к институту поутру, оцепенение, в котором я находилась целый день, уступило место страшной, жгучей боли. Я принялась рыдать и рыдала долго, неутешно.

Так закончился первый день моего пребывания в институте.

III

Распределение институтского дня. — Формальная сторона жизни института и его внутренние порядки. — Внешняя обстановка института. — Расположение и убранство классов, дортуаров и зал. — Гигиенические условия; пища и одежда

На другой день, в шесть часов утра, большой колокол на дворе возвестил о том, что пора вставать; вслед затем раздался другой звон у самых дверей дортуара, напоминавший о том же.

И летом и зимой неизменно институтки вставали в шесть часов; исключение допускалось лишь для слабых и бледных, которым дозволялось спать до восьми часов.

Несмотря на вышеупомянутый трезвон, большинство спало так крепко, что потревожить этот сон не могли никакие колокола. Обязанность подымать заспавшихся воспитанниц брала на себя дортуарная горничная. Она обходила все кровати, толкая, убеждая, а с более смирных стаскивала одеяла.

— Вставайте, вставайте, *mesdames*, — говорила она, переняв это слово, с которым она всегда обращалась к нам, от нас же и произнося его «*мядам*».

Тогда подымался буквально стон по всему дортуару. Охи, вздохи, жалобы, возгласы: «Несчастные мы, *mesdames*! бедные мы! Господи! да когда же этому конец! да когда же выпуск!» — неслись со всех сторон.

Эта сцена ежедневно повторялась точка в точку в течение нескольких лет моего пребывания в институте; никогда не могли привыкнуть мы вставать рано, никогда не просыпались от трезвона, и никогда не раздавалось столько жалоб на судьбу и страстных пожеланий выбраться из институтских стен, как по утрам, при пробуждении от сна. Все остальные невзгоды институтской жизни, даже самые наказания, переносились философичнее, но раннее вставание казалось до конца невыносимой пыткой.

Но вот наконец все встали, умылись и оделись, не без споров, ссор, столкновений из-за умывальника, где могло мыться зараз только трое. Чесание и одевание необходимо вызывало взаимную самопомощь; костюм институтский был таков, что обойтись без чужой помощи было трудно,

да к тому же строго запрещалось начальством самой одеваться, под тем предлогом, что можно сделаться кривобокой.

И вот зачастую слышалось:

— *Mesdames*! душки! кто меня причешет?

— N.N.! застегни мне платье!

— *Mesdames*! Дайте булавочку.

Всякий отказ в требуемой услуге встречался словами: «Противная! *malcomplaisante*!»[28] Последнее слово, неизвестно кем сфабрикованное, считалось особенно позорным. Оно порочило репутацию институтки во мнении товарищества.

В восемь часов классная дама выходила из своей комнаты, помещавшейся рядом с дортуаром. Воспитанницы выстраивались *par paires* и шли в столовую. Там происходила общая молитва, которая поочередно читалась вслух одною из воспитанниц. После этого пили чай и расходились по классам, где происходила новая церемония: классная дама усаживалась на своем месте, а воспитанницы одна за другой подходили к ней, протягивали к ней руки и раскрывали при этом рот, выставляя зубы, — это свидетельствовалось, чисты ли ногти и зубы; затем приподнимали немного обеими руками платье — в порядке ли обувь; затем поворачивались спиной — на месте ли корсет и аккуратно ли сидит платье и передник; затем *volte-face*[29] и реверанс.

Мы так изловчились в этом институтском артикуле, довольно комическом для непривычного глаза, что прокидывали его с быстротою молнии.

Помню, в конце первого года поступили к нам две новенькие, две сестры. Вот пришли они утром в класс; началась церемония; я как-то нечаянно взглянула в их сторону; они сидели недалеко от меня; вижу, глаза у них вытаращены, губы шепчут: «Что это? Что это?» — да вдруг обе как прыснут со смеха. Долго опомниться не могли, уж очень поражены были!

От 9 часов и до 12 были две перемены, то есть два урока. В 12 часов обедали и до 2 [часов] была рекреация[30]. Летом гуляли в саду, зимой сначала на дворе, а потом в двух больших рекреационных залах, где также была устроена гимнастика; здесь сходились в одной зале все отделения большого класса; а в другой — все отделения маленького.

В этот же промежуток времени обучавшиеся музыке по очереди рассаживались за многое множество фортепиан, рассеянных по всем классам, дортуарам и залам. Поднимался музыкальный трезвон; идешь, бывало,

по коридору нижнего этажа, со всех сторон слышатся гаммы, экзерсисы[31], и все это сливается в один нестройный гул; подымаешься в коридор второго этажа — те же звуки несутся изо всех комнат; в третьем этаже — та же история. Для непривычного уха терзание, да и только! а институтские уши так привыкли к этой какофонии, что и не замечали ее вовсе, словно ее и не существовало.

От 2 до 5 часов опять две перемены. В 5 приходила в класс горничная и приносила в переднике булки, на которые воспитанницы набрасывались как голодные волки, впрочем, только в маленьком классе, а в большом институтский декорум брал верх; резкое проявление даже голода обуздывалось, и воспитанницы разбирали булки с небрежной чинностью[32].

От 5 до 6 сидели по классам. Этот час назначался для приготовления уроков, но редко кто этим занимался в это время. Это был вообще самый свободный час дня, потому что классные дамы уходили к себе в комнату отдохнуть, и их сменяли пепиньерки, которые далеко не были так страшны, как дамы. Они были снисходительнее, потому что не успели еще отвыкнуть от зеленого платья и проникнуться начальственной строгостью. Их не боялись и обращались с ними запросто. Двери всех семи отделений раскрывались в коридор. Институтки толпились в нем, переходили из одного отделения в другое.

Зачастую устраивалось пенье и музыка, и уже не как упражнения, а для собственного удовольствия. Смех, крики, споры, рассказы — словом, полнейший беспорядок и гвалт. Бедные пепиньерки надрывались, угомоняя расходившихся девиц; но, видя бесполезность усилий, махали рукой и предоставляли все на волю Божию.

К 6 часам все утихало и опять появлялась классная дама. Время от 6 до 8 часов вечера было занято обыкновенно у больших или уроком хорового пенья, или танцклассом (маленькие не пели и танцевали отдельно от больших), за исключением середы и субботы: по середам приезжали в приемную залу родственники для свидания с родственницами, а по субботам бывала всенощная, и в ожидании ее оба класса, большой и маленький, собирались в той же зале. Это было единственное время, за исключением балов и других торжеств, когда оба класса сходились в одной комнате, да и то строго разделялись по двум сторонам залы и не смешивались друг с другом.

В 8 часов ужин, общая молитва и затем сон.

И так неизменно, изо дня в день, как заведенные часы.

Одну из характерных сторон институтских порядков составляло то, что воспитанницы всегда были собраны стадом; у институтки было отнято право свободного и независимого передвижения своей особы по институтскому локалю[33]. Передвижения совершались целыми отделениями или, по крайней мере, дортуарами, в сопровождении классной дамы или пепиньерки и были подчинены правильным законам, как движение планет. Всякое же одиночное и личное передвижение требовало предварительного разрешения классной дамы или заменяющей ее пепиньерки. Ни в коридорах, ни в классах, ни в залах, ни в дортуарах нельзя было встретить институток врассыпную, иначе как по определенному делу; этих дел было наперечет, и они были ограничены во времени определенным сроком.

Всякая встреча одиночно идущей воспитанницы с начальницей или инспектрисой сопровождалась допросом: куда и зачем она идет? Ускользнуть из стада незамеченной, безнаказанно пространствовать по институту, без определенной заранее объявленной классной даме цели было делом в высшей степени трудным и рискованным и подвергало воспитанницу большой ответственности. Тем не менее находились отважные, *отчаянные* на институтском наречии, головы, которые иногда решались на это действие, считавшееся у начальства одним из самых важных проступков, какие только могла совершить институтка и для которого существовал особый термин, а именно *бегать*.

— Какого поведения N.N.?

— Дурного; она *бегает*.

Такой разговор могли бы вы зачастую услышать в институтских стенах.

Затем институтская формалистика требовала от воспитанницы, как признака хорошего поведения, безмолвия во время шествия *par paires*, чинного поведения в классе, аккуратности в одежде и вообще избежания во всех случаях жизни громкого говора и шума. Последнее требование создало особый термин: *кричать*. Он тоже обозначал один из проступков против хорошего поведения, хотя, конечно, не такой важный и существенный, как *бегать*, и вы тоже могли бы услышать иногда:

— Как ведет себя такая-то?

— Не очень хорошо, она *кричит*.

То есть шепчется, идя *par paires*, громко говорит вне уроков, шумит в дортуаре или в классе, когда нет классной дамы, и дает себя *накрыть* на месте преступления.

Само собой разумеется, что та же формалистика требовала безусловно вежливого отношения к начальству, выражавшегося, например, тем, что воспитанницы при каждой встрече в течение дня с учителями, классными дамами, инспектрисами и т.п. обязаны были отпускать реверанс, хотя бы эти встречи повторялись по нескольку раз с одним и тем же лицом. Беспрекословное послушание входило тоже в программу обязанностей институтки. Всякое оправдание, даже объяснение, если только оно не вызывалось самим начальством, усугубляло вину. Про грубость я уже и не говорю, да на нее почти никогда и не отваживались. Институтки понимали, что всякая *грубость* будет просто *глупостью* и не приведет ни к каким хорошим результатам. Поэтому вообще открытого сопротивления начальству институтки никогда не оказывали. Тем не менее искони существовало молчаливое, пассивное, так сказать отрицательное, сопротивление, о котором я буду говорить в своем месте.

Внешняя обстановка института была почти роскошная: огромные залы, высокие и просторные помещения для классов и дортуаров, почти везде паркетные полы и безукоризненная, сияющая чистота повсюду.

Дортуары, большие комнаты в шесть, а иногда больше окон, были расположены по всем трем этажам дома. Вдоль стен шли ряды железных кроватей. Перед каждой кроватью табурет с ящиком, куда складывалось имущество воспитанницы: гребни, мыло, ночная кофта и проч. В глубине комнаты стоял большой медный умывальник с тремя кранами, блестевший всегда как золото, посреди комнаты длинный стол с двумя скамьями, и над ним лампа с абажуром, горевшая всю ночь.

В классах, расположенных в одном общем коридоре второго этажа, стояли рядами скамейки с пюпитрами, на каждой скамейке сидело по две девицы; в пюпитрах были ящики, где лежали книги, тетради, перья и проч. Все это никогда не запиралось и подвергалось по временам осмотру начальства, так же как и дортуарные табуреты. И те и другие должны были содержаться в большом порядке. Беспорядок преследовался.

Скамейки стояли в четыре ряда, с промежутками между каждым рядом, чтобы можно было проходить, и шли, понижаясь от стены к середине класса. Поодаль, у другой стены стояла одна отдельная скамейка, прозывавшаяся *камчаткой*. Туда сажались в наказание ленивые и проштрафившиеся ученицы, и это называлось на институтском языке *быть сосланною в камчатку*. Сидевшая на этой скамейке была отрезана от остальных девиц. Сообщение между *камчаткой* и остальными скамейками

было невозможно, а следовательно, и всякая тайная передача записки, книги и пр.

Против скамеек, посередине комнаты, стояли стол и кресло. Это было место учителя. За ними две большие черные доски. За досками у стены стояли шкапы с книгами и учебными пособиями. Стены были сплошь завешаны громадными географическими картами.

Для классной дамы были отведены отдельный стол и кресло, стоявшие у окна, напротив двери в коридор[34]. Все классы сообщались дверями, которые обыкновенно были заперты и отворялись только в редких случаях, когда высшее начальство обходило классы.

Зал было несколько. Они были расположены во втором этаже. Одна из них почему-то называлась залой совета, хотя в мое время никогда и никто в ней не совещался. Главная приемная зала, где происходили все институтские торжества, акты, публичные экзамены, балы и проч., была громадна, в два света[35] с колоннами, которые поддерживали хоры, и решеткой внизу, за которой принимались родственники. Рядом с этой залой, которая в отличие от других называлась *большою*, помещалась церковь, тоже большая, в два света, с колоннами и хорами и вообще весьма изящная.

За церковью помещался лазарет, отделенный от церкви только площадкою. Во время службы двери церкви, ведущие на эту площадку, и двери лазарета раскрывались, так что больные, которые были на ногах, видели и слышали все богослужение.

Столовая зала, расположенная в нижнем этаже, была громадна, со сводами, которые поддерживались толстыми столбами, разделявшими залу как бы на три длинные галереи. Они были заняты длиннейшими столами с откидными скамейками. Кухня помещалась рядом, и кушанья подавались поварами в окно. За столом прислуживали дортуарные горничные.

Гигиенические условия институтской жизни могли считаться почти удовлетворительными, если принять во внимание гигиенические условия, в какие поставлено большинство детей в русском обществе, а не новейшее воззрение на гигиену, так сказать идеальное, ибо оно почти нигде еще не перешло в жизнь. Для избежания недоразумения выражусь точнее: говоря, что в институте гигиенические условия были почти удовлетворительны, я вовсе не имею в виду тех идеальных условий, которые бы создал для школы, например, Вирхов[36], если бы ему поручили устроить таковую, а гигиенические условия, или, лучше сказать, отсутствие таковых

во многих других заведениях и школах, и в большинстве семейств: нечистый, спертый воздух, отсутствие моциона, неопрятность в платье и помещении.

У нас воздух был везде чистый, потому что помещение было обширное, чистота, как я уже сказала, безукоризненная, моциона достаточно. Не говоря про лето, когда большую часть дня проводили в саду, где позволялось бегать сколько душе угодно, и зимой нас водили гулять по двору. Кроме того, два раза в неделю была гимнастика, и два вечера в неделю были заняты танцклассом, во время которого напрыгаться можно было вдоволь. Я уж не говорю про ежедневные переходы из дортуаров в классы, в столовую и обратно, что составляло в общей сложности, по крайней мере, версты три.

Легенды о чрезвычайной бледности и болезненности институток я приписываю досужей фантазии петербуржцев, которые, как известно, задают тон общественному мнению в России и которые обобщили факт, присущий, может быть, петербургским институтам.

Мудреного нет, что петербургские институтки бледные, потому что в Петербурге большинство детей, девиц, женщин бледные. Это уже условие петербургского климата. Немудрено, что они и болезненные, когда вообще в Петербурге трудно встретить женщину здоровую. В нашем институте, удаленном от петербургского болота, процент бледных девиц был самый незначительный и обусловливался скорее свойствами организма, роста и другими причинами, чем условиями институтской жизни. Болезненные были и у нас, были и кривобокие и горбатые даже, но такими они поступали в институт и представляли собой замечательные образцы домашнего ухода за детьми. Таких институт лечил заботливо и добросовестно.

Я сказала, что гигиенические условия были *довольно* удовлетворительны оттого, что картина была не без пятен. Таким пятном была, между прочим, пища.

Пищу вообще можно было бы назвать удовлетворительной для неприхотливого желудка, если бы ее давали в достаточном количестве. Но в том-то и беда, что у нас все желудки и все аппетиты подводились под один ранжир, и от этого многие воспитанницы страдали от голода. По утрам зимой давали две чашки чаю, а летом стакан молока с булкой. За обедом бывало три блюда: суп или щи, небольшой кусок говядины, различно приправленной, или котлета и какой-нибудь пирожок не особенно большо-

го размера, или какая-нибудь каша. В 5 часов вечера воспитанницы получали по булке. В 8 часов ужин из двух блюд. Все это было приготовлено недурно, припасы были большею частью свежие, но порции были малы. Только квасу да черного хлеба давали неопределенными количествами, а сколько душе угодно, и иные наедались черным хлебом, но не все желудки могли его выносить и были, таким образом, лишены этого подспорья[37].

Одежда институток так известна, что почти нет надобности ее описывать. По большей части зеленое или коричневое камлотовое платье до полу, самой оригинальной и допотопной постройки, юбка, пришитая сзади к гладкому вырезанному лифу, с короткими рукавами, который застегивался сзади на крючках; одно полотнище юбки на поясе, не пришитое к лифу, пристегивалось к нему сбоку. Белый, по будням полотняный, по праздникам коленкоровый передник с лифом внизу закалывался на булавках и вверху связывался шнурком, белые пелерины и рукава — вот верхнее платье. Белье, в том числе и постельное, было из простого, но довольно тонкого полотна и менялось два раза в неделю. Башмаки составляли отчаяние институтских кокеток своим допотопным фасоном: из черной тонкой кожи, вырезанные как туфли[38], они привязывались к ноге черными шелковыми ленточками, перекрещивавшимися спереди. К довершению беды ленточки беспрестанно лопались и отрывались, а развязанный башмак подвергал выговорам и был поступком против дисциплины[39].

IV

Казенные и собственные. — Институтская иерархия и ее взаимные отношения. — Отношение институток к начальству вообще. — Ближайшее начальство: директриса, инспектрисы, классные дамы, пепиньерки; их роль и обязанности; отношение к ним институток

Для институток все человечество распадалось на две части, на два отряда, из которых один звался *казенные*, а другой — *собственные*.

Казенными были все, имевшие какую бы то ни было связь с институтом; директриса, классные дамы, учителя, попечители, эконом, доктор, институтская прислуга и, наконец, сами институтки.

Собственными считались родные, посторонние посетители — словом, весь мир, стоящий за пределами института и не имеющий к нему никакого отношения.

Казенные, в свою очередь, подразделялись на разряды. В одном числилось высшее начальство, различные попечители, не жившие в институтских стенах и являвшиеся лишь в исключительных случаях, на экзамены и другие торжества. Это начальство стояло очень далеко от институток, и с ним у них не было почти никаких отношений. Оно не оказывало прямого влияния на институток и было, так сказать, начальство над начальством, а не над воспитанницами.

Ко второму разряду относилось начальство, непосредственно соприкасавшееся с институтками и жившее в одних с ними стенах: *директриса*, *инспектрисы*, *классные дамы* и *пепиньерки*. С этим начальством отношения были сложные.

В третьем разряде числились *учителя* и *инспектор классов*, которые заведовали одной учебной частью, а до административной не касались и потому не считались институтками за начальство в настоящем смысле этого слова. С ними отношения носили иной характер, чем отношения с административным начальством.

В четвертом разряде стояли *казенные* среднего, так сказать, рода — *институтские амфибии*[40], которые, собственно, не были начальством, по крайней мере институтки их таковыми не считали, но которые заведовали разными отдельными частями, как, например, *доктор, лазаретная дама и ее помощница, две дамы, учившие различным женским рукоделиям, кастеляншa, гардеробная дама, эконом и полицеймейстер.*

В пятом разряде — сами воспитанницы.

В шестом — институтская прислуга.

Отношения с начальством вообще были чисто формальные, т.е. начальство имело в своих руках только внешнюю оболочку воспитанницы, между тем как ее внутренний мир ускользал и от его влияния, и от его надзора. Словом, начальство могло повелевать институткой и руководить ею в области институтской дисциплины чисто внешнего характера; оно могло преследовать *бегающих*, *кричащих*, *неаккуратных* да еще *ленивых*, если хотело. Но тут и кончалась его власть. Над характером, волей, мыслью, мнениями институтки оно было не властно.

Требованиям внешнего порядка, заявляемым начальством, повиновались почти беспрекословно; оказывали ему наружное уважение, не воз-

ражали, не грубили — на последнее решались самые плохие, самые *отчаянные*, которые скверно учились, не уважались по большей части товариществом и которым нечего было терять. Но если начальство посягало на нравственную свободу институтки, то терпело фиаско. Всякое такое требование никогда не оспаривалось, но и не исполнялось.

— *Très bien*[41], — ответит, бывало, институтка и останется при своем. Мораль и нотации выслушивались совершенно бесстрастно и не производили никакой внутренней сенсации в институтке, кроме скуки, и ровно никакого педагогического значения не имели. Словом, это было, что называется, *горохом об стену*. Начальство запрещало, например, читать всякие книги, которые не прошли через его цензуру, а подземная[42] библиотека наша всегда была в изобилии снабжена книгами; начальство запрещало иметь на руках деньги, которые должны были сохраняться у классных дам и употребляться с их ведома и разрешения, а деньги постоянно водились у воспитанниц и скрывались от классных дам — искоренить эти две вещи начальство не могло никоим образом. Напрасно устраивало оно облавы на книги, напрасно осматривало пюпитры и проч. Институтки попадались, наказывались и... завтра делали то же самое. У нас даже сложилась легенда о *вечном двугривенном*, который будто бы институтка получила от дядюшки, посетившего ее в воскресенье или среду, и который она не решилась отдать классной даме, потому что ей совестно было беспокоить ее из-за такой ничтожной суммы. Классные дамы, конечно, не верили этой легенде, служившей отговоркой всем попавшимся с деньгами, но в большей части случаев показывали вид, что верят и вообще смотрели сквозь пальцы — делай, только не попадайся, потому что долгим опытом убедились в бесполезности запрещения.

Нельзя, однако, сказать, чтобы к начальству вообще относились особенно враждебно. Отдельные личности, особенно несносные, придирчивые и сварливые, конечно, были ненавидимы от всей души, но все начальство *en masse*[43] не внушало особенно неприязненных чувств. Его просто игнорировали как педагогов и, так сказать, *обходили*. С ним постоянно держали себя осторожно, скрытно, перед ним не высказывались, даже и тогда, когда оно бывало в милостивом расположении духа, шутило, вмешивалось в игры, — и тогда институтки не выходили из своей раковины. Словом, с начальством постоянно поддерживался как бы *вооруженный мир*.

Начальству трудно было узнать настоящий характер институтки; оно часто ошибалось в своих определениях, лицемерных принимало за исправных, не всегда умело отличить злых от добрых, честных от испорченных, и поэтому мнение начальства о какой-нибудь воспитаннице часто не сходилось с мнением о ней товарищества.

У нас была, например, одна девочка, которая особенно полюбилась директрисе, хотя и далеко не была идеального поведения. Она и *бегала*, и *кричала*, и не отличалась аккуратностью. Тем не менее директриса зачастую трепала ее по щеке, приговаривая: «*Cette enfant — là a une mauvaise tête, mais un bon coeur...*»[44] — и ошибалась. У девочки была бедовая голова и скверное сердце, сухое, эгоистичное, невеликодушное. Она была не без удальства в характере и то, что называлось на институтском языке «*брянчушка* завзятая». Вокруг нее группировалась небольшая партия таких же сорванцов, как она сама, но все товарищество вообще не особенно любило и уважало ее.

Всякая *новенькая* неизбежно втягивалась в общий строй отношений к начальству; мало-помалу перенимала тот взгляд, который имело на начальство товарищество, особенно уважавшее и ценившее в воспитаннице хладнокровную, спокойную и бесстрастную манеру себя держать с начальством и известного рода стоицизм, в силу которого брань, упреки, наказания должны были приниматься молча, без слез, без просьб о пощаде.

Директриса, или *maman*, как принято было называть ее, была главной воспитательной, административной, хозяйственной и судебной властью в институте, высшей инстанцией, которой были подчинены инспектрисы, классные дамы, пепиньерки и все служащие в институте *амфибии*.

Я знавала двух директрис. Первая, та самая высокая, красивая, важная старуха, при которой я поступила в институт, умерла при мне, отпраздновав свой двадцатипятилетний юбилей[45]. Весь институт оплакивал ее кончину. Власти институтские оплакивали ее потому, что при ней им была большая воля. Вследствие старости и важности, она распустила и классных дам, и эконома, и полицеймейстера. Они делали, что хотели; классные дамы превышали власть; эконом воровал и кормил хуже, чем полагалось; все отрасли институтского управления были запущены. Институтки оплакивали ее по привычке и глядя на властей; она держала себя с нами очень важно и официально; редко даже показывалась на глаза, и я полагаю, что воспитанницам только *казалось*, что они страсть как любят эту *maman*.

Другая директриса, сменившая первую после ее смерти, была личностью замечательной[46].

Женщина очень умная, очень образованная по тогдашнему времени, дельная, энергическая, с железной волей и неутомимой деятельности, она забрала весь институт в ежовые рукавицы, которые сначала показались весьма жесткими всем и каждому.

Вставала она с петухами, ложилась позднее всех; ежедневно присутствовала при утренней молитве, обеде и ужине; ежедневно обходила весь институт, все классы и дортуары; подтянула эконома и заставила его кормить как следует, классных дам обуздала и все институтское управление привела в блистательный порядок. Ничто не могло укрыться от ее зоркого взгляда; она ухитрялась быть вездесущей.

Припоминая о ней, я не могу не отдать ей дань невольного уважения за такое добросовестное, *нечиновническое* отношение к вверенному ей делу.

Кроме того, она была *проста* сравнительно с другими директрисами и *гуманна* в сношениях с институтками; обращалась с ними задушевнее, теплее и гораздо более заслуживала титула «maman», которого, однако, долго не хотели октроировать[47] ей воспитанницы, чем прежняя чопорная и холодная директриса.

Поступление ее к нам сопровождалось внутренней бурей в институте и скрытым, но сильным недоброжелательством. Ей предшествовала слава неумолимой строгости. Про нее говорили, что она незадолго перед тем была прислана из Петербурга в один из институтов нашего города усмирять учинившийся там бунт, и назначение ее к нам сочли как бы за обиду. «Разве мы бунтовали? разве у нас случилась какая-нибудь история, что к нам переводят эту фурию?» — говорили почти громко и классные дамы, и воспитанницы.

Но, как бы то ни было, она была назначена к нам, и вот после двухмесячного междуцарствия, во время которого управляла институтом старшая инспектриса[48], при которой мы пользовались необыкновенной для институток свободой и льготами, вроде фантастических причесок, ношения собственной обуви и различных украшений вроде бархаток, разноцветных шейных платочков и проч., что при первой директрисе разрешалось лишь по большим праздникам, а при второй совсем запретилось раз и навсегда, собрали нас всех в большую залу, выстроили рядами и объявили, что сейчас явится новая директриса.

Вот вошла в залу женщина среднего роста, полная и некрасивая, с живыми, резкими движениями и каким-то нервным подергиванием в голове. Она нам, разумеется, не понравилась; мы уже были предубеждены против нее, а тут еще отсутствие царственной осанки и представительности в наружности, к которой приучила наш глаз прежняя директриса.

— Какая это начальница, это просто кухарка! — объявили институтки, когда директриса после краткой речи удалилась в свои апартаменты. И тут же порешили составить лигу против нее, всеми средствами давать ей отпор и даже, если возможно, *выжить* ее.

— Она свирепая; говорят, она *высекла* нескольких воспитанниц NN-ского института.

— А заметили вы, *mesdames*, как трясется ее голова?

— Противная, гадкая! Бедные мы, несчастные мы!

— Зачем умерла наш ангел *maman*!

— Mesdames! не говорить ей *maman*, а *madame*, слышите! никто не смеет говорить ей *maman*.

— Хорошо, хорошо! — закричали все хором, и заговор был составлен.

Директриса тем временем приняла бразды правления... и начала заводить новые порядки, которые сгоряча не понравились даже и тем, кому они были выгодны, а именно воспитанницам.

Так, напр[имер], она ограничила власть классных дам, отняв у них право суда и расправы, и уничтожила все наказания, вроде снятия передника, заплетения волос на две косы — наказание, называвшееся *натками*, от слова *nattes*[49] — пришпиливания к платью этикеток с надписями *négligente*, *paresseuse*[50] и проч., которым подвергали классные дамы, по своему личному благоусмотрению, девиц. Все эти исправительные меры она вывела вон и заменила их так называвшимся рапортом, т.е. книгой, в которую классные дамы обязаны были ежедневно вносить отчет о поведении девиц и свои на них претензии. Форма, в которой это производилось, была по большей части следующая: *La conduite des élèves de la 1-re division a été satisfaisante, à l'exception de M-elle N.N. qui a donnée preuve de mauvais caractére,* или *qui a été paresseuse, négligente*[51] и проч.

Таким образом, произвол классных дам был обуздан. *Рапорты* изо всех отделений приносились каждый вечер директрисе дежурными девицами, и на другое утро директриса сама разбирала, в чем дело. Обыкновенно

она призывала виновную к себе и говорила ей с глазу на глаз: *Eh! bien, ma chère, racontez moi comment la chose s'est passée!*[52]

Это давало ей возможность судить о степени виновности девицы и справедливости классной дамы. Если она не усматривала из рассказа ничего особенно дурного, от отпускала со словами: *Allez! ma chère, et soyez plus sage à l'avenir*[53]. Если вина была действительная, она задавала гонку.

Классные дамы поняли, что при такой системе нельзя давать волю личному раздражению и капризам, и записывали в рапорт редко и лишь тогда, когда действительно стоило; между тем, как прежде, они томили девицу *без передника*, *в натках* и *в этикетке* по целым неделям, в силу личной неприязни или расходившейся злости.

Между тем заговор продолжался. Все попытки директрисы к знакомству и сближению с вверенным ей стадом принимались этим последним с нескрываемой холодностью. «Maman» исчезло с языка воспитанниц и заменилось словом «madame». Классные дамы, сами раздраженные, не делали никаких попыток к увещанию девиц.

Директриса обиделась и заявила о своем неудовольствии классным дамам. Те передали нам и приказали для проформы говорить «Maman». Тогда институтки прибегли к новой уловке; они стали произносить слово «maman» быстро и невнятно, особенным образом комкая его, так что выходило и не «maman» и не «madame», а так, ни то, ни се.

Директрису это укололо в самое сердце. Она призвала классных дам и велела им передать воспитанницам, что если они не хотят называть ее «Maman» и видеть в ней мать, то в таком случае пусть помнят, что она их *начальница* и не смеют говорить ей иначе как «Votre Excellence»[54].

Но мало-помалу дело обошлось. Институтки раскусили, что новые порядки гораздо неприятнее для властей, чем для них, и оценили новую директрису по достоинству. Особенно послужило в ее пользу следующее обстоятельство, случившееся в 1-м отделении.

Незадолго перед тем умер один из самых популярных учителей, учитель географии и истории Б[унин]. Для истории был приглашен новый учитель Z.[55]. Географию же поручили учителю 2-го отделения N.N.

Надо знать, что учителей по одному и тому же предмету бывало всего несколько, и одни считались институтками первостепенными, а другие — второстепенными. На чем основывалось такое понятие и было ли оно справедливо — не знаю. Знаю только, что у институток твердо засело в голове, что учителя 4-го и 1-го отделений, из которых многие преподава-

ли и во 2-м, лучше, умнее и ученее учителей других отделений. Итак, назначение этого учителя показалось обидой. Устроился против него заговор и был немедленно приведен в исполнение.

Вот в назначенное время входит учитель в класс, в сопровождении инспектора, маленького, толстенького человечка в черном парике и с кругленьким брюшком[56]. Инспектор этот был добряк и, говорят, большой учености человек, известный математик. Он был не без странностей, между прочим, всегда рекомендовал какую-то особенно прекрасную помаду для волос, которая удивительно как укрепляет волоса, и при этом указывал пальцем на свой парик как на доказательство. Комично говорил по-русски (происхождения он, кажется, был еврейского), но воспитанницы его любили, хотя и передразнивали его произношение и привычку гладить свое брюшко.

Едва показались они в дверь, как началась комедия; воспитанницы, заранее вооруженные носовыми платками, принялись громко всхлипывать и тереть глаза изо всех сил. Послышались восклицания:

— Бедные мы! несчастные мы! божественный Б[унин] (умерший учитель).

Изумленный инспектор вытаращил глаза:

— Честь имею представить вам нового учителя географии!

Всхлипывание и сморкание, охи и вздохи.

— Прошу любить да жаловать!

Крики:

— Никогда! никогда! бедные мы! несчастные мы! божественный Б[унин]!

Классная дама, захваченная врасплох, видя, что все увещания ее остаются тщетными, объяснила инспектору, что мы очень огорчены смертию любимого учителя и что нам тяжело видеть в первый раз другого на его месте. Как бы в подтверждение ее слов, вздохи и всхлипывания участились, платки не отрывались от глаз.

Инспектор почел за лучшее удалиться, увидя, что сцене не предвидится конца. Смущенный учитель сел на свое место и своим противным голосом пропел в нос и сквозь зубы (он всегда говорил так и держался, словно аршин проглотил, за что его прозвали *англичанином*; да у него, кажется, и действительно была замашка англоманства):

— Это делает вам честь, госпожи, что вы так любили своего учителя. Надеюсь, что со временем и я заслужу такую же благосклонность...

— Никогда! никогда! вот еще! с чего вы взяли! бедные мы, несчастные мы! божественный Б[унин].

Учитель окончательно растерялся. Скандал вышел блистательный, и что всего удивительней — сошел нам с рук.

Между тем новый учитель, словно в подтверждение мнения институток о второстепенном достоинстве учителей второстепенных отделений, оказался как на беду идиотом.

Что он преподавал нам, передать невозможно! и какими сравнениями уснащал свою невообразимую чепуху, вероятно, для большей наглядности, — замечательно.

Гора у него, например, характеризовалась *конусом в виде сахарной головы. Земной шар и его ось* — поэтично сравнивались с *яблочком, проткнутым палочкой. Большая Медведица* — оказывалась *возком, запряженным шестеркой лошадей*; и буквально все в этом роде.

К довершению всего он требовал, чтобы мы всю его галиматью *долбили наизусть слово в слово*, чего до него никогда и ни один учитель не только не требовал, но и не поощрял. Предшественник его покойный Б[унин] так даже *нули* ставил за затверженный слово в слово урок и в сердцах говаривал:

— Мне вашей зубряшки не надо! Я хочу, чтобы вы понимали ваш урок и умели передать его своими словами.

Мочи не было нам с новым учителем, терпения не хватало. Никто и никогда, конечно, не *долбил* урока, и он щедрой рукой расточал *нули* таким ученицам, которым и во сне никогда не снились *нуль* или *возможность его получить*. Классные дамы только плечами пожимали, а мы ему прямо объявили в одно прекрасное утро: мы не понимаем того, что вы нам задаете, и *долбить* этого не станем, потому что вообще *долбить* не привыкли и не умеем.

Вскипел наш дурень, и в тот же день долетел до нас слух, что он говорил *второму отделению*, что *первое отделение* состоит-де из бестолковых ленивиц, которым впору быть *дритками. Дритки* называлось третье отделение — считавшееся по учению худшим, — точно так, как остальные отделения звались: *первяки, вторяки, четверики, пятерики, шестерики и семерики.*

Этой обиды мы окончательно снести не могли, и положено было выжить его во что бы то ни стало.

Вот в один прекрасный день, после особенно удачного урока истории, на котором присутствовала директриса, изъявившая нам свою благодарность и насказавшая много любезностей новому учителю, мы целым классом двинулись к ней и заявили, что у нас до нее большая просьба.

Когда она спросила, в чем дело, мы объяснили, что просим в учителя географии нового учителя истории Z.

Директриса любезно отвечала, что нам следует с этой просьбой обратиться к самому Z.

Z., плотный сангвиник, покраснел, запыхтел, когда мы приступили к нему, и весь сияющий, с присвистом, отличавшим его произношение, отвечал, что он очень рад, что это для него такая честь, помилуйте... и проч. и проч.

Итак, победа за нами. В совершеннейшем азарте вылетели мы в пятичасовую рекреацию в коридор, куда высыпали все другие отделения, крича: «Выгнали, выгнали NN!»

Весь институт узнал, в чем дело; *вторяки* вступились за своего учителя, и произошла между нами ссора, длившаяся несколько дней, во время которой *вторяки* и *первяки*, встречаясь, отворачивались друг от друга и посылали друг другу вслед нелестные эпитеты. Выжитый же враг, когда встречался в коридоре, не только с ученицей 1-го отделения, но даже с классной дамой, поворачивался спиной, вместо того чтобы поклониться. Но это еще более веселило нас. Враг уязвлен и заявляет об этом.

Сколько мне помнится, он недолго оставался после этого во 2-м отделении. Им тоже дали нашего Z.

Эта снисходительность директрисы к нашей просьбе (которая, по всей вероятности, предупредила ее собственное желание — иначе непонятна такая волшебная удача) упрочила ее популярность. С этого времени ее стали звать всегда *Maman*.

Слыхала я впоследствии много пререканий насчет этой личности, и в том числе от институток позднейших выпусков. О ней говорили, что она несправедлива, не в меру строга, *берет взятки* и что институтки ненавидят ее. Странным казалось мне все это. На все мои рассказы о том, какова она была в мое время, мне возражали: да, это потому, что она была внове, а известно, что *новая метла всегда хорошо метет*. Одно время даже в обществе говорили, что назначена ревизия над ее управлением, что открылись будто бы какие-то злоупотребления и проч. Как бы то ни было, а она оставалась на своем месте до самой своей смерти, и я не знаю, насколько правды во всех этих россказнях.

Какою я ее знала, такою и описываю. В мое время она была вообще и справедлива и гуманна; но, конечно, не чужда человеческих слабостей и тех специальных недостатков, которые вырабатывал институт, например, замашки *придираться* по временам к кому-нибудь из воспитанниц, хотя это придиранье было невинной забавой сравнительно с тем, как придирались классные дамы, когда, бывало, зададутся этим удовольствием. Эти последние язвили и пилили так, что жизни не рада, бывало, а она *придиралась* деликатно, так сказать отрицательно, т.е. относилась холодно, словно игнорировала ваше существование; да и в этом придирании, вероятно, были виновны посторонние влияния.

Как умна и проницательна она ни была, а общий строй институтских порядков и отношений институток к начальству, выработавшийся целыми десятками лет, роковым образом захватывал и ее и не позволял проникнуть в самую глубь характера институтки, вполне и со всех сторон понять ее личность. Взяток она не вымогала и не получала ни от кого, если не считать взятками сюрпризы, вроде ковров, экранов, живых картин и спектаклей, которые мы по своей собственной инициативе готовили для нее ко дню именин, рождений и проч. и которые доставляли гораздо больше удовольствия нам самим, чем приносили материальную выгоду ей.

Инспектрис было две: одна над маленьким классом, другая над большим[57]. Дела у них, сдается мне, не особенно было много, и я даже затрудняюсь определить, в чем оно собственно состояло. Они были какой-то промежуточной инстанцией между директрисой и классными дамами, но влияние их и власть не были особенно ощутительны ни для дам, ни для воспитанниц.

Классные дамы — порой мучительницы институток, а порой и мученицы — были обставлены всего невыгоднее в глазах воспитанниц; роль их была самая трудная и требовала почти нечеловеческих совершенств, а потому с ними по преимуществу отношения институток были натянуты и неискренни. Классные дамы и институтки стояли слишком близко друг к другу, слишком много видели друг друга, слишком часто могли надоедать друг другу, слишком хорошо могли изучить взаимные слабости, чтобы отношения их оставались чуждыми всякой неприязни. А так как нередко возникавшая борьба была слишком неравна, то понятно, что воспитанницы искали защиты в скрытности.

Совсем иначе стояли в институте *пепиньерки. Пепиньерками* назывались девицы, которые оставались при институте после выпуска на три года и несли следующие обязанности: дежурить ежедневно в классах в тот час,

который давался классным дамам для отдыха; дежурить поочередно у начальницы в качестве, так сказать, чиновника по особым поручениям и сверх того учить *семериков*, которым не полагалось учителей, кроме законоучителя. Пепиньерок бывало числом от 7 до 10. Спали они в одном общем дортуаре и были поручены специальному надзору одной из инспектрис[58]. Получали жалованья до десяти рублей в месяц. Носили форменное серое платье с черным передником и могли по праздникам уезжать из института к родным и знакомым. Они имели также и свои классы: им читалась педагогика, так как из них готовились будущие классные дамы и учительницы.

С институтками пепиньерки держали себя гораздо проще, чем классные дамы. С большим классом, который знавал их воспитанницами, отношения их были почти дружеские, а к маленькому классу они относились снисходительно-покровительственно. Пепиньерок любили, перед ними не скрывались и оберегали их от неприятностей. Если пепиньерка отпускала из класса институток на незаконную прогулку в дортуар, то, попадаясь классной даме, институтки брали большей частью вину на себя, объявляя, что они убежали без позволения, и *выгораживали* таким образом пепиньерку. За исключением немногих личностей с скверным характером все пепиньерки вообще пользовались популярностью.

Теперь скажу несколько слов о нравственности классным дам и пепиньерок. Эта нравственность, подвергавшаяся стольким нареканиям, была вообще безупречна, в тесном смысле этого слова. Тот вечный надзор, который тяготел над воспитанницами, обратно сказывался на классных дамах и на пепиньерках. Здесь происходило, так сказать, взаимное надзирательство друг за другом. И воспитанницы, и классные дамы, и пепиньерки жили словно под стеклянным колпаком, через который ежеминутно их могли видеть десятки глаз. Следовательно, в стенах институтских буквально невозможна была никакая интрига, разве под условием заговора, в который пришлось бы замешать множество лиц, что, во всяком случае, не легко устраивается. Проникнуть постороннему в институт дальше приемной залы не представлялось физической возможности, а уйти из института воспитаннице почти так же трудно, как арестанту убежать из тюрьмы. Поэтому в истории *всех* институтов скандалы такого рода были наперечет. Про наш институт было, например, известно, что лет за двадцать пять до моего поступления сын директрисы увез одну институтку и обвенчался с ней. Эта история в свое время наделала много шуму и передавалась институтками из рода в род. Вне институтских стен, при всей

кажущейся свободе действий, классные дамы и пепиньерки подвергались все тому же и на этот раз какому-то необъяснимому надзору, уже не со стороны начальства, а со стороны самих институток.

Не могу сказать, откуда и как доходили до нас эти сведения, но мы в совершенстве знали, сколько и какие у них знакомства, кто их родственники и к кому они ездят в гости. Да что! мы знали характер и нравы этих родственников и знакомых. К нашей даме, напр[имер], езжала одна приятельница. Мы самым точным образом знали — не от классной дамы, конечно, которая нам бы этого не сообщила, — что она злая, бьет и дерет за волосы свою горничную и влюблена в своего кучера. Что наши сведения были верны, подтвердилось впоследствии тем, что она вышла замуж за этого кучера.

Конечно, если бы классные дамы или пепиньерки захотели устроить какой-нибудь скандал, то могли бы, но это не осталось бы в тайне и повлекло бы за собой позорное изгнание. Быть может, и бывали когда такие случаи, но как редкое исключение, а не как правило. Строгость высшего начальства к классным дамам в этом отношении была так велика, что в мое время одна из них была немедленно удалена из института за то только, что позволила переночевать в своей комнате (классным дамам было разрешено принимать родственников и знакомых в своей комнате) *родному брату*, приехавшему навестить ее, — что он был ее родной брат не подлежало сомнению — и нарушила таким образом одно из институтских правил, по которому не только мужчина, будь он отец или брат, никогда и ни под каким предлогом не мог остаться на ночь в институтских стенах, но даже особы женского пола могли оставаться не иначе, как со специального разрешения директрисы. На другой же день после этого она исчезла из института навсегда.

Скандальная хроника институтская была поэтому очень бедна и повествовала о двух-трех самых незначительных случаях. Про одну из классных дам, например, рассказывали, что она когда-то за несколько лет перед тем поцеловалась с диаконом и что воспитанницы видели это в щелку. Если это и была правда, то согласитесь, что преступление не бог весть какое ужасное, да и кто знает, какие обстоятельства вызвали этот поцелуй. Быть может, бедняжка просто *похристосовалась*! Про другую говорили, что она когда-то была влюблена во французского учителя и что воспитанницы заметили это потому, что она всегда к его классу надевала синее *шелковое* платье (по будням классные дамы носили шерстяные) и чепец с желты-

ми лентами. В мое время эта классная дама была уже древней старухой и доживала срок своей службы.

Для меня несомненно, что общество зачастую судило вкривь и вкось о том, чего хорошенько не знало.

Есть у Помяловского один двусмысленный пассаж, в котором он так заставляет институток выражаться про свою классную даму: «что она такая душечка, кошечка, *зелененькая*, что губы у ней такие мягкие и что их приятно целовать»; что-то в этом роде, подлинных слов не помню, но смысл тот[59].

Ну и выходит, что это *non-sens*[60].

Помяловский не знал, что *поцеловать классную даму* было немыслимо для институтки, что это было бы таким же нарушением дисциплины, как, например, солдату потрепать по плечу офицера. *У классной дамы можно было целовать только руку*, а в губы... Боже правый! да это беспримерный факт в институтских летописях.

У нас одна девочка вскоре после своего поступления в институт, не успев освоиться с институтским духом и тронутая каким-то ласковым словом одной классной дамы, бросилась к ней на шею и поцеловала ее. Трудно описать, какую это произвело *сенсацию*. Классная дама была до того поражена, хотя отчасти и тронута, что растерялась, а институтки, присутствовавшие при этой сцене, которая в тот же день разнеслась по всему институту, долго не могли опомниться и забыть такого невероятного пассажа. Долго не давали прохода бедной девочке, смеялись над ней и, как выражались у нас, *попрекали* этой выходкой.

Целовать классную даму в губы! Мне просто смешно при этой мысли; спросите у любой, не книжной, а живой институтки былых времен, могла ли ей прийти на ум такая несообразность.

Мне могут возразить, что это могло делаться наедине, да в том-то и штука, что в институте трудно было укрыться от посторонних взоров; а в особенности сохранить что бы то ни было в тайне.

У нас было это зло — *фаворитизм*, — о котором я буду говорить дальше. Классные дамы отличали иных воспитанниц перед другими, баловали их — таких любимиц мы называли временщицами. К одной из таких временщиц одна классная дама привязалась так, что действительно целовала ее иногда, конечно, не в том смысле, как понимает Помяловский, а как мать целует своего ребенка, как сестра сестру, и действительно не при всех — это было бы нарушением дисциплины, — а в своей комнате. И что ж! об этом все-таки *знал весь институт* и косился на такие вольности. К

воспитаннице относились с некоторой враждой, и классной даме ставили такое поведение в вину, как несообразное с институтским равенством, как нарушавшее справедливость. В этом отношении классные дамы лишены были общим мнением человеческого права иметь пристрастия.

Целовать классную даму! Да не только ее, но даже пепиньерку, даже воспитанницу старшего класса нельзя, немыслимо было поцеловать в лицо, *а только в плечо*. Вообще поцелуи были не в моде, как и всякие, как они назывались, *нежности* и *жантильности*[61]. Наш «Мертвый дом»[62] их не особенно-то жаловал.

Критика, как это иногда бывает с ней, отыскивала зло фантастическое, проглядев существующее. Она, так сказать, *слышала звон, да не знала, где он*! Зло было, и безнравственность существовала, да не с той стороны. Она заключалась в той натянутости, неискренности, затаенной вражде, которыми отмечены были отношения между воспитательницами и воспитанницами. Эти лживые отношения пагубно влияли на характер, порождая хитрость, лукавство, притворство, приносили сильный вред и могли бы окончательно портить девиц, если бы не существовало противовеса или, лучше сказать, противоядия в характере других влияний и отношений, которые являлись *действительной нравственной силой*.

Такою силою были *товарищество* и *отношения институток к учителям*, влияние этих последних на нравственный и *умственный* склад институтки.

V

Отношения институток друг к другу. — Нравы, обычаи и предания. — Институтские типы. — Principales[63]. — Временщицы. — Bons sujets. — Mauvais sujets[64]. — Бранчушки. — Отчаянные. — Подлизушки. — Кусочницы. — Смысл и влияние товарищества

Всякая *новенькая*, поступая в институт, находила уже готовые формы быта, сложившиеся нравы и отношения и мало-помалу неизбежно втягивалась в общий строй.

Нравы и обычаи эти были во многих случаях нелепы и смешны.

Вот хоть бы пресловутое *обожание*, этот в высшей степени глупый, хотя, в сущности, весьма невинный обычай, из которого, однако, до-

сужее воображение публики создало какое-то пугало, объясняя его происхождение различными хитрыми умозаключениями, извращенной потребностью любви и черт знает чем еще.

В сущности же *ларчик просто открывался*: приласкает, бывало, кто-нибудь из больших новенькую из чувства жалости или за ее миловидность. Новенькая, охваченная суровой обстановкой, запуганная, смущенная, растает от неожиданной ласки. Старенькие заметят это:

— А ты, значит, должна *обожать* ее!

— Что значит *обожать*? — спросила новенькая.

— Это значит, что она будет твоим *objet*, а ты ее *adoratrice*[65].

— Да что ж это такое? — допытывается новенькая.

— А вот что. Ты будешь кричать, когда она будет проходить мимо тебя: «Charmante! divine! adorable!»[66], будешь целовать ее в плечо! будешь посылать ей конфекты, которые тебе привезут родные. А она будет тебя *счастливить*, т.е. иногда в рекреацию позволит ходить рядом с собой и разговаривать, и когда ты поцелуешь ее в плечо, то поцелует тебя в голову.

Новенькая следует совету и начинает *обожать*.

Вот и все, буквально все.

Иногда дело происходило еще проще, еще глупее, еще комичнее.

Заявит кто-нибудь:

— *Mesdames*! давайте обожать кого-нибудь!

— Давайте! кинем жребий!

Берутся клочки бумажки и пишутся имена наиболее уважаемых *первяков* и *вторяков*. *Дритки* никогда не обожались, не обожали также и ленивых и дурного поведения девиц 1-го и 2-го отделений, что ясно показывает, что в обожании значительную роль играет нравственный *prestige*[67], окружавший избираемое objet.

Вот разберут бумажки, кто кому достанется, тот того и обожает. И когда эта комедия надоедала некоторым, они ее бросали, объявляя, что *изменяют* своему *objet* и не хотят обожать его больше.

Иногда изменяли *objet* за его чопорность, важность, неприступность.

— Она меня никогда *не счастливит*, — жалуется, бывало, в таком случае так называемая *adoratrice*, — отворачивается, когда я целую ее в плечо, и не хочет никогда разговаривать.

И *изменяет*.

Обожались таким же точно образом пепиньерки, иногда, хотя очень редко, классные дамы, потому что уважающая себя институтка не шла на

это из боязни, что ее заподозрят в корыстных целях, в желании *подлизаться*.

Обожались учителя, только, конечно, с тою разницей, что их в плечо не целовали, но зато наливали им духов в перо или брызгали духами им в спину, из-за угла.

Что в дурацком обычае этом не коренилось ничего безнравственного, доказывается еще тем, что его держались открыто, *au vu et au su de tout le monde*[68], а всеми признано, я полагаю, что все мало-мальски двусмысленное и порочное не любит света и гласности.

Скажет, бывало, кто-нибудь из любимых учителей:

— Поздравьте меня, госпожи, я женился.

— Поздравляем! поздравляем! мы будем обожать вашу жену.

И обожают *заочно*.

Это ли еще не Аркадия[69] ? помилуйте!

Другой странный обычай, сложившийся в институте, это деление всех выпусков на *четные* и *нечетные*, причем четные считались предками четных, а нечетные — нечетных, например, *тринадцатый*, *пятнадцатый* выпуск — по-институтски *тринадки*, *пятнадки* — считались предками *семнадцатого*, или *семнадок* и т.д.

Кто и когда завел это особенное летосчисление — не знаю, знаю только, что оно процветало и что большой класс всегда, например, покровительствовал *семерикам*, так как они, оставаясь в институте девять лет, выходили через шесть лет после выпуска больших того периода, когда они бывали в 7-м отделении и их выпуск по счету всегда приходился таким, каким был выпуск этих больших. Но это не все: ходило между нами мнение или, лучше сказать, *предание*, что нечетные выпуски всегда превосходили по учению, уму, красоте и всяческим талантам четные. Сложилось такое дикое понятие, вероятно, потому, что два нечетных выпуска, а именно *тринадцатый* и *пятнадцатый,* особенно засели в уме институтских старожилов и беспрестанно вертелись у них на языке.

— Нет! вот был выпуск! тринадцатый! — скажет, бывало, кто-нибудь из классных дам. — Вот это был выпуск, нечего сказать, блистательный!

— А помните вы, М-е N.N., — обратится другая к кому-нибудь из учителей, — вот такую-то из пятнадцатого выпуска?

— Как не помнить; очень способная девица. Да и вообще пятнадцатый выпуск был удачен.

— Удивительный выпуск!

И пойдут толковать, какой это был выпуск; и учился-то хорошо, и вел себя прекрасно, и талантами отличался, красавицами кишел и музыкантшами и поэтессами изобиловал.

А мы слушаем и воспламеняемся — наш выпуск был нечетный.

— Mesdames! ведь мы их потомки, значит, нам следует тоже отличиться и не ударить лицом в грязь.

Поэтому при первой распре с большими слышатся, бывало, такие премудрые замечания:

— Да чего от них (т.е. от больших) ждать! Известно, *четные* (последнее с особенным презрением в голосе).

— А заметили вы, mesdames, как они фальшивили в последнее воскресенье за обедней?

Церковный хор составлялся из воспитанниц большого класса.

— Еще бы! куда им! они *четные*! Вот *пятнатки* так пели, говорят, божественно!

— Божественно! — подтверждают поступившие в маленький класс из *семериков*. — *Пятнатки* были все красавицы, а у этих очень мало даже миленьких! — И проч. и проч. в этом роде.

Это же понятие о какой-то преемственности между различными выпусками было причиной, почему пепиньерки относились с покровительственной снисходительностью к маленькому классу.

— Мы их предки! — говаривали они.

И наоборот, всякое поползновение к строгости со стороны пепиньерок встречалось восклицаниями:

— Как вам не стыдно! мы ваши потомки!

Большой класс относился к маленькому свысока, гордо и держал его на почтительном расстоянии. Маленькие обыкновенно подчинялись этому, но в исключительных случаях бунтовались, заводили с большими ссору и даже вступали в перебранку.

Обыкновенно поводом к этому служило какое-нибудь столкновение между отдельными личностями, какая-нибудь обида со стороны больших.

Заберется, например, какая-нибудь маленькая, положим, в дортуарный коридор больших, куда доступ был труден, потому что дортуары больших были расположены совсем наверху и в стороне. Заберется большею частию не по своей инициативе, а с каким-нибудь поручением от классной дамы. Большие при виде ее поднимут гвалт:

— Что это такое? Par quel hasard?[70]

— *Mesdames*! поглядите, клоп ползет!

— *Mesdames*! с каких пор четверики разгуливают по нашему коридору?

— *Четверик*! знаете ли вы, что вы не что иное, как *animal vertebré*?[71] — подшучивает кто-нибудь.

— *Mesdames*! она просто *ямб*! — подхватывает другая.

— *Ямб! хорей! анапест! амфибрахий!* — подхватывают десятки голосов.

Оглушенный четверик, незнакомый с мудреными словами, которые сыплются на него со всех сторон, и заподазривая в них страшные, еще неведомые ему ругательства, спешит отделаться от неприятного поручения. Но напрасно ускоряет он шаги, до него все-таки долетают насмешки, хохот, шиканье. *Четверика* решились прогнать сквозь строй.

Всякая новая встречная окидывает злополучного *четверика* презрительным взглядом и посылает ему вслед ироническое, какое-то свистящее: «Par quel hasard!»

Униженный и оскорбленный *четверик*, забывая зачастую о данном ему поручении, оборачивается вспять и стремглав несется к *своим* и с дрожанием в голосе, со слезами на глазах, а иногда плача навзрыд, повествует о нанесенной ему обиде.

Весь класс чувствует себя оскорбленным в его лице.

— Mesdames! мы с большими в ссоре! слышите! все в ссоре! никто не сметь к ним подходить!

Классная дама замечает о непривычном волнении, которого, впрочем, и не стараются от нее скрыть. Напротив, все наперерыв спешат рассказать о недостойном поведении больших.

— О-о-ни бра-а-ни-ли ме-ня бо-ог знает ка-ки-ми сло-ва-ми! — всхлипывает злополучный посол.

— Какими же? — осведомляется классная дама.

— О-ни ска-а-за-ли, что-о я *a-ni-mal ver-ver-té-bré*! — отвечает рыдающий посол, запомнивший одно из самых страшных слов.

Классная дама улыбается и объясняет смысл этого страшного слова.

Но это нисколько не унимает общего негодования.

— Противные *выскочки*! обрадовались, что узнали то, чего мы еще не знаем!

С этой минуты закипает ссора; окна, двери, стены покрываются нелестными для больших надписями; вместо обычных «Charmante! ravissante![72] adorable!» раздаются им вслед бранные эпитеты.

Adoratrices не смеют подходить к своим *objets* и целовать их в плечо, под опасением остракизма, которым наказывался всякий проступок против товарищества.

Как скоро в коридоре сталкивается партия больших с партией маленьких, так сейчас начинается перестрелка.

— Глупые *выскочки*! — кричат маленькие.

— *Pie-grièches*![73] — возражают большие.

— А вы сороки! вы *четные дуры*! — орут маленькие, которые не умеют еще язвить, а больше грубят.

— *Mesdames*! — взвизгивает отдельный голос из толпы больших. — Не связывайтесь с ними! *Laissez-les, ce sont de petites bêtes*![74]

— *Mesdames*! — передразнивает голос из толпы маленьких — *Laissez-les, ce sont de grrrandes bêtes*![75]

Большие озадачены, маленькие торжествуют и с хохотом убегают.

И так длится иногда несколько недель, пока умы не успокоятся и все не придет в обычный порядок.

Обычаи, предания и самый язык передавались из рода в род. При переходе из маленького класса в большой всегда бывало несколько воспитанниц, которые за молодостью оставались в маленьком классе еще на три года, между тем как их большие подруги поступали в большой класс. Эти *старенькие*, вполне знакомые с институтскими нравами и обычаями, передавали их *новеньким*, и вот откуда возникла преемственность в нравах, обычаях и языке.

Эти же *старенькие*, вполне освоившиеся с окружавшим их миром и плававшие в нем, как рыба в воде, забирали спервоначалу *новеньких* в свои руки и заставляли их плясать по своей дудке, а иные недобросовестные личности злоупотребляли своей властью, заставляли их чесать и одевать себя, отбирали у них гостинцы и всячески помыкали ими. Иногда целый дортуар повиновался беспрекословно трем-четырем таким тиранам, называвшимся на институтском языке *Principales*. Такое положение дел длилось обыкновенно месяцев шесть-семь, много год, не без временных возмущений, перемен династий и проч. К концу первого года институтской жизни оперившиеся новенькие окончательно свергали иго *Principales* и тогда уже в свою очередь гнали, попрекали, ели их, пока наконец не отпускались им и не забывались их вины.

Слово *Principale* становилось самым позорным ругательством, клеймом на репутации воспитанницы, и лишь долгим временем и безукоризнен-

ным отношением к товариществу могла она смыть его. Мало-помалу слово это исчезало с языка воспитанниц и с переходом в большой класс сдавалось в архив. В большом классе *Principales* не существовало, и маленький класс, переходя в большой, оставлял в наследство своим преемницам этот скверный тип, в лице бывших подруг, остающихся за малолетством в маленьком классе. *Временщицы* был другой и постоянный тип. *Principales* создавались самими институтками, а *временщицы* были фаворитки классных дам, которых они отличали, баловали и проч. *Временщицы* менялись, потому что каприз зачастую руководил их выбором и каприз же возвращал возвеличенную ученицу к прежнему ничтожеству. *Временщицы* были неприятны подругам отрицательным, так сказать, образом, как бельмо, нарушавшее институтское равенство. Положительных неприятностей они не доставляли. Еще в маленьком классе была опасность, что роль *временщицы* столкнется с ролью *Principale* — ну и тогда беда, да и только. Дортуар наживал такого тирана, что Боже упаси! Но в большом классе этой опасности не существовало, да и, кроме того, к этому времени успевали сложиться понятия о *честном* и *справедливом*, товарищество успевало сплотиться и выдвинуть из себя наиболее достойных и умных, которые приобретали влияние, становились первенствующими в силу действительного превосходства и задавали тон общественному мнению. В большом классе не только не могла быть страшна какая-нибудь отдельная личность из воспитанниц для институтской массы, но даже сама классная дама теряла свой грозный *prestige*. Уже в конце третьего года классные дамы обыкновенно спускали тон. Все мягче становились они, все чаще раздавалось: «Vous voilà bientôt grandes, mesdemoiselles!»[76] И действительно. С переходом в большой класс дамы по большей части переходили из мажорного тона в минорный.

Три силы существовало в институтском мире: *красота*, *хорошее ученье* и *острый, как бритва, язык*. Если ты красива, то институтки станут щадить и баловать тебя; если ты хорошо учишься — станут уважать, а если у тебя острый язык, то будут бояться. Институтки делили всех воспитанниц по наружности на четыре разряда: *красавица*, *миленькая*, *ничего* и *уроды*. Всякая новенькая общим приговором причислялась к какому-нибудь разряду. Совещания по этому поводу происходили вслух, громко, при самых заинтересованных в деле. Говорилось обыкновенно: «*Mesdames*! давайте считать, кто у нас красавицы, уроды и проч.». Затем произносились имена, поднимались споры, приводились доказательства, и нако-

нец порядок устанавливался. Это было до того просто, что ни красавицы не гордились, ни уроды не обижались, да и обиды не подразумевалось в этом — лицом и некрасивостью никогда не попрекали, — просто констатировался факт. Конечно, сам факт, что они уроды и признаны таковыми общественным мнением, не мог быть приятен бедным уродам, но так как не в их власти было его поправить, то большинство философично относилось к нему[77]. Замечательно также, что красавицы, признанные общественным мнением, редко бывали тщеславными или кокетками. Напротив того, они привыкли к своей славе и тоже относились к ней просто и философично. Разряды «миленьких» и «ничего» гораздо больше поставляли *кокеток*, тайно тщеславившихся своей наружностью и носившихся с нею, несмотря на то, а может, и потому самому, что ими никто не восхищался. *Институтская кокетка* отличалась особой походкой, перетянутой талией, платьем, более длинным, чем полагалось, пелеринкой, спущенной с одного плеча, и *залысенными*, как у нас говорилось, волосами, т.е. счесанными со лба, между тем как им полагалось низко спускаться на лоб; и другими нарушениями обязательных правил костюма. За это они подвергались постоянным нахлобучкам. Платья укорачивались, корсеты распускались, пелеринки перетягивались на место, волоса приводились в надлежащий вид, но *кокетки* не унимались и, глядишь, опять устроят себе недозволенную внешность.

В маленьком классе, когда царствовал еще некоторый хаос в понятиях и преобладала грубая, так сказать, физическая сила, хотя проявление ее и не выражалось ручными расправами, раньше всего выдвигались *острые языки*, называвшиеся на институтском наречии *бранчушками*.

Бранчушка не только не спустит никакой обиды, но сама норовит всякого обидеть. Бранный лексикон был не особенно велик и задорен не столько по форме слов, сколько по выразительности, с какой они изрекались, и ядовитому смыслу, который в них влагался: *противная, гадкая, отчаянная, мальчишка, mauvais sujet, vilaine, sotte*[78]. Вот, кажется, и весь перечень бранных слов, но надо было слышать, с каким ехидством они произносились, какие иносказательные велись речи, исполненные ядовитых шпилек и намеков! Подмечались самые слабые стороны, отыскивались больные места, и в них-то беспощадно билось, так что истязаемая, бывало, вертится, как на жаровне с горящими угольями.

Bons sujets[79] назывались воспитанницы, которые хорошо вели себя и которых характеризовало этим словом само начальство, ставившее пове-

дение превыше всего. Это слово не пользовалось симпатией воспитанниц и никогда не прикладывалось ими к институтке, хотя бы и хорошо поставленной во мнении начальства, если она вместе с тем уважалась и товариществом.

Хорошее поведение вообще уважалось и товариществом, потому что давало право на уважение начальства, так сказать, позволяло сохранять с ним чувство собственного достоинства, но *bon sujet* на языке воспитанниц значило отчасти, что воспитанница хватает через край, не держится только институтской формалистики, а старается отличаться перед начальством, выставляется вперед, заискивает, а это не терпелось.

Mauvais sujets считались воспитанницы небезукоризненного поведения; к ним обыкновенно принадлежали задорные, беспокойные личности, которые нарушали иногда дисциплину, но с товариществом по большей части ладили; между ними зачастую попадались честные, великодушные натуры и таковые, несмотря на порицания начальства, хорошо стояли во мнении товарищества.

Отчаянными считались отпетые личности, нагло ленившиеся, плохо учившиеся, не по недостатку способностей, а так себе, зря, и постоянно нарушавшие дисциплину, да и с самим товариществом большею частию бывавшие на ножах. Такие обыкновенно презирались.

Подлизушками назывались подленькие натуришки, которые заискивали и принижались перед всем институтским миром, перед начальством и перед товариществом. Личности трусливые, без собственного мнения и без всякого чувства собственного достоинства.

Кусочницами были те, которые имели привычку выпрашивать гостинцы и вообще клянчить и, кроме того, взимали дань за каждую услугу, которую от них требовали. *Мена* у нас процветала и не считалась делом предосудительным, но только под условием обоюдного согласия, причем предложение вознаграждения должно идти с той стороны, которая чего-нибудь просила.

Например, если говорилось:

— *Mesdames*! кто хочет со мной меняться? Я дам тетрадь бумаги, а мне дайте карандаш!

Или:

— NN! Сделай мне арифметическую задачу, а я дам тебе булку.

Но согласиться на такое предложение считалось зазорным, даже если бы обменивались вещи различной ценности. Но если просили услуги или какой-нибудь вещи *даром*, то требовать вознаграждения считалось небла-

говидным. Можно было отказать в требуемом, но *не продавать* его. В первом случае раздавалось:

— *Malcomplaisante*![80]

А во втором:

— *Кусочница*!

Таким образом вырабатывался целый кодекс понятий, который гораздо более влиял на характер и нравственность институтки, чем вся мораль начальства. Институтки, так сказать, воспитывали друг друга.

В этом отношении у институток был известный *идеал*, конечно, не вполне выясненный и определенный, но к которому инстинктивно стремились все неглупые и самолюбивые личности. *Идеал* этот требовал, между прочим, известной стойкости в отношениях с начальством и товариществом и безусловной честности в сношениях с этим последним. Малодушие, слезливость, пустая восторженность и бесцельная экспансивность презирались. Это по части нравственных свойств. По части внешних приемов и манеры себя держать существовало также свое воззрение.

Институтки не любили никакого кривлянья и ломанья, подергиванья плечами, закатыванья глаз и т.п.

— Пожалуйста, *не жантильничайте*! — кричат, бывало, десятки голосов при всякой выходке подобного рода. И уж не беспокойтесь, вымуштруют на этот счет. И здесь также больше всего уважались простота и спокойствие и чувство собственного достоинства.

По мере того как я пишу эти воспоминания, прошедшее все более и более оживает в моей памяти, лица, фигуры проходят перед глазами, слова и речи раздаются в ушах, и вся эта давно минувшая жизнь встает передо мной во всех своих деталях и с поразительной ясностью и точностью.

Пойдемте со мною в класс, читатель, и позвольте мне представить вам некоторые из самых характерных институтских личностей.

Вот длинная, длинная девочка, прямая и худая, как палка, с узкими плечами, впалой грудью, длинными руками, большой головой и некрасивым на первый взгляд лицом. Но если глаза ваши подолее остановятся на этом лице, то вы найдете в нем особую прелесть, которую придают ему открытое, честное выражение и глубокие, спокойные и несколько строгие глаза. Взгляд этих глаз смущает нечистую совесть, и порою само начальство не выносит его.

Это *честная* Ниночка Л.[81], прозванная так всем классом, который единодушно присудил ей этот титул. Она действительно была каким-то

институтским *рыцарем без страха и упрека*. Начальство уважало и даже словно побаивалось, т.е. обходило, ее, но не любило. Она превосходно училась и вела себя безукоризненно, по всем правилам институтской формалистики и с этой стороны была неуязвима; но начальство находило... *qu'elle est raide*[82].

Как и все чересчур последовательные люди, не терпящие компромиссов, Ниночка была *угловата*, и об ее углы ударялись и начальство, и само товарищество, восторженно уважавшее Ниночку. Вот пример. Ниночка была одна из самых строгих дежурных. Когда приходил ее черед дежурить, она обыкновенно объясняла своим ровным, спокойным голосом:

— *Mesdames*! предупреждаю вас заранее, что я буду *записывать* всех, кто будет шуметь. — И действительно *записывала*. Но товарищество, которое не простило бы этого другой и загрызло бы ее, покорялось Ниночке. А почему? Потому, что оно знало, знало твердо и несомненно, что Ниночка *записывает* не из желания выслужиться — она никогда не выставлялась, — не из боязни за свою собственную персону — в ее гражданском мужестве (да простит мне читатель это громкое слово) была полная возможность убедиться, — а все из той же фанатической, не знающей никаких уступок *честности*. На нее возложили известную и весьма неприятную для нее обязанность, и, раз приняв ее на себя, она уже *не могла обмануть доверия классной дамы*. Это был *угол*, о который в этом случае ушибалось товарищество.

Но оно не роптало, оно понимало чистоту мотивов, руководивших Ниночкой. Оно знало, что даже Ниночка, вне дежурства, когда она не была обязана наблюдать за поведением подруг, скорее позволит отрезать себе руку, чем выдаст кого-нибудь. Оно не раз видало, как Ниночка стоически переносила наказание за проступок, совершенный не ею и лишь по ошибке взведенный на нее классной дамой. В этих случаях Ниночка не только не называла настоящей виновной, но даже и не оправдывалась, а молча переносила незаслуженное наказание.

Тот стоицизм в отношениях с начальством, о котором я уже говорила и который так уважался товариществом, был доведен Ниночкой до совершенства.

Ниночка принадлежала к тем натурам, которые способны фанатически отдаваться любимой идее, которые, раз давши слово, сдержат его, хотя бы за это пришлось им поплатиться жизнью.

Ей на суд представлялись товариществом затруднительные казусы институтской жизни, и решение ее имело вес. Она вступалась за слабых и угнетенных, а всякая несправедливость и подлость вызывали в ней жаркий протест. Обыкновенно молчаливая и спокойная, она оживлялась в этих случаях и долго ораторствовала.

Как теперь, вижу ее в ее любимой позе, — всякие совещания происходили обыкновенно в дортуаре, после ужина, — одна нога на полу, другая на табуретке, рука опирается в коленку, а голова поддерживается рукой. Она говорит молча слушающей и столпившейся около нее толпе. Ее влияние было благодетельно, и она отчасти задавала тон общественному мнению. Вообще она не подчинялась грозному товарищескому ареопагу[83], которого мы все прочие, обыкновенные смертные, боялись пуще огня и пуще самого начальства, а *импонировала* ему.

А теперь обратите ваше внимание на соседку, на эту низенькую, толстенькую блондинку, с бледным лицом, красивыми, хотя несколько крупными чертами, с большими, серыми, лучистыми глазами и вполне сложившейся талией. Рекомендую — это институтская *звезда* первой величины и с тем вместе тип институтской *временщицы*. Ловкая, хитрая, умная и тонкая, как лисица; холодная, сухая, эгоистичная и бессердечная, как старый дипломат, первая музыкантша и безукоризненная *bon sujet*, она составляет радость и счастие нашей классной дамы, которая на нее не надышится, и гордость институтского начальства вообще, которое с ней *aux petits soins*[84]. С товариществом она держится гордо и отдаленно. Не смешивается с толпой, не принимает участие в ее интересах и во все рекреации исчезает к классной даме в комнату. *Кокетка* до кончика ногтей и не на институтский лад, хотя и тут выказывает такт истой светской львицы. Серые глаза ее с поволокой и рвут, и мечут, и огнем горят, и искры сыплют. Приемы мягкие, округленные, голос кроткий, вид ангелоподобный.

Товарищество оценяет ее по достоинству и относится с затаенной завистью и враждой, потому что открыто выказаться вражде не на чем, поводов нет.

Ангел *Мими*, так зовет ее весь институт, ведет себя так тонко, что комар носу не подточит.

Вокруг нее всегда группируется целый штат добровольных фрейлин и статс-дам из плохеньких воспитанниц.

А вот и она, наша *первая* ученица, краса и гордость отделения, высокая, полная, белокурая Лиза А[рсеньева][85], с неправильным, но прелестным бело-розовым лицом, с пушистыми рыжеватыми волосами, с добрыми и ленивыми серыми глазами и пленительной улыбкой, несмотря на то что она открывает не особенно хорошие зубы. В улыбке этой выказывалась отличительная черта ее характера — доброта, которая была так велика и имела в себе столько примиряющего, что баловство, которым окружало Лизу и начальство, и учителя, и воспитанницы и которое, однако, нисколько не портило ее, не возбуждало даже ни в ком зависти.

Необыкновенно представительная, с вполне естественной важной грацией в походке и движениях, она имела вид королевы и обыкновенно играла таковых на наших спектаклях.

Весь институт единодушно признавал, что у Лизы А[рсеньевой] *un port de reine*[86], как выражалась директриса, особенно любившая и баловавшая Лизу. Но эта королева по виду была самым незлобивым, простодушным созданием, чуждым всякого чванства и мелочности, нисколько не гордившаяся исключительностью положения, в которое ставил ее фавор начальства. В ней не было и тени противных свойств *временщицы*, и вот за это особенно ценило ее товарищество. Самые задорные и отчаянные *бранчушки* смирялись перед этой голубиной кротостью, незлобивостью и добродушием. Лиза А[рсеньева] выражала собой тип *доброты*, подобно тому, как Ниночка Л. служила типом *честности*. *Вторая* ученица[87] наша была странным существом. Вся она состояла из отрицательных свойств. Она не считалась глупой, но и умной ее никто не называл; нельзя было сказать, что она дурна, но и красоты за ней никто бы не признал; никто не говорил, что она зла, но и о доброте ее ничего не было слышно. Училась она исправно; но о способностях ее никогда не заикались ни учителя, ни воспитанницы. Прямая и стройная, как тополь, с лицом не бледным, но белым как бумага, без всякого румянца, но и без всякой тени болезненности — здоровья она была несокрушимого и во все время своего пребывания в институте ни разу не была в лазарете; даже эпидемические болезни, как корь, коклюш, скарлатина и проч., обходили ее, — с чинными, исполненными чувства собственного достоинства движениями, с чисто придворным тактом в манере держать себя с начальством — хотя бы никто не мог сказать, откуда в ней этот такт: от ума ли большого или от бесстрастия превеликого, — она внушала всем, и начальству, и товариществу, какое-то *отрицательное* чувство уважения; оно основывалось

на отсутствии в ней положительных недостатков, а не на присутствии каких-либо положительных достоинств. Что таилось под этой маской, великие ли свойства души или печальное ничтожество, оставалось для всех загадкой до конца.

Но вот несется бурей по классу высокая, темноволосая девушка. Коса у ней растрепана, скомканная пелеринка сидит *à la* черт меня побери, башмаки стоптаны, весь костюм еле держится на плечах, и если ее хорошенько дернуть за платье, то оно свалится, потому что не знает крючков и еле держится на двух-трех булавках. Движения резкие, голос отрывистый, глаза глядят мрачно и вызывающе, вся фигура дышит нахальством и как будто говорит: а вот попробуй! тронь только!

Это наша *отчаянная* Раиса N. [Облова][88]. Она приводила в отчаяние и классных дам, и учителей. Грубила, дергала плечами, вскидывала головой, словно конь с норовом, при всякой попытке прочитать ей нотацию.

Она была далеко не без способностей и вовсе не глупа, но как будто находила наслаждение морочить учителей и озадачивать их самыми неожиданными, самыми шутовскими, *sangreni*[89], как говорят французы, ответами. Когда учитель вызывал ее, весь класс ликовал, предчувствуя великое наслаждение. Всякий ответ ее сопровождался взрывами хохота. Она самым забавным образом путала года, имена, лица, события, местности. Переселяла черкесов на Урал, Сечь Запорожскую в Крым, Новгород переносила на Дон, а Пиренеи в Южную Африку. Она рассказывала, что по смерти Федора Иоанновича народ и духовенство избрали на престол патриарха Никона, что Крестовые походы имели целью открыть Америку, что Марина Мнишек была женой Петра Великого и проч. и проч.

Непривычный учитель останавливал ее и просил подумать о том, что она говорит, вникнуть, сообразить. Привычный говорил обыкновенно: «Прекрасно, очень хорошо! садитесь!»

Но иногда она озадачивала на иной лад: вызовет ее учитель, класс ждет обычного представления; не тут-то было. Выйдет наша Раиса и отчетливо, ясно, толково расскажет весь урок. Учитель ушам не верит, поздравляет ее, а она, закинув голову набок, с презрительной миной и торжествующим взглядом пронесется на свое место.

И классные дамы и учителя давно перестали читать ей нотации, махнули на нее рукой. Почему напустила она на себя эту дурь — трудно сказать. Озлобил ли ее суровый прием, которым встречал институт всякую

новенькую, натура ли была слишком порывистая и буйная и не могла вынести дисциплины и гнета? — только она до конца оставалась все той же отчаянной, удалой головушкой, ходячим протестом против всего институтского порядка. Товарищество не уважало ее; вокруг нее не группировалось никакой партии, как вокруг других *mauvais sujets*; она действовала особняком и в общих шалостях не принимала участия.

А вот и наша первая красавица, высокая, тяжеловатая и несколько глуповатая девушка, с большими руками и ногами, с тяжелой поступью Командора, с довольно еще неуклюжей, не сложившейся талией, но с очаровательной головкой и чертами античной камеи. Безукоризненный профиль, большие черные, веселые глаза с длиннейшими ресницами, пунцовый рот, сверкающей белизны зубы, коса до пят с синим отливом и смуглый, бронзовый цвет лица, с ярким румянцем во всю щеку.

Это веселая, беззаботная, слегка грубоватая и нисколько уже не замысловатая по натуре девушка. Она представляла бы собой тип институтской *простофили*, если бы выходящая из ряду вон красота не окружала ее некоторым ореолом в глазах институтского мира.

Из-за ее плеча выставляется лукавое, несимпатичное лицо маленькой горбуньи Z. Кротость и смирение в лице и в голосе, благочестивые размышления о Боге и о душе на устах, а под этой оболочкой приютились чуть-чуть не все семь смертных грехов.

Скупая, злая, пронырливая, завистливая, сплетница, наушница — словом, прегадкая девчонка. В церкви, бывало, стучит лбом в землю от слишком усердных поклонов и то и знай крестится, а в классе продаст ни за грош. Училась она плохо, и было в ней хорошего только *синие*, как васильки, глаза, лгавшие немилосердно, да голос большой, звучный, бархатный *soprano*.

Это тип институтского *тартюфа*. Этот тип распадался на два разряда. К первому принадлежали те личности, в которых *злость* брала верх над *подлостью* и которые, кроме того, не лишены были ума; к ним принадлежит и наша горбунья. Этот разряд смиренствовал лишь с начальством, с товариществом же проявлял свойства самой завзятой *бранчушки* и солил подругам, если придется, и явно, с нескрываемым злорадством.

Другой разряд, к которому принадлежит вот эта бледно-желтая девочка, с цыганским типом лица и большими безжизненными, черными глазами, плаксиво-кислым выражением и кошачьими ухватками, отличался

тупоумием и до гадости трусливым характером. Это *Тартюф* с подкладкой *Молчалина*. Глупа она как пробка и при этом вечно сидит за книжкой, вечно *долбит* и никогда, буквально никогда не знает урока и даже не может взять в толк, о чем в нем говорится. Классные дамы и учителя, побившись с нею, махали рукой и отказывались от неблагодарной работы вложить что-нибудь в ее убогую голову. Она могла служить также типом *долбяшки*. Когда, бывало, долбит урок, то закрывает глаза, затыкает уши, раскачивается во все стороны и с отчаянием в голосе выкрикивает отдельные слова урока, повторяя их сотни раз без всякого смысла и без всякой связи. Она тоже отличается набожностью, крестит книгу, целует ее и стучит ею себя по лбу, а на ночь кладет под подушку, постоянно надеясь, что во время сна содержание ее само собой запечатлеется в ее убогом мозгу, и постоянно обманываясь в этой надежде. Когда ее вызывает учитель, она украдкой крестится, встает с места... и молчит или несет дичь невообразимую. Униженно держит себя со всеми без исключения, подобострастна в сношениях с начальством и товариществом и на всякую их брань отвечает визгливым противным плачем; а затем исподтишка сплетничает и клевещет на них и, будучи выведена на свежую воду, мечется, как ошпаренная кошка, клянется и призывает Бога в свидетели своей невинности и нахально отпирается от самых явных улик.

— Кто приезжал к вам в воскресенье, N.N.? — спросили ее раз институтки.

— Моя благодетельница, — с каким-то умильным облизыванием отвечала она. На следующий раз тот же вопрос и тот же ответ.

С тех пор весь институт знал, что к ней ездят не тетки, сестры, знакомые, как ко всем прочим, а *благодетельницы*.

А видите ли эту маленькую, худую, весьма некрасивую девочку, которая о чем-то ораторствует в углу?

Честь имею представить: это институтский *феникс*.

Начальством и товариществом признан в ней рельефным качеством *ум*.

— Она умная, — говорят про нее, как про Ниночку Л. говорят: она *честная*, а про Лизу А[рсеньеву]: она *добрая*.

Этот ум и *блистательные способности* — так гласят о ней рапорты классных дам и учителей — завоевали ей почетное положение в институтском мире.

Они примиряют начальство с ее поведением, которое не безукоризненно — она хотя и не *бегает*, но *кричит* и нарушает другие правила

институтской дисциплины. Товарищество прощает ей за них некоторую пустоту и безалаберность характера; недостаток стоицизма в сношениях с начальством и товариществом и наклонность к слезливости. Сочинения ее считаются лучшими и приводят в восторг учителей и начальство.

Много распространяться об этом типе не стоит. Этот тип знаком всем учебным заведениям, как женским, так и мужским. Этот тип так называемых *первых учеников* с дарованиями поверхностными, неглубокими, но в нос бьющими неопытным педагогам и которые часто вводят в заблуждение и опытных, с сильно развитым воображением, преобладающим над соображением и другими более солидными качествами ума, с громадной памятью, позволяющей мигом заучивать задаваемые уроки, и с похвальным равнодушием ко всему заучиваемому. У таких учеников почти никогда не бывает пристрастия к какому-нибудь одному предмету из преподаваемых им. Их интересует самый процесс ученья и его ближайший материальный результат, т.е. *пятерки*. Впоследствии, когда они покинут школьную скамейку, из них редко выходят дельные, серьезно занимающиеся чем-нибудь люди. По большей части они разбрасываются в разные стороны и растачиваются по мелочам.

Товарищество оказывало во многих отношениях хорошее влияние на характер институтки; оно вселяло в нее понятие о честном и справедливом, понятие о равенстве и уважение к чужим правам и общественному мнению. Конечно, в этом отношении институт разделял лишь общее свойство всех общественных заведений, которые именно тем и хороши, что вселяют в ребенка понятие о *гражданстве*, если так можно выразиться, чего семейное воспитание почти не в состоянии развить.

В былые времена институт был единственным общественным женским заведением, следовательно, был полезен как *общественное* заведение.

Говорить о тогдашних частных женских пансионах не стоит труда. Большинство из них было не больше, как спекуляцией, в которой серьезно было только стремление содержательницы пансиона нажиться, а все остальное являлось забавой, игрой в ученье, в воспитанье, в учителей, в классных дам и проч.

Институт как бы то ни было — плох он был или нет — был делом серьезным, делом взаправду; а это очень важно. Теперь скажу о том влиянии, какое имели на институток учителя и об отношении к ним этих последних.

VI

Учителя, их значение, их влияние на институток и чем оно обусловливалось. — Самые популярные из учителей. — Характер преподавания вообще

Учителя были представителями, говоря словами Белинского, начала умственного, отвлеченного, олимпийского[90], и в этом отношении влияние их на институток было велико и благодетельно. Отношения с ними были чужды всякой фальши и неискренности. Как люди свежие, чуждые институтским стенам и порядкам, хотя и хорошо знакомые с институтским бытом и духом, они были единственным живым элементом в нашей окаменелой в своем обособлении и отчуждении от внешнего мира жизни. Как люди более образованные и более развитые, они целой головой стояли выше понятий, вырабатываемых институтскими отшельницами всех рангов.

Разумеется, все вышесказанное преимущественно и даже почти исключительно относится к учителям *русским*. Иностранцы в этом отношении были особая статья. Ни влияние их на институток, ни духовная связь с ними не могли быть сильны уже вследствие различия в национальности, да и самая популярность их никогда не бывала прочна и продолжительна.

Тяжеловатые, мешковатые и придурковатые или казавшиеся такими, *немцы* проходили бесследно в жизни институтки и совершенно стушевывались в толпе учителей. Язык их не любили, их личностями не интересовались, и ни один из них никогда не выделялся из толпы и ни на минуту не овладевал умом и воображением институток.

Что касается *французов*, то, живые и общительные по природе, они пользовались некоторым *prestige* при своем поступлении. Институтки приходили в восторг от всякого нового французского учителя, который обвораживал галантностью в обращении, веселой болтовней и искрометным остроумием и даже на время как будто затмевал любимых русских учителей. Но очарование длилось обыкновенно недолго; с течением времени француз бледнел, *линял*, если можно так выразиться, и стушевывался. Галантность его приедалась и даже начинала казаться несколько приторной; веселая болтовня прискучивала своим однообразием; остроумие истощалось, а та слезливая, поверхностная, пустая сантиментальность, присущая французам и так метко охарактеризованная графом Толстым в «Войне и мире»[91], делала их несколько смешными.

Институтки трогались было сначала воззваниями к *ma pauvre mére, ma pauvre patrie*[92], но потом вскоре замечали фальшивую ноту в этой натянутой и монотонной чувствительности.

Так было в мое время с M-r Ernest Nolan d'Anvers*[93], как он величал себя, уверяя, что поэты, как и дворяне, имеют право присоединять к своему родовому имени имя той местности, где они родились.

При своем поступлении он произвел решительный фурор. Большие с ума сходили от восторга (мой выпуск был еще тогда в маленьком классе) и сообщили этот восторг и нам, *маленьким*. Во время рекреаций только и толков было, что о божественном Ernest Nolan d'Anvers. Все стены институтские покрылись надписями, что «Ernest Nolan d'Anvers est un Dieu!»[94]. Имя его пронеслось как трубный звук от одного конца института до другого. Классные дамы волновались перед его классом, с оживленными лицами и сверкающими глазами слушали его речи; даже институтская прислуга была вовлечена в общий поток, и дортуарные горничные с любопытством расспрашивали, что за новый такой *хранцуз* объявился. Мистические умы были недалеки от предположения, что уж не сам ли это *Антихрист* народился и под личиной учителя хочет прельстить мир.

И что ж? вся эта слава длилась три-четыре месяца и затем рассеялась как дым. Институтки охладели к своему кумиру, классные дамы успокоились, и пресловутый Ernest Nolan d'Anvers поступил в разряд обыкновенных смертных.

Его любили, потому что он был в сущности порядочный человек, чуждый пристрастия, мелочности и придирчивости; но нравственного влияния он не оказывал на умы и никому не импонировал своею личностию. Был он детина ражий, с красным лицом, рыжими кудрями, лежавшими в поэтическом беспорядке, и большим носом. Частенько толковал про *ma pauvre mére, ma pauvre patrie, ma divine France*[95], даже со слезами на глазах. Не любил в качестве поэта грамматики и синтаксиса, величая их сухой материей, и больше напирал на литературу.

— Учить правильно писать и читать не мое дело, — говаривал он, — для этого есть другие учителя. Я поэт, мое дело ознакомить вас с литературными деятелями и их произведениями.

С этой стороны он действительно знал свое дело и имел серьезное литературное образование и большую начитанность и толковал о различных

* Все фамилии в этих очерках вымышленные.

эпохах и школах французской литературы с самостоятельным тоном знатока, изучившего их по источникам, а не невежды-шарлатана, какими зачастую бывали французские учителя, с великим трудом побирающегося по чужим учебникам.

Читал он нам различные поэтические произведения, и читал хорошо, не без личного пафоса, конечно, но все-таки хорошо и даже, принимая во внимание, что он был француз, можно сказать — очень хорошо.

Но на сочинениях сказывался неисправимый француз. Темы он задавал, увы! самые сантиментальные, самые пошлые, самые французские: un nid dans la verdure, la dispute des deux roses, le lever du soleil, le triomphe de la vertu[96] и проч., все в этом роде.

Совершенную противоположность ему представлял учитель русской словесности Архипастырский[97], один из самых прочно популярных учителей, высокий, неуклюжий, с темным, коричневым лицом, с длинным крючковатым носом и тонкими, насмешливыми губами.

На вид он был неказист и манеры имел странные; сморкался в пестрый платок, захватывая предварительно кончик его в рот, плевал на пол, широко расставляя ноги и ограждая лицо обеими руками, но все это нисколько не роняло его в мнении воспитанниц, восторженно уважавших и любивших его. Глубокий, тонкий и саркастический ум, неподражаемый юмор и своеобразный, оригинальный характер этой личности сильно влияли на умы. С начальством он был невозмутимо спокоен, с воспитанницами безукоризненно справедлив, серьезен и ровен; урок всегда умел сделать занимательным и живым, так что приход его ожидался всегда с нетерпением, а всякая манкировка встречалась с унынием, тогда как в других случаях бывала радостным событием, ибо давала полтора часа свободного времени.

У нас вообще не жаловали учителей, которые никогда не *манкировали*, называли их *жадными* и объясняли щепетильную аккуратность в посещении классов любовью к деньгам. Странным образом мнению этому благоприятствовало то, что идеально аккуратные учителя действительно оказывались по другим приметам жадными до денег: например, по стремлению давать частные уроки по своему предмету тем воспитанницам, которые этого желали и которых они тогда отличали самым несправедливым образом и награждали зачастую незаслуженными *пятерками*, за что, бывало, остальные воспитанницы их *ошикают*. У нас было в обычае *ошикать* учителя всякий раз, как он поступит, по-нашему, дурно.

Само собой разумеется, что наш милый Архипастырский был совершенно безупречен в этом отношении и никогда не выказывал и тени противной институткам жадности к деньгам.

Грамматики он также не жаловал, как и Ernest Nolan, но мотивировал свою нелюбовь иначе.

— Русская грамматика еще не разработана, — говаривал он. — В ней черт ногу сломит. — И тут же приводил целый ряд примеров непоследовательности, нелогичности многих грамматических правил. — Хотите научиться правильно писать и изъясняться по-русски, читайте, читайте больше и пишите сами. Вникайте в дух русского языка, изучайте его по хорошим образцам, замечайте обороты речи у хороших писателей, прислушивайтесь также и к речи простолюдина, она часто богата чисто русскими, народными оборотами.

В противность Ernest'y Nolan, Архипастырский не терпел ничего сантиментального, неестественного, напыщенного. К риторике, входившей в курс русской словесности, он относился юмористично, с усмешкой объяснял значение всех этих гипербол, метафор, парабол и проч. и вообще не признавал механики слова, если так можно выразиться.

— Писать нельзя научиться по учебнику; слог нельзя заимствовать из чужой головы; слог создается тем, кто пишет, и так же присущ ему, как и всякое другое качество.

Он не любил, когда, бывало, задаст выучить стихи, если выбор воспитанницы падал на какое-нибудь риторическое, напыщенное произведение, вроде, например, оды «Бог» Державина.

— Позвольте, — останавливал он, бывало, воспитанницу, только успевшую произнести:

О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества.

— Понимаете ли вы то, что говорите в настоящую минуту? Вот вы ломали свою голову, насиловали свою память, чтобы заучить несколько сот стихов, а ведь вы не поняли из них ни единого слова. Объясните мне, потрудитесь, первые две фразы, сказанные вами.

Воспитанница, конечно, становилась в тупик.

— Видите ли, — продолжал он, — какой вы неблагодарный труд взяли на себя. Что бы вам остановиться на чем-нибудь попроще, вот хоть бы на какой-нибудь басне Крылова.

И тут же мастерски прочитает какую-нибудь басню, оттеняя каждое слово и объясняя его значение.

— А уж если хотелось вам непременно чего-нибудь торжественного, то взяли бы оду Дмитриева: «Гремит, благоговей сын персти»[98]. Это одна из самых удачных, самых талантливых од. Вот слушайте.

И он читал стихи Дмитриева неподражаемо, с тонкими, неуловимыми оттенками.

Вообще Архипастырский удивительно, «божественно», как выражались институтки, читал всякие произведения — и лирические, эпические и драматические — необыкновенно просто, без ложного пафоса и вместе с тем впечатление производил сильное, неотразимое. Как он читал «Бориса» Пушкина. Как он читал Гоголя! Описание посещения Плюшкина Чичиковым, «Тараса Бульбу» и, например, «Разъезд после представления Ревизора»[99]. Что это было за наслаждение! Весь класс превращался в слух и, задерживая дыхание, впивался в каждое слово.

Когда, бывало, отворится дверь класса и Архипастырский покажется на пороге с книгой под мышкой, это означало, что он намерен угостить нас чтением, то весь класс взвизгивал от восторга и прыгал на скамейках, забывая институтский декорум.

Иногда Архипастырский поддразнивал нас, говоря:

— Чему обрадовались! Я читать вовсе не намерен. Это просто новый учебник грамматики, который я захватил с собой, — и, положив книгу в шляпу, ставил ее в сторону.

Разочарование выказывалось на лицах; но вот, видим, рука Архипастырского тянется к шляпе. Новый взрыв радости, с трудом умеряемый классной дамой. Ура! книга на столе, уже раскрыта, сомнения больше нет, Архипастырский откашливается, класс замирает.

Как он тонко, мастерски разбирал произведения различных писателей и показывал их значение, как подмечал их слабые стороны и юмористически издевался над ними!

— Зачем вы сами не пишете, — кричим ему мы, бывало, — вы так хорошо умеете критиковать других, верно, сами написали бы образцовое произведение.

— Боюсь критики, — ответит он насмешливым голосом.

Иногда класс проходил в том, что он не читал, а рассказывал нам разные анекдоты, уличные сцены, подмеченные им. Выходило нечто вроде рассказов Горбунова[100]. Весь класс помирал со смеха.

Всегда и во всем выказывался его здравый ум и трезвые понятия. Архипастырский никогда не касался щекотливых вопросов, никогда не либеральничал, — да либерализма не было тогда и в помине, он еще не народился на Руси, — но тем не менее имел очень полезное влияние на мыслительные способности своих учениц. Он действовал отрицательно; он не вкладывал готовых понятий, определенного сформулированного миросозерцания; он просто обрабатывал самый инструмент, мозг, и приучал его к правильной работе.

На сочинения он обращал большое внимание, так же как и француз Nolan, но и здесь ценил вовсе не то, что ценил этот последний. Темы задавал он самые простые, так сказать обыденные; разумеется, не было и в помине восходов солнца — вы его никогда и не видывали, говаривал он, — триумфов добродетели и проч. По большей части он брал какую-нибудь русскую пословицу и просил объяснить ее значение и подкрепить примерами из знакомой институтской жизни.

— Проще, проще, — говаривал он, разбирая сочинения, — мне не надо чужих, выкраденных из книг мыслей; дайте мне свое, оригинальное. Не беда, если мысль незамысловата, если она выражена некрасиво; для меня важна ее самостоятельность.

Раз, помню, наваляла одна из учениц напыщенное, неестественное рассуждение на десяти страницах по поводу преждевременного выхода из института одной из воспитанниц. В рассуждении этом проводилась параллель между жизнью в институте и жизнью в свете: первая превозносилась до небес, а вторая изображалась самыми черными красками; трактовалось здесь об опасностях, о подводных скалах, о коварстве людей и завершалось метафорой, по которой жизнь вне институтских стен представлялась гробом, богато разукрашенным снаружи и осыпанным цветами, а внутри скрывающим гниль и прах.

Как теперь, вижу насмешливое лицо, с каким вынул из кармана это сочинение Архипастырский, и ироническую усмешку, с какой он принялся его читать. Самым беспощадным образом разобрал он по ниточке это красноречивое разглагольствование, показал всю его фальшь, доказал, что автор поет с чужих слов и толкует о вещах, ему совершенно неизвестных и проблематических, как, например, коварство людей. Все это было приправлено таким юмором, что весь класс заливался хохотом, а несчастная сочинительница сидела как на иголках и, немедленно по уходе Архипастырского, разорвала в клочки свое уродливое произведение.

Архипастырский всегда оставался любимым и уважаемым, с ним никогда не бывало ни недоразумений, ни неприятных сцен. Только один раз в мое время поссорились воспитанницы с своим любимцем, ошикали его, и вот по какому поводу: был заказан молебен в неурочный, непраздничный день и как раз пришелся в тот час, когда должен был прийти Архипастырский. Урок запоздал на целых полчаса, в течение которого Архипастырский дожидался нас в классе. Когда мы уселись по местам, он сказал нам:

— Ну, госпожи, ждал я вас, ждал, да и соскучился; от нечего делать заглянул в ваши пюпитры и увидел там много любопытного... корсет, банку с помадой и...

— Шш, шш!.. — поднялся крик. — Как вам не стыдно, это неблагородно с вашей стороны! заглядывать в чужие ящики! фи, как вам не стыдно.

Архипастырский сконфузился, покраснел и сказал:

— Ну, извините, действительно я не прав. Скучно было, в другой раз не буду. Повинную голову и меч не сечет.

И мир был заключен.

Другим популярным учителем был наш милейший математик и физик Николаев[101], небольшого роста, полный и разноглазый блондин, — один глаз у него был голубой, а другой зеленый, — веселый и добродушнейший из смертных.

Физика считалась одним из самых интересных предметов, даже самые ленивые оживали во время этого урока. Не то было с математикой. Плохо подготовленные в маленьком классе, где учил другой учитель, непроходимый идиот, ненавистный всем *Скрипач*, — так звали его институтки, коверкая на свой лад его фамилию[102], — мы, за немногими исключениями, оказывались несостоятельными, к великому огорчению Николаева.

— Эх, госпожи, — говаривал он, бывало, — ничего-то вы не смыслите в математике, как я ни бьюсь с вами, а все толку никакого нет! Ведь это срам просто! Вот хотя бы госпожа NN считается одной из первых в классе, а никогда ни одной задачи решить не может. Я бы вас, госпожа NN, посадил одной из последних. Ведь вот вам следует поставить *нуль* по-настоящему, а я только из милости ставлю вам *три*.

— Как же вам не стыдно, — возражает обиженная NN, — говорить, что я должна быть последней. Разве я хотя когда-нибудь не знала урока из физики, разве у меня не всегда полный балл?..

— Э, да что в том толку, когда вы математики не постигаете.

— И не хочу постигать, противная ваша математика, ее и начальство не уважает! Не понимаю ее и не хочу понимать. И не заставляйте вы меня решать никаких задач, прошу вас раз навсегда.

— Слушаю-с, — отвечает он, пожимая плечами, насмешливо добродушным тоном.

Если случалось, бывало, почему-нибудь не приготовить ему урока, то институтки объявляли прямо, хотя, разумеется, по секрету от классной дамы:

— М-г Николаев, мы сегодня урока не приготовили, не спрашивайте нас, пожалуйста.

— Извольте-с, — ответит он, — мы, значит, будем болтать сегодня. — И ни за что не выдаст нас классной даме, а устроит все самым удобным для нас образом. Несмотря на его снисходительность, у него на экзаменах почти никто не проваливался, и они сходили всегда самым блистательным образом: начальство осыпало его поздравлениями. Разумеется, я говорю про экзамен физики, математика же, увы! всегда сходила плохо. Но странным образом начальство действительно *не уважало*, как выражались институтки, математику и считало ее как будто лишним и не особенно важным предметом.

Физика была единственным предметом из естественных наук, который преподавался толково и дельно, хотя и весьма кратко, как того требовала институтская программа. Но зато остальные предметы, как, например, ботаника, зоология, минералогия, преподавались в таком уродливом, искаженном виде, что были чистейшей карикатурой. Преподавались они на французском языке каким-то убогим швейцарцем[103], высоким неуклюжим малым, сильно смахивавшим на орангутанга, который не мог даже удовлетворить со стороны практики французского языка, ибо не только отличался убийственным выговором, но говорил еще вдобавок «la cheval», «le vache»[104] и пр.

География и история были обставлены значительно лучше, хотя учитель Z., о котором я упоминала раньше, питал сильное пристрастие к хронологии и перечням лиц, царствовавших в различное время и в различных странах, к сражениям — словом, к внешним историческим событиям, недостаточно углубляясь во внутренний смысл истории. В этом он составлял совершенную противуположность своему предшественнику, покойному Б[унину], бывшему в свое время одним из наиболее популяр-

ных и влиятельных учителей. Б[унин] исключительно напирал на внутренний смысл исторических событий. Короли, их династические интересы, распри и хронологический порядок их царствований стояли у него на заднем плане. Самым живым, самым увлекательным образом излагал он, и больше все изустно, картины нравов, состояние цивилизации и быт народов в различные эпохи, значение различных событий и великих открытий, мастерски умел характеризовать замечательных исторических деятелей. В его рассказе лица эти облекались в такие живые образы, что, казалось, их видел и слышал. Говорил он красноречиво, голос у него был симпатичный, а произношение ясное и чистое, чем, увы! никак не мог похвастаться Z. Этот последний как-то шепелявил, присвистывал, шипел и даже брызгался, когда говорил. Популярность его длилась недолго, после того как мы выпросили его в учителя. Главным образом он уронил себя во мнении институток тем, что имел замашку *жаловаться* классным дамам в случае какого-либо столкновения с воспитанницами и *выдавать* их, чего такие учителя, как Б[унин], Архипастырский и Николаев, никогда не делали.

Раз, например, одна из учениц, не приготовившая урока, предупредила его о том, по существовавшему обычаю, прося на спрашивать ее на этот раз.

— Как! что такое? — засвистел наш *Зевс*. — Так прозвали его институтки, величавшие его также *вечно юным Вакхом* и *Геродотом*; о последнем прозвище он даже знал и уверял, что оно для него очень лестно.

Полное, круглое, красное, словно наведенное лаком, лицо *Зевса* покраснело еще сильней. Он обратился к классной даме и заявил ей о таком неожиданном, неприятном, как он выразился, для него случае.

Эта бестактность поразила весь класс, послышалось шиканье, а рассерженная виновница всей истории крикнула во всеуслышание:

— M-r Z., je Vous méprise![105]

— Как! что такое? — зашипел *Зевс*, заикаясь и задыхаясь от злости.

Он пришел в такую неописанную ярость, что наговорил вздора, заявляя, что за такую неслыханную дерзость, за такое странное оскорбление стоит чуть ли не высечь дерзкую. Вероятно, он сам не помнил, что говорил, но слова его вызвали целую бурю:

— Ай, ай, ай! как вы смеете это говорить! Шш, шш! это ужасно! Шшш, шшш!

Классная дама насилу уняла расходившихся воспитанниц, велела всему классу встать и *стоять debout*[106], как у нас говорилось, в наказание, а главную виновную записала в рапорт.

Эта история сильно подорвала кредит нашего *Зевса.* Воспитанницы, когда улеглось негодование, воспели ее в следующих стихах, которыми дразнили зачинщицу:

A qui rèserve t'on ces verges menaçantes?
Pour qui ce banc, qu'on apprête?
D'où vient ce bruit? où courent ces servantes?
Où mène t'on l'infortunée Barbette?
Elle osa, oh! terreur! insulter Jupiter!
Elle lui dit, oh! horreur! qu'elle le méprise!
Jupiter lui crie, oh! rage! de se taire,
Elle désobéit, oh! douleur! et attrape... une surprise[107].

Кроме того, Z. отличался другими слабостями, делавшими его смешным; между прочим, он носился с своей наружностью, весьма некрасивой, и с совершенно лысой головой; уверял, что ему только 32 года, тогда как эта наружность изобличала гораздо больше лет жизни, и к довершению всего хвастался, что он учитель не по рождению, а по особым обстоятельствам и что он некогда служил в гусарах.

К числу уважаемых и любимых личностей принадлежал священник нашей домовой церкви, который был вместе с тем законоучителем[108]. Он подкупал в свою пользу и внешностью своей, и внутренними качествами. Об его бескорыстии и благородстве ходило много рассказов. Он был очень умен и образован и имел обаятельную наружность, несмотря на то что был уже немолод в мое время; его старшие дочери были замужем и имели детей. Он был среднего роста, стройный, с плавными, изящными движениями и поистине очаровательным лицом, как по чертам, так и по выражению: тонкое, худощавое и бледное, окаймленное русыми с проседью кудрями, с глубокими, несколько строгими глазами, оно казалось проникнутым какой-то неземной прелестью. Такими художники изображают апостолов и святых.

— Бог! Спаситель! Иисус Христос! — кричат ему, бывало, вслед десятки голосов, когда в субботу он проходит через залу в церковь, чтобы служить всенощную.

— Сударыни, сколько раз я просил вас не призывать имя Божие всуе! — ответит он своим мягким, звучным голосом, окидывая нас строгим взглядом.

— Простите! не будем! — раздается в ответ. — Бог! — прорывается при этом какой-нибудь отдельный голос, тотчас же заглушаемый шиканьем остальных.

Пожмет плечами наш кумир, слегка улыбнется и идет дальше.

— Божественный! — поет ему вслед дружный хор.

Совсем иначе относились к диакону[109], который тоже был законоучителем в младших отделениях. Маленький, вертлявый, со смешными ужимками, диакон ни в чем не походил на священника. В особенном бескорыстии и благородстве его никто не заподазривал. Его вовсе не уважали, обращались с ним фамильярно: за глаза величали всегда уменьшительным именем *Степки*, а в глаза дразнили и надоедали без зазрения совести.

Окружат его, бывало, целой толпой и пристают:

— Пожалуйста, не мямлите за ектеньей, по своему обыкновению. Ведь мы устаем стоять, ноги у нас не каменные. Служите поскорей, пожалуйста! и Мишелю велите скорее читать Апостол.

— Как вам не стыдно! — усовещевает диакон. — Вот погодите, я расскажу все батюшке. Он вам задаст хороший нагоняй.

— Да, вот вы всегда готовы жаловаться! Фи! стыдитесь!

И в таком роде идет перебранка.

К дьячку же, вышеупомянутому *Мишелю*, которого так звал весь институт и который был причастен к делу нашего образования лишь тем только, что чинил всегда перья, грифели и карандаши и о котором я упоминаю здесь потому только, что к слову пришлось, — институтки относились милостиво, хотя несколько свысока.

За этими более выдающимися личностями стояла целая фаланга немецких, французских учителей и учительниц музыки, пения, танцев, живописи и гимнастики. Но все они были более или менее бледными тенями, не оказывавшими никакого влияния на институтские умы и составлявшими лишь фон на картине институтской жизни.

Учителей итальянского пения было два: один обучал солисток, другой — хоры. Оба были смирные, незаметные личности[110].

Зато учитель церковного пения был личностью весьма *заметной*[111]. Мастер своего дела, но неотесанный, грубый и вспыльчивый по характеру, он нагонял и страх и смех. Класс его проходил обыкновенно с страшным гамом. Не вынося фальшивых нот, он зажимал уши, стучал ногами и смычком, хватался за голову, рвал на себе волосы и задыхающимся от бешенства голосом орал:

— Что мне с вами делать! Что мне с вами делать! Мальчишек своих я за уши деру, на колени ставлю, а вас нельзя! вы барышни!

И даже зубами заскрипит от злости.

— Еще бы! — возражали ему, бывало, когда он расходится таким образом. — Ай, ай, ай! как вам не стыдно! Шшш, шшш! — чтобы показать, что *ндраву* его потакать не намерены. Но он не унимался и на следующий раз так же точно выходил из себя.

В *pendant*[112] к нему могла служить одна из учительниц танцев, экстанцовщица, бывшая в свое время знаменитостью[113], низенькая, плотная бабища, с рыжими волосами и зелеными, разбегавшимися во все стороны и метавшими молнии глазами, с крикливым, резким голосом и грубыми манерами пуасардки[114]. Та тоже, бывало, трясется от злости, орет чуть не с пеной у рта на всю залу и, подбегая к ученице, плохо проделавшей какое-нибудь *па*, хватает ее за плечи, заставляет прыгать в такт и, видимо, удерживается от желания оттаскать за волосы или прибить виновную.

Она да учитель церковного пения составляли исключение в своем роде. Все остальные учителя всегда бывали вежливы и спокойны; опять-таки, впрочем, кроме некоторых учителей музыки, которые тоже, вероятно в силу ходячего мнения, что артист вольная птица, свободный, не стесняемый никакими путами дух, шумели, бросали ноты на пол и позволяли себе браниться.

Что касается характера преподавания вообще и взгляда на ученье начальства и учителей, который невольно сообщался и воспитанницам, то его можно назвать серьезным, если сравнивать его не с современными понятиями о женском образовании, а с теми ходячими мнениями, которые существовали на этот счет у большинства русского общества двадцать лет тому назад, — с тем орнаментальным чисто характером образования, который преобладал в большинстве семей и в частных женских заведениях, по которому танцы, французская болтовня и уменье бренчать польки на фортепьяно считались краеугольным камнем в женском образовании. Как ни было недостаточно институтское образование, но в нем было хорошо то, что те учителя, которые задавали тон, относились к своему делу серьезно и добросовестно, а начальство смотрело на *науки* с уважением и давало им предпочтение перед изящными искусствами, как то: пение, музыка и танцы. Конечно, так называемые науки преподавались в далеко недостаточном объеме и очень часто в искаженном виде, так что

собственно *знаний*, в том смысле, как мы их понимаем теперь, приобрести было нельзя, но полезен был взгляд, что *знание* есть вещь почтенная.

И начальство, и сами институтки преимущественно уважали воспитанниц, *хорошо учившихся*. Отличавшиеся на поприще изящных искусств пользовались уважением лишь в том случае, если успехи их там совпадали с успехами в науках.

VII

Как проводили институтки праздники. — Увеселения и шалости. — Институтские торжества и балы. — Выпускные экзамены и публичные акты

Каждый праздничный день начинался, разумеется, обедней, которая занимала все утро; после обедни, кончавшейся обыкновенно в 12 часов, шли обедать. Обед по праздникам был всегда хорош и отличался разными блюдами, которых в обыкновенное время не давали, например: жареная дичь, телятина, гусь и проч., а также пирожным и заменявшими его иногда яблоками.

За исключением воскресенья, которое проводили сидя, как и в будни, по классам, с тою только разницей, что не приходило учителей, — во все другие праздники все послеобеденное время проводили в дортуарах; и это составляло главную прелесть праздничных дней.

Во-первых, в дортуарах воспитанницы были освобождены от общества классных дам, которые обыкновенно уходили в свою комнату и лишь время от времени наведывались в дортуар, во-вторых, здесь право передвижения своей особы не ограничивалось одной комнатой, а целым коридором и всеми дортуарами, расположенными в нем. В каждом дортуаре стояло фортепьяно; начиналась музыка и пенье, устраивались иногда танцы и различные игры, но большею частию девицы разбивались на отдельные группы и кружки.

Войдя в любой дортуар в праздничное, послеобеденное время, можно было застать следующую сцену: в одном углу собрался кружок и слушает чтение вслух одной из институток; в другом идут какие-то оживленные прения. За столом некоторые играют в карты, в короли, в дурачки,

в фофаны, в зеваки и даже в преферанс, разумеется, не на деньги, а ради самого процесса игры.

Играть в карты по праздникам в дортуарах и больным в лазарете, в виде развлечения, не только дозволялось, но даже один из попечителей, высокопоставленный сановник и член Английского клуба, был нашим поставщиком.

— *Mon prince, nous n'avons plus de cartes*! — говорили мы ему, когда имеющиеся в обращении карты истреплются.

— *C'est bien, mes enfants, je vous en enverrai*[115], — ответит он и пришлет из клуба целую груду игранных атласных колод.

Кроме того, устраивались в длинные праздники, как Рождество, Святая[116], Масленица, спектакли и живые картины, и тогда в дортуарах шли репетиции и приготовления костюмов. В этом уже нам всегда помогали классные дамы, которые брали на себя роли режиссеров и костюмеров.

Праздники были приятны еще тем, что все почти бывали в это время сыты. Этим даже определялась до известной степени веселость праздника. Поэтому иногда можно было услышать следующее замечание:

— Фи, *mesdames*, какой был скучный праздник, есть совсем было нечего.

Но уже это бывали особенные, неудачные случаи, а обыкновенно говорилось:

— Вот было весело, *mesdames*, сколько мы ели!

Сыты же бывали, во-первых, потому, что по праздникам обед был сытнее; во-вторых, родственники присылали различные съестные припасы; в-третьих, классные дамы, у которых хранилась всегда часть денег воспитанниц, позволяли распоряжаться ими; снаряжалась обыкновенно дортуарная горничная за покупками, и под прикрытием денег, отпущенных классной дамой, ей давались еще и контрабандные, всегда имевшиеся у воспитанниц, и институтки задавали друг другу пиры. Покупались обыкновенно всякого рода лакомства, а из съестного белый хлеб, сыр, масло и сардинки. Кроме этого заказывали в так называемой *образцовой кухне* пироги, *plombières*[117], ватрушки и проч.

Образцовою кухней называлась особая кухня, куда воспитанницы большего класса по очереди ходили готовить кушанье, чтобы приучаться к хозяйству. Полезная мысль эта, однако, не приносила желаемых результатов и, как это у нас часто бывает, превратилась в пустую формальность. Институтки ровно ничему не научались в этой кухне, оттого что дело про-

исходило следующим образом. Придут, бывало, институтки в эту кухню, кухарка подает им готовое тесто и готовую начинку и покажет, как раскатать тесто, положить начинку, защипать его и... только! Что было раньше, откуда взялось тесто и как его приготовляли — осталось покрытым мраком неизвестности, и что будет после с заготовленными пирожками, сколько времени и в какой печи они будут сидеть — тоже! Мы знали только, что съедим их за обедом и что они будут очень вкусны, потому что кухарка была мастерица своего дела, настоящий Карем[118] в юбке. Та же история повторялась и с котлетами: готовому срубленному мясу придавалась руками институток форма котлет, они обваливали их в сухарях... и затем, после темного для нас промежутка, во время которого котлеты получали неизвестным нам путем съедобные свойства, мы их поедали.

В этом роде происходила вся стряпня. Ходить в образцовую кухню считалось одним из величайших удовольствий, и очередь ждалась с нетерпением. Во-первых, дежурные по образцовой кухне освобождались на целую неделю от уроков и проводили в кухне то время, в которое все остальные сидели в классе, а в кухне можно было болтать, шуметь сколько душе угодно. Во-вторых, дежурные по образцовой кухне обедали отдельно от других и ели тот обед, который готовился в ней, а он был несравненно вкуснее обыкновенного. В-третьих, в воскресенье, следовавшее за дежурной неделей, институтки имели право заказать себе на казенные деньги той же кухарке блюдо, ценою в 1 р. серебром. Это блюдо обыкновенно подавалось после институтского обеда, в комнату одной из инспектрис, куда дежурные отправлялись его есть.

Так было при первой директрисе; вторая изменила этот порядок. Дежурные ходили в кухню уже не по десяти человек разом и не в течение целой недели, а по три зараз и на один день. Обедали дежурные не сами по себе, а за столом директрисы, и воскресное блюдо сократилось. Это было одной из перемен, которая наиболее сердила воспитанниц и служила им долгое время мотивом к неудовольствию против директрисы. Сокращение воскресного блюда приводило в ярость. Мы серьезно обвиняли директрису в желании положить *наши*, как мы говорили, 52 рубля в карман. Нелепость этого обвинения была очевидна, но мы долгое время в него непоколебимо верили. Мне сдается, что директриса, как женщина весьма умная, не могла не понимать, что хождение в кухню только одна пустая формальность, и нашла, что нелепо институткам балбесничать целую неделю сряду.

Между тем, лишив нас привычного удовольствия заказывать себе в дежурство какой-нибудь *plombière*, она вознаградила нас за это различными увеселеньями, которых до нее не существовало. Так, например, на Рождестве она устраивала великолепные елки с подарками для всех учениц. В свои семейные праздники, как то: именины ее и дочерей, она угощала всех институток шоколадом, конфектами и фруктами.

По воскресеньям она приглашала к себе по очереди воспитанниц пятнадцать—двадцать из большого класса, которые танцевали с ее гостями.

Иногда приглашались на эти вечера различные артисты. Так, мы слышали нескольких пианистов и певиц; Щепкин[119] несколько раз читал различные вещи.

Перебывали в институте различные фокусники, *ventriloques*[120], известный в то время Казанова с его обезьянами. Приводили даже раз какую-то необыкновенную лошадь, которая прокидывала разные фокусы. Только этих последних зрелищ мы неособенно любили и находили их скучными.

Все институтки справляли обыкновенно свои именины. Именинниц всегда освобождали от уроков, и они проводили весь день в дортуаре, приготовляя для всех воспитанниц своего дортуара угощенье, происходившее обыкновенно в 5 часов, по окончании классов. Главную роль играл здесь шоколад и различные лакомства. Воспитанницы в свою очередь готовили для именинницы различные подарки: духи, карандаши, тетради, перья, перчатки и проч. Обыкновенно все это раскладывалось накануне именин воспитанницы и тайком от нее на ее табуретке в дортуаре.

В именины, если только воспитанница праздновала их, она угощала весь дортуар, *без исключения*. Тут уже не принимались в расчет никакие личности, распри и ссоры; отступить от этого правила значило бы нарушить установившийся взгляд на товарищеские отношения. Но в остальное время дележ всякой провизии и лакомств происходил только между теми воспитанницами, которые были между собой дружны, и между ними все делилось *поровну*. Иногда дружеский кружок состоял из пяти-шести лиц, иногда только из двух. Остальным, да и то не всем, уделяла каждая немного и не всегда.

Каждый праздник отличался специальными удовольствиями. На Масленице возили институток кататься по городу в каретах, из которых часть была от казны, а часть присылалась родственниками, которые жили в том же городе и имели экипаж; в последнем случае воспитанница, которой была прислана карета, сама выбирала подруг, которых желала посадить с

собой. В каретах сидело зачастую по шести воспитанниц. Катанье это составляло событие в жизни институток и долго служило темой разговоров.

Кроме этого, первых десять—пятнадцать учениц 1-го отделения возили иногда в другие институты на экзамены, за которыми следовал всегда великолепный обед с *punch glacé*[121], мороженым и проч. Начальство института, куда приезжали гости, поставляло себе в обязанность угостить на славу приезжих. Помню, на одном из таких обедов наши институтки пили столько меду, что лица у них раскраснелись, головы закружились и язычки развязались не в меру. Попался в эту несчастную минуту на глаза наш *Зевс*, преподававший также в том институте, куда наши приехали в гости. Ну, и наговорили ему столько колкостей, что *Зевс* пыхтел, свистел, шипел и страшно разобиделся; однако жаловаться на этот раз не пошел. Да и трудно было придраться: грубостей не говорили, а только подпускали тонкие шпильки.

На Святой катали яйца[122] в дортуарах и в этом удовольствии зачастую принимали участие пепиньерки и классные дамы. Кроме того, на Святой у нас был обычай приготовлять *гоголь-моголь*[123]. Кто ввел его в моду и почему именно на Святой занимались им институтки — Бог весть! Но только, войдя на Святой в любой дортуар, вы увидали бы, что большинство занято приготовлением *гоголь-моголя*. Обыкновенно с первой недели Великого поста институтки начинали с этою целью собирать сахар, который давали к чаю по утрам. Образовались с этой целью отдельные кружки, которые сообща собирали куски сахару. К Святой вырастали целые горы сахару, который делился поровну между участницами, покупались свежие яйцы, заказывались родным и выступал на сцену *гоголь-моголь*, чтобы с окончанием Святой опять исчезнуть до будущего года. В остальное время никогда и никому в голову не приходило сделать *гоголь-моголь*.

Великий пост, несмотря на то что постная пища была еще непитательнее обыкновенной и иные воспитанницы, бывало, плачут от голода, считался веселым временем, потому что в это время жизнь шла несколько иначе обыкновенного, а все, что нарушало монотонный ход институтской жизни, принималось с восторгом. Все отделения поочередно говели в течение семи недель этого поста. Во время говенья классы прекращались; институтки ходили три раза в день в церковь, а в остальное время читали, если хотели, великопостные книги, которые им раздавались на это время. Исповедовались больше обществом четырех, шести лиц, по

обоюдному уговору, потому что находили, что сообща не так страшно. Перед исповедью совещались о грехах и записывали их для памяти. Великопостную службу любили за ее торжественность и красивое пение; к этому времени наши *певчие* всегда разучивали концерты Бортнянского[124] и других. Свечи восковые, с которыми стоять за службой на Страстной неделе и в Воскресную заутреню, раздавались казенные, тоненькие, но воспитанницы, у которых водились деньги, заказывали обыкновенно Мишелю припасти толстых восковых свечей и навязывали на них ленточки бантом с завитыми концами. Цвет ленточек определялся обычаем, в четверг ленты были голубые, в пятницу темно-лиловые, в субботу черные, а в воскресную заутреню розовые. Воскресная заутреня ждалась всегда с нетерпением и составляла радостное событие: во-первых, желающим позволялось не ложиться с вечера спать и дожидаться заутрени; во-вторых, происходил крестный ход вокруг всего института; в-третьих, служба была торжественная, церковь сияла огнями, духовенство было облачено в великолепные ризы; певчие старались изо всех сил; классные дамы были нарядные, веселые и ласковые; лица были радостные, а впереди ждал целый ряд наслаждений: куличи, пасхи, яйца, гоголь-моголь и проч.

В четыре часа по окончании службы разговлялись казенными куличами, пасхами и яйцами и шли в дортуар, где ложились спать до обеда. По пробуждении начиналось пиршество и ликованье, продолжавшееся целую неделю.

Все вышепоименованные удовольствия, которые сочиняли для себя сами институтки, происходили гласно, с ведома и разрешения начальства. Но были и другие, которые строго запрещались и принадлежали к числу шалостей; так, например, жечь сахар и читать книги по ночам, сушить в дортуарной печке сухари из черного хлеба, которым во время обеда и ужина набивали карманы. Уносить в кармане какую-нибудь еду из-за стола составляло уже само по себе проступок; карманы подвергались иногда осмотрам, но институтки привязывали фальшивые карманы по другую сторону платья, где была прорешка, и битком набивали его хлебом и печеным картофелем, когда таковой подавался за столом.

Сахар жгли постоянно и для этого выпрашивали у дортуарной горничной огарки свечей, а если она упрямилась, то таскали их.

Вообще же нужно сказать, что институтки как-то не умели *шалить*. По крайней мере, в мое время крупных шалостей почти не случалось.

Помню только *две* из них, выходивших из ряду обыкновенных проступков против институтской дисциплины.

Одна случилась летом: несколько воспитанниц забралось в то отделение сада, которое принадлежало директрисе и было отгорожено забором. Там был огород директрисы и фруктовые деревья. Итак, забрались туда воспитанницы и нарвали тьму-тьмущую незрелых, зеленых яблоков... и попались на месте преступления. Их жестоко пристыдили. Позор усиливался еще тем, что то были *большие*, да еще вдобавок ученицы 1-го отделения. Директриса объявила им, что никакого наказания им не назначает, потому что вина их выходит из ряда вон и так позорна, что она предоставляет их мучениям их собственной совести, и долго после того сердилась не только на них, но и на все 1-е отделение, долженствующее служить примером всему институту и так жестоко опозорившееся.

Другая шалость произошла зимой, на святках, и здесь опять отличилось 1-е отделение. Несколько удалых головушек вздумало тайком от других нарядиться привиденьями и ночью отправилось по дортуарам пугать спящих девиц. Пришли в один дортуар 2-го отделения и произвели переполох. Все спали, конечно, им пришлось толкать и будить воспитанниц; те сразу и не поняли, в чем дело, а пока они толковали и разбирали, что такое случилось, привидения пробрались в другой дортуар 2-го отделения, там тоже произвели сумятицу и ускользнули. Но, на беду, вздумали заглянуть на возвратном пути в первый встревоженный дортуар. Там после переполоха никто еще не засыпал, и когда наши привидения показались в дверях, тридцать голосов крикнули разом во все горло. Можно себе представить, что произошло: все классные дамы вскочили с постелей и со свечами в руках показались у дверей, расспрашивая, в чем дело; привидения хотели было ускользнуть, но не тут-то было; им перерезали пути к отступлению, захватили в плен и отпустили только после того, как удостоверились, кто они такие.

На другой день произошли суд и расправа: виновным первым делом задали жестокий нагоняй, затем записали в рапорт, оставили *без родных* на целых три месяца, что считалось одним из самых сильных наказаний, и к довершению всего отобрали *кисточки*, которые давались за отличие. Этот орден особого рода носился на голове по праздникам и состоял из шерстяного шнурка с двумя кистями на концах. За хорошее поведение давали *голубые* кисточки, за хорошее поведение и учение вместе *красные*

с голубым. Орден этот учредился при мне и вначале всех интересовал чрезвычайно: получившие его сначала постоянно носили его в положенное время, но потом мало-помалу интерес охладел. Многие перестали постоянно носить его: благо он имелся в руках, к чему же ему вечно красоваться на голове; сделалось даже некоторым шиком не надевать его. К чему, дескать, такое хвастовство! Только отправляясь в церковь и к директрисе да выходя в приемную залу к родственникам, институтки всегда надевали *кисточки*, чтобы не иметь вида наказанных, а в остальное время кисточки лежали заброшенными в пюпитрах. *Голубые* еще мелькали там и сям в дортуарах и в классах, ибо зачастую были принадлежностью личностей, стоявших в разряде институтских *bons sujets* и *подлизушек*; но *красную* с *голубым* редко можно было встретить вне церкви и приемной залы. Дошло до того, что иные теряли свои кисточки, и тогда происходило смятение, когда требовалось идти в приемную залу или к директрисе, и зачастую слышалось:

— *Mesdames*! кто даст мне взаймы кисточки! Ай, ай, ай, не знаю, куда дела свои! *Mesdames*! ради Бога выручите!

Еще одна характерная черта: многие *голубые кисточки* запаслись орденом собственного изделия, у которого шнурок был толще, а кисточки длиннее и гуще, чем у казенного; словом, больше бросалось в глаза; *красно-голубые* же всегда держались установленного образца, и их тонкие шнурки и маленькие, незаметные кисточки совсем стирались перед пышностью *голубых*, не говоря уже про то, что красная шерсть, перевитая голубой, гораздо менее выделялась на волосах, чем резкая, одноцветная голубая.

Балы бывали несколько раз в году. Перед балом институтки целый день проводили в ажитации[125]. В 5 часов пили обыкновенно в столовой шоколад. Потом шли в дортуар одеваться к балу. Костюм оставался все тот же, только вместо ежедневного камлотового платья надевали самое новое, употреблявшееся в торжественных случаях, и тончайший белый передник с множеством складочек. На каждую воспитанницу полагалось три платья: одно будничное, другое праздничное, а третье для самых торжественных случаев. То же самое и относительно передников: по будням были полотняные, по праздникам коленкоровые[126], а в торжественных случаях тонкие батист-декосовые[127]. Для бала надевали также лайковые перчатки, а у кого их не было, те надевали казенные, коленкоровые, доходившие почти до локтя.

В прежние времена существовал особый костюм для балов: белое коленкоровое платье с широким пунцовым кушаком. Но к моему времени он уничтожился: мы видали в шкапах гардеробной целые ворохи этих пожелтевших мешков, напоминавших больше саваны, чем бальные платья.

В 7 часов начинался бал польским. Оркестр был всегда превосходный; угощение: конфекты, яблоки, оржад и лимонад; зала — роскошь! но кавалеров, увы! не полагалось. Родственники приглашались лишь в качестве зрителей за решетку залы. В залу допускались только знакомые и родственники директрисы, учителя да братья и кузены воспитанниц, не старше 12 лет от роду. Поэтому институтки танцевали друг с другом, что не мешало, впрочем, веселиться от души. Честью и отличием считалось, если *большая* пригласит на какой-нибудь танец *маленькую*.

Бал обыкновенно кончался в 12 часов, и за ним следовал холодный ужин, который воспитанницы получали в дортуарах, состоявший из бутербродов с телятиной и сыром и слоеных пирожков.

Публичные экзамены происходили раз в три года, перед выпуском; им предшествовали всегда так называемые *инспекторские* экзамены, происходившие в присутствии одного институтского начальства и бывшие серьезным делом, решавшим судьбу воспитанниц относительно дипломов и наград, выдававшихся при выпуске.

Публичные же экзамены были пустой церемонией; воспитанницы заранее знали, что им придется отвечать; здесь читались лучшие сочинения, иногда стихи, сочиненные воспитанницами. Происходили эти экзамены в присутствии целой толпы посетителей и родственников; утром шли экзамены из наук; вечером из искусств: институтские хоры и солистки пели, играли на фортепиано в две руки, с аккомпанементом оркестра и без оного, в четыре, в восемь, в шестнадцать рук, танцевали различные характерные танцы. В залах были также выставлены рисунки и швейные работы воспитанниц. *Маленькие* смотрели на все это с хор. Всему этому предшествовали обыкновенно бесчисленные репетиции, и это время было самым веселым для институток. Как скоро кончались инспекторские экзамены, происходившие в ноябре и декабре, воспитанницы уже считались покончившими свою институтскую карьеру; им позволяли ходить по воле по институту, сидеть врассыпную, где угодно, в классах, в залах, в дортуарах. И вот в это-то время готовились к публичному экзамену, происходившему всегда перед Великим постом. Затем на Масленице давался *выпускной бал*, на который *маленькие* опять-таки смотрели

с хор и на котором *большие* танцевали уже в собственных белых бальных платьях и с настоящими, взрослыми кавалерами, набиравшимися из братьев и кузенов.

На первой неделе Великого поста *большие* говели, а на второй происходило последнее действие институтской комедии — *публичный акт*, на котором в присутствии публики раздавались дипломы, шифры и медали.

Утром шла торжественная литургия, совершаемая обыкновенно митрополитом или его викарным[128], окруженным целым сонмом духовенства и с архиерейскими певчими. После обедни шла раздача наград, потом великолепный обед с шампанским и затем... институтки разъезжались на все стороны *for better, for worse*[129].

Маленькие, отуманенные зрелищем всех этих торжеств, завидующие выпускным и радующиеся, что расстаются с чином *маленьких*, поступали в большой класс. Пустели на время дортуары и классы *маленьких*, тишина и безмолвие воцарялись в них; классные дамы выпущенного большого класса спускались в маленький и на время оставались без питомиц. Для новых *больших*, получивших, в числе других прав, право *чесаться в косу*, как у нас говорили, т.е. связывать волосы в один бант или жгут, укрепляемый на затылке гребнем, тогда как *маленькие* должны были расчесывать волосы на четыре косички, свернутые колечками и прикрываемые по праздникам бантом из лент, наступал перерыв в классных занятиях.

Учебный семестр начинался снова после Святой; тогда происходил прием новых воспитанниц, наступала *баллотировка казеннокоштных*; так как число желающих поступить на казенный счет всегда превышало положенные штаты, то предоставлялось судьбе решить дело. Все желающие поступить на казенный счет и имеющие на то право являлись в институт в сопровождении родственников, и здесь публично в присутствии всего институтского мира происходила баллотировка.

Бедные крошки со страхом подходили к столу, покрытому зеленым сукном, за которым восседало институтское начальство, и вынимали из вазы роковой билет, на котором стояло — *принята* или *не принята*. Матери крестились перед началом церемонии, а по окончании лили слезы радости или огорчения — слезы огорчения, если вынимался несчастный билет, и слезы радости, если билет выпадал удачный; дочки их лили слезы в обратном смысле[130].

Затем наступали трогательные сцены прощания. Институт мог наглядеться непривычных ему чувствительных сцен и сделать запас нежных

впечатлений на целых три года; а потому и немудрено, что он был так скуп на проявления чувства. Шутка, — целых три года пробавляйся запасом одного утра! поневоле станешь экономничать.

После этого папеньки и маменьки разъезжались, а поступившие девочки наполняли опустевшие было ульи *семериков*, *шестериков*, *пятериков* и *четвериков*. Все происходило в обычный порядок; машина пускалась в ход, и жизнь текла сызнова, но на старый лад.

VIII

Летние каникулы и увеселения

Летние каникулы начинались в двадцатых числах июня и продолжались до 7 августа. В это время институтки целые дни, за исключением дождливых, проводили в саду. Сад был очень велик и разбит на три части.

Перед фасадом дома шла узкая, длинная терраса, которая вела в партер с большими клумбами цветов.

По правую и по левую сторону клумб были две площадки, усаженные высокими и тенистыми деревьями. Здесь стояли длинные столы со скамейками: это было обычной резиденцией 4-го и 6-го отделений. Из партера, составлявшего тоже террасу, спускались в так называемый нижний сад, разбитый на манер английского парка; в начале его шли две аллеи, усаженные акациями; верхушки их сплетались, образуя таким образом свод. Там пребывало 5-е отделение. Направо от партера, минуя фасад здания, был третий сад, разбитый во французском вкусе на множество широких и прямых аллей, пересекавших друг друга. Этот сад так и назывался *большими аллеями*; то были владения трех отделений большого класса, и *маленькие* в редких случаях заглядывали туда, потому что там их ждал такой же нелюбезный прием и встречали такие же насмешливые восклицания, как было описано выше. *Большие* же приходили иногда в партер и нижний сад, составлявшие достояние *маленьких*, и это считалось за честь, если классы не были в ссоре.

Обыкновенно на вакацию учителя задавали повторить все пройденное, и классные дамы разбивали на уроки, которые спрашивали в свое дежурство у воспитанниц своего дортуара. Кроме того, заставляли обыкновен-

но писать под диктовку и делать упражнения на французском и немецком языках. Эти занятия бывали только до обеда.

После обеда предоставлялось читать различные книги, которые выдавались в начале вакации из институтской библиотеки по выбору и указанию учителя русской словесности, шить белье и вязать чулки. В начале вакации выдавалось всем воспитанницам известное количество скроенных передников, пелеринок, рукавов, кофт и проч., а также бумага для чулок. Все это нужно сшить и переметить.

От 5 часов вечера вплоть до самого ужина разрешалось бегать, играть в разные игры и вообще делать что угодно.

На каникулы раздавали институткам мячики, серсо[131], воланы, веревки и проч.

Большие аллеи все носили свои особые названия: была *Тверская*, была *аллея слез* и проч. Последняя боковая аллея, приходившаяся возле забора, называлась *потайной* аллеей, потому что в нее запрещено было ходить и можно было только украдкой пробежаться по ней. Цель этого запрещения мне непонятна; забор выходил на громадный пустырь — наш институт стоял на самом конце города, и лучше даже сказать — вне его. Разве боялись, чтобы не перелезли через забор и не убежали? Только мудрено это было сделать; забор был очень высок, а наверху утыкан острыми гвоздями.

В начале лета обыкновенно выдавали институткам белые, коленкоровые шляпы с длинными, выдающимися полями. Эти шляпы составляли отчаяние *институтских кокеток*. Они избегали, елико возможно, надевать их на головы, а носили обыкновенно в руках в виде зонтика и таким образом защищались от солнца. Эти шляпы да зимний выходной костюм, состоявший из синих суконных бурнусов[132] на вате, допотопного фасона, с капюшоном, и шерстяных вязаных шапочек, и толстых, неуклюжих опойковых[133] ботинок на фланеле, — могли действительно обезобразить хоть кого.

В саду был громадный проточный пруд, на котором стояли купальни. Институтки купались два раза в день, за исключением болезненных и слабых девиц, которым обыкновенно летом предписывалось питье различных вод, декохтов и проч. В начале лета доктор обыкновенно осматривал, выстукивал, выслушивал всех институток и отбирал известную партию, здоровье которых ему казалось сомнительным; их разделяли на

группы и угощали вышеназванными жидкостями. Это приводило их всегда в отчаяние, потому что лишало удовольствия купаться, есть овощи и фрукты: их сажали на диету и готовили для них особый стол. Курс лечения длился, кажется, около трех недель, и окончания его ждали с великим нетерпением.

Летом бывали свои, специальные увеселения. Самым выдающимся из них было посещение одного соседнего с нами института[134] и затем наш визит к нему. Здесь всего более занимало то, что приходилось выйти за институтскую ограду и пройтись по улицам, правда, пустынным, малонаселенным, но все же улицам. Обыкновенно вели нас колонной по шести в ряд. Впереди выступал швейцар с булавой[135], по бокам шли классные дамы и пепиньерки. Комическое шествие это замыкалось институтским начальством. Нас встречают, бывало, соседние институтки в саду, выстроенные в два ряда; при нашем появлении гремит оркестр; мы проходим мимо рядов соседок, выстраиваемся тоже в два ряда и отпускаем друг другу торжественный, церемонный реверанс, по всем правилам искусства. После этого ряды расстроятся, и институтки разбредутся по саду. Начнутся танцы, угощение гостей шоколадом, конфектами, фруктами. Обыкновенно экономы и полицеймейстеры обоих институтов соперничали друг перед другом, кто наилучшим образом примет и угостит гостей.

И в этом случае, по уходе гостей или по возвращении домой, определялось веселье празднества словами:

— Ну, *mesdames*, сколько мы ели! прелесть, как было весело!

Но всего курьезнее то, что между воспитанницами обоих институтов искони существовала вражда, передававшаяся из рода в род. Соседки звали нас *лягушками* за зеленые платья, а мы в отместку величали их *вареными раками* за их темно-красные платья. Лишь только отпустим мы друг другу церемонный реверанс, начинается, бывало, перестрелка: шпильки, колкости, насмешки сыплются с обеих сторон. Начальство знало об этой распре и всегда усовещивало перед посещением враждебного лагеря и убеждало воспитанниц вести себя прилично и не браниться друг с другом.

Во время самого посещения классные дамы и пепиньерки внушают, бывало, своим питомицам быть любезными и занимать своих гостей.

— Что же нам делать, — возразят наши враги, гордо закидывая головы и бросая на нас косые взгляды, — если *лягушки* не хотят с нами танцевать?

— *Лягушки* не могут танцевать с *вареными раками*, — отвечают наши, раздосадованные долетающим до них прозвищем.

И так длится во все время визита.

В существовании этой распри был виноват главным образом наш институт. Он тщеславился и величался перед соседним тем, что принадлежал к институтам 1-го разряда, а соседний стоял во 2-м разряде[136]. Наши институтки считали себя выше своих соседок и давали это чувствовать. Так длилось в течение многих лет; *большие* завещали свою вражду *маленьким*, и она передавалась из поколения в поколение, пока наконец, помню, в последний год нашего пребывания в институте 1-е отделение, осененное неизвестно откуда повеявшим духом разума, пришло к убеждению, что такой порядок дел не имеет смысла; что мы ведем себя глупо с соседками и что так как, в сущности, наш институт виновник в существующей распре, то нам первым следует подать руку примирения соседкам. Было порешено встретить наших врагов наилюбезнейшим образом и стараться загладить наши многолетние вины перед ними. Решение было сообщено остальным отделениям и приведено в исполнение.

Соседки наши были поражены во время визита происшедшей переменой: их встретили любезно, ни одной колкости не было сказано, слово *вареные раки* ни разу не срывалось с языка; словом, с ними обошлись дружески, и они отплатили нам тем же.

Лягушки и *вареные раки* заключили мир и перестали величать этими прозвищами друг друга.

Начальство было так довольно нашим поведением, что один из попечителей прислал в институт несколько пудов конфект, которые раздали воспитанницам, прямо объявив, что это угощение дается в награду за любезный прием соседнему институту.

Другим любимейшим развлечением была прогулка *на ту сторону. Той стороной* называлось пространство, лежащее по ту сторону пруда и где были расположены институтские огороды. Прямо попасть туда из саду было нельзя, а приходилось идти в обход, через задние дворы и различные переулки. Водили нас туда один раз в лето, и ждали мы этого праздника с нетерпением: к этому дню припасали денег; *на ту сторону* приходили разносчики со сластями, которым давалось знать о нашем прибытии; мы покупали у огородника горы моркови, репы и стручков гороху и бобов; словом, устраивался настоящий пикник. Мы проводили на той стороне все послеобеденное время и возвращались домой к ужину, с карманами, нагруженными всякой всячиной.

IX

Лазарет и его обстановка

Лазаретов было два: один так называемый *запасной*, помещавшийся в самом верхнем этаже и стоявший обыкновенно пустым и только во время эпидемических болезней, как корь, коклюш, скарлатина, наполнявшийся больными, с которыми переселялась наверх помощница лазаретной дамы; тогда между ними и остальным институтом прекращались всякие сношения на все время болезни.

Под запасным лазаретом помещался обыкновенный, всегда более или менее населенный. Уход за больными был самый тщательный и добросовестный; внешняя обстановка, чистота помещения, опрятность одежды больных безукоризненная. Костюм больных состоял из белой, канифасной[137] блузы; пища была всегда хорошая, а для выздоравливающих после тяжкой болезни даже прихотливая. Все, чего ни потребует выздоравливающая, немедленно доставлялось ей, если только доктор не находил этого вредным. Помню, одна больная попросила варенья из морошки, и лазаретная дама была просто в отчаянии, что в целом городе не могла достать этого варенья.

Но скука, скука царила непроходимая. После кори, например, или скарлатины, когда болезнь собственно длится две, много три недели, а выдерживают в лазаретах целых шесть, просто с тоски пропадешь. Читать и заниматься не позволяют, бегать и шуметь нельзя потому, что в соседних комнатах лежат больные, играешь, играешь в мельники да в фофаны, пока не опротивят карты до того, что глядеть на них тошно; все темы для разговоров истощатся, все истории и сказки перескажутся, даже лица выздоравливающих до того приедятся друг другу, что не глядел бы на них. Считают дни, часы, когда наконец выпустят из лазарета, умоляют доктора: выпустите нас, ради Бога, мы совсем здоровы! и когда наконец наступит счастливый день освобождения, то ждут не дождутся, пока горничная принесет из дортуара весь костюм.

В нижнем лазарете господствовала та же скука, но там, по крайней мере, в рекреацию прибегут навестить здоровые подруги или письмо пришлют с горничной; все хоть узнаешь, что творится в остальном институтском мире.

Болезненные и слабые воспитанницы по целым неделям и месяцам обедали, ужинали и ночевали в лазарете и отпускались только на уроки в

классы. Но и этого не любили институтки, несмотря на то что в лазарете вставали не в шесть, а в восемь часов и пища была хорошая.

Лазаретная дама, которую я застала в институте, была грозой институток и их *bête noire*[138]. Институтки звали ее *солдаткой* за грубые манеры и сварливый, несносный характер. За больными она ухаживала добросовестно и как-то смягчалась по отношению к ним, но с выздоравливающими была невыносима. Низенькая, толстая, катается, бывало, как шар и глядит исподлобья своими сердитыми глазами, и все ворчит, все ворчит себе под нос.

Ее сменила добрейшая и милейшая немка, совершенная противуположность нашей *солдатке*, мягкая, кроткая, деликатная[139].

Доктор приезжал в лазарет два раза в день, а когда бывали тяжко больные, то три-четыре раза. Первый доктор, которого я застала и который при мне умер, был добродушный и недалекий человек. Воспитанницы не особенно уважали его, бунтовались против его предписаний, приставали к нему и обращались с ним фамильярно.

Не таков был сменивший его новый доктор[140]. По добросовестности и усердному, не чиновничьему отношению к своему делу он был под стать директрисе, которая чрезвычайно уважала его, так что мнения его имели вес в институтских делах.

Всегда серьезный и строгий на вид, с суровой отрывистой манерой говорить, он импонировал воспитанницам, которые беспрекословно ему повиновались и не смели вступать с ним в прения.

Небольшого роста, с большим лбом *à la Victor Hugo*[141], большими, проницательными глазами, которые, казалось, видят насквозь; с лицом, выражавшим энергию и ум, он был весьма замечательной и симпатичной личностью; не терпел никаких гримас, а лжи выносить не мог, да его и мудрено было провести.

С больными он был до того внимателен, до того терпелив, такой добротой светились его серьезные и строгие глаза, что невозможно было не любить его.

Зато злополучный аптекарь, живший постоянно при институтской аптеке и несколько раз на дню являвшийся в лазарет с лекарствами, служил *souffre-douleur*[142] для воспитанниц. Они дразнили и приставали к нему с жестокостью, еще усиливавшейся от скуки и однообразия лазаретной жизни. Звали его не иначе, как *рябчик* за глаза, а в глаза *М-г рябчик*. Так я и не знаю даже, какая была его настоящая фамилия.

— *Monsieur рябчик*, принесите девичьей кожи![143]

— *Monsieur рябчик*, принесите магнезии![144] — говорят ему, бывало, без зазрения совести.

— Хорошо-с, принесу, — отвечает он; и по большей части надует, в чем его уличают при новой встрече и стыдят.

Что уход за больными был хорош, доказывается ничтожной смертностью. При мне бывали разные эпидемические болезни, но всегда все выздоравливали.

В шесть лет моего пребывания в институте умерло три воспитанницы, и это считалось необыкновенным случаем. Первая умерла от чахотки, вскоре после того, как я поступила, а две других через три года после того умерли скоропостижно от какого-то острого воспаления и в промежуток трех недель.

Это привело весь институт в волнение, а начальство в положительный трепет. Низшие власти толковали, что директриса не знает, как ей донести об этом несчастном событии наивысшему начальству, и боится, как бы не разразилась над ней гроза.

X

Какую роль играли родственники и семья вообще в жизни институтки. — Отношение институток к нынешнему миру, стоящему за стенами института. — Заключительное слово

Родственники и семья вообще, как скоро запирались двери института за поступившею в него девочкой, переставали влиять на нее. Семья становилась чем-то далеким, милым сердцу; на ней сосредоточивалось все чувство институтки, которому не было применения и исхода в стенах институтских, — но понятия, рассуждения, взгляды семьи становились ей чуждыми. Институт, со всем его миросозерцанием, вставал перед ней как авторитет и неумолимо подтачивал авторитет семьи. Институтское начальство, к которому в частностях могли относиться и враждебно и недоверчиво, тем не менее в общем казалось институтке гораздо выше по уму, образованию и развитию ее родственников. Конечно, институтки не отдавали себе в этом ясного отчета, это не было сформулированным поня-

тием, но тем не менее это было так, да и не могло не быть. Институтка до того отчуждалась от семьи, что утрачивала всякую связь с ее интересами и бытом. Видала она родственников редко и мимоходом, сама домой никогда не ездила. В те времена не отпускали воспитанниц из института к родным, кроме самых редких, самых исключительных случаев, например тяжкой болезни отца или матери. Только тогда отпускали институтку повидаться с больным родственником, да и то лишь на несколько часов и непременно в сопровождении классной дамы. На каникулы же и праздники обыкновенно никого не отпускали. Если доктора признают, что какой-нибудь особенно слабой и болезненной воспитаннице необходимо провести лето в семье, где-нибудь в деревне, то следовало предварительно подать просьбу на Высочайшее имя, и если выходило разрешение отпустить воспитанницу, то ее брали домой. Но это случалось очень редко, в самых исключительных случаях.

Могла ли при таких обстоятельствах семья сохранить хоть какое-нибудь влияние на девочку? Да, в сущности, институтка была права в своей бессознательной оценке двух авторитетов: семейного и институтского. Уж конечно, *те* родители, которые считали нужным отдать свою дочь в институт, стояли по своему развитию никак не выше, а в большинстве случаев ниже институтского начальства.

Семью любили, очень любили; она была чем-то священным, чего не касалась ничья критика, и в этом отношении институтки, беспощадные во всех других случаях друг к другу, выказывали замечательную, необыкновенную, изящную деликатность. Всякая насмешка над чьим-нибудь родственником или родственницей, всякий намек, хотя бы самый отдаленный, на бедность, смешные манеры, жалкий костюм родственников не допускались, считались чудовищностью и вызывали целую бурю со стороны товарищества.

— Бранитесь друг с другом сколько вашей душе угодно, — кричат, бывало, в таком случае десятки голосов, — а родных трогать не смейте. Это низость с вашей стороны.

Были, конечно, у нас и богатые, были и титулованные, которые про себя гордились, быть может, своим богатством и титулами, но высказывать этого не смели. Товарищество с этой стороны вырабатывало чувство равенства и проводило нивелирующую черту между всеми воспитанницами одного института. Отличия не вещественные, а, так сказать, духовные, создаваемые уже институтской жизнью, сообразно уму, занятиям,

характеру и нравственным свойствам, признавались, а отличия рождения и состояния — нет. Княжна-*дритка* всегда оставалась *дриткой* в глазах институток и княжеский титул не возвеличивал ее в их мнении; глупая и неспособная дочка богача считалась глупой и неспособной и не пользовалась уважением товарищества, хотя бы отец ее купался в золоте; и похвалиться своим титулом, щегольнуть богатством — только навлечь на себя насмешки, а попрекнуть подругу бедностью значило накликать гонение.

Да! родственников любили, но к мнениям их, если они расходились с институтскими взглядами, относились свысока. Да и могло ли быть иначе, когда институтки видели, с каким почтением, с каким подобострастием, иногда смирением многие из их родственников относились к институтскому начальству. Директриса, инспектриса, классная дама стоит, бывало, выпрямившись во весь рост, закинув гордо голову, а мать, тетка, сестра не то сгорбились, не то съежились перед ними.

По мере того как воспитанница сживалась с институтом и проникалась его духом, институт вырастал в ее мнении в нечто могущественное и великое. Институтки начинали считать институт центральным пунктом вселенной и с забавной важностью говорили, наподобие *курочки* и *кота* в сказке Андерсена «Гадкий утенок»: мы, то есть институт, а потом и весь свет!

Об этом свете у институток было самое смутное представление, и вернее даже сказать — никакого, да и некогда о нем было думать. Институтская жизнь была так наполнена, институтские интересы до того поглощали, что некогда было думать о том, что будет там когда-то, после выхода из института.

Все мечты институток о жизни за стенами института сводились главным образом на два представления: во-первых, их перестанут будить в 6 часов утра и они выспятся всласть, а во-вторых, они будут всегда наедаться досыта. Дальше этого обыкновенно не шли.

Окончив эти очерки институтской жизни былого времени, которую я старалась изобразить по возможности беспристрастно и объективно, я позволю себе высказать свое мнение о ней.

Мне кажется, не подлежит сомнению, что в свое время институт в том виде, как он существовал тогда и принимая во внимание тогдашнее состояние русского общества, был полезным учреждением. Самая обособленность его от жизни и семьи имела свои хорошие стороны. Пусть припомнит читатель, какую жизнь вело тогда большинство русских семей,

окруженных всеми ужасами крепостничества или погруженных в непроходимую пошлость чиновничества.

Не могло проходить бесследно для питомиц института и не могло не отзываться впоследствии благодетельно на их образ действий то, что в течение многих лет жизни, и именно тогда, когда натура всего впечатлительней, они были удалены хотя бы, например, от зрелища кулачной расправы, господствовавшей в то время повсеместно на Руси, и вырастали с мыслью о безобразии, невозможности всяких *voices de fait*[145]. Конечно, жизнь могла впоследствии захватить институтку в свой мутный поток; институтка могла сдаться и действовать по пословице: *с волками жить, по-волчьи выть*! Но известный процент выдерживал искус до конца, а остальные все же хотя несколько первых лет жизни по выходе из института воздерживались от битья своей крепостной челяди.

Удивляло меня всегда, какое странное и неверное представление имеют в обществе об институте былого времени; я приписываю его незнакомству с тем, что происходило в его стенах. Действительно, подробного и обстоятельного описания его быта не появлялось в литературе. Проскакивали разные отрывки; но одни были преисполнены хвалебных песнопений, другие носили чисто полемический, а следовательно, опять-таки односторонний характер.

Вот хоть бы сильно распространенное мнение, приписывающее институткам необыкновенную сантиментальность. Откуда оно взялось и на чем основывалось? решительно не понимаю. Каким образом могла явиться сантиментальность у институтки, когда весь институтский строй клонился не только к истреблению всякой сантиментальности, но и к сдерживанию и подавлению всякого наружного проявления чувства.

Жизнь всегда показывала мне другое. В большинстве институток былого времени, с которыми мне случалось сталкиваться, я замечала всегда наклонность к сарказму и скорее некоторую сухость в приемах и обращении, чем слезливую восторженность и сантиментальность, приписываемые им. Я полагаю, что здесь происходила путаница в понятиях. Общество называло сантиментальностью невольное и вполне естественное удивление, вырывавшееся у институтки при первых шагах ее за институтским порогом. Понятно, что когда не видал, например, 6—9 лет сряду ни одной кошки, собаки, коровы, то закричишь при виде их: ах! кошка! ах! корова!

Только сантиментальность-то при чем тут? Это скорее наивность *дикаря*, да институтки и были в своем роде *дикарями*.

Наконец в самом обществе тогдашнего времени существовала сильная наклонность к сантиментальности, к восхищению неземными, эфирными созданиями, барышнями-бабочками, и сомнения нет, что многие институтки, желавшие иметь успех, подделывались под тон общества, но в таком случае оно навязывало им свой цвет, а не институт вырабатывал его.

Что касается образования, которое давал институт, то оно, во всяком случае, было не ниже того, какое получали русские девушки того времени в своих семьях; я полагаю даже, что можно сказать без преувеличения, что оно было выше.

Институт до некоторой степени вырабатывал и закалял характер, чему содействовал главным образом суровый дух, сложившийся в среде самих воспитанниц, Бог весть когда и кем занесенный и переходивший из рода в род.

То был своего рода «Мертвый дом». Несмотря на всю кажущуюся несообразность этого сравнения, которое я прошу не принимать в обидном смысле, оно имеет некоторое основание. Для уразумения его следует откинуть идею о преступлении, каторжниках, страшной острожной обстановке и принять во внимание только обособленность от внешнего мира, своеобразный склад жизни и строгий дух, царствовавший в арестантском товариществе, с его презрением к пустым, легкомысленным, сантиментально-откровенным и плаксиво-чувствительным натурам.

Под внешней форменностью институтского строя была полная возможность развиться в характере способной, энергической личности и чувству собственного достоинства, и внутренней самостоятельности. Кроме того, институт развивал уважение к высшим интересам жизни, а не к одним материальным благам, заботы о которых почти исключительно поглощали наше тогдашнее общество.

Говоря все это, я не хочу сказать, что институт производил вполне выработанные, законченные характеры; нет, он закладывал только фундамент, действуя, во-первых, отрицательно, т.е. отчуждая ребенка от влияний семьи, влияний большею частию зловредных, ибо что путного могла воспитать в ребенке семья Фамусовых, Молчалиных, Чичиковых, Ноздревых, Сквозник-Дмухановских и др., во-вторых, положительно, давая задатки для умственной жизни, так сказать, развивая восприимчи-

вость к более идеальному отношению к жизни. Нужды нет, что идеалы зачастую были фальшивые, взгляды и понятия неверные — все это могла исправить жизнь.

Выражусь короче и яснее: институтка, способная и умная, приходя в обществе в соприкосновение с здравыми понятиями, способнее была воспринять их, чем умная и способная по природе девушка, вышколенная и с малолетства забитая умственно и нравственно мамашей из породы Беловодовых[146] и комп.

Все же институтки, как умные, так и глупые, являлись в семье яблоком раздора, диссонансом.

Выросши вдали от семьи и отвыкнув от нее, они уже никогда не могли вполне слиться с ее интересами и работать в ее смысле. В этом тоже была своя доля пользы, потому что это подтачивало, хотя, быть может, и неприметно для глаза, вредные условия семейного, а следовательно, и общественного быта того времени.

Всякая институтка, даже самая убогая, являлась в семью с критическим к ней отношением и отнюдь не была расположена принимать ее взгляды за непреложные истины. Словом, повторяю опять: семья не была для институтки авторитетом. Институт безвозвратно разрушал этот авторитет, что имело свою хорошую сторону.

Теперь институт покончил с своей ролью пионера; да и самое образование, какое он давал, сделалось далеко не достаточным. В обществе полуграмотных *Коробочек* институтка могла считаться представительницей *образования и знания*, но понятно, что когда общество доросло до сознания необходимости женского университета, то институт должен был стать в положение второстепенного, приготовительного заведения.

Да *института былых времен уже больше и не существует.* Изменились порядки, изменился быт и нравы. Выпуски происходят ежегодно, нарушена связь между ними, нет больше ни *предков*, ни *потомков*, нет преемственности в обычаях. Забыты дела давно минувших дней института, заглохли его предания.

Институток отпускают по праздникам домой, и уничтожилась обособленность института от внешнего мира, утратившая свой внутренний смысл.

Институт в том виде, в каком он существовал в былое время, до того обусловливался старыми общественными порядками, что не мог существовать долее, раз они рухнули. Преобразования коснулись и его. Повеяло

новым духом. Дрогнули толстые институтские стены под напором новых идей, всколыхалось стоячее море институтской жизни... и началось разложение его быта и нравов.

Слабые проблески всего этого узрел уже наш выпуск, накануне своего расставания с институтскими стенами. Старый институтский мир закончился собственно этим выпуском, а потому воспитанниц его по справедливости можно назвать *последними институтскими Могиканами.*

Случилось мне не так давно посетить тот институт, где я воспитывалась, — после долгого, долгого промежутка времени. Я встретила в нем нескольких старожилов наших времен и расспрашивала их об институтских порядках нового времени.

Все изменилось, отвечали они мне, все стало не по-прежнему, а главное, связи прежней нет у воспитанниц с институтом и друг с другом. Встречаясь после выпуска друг с другом на улице, даже не кланяются, а в институт никогда и не заглядывают. Поверите, если когда и завернет какая-нибудь институтка к нам, то всегда оказывается, что она из старых институток того времени, когда выпуски бывали через три года, а не через год.

Е. Н. Водовозова

На заре жизни

ЧАСТЬ II

ГЛАВА I
ДОРЕФОРМЕННЫЙ ИНСТИТУТ[1]

Смольный монастырь. — Прием «новеньких». — Начальница Леонтьева. — Ратманова. — Бегство Голембиовской

Институт в прежнее время играл весьма важную роль в жизни нашего общества. Институтки в качестве воспитательниц и учительниц как своих, так и чужих детей очень долго имели огромное влияние на умственное и нравственное развитие целого ряда поколений. Однако, несмотря на это, правдивое изображение института долго было немыслимо. В прежнее время в печати можно было говорить либо только о внешней стороне жизни в институте, либо восхвалять воспитание в нем. Это тем более странно, что цензура уже давно начала довольно снисходительно относиться к статьям, указывающим недостатки учебных заведений других ведомств. Но лишь только касались закрытых женских учебных заведений и в них указывались какие-нибудь несовершенства, такие статьи пропускали только в том случае, когда выражения: «классные дамы», «начальница», «инспектриса», «институтка» были заменены словами: «гувернантки», «мадам», «пансион», «пансионерка» и т.п.[2]

В этом очерке я говорю исключительно о Смольном, этом древнейшем и самом огромном из всех подобных образовательных учреждений. Он долго служил образцом для устройства не только остальных институтов, но и многих пансионов и различных женских учебных заведений. Мне кажется, небезынтересно познакомиться с результатами воспитания в Смольном, в основу принципов которого его основателями (Екатериною II и Бецким) были положены передовые идеи Западной Европы.

В числе способов обучения устав этого воспитательного среднеучебного заведения требует «паче всего возбуждать в воспитываемых охоту к чтению книг, как для собственного увеселения, так и для происходящей от него пользы». Он вменяет в обязанности «вперять в них (детей) охоту к чтению» и ставит непременным условием иметь в заведении библиотеку. Кроме того, устав возлагает на воспитателей обязанность «возбуждать в детях охоту к трудолюбию, дабы они страшились праздности, как источника всякого зла и заблуждения». Он указывает на необходимость научить детей «соболезнованию о бедных, несчастливых и отвращению от всяких продерзостей». Мало того, для сохранения здоровья предписывается увеселять юношество «невинными забавами», чтобы искоренять все то, что «скукою, задумчивостью и прискорбием назваться может». Путем такого гуманного воспитания императрица Екатерина II думала создать в России *новую породу людей*[3].

Что эти мечты Екатерины II не могли осуществиться в ее царствование, когда Россия была погружена в беспросветный мрак невежества, — это понятно, но посмотрим, что представлял институт почти через сто лет после своего основания.

В одно ясное, солнечное, но холодное октябрьское утро я подъезжала с моею матерью[4] к Александровской половине Смольного* с тем, чтобы, вступив в него, оставаться в нем до окончания курса. Но высокие монастырские стены, которые с этой минуты должны были изолировать меня на продолжительное время не только от родной семьи, но, так сказать, от всех впечатлений бытия, от свободы и приволья деревенского

* Смольный институт (основан в 1764 году) до начала в нем нововведений, то есть до 1860 года, состоял из двух учебных заведений: Общества благородных девиц, или Николаевской половины, и Александровского училища, или Александровской половины. На Николаевскую половину принимали дочерей лиц, имеющих чин не ниже полковника или статского советника, и потомственных дворян; на Александровскую половину — дочерей лиц с чином штабс-капитана или титулярного советника до полковника или коллежского советника, а также детей протоиереев, священников, евангелических пасторов и дочерей дворян, внесенных в третью часть дворянской книги[5]. Оба эти огромные заведения состояли под главенством одной начальницы и одного инспектора. Лишь через сто лет после основания Смольного состоялось отделение Александровской половины от Николаевской, то есть полное обособление одного института от другого. С этого времени Александровская половина Смольного получила особую начальницу и своего инспектора[6]. Это разделение произошло по желанию императрицы Марии Александровны, обратившей внимание на неудобства совместного существования двух огромных институтов. Я описываю преимущественно воспитание на Александровской половине Смольного перед эпохой реформ и во время ее[7].

захолустья, откуда меня только что вывезли, не смущали меня. Матушка много рассказывала мне об институте, но, не желая, вероятно, волновать меня, недостаточно останавливалась на его монастырской замкнутости: все ее рассказы оканчивались обыкновенно тем, что у меня будет много-много подруг, что с ними мне будет очень весело. В детстве я страдала от недостатка общества сверстниц, и это известие приводило меня в восторг. Мое настроение было такое бодрое, что меня не смутил и величественный швейцар в красной ливрее, который распахнул перед нами двери института.

Не успели мы еще снять верхнюю одежду, как в переднюю вошли дама с девочкой приблизительно моего возраста. Как только мы привели себя в порядок, к нам подошла дежурная классная дама, m-lle Тюфяева, по внешности особа весьма антипатичная, очень старая и полная, и заявила нам, что инспектриса, m-me Сент-Илер[8], не может нас принять в данную минуту: «Вы не только опоздали на три месяца привезти ваших дочерей, но и сегодня вас ожидали к девяти часам утра, как вы об этом писали. К этому времени приглашены были и экзаменаторы. Теперь одиннадцать часов, и учителя заняты...»

Моя матушка и m-me Голембиовская начали извиняться, но m-lle Тюфяева, не слушая их, попросила нас всех следовать за нею в приемную; при этом она не переставая ворчала на наших матерей, и ее однообразная воркотня раздавалась в огромных пустых коридорах как скрип неподмазанных колес.

Когда классная дама вышла из комнаты, мне захотелось поболтать с новою подругою, но это не удавалось: она стояла около своей матери, то прижимаясь к ней, то нервно хватая ее за руки, то припадая к ее плечу и жалобно выкрикивая: «Мама, мама!» — а слезы так и лились из ее глаз.

Мать и дочь Голембиовские были чрезвычайно похожи друг на друга, но так, конечно, как может походить тридцатипятилетняя женщина на десятилетнюю девочку. Обе они были брюнетки, с большими черными глазами, бледные, худощавые, с подвижными лицами и правильными, красивыми чертами лица, обе одеты были в глубокий траур, то есть в черные платья, обшитые белыми полосами, называемыми тогда плёрёзами.

Не получив поощрения со стороны моей будущей подруги Фанни для сближения с нею, я стала прислушиваться к разговору старших. Вот что я узнала. M-me Голембиовская была полька-католичка, как и ее муж, который умер несколько недель тому назад. Оставшись с дочерью Фанни

без всяких средств, она переехала из провинции в Петербург и поселилась в семье своего родного брата, который зарабатывал хорошие средства, но имел большую семью. Г-жа Голембиовская занималась у него хозяйством и обучала его детей иностранным языкам, которые она хорошо знала. Ее брат выхлопотал для Фанни, своей племянницы, стипендию у какого-то магната, которая и дала возможность поместить ее в институт.

Прозвонил колокол, и к нам вошли пепиньерка* и учитель русского языка: первая должна была заставить меня ответить молитвы и проэкзаменовать нас обеих из французского языка, а учитель — из русского. Экзамен был совершенно пустой и благополучно сошел для нас обеих. Через несколько минут m-lle Тюфяева повела нас, новеньких, одеваться в переднюю. Мы должны были явиться к начальнице вместе с нею и отправились по бесконечным холодным и длинным коридорам. Туда же обязаны были явиться и наши матери, но им приходилось сделать эту дорогу не коридорами, которыми ходили лишь люди, так или иначе прикосновенные к институту, а по улице и войти к начальнице с подъезда Николаевской половины.

Мне так хотелось увидеть поскорее моих будущих подруг, что у меня моментально вылетел из головы грубый прием m-lle Тюфяевой; не обратила я внимания и на официальное выражение ее лица и непринужденно начала засыпать ее вопросами:

— Где же девочки, тетя?

— Я тебе не тетя! Ты должна называть классных дам — mademoiselle...

Сердитый окрик заставил меня замолчать. Но вот и приемная.

Начальница Смольного, Мария Павловна Леонтьева**, была в это время уже старухой с обрюзгшими и отвисшими щеками, с совершенно

---

* Воспитанницы педагогического класса назывались пепиньерками. Кроме слушания лекций в институте они должны были дежурить в кофейном, то есть младшем, классе[9] во время болезни классных дам и спрашивать в это время уроки у маленьких. Пепиньерки одевались лучше и красивее всех остальных воспитанниц: их форменное платье — серое с черным передником, с кисейною, а по праздникам и с кружевною пелеринкою. В праздничные дни они пользовались правом уезжать по очереди домой.

** Урожденная Шипова, Мария Павловна получила образование в Смольном. Вскоре после окончания ею курса императрица Мария Федоровна назначила ее фрейлиной к своей дочери, великой княгине Екатерине Павловне, вышедшей впоследствии замуж за принца Георгия Ольденбургского[10]. Затем Мария Павловна Шипова вышла замуж за генерала Леонтьева, но, когда ей было 45 лет, она овдовела и была пожалована императрицей Александрой Федоровной гофмейстериной ко двору своей дочери, великой княгини Марии Николаевны, бывшей замужем за герцогом Лейхтенбергским. В 1839 году Леон-

выцветшими глазами без выражения и мысли. Ее внешний вид красноречиво говорил о том, что она прожила свою долгую жизнь без глубоких дум, без борьбы, страданий и разочарований. Держала она себя чрезвычайно важно, как королева первостепенного государства, давая чувствовать каждому смертному, какую честь оказывает она ему, снисходя до разговора с ним.

Она действительно была немаловажною особой: начальница старейшего и самого большого из всех институтов России, она и помимо этого имела большое значение по своей прежней придворной службе, а также и вследствие покровительства, оказываемого ей последовательно тремя государынями; она имела право вести переписку с их величествами и при желании получать у них аудиенцию. К тому же Леонтьева имела огромные связи не только при нескольких царственных дворах, но и вела знакомство с высокопоставленными лицами светского и духовного звания. Своего значения она никогда не забывала: этому сильно помогали огромное население двух институтов и большой штат классных дам и всевозможных служащих той и другой половины Смольного, которые раболепно пресмыкались перед нею. Забыть о своем значении она не могла уже и потому, что была особою весьма невежественною, неумною от природы, а на старости лет почти выжившею из ума. От учащихся она прежде всего требовала смирения, послушания и точного выполнения предписанного этикета, а классные дамы, согласно ее инструкциям, должны были все свои педагогические способности направить на поддержание суровой дисциплины и на строгое наблюдение за тем, чтобы никакое влияние извне не проникало в стены института. Порядок и дух заведения строго поддерживались ею; перемен и нововведений она боялась как огня и ревниво охраняла неизменность институтского строя, установившегося испокон века. Нашею непосредственною начальницею была инспектриса, m-me Сент-Илер, которую мы называли «maman», но мы часто видели и нашу главную начальницу, Леонтьеву: ежедневно, по очереди, двое из каждого класса носили ей рапорт о больных, каждый большой праздник воспитанницы должны были являться в ее апартаменты с поздравлениями, она присутствовала на всех наших экзаменах, от времени до времени приходила на

тьеву назначили начальницею в Смольный, где она прослужила тридцать шесть лет и умерла на своем посту восьмидесятидвухлетней старухою. Таким образом, сорок пять лет своей жизни Леонтьева провела в институте, из них девять лет как воспитанница, а тридцать шесть лет как его начальница[11].

наши уроки или в столовую во время обеда, и, кроме всего этого, мы каждую субботу и воскресенье видели ее в церкви. За все время моего пребывания в институте я никогда не слыхала, чтобы она кому-нибудь из нас сказала ласковое, сердечное слово, задала бы вопрос, показывающий ее заботу о нас, чтобы она проявила хотя малейшее участие к больной, которая, как ей было известно из ежедневно подаваемых рапортов, пролежала в лазарете несколько месяцев в тяжелой болезни. Она посещала и лазарет, но разговаривала с воспитанницами не иначе как строго официально. Являясь к нам на экзамены, Леонтьева никогда не интересовалась ни умственными способностями той или другой ученицы, ни отсутствием их у нее. Принимая от нас рапорты, она спрашивала, какое Евангелие читали в церкви в последнее воскресенье или по поводу какого события установлен тот или другой праздник. На экзаменах она поправляла только произношение отдельных слов, и не потому, что оно было неправильно, а потому, что у нее было несколько излюбленных слов, произношением которых ей никто не мог угодить. Как бы воспитанница ни произнесла «святый боже», «божественный», «тысяча», «человек», она сейчас заставляла ее повторять эти слова за собою. Когда мы отвешивали ей реверанс при ее появлении, она непременно замечала по-французски: «Вы должны делать глубже ваш реверанс!» А когда мы сидели, она каждый раз считала долгом сказать: «Держитесь прямо!»

В церкви мы стояли стройными рядами, но, как только входила начальница, она начинала все перестраивать по-своему: воспитанниц маленького роста ставила в проходах, а более высоких — к клиросу[12]; в другой же раз вытягивала на средину больших ростом, а маленьких выставляла у проходов, и так далее до бесконечности. Если на следующий раз дежурная дама ставила в церкви воспитанниц так, как угодно было начальнице поставить их в последний раз, та все-таки переставляла их по-своему. Этим и ограничивались все «материнские» заботы начальницы Леонтьевой относительно воспитанниц Александровской половины. Одним словом, нашею начальницею, без преувеличения можно сказать, была не женщина, а просто какой-то каменный истукан, даже в то рабское, крепостническое время поражавшая всех своим бездушным, деревянным отношением к воспитанницам. Однако эта особа умела превосходно втирать очки кому следует. Ее письма и отчеты государыне дышат необыкновенною добротой к детям, снисхождением и всепрощением ее любвеобильного сердца. В 1851 году Леонтьева пишет императрице: «Дети всегда послуш-

ны, за редкими исключениями, когда их волнует живость, простительная в их возрасте». Через несколько лет, возвращаясь после летнего отдыха из деревни, она пишет: «Велика моя радость снова увидеть мою милую, многочисленную семью!» («Статс-дама Мария Павловна Леонтьева. Составила З.Е. Мордвинова». С. 85, 93)[13].

По установившимся традициям и кодексу весьма своеобразной институтской морали, нередко, впрочем, не имевшей ничего общего со здравым смыслом, начальница, несмотря на свой престарелый возраст, должна была иметь величественный вид, даже и в том случае, если природа не наделила ее для этого никакими данными. Для достижения этой цели Леонтьева прибегала к незамысловатым средствам: она всегда туго зашнуровывалась в корсет, ходила в форменном синем платье и в высоком модном чепце. Разговаривая с подчиненными, она смотрела не на них, а поверх их голов, до смешного растягивала каждое слово, все произносила необыкновенно торжественно, не давала возможности представлявшимся ей лицам вдаваться в какие бы то ни было объяснения, а тем более подробности, и допускала лишь лаконичный ответ: «да» или «нет, ваше превосходительство», имела всегда крайне надменный вид и застывшую улыбку или, точнее сказать, гримасу на старческих губах, точно она проглотила что-нибудь горькое.

Когда мы, новенькие, в первый раз подходили к приемной начальницы, мы встретили здесь наших матерей и вошли вместе с ними в сопровождении m-lle Тюфяевой. В огромной приемной, обставленной на казенный лад, у стены против входной двери сидела на диване начальница Леонтьева, а подле нее на стуле ее компаньонка Оленкина[14].

— Мама! Мама! — вдруг закричала Фанни, бросаясь в объятия матери. Этот крик раздался совершенным диссонансом среди гробовой тишины.

Начальница чуть-чуть приподняла голову, что для Оленкиной, видимо, послужило сигналом узнать фамилии новоприбывших, так как она быстро подошла к нашим матерям, а затем начала что-то шептать на ухо начальнице.

— Потрудитесь подойти! Сюда! Ближе! Я прежде всего попрошу вас покончить с этою сценой... Можете садиться! — И Леонтьева величественным жестом указала Голембиовской на стул против своего стола. Фанни подбежала к матери и крепко вцепилась в ее юбку.

— Видите ли, — снова обратилась начальница к Голембиовской, — каких недисциплинированных, испорченных детей вручаете вы нам!

— Испорченных? — переспросила Голембиовская с изумлением, в своей провинциальной простоте не понимавшая ни величия начальницы, ни того, как с нею следует разговаривать. — Уверяю вас, сударыня, что моя Фанни послушная, ласковая, привязчивая девочка!.. А то вдруг «испорченная»! Как же это можно сказать, не зная ребенка!

В ту же минуту над ее стулом наклонилась компаньонка Оленкина и шепотом, который был слышен во всей комнате, произнесла, отчеканивая каждое слово:

— Должны называть начальницу — ваше превосходительство. Вы не имеете права так *вольно* разговаривать с ее превосходительством! Извольте это запомнить!

— Извините, ваше превосходительство, — заговорила переконфуженная Голембиовская. — Я вас назвала не по титулу... Я ведь провинциалка! Всех этих тонкостей не разумею... Все же о своей девочке опять скажу вам: золотое у нее сердечко! Будьте ей матерью, ваше превосходительство! Она ведь у меня сиротка! — И слезы полились из глаз бедной женщины.

— Мне страшно, мама! — вдруг со слезами в голосе завопила ее дочь.

— Сударыня! Моя приемная не для семейных сцен! Извольте выйти в другую комнату с вашей дочерью и ждать классную даму.

Тогда к начальнице подошла моя мать и начала рекомендовать себя на французском языке, которым Голембиовская не сумела воспользоваться, хотя свободно говорила на нем. В то время знание французского языка облагораживало и возвышало каждого во мнении общества, тем более громадное значение оно имело в институте. Вероятно, вследствие этого начальница благосклонно кивнула ей головой, но когда моя мать выразила свое удовольствие по поводу того, что ее дочь принята на казенный счет и получит образование, которого она за отсутствием материальных средств не могла бы дать сама, Леонтьева возразила ей не без иронии: «Если бы вы понимали, какое это счастие для вашей дочери, вы могли бы в назначенное время доставить ее сюда!» — и, кивнув головой в сторону m-lle Тюфяевой, она показала этим, что аудиенция окончена.

Мы шли обратно так же, как и пришли: матери отдельно, мы — в сопровождении Тюфяевой. Общее молчание нарушалось на этот раз только всхлипываниями Фанни. Когда мы вошли в комнату, в которой экзаменовались, наши матери уже сидели в ней. Фанни не замедлила броситься со слезами в объятия своей матери. M-lle Тюфяева резко заметила:

— Прошу прекратить этот рев!.. Через несколько минут, когда я приду за девочками, мы уже сами позаботимся об этом, а теперь это еще ваша обязанность!

— Ах, милая mademoiselle Тюфяева, — с мольбой обратилась к ней Голембиовская, — скажите ей хоть одно ласковое словечко... хоть самое маленькое!.. Ведь у нее от всех этих приемов сердчишко, точно у пойманной птички, трепыхает...

— Трепыхает! Это еще что за выражение! «Молчать!» — вот что вы должны сказать вашей дочери! Вы своими телячьими нежностями и начальницу осмелились обеспокоить, а тут опять начинаете ту же историю! — И она направилась к двери.

— Покорись, дитятко! Перестань плакать, сердце мое! — покрывая дочь страстными поцелуями, приговаривала Голембиовская, не обращая внимания на то, что классная дама остановилась и смотрит на них. — Что же делать, дитятко! Тут уж, видно, и люди так же суровы, как эти каменные стены.

— А! — прошипела Тюфяева. — Я сейчас доложу инспектрисе, какие наставления вы даете вашей дочери!

Моя мать, испуганная за Голембиовскую и понимая, как это может повредить ее дочери, подбежала к Тюфяевой и начала умолять ее:

— Сжальтесь... Сжальтесь над несчастной женщиной! Она в таком нервном состоянии!

M-lle Тюфяева грубо отстранила мою мать рукой; в эту минуту Фанни вскрикнула и без чувств упала на пол. Тюфяева быстро вышла за дверь, а затем к нам вбежало несколько горничных и бесчувственную Фанни понесли в лазарет. За ними последовала и ее мать. Я наскоро простилась с моею матерью, и так как передо мной уже выросла Тюфяева, я отправилась за нею. Она привела меня на урок рисования. Я как-то машинально проделывала все, что мне приказывали, и очнулась от рассеянности только тогда, когда прозвонил колокол. Девочки задвигались и стали подбегать ко мне с вопросами.

— Молчать! Становиться по парам! — кричит классная дама Петрова и устанавливает воспитанниц по росту пару за парой — маленьких впереди, девочек более высокого роста — позади. То одна воспитанница выдвинется несколько вбок, то другая подастся вперед, — классная дама сейчас же ровняет таких: немедленно подбегает к ним, одну толкает назад,

ее соседку двигает вперед, кого ставит правее, некоторых дергает влево и, наконец, в строгом порядке ведет в столовую, выступая впереди своего отряда. По институтским правилам требовалось, чтобы воспитанницы, куда бы они ни отправлялись, выступали как солдаты, представляя стройную колонну, и двигались без шума. Если предводительница этой женской армии прибавит шагу — и воспитанницы должны идти скорее, не расстраивая колонны; при этом они обязаны молчать; если одна из воспитанниц произносила хотя слово, такое преступление редко оставалось безнаказанным, особенно в кофейном классе.

Трудно представить, как много времени уходило на установку по парам. В столовую водили четыре раза в день (на утренний и вечерний чай, к обеду и завтраку), следовательно, туда и назад по парам строились восемь раз; то же делали, когда отправлялись на прогулку и возвращались после нее; таким образом, тратили более часу времени, а по субботам и праздникам, когда приходилось отправляться в церковь, и еще того больше.

В то время, которое я описываю, начальство института уже не имело права давать волю рукам: оттрепать по щекам или избить чем попало по голове, высечь розгами, как это бывало раньше, в мое время не практиковалось даже и в младшем классе, но толчки, пинки, весьма чувствительное обдергивание со всех сторон, брань, бесчисленные наказания, особенно в младшем классе, были обычными педагогическими воздействиями.

К молчанию и безусловному повиновению институток приучали весьма систематично. Впрочем, на женщину в то время вообще смотрели как на существо, вполне подчиненное и подвластное родителям или мужу, — институт стремился подготовить ее к выполнению этого назначения, но чаще всего достигали совершенно противоположных результатов. От нас требовалось или молчание, или разговор полушепотом, и так в продолжение всего дня, кроме перемен между уроками, когда громкий разговор не вызывал ни окрика, ни кары. Наиболее суровые классные дамы ограничивали и суживали даже ничтожные привилегии «кофулек» (воспитанниц младшего класса), которым по праздничным дням вечером дозволялось бегать, играть и танцевать. Как только они поднимали шум и возню даже в такие дни, классные дамы кричали: «По местам! вы не умеете благопристойно держать себя!» Дети послушно садились на скамейки и, получая постоянно нагоняй за резвость, все реже предавались веселью.

Как ни была жива и шаловлива девочка при поступлении в институт, суровая дисциплина и вечная муштровка, которым она подвергалась, а

также полное отсутствие сердечного участия и ласки быстро изменяли характер ребенка. Если девочка свыкалась с институтским режимом, а наклонность к шаловливости еще не совсем пропадала в ней, ее неудержимо влекли к себе глупые и пошлые шалости.

Когда я в первый раз вошла в столовую, меня удивило огромное число наказанных: некоторые из них стояли в простенках, другие сидели «за черным столом»[15], третьи были без передника, четвертые, вместо того чтобы сидеть у стола, стояли за скамейкой, но мое любопытство особенно возбудили две девочки: у одной из них к плечу была приколота какая-то бумажка, у другой — чулок. Когда после пения молитвы мы уселись за завтрак, я больше уже не могла выносить молчания и стала расспрашивать соседку, можно ли разговаривать; та отвечала, что можно, но только тихонько. И меня с двух сторон шепотом начали просвещать насчет институтских дел. Когда у девочки приколота бумажка, это означает, что она возилась с нею во время урока; прикрепленный чулок показывал, что воспитанница или плохо заштопала его, или не сделала этого вовсе, а за что наказаны старшие воспитанницы (белого класса) — нам, кофейным, неизвестно.

После завтрака нас повели в дортуар, где мы должны были надеть гарусные капоры и камлотовые салопчики[16], чтобы отправиться в сад на прогулку. Институтский туалет в дореформенный период отличался необыкновенным безобразием: только платья шили более или менее по фигуре, а верхнею одеждою и бельем воспитанницы должны были довольствоваться что кому попадало. Нередко девочке весьма полной доставался салоп от худенькой, и она еле натягивала его на себя. Воспитанницы старших и младших классов, одетые в салопы допотопного фасона и в гарусные капоры, скорее походили на богадельных старушонок, чем на детей и молоденьких девушек.

Воспитанницы гуляли в саду по получасу, и притом только по мосткам[17], как всегда, по парам, под предводительством классной дамы, и нередко под аккомпанемент ее воркотни и распеканий. Она находила для этого много поводов: то ей досаждал «дурацкий смех» кого-нибудь из воспитанниц, то пилила она тех, которые отставали от других или чуть-чуть выходили из пары, то за то, что кто-нибудь на минуту соскакивал с мостков. Воспитанницы ненавидели эти прогулки и были бесконечно счастливы, когда их находчивость помогала им сослаться то на ту, то на дру-

гую несуществующую болезнь, чтобы избавить себя от этой неприятной повинности. Через полчаса после прогулки мы возвращались в том же порядке.

Меня, как новенькую, отправили к кастелянше, которая оказалась женщиною добрейшей души. Вообще нельзя сказать, чтобы в институте совсем не было хороших людей. Кроме нее обе лазаретные дамы, а также и доктор[18] были весьма добрые существа. Но замечательно, что все эти личности не играли ни малейшей роли в институте и только в экстренных случаях сталкивались с воспитанницами. К тому же все они жили своею особою жизнью, обособленною от институтского мира, что и давало им возможность сохранить душу живу.

— Что же ты так грустна, милая девочка? — ласково спросила меня кастелянша. Это было первое ласковое слово, которое я услыхала в стенах института, и вместо ответа я припала к ее плечу и залилась слезами. Она дала мне выплакаться, напоила меня кофеем и усадила к столу.

— Жаль, что тебя не привезли к общему приему, тремя месяцами раньше: тебе было бы легче привыкать вместе с другими новенькими.

На мой вопрос, почему классные дамы такие сердитые, она отвечала:

— Потому что у них своих крошек не было. Запомни, детка: как можно меньше с ними разговаривай, они и придираться меньше будут к тебе.

Доброе отношение милой женщины успокоило меня, и, примеривая то одно, то другое, я выражала свое удивление:

— Какая рубашка! Ведь она свалится с плеч! А эта у меня до полу доходит!

— Меньше нет: все белье шьется у нас по безобразным образцам. Зато в длинной рубашке теплее будет спать. Ночью у вас холодно: ваши одеяла ветром подбиты, спите вы без ночных кофт, — длинной рубашкой хоть ноги себе обмотаешь.

Наконец я превратилась в казенную воспитанницу. На мне надето было плохо сидевшее камлотовое платье коричневого цвета — символ младшего класса; оно было декольте с короткими рукавами. На голые руки надевались белые рукавчики, подвязанные тесемками под рукавами платья; на голую шею накидывали уродливую пелеринку; белый передник с лифом, который застегивался сзади булавками, довершал костюм. Пелеринка, рукавчики, передник были из грубого белого холста и по праздникам заменялись коленкоровыми.

Форма чрезвычайно меняла наружность новенькой: даже грациозная миловидная девочка казалась в ней неуклюжей. Камлотовое платье было настолько коротко в младшем классе, что выставляло напоказ жалкие кожаные башмаки, которые скорее можно было назвать туфлями или шлепанцами, и грубые белые нитяные чулки. Пока новенькая не умела приноровиться к своему форменному наряду так, чтобы ее безобразные туфли не падали с ног, чтобы рукавчики не сползали, чтобы платье не расстегивалось позади, она ходила, тяжело ступая, и имела крайне неуклюжий вид. В первый раз на свидании с родными новенькая обыкновенно поражала их своею переменой, и они, не стесняясь, повторяли на все лады: «Какой смешной наряд! Как он тебя безобразит!..» К тому же этот наряд совсем не был приноровлен к условиям жизни: холщовая пелеринка, накинутая на плечи, не защищала от зимнего холода, когда термометр в классе показывал десять и даже девять градусов[19], а во время уроков приходилось сидеть с обнаженными плечами[20].

Не успела я еще переодеться в форменное платье, как в комнату кастелянши вошла пепиньерка с замечательно симпатичным лицом и заявила, что поведет меня в приемную залу, где меня ожидает моя сестра.

Нужно заметить, что в Петербург со мною приехала не только матушка, но и обе мои сестры: старшая, Нюта, которая была уже вдовою, несмотря на свой девятнадцатилетний возраст, и Шура[21]. Им очень хотелось присутствовать на моем приемном экзамене, но матушка побоялась, что это не будет дозволено институтским начальством. Однако Шура не могла утерпеть, чтобы не посетить меня в тот же день.

Какой это был для меня приятный сюрприз! Когда я увидала Сашу, я бросилась в ее объятия. Горячие поцелуи и слезы сказали ей без слов о тяжелом впечатлении, произведенном на меня институтом.

— Дурная, дурная ты у меня девочка, — нежно журила она меня. — Чуть что нехорошо, тебя сейчас точно камнем придавит, а что получше, того ты не замечаешь! От матушки я уже знаю, что было у вас утром... Что же делать! Но не все же дурно! Я только что вошла сюда и сейчас же нашла, что и тут есть сердечные люди! Я ведь не рассчитывала, что мне удастся увидеть тебя сегодня: думаю — узнаю хоть от швейцара, что ты теперь поделываешь... Вхожу и встречаю ту прелестную молодую девушку — пепиньерку, которая тебя привела сюда, объясняю ей, что моя семья останется в Петербурге лишь полторы недели, прошу ее посоветовать

мне, у кого бы похлопотать о возможности видеться с тобою ежедневно в это короткое время. Что же ты думаешь! Она потащила меня за собой и говорит: «Я приведу вас к инспектрисе, я ее родная дочь[22], и уверена, что она устроит для вас все, что возможно». И знаешь, я просто была очарована вашей инспектрисою! Хотя она сегодня совсем больна, но меня поразила ее красота, изящество, ее привлекательные манеры! Она позволила нам всем посещать тебя ежедневно в продолжение полутора недель.

Свидание с любимою сестрою совершенно изменило мое настроение: все тяжелое, что я испытала и перечувствовала в тот день, исчезло без следа, и я отправилась в дортуар (спальню) уже к своей классной даме*. Нужно заметить, что, поступив в дортуар к той или другой даме, воспитанница вместе с нею переходила из одного класса в другой, одним словом, была под ее руководством во все время своего воспитания. Так устроено было для того, чтобы классная дама могла хорошо изучить характеры вверенных ей тридцати, а то и более воспитанниц, привязаться к ним всею душой, сделаться для них истинною наставницею, руководительницею, матерью. Но при мне эти родственные узы проявлялись в одном: если воспитанница была накануне наказана не своею дамою, она обязана была заявить об этом на другой же день своей дортуартной даме. Узнав об этом, дама обыкновенно находила необходимым наказать во второй раз ту, которая была уже наказана накануне. Я поступила к классной даме m-lle Верховской, в то время когда в другом отделении классною дамою была Тюфяева.

— Покажи-ка, как тебя нарядили? — спросила меня m-lle Верховская.

— Башмаки с ног падают... — пожаловалась я.

— А ты еще крепче рассердись, тогда тебе уже наверное пришлют изящные ботинки, — мило пошутила m-lle Верховская.

---

* В дореформенное время воспитанницы Александровской половины делились на два класса: на младший (кофейный) и старший (белый) в зеленых платьях. В том и другом из них они оставались по три года. Каждый класс делился на два отделения, а каждое отделение — на два дортуара; один из них находился под руководством одной, другой — под руководством другой классной дамы. Воспитанницы одного дортуара спали в одной спальне и были связаны между собою теснее, чем с подругами другого дортуара, хотя они и были с ними в одном отделении, сидели в одной общей классной комнате, учились у одних и тех же учителей. Так как в каждом отделении было по два дортуара, а следовательно, и по две классных дамы, то они дежурили в классе по очереди, и одна из них в свободное время могла уезжать из института.

Воспитанницы, обрадованные веселым настроением своей дамы, громко засмеялись.

— Ах, тетечка, — вдруг закричала я в восторге от того, что поступила к такой, как мне показалось, веселой и доброй даме. — Какая вы добрая! Какая вы красавица! — и я бросилась к ней на шею и расцеловала ее в губы. Воспитанницы, поступившие в институт за три месяца до меня и уже успевшие освоиться с институтскими нравами, с ужасом наблюдали эту сцену. Поцеловать классной даме руку или плечо не только дозволялось, но считалось похвальною почтительностью, поцеловать же ее в губы было верхом неприличия и фамильярности; впрочем, это случалось только с новенькими, да и то в редких случаях.

— Ну, милейшая моя племянница, это, знаешь ли, чересчур нежно. Здесь это не принято, — отстраняя меня, сказала m-lle Верховская. — К тому же, ты должна всех классных дам называть «mademoiselle», а не «тетечка». Через неделю-другую, когда ты будешь уже не новенькая, а старенькая, ты должна будешь это твердо помнить.

Все это, однако, было сказано очень мило. Затем мы по очереди должны были подходить к ней и читать по-русски и по-французски. Наконец она ушла в свою комнату.

Когда мы остались одни, девочки окружили меня и стали закидывать вопросами. Но когда я выразила радость по поводу того, что поступила не к Тюфяевой, которая мне очень не понравилась, а к Верховской, воспитанницы потянули меня к двери дортуара, на противоположном конце которого находилась комната нашей дамы, говоря, что тут будет менее слышен наш разговор. Перебивая друг друга, они сообщали мне о том, что Верховская нередко поступает с ними еще хуже, чем Тюфяева. Но меня это не взволновало: я подумала, что девочки сами сильно шалили. А мне чего же бояться? Я собиралась быть очень прилежной и послушной, чтобы по окончании курса получить золотую медаль, как я это обещала моей любимой сестре и матушке.

— А зачем ты подлизывалась? Зачем полезла целовать Верховскую в губы? — накинулась на меня одна из подруг, по фамилии Ратманова. Я очень переконфузилась, не зная, что ответить. Но тут все девочки стали меня защищать, оправдывая мой поступок тем, что я новенькая, и просили меня показать им вещи, привезенные из дому. Меня схватили с обеих сторон за руки, и мы все вместе побежали к табурету[23], в ящике которого

уже стояла моя шкатулка. Для удобства мы опустились на колени и начали вынимать из шкатулки различные сверточки: карандаши, вставочки для пера, перочинные ножички и другие классные принадлежности.

— Ну, это не интересно! — отрезала Ратманова. Это была худощавая, высокого роста девочка, с смеющимися глазами навыкате, портившими ее миловидное нервное подвижное лицо, придавая ему насмешливое, иногда даже наглое выражение.

— Почему же не интересно? — в обиде за меня перебила ее Ольхина, болезненная бледная девочка с синими глазами. — Ратмановой всегда нравится только то, что дорого стоит и нарядно!

— А ты любишь только гадость!.. Недаром ты постница и богомолка! — бросила ей Ратманова.

— Перестаньте браниться! Пусть новенькая покажет нам все, что у нее есть, — кричали со всех сторон.

Я сняла верхнее отделение своей шкатулки, которое кроме классных принадлежностей было занято конфетами с картинками. Каждой девочке я дала по конфетке и одну из них протянула Ратмановой.

— Я не нуждаюсь в такой дряни! — запальчиво закричала она, бросая назад поданное ей. — Если хочешь мне что-нибудь подарить, дай мне вот эту конфетку, — и она указала на самую лучшую. Но она так нравилась мне самой, что я сильно поколебалась и, чувствуя, что краснею, в замешательстве наклонилась над шкатулкой.

— Ишь, жаднюга! — насмешливо воскликнула Ратманова.

— Нет, нет! Это я только так... Возьми! — и я испуганно подала ей то, что она просила. — А вот тут у меня такая прелесть, такая прелесть, — говорила я девочкам, окружавшим меня, и вынула со дна шкатулки большую коробку, наполненную мелкими стружками, среди которых симметрично разложены были птичьи яички. — Это яичко жаворонка... воробушка... голубиное... воронье...

— Вороньи яйца!.. Эко диво! Ах ты, деревенщина! — захохотала Ратманова и со всей силы ударила рукой по ящику, из которого вывалились и разбились все мои яички, мое сокровище, которое я берегла столько лет. Я отчаянно зарыдала.

— Какая ты злая, гадкая! — бросила Ольхина по адресу Ратмановой, которая нисколько не была сконфужена этими эпитетами. С торжествующей улыбкой на губах, точно после геройского подвига, направилась она в другой конец дортуара.

Мне не только жаль было крошечных яичек, к которым я всегда чувствовала нежность, но они дороги были мне и потому, что будили воспоминания о горячо любимой няне, с которою я собирала их в лесу, когда у нас рубили деревья, падавшие вниз с птичьими гнездами. К тому же меня неприятно поразила такая грубость, такая мальчишеская выходка в институте.

Маша Ратманова играла большую роль в нашей жизни, а потому я и хочу познакомить с нею, какою она была не только в младшем, но и в старшем классе. Ее мать овдовела, когда дочери было около года. Не имея никаких средств к жизни, она была рада, что представилась возможность поселиться с ребенком на бесплатной половине Вдовьего дома Смольного[24]. Жиличками этого учреждения были жены умерших офицеров, а также средней руки чиновников военного и гражданского ведомства. В громадном большинстве случаев это все были старые, необразованные женщины, которые, как собаки, с утра до вечера грызлись между собой, уличали друг друга бог знает в каких преступлениях и скандалах, подобранных, вероятно, от таких же жалких существ, какими они были сами. Таким образом, Маша Ратманова свое раннее детство провела среди бранчливых, пошлых старух, полувыживших из ума от непрекращающихся интриг, дрязг и ссор. После жизни во Вдовьем доме, которая могла заложить в душу ребенка лишь дурные склонности и безнравственные привычки, она на девятом или десятом году жизни поступила в институт. Институтское воспитание того времени не могло благоприятно повлиять на кого бы то ни было, Ратманову же оно испортило еще более. Вечные окрики классных дам, наказания за всякое проявление живости, муштровка и суровая дисциплина все более ожесточали ее сердце, но не могли окончательно подавить живость этой на редкость подвижной натуры, остроумной и от природы весьма неглупой девочки. Она со страстью бросалась на игры и беготню по праздникам, но и это возбуждало неудовольствие классных дам. А между тем ее неугомонная натура требовала шума, крика, возни. И эту потребность она начала удовлетворять исподтишка, когда из класса на время уходила дежурная дама. Тогда из одного конца коридора в другой раздавались ее раскатистый хохот, крик, визг, перемежавшиеся фырканьем, слышался шум от ее беготни. Ее то и дело ловили на месте преступления, с нее срывали передник, толкали в угол, к доске, сыпалось на ее бесшабашную голову и множество других наказаний. Шаловливая,

нервная, невоспитанная, резкая, невоздержанная на язык, обозленная до невероятности, Маша Ратманова стала грубить напропалую и получила наконец эпитет «отчаянной», который неотъемлемо остался за нею во все время институтского воспитания.

Она досаждала, однако, не только классным дамам, но и подругам, симпатиею которых тоже не пользовалась. Вечно изощряясь в школьничестве, она бросала в пюпитр одной мокрую тряпку и портила книгу или начисто переписанную тетрадь, другой потихоньку засовывала за лиф булавку или кусок жеваной бумаги. В старшем классе ее мальчишеские шалости сменились другими: во время урока она то и дело оборачивалась к воспитанницам, сидевшим сзади нее, делала гримасы или посредством мимики своего подвижного лица в комическом виде изображала учителя, классную даму, подругу. С таким же индифферентизмом и бессердечием она высмеивала не только комичные стороны, которые легко схватывала, но и физические недостатки подруг, — особенному высмеиванию подвергала она дурнушек. Еще более отталкивала подруг ее привычка делать намеки на то, чего тогда не ведал еще никто. В разговоре или споре с товарками она вдруг произносила какое-нибудь слово или фразу, что-то показывала руками и как-то при этом особенно нагло фыркала в лицо, обзывая каждую дурой и тупицей. Я глубоко убеждена в том, что в то время никто из нас не понимал, в чем дело, но каждая инстинктивно чувствовала, что это должно быть что-нибудь скверное, постыдное, и здоровый инстинкт заставлял нас, несмотря на любопытство, столь присущее женскому полу, не приставать к ней с расспросами о том, что она хотела сказать тем или другим намеком или жестом.

Она была очень щедра, но и это проявляла довольно грубо: почти все свои гостинцы она раздавала подругам, исключая «парфеток». «Парфетками» институтки называли тех из своих подруг, к которым благоволили классные дамы за их послушание и отменное поведение, проявлявшееся нередко в наушничанье на своих подруг. Маша Ратманова всеми силами своей души ненавидела этих «парфеток» и называла их не иначе как «подлипалками», «подлизалками», «подлянками», «мовешками» и т.п. Если она входила с гостинцами в то время, когда воспитанницы сидели в дортуаре, она швыряла их кому на кровать, кому прямо в лицо. Смеялись и брали, а тем, которые при этом благодарили ее за них, она высовывала язык или делала почтительный книксен[25] с придачею отвратительной гри-

масы, а потому впоследствии уже никто не совался к ней с своею благодарностью. Однако мне пришелся не по душе этот способ угощения, и я каждый раз швыряла ей назад дары тем же способом, каким получала их. Это заставило ее переменить относительно меня способ угощения. Она начала засовывать для меня гостинцы куда попало: ложась в кровать, я иногда находила под подушкой то яблоко, то несколько леденцов.

Теперь таких субъектов, как Маша Ратманова, называют психопатками. И всею своею последующею жизнью она вполне доказала, что была таковою, но тогда этот термин еще не был изобретен. Тем не менее подруги в душе считали ее вконец испорченной, но боялись высказывать это вслух, чтобы это не дошло до нее, и все старались держаться подальше от нее. Я бы прибавила еще, что ее общество приносило подругам гораздо больше вреда, чем пользы, если бы не одна редкая и замечательно хорошая черта ее характера. Маша Ратманова будила в нас общественные инстинкты, если можно только так выразиться о нас, девочках, в то время совсем неразвитых.

За тяжелые провинности, с точки зрения классных дам, они наказывали тем, что запрещали воспитанницам разговаривать с провинившеюся. Ратманова первая начала возмущаться повиновением подруг такому нелепому распоряжению и, несмотря на строгое запрещение, начала разговаривать с наказанною, а затем нападать на тех, которые подчинялись этому требованию дам. Хотя она ни с кем из подруг не дружила особенно, но всю нежность своей души, все внимание проявляла к каждой наказанной, а тем более к той, которая особенно сильно дерзила классной даме. За наказанную она распиналась сколько хватало сил. Одна из наиболее распространенных кар в институте состояла в том, что нас заставляли стоять за обедом или завтраком. Есть стоя было очень неудобно; к тому же не только классные дамы, но и подруги высмеивали воспитанниц, которые ели во время такого наказания. Маша Ратманова, когда подросла, как ястреб начала следить за тем, чтобы воспитанница, наказанная таким образом, получала от соседок все кушанья, но так как суп при этом пропадал, то она, обращаясь к наказанной, говорила так, чтобы слова ее доходили до ушей классной дамы: «Отчего ты супа не ешь? Если бы было дозволено наказывать нас без еды, сколько бы народу у нас подохло от голоду!» Сильно нападала она на тех, которые издевались над подругами за еду во время наказания: она осыпала их градом бранных,

грубых слов из своего собственного лексикона, который у нее был весьма обширен. В старшем классе она беспощадно казнила предательство: сплетниц и доносчиц она не только изводила неистовым издевательством, но неожиданно и исподтишка толкала их и щипала так жестоко, что у тех оставались надолго синяки на руках и шее; и это проделывала она вплоть до самого выпуска, когда уже была взрослою девушкой.

Если институт испортил такую богато одаренную натуру, с живым общественным инстинктом, с огромною энергией и жизнеспособностью, какою была Маша Ратманова, то других он губил и физически.

Уже прошло более трех месяцев с тех пор, как Фанни Голембиовская поступила в институт, а между тем она не появлялась ни в классе, ни в дортуаре m-lle Верховской, воспитанницею которой числилась. Она продолжала оставаться в лазарете. Что была за болезнь, которою она страдала, мы не знали, но наш доктор объяснял ее тоскою.

Однажды утром после звонка на урок немецкого языка вошли инспектриса, а за нею и Голембиовская. Боже, как она изменилась за это время! Ее длинные, худенькие пальчики нервно теребили передник, ее длинная шея казалась ниточкой, скреплявшей грациозно посаженную головку, ее узкие плечи нервно передергивались, щеки провалились, и ее большие глаза, казалось, сделались еще больше и растерянно бегали по сторонам. Немец спросил ее, выучила ли она заданный урок. Она отвечала, что не учила уроков во время болезни. Когда она бегло прочитала указанную ей страницу, учитель спросил, не говорит ли она по-немецки. Она отвечала утвердительно, и он заставил ее переводить, что она исполнила совершенно легко, заслужила 12 с плюсом[26] и большую похвалу от учителя.

На уроке французского языка опять присутствовала m-me Сент-Илер. Француз тоже заставил Фанни читать и переводить, а затем попросил ее сказать на память какое-нибудь стихотворение или басню. Она начала декламировать стихотворение «Молитва», помещенное в то время во всех французских хрестоматиях. В ней ребенок обращается к Богу, умоляя его продлить дни своей матери. Голос ее дрожал все сильнее, она произносила стихи с таким чувством и увлечением, как это обыкновенно не удается детям, а тем более в институте. Но вот в ее декламации послышались рыдающие звуки, она остановилась, не кончив фразы, точно спазма сдавила ей горло. Француз с изумлением посмотрел на инспектрису, а затем спросил Фанни, не может ли она написать что-ни-

будь, хотя какое-нибудь маленькое письмецо. Дрожащими руками девочка взяла мел и быстро написала несколько строк. Учитель громко прочитал написанное. Это оказалось письмо к матери, в котором Фанни умоляла ее взять из института, заявляя, что иначе умрет. Должно быть, это было выражено очень трогательно, — у «maman» текли слезы по щекам. Француз, который, вероятно, с восторгом думал о том, какой козырь судьба посылает ему в руки в лице Фанни, и мечтал уже, как будет он гордиться ею при высоких посетителях, начал утешать ее, указывал на несообразность мысли о смерти в ее годы, пророчил ей блестящее окончание курса, первую награду и т.п. Когда Фанни возвращалась на свою скамейку, инспектриса, наклоняясь к ней, нежно сказала: «Дитя мое! вы превосходно подготовлены! Что же нам делать, чтобы вы не тосковали?»

После окончания урока мы строились в пары, чтобы идти в столовую, а Фанни шла в лазарет, где она ввиду своего слабого здоровья должна была обедать, завтракать и даже проводить ночь. Мы в один голос кричали ей: «Первая, самая первая по классу!» Конфузливо улыбаясь, она с угловатыми манерами девочки-подростка торопливо пробиралась между парами.

Фанни менее чем кто-нибудь из нас должна была бы чувствовать ненормальные условия институтского существования: она спала в теплой комнате лазарета, питалась больничною пищею, которая была несравненно лучше общей, пила молоко, виделась с матерью по два раза в неделю, все в лазарете баловали ее и стали баловать еще более после ее блестящего дебюта в классе, когда инспектриса просила доктора, чтобы для нее было сделано все, что только возможно: она могла спать в лазарете до восьми часов утра, укрываться так, чтобы ей было тепло, доктор постоянно снабжал ее «девичьею кожею» — любимое лакомство институток, которое было в большом запасе в нашей казенной аптеке.

Однако эти неслыханные для того времени привилегии, которыми она пользовалась, видимо, мало утешали ее. Хотя окрики и брань классных дам были обыкновенно направлены не на нее, она все-таки при этом вздрагивала, бледнела и по-прежнему имела удрученный вид. Ее хрупкое здоровье, нервная организация, до болезненности страстная привязанность к матери, нежное домашнее воспитание не могли дать ей энергии, силы и устойчивости для сопротивления окружающей грубости и солдатчине, — и она в полном смысле слова увядала, не успевши расцвесть. С подруга-

ми она мало сближалась и на их расспросы вяло, нехотя давала односложные ответы и только, болезненно пожимаясь, говаривала: «Как у вас холодно! Как у вас скверно!» — «Что ты все говоришь — у вас да у вас? У нас то же, что и у тебя, госпожа принцесса-недотрога!..» — насмешливо глядя на нее, выпаливала Ратманова. «Злая, грубая!» — отвечала Фанни и заливалась слезами. Не могла она переносить холода и в классе, хотя и в этом отношении она пользовалась привилегиею не снимать пелеринку даже во время уроков. В продолжение нескольких недель, во время которых она приходила в класс, она редко когда учила заданный урок, а сидела на своей скамейке и всегда что-то писала в свободное время. Инспектриса, когда встречалась с нею, всегда ласково спрашивала ее о здоровье. Верховская, ее дортуарная дама, после ее блестящего дебюта в языках тоже относилась к ней весьма любезно, но m-lle Тюфяевой, этой истинной злопыхательнице, было не по душе отношение к Фанни окружающих, и она то и дело ворчала на нее или кидала в ее сторону злобные взгляды. Однажды, когда та, по своему обыкновению, что-то писала, Тюфяева схватила исписанные ею листики и с этими трофеями поплелась к своему столику.

— Это что такое?..

— Маме письмо.

— Это что за небылица! Какие могут быть у тебя письма к матери, когда ты видишь ее по два раза в неделю? А если к матери пишешь, то с кем же изволишь посылать их?

— Когда мама приходит, я и отдаю их ей сама.

Тюфяева отложила в сторону чулок, который она вечно вязала, надела очки и начала разбирать написанное.

— Как, ты изволишь переписываться по-польски? Я не только скажу об этом инспектрисе, но сама отнесу твои письма начальнице, попрошу ее объяснить мне, смеют ли воспитанницы писать своим родителям на языке, которого, кроме полек, никто здесь не понимает? Смеют ли они отдавать письма родителям, не прочитанные предварительно классною дамою? С тех пор как я служу, еще никого не баловали так, как тебя. А за что? Не за то ли, что ты лижешься с своею матерью, которая, не успев переступить порог заведения, наделала всем массу неприятностей, даже начальнице; не за то ли, что она оставила здесь свое чадушко, которое только киснет, нюнит и в обморок падает?

Эта речь была прервана истерическими рыданиями Фанни.

— Дрянь! Плакса! — бросила в ее сторону Тюфяева и, точно после блистательно одержанной победы, победоносно вышла из класса. Мы окружили Фанни, подавали ей воду, смачивали виски, но она так расстроилась от слез, что ее увели в лазарет.

Прошла неделя-другая, а Фанни все еще не показывалась в классе. Как-то утром, когда мы только что встали, мы услыхали беготню в коридорах и стремглав бросились посмотреть, что такое случилось. Мимо нас сновали горничные, больничная прислуга, классные дамы.

— Не сметь выходить из дортуаров! — кричали нам, и мы, как мыши, прятались в свои норы. В ту же минуту в наш дортуар вбежала пепиньерка и заявила m-lle Верховской, что инспектриса просит ее немедленно явиться к ней. Мы, кофульки[27], пожираемые любопытством, опять выбежали на «разведки». Когда мы загородили дорогу горничной, пробегавшей мимо нас, умоляя ее сказать нам, в чем дело, она остановилась и решительно произнесла: «Как же это возможно? Когда у нас происходит даже не такое важное, да и то нам запрещают вам рассказывать... А тут такое, такое!..» — и, растолкав нас, чтобы проложить себе дорогу, она быстро исчезла.

И в этом случае, как всегда, наше любопытство удовлетворила Ратманова. Она спустилась в нижний коридор к истопнику, который, как человек менее ответственный за несоблюдение институтских тайн, не устоял перед обещанным пятиалтынным и рассказал Ратмановой все без утайки. Тайна, которую от нас скрывали, — побег Фанни Голембиовской. Надев утренний капот, имевшийся у каждой воспитанницы для вставания, и накинув на голову платок прислуги (она рассчитывала, что ее примут за горничную и подумают, что она бежит в лавочку), она рано утром выбежала из лазарета на улицу, но была поймана в нескольких саженях от институтского подъезда швейцаром, который узнал ее и немедленно водворил в лазарет.

Мы не успели опомниться от этого ошеломляющего известия, как к нам вошла пепиньерка и вместо Верховской повела нас в столовую, куда тотчас же вошла инспектриса и взволнованным голосом, не объясняя, в чем дело, произнесла:

— Надеюсь, дети, что об этом печальном происшествии вы не будете разговаривать ни между собой, ни с своими родственниками.

— О чем нельзя разговаривать? Что такое произошло? — как только вышла инспектриса, начали спрашивать те из воспитанниц, которые не успели еще узнать институтской новости.

— Как, вы этого не знаете? — закричала Тюфяева. — Ах вы фокусницы, сквернавки! Вас из грязных закоулков и трущоб подобрали сюда из милости, холили, лелеяли, а вы вот как отблагодарили ваших благодетельниц! Извольте зарубить себе на носу, чтобы с этой минуты вы не смели и близко подходить к лазарету, а тем более к комнате, в которой лежит эта тварь.

Несмотря на строгое запрещение разговаривать между собою о небывалом еще у нас инциденте, мы то и дело говорили о нем. «Отчаянные» как старших, так и младших классов пускались на всевозможные предприятия, чтобы что-нибудь выведать об этом деле. Прячась за углами и колоннами, они подсматривали и подслушивали у дверей лазарета, наблюдали, кто в него входил и выходил, расспрашивали лазаретных служащих, не считавших нужным делать из этого тайну, и таким образом по нескольку раз в день, даже в лицах, передавали новости друг другу.

Как только Фанни привели в лазарет, ее уложили в постель. Она вся дрожала, как в лихорадке. Через час-другой после этого к ее кровати уже подходили: инспектриса, m-lle Верховская в качестве ее дортуарной дамы, начальница Леонтьева и m-lle Тюфяева, которая, как старейшая из классных дам, считала своею обязанностью совать нос во все дела. Когда Фанни увидала особу, которую она ненавидела, она вскрикнула и потеряла сознание. Леонтьева приказала позвать врача и привести ее в чувство. Но тут в комнату вошли, уже извещенные о событии, дядя девочки и ее мать, которая, рыдая, бросилась на колени перед постелью дочери. Наша начальница, со всеми разговаривавшая очень надменно, на этот раз вложила все высокомерие и презрение в свои слова и, торжественно протягивая руку по направлению к больной, произнесла: «Сию минуту прошу избавить меня от вашей позорной дочери!» Голембиовская как ужаленная вскочила с колен и, глядя в упор на начальницу, наговорила ей с три короба неприятных вещей, вроде того, что для ее дочери-ребенка нет никакого позора в том, что она, не стерпев институтской муштровки, выбежала из ворот, а для заведения действительно позорно, что из него приходится бегать. Что же касается того, чтобы она немедленно взяла свою дочь, находящуюся в глубоком обмороке, то этого она не сделает, пока

врачи, приглашенные ею, не удостоверят ее в том, что это не представляет опасности для жизни ее ребенка. Начальница, как говорят, стояла в это время, подняв глаза к небу, то есть к потолку, как бы призывая Бога в свидетели, что ей при ее высоком положении немыслимо отвечать на это что бы то ни было.

— Как вы смеете так говорить с нашею обожаемою начальницею? — вскричала m-lle Тюфяева, грозно подступая к Голембиовской. — Знаете ли вы, жалкая, несчастная женщина, что к нашей начальнице с благоговением относится даже вся царская фамилия?

Продолжение этой сцены прекратил доктор, который просил у начальницы дозволения сказать ей несколько слов с глазу на глаз. По-видимому, он заявил ей, что девочку пока никак нельзя трогать с места, так как начальница в этот день уже не входила в комнату больной.

Фанни пришла в сознание ненадолго: скоро у нее явился жар, а потом и бред, и она около месяца пролежала в лазарете. Ее мать неотступно сидела у ее постели. От времени до времени дверь комнаты больной открывалась, и в нее входила начальница, за которою неизменно следовали Верховская и Тюфяева, — им она предварительно давала знать о своем посещении. Фанни, уже перед этою болезнью сильно исхудавшая, теперь таяла как свечка. У нашей инспектрисы, которая сама была любящею матерью, нередко текли слезы при виде несчастного ребенка. Но в таких случаях она хваталась за голову и жаловалась на нестерпимую мигрень, а m-lle Тюфяева при этом, с презрением глядя на нее, бросала несколько слов о вреде баловства. Малейшая ласка, всякое доброе слово, сказанное инспектрисою или какою-нибудь классною дамою воспитаннице, терзало сердце Тюфяевой, не знавшей ни жалости, ни пощады. Впоследствии, ближе познакомившись с характером инспектрисы, я была уверена, что она в то время болела душой за несчастную Фанни, преждевременно загубленную суровым институтским режимом, но по слабости своего характера она ничего не могла заметить m-lle Тюфяевой, наветов которой, видимо, она страшно боялась.

Как только в положении Фанни наступила перемена к лучшему, ее мать заявила тотчас же, что берет ее из института.

После этого происшествия не прошло и месяца, как в наш дортуар вошла пожилая дама, родственница Фанни, и просила возвратить ей шкатулку девочки, оставшуюся у нас. Она сообщила нам, что Фанни несколько дней тому назад скончалась от скоротечной чахотки.

ГЛАВА II
ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОК

Суровая дисциплина. — Холод, голод и посты. — Преждевременное вставание. — Охлаждение к родителям. — Презрение к бедным родственникам. — Традиционное обожание и причина этого явления. — «Отчаянные» и их значение. — Произвол классных дам

Теперь даже трудно себе представить, какую спартанскую жизнь мы вели, как неприветна, неуютна была окружающая нас обстановка. Особенно тяжело было ложиться спать. Холод, всюду преследовавший нас и к которому с таким трудом привыкали «новенькие», более всего давал себя чувствовать, когда нам приходилось раздеваться, чтобы ложиться в кровать. В рубашке с воротом, до того вырезанным, что она нередко сползала с плеч и сваливалась вниз, без ночной кофточки, которая допускалась только в экстренных случаях и по требованию врача, еле прикрытые от наготы и дрожа от холода, мы бросались в постель. Две простыни и легкое байковое одеяло с вытертым от старости ворсом мало защищали от холода спальни, в которой зимой под утро было не более восьми градусов. Жидкий матрац из мочалы, истертый несколькими поколениями, в некоторых местах был так тонок, что железные прутья кровати причиняли боль, мешали уснуть и будили по ночам, когда приходилось поворачиваться с одного бока на другой.

В первую ночь я долго лежала без сна: холод насквозь пронизывал мои члены. Но вдруг меня осенила счастливая мысль: я развернула салоп, лежащий у моих ног, закуталась в него и уже начинала дремать, когда была разбужена m-lle Верховскою, обходившею дортуар. «Для первого раза, так и быть, оставь салоп, — сказала она, — но помни, что у нас это строго запрещено».

Как только утром в шесть часов раздавался звонок, дежурные начинали бегать от кровати к кровати, стягивали одеяла с девочек и кричали: «Вставайте! торопитесь!»

Со многими суровыми условиями институтской жизни воспитанницы в конце концов осваивались, хотя и с трудом, но к раннему вставанию редко кто привыкал. Каждый раз с утренним звонком раздавались стоны

и жалобы воспитанниц. И действительно, мучительно было так рано подыматься с постели в окончательно остывшей спальне, и зимой настолько еще темной, что приходилось зажигать лампу.

Вся институтская жизнь распределялась по звонку: звонок будил нас от сна, по звонку шли к чаю, по звонку мы должны были рассаживаться по партам и ждать учителя, с звонком его урок оканчивался и начиналась рекреация, звонок извещал о необходимости идти в столовую — одним словом, звонок определял все минуты жизни воспитанниц, служил указателем, что делать, что думать. Звонок и крик классной дамы: «По парам!» — вот что мы слышали с утра до вечера.

Хотя утренняя молитва происходила в семь часов, следовательно, на наш туалет полагался целый час, но этого времени едва хватало; институтки носили ни с чем не сообразную одежду, с которою лишь очень немногие умудрялись справиться самостоятельно. Застегнуть платье назади, заколоть булавками лиф передника, аккуратно подвязать рукавчики под рукава, заплести косы в две тугие косички (в младшем классе), подвесить их жгутами на затылке, пришпилить бант в самом центре — на все это требовалась чужая помощь. Во многих семьях девочка к десяти годам усваивала полезную привычку одеваться и причесываться самостоятельно, но в институте в большинстве случаев она утрачивала ее. Особенно трудно было причесываться самой. Одна прическа существовала для младшего, другая — для старшего класса. Если волосы были непослушны, слишком густы и волнисты, то из них трудно было устроить гладкую прическу, и воспитанница наживала себе массу неприятностей, пока наконец с помощью подруги не умудрялась сделать то, что от нее требовали. Классные дамы утверждали, что за прической они особенно строго наблюдают, чтобы искоренять кокетство, но этим лишь развивали его. По вечерам, когда дама уходила в свою комнату, воспитанницы старшего класса изощрялись в изобретении причесок, без конца толкуя о том, какая из них кому идет. Институтское начальство никак не могло усвоить мысли, что девочка не может сделаться кокеткой только из-за того, что она причесывается по своему вкусу: если в ней с детства развивали интерес к чтению, она в свободное время будет с подругой разговаривать о прочитанном, а не о прическе.

Одуряющее однообразие институтской жизни, лишенной каких бы то ни было освежающих впечатлений, детских удовольствий и здорового веселья, нарушалось лишь три-четыре раза в год, но большая часть и этих

развлечений была устроена так официально, что наводила лишь скуку. На Масленой неделе воспитанниц возили кататься вокруг балаганов, но лишь в старшем классе, да и то не всех. Два раза в год устраивали балы, в Рождество — елку на счет воспитанниц и, наконец, раз в год водили гулять в Таврический сад. К несчастию, на балах должны были присутствовать все воспитанницы без исключения, но тут они встречали все тех же подруг и то же начальство и в продолжение трех часов танцевали исключительно между собой, как они выражались, «шерочка с машерочкой». Похохотать на таком балу, пошутить, устроить какой-нибудь комический танец было немыслимо: во весь вечер с них не спускали взора классные дамы, инспектриса и начальница, сидевшие на стульях, поставленных у стены в длинный ряд, обращенный лицом к танцующим. «Дурнушки» и девочки, бывшие не в фаворе у начальства, старались танцевать на другом конце зала, подальше от взоров классных дам. Эти балы, не нарушая томительной монотонности институтской жизни, вознаграждали за свою непроходимую скуку только тем, что воспитанницы получали по окончании их по два бутерброда с телятиной, несколько мармеладин и по одному пирожному.

Более любимым удовольствием была летом прогулка в Таврический сад. Хотя во время торжественного шествия туда из Смольного воспитанницы были окружены своими классными дамами, швейцаром и служителями, разгонявшими всех встречающихся по дороге, но все-таки эту прогулку воспитанницы любили уже потому, что они, хотя раз в год, в продолжение нескольких часов не видели своих высоких стен и у них перед глазами были аллеи и лужайки не своего сада. Кроме институтских служащих и подруг, институтки и здесь никого не встречали: в этот день посторонних изгоняли из Таврического сада[28].

Томительно-однообразная жизнь и отсутствие чего бы то ни было, что хотя несколько шевелило бы мысль, привлекало глаз, постепенно вливали в душу леденящий холод и замораживали ее. У будущих воспитательниц молодого поколения, которые должны были нести ему живое слово, совершенно была подавлена душевная жизнь и проявление самостоятельной воли и мысли. Всегда и всюду требовалась тишина, каждый час, каждая минута жизни распределялись пунктуально, по команде, по звонку. Результатом этого была развинченность нервов, что чаще всего сказывалось паническим, безотчетным страхом, который иногда вдруг овладе-

вал сразу всеми воспитанницами. Когда вечером после молитвы классная дама уходила к себе, мы, нередко уже раздетые, босые и в одних рубашках, кутаясь в одеяла, размещались на кроватях нескольких подруг и начинали болтать. Но о чем могли разговаривать существа, умственно неразвитые, изолированные от света и людей, лишенные какого бы то ни было подходящего чтения? Мы болтали о разных ужасах, привидениях, мертвецах и небывалых страшилах. При этом чуть где-нибудь скрипнет дверь, послышится какой-нибудь шум — и одна из воспитанниц моментально вскрикивала, а за нею все остальные с пронзительными криками и воплями, нередко в одних рубашках, бросались из дортуара и неслись по коридору. Вбегала классная дама, начинались расспросы, допросы, брань, толчки, пинки, и дело оканчивалось тем, что нескольких человек на другой день строго наказывали.

Таким образом, через сто лет после основания института совершенно был забыт устав, данный ему Екатериною II, в котором так много говорилось о том, чтобы для «целости здравия увеселять юношество невинными забавами», приучать к чтению и устраивать библиотеки, которых у нас не было и в помине. Совершенно противно уставу Екатерины II все условия института были направлены к тому, чтобы не было нарушено однообразие закрытого заведения. Наше начальство находило это необходимым для того, чтобы воспитанницы сосредоточивали все свои помыслы на развитии нравственных способностей, чтобы приучить их довольствоваться скромною долею. Но достигали диаметрально противоположных результатов. Слишком рассеянная жизнь, несомненно, делает учащихся малоусидчивыми, заставляет их легкомысленно относиться к своим обязанностям, но еще более вредное влияние оказывало убийственное однообразие: оно стирало все индивидуальные особенности, оригинальность и самобытность, притупляло способности ума и сердца, охлаждало живость впечатлений, губило в зародыше восприимчивость и наблюдательность.

Кроме раннего вставания и холода воспитанниц удручал и голод, от которого они вечно страдали. Трудно представить, до чего малопитательна была наша пища. В завтрак нам давали маленький, тоненький ломтик черного хлеба, чуть-чуть смазанный маслом и посыпанный зеленым сыром, — этот крошечный бутерброд составлял первое кушанье. Иногда вместо зеленого сыра на хлебе лежал тонкий, как почтовый листик, кусок мяса, а на второе мы получали крошечную порцию молочной каши

или макарон. Вот и весь завтрак. В обед — суп без говядины, на второе — небольшой кусочек поджаренной из супа говядины, на третье — драчена или пирожок с скромным вареньем из брусники, черники или клюквы. Эта пища, хотя и довольно редко дурного качества, была чрезвычайно малопитательна, потому что порции были до невероятности миниатюрны. Утром и вечером полагалась одна кружка чаю и половина французской булки. И в других институтах того времени, сколько мне приходилось слышать, тоже плохо кормили, но, по крайней мере, давали вволю черного хлеба, а у нас и этого не было: понятно, что воспитанницы жестоко страдали от голода. Посты же окончательно изводили нас: миниатюрные порции, получаемые нами тогда, были еще менее питательны. Завтрак в посту обыкновенно состоял из шести маленьких картофелин (или из трех средней величины) с постным маслом, а на второе давали размазню с тем же маслом или габер-суп. В обед — суп с крупой, второе — отварная рыба, называемая у нас «мертвечиной», или три-четыре поджаренных корюшки, а на третье — крошечный постный пирожок с брусничным вареньем.

Институт стремился сделать из своих питомиц великих постниц. Мы постились не только в Рождественский и Великий посты, но каждую пятницу и среду. В это время воспитанницы чувствовали такой адский голод, что ложились спать со слезами, долго стонали и плакали в постелях, не будучи в состоянии уснуть от холода и мучительного голода. Этот голод в Великом посту однажды довел до того, что более половины институток было отправлено в лазарет. Наш доктор заявил наконец, что у него нет мест для больных, и прямо говорил, что все это от недостаточности питания. Зашумели об этом и в городе. Наряжена была наконец комиссия из докторов, которые признали, что болезнь воспитанниц вызывается недостаточностью пищи и изнурительностью постов. И последние были сокращены: в Великом посту стали поститься лишь в продолжение трех недель, а в Рождественском — не более двух, но по средам и пятницам постничали по-прежнему.

Конечно, воспитанницам, имевшим родственников в Петербурге, приходилось меньше страдать от голода. Они просили приносить им не конфеты, а хлеб и съестное и получали деньги, которые потихоньку (это было строго запрещено) хранили у себя.

Воспитанницы возвращаются в свой класс после обеда. «Богачихи», подкрепив себя пищею, полученною из дому, и заткнув уши пальцами, неистово долбят уроки. Голодные же бродят, как мухи в осенний день,

решительно ничего не делают и слоняются из угла в угол или сидят кучками и разговаривают о том, как бы *промыслить* себе «кусок», у кого бы для этого призанять деньжонок. «Полякова будет сейчас брать десятый урок музыки, следовательно, мать принесла ей денег для расплаты, — вот мы к ней и подъедем», — сообщает одна воспитанница другой, и обе стремглав бросаются к подруге. На просьбы дать взаймы Полякова отвечает отказом. Деньги, которые лежат в записной тетради, должны быть сегодня же вручены учительнице. Но ей доказывают, что ничего дурного не выйдет из того, если она извинится перед нею и скажет, что ее мать доставит деньги через несколько дней. Но Полякова наотрез отказывается исполнить просьбу подруг, указывая на то, что ее учительница музыки — особа крайне неделикатная и может пожаловаться дортуарной даме, которая будет считать своею обязанностью попросить ее мать быть впредь более аккуратною при расплате за уроки.

— Жадная, вот и все! Боишься, что деньги пропадут! Скупердяйка! Помни, что с этих пор никто иначе и называть тебя не будет!.. — и просительницы убегают. Полякова, встревоженная угрозой, летит за ними и дает им деньги.

— Голубчик Иван, сделай, что мы тебя попросим! — пристают воспитанницы к сторожу. Они разговаривают с ним стоя у двери, напряженно прислушиваясь к малейшему шороху.

— С просьбами-то вы умеете обращаться, а до сих пор еще не заплатили за хлеб!

— Мы с тобой, Иванушка, сегодня же рассчитаемся... Купи нам по этой записке...

— Нечего тут расписывать, не впервой с вами возиться... Опять та же колбаса, сушеные маковники, хлеб, булки... Прямо говорите, на сколько купить и сколько положите мне за беспокойство, а то вы скоро цену каждой покупке будете назначать. А ведь в здешних лавках за все берут втридорога: знают, что по секрету, ну и дерут.

Девочки передают деньги солдату и умоляют его положить покупку в нетопленую печку на том или другом коридоре.

— Пойду еще печки щупать, — грубо ворчит сторож, — суну под лавку в нижнем коридоре — вот и вся недолга. Жрать захотите, всюду придете...

Нередко и бывало, что сторож сунет покупку под лавку в нижнем коридоре, куда ходить строго воспрещалось. Тогда добыть ее поручают «отчаянным», в награду за что их приглашают разделить трапезу.

Несмотря на то что как казенные воспитанницы (поступившие по баллотировке на казенный счет), так и своекоштные должны были получать от казны все необходимое, каждой воспитаннице приходилось иметь ежегодно порядочную сумму денег для удовлетворения разнообразных нужд. Прежде всего необходимо было приобретать на свой счет все, что касалось туалета: гребенки, головные и зубные щетки, мыло, помаду, перчатки для балов, — эти предметы казна вовсе не выдавала нам. Но это было еще далеко не все. Мы не могли являться ни на балы, ни даже на уроки танцев в казенных башмаках, — выделывать в них антраша и пируэты[29] не было физической возможности: наши «шлепанцы» то и дело сваливались с ног, а когда приходилось вытягивать носок, балетчица, в младших классах обучавшая нас танцам, замечала то одной, то другой, танцевавшей в казенных башмаках: «Да вы, кажется, вместо носка пятку вперед вывернули». Она находила нужным постоянно делать подобные замечания, вероятно надеясь на то, что начальство обратит наконец внимание на башмаки воспитанниц, вынужденных пользоваться казенными. Несмотря на то что эта ирония балетчицы повторялась очень часто, воспитанницы и классная дама каждый раз разражались смехом, а несчастный объект этой насмешки не знал, куда от стыда глаза девать.

Среди воспитанниц не было героинь, а между тем от них требовалось почти геройство или, во всяком случае, значительное мужество для того, чтобы не стыдиться бедности в то время, когда чуть не все русское общество, и особенно институтское, открыто презирало бедность. Так как институт не давал воспитанницам ни нравственного, ни умственного развития, а постепенно прививал лишь пошлые воззрения, то они к выпуску вполне укреплялись в мысли, что если бедность — не порок, то гораздо хуже всех пороков.

В старшем классе приходилось тратить особенно много денег. Прежде всего тут мы уже обязаны были носить корсет. Правда, воспитанницы имели право получать его от казны, и хотя он был, как и вся наша одежда, непрактичен и сшит не по фигуре, но раз он был надет, начальство не придиралось. Но дело в том, что китовый ус в казенном корсете был заменяем то металлическими, то деревянными пластинками, до такой степени хрупкими, что они беспрестанно ломались и впивались в тело. Поносишь, бывало, такой корсет месяц-другой, и вся талия оказывается в ссадинах и ранках. Нестерпимая боль заставляет воспитанницу умо-

лять родных дать ей денег на покупку собственного корсета. Может быть, вне института его можно было приобрести дешевле, но у нас он стоит от 6 до 8 рублей. Желающие иметь собственный корсет должны были подчиняться общему правилу: заказывать его у корсетницы, которой начальство разрешало приезжать в институт снимать мерку. Выходило, что, по самому скромному расчету, каждой воспитаннице лично для своих потребностей нужно было ежегодно иметь, по крайней мере, рублей пятнадцать—семнадцать. Но и этою суммою мудрено было ограничиться: перед Рождественскими праздниками воспитанницы устраивали в складчину елку, перед Пасхою необходимо было иметь деньги на покупку шелка, чтобы вышивать мячики, которыми христосовались вместо яиц со священником, дьяконом, с учителями, инспектрисою. Существовал обычай праздновать именины, то есть угощать в этот день подруг и учителей, на что затрачивалось сразу несколько рублей; было и множество других расходов, — избежать их было чрезвычайно мудрено. Конечно, более всего нужны были деньги на то, чтобы не голодать. Воспитанницам, деньги которых были на руках классных дам, дозволялось покупать булки и ничего другого из съестного; те же, которые сами хранили деньги, покупали все, что хотели, но эти покупки обходились им втридорога.

В первый год после своего поступления в Смольный, когда мысль о доме еще жила в душе воспитанницы, когда нежные узы любви к родителям еще не ослабели, она вспоминала о домашних нуждах, о бедности своего семейства и употребляла все средства, чтобы сокращать свои расходы, урезывать себя даже в существенных потребностях. Но более или менее продолжительное пребывание в институте, напоминавшем настоящий женский монастырь, изолированный от мира и людей, в который никогда не проникали ни человеческие стоны, ни человеческие страдания, заставляло ее все глубже погружаться в тину институтской жизни, все равнодушнее относиться ко всему остальному. Между родителями и дочерью-институткой мало-помалу возникали недоразумения, прежде всего на почве материальной. Имея множество нужд, которых казна или вовсе не удовлетворяла, или удовлетворяла крайне плохо, воспитанница то и дело обращалась к родителям с просьбою дать ей денег или купить то одно, то другое. Большинство родителей были люди небогатые и зачастую отказывались исполнять такую просьбу, а других возмущало то, что, отдав дочь на казенное иждивение, они должны были постоянно тратиться на

нее. К тому же и дочка все менее утешала их: они замечали, что она теряет привычку к экономии, приобретенную в семье. Сначала она сама упрашивала их доставлять ей лишь то, что действительно было для нее крайне необходимо, а потом начинала требовать денег на подарки, просила принести ей то духи, то одеколон и, наконец, умоляла купить золотую цепочку, на которой она могла бы носить крест — единственное украшение, которое нам не было воспрещено. И родители, осаждаемые вечными просьбами, делавшимися все более настойчивыми и бессердечными, раздражались на свою дочь.

Вечно выпрашивать у родителей деньги нас заставляли не только необходимость или собственный каприз, но и классные дамы. M-lle Верховская была особой весьма изящной. Она любила красивые туалеты и тратила на них почти все свое жалованье. Даже в своем простом форменном синем платье она казалась несравненно более нарядной, чем все остальные ее товарки. Перед своими выездами она открывала дверь своей комнаты и, красивая, нарядная, улыбающаяся, выходила к нам и спрашивала, как мы находим ее новое платье. Мы приходили в восторг от такого милого отношения и в ответ кричали ей: «королева», «божественная», «небесная»! Красивая и изящная всегда, она была особенно прекрасна в эти минуты своего «отлета» из института, когда она, хотя на несколько часов, оставляла ненавистные для нее стены монастыря, в котором жила по необходимости. Вероятно, вследствие любви ко всему изящному Верховская еще более других классных дам навязывала своим воспитанницам покупку всего дорогого, не считаясь со скудными средствами огромного большинства.

— Дети! Я еду в гостиный двор, — объявляет она. — Что кому нужно?

Одна просит купить мыла, другая — помаду, гребенку, перчатки, щетку. На ее вопрос, какое мыло купить, ей отвечают: «Самое простое, копеек в пятнадцать».

— Что тебе за охота мыться такою дрянью? Я за шестьдесят копеек куплю тебе превосходное мыло...

— Но ведь тогда у меня останется всего один рубль, а раньше как через три месяца мне не пришлют денег из деревни.

— Как хочешь. Я могу купить и в пятнадцать копеек. Если память меня не обманывает, таким мылом в прачечной белье моют. Ведь от него, пожалуй, салом несет!..

— Тогда, пожалуйста, mademoiselle, купите такое, какое вы советуете, — спешит заявить воспитанница, опасаясь рассердить Верховскую своим упорством и заставить ее заподозрить себя в расчетливости.

Так бывало с маленькими воспитанницами, а в старшем классе они уже привыкали к дорогим туалетным принадлежностям и сами просили не покупать дешевых.

Там, где классные дамы не подбивали воспитанниц на покупку дорогих вещей, они вынуждали их тратиться на что-нибудь другое. Например, у одной классной дамы, Лопаревой, была страсть навязывать лотерейные билеты, чем она, вероятно, оказывала услугу кому-нибудь из своих знакомых. Несмотря на то что раздача их была сопряжена для нее с некоторыми неприятностями, она продолжала делать свое.

— Кто из вас возьмет лотерейный билет? Всего по четвертаку... Прехорошенькие вещицы на выигрыше: салфеточки, запонки, пряжки, подушки для булавок...

Все молчат.

— Долго я буду дожидаться? Павлухина, ты сколько берешь?

— Не знаю, право...

— Кто же знает, если ты не знаешь? Говори же наконец...

— Один...

— Один? Да чего же ты боишься? Ведь если ты возьмешь даже четыре билета, у тебя все же останется еще два рубля!..

— Хорошо.

Лопарева немедленно записывала за Павлухиной четыре билета.

— А ты, Осипова, сколько берешь? Хотя у меня нет твоих денег, но я с удовольствием одолжу тебе до приезда твоего отца.

— Как же мне просить у него денег на лотерею, когда он только что купил мне ботинки и перчатки! Он, наверно, откажется: скажет, что мне не нужны здесь ни запонки, ни салфетки, которые разыгрываются.

— Можешь сказать твоему отцу, что билеты эти берутся не для того, чтобы что-нибудь выгадать для себя, а чтобы помочь несчастному семейству. Если ваши родители не приучили вас дома к состраданию, то мы обязаны делать это.

После такого внушения билеты разбирались, хотя по-прежнему весьма неохотно, но беспрекословно. Дело доходит до воспитанницы Петровой, одной из «отчаянных». M-lle Лопарева, не ожидавшая ничего хо-

рошего для себя от этой воспитанницы, уже повернулась, чтобы уйти в свою комнату, но та сама подошла к ней и отчеканила:

— Денег для этих билетов я просить не буду... Моя мать не знает несчастного семейства, в пользу которого вы распродаете билеты... Нам и для собственной еды приходится то и дело клянчить деньги у родителей...

— Гадина! Пошла прочь! — вскричала Лопарева и изо всей силы хлопнула за собою дверь.

— Счастливая! Сумела отвязаться от проклятых билетов! — с завистью говорит Петровой одна подруга. — Как бы я хотела быть такою же отчаянной, как ты! Да вот не могу...

Дорого обходились нам и наши горничные; в каждом дортуаре служила одна из них. Она обязана была убирать не только нашу спальню, но и комнату классной дамы, а также служить как нам, так и ей. Она действительно убирала дортуар, но служила исключительно классной даме. Нужно заметить, что воспитанницы обязаны были сами убирать свои кровати и ящики табуретов. Если перед уходом в класс кто-нибудь из нас забывал это сделать или плохо выполнял эту обязанность, ее бранили и наказывали. Если горничная по уходе воспитанницы замечала беспорядок на ее кровати или в табурете, она старалась исправить эту небрежность, но только для той, которая покупала ее любезность; на беспорядок же у воспитанницы, от которой она мало получала, она нередко даже обращала внимание классной дамы. Несмотря на то что каждая воспитанница дарила горничной деньги за ее услуги, дортуарная дама два раза в год (в Пасху и Рождество) делала сбор на покупку для нее подарка. Вследствие этого дортуарные горничные сравнительно с остальною прислугою института быстро наживались, что давало им возможность через несколько лет после вступления в эту должность выходить замуж. Тут уже воспитанницам предстояла трата более значительная, чем все предыдущие.

— Дети! — обратилась к нам однажды m-lle Верховская. — Дортуар mademoiselle Лопаревой сделал прекрасное приданое своей горничной. Смотрите же и вы, не ударьте в грязь лицом... Подумаем сообща, что кому из вас попросить у родителей для Даши. Ты, Маша, что собираешься сделать для нее?

— Полдюжины носовых платков...

— Прекрасно, но ведь это же пустяки! Мы вот как устроим это дело: пусть каждая из вас купит для нее какой-нибудь пустячок в приданое и что-

нибудь существенное. Ольга! Твоя сестра имеет много вкуса: она сумела бы выбрать для нее простенькое, но хорошенькое подвенечное платье! Какой-нибудь недорогой шерстяной материи... Ну, а еще купи ей, например, чулки или что-нибудь в этом роде...

Между тем сестра этой воспитанницы не имела собственных денег; ее муж сам покупал для нее наряды, но таких интимных сторон жизни институтка уже никогда не передавала классной даме.

— А твоя мама, Аня? Я знаю... она не может много тратить! (Верховская намекала на то, что мать этой воспитанницы была бедна, так как она приходила в институт очень скромно одетою.) — При этом намеке воспитанница краснела от стыда. — Она может не покупать нашей невесте никакого пустячка, но пусть приобретет для нее только полдюжины готовых рубашек. Это не обойдется ей очень дорого!.. А ты что?

— Перчатки.

— Неужели только? Подумай сама, какое же составится приданое, если одна из вас подарит перчатки, другая — полдюжины носовых платков... Вам нечего скаредничать! Ведь вы собираете на Дашу в последний раз.

А между тем в нашем дортуаре уже вторая горничная выходила замуж, к тому же сборы на праздничный подарок происходили регулярно.

Некоторые воспитанницы тратили деньги и на подарки классной даме в день ее именин. За два, за три месяца она обыкновенно говорила горничной о том, что ей хочется купить то или другое, но что она отложит эту покупку до той поры, пока скопит себе деньги. Иногда воспитанницы в складчину покупали какой-нибудь подарок, иногда несколько воспитанниц дарили ей отдельно каждая, — только Верховская никогда не принимала подарков.

В одном из дортуаров две воспитанницы-сестры положили на стол своей классной дамы большой изящный ящик с чаем, обтянутый атласом и затканный выпуклыми китайскими фигурами.

— Кто из вас положил мне это? — спрашивала классная дама, входя в дортуар с ящиком в руках.

— Мы, mademoiselle, — отвечали обе сестры.

— Но кто же из вас? Ты или твоя сестра? — насмешливо улыбаясь, переспросила дама.

— Мы обе! — отвечали удивленные сестры. Подарок был сравнительно дорогой — несколько фунтов высокого сорта желтого чая; но классная

дама, вероятно, не подозревала его ценности, а может быть, потому, что рассчитывала получить другое, она не постыдилась в упор поставить такой вопрос.

Охлаждению между родителями и дочерьми содействовал и весь строй институтской жизни. Нужно помнить, что в ту пору институт был совершенно закрытым заведением: воспитанниц не пускали к родным ни на лето, ни на праздники, и они мало-помалу забывали обо всем, что делалось вне их стен. Все, что происходило не в институте, для институток становилось все более безразличным, даже странным, — их отчуждение от родителей и родного гнезда росло все быстрее. Скоро у них не хватало даже тем для разговора во время их свиданий. В приемные часы институтка сообщит родственникам о том, кого она «обожает», сколько раз в неделю она встретила «обожаемый предмет», не утаит и того, как она была наказана, за что на этих днях придиралась к ней «ведьма», какой балл она получила у учителя, — и материал для разговора исчерпан. Мало того, она замечает, что и эти новости, для нее столь значительные, совсем не интересуют ее родных, а ее братья и кузены относятся к ним даже насмешливо. Это ее раздражает и мало-помалу озлобляет против своих. Она старается все меньше знакомить их с событиями институтской жизни и иногда через минут десять после свидания совсем умолкает, а между тем ей приходится сидеть с родными в приемные дни часа два и более.

Расширение умственного кругозора учениц посредством преподавания могло бы еще поддерживать между родителями и их дочерьми интерес друг к другу, но в то время, которое я описываю, оно в России всюду было поставлено очень плохо, а в Смольном еще того хуже. Подходящего чтения, которое могло бы хотя несколько заинтересовать учениц, не существовало. Если и было несколько любительниц чтения (их вообще было крайне мало), то они читали плохие французские романы в оригинале, а еще чаще в безграмотных переводах.

Классные дамы — наше непосредственное и ближайшее начальство — не могли и не желали возбуждать в нас стремление к чтению. Сами крайне невежественные, они настойчиво проповедовали необходимость для молодых девушек усвоить лишь французский язык и хорошие манеры, а для нравственности — религию. «Остальное все, — как без стеснения выражалась m-lle Тюфяева, — пар и, как пар, быстро улетучится... Вот я, например, после окончания курса никогда не раскрывала книги, а,

слава богу, ничего из этого дурного не вышло: могу смело сказать, начальство уважает меня».

В дореформенное время нас не обучали естественным наукам, и мы никогда ничего не читали по этим предметам. Да и могли ли они нас интересовать при нашей затворнической жизни? За все время воспитания мы никогда не видели ни цветов, ни животных, не могли наблюдать и явлений природы: сидим, бывало, в саду во время летних каникул, а чуть только тучи начинают сгущаться, — нас немедленно ведут в дортуар или класс. Во время всей нашей затворнической жизни нам не удавалось видеть ни широкого горизонта, ни простора полей и лугов, ни гор, ни лесов, ни моря, ни рек и озер, ни восхода и заката солнца, ни бурана в степи, хотя мы и делали сочинения о всех этих явлениях природы. Те, у кого в детстве была развита любовь к природе, здесь совершенно утрачивали ее. Весьма естественно, что, окончив курс в институте, мы были вполне равнодушны к красотам природы. С утра до вечера мы видели перед собой лишь голые стены громадных дортуаров, коридоров, классов, всюду выкрашенные в один и тот же цвет. Все эти апартаменты производили на новенькую удручающее впечатление чего-то холодного, неуютного, что заставляло от страха замирать робкое детское сердце, но проходил год-другой, и никто из нас не обращал на это внимания, никто не находил эту обстановку ни постылою, ни странною. Спрашивается: почему не могли окрасить стены каждого дортуара в особый цвет, обвести их сверху каким-нибудь цветным бордюром и тем придать спальне менее казенный вид? Кроме приемной залы, где были портреты царской фамилии, стены были повсюду совершенно голые. Почему не могли повесить на них портретов знаменитых писателей, олеографии с историческими сюжетами, пейзажи красивых местностей? Почему не дозволялось воспитанницам прикреплять к изголовью кроватей фотографии родителей и родственников, почему запрещено было ставить на подоконниках горшки с цветами, за которыми могли бы ухаживать воспитанницы? Все это хотя несколько скрашивало бы однообразие жизни, возбуждало бы человеческие чувства, хотя слабо поддерживало бы любовь к прекрасному.

Этот казарменный режим, вытравлявший любовь к родителям, привязанность к родному гнезду и другие человеческие чувства, клал особенно постыдный отпечаток на отношение воспитанниц к бедным родственникам. Как краснели они, когда в приемные дни им приходилось садиться

подле плохо одетых матерей и сестер! Как страдала институтка, когда в это время, нарочно, чтобы переконфузить ее еще более, к ним подходила дежурная классная дама и обращалась к ее родственнице с каким-нибудь вопросом на французском языке, которого та не знала. Конечно, в таких случаях классные дамы могли только бросать презрительно-насмешливые взгляды, но вслух редко решались выражать свое презрение. Однако, желая дать это почувствовать воспитаннице, они зачастую останавливали свое внимание на особах, являвшихся в институт в модном туалете. Провинится, бывало, в чем-нибудь воспитанница, имеющая богатых родных, и классная дама замечает: «Воображаю, как тяжело будет твоей достойной матушке узнать о твоем дурном поведении!» А между тем все достоинство этой матери, с которою классная дама никогда не сказала ни слова, состояло только в том, что та являлась в приемную в богатом туалете. Немало было таких случаев: воспитанницу спрашивают, кто у нее был в последнее воскресенье. «Няня», — отвечает та, и не только классной даме говорит она это, но и своим подругам, а между тем к ней приходила ее родная мать, но она была бедно одета, и институтка отреклась от родной матери. Вот как был велик ужас сознаться в бедности своих родителей! Ни с кем не разговаривая в институте о семье, если она не была богатою, воспитанница скоро забывала о своем тяжелом материальном положении и делалась еще более чужою и далекою членам своей родной семьи. Матери, несколько лет не видавшие своих дочерей после их определения в институт, обыкновенно поражались нравственною переменой, происшедшею с ними за время разлуки.

Постепенно утрачивая естественные чувства, институтки сочиняли любовь искусственную, пародию, карикатуру на настоящую любовь, в которой не было ни крупицы истинного чувства. Я говорю о традиционном институтском «обожании», до невероятия диком и нелепом. Институтки обожали учителей, священников, дьяконов, а в младших классах и воспитанниц старшего возраста. Встретит, бывало, «адоратриса» (так называли тех, кто кого-нибудь обожал) свой «предмет» и кричит ему: «adorable», «charmante», «divine», «céleste»[30], целует обожаемую в плечико, а если это учитель или священник, то уже без поцелуев только кричит ему: «божественный», «чудный»! Если адоратрису наказывают за то, что она для выражения своих чувств выдвинулась из пар или осмелилась громко кричать (классные дамы преследовали нас не за обожание, а лишь

за нарушение порядка и тишины), она считает себя счастливою, сияет и имеет ликующий вид, ибо она страдает за свое «божество». Наиболее смелые из обожательниц бегали на нижний коридор, обливали шляпы и верхние платья своих предметов духами, одеколоном, отрезывали волосы от шубы и носили их в виде ладанок на груди. Некоторые воспитанницы вырезали перочинным ножом на руке инициалы обожаемого предмета, но таких мучениц, к счастью, было немного.

Мне так часто приходилось упоминать об «отчаянных», что я хочу сказать о них несколько слов. Как это ни странно, но «отчаянные» вследствие своего дерзкого поведения пользовались у нас некоторыми преимуществами. Хотя начальство их жестоко ненавидело, но в то время как классные дамы за ничтожные провинности награждали трепкой и пинками «кофулек», они несравненно более стеснялись с «отчаянными», особенно старшего класса, которые могли наговорить им много неподходящего; классные дамы называли это дерзостями, а большая часть воспитанниц — «правдою». Эта «правда» роняла авторитет дам перед классом, и они многое спускали «отчаянным», только бы лишний раз не услышать их дерзкие речи.

Существование «отчаянных» приносило некоторую пользу и остальным воспитанницам: во-первых, большинство их защищало не только собственные интересы, но и интересы класса, вступаясь чаще всего за тех, которые были несправедливо наказаны. Можно смело сказать, что отчаянное поведение некоторых воспитанниц старшего класса, где они были уже более находчивыми, несколько ослабляло грубый произвол и самодурство классных дам.

Каким образом могли существовать «отчаянные», когда начальство всегда могло выбросить их из института? Происходило это, вероятно, потому, что не так-то просто было уволить из института воспитанницу, которая была не по душе начальству. Когда начальница, осведомленная о дурном поведении той или другой воспитанницы, доносила об этом (еще в гораздо более ранние времена, чем те, которые я описываю) императрице Марии Федоровне, та не поощряла таких жалоб, а, напротив, ставила их в величайшую вину не только классным дамам, но и начальнице. Даже гораздо позже, когда высшее заведование институтом перешло к императрице Александре Федоровне, которая сравнительно с предшествующею государынею почти не занималась институтом, император Нико-

лай Павлович лично просил начальницу Леонтьеву оставить все порядки, весь строй и дух института, как это было при его матери, императрице Марии Федоровне. Однажды Леонтьева донесла императрице Александре Федоровне о том, что одну из воспитанниц следовало бы исключить за шалости. Императрицу это расстроило, тем более что она в это время была больна. Узнав об этом, Николай Павлович был страшно взбешен, что таким сообщением потревожили его супругу во время ее болезни, и немедленно приказал передать Леонтьевой, чтобы она не смела расстраивать его супругу донесениями о таких пустяках, как школьные шалости институток, и еще раз строго подтвердил, чтобы она всецело руководствовалась правилами, введенными для институтов его покойною матерью. После того Леонтьева, видимо, была более осторожна в своих донесениях: в ее письмах к императрице Марии Александровне проглядывает уже другой характер. «Некоторые девушки слишком резвы, но это так естественно в их юном возрасте» — вот в каком тоне писала она новой императрице. Вероятно, императрица Мария Александровна тоже не выказывала желания легко выключать воспитанниц из института. За все время моего воспитания из института были уволены только две воспитанницы и два раза хотели уволить меня, но это не удалось ни в тот, ни в другой раз. Вообще выкинуть воспитанницу из института было не так-то легко, в чем я убедилась впоследствии по собственному опыту, и вот этим-то я объясняю существование у нас «отчаянных».

Нравственное воспитание у нас стояло на первом плане, а образование занимало последнее место; вследствие этого наши учителя не имели никакого значения в институте. Все воспитание было в руках классных дам, являвшихся нашими главными руководительницами и наставницами.

Дочь бедных родителей, окончив курс в институте, шла в гувернантки, — это было почти единственное средство заработка для женщины того времени. Она могла быть и учительницей в пансионе, но их было слишком мало, чтобы приютить всех желающих. Институт редко принимал в классные дамы очень молодых девушек, а потому им по окончании курса в институте волей-неволей приходилось начинать свою жизнь с гувернантства. Умственно и нравственно неразвитая, — все ее образование заключалось в долбне и в переписывании тетрадей, — белоручка по воспитанию и привычкам, она не могла заинтересовать детей своим преподаванием, не имела и практического такта для того, чтобы дать отпор тогдашним

избалованным помещичьим детям. Положение гувернантки в крепостнический период было вообще самое печальное, а положение гувернантки-институтки вследствие полной неподготовленности к жизни было еще того хуже[31]. Меняя одно место на другое, выпив до дна полную чашу обид и унижений, девушка после нескольких лет гувернантства добивалась наконец места классной дамы, если только, конечно, во время своего институтского воспитания она сумела хорошо зарекомендовать себя перед начальством. За время гувернантства она не обновила своего умственного багажа, а только испортила характер и явилась на казенную службу уже особою озлобленной, с издерганными нервами, мелочною и придирчивою. Окруженная молодыми девушками, она не могла без зависти смотреть на молодые лица. В этом возрасте и она мечтала о счастье взаимной любви (других мечтаний в то время у молодой девушки не бывало), и они, как она, тоже, вероятно, рассчитывают выйти замуж за богатых и знатных, которые с обожанием будут склонять колени перед ними. Но ее мечты не осуществились, ее встретили в жизни лишь тяжелая зависимость и неволя... И с ними, думала она, будет то же, что и с нею, но они счастливее ее уже тем, что еще могут надеяться и мечтать!.. И новая классная дама сразу становилась с воспитанницами в официальные отношения, а затем делалась все более придирчивою и злою. Ее гувернантство не дало ей педагогической опытности, а если бы она и приобрела ее, то не могла бы применять ее в институте, где существовали особые правила и традиции для воспитания и где весь строй жизни был противоположен семейному.

В качестве классной дамы она продолжала влачить свою жалкую жизнь, не скрашенную даже привязанностью воспитанниц, вверенных ее попечению. Через несколько лет своей службы она уже была на счету «старой девы» и наконец сама приходила к окончательному выводу, что жизнь ее обманула, что больше ей уже не на что рассчитывать, и, разочаровавшись во всем и во всех, она начинала думать только о своем покое. Вот почему классные дамы так ревниво охраняли мертвую неподвижность, вот почему они не допускали шума даже во время игр и забав. Невежественные, мелочные, придирчивые, многие из них были настоящими «фуриями» и «ведьмами», как их называли. В маленьких классах они грубо толкали девочек, чувствительно теребили их; со старшими было немыслимо позволять это себе, но зато их можно было наказывать за всякий пустяк: за недостаточно глубокий реверанс, за смех, за обо-

рванный крючок платья, за спустившийся рукавчик, за прическу не по форме и т.д. до бесконечности.

К классной даме принято было обращаться *только* с просьбою: «Позвольте мне отправиться в музыкальную комнату для упражнения на фортепьяно», «Позвольте мне выйти в коридор», но вступать с нею в простой, человеческий разговор считалось непозволительною фамильярностью. Самым обычным наказанием было сорвать передник, поставить к доске на несколько часов, что обыкновенно сильно мешало приготовлять уроки к следующему дню. Некоторые классные дамы, наказывая воспитанницу младшего класса, не позволяли ей плакать: резко отрывая носовой платок от глаз ребенка, они кричали: «Souffrez votre punition, souffrez!»[32] Этим достигали того, что дети скоро переставали стыдиться наказания, а в старшем классе к нему уже относились совершенно равнодушно, как к неизбежной повинности. Я не буду говорить особо о наказаниях, так как о них то и дело приходится упоминать в этом очерке, но не могу не сказать несколько слов об одном из них, тем более что оно совершенно подрывало физические и нравственные силы девочек.

Известный детский ночной грех возбуждал к провинившейся бесчеловечное отношение со стороны всех без исключения окружающих. Это несчастие случалось с некоторыми воспитанницами обыкновенно в первый год их вступления в институт, следовательно, когда им было 9 или 10 лет. В младшем классе редко кто из девочек понимал позор доноса на подругу, и никто из них не умел разобраться в том, происходит ли несчастие с товаркой от дурной привычки или от болезни. Совершенно так же плохо были осведомлены на этот счет и классные дамы. Между тем те и другие твердо усвоили понятие о том, как постыдно не соблюдать чистоплотных обычаев. Как только утром воспитанницы вставали и одна из них замечала, что у подруги не все обстоит благополучно, она объявляла об этом во всеуслышание. Провинившуюся осыпали бранью, кричали ей, что она опозорила дортуар, и звали классную даму, которая надевала провинившейся мокрую простыню поверх платья и завязывала ее на шее. В таком позорном наряде несчастную вели в столовую и во время чая ставили так, чтобы все взрослые и маленькие воспитанницы могли все время любоваться ею. Тут опять на несчастную сыпался град насмешек и издевательств, отовсюду раздавались вопросы — из какого дортуара эта особа? Во время урока несчастную избавляли от позорного трофея, но когда

приходилось спускаться в столовую к завтраку и обеду, она опять была украшена им.

Этого несчастия воспитаннице никогда не удавалось скрыть от подруг, а между тем оно обыкновенно повторялось... Подруги, считая себя из-за нее окончательно опозоренными, все запальчивее выражали к ней ненависть и презрение, не называя ее иначе как позорными эпитетами, толкали, щипали ее. Чтобы предупредить повторение этой слабости, воспитанницы каждый раз, когда кто-нибудь из них просыпался, считали своею священною обязанностью будить несчастную. В дортуаре было до 30 девочек, они то и дело просыпались ночью и совсем не давали спать злосчастному ребенку. Понятно, что при этих нападках несчастие с ребенком начинало быстро учащаться и в конце концов делалось хроническим явлением. Такие девочки являлись настоящими мученицами. В то время как бедную девочку чуть не сживали со света, никто никогда не обратился к доктору, чтобы узнать, не подвержена ли она какой-нибудь болезни, не следует ли ее лечить, вместо того чтобы карать с такою жестокостью. Одна девочка, испытывая подобные пытки, из здорового, краснощекого ребенка, каким она поступила в институт, через полгода превратилась в хилое, желтолицее существо. В конце концов ее удалили из института. Когда через несколько месяцев после этого она приехала к нам навестить свою родную сестру, бывшую в старшем классе, — этот, еще недавно затравленный зверек имел вид веселый и здоровый.

Грубость и брань классных дам, под стать всему солдатскому строю нашей жизни, отличались полною непринужденностью. Наши дамы, кроме немки, говорившей с нами по-немецки, обращались к нам не иначе как по-французски. Они, несомненно, знали много бранных французских слов, но почему-то не удовлетворялись ими, и когда принимались нас бранить, употребляли оба языка, предпочитая даже русский. Может быть, это происходило оттого, что выразительною русскою бранью они надеялись сильнее запечатлеть в наших сердцах свой чистый, поэтический образ! Как бы то ни было, но некоторые бранные слова они произносили не иначе как по-французски, другие не иначе как по-русски. Вот наиболее часто повторяемые русские выражения и слова из их лексикона: «вас выдерут как сидоровых коз», «негодница», «дурында-роговна», «колода», «дубина», «шлюха», «тварь», «остолопка»; из французских слов неизменно произносились: «brebis galeuse» («паршивая овца»), «vile

populace» («сволочь»). Брань и наказания озлобляли одних, а к другим прививали отчаянность и бесшабашность, иных делали грубыми и резкими, а многих заставляли терять всякое самолюбие. И это естественно: там, где не действует убеждение, уже никак не может благотворно влиять наказание, в корне убивающее стыдливость.

Воспитание ограничивалось строгим надзором классных дам лишь за внешним видом и поведением учениц: они зорко наблюдали за тем, чтобы воспитанницы были одеты, кланялись, здоровались, отвечали на те или другие вопросы точь-в-точь так, как это было в институтских обычаях. За малейшее уклонение от общепринятого этикета классная дама могла карать по своему усмотрению. В младшем классе она в то же время обязана была объяснять детям уроки, заставлять их читать и писать на трех языках. Но эту обязанность выполняли очень немногие, и притом обыкновенно крайне формально и небрежно. Так же мало внимания обращали они на то, кто как учится, обнаруживают ли ответы ученицы ее способности или показывают полное непонимание и тупость. По своему невежеству и отсутствию педагогических способностей классные дамы не могли быть полезными кому бы то ни было, а тем более воспитанницам старшего возраста, с большинством которых у них были даже враждебные отношения. Надуть, обмануть, ловко провести классную даму, устроить ей какую-нибудь каверзу — в старшем классе считалось настоящим геройством. Как бы жестоко ни обращалась классная дама с воспитанницами, выполняла она или нет свои обязанности, не превышала ли своей власти — за этим никто не следил, даже инспектриса, хотя это было ее прямым долгом. Понятно, что воспитанницам некому было жаловаться на возмутительное обращение с ними классных дам.

M-lle Нечаева, дортуарная дама одного из отделений кофейного класса, всегда отличавшаяся необыкновенною неуравновешенностью своего характера, начала вдруг приходить все в большее нервное расстройство: то и дело немилосердно трепать кофулек, бросала в них книгами, беспрестанно ставила их на колени в угол, оставляя в таком положении по нескольку часов. Из ее дортуара вечно раздавались крики, стоны, слезы. Девочки приходили в класс и столовую с распухшими от слез глазами. Скоро к этому присоединились и новые выходки m-lle Нечаевой, от которых ее питомицам приходилось страдать еще тяжелее: по ночам она внезапно вбегала в дортуар с криком «вставайте!», хватала за руку спящих детей и заставляла их одеваться, а затем вопила пронзительным голосом:

«На молитву! Господь прогневался на вас!» При этом она бросалась на колени, увлекая за собой и детей. В то же время она сильно изменилась: исхудала, не ходила, а как-то суетливо бегала, громко разговаривала сама с собою; если кто-нибудь обращался к ней с замечанием, она подымала шум, возню, скандал. Начальство по этому поводу таинственно перешептывалось между собой, но никто ее не трогал и, вероятно, долго не тронул бы, если бы ее похождения ограничились лишь ее дортуаром; но они приняли более широкие размеры. Однажды, разбудив воспитанниц и не дав им времени одеться, Нечаева потащила их молиться в класс, добираться до которого приходилось через несколько коридоров. Армия босоногих девочек, из которых многие были в одних рубашках, с отчаянным криком и плачем бежала за нею. После молитвы в классе Нечаева отправилась с детьми в апартаменты инспектрисы. Но к этому времени m-me Сент-Илер уже успела приготовить все, чтобы отправить ее в сумасшедший дом. Инспектриса превосходно знала, что Нечаева уже несколько месяцев до этого происшествия по ночам будила детей и жестоко терзала их, но не ударила палец о палец, пока та не привела к ней ночью полуголых детей.

Прошло уже более полугода после моего вступления в институт, а я совсем еще не могла приспособиться к раннему вставанию, голоду и холоду. Я вечно тряслась от лихорадки, а временами так кашляла, что будила подруг по ночам, днем же мешала им слушать уроки. В то же время меня так одолевала сонливость, что я машинально исполняла приказания, была вялою и неразговорчивою. Классные дамы решили, что я послушная девочка, и выказывали ко мне даже внимание: как только я им попадалась на глаза, они всегда находили, что я больна, и посылали меня в лазарет.

В то время для измерения температуры тела не применяли термометра: лихорадку доктор определял по пульсу и ощупывая лоб своими руками. Проделав со мною все, что при этом полагалось, он говорил, обращаясь к надзирательнице: «Ее всегдашняя болезнь — лихорадка. Поспит, поест, обогреется — и завтра же будет здорова, а отправится в класс — опять то же будет... В помещичьих-то домах жарко топят, плотно кормят, тепло укрывают; натурально, что такие дети не могут выносить у нас температуры девять и восемь градусов».

И я блаженствовала. Мне нравилось даже то, что служащие в лазарете называли друг друга по именам, точно на воле. Не страдая более от

холода и голода, я крепко засыпала и на другой день вставала здоровою. Мое благополучие продолжалось до тех пор, пока не приводили нескольких воспитанниц, страдавших таким же недомоганием. Я смотрела на них, как на врагов, хотя понимала всю законность моего изгнания из лазарета, в который я то и дело возвращалась и где проводила не только дни, но недели и месяцы.

Единственным утешением и отдыхом от неприглядной институтской жизни служил лазарет. Ведь его служащий персонал — доктор, надзирательница, лазаретная дама — были простые, добрые существа, стоявшие в стороне от институтских интриг; все они обращались с нами участливо и добропорядочно. Доктор прекрасно понимал, что причиною малокровия и лихорадок, которыми воспитанницы страдали в первый год своей институтской жизни, были скудное питание и суровая жизнь, и охотно держал в лазарете слабых здоровьем, а по выходе из него многим прописывал молоко или на некоторое время больничную пищу, — более он ничего не мог сделать. Лазарет, в котором воспитанницы могли выспаться вволю, где они отдыхали душой и телом, спасал многих из них от преждевременной гибели. В него шли охотно даже тогда, когда туда отправляли в наказание, что, впрочем, практиковалось у нас довольно редко и исключительно в старшем классе.

Несмотря на крайне неблагоприятные условия институтской жизни того времени, процент смертности среди воспитанниц был сравнительно ничтожен. По словам одного врача, серьезно занимавшегося исследованием причин этого явления, это происходило прежде всего оттого, что при самом ничтожном заболевании лихорадкою, головною болью, незначительным расстройством желудка воспитанниц немедленно отправляли в лазарет и укладывали в кровать, — таким образом, в самом начале заболевания мешали дальнейшему развитию болезни. Сильному распространению зараз и заболеваний препятствовали также чистота и опрятность хорошо вентилируемых помещений, регулярная жизнь и строго определенное время для сна и еды, что в сильной степени ослабляло возбужденное, нервное состояние воспитанниц. Но если процент смертности среди воспитанниц был сравнительно невелик, зато было чрезвычайно много болезненных, исхудалых, малокровных и нервных.

Возвращаясь из лазарета в класс, я уже через несколько часов чувствовала озноб и сонливость. Если это было в те часы, когда подруги готови-

ли уроки к другому дню, я устраивала себе ложе между скамейками: несколько учебников, покрытых байковою косынкой, служили мне подушкой; я опускалась на пол к ногам подруг, которые усердно зубрили уроки; они бросали на меня свои платки, и я засыпала. Дежурная дама не могла заметить меня, а если невзначай вспоминала о моем существовании, то «сторожихи», у ног которых я лежала между скамейками, толкали меня, и я вскакивала как ни в чем не бывало. На вопрос классной дамы, откуда я взялась, я отвечала, что искала учебник.

Сонливость и лихорадка, от которых я страдала в первый год институтской жизни, вечное пребывание в лазарете, все более развивающаяся лень из рук вон плохо отражались на моих занятиях. Этому содействовал и обычай, крепко укоренившийся в нравах учителей: если воспитанница несколько раз плохо отвечала кому-нибудь из них, он переставал вызывать ее, и она могла оставить заботу о своем учении, уверенная, что он не потревожит ее в продолжение учебного сезона. За нерадение в учении и за плохие отметки никто с нас не взыскивал, никого не беспокоила мысль, что воспитанница бросила учиться.

Изо всего штата классных дам, озлобленных ханжей, придирчивых и до крайности тупых, резко выделялась моя дортуарная дама m-lle Верховская. В ту пору, о которой я говорю, ей было лет двадцать пять—двадцать шесть. Она была не только самою умною и образованною между ними, но и самою красивою и молодою. Остальные дамы редко выезжали из института в свои свободные дни, ее же в такое время никогда не было дома, — у нее, видимо, было немало знакомых семейств. Она не только много читала, но даже обстановка ее комнаты носила иной характер, чем у других: над ее столиками и на стенах висели красивые этажерки с книгами, стоял шкаф, наполненный книгами в красивых переплетах, — это были произведения классиков на русском и трех иностранных языках, которые она прекрасно знала и теоретически и практически. Ее молодость, красота, превосходное знание языков, несравненно более высокий уровень образования, обстановка ее комнаты, даже ее простое форменное платье, изящно охватывавшее ее стройную высокую фигуру, — решительно все возбуждало к ней неутолимую зависть ее товарок. Они не только вечно сплетничали про нее, интриговали, делали ей какие-то намеки и бесцеремонно подглядывали за нею, когда кто-нибудь ее навещал, но наблюдали даже за ее отношениями к воспитанницам ее дортуара —

одним словом, делали ее жизнь просто невыносимою. Все это, видимо, страшно раздражало ее, чрезвычайно вредно отзывалось на ее уже от природы крайне неуравновешенном характере, испорченном институтским воспитанием и, как говорили мне впоследствии, ухаживаниями светских кавалеров, между тем как это существенно все же не меняло ее судьбы.

Только она одна считала своею обязанностью объяснять уроки воспитанницам своего дортуара, кое-что рассказывать им, заставлять их читать. К несчастью, ей не часто приходилось заниматься с детьми: в свободные дни она уезжала, а в дни дежурств иной раз так погружалась в чтение, что не видела и не слышала, что делалось вокруг. Не приходилось ей часто заниматься и потому, что между нею и нами от времени до времени наступали крайне враждебные отношения, когда все без исключения, точно по уговору, употребляли все средства, чтобы держаться от нее в сторонке, и отказывались от занятий, придумывая ту или другую причину. M-lle Верховская, когда находилась в хорошем настроении, была доброю, милою, умною, даже обворожительною, и становилась невозможною, когда на нее нападали периоды гнева и вспышек, — тогда мы боялись ее больше всех классных дам. В такие периоды мы сидели в дортуаре так тихо, что не смели пошевельнуться, осторожно перевертывали страницы учебника, и у нас стояла гробовая тишина: никто не поверил бы тогда, что тут в огромной спальне сидит более тридцати девочек, и притом в свободное от уроков время.

Картина совершенно менялась, когда между нами и Верховской царствовали мир и согласие. Воспитанницы так свободно, как ни в одном дортуаре, расхаживали тогда по своей огромной спальне, громко разговаривали между собой, и от времени до времени раздавался даже веселый смех. Но вот одна из них подходит к запертой двери комнаты Верховской и кричит по-французски: «Пожалуйста, mademoiselle, расскажите нам что-нибудь или почитайте». К ней присоединяются и остальные подруги, и все то же самое на разные лады кричат ей в дверь, которая скоро открывается. Верховская появляется с милым, добрым выражением лица и садится читать «Записки Пиквикского клуба» или что-нибудь в этом роде и вместе с воспитанницами заливается громким смехом. Также любили мы слушать ее рассказы о том, что она видела в театре, или то, что ей удалось только что прочитать. Иногда эти чтения, которые мы обожали, это мирное отношение к нам Верховской продолжалось месяц-другой, и

мы просто блаженствовали. Но вдруг все менялось, как по мановению волшебного жезла.

Был праздничный день, и мы после обеда пришли в дортуар. Верховская заявила нам, что будет читать, позвала всех в свою комнату, насыпала в передник каждой из нас по горсти орехов и сластей и приказала садиться тут же. Комнаты классных дам были невелики, и мы разместились не только на ее немногих стульях и диванчике, но и на полу. Прежде всего она начала передавать нам содержание одной комической сценки из балета. Пожевывая сласти и щелкая орехи, мы громко смеялись. Вдруг в комнату вваливается Тюфяева.

— Какая... можно сказать, умилительная картина! Вас тешит их обожание... Как вы еще молоды! А я так плюю, когда они меня обожают и когда ненавидят.

С первых слов этой дамы воспитанницы вскочили с своих мест.

— Кажется, я ничего не сделала недозволенного?

— Едва ли такое баловство дозволено у нас. Кроме вас, никто не позволяет себе таких фамильярностей с воспитанницами! Впрочем, я спрошу у инспектрисы, может быть, она это и одобрит... — И Тюфяева вышла из комнаты.

Верховская сделала вид, что это не произвело на нее никакого впечатления, взяла книгу и начала читать, но читала без выражения, и через несколько минут с деланным спокойствием заявила:

— Мне надо писать письма... Идите к себе...

Девочки вошли в дортуар и сгрудились в противоположном конце его, откуда их тихие разговоры не были слышны и Верховской. «Может быть, еще и сойдет!» — шептала одна из них. «Держи карман!.. Всем достанется на орехи за орехи!..» — острила Ратманова. «Знаете что, станем на колени перед образом и произнесем двенадцать раз сряду: "Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его..."», — предложила Ольхина. Это молитвенное воззвание, по мнению институток, должно было спасать от всяких напастей. Но на этот раз такое предложение вызвало только раздражение.

В дортуар вбежала пепиньерка и заявила Верховской, что m-me Сент-Илер зовет ее к себе. Она возвратилась, когда нас уже нужно было вести в столовую. После чая и молитвы, не разговаривая с нами, она быстро направилась в свою комнату и изо всей силы захлопнула дверь за собой.

Мы рады были и тому, что она не оставалась с нами. Мы уже рассчитывали на то, что на этот раз, пожалуй, все пройдет благополучно. Однако на другой день она встала мрачнее тучи, объявила, что, несмотря на то что это ее свободный день, она останется дома и будет с нами заниматься вечером.

Когда мы вошли в дортуар, она сухо проговорила, что обещала учителю французского языка заставить нас спрягать глаголы. Она была бледна, хваталась за голову, как от головной боли, и приказала нам садиться. Мы разместились на двух скамьях у стола, а она — у конца его, на стуле. Девочки по ее приказанию по очереди начали спрягать глаголы, но то и дело ошибались, как оттого, что плохо знали, так и оттого, что их пугал мрачный вид и расширенные зрачки Верховской. «Тупицы! Идиотки!» — злобно кидала она, причем одну воспитанницу так толкнула, что та стукнулась головой об стену, с другой сорвала передник и затем нескольких прогнала от себя толчками. Дошла очередь до меня. «Как? Как? Начинай снова! — топнув ногой, грозно закричала она на меня. Окрик Верховской заставил меня окончательно растеряться. — Ведь на днях еще я заставляла тебя спрягать тот же глагол!.. Ты знала... Значит, теперь понадобились фокусы, надругательства!..» Она встала со стула и так рванула меня за руку, что я громко закричала от боли.

Зазвонил колокол. Она приказала всем, кроме меня, отправляться в класс, чтобы идти с другими в столовую, а меня толкнула в угол, пиная при этом ногами, надавила руками на плечи так, что я грохнулась на колени; после этого она сейчас же ушла к себе. Когда через несколько минут она вышла оттуда, ее щеки горели багровым румянцем, глаза были налиты кровью, она схватила меня за плечи трясущимися от волнения руками, подняла с колен и начала срывать с меня передник и платье. При этом она осыпала меня обычною бранью классных дам на русском и французском языках, не щадя упреков и попреков за свои благодеяния: «Гадина!.. Проспала чуть не весь год!.. Я трудилась с нею, заставила ее догнать других!.. Вот и благодарность... Подлые, грязные душонки!» Ее руки так тряслись, что я вывернулась от нее и побежала с криком к двери. Она догнала меня, втянула в свою комнату, замкнула дверь и, вся трясясь как осиновый лист, продолжала срывать принадлежности моего туалета, но от волнения это ей не удавалось, и она схватила уже заранее приготовленный жгут — и ну осыпать меня ударами по лицу, плечам, голове. Вероятно, она сильно избила бы меня, но в эту минуту снизу послышал-

ся шум, означавший, что воспитанницы встают из-за стола. Верховская бросила жгут и вдруг сунула мне кружку с водой и полотенце, вероятно желая заставить меня вытереть лицо. Но я бросила кружку об пол с криком: «Я все скажу... родным напишу... не смеете драться!»

Когда воспитанницы вошли в спальню, я, рыдая, начала рассказывать им об истязании, только что совершенном надо мною. Чтобы Верховская могла слышать, я нарочно выкрикивала во все горло, но спазмы душили меня, и я бросала только отдельные слова. Наконец я сорвалась с своего места, побежала к образу, упала на колени и, захлебываясь слезами, во всеуслышание произносила клятву перед Богом о том, что с этой минуты я даю слово вечно быть «отчаянной», дерзить и грубить всем подлым дамам, а этой злюке, этой змее подколодной более всех, и призывала в свидетели подруг! При тогдашней моей умственной и нравственной неразвитости эта клятва долго терзала меня, и я не могла отделаться от нее, даже будучи взрослой, несмотря на то что выполнять ее для меня было крайне тяжело, и в конце концов я уже начала сама сомневаться в том, следует ли мне быть ей верною.

Однако Верховская была настолько тактичною, что не давала мне повода дерзить ей. Она, конечно, слыхала мою клятву, знала по выражению моего лица, что я начала крайне враждебно относиться к ней, но она больше не обращала на меня ни малейшего внимания, перестала спрашивать у меня уроки, не заставляла меня читать, не подзывала к себе, старалась не произносить моего имени — одним словом, совершенно оставила меня в покое. Но зато я начала дерзить m-lle Тюфяевой и другим классным дамам и скоро почти официально была причислена к разряду «отчаянных».

За громкий разговор Тюфяева тянет меня к доске, я не упускаю случая сказать ей что-нибудь в таком роде: «Вам не дозволено вырывать у нас рук».

— Будешь стоять у доски два часа!

— Я скажу завтра учителю, что вы не даете мне учиться...

— Сбегай на нижний коридор, попроси солдата купить мне хлеба, — обращается ко мне кто-нибудь из подруг. Если я указываю, что по площадке нижнего коридора только что проходила классная дама, мне обыкновенно возражают: «Какая же ты отчаянная, если не можешь сделать и этого?» Трясусь, бывало, от страха, но употребляю все усилия, чтобы не обнаружить его перед другими, и, проклиная свою злосчастную долю, пускаюсь в опасное предприятие из страха погубить свою репутацию «от-

чаянной». Мои похождения далеко не всегда увенчивались успехом, может быть потому, что быть «отчаянной» не было моим призванием: меня то и дело ловили на месте преступления и наказывали. Но я продолжала соблюдать неизменную стойкость и верность принципам «отчаянной», что навлекало на мою голову не только наказания, но и приносило мне душевные терзания, тем не менее все свои выходки и дерзости начальству я старалась делать с веселым видом, желая показать, что мне все нипочем.

После описанного выше происшествия Верховская заметно становилась все более оживленною и веселою, все реже нападали на нее припадки вспыльчивости и гнева, да и они не проявлялись уже в столь острой форме. Однако и в наступившие теперь длинные периоды своих любезных отношений с воспитанницами она уже более не усаживала их в своей комнате и не оделяла сластями, — это, видимо, было запрещено ей тогда же инспектрисой. Теперь, когда она читала с воспитанницами, я уходила на другой конец дортуара и садилась на табурет, но она мне не делала никаких замечаний по этому поводу. Ее безоблачное настроение сделалось наконец обычным явлением, и она заявила нам, что выходит замуж и скоро навсегда оставляет институт.

ГЛАВА III
ИНСПЕКТРИСА, ЕЕ ХАРАКТЕР И ЗНАЧЕНИЕ

Как легко было классной даме оклеветать воспитанницу. — Последствия институтской конфузливости. — Посещение лазарета императором Александром II

Кто был непосредственною начальницею Александровской половины Смольного? Кто управлял штатом служащих, начиная с классных дам и кончая горничными? Начальница Леонтьева была верховною главою двух институтов, но если бы она даже захотела, то не имела бы возможности вникать во все, что делалось в Александровском институте, тем более что она жила на Николаевской половине. Наша инспектриса, m-me Сент-Илер, которую мы называли «maman», по официальному своему положению была нашею прямою начальницею. Но Леонтьева была слишком властолюбива, чтобы выпустить что-нибудь из своих рук. Этому содейство-

вала и полная бесхарактерность m-me Сент-Илер, оказавшейся марионеткою в руках начальницы. Леонтьева не довольствовалась тем, что давала тон и направление двум институтам и стояла на страже консервативных начал, но требовала, чтобы наша инспектриса докладывала ей о всякой мелочи, о шалостях и грубости воспитанниц, об интригах классных дам, о каждом мало-мальски выходящем из общего уровня происшествии, о сомнительном, по ее понятиям, слове учителя, — решительно обо всем. При малейшем желании инспектрисы уклониться от навязанной ей роли старейшая из наших классных дам, Тюфяева, без церемонии угрожала ей тем, что она сейчас же обо всем донесет начальнице, и, не давая той опомниться, быстро приводила в исполнение свою угрозу. Но и при своем подчиненном положении инспектриса могла бы все-таки настоять на том, чтобы, например, эконом сокращал свои алчные аппетиты и не так быстро наживался на счет здоровья воспитанниц, могла бы она требовать и смены классной дамы, зарекомендовавшей себя возмутительным обращением с детьми. Одним словом, если бы она не могла сделаться вполне самостоятельною, на что ей давало право ее положение, но для чего нужно было обладать мужественным характером, все же она могла бы быть чем-нибудь полезною воспитанницам. Но m-me Сент-Илер ни в каком отношении не умела себя поставить как следует и приносила воспитанницам скорее вред, чем пользу. Этому не поверил бы тот, кто имел возможность лично узнать ее (но не в качестве инспектрисы), — такое производила она на всех чарующее впечатление. Умная и для своего времени весьма образованная, по натуре гуманная, миролюбивая, добрая, деликатная, даже сердечная и любящая детей, она сохранила и под старость какое-то элегантное изящество, следы поразительной красоты и представительности. Но как инспектриса она не умела дать отпора никому, не могла никого защитить и была в подчинении у своих же подчиненных, даже как-то боялась их всех. Это происходило не оттого только, что она лишена была твердой воли, но, видимо, и оттого, что она боялась потерять место инспектрисы, дававшее ей возможность существовать, содержать и воспитывать своих детей, которых она боготворила. Болезненной, вечно страдающей жестокими мигренями, ей так же, видимо, сильно хотелось тихо, покойно, без дрязг и историй доживать остаток своих дней.

М-me Сент-Илер была вполне осведомлена относительно всего, что у нас творилось. Иначе и быть не могло: она посещала классы и дортуары по нескольку раз в день, ежедневно встречалась с классными дамами,

вечно враждовавшими между собой и доносившими ей друг на друга, а еще чаще на воспитанниц, и, таким образом, имела полное представление об их нравственном и умственном убожестве, но у нее не хватало мужества решительно запретить классной даме делать то или другое, указать кому-нибудь из них на ее поведение, предосудительное для воспитанницы. То одна, то другая из них прибегала к ней с жалобой на одну из воспитанниц. M-me Сент-Илер не входила в разбор дела, не доискивалась того, кто из них прав, кто виноват. Она немедленно звала к себе обвиняемую и мягко журила ее в таком роде: «Это нехорошо, мое дитя... Это меня огорчает!.. Надеюсь, что это больше не повторится!» Она была слишком умна и не могла думать, что вся ее обязанность инспектрисы, вся ее педагогическая мудрость должны были ограничиваться лишь подобными внушениями. Таким образом, m-me Сент-Илер, несмотря на свою личную безусловную порядочность, мягкость и доброту, была особой с совершенно ничтожным характером. Вот потому-то грубость и произвол классных дам, особенно в младших классах, проявлялись при ней с такою жестокостью, как ни при какой другой инспектрисе.

Не было примера, чтобы самая отчаянная воспитанница когда-нибудь сказала «maman» какую-нибудь дерзость. Да она никогда и не вызывала на это: со всеми нами она обращалась в высшей степени вежливо и деликатно, а дежурным (две воспитанницы старшего класса по очереди сидели в ее комнатах в внеурочное время для разных поручений, например позвать к ней ту или другую классную даму или передать что-нибудь от ее имени) она выказывала лишь ласку и внимание. Хотя она ни в одной области институтской жизни не приносила существенной пользы, но воспитанницы любили ее уже за одно то, что она представляла полную противоположность классным дамам; к тому же, будучи умственно неразвитыми, мы, особенно в младшем классе, как-то мало думали и разговаривали о том, кто виноват в нашем тяжелом положении.

Прием родственников происходил у нас два раза в неделю: по воскресеньям с часу до трех и по четвергам с шести до восьми часов вечера. Воспитанницы, ожидавшие родственников, расхаживали парами вокруг залы, где сидели те из них, к которым уже пришли родные. Посреди залы прогуливались дежурные дамы и пробегали дежурные воспитанницы.

В первые годы моей институтской жизни меня посещал мой дядя[33] с своею женою — единственные родственники, которые были у меня тогда в Петербурге. Эти посещения приводили меня в восторг. Материальное

положение моей матери было крайне тяжелое в это время: четыре-пять рублей в год, которые она высылала мне, все без остатка уходили на удовлетворение главных моих потребностей, но их далеко не хватало даже на это, а о том, чтобы затратить хотя несколько копеек на увеличение моего скудного пищевого пайка, я не смела и думать. Но меня еще более угнетала мысль, что моя бедность заметна для всех, что на меня с презрением смотрят за это классные дамы. Даже в самую откровенную минуту с наиболее любимыми подругами я никогда никому ни единым словом не проговорилась о тяжелом материальном положении моей семьи. Посещение меня богатыми родственниками сильно помогало мне сбивать с толку окружающих насчет моего материального положения, но, конечно, потому только, что классные дамы и подруги судили о достатках людей по внешности, не имея представления об их взаимных отношениях. Мой дядя, важный генерал, грудь которого была украшена бриллиантовою звездой и орденами, и его жена, в модном туалете, приезжали ко мне в блестящей карете, с лакеем на запятках, который в то время, когда они сидели у меня, стоял в нашей передней, нагруженный их верхним платьем. О, все это так импонировало в институте, производило такой фурор, что классные дамы не решались с улыбкой сожаления или презрения, как они это делали относительно некоторых моих подруг, высказывать мне замечания насчет моего дяди, а между тем он своим поведением то и дело нарушал институтские правила. Наши родственники в приемной должны были разговаривать с нами тихо или вполголоса, мой же дядя, будучи человеком в высшей степени экспансивным и смешливым, не только громко разговаривал со мной, но от времени до времени его неудержимый смех гулко прокатывался по всей зале.

— А это кто же такой? Да ведь это настоящая жаба! — вдруг вскрикивал он.

Я наклонялась к дядюшке и начинала объяснять ему, что это классная дама, что если это дойдет до ее ушей, мне сильно достанется от начальства.

— Начальство? Это твое начальство? — И дядюшка сейчас же менял тон. Хотя глаза его продолжали смеяться, но он строго говорил мне, грозя пальцем: — Смотри у меня, Элизэ!.. Начальство уважать прежде всего! Чтобы никто о тебе дурного слова мне не сказал.

Однако это не мешало моему легкомысленному дядюшке сейчас же делать вслух новое, еще менее лестное замечание о какой-нибудь другой классной даме. Зато неизменно восторгался он внешностью нашей пред-

ставительной, красивой инспектрисы и однажды, не будучи в силах совладать с своими чувствами, подошел к ней и с величайшей галантностью выразил ей свое глубочайшее уважение. Как бы то ни было, но в то время когда другим воспитанницам после посещения родственников классные дамы зачастую делали замечания, вроде следующих: «Извольте предупредить вашего брата, что у нас не принято разговаривать так громко; потрудитесь передать ему, что это крайне неприлично!..» — мне никто никогда ничего подобного не говорил.

Посещения дяди доставляли мне удовольствие не только потому, что он являлся ко мне в блеске военного величия и богатства, и не потому, что он приносил мне безделушки, вроде красивых альбомов, шкатулочек, дорогие конфеты, но и потому, что, будучи добрым человеком и прекрасным родственником, он был ко мне очень нежен, и я чувствовала всю искренность его привязанности. К тому же, в то время когда мои подруги жаловались на то, что их родственники не интересуются «институтскими историями», дядя подстрекал меня рассказывать их, и в такие минуты то и дело раздавался его раскатистый смех.

Когда шел второй год после того, как я перешла в старший класс, дядя как-то письменно известил меня о том, что мой младший брат[34], окончив курс в провинциальном корпусе, переведен в петербургский дворянский полк[35], что теперь он будет часто посещать меня и в первый воскресный прием явится ко мне вместе с ним.

В тот день, когда я, ожидая родственников, вошла в залу, дядя уже направлялся ко мне, а сзади него следовал молодой человек, — я поняла, что это был мой младший брат, Заря. Когда он поднял на меня глаза, я тотчас узнала его, хотя долго не видала, и к моему сердцу, окаменевшему в атмосфере казенщины, вдруг, неожиданно для меня самой, прилила теплая струйка крови, и я, забыв институтский этикет, со слезами бросилась в его объятья.

— Ты знаешь, — обратился дядя к брату, когда мы несколько успокоились после первых минут свидания, — они ведь здесь обожаниями занимаются... обожают даже сторожей, ламповщиков...

Превратившись в настоящую институтку, я с институтским гонором и с институтскими понятиями о чести энергично отрицала это обвинение, с наивною гордостью выставляя на вид, что у нас никто еще никогда не обожал никого ниже дьякона, что все это могло быть в других институтах, но никак не у нас.

— Да это бесподобно! — хохотал дядя. — Чем же выражается у вас это обожание?

Я начала рассказывать о том, какие слова кричат обожаемым учителям, как им обливают пальто и шляпу духами, и при этом указала, что воспитанница, сидевшая в ту минуту близко от нас, обожает учителя рисования, что у него под носом пятно от табака, что он нюхает его, как только выходит из класса, а на лбу у него громадная грязная бородавка.

— Как, вы обожаете и безобразных, и старых, и даже неопрятных?

Я очень удивилась такому вопросу и объяснила, что кроме таких учителей у нас и нет почти других.

— Ну, а священнику как вы выражаете свое обожание?

— Адоратрисы в первый день Пасхи вместо яиц дарят ему красиво вышитые шелками мячики, натирают духами губы, когда христосуются с ним... — При этом я сообщила, что одна воспитанница призналась священнику на исповеди, что она обожает его, как Бога. Он рассердился на нее, сказал, что она превращает исповедь в забаву, и объявил, что лишает ее причастия. Она испугалась, что это узнают классные дамы, умоляла его простить ее и не выходила из исповедальни до тех пор, пока не выпросила у него прощения.

— Как это все нелепо, глупо и пошло! — вдруг произнес мой брат. Дядя очень рассердился на него за эту ненужную с его стороны серьезность и просил его оставить в неприкосновенности мою наивность. Чтобы дискредитировать брата в моих глазах, дядя, хотя и шутливо, сообщил мне, что мой младший брат Заря и в подметки не годится старшему, Андрюше[36], который оказывается настоящим бравым офицером, лихим служакою, дамским кавалером, чудесным танцором, а потому, наверно, сделает блестящую военную карьеру. Что же касается брата Зари, то, по словам дяди, он напрасно и числится-то военным, так как день и ночь корпит над книгами. Он тут же начал советовать ему перейти в военную академию, просил не навязывать мне книг, не «развивать меня», как это делают теперь многие молодые люди, и говорил, что это совсем не нужно девушке, что ее прозовут за это «синим чулком».

Я успокоила дядю, говоря, что не люблю читать, что наше начальство совсем не обращает внимания на наше учение, что оно следит только за нашим поведением.

— Хвалю ваше начальство! Очень хвалю! Действительно, девушке нужна только нравственность...

Как только дядя распростился с нами и мы остались вдвоем с братом, он заметил, что для дочерей дяди, как для богатых девушек, может быть, и ничего не нужно более, как только заботиться о своей нравственности, но что мне, бедной девушке, очень даже невредно подумывать о том, чтобы запастись знаниями.

Эти рассуждения брата мне напомнили внушения матери о бедности, которые она так часто любила делать нам, своим детям, о чем я в институте старалась забыть и уже почти достигла этого. И вдруг брат, который навестил меня в первый раз после долгой разлуки, напоминает мне об этом! Замечания брата как-то сразу охладили мое теплое, родственное чувство к нему, явившееся у меня при встрече с ним в первую минуту. На его вопрос, что мы проходим у преподавателя словесности, я с гордостью отвечала ему, что Лермонтов изложен у нас на восемнадцати страницах, а Пушкин даже на тридцати двух. Из ответов, которые я давала брату, он пришел к правильному заключению, что я не читала ни одного произведения наших классиков.

— Какой у вас дурацкий учитель литературы! Вы, видимо, и выучились здесь только обожанию!

Хотя я тяжело страдала от уклада институтской жизни и от всего его режима, но миазмы стоячего институтского болота уже достаточно пропитали мой организм, и я считала низостью спустить брату его оскорбительное замечание об институте, которым я гордилась, несмотря ни на что, и об учителе, которого мы считали гениальным, а потому высокомерно возразила ему:

— Должно быть, не все такого мнения, как ты, о нашем институте, так как он всюду считается первоклассным в России!.. А наш преподаватель словесности и литературы Старов[37] — знаменитый поэт, перед которым преклоняются даже такие дуры, как наши классные дамы.

— Такого знаменитого поэта в России нет, и классные дамы преклоняются перед ним только потому, что они дуры...

Это было уже слишком, и я вскочила, чтобы убежать от него, не простившись. Но брат вовремя схватил меня за руки. Он долго и нежно уговаривал меня, просил меня извинить его и в конце концов заявил, что я непременно должна заниматься чтением, что он будет носить мне книги. Я наотрез отказалась от этого предложения, говоря, что у нас столько переписки, столько обязательных занятий, что у меня нет свободной минуты. И, видя, что я все порываюсь уйти, брат переменил тему раз-

говора. Он стал рассказывать мне о том, как матушка уже теперь мечтает приехать за мной в Петербург к моему выпуску, как она давно копит для этого деньги, откладывая по нескольку рублей в месяц.

— Такие жертвы! Зачем? — вдруг вырвалось у меня помимо воли.

— Как зачем? — с изумлением воскликнул брат. — Ты даже после долгой разлуки не желаешь увидеть родную мать?

— Конечно, я желаю видеть маменьку... Но если это так трудно для нее?.. Вероятно, дядя согласится взять меня к себе... Пожалуйста, уговори ее не приезжать ко мне... Право же, это вовсе не нужно... Уверяю тебя, что я устроюсь...

Мой брат заподозрил, что я имею какие-нибудь веские причины отказываться от приезда матушки, начал ловко выспрашивать меня, и я откровенно высказалась по этому поводу. Я напомнила ему о том, что матушка не только не стыдилась бедности, но чуть не хвасталась ею... Здесь же на это иначе смотрят. Что же делать!.. Не все могут быть одинакового убеждения, не все находят, что бедность — такое счастье, которым можно хвастаться! Если матушка приедет брать меня из института, она, наверно, явится сюда в тех же платьях, которые у нее были пошиты еще тогда, когда она привозила меня. А ведь с тех пор моды совсем изменились!..

«Как ты думаешь, — обратилась я к брату, — очень мне приятно будет, когда ее станут высмеивать здесь за ее туалеты?»

— Довольно! — вдруг произнес брат с страшным гневом, резко отодвигая свой стул. — Так вот чему тебя здесь научили! — Он весь побагровел и вышел, не простившись со мною.

Я не только не понимала всей глубины пошлости, сказанной мною, но и не умела хорошенько разобраться даже в том, за что на меня так рассердился мой брат; тем не менее с каждым днем я все более и более страдала от разрыва с ним. Всю вину за эту ссору я сваливала на него. «Как это дико, — думала я, — он требует, чтобы все в институте придерживались такого же мнения, как наша матушка». Я нашла, что мои подруги были вполне справедливы, когда утверждали, что родственники и все живущие вне института никогда не могут вполне понять институтку. Но это открытие не доставило мне ни малейшего утешения, и сердце мучительно ныло при мысли, что самый близкий мне человек в Петербурге, мой родной брат, не будет более навещать меня.

Мое мрачное настроение усиливалось еще вследствие письма, полученного мною от любимой сестры Саши через брата в первое свидание

с ним. Хотя воспитанницы и их родственники обязаны были переписываться не иначе как через классных дам, которые должны были перечитывать все отправляемые и получаемые ими письма, но громадное большинство пользовалось всяким случаем сообщаться между собою без всякого контроля.

До посещения меня моим братом я все реже и реже вспоминала о своем доме и о своих близких, но после ссоры с ним каждый раз, ложась в постель, я не могла отделаться от воспоминаний о прошлом. Мне приходили на память давно забытые, печальные события моего злосчастного детства или вырисовывалась то одна, то другая картина моего жалкого существования в институте: наказания классных дам с их воркотнею и грубою бранью, мои жестокие обязанности в качестве «отчаянной», муки раннего вставания, голода и холода. Память цеплялась за все самое мрачное в моей жизни, выдвигала лишь печальное. С невыразимою тоскою и с обидою на судьбу я все сильнее начала чувствовать весь ужас своего одиночества, всю свою заброшенность, полную оторванность от всего близкого и родного. И, уткнувшись ночью в подушку, чтобы не разбудить подруг, я рыдала, рыдала без конца. «Что из того, — думала я, — что у меня много подруг: я не могу ни с кем из них говорить о своих домашних делах!» Боязнь, что кто-нибудь узнает о бедности моей семьи, мешала мне быть откровенной с кем-нибудь из них. Еще хуже обстояло дело по отношению к близким родным: я уже давно перестала отвечать на письма сестры Саши, а матери хотя и писала, но по казенному образцу. Матушка особенно строго следила за тем, чтобы я извещала ее о получении денег, которые она посылала мне от четырех до пяти рублей в год. Такая сумма не могла удовлетворить мои насущные потребности, и это усиливало мое раздражение против нее. Я не умела беспристрастно обсудить свое положение, не была настолько умственно и нравственно развитою, чтобы критически отнестись к своему неблаговидному поведению относительно матери, и не видела необходимости заставить себя изменить свое отношение к ней. Я не только писала ей «казенные письма», но преподносила ей, как мне, вероятно, казалось, чуть не настоящие отравленные стрелы, но что, в сущности, было просто грубостию и пошлостию. Я пересылала письма не через классных дам, а по почте, через родственниц моих подруг. Вот одно из них:

«Считаю своею обязанностью известить Вас, милая маменька, что я приобщилась св. тайн, а потому простила всех-всех моих врагов. Я буду

просить Вас, милая маменька, не беспокоить себя присылкою мне 4—5 рублей в год: их не всегда хватает на покупку помады, мыла, гребенок, щеток, а тем более ботинок, чтобы заменить ими казенные, которые падают с ног во время уроков танцев. Не могу из денег, которые Вы мне посылаете, купить себе и перчатки для балов. На балы эти хожу не потому, что их обожаю, а потому, что требует начальство, а над старыми, разорванными перчатками, которые я беру у подруг, когда они их бросают, все издеваются. На 4—5 рублей, которые Вы мне посылаете, милая маменька, я не могу заказать себе и корсета, который стоит здесь 6—8 рублей, а хожу в казенном, от которого у меня остаются ссадины и раны. Чтобы иметь еще хотя несколько рублей кроме тех, которые Вы мне посылаете, я за плату беру шить у подруг передники и пелеринки. Воспитанницы, которых матери любят, посылают деньги дочерям не только на все, что здесь необходимо, но и на шитье всего, что мы тут обязаны себе пошить. Такие воспитанницы все свое шитье отдают за плату горничным. Хотя мне очень стыдно быть вроде горничной, но я беру эту работу, и мне, как горничной, подруги платят за эту работу. Вы видите, милая маменька, что на Ваши 4 и даже 5 рублей я ничего не могу сделать, что мне здесь нужно, а потому, пожалуйста, не присылайте мне ни этих Ваших 4 и даже 5 рублей».

Одно из подобных писем заканчивалось еще такой «адской иронией»: «Всех своих добрых, чудных, милых наставниц, то есть классных дам, я люблю от всего моего сердца и очень их уважаю, а одну из них, m-lle Тюфяеву, с которою Вы лично познакомились, когда отдавали меня в институт, я просто обожаю. В последние четыре месяца никто из родственников меня не навещал, но Вы не беспокойтесь, милая маменька, — я в этом совсем не нуждаюсь: мне очень здесь весело, чрезвычайно хорошо, я совершенно здорова, чего и Вам желаю».

Ни упреков, ни негодования от матушки за эти письма, чего я так жаждала в тайниках моей души, я не находила в ее ответах, а деньги она по-прежнему высылала в том же объеме.

Вот письмо сестры Саши, которое не только взволновало меня, но и повергло в самое тяжелое душевное настроение и в первый раз заставило подумать кой о чем, хотя ненадолго... Оно начиналось без обычного обращения:

«Только что перечитала твои письма к мамашечке. Очень благодарю тебя, что ты не отвечала ни на одно из моих писем. Если ты не желаешь

или не умеешь писать по-человечески, я предпочитаю твое молчание. Твои письма, в которых нет ни чувства, ни правильной мысли, ни любви, ни даже просто сострадания и почтения к родной матери, — просто ужасны. Как, почему ты уже в 14 л[ет] успела сделаться таким нравственным уродом? Твоя деревянность, пошлая язвительность и непристойная грубость относительно матери меня возмутили до глубины души и привели в отчаяние и ужас. И что это за выражение: "Я здорова, чего и Вам желаю"? Так пишут только солдаты! Хотелось бы мне знать, кто твои враги, которых ты прощаешь столь великодушно? Как ты не краснеешь от стыда, выставляя матери на вид и подчеркивая, что она посылает тебе только 4—5 р., что ты вынуждена шить за плату передники? Каждому, у кого нет средств, приходится работать. Матушка в этом отношении первая подает пример своим детям. Ты пытаешься сказать, что тебе деньги нужны лишь на самое существенное, а она со смерти отца очень часто отказывает себе и в существенном. Опомнись, брось свой деревянный и пошло-язвительный тон, солдатчину и казенщину и пиши матери так, как она этого заслуживает своею неутомимою деятельностью на пользу своих детей.

Родная моя девочка, дорогая моему сердцу сестренка! Заклинаю тебя всем, что еще осталось для тебя дорогого — памятью покойной нашей милой няни, твоею прошлою нежною привязанностью ко мне, воспоминание о которой до сих пор вызывает у меня слезы, — возьми себя в руки, постарайся расшевелить свой мозг, отогреть свое окоченевшее сердце добрыми воспоминаниями о близких тебе, проснись, моя дорогая, скажи мне откровенно, за что ты разлюбила меня, за что ты так безжалостно порвала со мною все отношения, что тебя так перевернуло в институте, отчего ты сделалась такою холодною, просто даже каменною, если судить по твоим письмам? Хотелось бы мне знать и то, как идут твои занятия, какими предметами ты особенно увлекаешься, какое чтение наиболее доставляет тебе удовольствия, о чем ты мечтаешь, что ты стремишься делать по окончании курса? Может быть, я задала тебе сразу слишком много вопросов, а между тем у меня остается все еще и еще, о чем бы хотелось тебя расспросить. Как ты прежде откровенно, чистосердечно болтала со мной обо всем, так и теперь без утайки, если только не разлюбила меня, расскажи о своем положении в институте, отвечай, как умеешь, на мои вопросы: будем думать сообща, как ослабить то тяжелое и горькое, что особенно тебя волнует».

Это письмо обожгло мое сердце и совершенно выбило из колеи. Прежде чем отправить ответ, я разорвала нёсколько писем к сестре и в первый раз почувствовала, что совсем не умею выражать своих мыслей, что они у меня какие-то спутанные, коротенькие, отрывочные.

«Обожаемая Шурочка!

Обиднее всего для меня то, что ты считаешь меня нравственным уродом! Неужели ты думаешь, что я могла тебя разлюбить? Не писала тебе потому, что хотела написать все как есть, но не умею выражаться. Сама не знаю, что со мною происходит... Лучше расскажу тебе сказку, которую я про себя придумала, тогда, может быть, ты скорее поймешь, что со мною.

Помнишь ли ты, дорогая Шурочка, когда ты бежала от Лунковских?[38] Когда мы легли с тобою спать, ты вдруг начала плакать, а я все приставала к тебе с расспросами, почему ты плачешь. Ты рассказала мне сказку: когда ты родилась, говорила ты, к твоей колыбели подошла фея, и так как она в тот день раздала новорожденным все свои лучшие дары — богатство, красоту, счастье — и у нее остались только слезы, то она и подарила их тебе. И к моей колыбели подошла фея, но не прекрасная красавица, а злая-презлая, и во все горло крикнула мне: "А ты будешь особой шиворот-навыворот!.." Предсказание злой феи сбылось: у меня решительно все выходит шиворот-навыворот. Ты говоришь: "Расшевели свой мозг, отогрей свое окоченевшее сердце", но если я постараюсь это сделать, у меня все выйдет наоборот. Как перед Богом, говорю тебе правду: хочу сделать одно, а делаю другое. Разве я желала тебя и маменьку обманывать, когда обещала вам хорошо учиться и вести себя, а вышло наоборот.

Ты называешь меня "нравственным уродом", но я не злюсь на тебя, — я это заслужила. Хотя твои слова страшно обидны для меня, но я по-прежнему боготворю тебя, всегда помню, что ты была для меня настоящею родною матерью. Однако, несмотря на то что я тебя обожаю и преклоняюсь перед тобой, как перед божеством, я прошу тебя — не пиши мне писем. Один Бог знает, как от этой моей просьбы у меня разрывается сердце, понимаю я и то, что это невежливо, даже гадко с моей стороны, а все-таки прошу — не пиши. Без твоего письма мне как-то покойнее жилось, а теперь не знаю, куда деться, минутами сердце стучит как молоток в груди. Вот уже первый шиворот-навыворот: хочу, чтобы ты писала, люблю тебя, и — прошу не писать.

Из всего, что я расскажу тебе, ты увидишь, что все у меня выходит шиворот-навыворот. Обещала хорошо учиться, а в кофейном классе так училась, что учителя перестали вызывать, а теперь, в старшем классе, — только немногим выше середины стою, да и то вывозят сочинения. Ты скажешь, что у меня память дурная, а я отвечу: "Не хуже, чем у других". Ты подумаешь, что я плохо понимаю, но ведь если бы я была тупицею, учитель литературы и француз не ставили бы мне за сочинения двенадцатибалльную отметку, да еще иногда с крестом. Нет, уж у меня все шиворот-навыворот выходит. Не умею объяснить, что со мною происходит, а сочинения могу писать, да еще делаю их не только для себя, но и для всех последушек: так называют у нас последних в классе. Значит, не тупица я и не лентяйка... Но перед тобой, мой обожаемый Шурок, я должна откровенно все говорить, — так вот, очень часто действительно можно сказать, что я настоящая тупица и что не учителя виноваты в том, что у меня какая-то пустота в голове. Наш учитель литературы Старов — гениальный человек и дивный поэт: мы очень серьезно изучаем у него литературу. Читает он нам много отрывков из различных произведений... И если бы ты знала, как он божественно читает! Черты его лица тогда становятся вдохновенными, поэтичными! Он так увлекательно говорит о красоте, об идеале! Я слушаю его так внимательно, что боюсь проронить хотя одно его слово, всегда выучиваю заданные им уроки, почти всегда отвечаю у него на 12. Но вот он как-то попросил меня изложить урок своими словами, — напутала, прямо вышла у меня какая-то галиматья, вообще как-то у меня ничего не остается в голове от лекций даже такого гениального преподавателя, как Старов. Иногда мне кажется, что все это происходит со мною из-за того, что меня вечно терзают голод и холод. Прости, что такому идеальному существу, как ты, я говорю о таком низменном, но что же мне делать, если голод и холод, перед тем как ложиться спать, просто разрывают мне все внутренности... Но, может быть, все это и не от этого? Тяжело, тяжело, сама не знаю отчего!

А в поведении моем настоящий хаос: тут уж мой *шиворот-навыворот* выступает во всем блеске! Моя дортуарная дама Верховская еще в кофейном классе в такой день, когда она на всех была ужасно зла, вдруг несправедливо набросилась на меня, избила меня, унизила до последней степени, истерзала своею злостью всю мою душу, и я за это перед образом и перед всеми воспитанницами поклялась сделаться "отчаянной". И

до сих пор держу свою клятву: всем классным дамам говорю правду в глаза, а также дерзости, беру на себя опасные поручения. За это я на очень дурном счету у начальства, все классные дамы в голос кричат, что меня мало вышвырнуть из института. Ты понимаешь, Шурочка, что не могу же я перестать быть отчаянной, ведь я перед образом клялась, да и подруги заподозрят, что я хочу подлизываться к начальству...А если бы ты знала, как мне тяжело быть отчаянной, как я это ненавижу, но это скрываю от подруг. Значит, уж моя судьба быть шиворот-навыворот! Шурочка, как тяжело, тяжело!

Ты спрашиваешь, о чем я мечтаю? Только о том, чтобы ты хотя на один день, хотя на один час приехала ко мне. Я бы положила на твои колени свою голову, ты бы гладила мои волосы, а я плакала бы, плакала так, что мне сразу стало бы легче.

Шурок, боготворимая, обожаемая сестра! Не прими за грубость, но прошу тебя, если ты не можешь посетить меня, не пиши мне больше: твои письма терзают меня, разрывают мне душу! Я гадкая, сама сознаю это, но на коленях умоляю тебя: прости меня, люби меня хотя немножко».

Когда через несколько недель после ссоры с братом Зарею мне сказали, что он пришел ко мне, я так обрадовалась, что в первую минуту не могла даже говорить с ним. Он не вспоминал о нашей размолвке, и на этот раз наше свидание прошло совершенно миролюбиво. Брат начал посещать меня почти каждую неделю. Я все более привязывалась к нему. Правда, от времени до времени меня бесили его насмешки над моими институтскими выражениями и взглядами, и у нас выходили маленькие стычки, но наши свидания никогда более не кончались формальною ссорою. Благодаря ему я менее сиротливо чувствовала себя в институте, и тяжелое настроение, особенно давившее меня одно время, несколько улеглось.

Однажды он заявил мне, что следующие две-три недели будет сильно занят и не может приходить ко мне. И вдруг, несмотря на это, в первое же воскресенье, когда уже оставалось не более получаса до окончания приема, воспитанницы закричали, что ко мне пришли. Сбежав с лестницы, я только что собиралась войти в залу, когда m-lle Тюфяева загородила мне дорогу.

— Кто пришел к тебе? — спросила она.

— Вероятно, дядя или брат, который ходил ко мне всю зиму.

— А еще ты никого не ждешь?

— Никого, — ответила я и бросилась вперед, не замечая, что и она идет сзади по моим следам. Да это и трудно было заметить за массою публики у входа в залу, из которой уже многие выходили, простившись с своими родственницами. Не успела я сделать и нескольких шагов, как увидела своего младшего брата.

— Рекомендую тебе моего большого приятеля, — сказал он мне, указывая глазами на стоявшего подле него красивого, стройного офицера.

Я отвесила ему реверанс.

— Этот молодой человек, — продолжал брат, — давно стремится познакомиться с тобою...

Ответом на это с моей стороны был опять реверанс.

— Я много слышал о строгих нравах вашего института, — заговорил офицер, — но мне так хотелось познакомиться с сестрой моего лучшего друга, и я под его покровительством решился проникнуть в ваш строгий монастырь.

Я опять отвесила ему чинный реверанс.

— Боже мой, сестренка, неужели ты не узнаешь меня, твоего старшего брата? Неужели я так изменился?

Мистификация кончилась, мы наконец расцеловались и уселись по местам.

Мой старший брат, совершенно неожиданно даже для себя, только утром в этот день приехал в Петербург, остановился у дяди, который дал свой экипаж, чтобы мои братья навестили меня. Они не могли пробыть у меня долго, так как должны были возвратить экипаж дяде, который ехал куда-то по спешному делу, а потому нам удалось очень мало посидеть вместе.

Как только после свидания с братьями я успела подняться в свой дортуар, передо мной выросла m-lle Тюфяева и, грозно указывая на меня трагическим жестом, закричала во все горло:

— Я всем вам строго запрещаю приближаться и разговаривать с этою грязною тварью! Она опозорила наше честное заведение!

— Как, я? — не понимая, в чем дело, пораженная ужасом и изумлением, спрашивала я только потому, что Тюфяева прямо указывала на меня.

— Ах ты фокусница! Нет, сударыня моя, ты прекрасно знаешь, что ты настоящая чума института! Но теперь, слава богу, от тебя уже избавятся навсегда... — И, снова обращаясь к воспитанницам, она продолжа-

ла: — Она сама, понимаете, сама сказала мне (при этом ладонью руки она ударяла себя в грудь), что ждет своего дядю или брата, которых мы знаем. Я собственными ушами слышала (она подняла обе руки к ушам), как ее брат, указывая на приведенного им офицера, рекомендовал его как своего товарища, как этот офицер говорил ей, что он боялся проникнуть в наш строгий институт и решился на это только при благосклонном покровительстве ее братца. А эта дрянь действительно сначала отвешивала ему только реверансы, а потом нашла это лишним и бросилась в его объятия... Сама видела, как они целовались взасос, как они несколько раз принимались целоваться!.. И все это на моих глазах!.. Я, не отходя, наблюдала их! Почти все время стояла в нескольких шагах от них.

— Это ложь! Подлая ложь! Вначале я действительно не узнала старшего брата... Я не видала его более пяти лет... А когда узнала...

— Молчать, сволочь, паршивая овца, чума, зараза! — И она, как из рога изобилия, продолжала осыпать меня французскими и русскими ругательными словами, а от времени до времени подскакивала ко мне, топала на меня ногами и кричала:

— Я сейчас же доложу обо всем инспектрисе!.. — и быстро вышла из дортуара.

В это время мы были уже в старшем классе, и никто из моих подруг не придал значения тому, что она только что запретила разговаривать со мной. Напротив, все окружили меня и начали обсуждать «событие». Ни одна воспитанница не усомнилась в том, что Тюфяева оклеветала меня: поцеловать чужого мужчину, да еще при официальной обстановке, а тем более в приемные часы, было просто немыслимо для кого бы то ни было. Как я, так и мои подруги были одинаково убеждены, что доносу Тюфяевой начальство хотя и не поверит, но очень обрадуется как удобному предлогу вышвырнуть меня из института за мою «отчаянность».

— Несчастная! Как ты решилась на такой ужас? — вскричала инспектриса, входя в дортуар в сопровождении Тюфяевой.

— Это ложь, maman! Клянусь богом, это клевета! Mademoiselle Тюфяева давно искала случая меня погубить! — рыдала я.

— Как ты осмеливаешься говорить это про твою почтенную наставницу?

В ту же минуту некоторые из моих подруг окружили m-me Сент-Илер и повторяли ей на все лады:

— Maman! Maman! Это был ее брат! Она его не узнала в первую минуту...

— Молчать! — дала окрик Тюфяева. — Видите ли, madame, — говорила она, обращаясь к инспектрисе и указывая на меня, — какое безнравственное влияние имеет она на свой дортуар! Они перебивают даже вас.

Но тут колокол позвонил к обеду. Это, вероятно, несколько облегчило неприятное положение нашей бесхарактерной maman. Уходя, она обернулась ко мне и произнесла:

— Когда ты обдумаешь свой ужасающий поступок и признаешь, как все это было ужасно с твоей стороны, ты можешь прийти ко мне сознаться в этом, иначе я не хочу и разговаривать с тобой...

— Но я клянусь всем святым, maman, что это был мой родной брат! Я не могу сознаться в том, чего я не делала, — говорила я, обливаясь слезами.

— А я перед образом клянусь вам, madame, — и Тюфяева повернулась в угол, где висел образ, — что все, что я сказала вам, истинная правда: все это я видела собственными глазами, слышала собственными ушами. Увижу, madame, кому вы поверите: мне ли, беспорочно прослужившей здесь более тридцати шести лет, или этой грязной девчонке, родной брат которой приводит к ней...

— О, mademoiselle Тюфяева! — торопилась перебить ее совершенно растерянная m-me Сент-Илер, хватая себя за голову и поспешно направляясь к себе.

Воспитанницы строились в пары. Когда я подошла к подруге, с которою должна была ходить в паре, Тюфяева подскочила ко мне и рванула меня за руку прочь от нее:

— Никогда не посмеешь больше ходить с другими! Всегда одна... и сзади всех... как настоящая зараза!

— Иуда! Клеветница! Клятвопреступница! Не сметь до меня дотрагиваться! — кричала я в исступлении, не помня себя от раздражения.

— Все, все это будет доложено начальнице! — шипела Тюфяева.

— Даже и то, чего нет! — громко хохотала Ратманова.

M-lle Тюфяева, желавшая изолировать меня от подруг, должно быть вследствие раздражения, забыла поместить меня за отдельным столом или, по крайней мере, поставить меня между колонн, что считалось для воспитанниц старшего класса одним из наиболее тяжелых наказаний, и я сидела на своем обычном месте. «Какой удар нанесет моей матери и сестре мое удаление из института! Да... для меня все теперь потеряно, но я, по крайней мере, должна защищать свою честь до последней капли кро-

ви!» — решила я. Но вот соседка под столом нажимает мою ногу и подсовывает записку под мой ломоть хлеба, но так, чтобы мне видно было написанное. Я читаю: «Тебя все равно на днях выгонят отсюда, пожалуйста, очень тебя просим, надерзи, по крайней мере, так, чтобы стены трещали». Меня это бесит. Я злобно толкаю руку, которая протягивает мне уже новую записку. «Эгоистки! Вместо того чтобы пожалеть меня, невинно опозоренную на всю жизнь, они только думают о себе, мешают даже сообразить, что делать!»

Когда мы возвращались из столовой в класс (я одна позади всех) и проходили мимо узкого коридорчика, который вел в покои инспектрисы, Тюфяева пропустила всех перед собою и встала у самого входа в комнаты maman, точно желая преградить мне дорогу к ней. Этим она, сама того не подозревая, дала неожиданный толчок моей мысли. Когда я, усевшись на классную скамейку, начала вынимать из пюпитра книги, но не для того, чтобы учиться, а чтобы что-нибудь иметь перед собой, Тюфяева закричала мне: «Не утруждай себя ученьем!.. На днях, моя драгоценная, тебя выгонят отсюда с позором!.. В свидетельстве будет прописано, за какие дела тебя выгнали... Ну, а теперь — сюда! Передник долой и стоять у доски до чаю!» Я беспрекословно исполнила ее приказание. Вдруг среди гробовой тишины раздался голос Ратмановой: «Удивительно, как некоторые личности не могут достаточно утолить свою злобу!»

Тюфяева не пожелала принять этого изречения на свой счет, проскрипела на французском и русском языках еще несколько ругательств по моему адресу и победоносно вышла из класса пить кофе, — это означало, что мы, по крайней мере час, будем наслаждаться ее отсутствием. Я взяла мел и написала на классной доске: «Согласно вашему заявлению и благодаря вашей грязной клевете, я считаю себя уже уволенной из института, а потому и не нахожу нужным долее подвергать себя вашему тиранству».

— Молодец, молодец! — кричала Ратманова, бросаясь ко мне, схватила меня за талию и начала кружить в вальсе. Я вырвалась от нее, надела передник и побежала к инспектрисе.

— Maman! — и я с воплем бросилась перед ней на колени. — Вы одна можете меня защитить! Умоляю, будьте мне родною матерью!

— Боже мой! Что же я могу сделать? Я просила mademoiselle Тюфяеву отложить эту историю хотя на несколько дней, подождать докладывать начальнице, но разве mademoiselle Тюфяева послушается кого-нибудь!

Напротив, дитя мое, ты одна не только можешь помочь себе в этом деле, но и меня избавить от очень многих неприятностей... Если ты, при твоем строптивом нраве, бросишься на колени не передо мною, а перед mademoiselle Тюфяевой, будешь умолять ее простить тебя за все грубости и дерзости, которые ты ей делала, искренно пообещаешь ей исправиться, она тронется... Да, да, я уверена, она тронется твоим раскаянием...

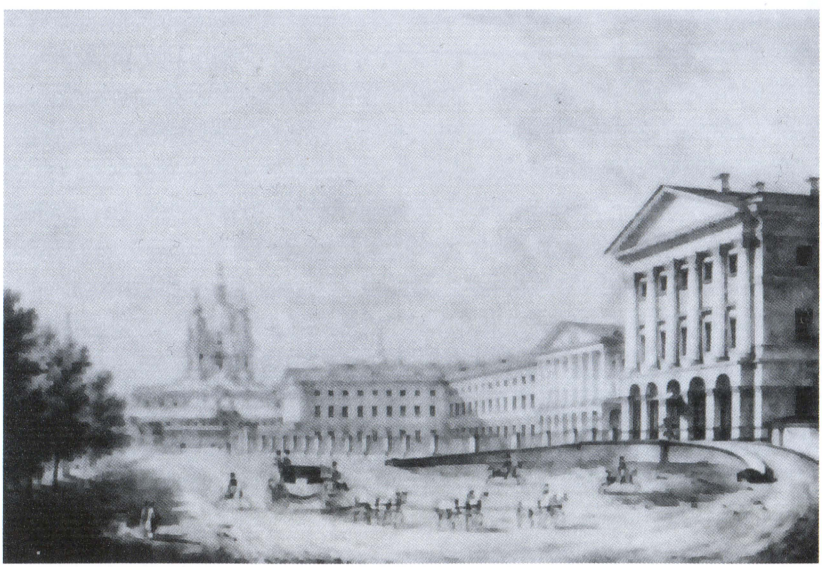
Страшная душевная тревога, вызвавшая лихорадку, так что я минутами не могла попасть зуб на зуб, уже несколько часов удручала меня, а теперь еще новое предложение инспектрисы, столь унизительное, как мне казалось, для моего человеческого достоинства, возмутило меня до последней степени. Я как ужаленная вскочила с колен. Это новое оскорбление притянуло к моему сердцу всю кровь организма, всю горечь жестоких обид, весь огонь негодования моего вспыльчивого и неуравновешенного темперамента. Я совсем забыла об обязательном этикете относительно инспектрисы и о своем бесправном, рабском положении; к тому же меня не оставляла мысль, что мне нечего более терять, и я бесстрашно начала говорить все, что приходило мне в голову.

— Maman! Вы требуете, чтобы я просила прощения; но как просить прощения в том, в чем я не считаю себя виноватой? Вы советуете упасть на колени перед особой, которую презирают все воспитанницы без исключения, а я, кажется, еще больше других... Я скорее дам разрезать себя на куски, но этого не сделаю! Да и к чему? Вы говорите: «Проси прощения за грубости», — но ведь в данную минуту mademoiselle Тюфяева обвиняет меня не за них. Вы даже сами не можете произнести того, за что она меня обвиняет, следовательно, сами не верите в справедливость ее обвинения. Я знаю, меня вышвырнут отсюда... Mademoiselle Тюфяева повторяет мне это каждую минуту, но за такую клевету я отомщу всем, всем без исключения! Я даю клятву Богу, что отдам всю свою жизнь на то, чтобы отомстить всем, всем... Мой дядя всегда может иметь аудиенцию у государя... Я через него подам просьбу государю... И дядя расскажет ему, как здесь, вместо того чтобы защищать молодых девушек, на них взводят небылицы и выгоняют с позором! — Инспектриса вздрогнула при этих словах и подняла на меня глаза, но я не могла остановиться, не могла замолчать. — И здесь нет никого, кто бы защищал нас!.. Даже вы... вы, maman, которую все считают самою умною и образованною, самою доброю, даже вы не желаете меня защитить, хотя прекрасно знаете, что я ни в чем не виновата!

Г.И. Ржевская. *С.П. Левицкий. 1773*

А.А. Ржевский, муж Г.И. Ржевской
Неизвестный художник.
Конец XVII в.

Г.И. Ржевская
Неизвестный художник.
Конец XVII в.



Воспитательное общество благородных девиц
К. Беггров по рисунку С. Галактионова. 1820

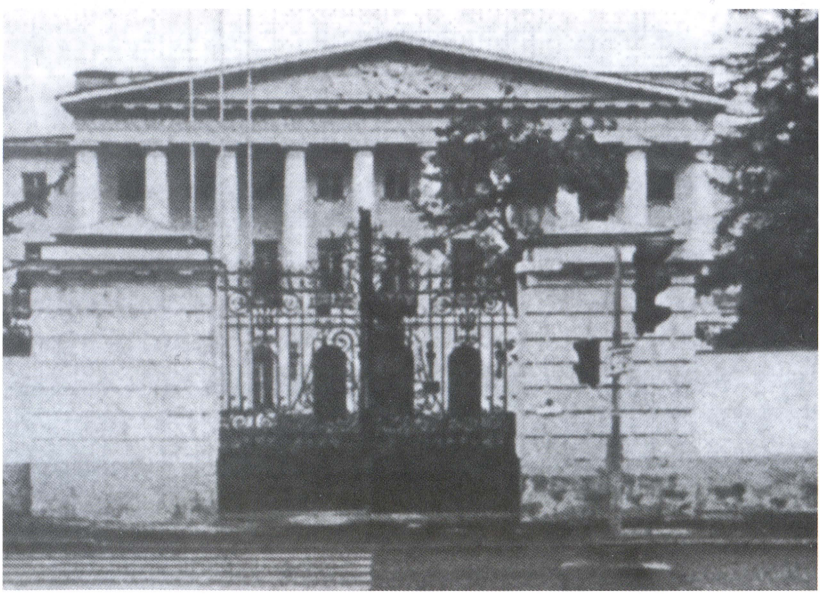
Портрет воспитанницы
Смольного института Надежды
Жданович за фортепиано
П. Федотов. 1849

Портрет институтки
Неизвестный художник.
1840-е годы

Портрет воспитанницы Смольного
института
Ольги Жданович
П. Федотов. 1847-1848

Портрет институтки
Ф. Славянский. 1851

А.Н. Энгельгардт



Училище Ордена святой Екатерины в Москве
Современная фотография

Прием гостей в институте
Е. Самокиш-Судковская. Иллюстрация к книге Н.А. Лухмановой «Девочки. Воспоминания из институтской жизни» (СПб., 1896)

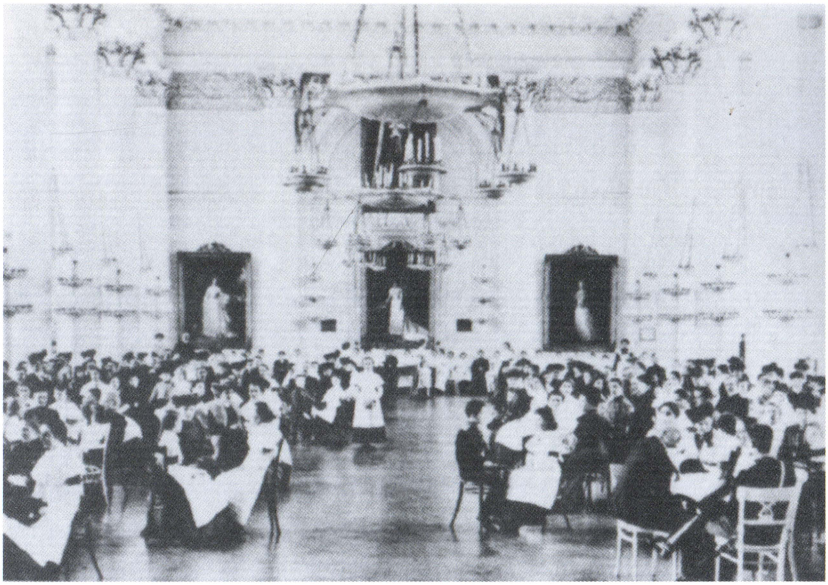
Maman и институтки
Е. Самокиш-Судковская. Иллюстрация к книге Н.А. Лухмановой «Девочки. Воспоминания из институтской жизни» (СПб., 1896)

«Ночной бал» институток
Е. Самокиш-Судковская. Иллюстрация к книге Н.А. Лухмановой «Девочки. Воспоминания из институтской жизни» (СПб., 1896)

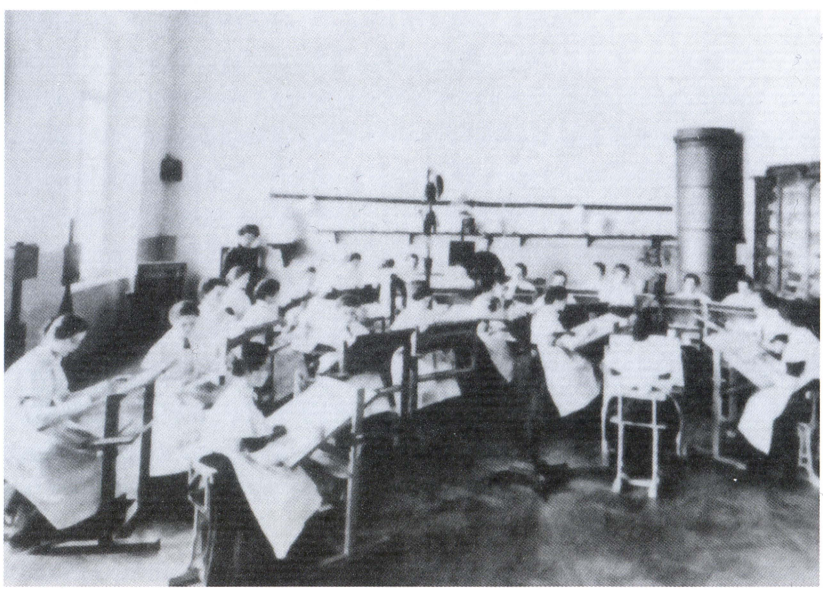
Институтки на «гигантских шагах»
Е. Самокиш-Судковская. Иллюстрация к книге Н.А. Лухмановой «Девочки. Воспоминания из институтской жизни» (СПб., 1896)

Е.Н. Водовозова

Училище Ордена святой Екатерины в Петербурге
Фотография начала XX в.

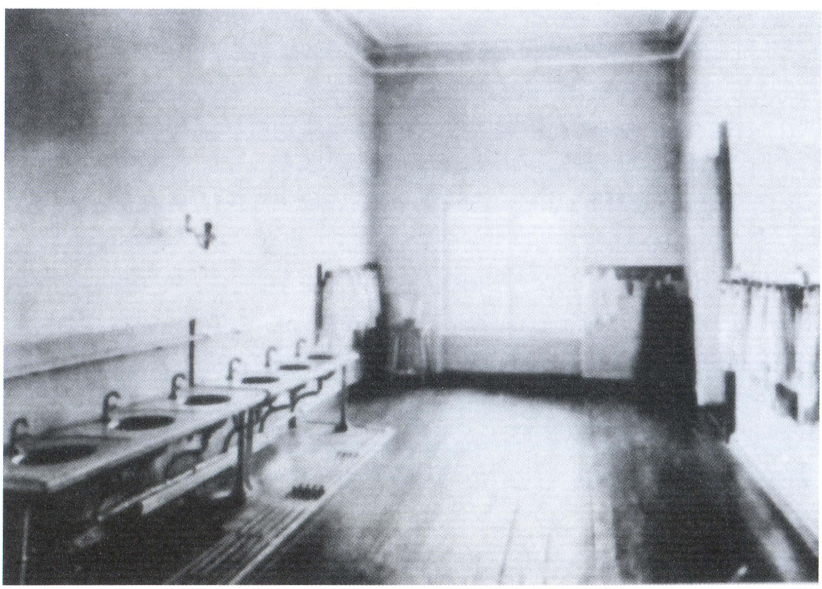


Прием родителей в Смольном
К. Булла. Фототипия. 1905



Урок рисования в Смольном
К. Булла. Фототипия. 1905

Гардероб в Смольном
К. Булла. Фототипия. 1905



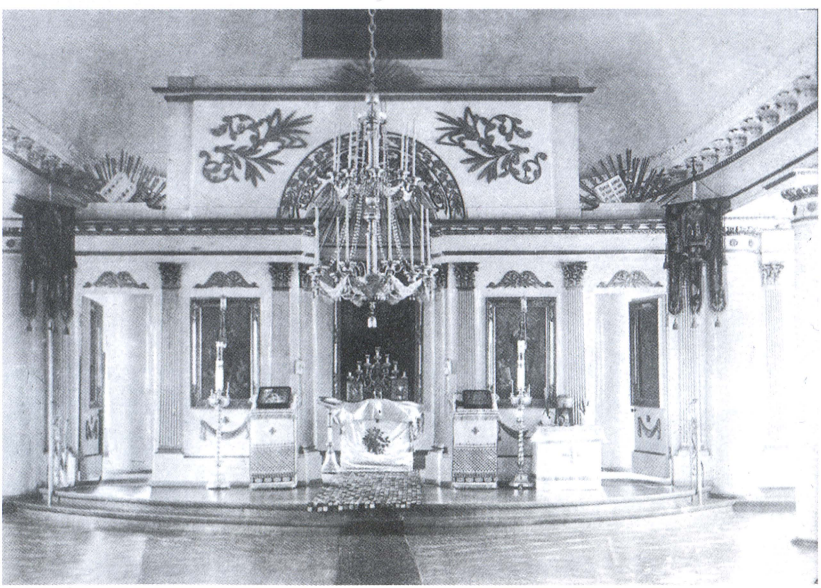
Умывальная комната в Смольном
К. Булла. Фототипия. 1905

Т.Н. Морозова (справа) с сестрой Наташей

Г.Ф. и В.П. Морозовы, родители Т.Н. Морозовой

Харьковский институт благородных девиц

Сад Харьковского института благородных девиц



Церковь Харьковского института благородных девиц

Портрет воспитанницы Елизаветинского института
Фотография. 1912

Рисунок шифра для награждения Императорского воспитательного общества благородных девиц

Звезда Ордена святой Екатерины

Крест Ордена святой Екатерины

Рисунок шифра для награждения воспитанниц Училища Ордена святой Екатерины

Спазмы давили мне горло от рыданий, я не могла более говорить, опять бросилась на колени перед нею, опять повторяла то же самое на разные лады. Инспектриса молчала — потому ли, что сознавала справедливость моих слов, или потому, что считала дерзостью все сказанное мною, — мои заплаканные глаза не могли видеть выражения ее лица, но ее дрожащие руки вдруг опустились на мою голову, и я инстинктивно поняла, что она не считает дерзостью сказанное мною. Я припала к ее коленям и стала целовать ее руки со стоном: «О, maman, maman!» Наступило молчание, прерываемое только моим судорожным всхлипыванием. Наконец она проговорила, продолжая гладить мои волосы своими дрожащими руками:

— А ведь я до сих пор совсем не знала тебя! Горячка, горячка! Ах, дитя мое, твой пылкий нрав, доходящий до исступления, много горя, много слез готовит тебе в будущем! Я понимаю, почему тебя так ненавидят классные дамы, почему произошла эта история именно с тобою, а не с кем другим... — Она положительно не могла назвать того, что произошло, и сама, вероятно, не соображала, что, говоря таким образом, она этим самым подтверждает, что не верит взведенной на меня клевете. — Видит Бог, что при всем желании я решительно ничего не могу тут сделать!

Вдруг у меня блеснула счастливая мысль написать дяде и просить его объяснить m-me Сент-Илер, кто у меня был сегодня на приеме. Я высказала ей это, и она, подумав, отвечала, точно обрадовавшись:

— Что же, напиши!.. Да... да, конечно, напиши... Может быть, это будет самым лучшим исходом для всех нас!.. Я отправлю твое письмо с горничною на извозчике, но, конечно, только в том случае, если ты сумеешь написать это без каких бы то ни было неделикатных выражений по отношению к mademoiselle Тюфяевой.

Мое письмо было кратко и объективно: я сообщала дяде о посещении меня братьями и объясняла ему, как и почему явилось подозрение у m-lle Тюфяевой, что мой старший брат совершенно посторонний для меня человек. Я умоляла дядю выяснить это дело сегодня же, так как m-lle Тюфяева заявила мне, что я за прием чужого офицера, которого к тому же поцеловала, буду немедленно уволена из института.

Когда я дописывала последние строки, в комнату вошла m-me Сент-Илер.

— Видишь ли, мое дитя, как ты наивна! Ты воображаешь меня такой всесильной, а я даже не могла упросить mademoiselle Тюфяеву, чтобы она подождала с этой историей до завтра. Она уже отправилась к начальнице.

Хотя инспектриса внимательно прочитала мое письмо, но не сделала никаких возражений и моментально запечатала его, дала горничной на извозчика и приказала ей, не теряя ни минуты, отвезти его и вернуться обратно с ответом.

Несколько успокоенная, я отправилась в дортуар, где подруги рассказали мне, как Тюфяева, возвратившись в класс, заметила, что меня не было у доски, как она несколько раз прочитала мое послание к ней и объявила, что она сейчас же отправляется к начальнице доложить обо всем происшедшем.

Когда воспитанницы ушли в столовую пить чай, я опять направилась к инспектрисе. Наконец возвратилась и горничная. Когда она, по ее словам, подъехала к подъезду квартиры, занимаемой моим дядею, он садился в карету, чтобы ехать куда-то. Он взял письмо и пошел с ним наверх к себе. Когда он опять вышел на подъезд, то приказал горничной передать инспектрисе о том, что он едет к начальнице, а затем явится к ней. При этом он закричал кучеру: «Гони!»

Я целую вечность, как мне показалось, бродила по коридору, поджидая дядю. Наконец я увидала, что он поднимается наверх.

— Это что за грязная история? — строго спросил он меня, точно я была в ней виновата.

— Дядюшечка, дорогой! Пожалуйста, тише... Нас могут услышать... — И я быстро передала ему все, как было дело.

— Знаешь ли ты, глупая, что твои бабы могли меня скомпрометировать очень серьезно. Нет, этого я им не спущу! — И, нагибаясь к моему уху, он прибавил: — Твоей начальнице я уже наступил на хвост... повизжит! Просто идол какой-то!.. Эту египетскую мумию в музей надо, а не двумя институтами управлять!.. — И он начал хохотать так, что все его грузное тело сотрясалось.

Дядюшкин смех был услышан в комнатах инспектрисы, и к нам выскочила горничная, вероятно для того, чтобы посмотреть, кто пришел. Я потянула дядю за руку, и мы вошли. При нашем появлении maman поднялась и, протягивая руку дяде, начала говорить о том, как она рада, что он поторопился приехать. Вероятно, теперь выяснится этот прискорбный случай, который...

Дядя более привык командовать полком, кричать, распоряжаться, чем вести светскую беседу. К тому же он был взбешен всем этим делом.

— Это не прискорбный случай, сударыня, а прямо, можно сказать... грязь! Я уже предупредил начальницу Леонтьеву, а теперь честь имею доложить вам, что буду считать долгом... священным долгом довести все это до государя императора. Моя жена — почтенная мать семейства, самое миролюбивое существо, но и она пришла в негодование, прочитав письмо племянницы. Она говорит, что порядочная воспитательница, заподозрив девочку в таком преступлении, не должна была обмолвиться ей об этом ни единым словом, даже виду не показать, а обязана была моментально написать мне, ее дяде, и сообщить о подозрениях, закравшихся у нее, требовать у меня объяснения относительно молодых людей, посетивших девочку. Но госпожа Тюфяева поступила как раз наоборот: с места в карьер она набросилась на мою племянницу и начала уличать ее в преступлении. А знаете ли, сударыня, какие бы последствия могло иметь это дельце? Оно наделало бы много шуму в городе, меня оно обрызгало бы грязью, а ее женская честь была бы навек загублена!.. В царствование императрицы Елизаветы Петровны — мудрейшая была государыня! — такой особе, как госпожа Тюфяева, отрезали бы язык...

— Генерал, генерал, ваше превосходительство! У нас не принято при воспитанницах так отзываться об их воспитательницах!

Вдруг дядюшка быстро и сердито обратился в мою сторону и закричал на меня во все горло:

— Как ты смеешь, пострелёнок, тут торчать? Смей у меня не уважать начальство!

Я как ошпаренная выскочила в другую комнату, но ничего не потеряла из интересного для меня разговора. Голос дядюшки раздавался на всю квартиру.

— Но чем же я виновата в этой истории? Я умоляла mademoiselle Тюфяеву не докладывать о ней начальнице, по крайней мере, несколько дней, но все было напрасно...

— Вы, сударыня, могу вас уверить, вы во всем виноваты. Разве можно держать таких недостойных воспитательниц? Вы — начальница этого заведения и вдруг позволяете подчиненной сесть себе на голову! Вы должны держать подчиненных в ежовых рукавицах, чтобы они и пикнуть не смели, а вы их распустили! Это большое преступление! Вы извините меня, сударыня, я простой русский солдат, много раз бывал под градом неприятельских пуль, верою и правдою служу моему обожаемому монарху и

правду-матку привык резать в глаза... Правда, я человек горячего характера, но ведь эта история может взорвать хоть кого! — Но тут он начал смягчаться, подробно рассказал, как сегодня приехал мой старший брат, как он дал ему карету, чтобы вместе с своим младшим братом навестил меня, как они быстро возвратились и т.д. — Верьте, сударыня, я отношусь к вам с чувством глубочайшего уважения и обвиняю вас только в излишней слабости и попустительстве... Для меня несомненно, что все это произошло от вашей ангельской доброты.

Инспектриса, несмотря на свою слабохарактерность, все-таки не позволила бы наговорить всего того, что ей пришлось выслушать, но ее, как она мне сама сознавалась уже после моего выпуска, вынуждал к этому страх, что крутой и шумливый генерал, чего доброго, действительно доведет до сведения государя эту историю и что в таком случае она наделает много неприятностей институтскому начальству. Как только она могла прервать поток горячих речей моего дядюшки, она начала высказывать ему, что вполне понимает справедливость его негодования, и уже по тому, как он горячо принял к сердцу интересы своей племянницы, она видит, какою возвышенною, благородною душою он обладает.

Дядюшка не всегда мог устоять перед лестью. Он вскочил с своего места, протянул руку и с чувством произнес:

— Как же иначе? Моя племянница — дочь моей родной сестры, сирота, я единственный ее защитник и покровитель! Но вы сами, сударыня, как я уже тысячу раз говорил племяннице, чудная, святая женщина... она должна питать к вам только благоговение и восторг, а вот начальница Леонтьева... простите... того... н-да...

Инспектриса, видимо, до смерти перепугалась, что такой невоздержанный на язык человек, каким был мой дядя, может и относительно начальницы высказать что-нибудь неподходящее здесь, где даже стены должны были слышать по отношению к ней лишь славословия, а потому живо перебила его:

— Я вас прошу, генерал, самый великодушный, самый лучший из всех генералов: не доводите этой истории до государя... Убедительно прошу вас об этом! Ну для чего вам это? Дайте же мне честное слово, что все это останется между нами.

— Мне самому приятнее миролюбиво покончить с этой историей... Но я дам вам честное слово не беспокоить ею государя только в том случае,

если вы поручитесь мне, что госпожа Тюфяева за свою же вину не устроит ада бедной девочке.

— О, это я беру уже на себя! — воскликнула инспектриса.

Я ожидала, что при этом удобном случае она сообщит дяде о моем дурном поведении вообще, но она тут, как и всегда, проявила доброту и не упомянула даже о моей «отчаянности». Вообще наша инспектриса бывала даже великодушна, если только обстоятельства в ее тяжелом положении не заставляли ее действовать вопреки ее природным склонностям.

Когда дядя попросил ее позвать меня, я моментально прошмыгнула через коридорчик на площадку к окну и приковала к нему свой взор, дабы удалить всякое подозрение насчет того, что я слышала разговор. Когда я вошла, дядя встал со стула, подошел ко мне и, грозно размахивая перед моим носом своими двумя пальцами, произнес с адскою суровостью наставление в виде целой речи, по обыкновению не заботясь в ней ни о последовательности, ни о логике, а нередко пренебрегая даже здравым смыслом.

— Я требую от тебя прежде всего полного и безусловного повиновения начальству. Ты должна любить его, уважать всем сердцем, всем помышлением, молиться ежедневно за него Богу, точно так же, конечно, и за mademoiselle Тюфяеву. Как ты думаешь, зачем все это она сделала? Ей было приятно, что ли, поднять всю эту историю? Сделала она это, милый друг, для того, чтобы блюсти за твоей нравственностью! Но если в твою головенку когда-нибудь заползет дикое и пошлое желание на самом деле поцеловать чужого мужчину, в чем тебя заподозрила mademoiselle Тюфяева, потому что у тебя чертики бегают в глазах... берегись! Тогда... тебя не придется и исключать из института... О нет, я этого не допущу! Понимаешь ли ты... я этого никогда не допущу! (При этом он страшно расширил глаза.) Я в ту же минуту явлюсь сюда и своими руками... своими собственными руками оторву тебе голову... задушу... убью!

Все это он говорил уже с кровожадно-свирепым выражением лица, наглядно показывая руками все степени казни, которые я должна буду испытать.

Когда мы выходили с ним из коридорчика, какая-то фигура быстро промелькнула мимо нас и скрылась. Я догадалась, что то была Ратманова, подслушивавшая и подглядывавшая за всем, что происходило у инспектрисы.

Я вошла в дортуар, — все уже были в постелях. Ратманова с хохотом высвободилась из-под одеяла, совершенно одетая, и забросала меня вопросами; остальные приподнялись с постелей и тоже торопили меня рассказывать им подробно и по порядку все, что было. Но я совсем не была расположена к болтовне и отвечала им вяло и неохотно, что удивляло подруг, находивших, что я должна была бы иметь торжествующий и ликующий вид. Испуг, державший меня столько часов в напряженном ожидании неминуемой беды, и сознание, что только счастливый случай помог мне выкарабкаться из нее в первый раз в жизни, во всем потрясающем ужасе показал мне все мое ничтожество перед грозной силой нашего начальства, которое завтра же может сделать со мною все, что угодно. Я бросилась в постель и, уткнувшись в подушку, горько рыдала. Вероятно, те же мысли пришли в голову и моим подругам: всхлипывание, сморкание и откашливание раздавались со всех сторон... Только Ратманова, менее всех поддававшаяся чувствительности, громко изрыгала самую отборную брань по адресу классных дам вообще и Тюфяевой в особенности.

На другой день инспектриса отправилась к начальнице. Как и что они при этом обсуждали, для нас осталось неизвестным; не узнали мы и того, о чем разговаривала инспектриса с Тюфяевой, которую она на этот раз продержала у себя очень долго, но, вероятно, последняя не получила для себя ничего утешительного: несколько дней после этого события ее физиономия выражала какую-то пришибленность, и она сидела в классе совсем тихо, безучастно относясь даже к тому, что воспитанницы шумели в неурочное время. Во всяком случае, роль добровольного полицейского, которую эта истинная злопыхательница исполняла так усердно, была временно приостановлена. Ко мне она совсем не придиралась более, даже не произносила моего имени[39].

Что же касается инспектрисы, то, вежливая и ласковая со всеми, она стала относиться ко мне с особенным вниманием. Однажды она заявила мне, что просит меня приходить к ней в послеобеденное время, всегда, когда я буду свободна от уроков. В такие вечера она заставляла меня читать вслух Вальтер Скотта во французском переводе, объясняла все для меня непонятное, расспрашивала о членах моей семьи. Эти два-три месяца, когда я по разу, по два в неделю приходила к ней по вечерам, были самым светлым воспоминанием во всей моей институтской жизни дореформенного периода. С материнским участием и лаской она как-то просила

меня объяснить ей, почему до сих пор я была «отчаянной», почему только в самые последние недели на меня перестали жаловаться классные дамы.

— Мне кажется, — говорила она, — ты просто напускаешь на себя эту отчаянность!.. Я сама заставала тебя после твоих «отчаянных выходок», когда ты положительно имела вид d'une personne arrogante...[40]

— Потому что я ни от кого не слыхала здесь доброго слова!.. Вы говорите, maman, что за последнее время на меня не жалуются... Когда я стала к вам приходить... вы так добры ко мне... я сама чувствую, что теперь злость моя начинает проходить...

М-me Сент-Илер громко рассмеялась, я сконфузилась, но не понимала всей наивности моего признания. Я не умела лучше сформулировать то, что как-то неопределенно бродило в моей голове. Только гораздо позже я могла бы ответить ей, что весь строй нашей жизни, с ее казенщиной и формализмом, представлял стоячее болото, которое могло выращивать только болотные растения. Не имея книг для чтения, ничего не извлекая из преподавания для развития ума, лишенные человеческого руководительства наставниц, воспитанницы не могли укрепляться в добрых чувствах, у них росло лишь раздражение, развинчивались нервы, вырабатывались индифферентизм ко всему и рабские чувства или отчаянная грубость.

— Убедительно прошу тебя, мое дитя, попробуй быть менее дерзкой, уверяю тебя, и классные дамы будут тогда к тебе более снисходительны.

Какою любовью, каким восторженным обожанием забилось мое сердце от этих непривычных для меня добрых слов!

— О, maman! Вы — святая! — вскричала я в исступленном восторге. — Я не стою поцеловать вашу руку. — И я в экстазе упала перед ней на колени и поцеловала край ее платья.

— Ах ты, восторженная головушка! — кинула мне maman, и я, переконфуженная от сказанного, бросилась бежать из ее комнаты.

Вскоре после описанных происшествий все обстоятельства институтской жизни начали влиять на ослабление моей отчаянности, задора и воинственности. Этому прежде всего помогало то, что мы перешли в так называемый выпускной класс, где наши воспитательницы уже менее придирались и реже наказывали воспитанниц. Кроме того, «выпускные» пользовались некоторыми привилегиями: в послеобеденное время до чая классные дамы иногда уходили в свою комнату и оставляли нас одних в классе, а иной раз приказывали даже без них спускаться в столовую.

Моему умиротворению содействовало и сердечное отношение ко мне инспектрисы, отсутствие придирок со стороны Тюфяевой, а главное — то, что инспектором классов к нам был назначен Ушинский[41]; но о нем я буду говорить ниже.

Когда однажды я возвратилась от m-me Сент-Илер ранее обыкновенного, Ратманова встретила меня язвительными словами:

— Ты ловко обделываешь свои делишки! Ничего что «отчаянная», а сумела приобрести благоволение инспектрисы!

Я была поражена и растерянно переводила глаза с одной подруги на другую.

— Хотя madame Сент-Илер и начальство, но она чудная, святая женщина, — проговорила я наконец. — Я не считаю подлостью ее посещать! Она не из тех, которые выспрашивают о том, что делается в классе. Кажется, я еще никому из вас не навредила!

— Никто не обвиняет тебя в этом, никто не сомневается и в том, что инспектриса не станет у тебя выпытывать что бы то ни было, но не все придерживаются твоего мнения, что она святая женщина!.. Пожалуй, все, кого бы она пригласила к себе, стали бы к ней бегать... Но едва ли это следует делать! — так говорила Бринкен, бесспорно самая умная из всех моих подруг.

Эти слова смутили меня гораздо более, чем обвинение Ратмановой.

— Но почему же, почему? — растерянно спрашивала я ее.

— Просто потому, — отвечала она, — чем дальше от начальства, тем лучше...

— Чудная, святая женщина! — передразнивала меня Ратманова. — Мы голодаем, а эта чудная, святая женщина не может и слова сказать экономку, чтобы он не обкрадывал нас... Классные дамы жалуются на нас, — она всегда принимает их сторону, а не нашу... Давно ли она советовала тебе стать на колени перед Тюфяевой, превосходно сознавая, что та тебя оклеветала!..

Но тут кто-то из наших вбежал к нам и закричал:

— Чего вы не спускаетесь в столовую? Уже давно звонили... Будут попрекать, что вы без классной дамы и шагу не умеете ступить!

Все бросились в пары, и мы понеслись с лестницы. Я машинально бежала за другими, но про себя обдумывала только что происшедший разговор. «Да, они правы, тысячу раз правы! — твердила я себе. — Что сделала полезного для нас инспектриса? Только что негруба! А я уже и в

восторг пришла от ее святости!» Но вдруг я оступилась и полетела вниз с лестницы: на одном из ее поворотов я задержалась было, но сзади бегом спускавшиеся воспитанницы нечаянно толкнули меня, и я уже без всяких задержек полетела вниз, пока не упала на пол, недалеко от дверей столовой. Когда подруги подняли меня, я была в сознании, только сноп кровавых точек мелькал перед моими глазами. Я постояла с минуту и, не чувствуя никакой боли, вошла с другими в столовую. Скоро я совершенно успокоилась, а когда мы пришли в дортуар и улеглись спать, я тотчас уснула. Ночью я проснулась от боли в груди и от лихорадки, укрылась салопом, в надежде как-нибудь оправдаться перед дортуарной дамой, но меня никто не тревожил. Когда прозвонил колокол и наши начали вставать, я объявила им, что у меня кружится голова и я не могу приподнять ее от подушки. Наконец мне удалось привстать, но приступ жестокой лихорадки так сковал мои члены, голова так кружилась, что я не могла шевельнуться. Мне помогали вставать подруги; то одна, то другая из них указывала на то, что шея и грудь у меня распухли и покрылись кровоподтеками; они потолковали между собой по этому поводу и единогласно пришли к мысли, что при таком положении для меня немыслимо идти в лазарет: перед доктором придется обнажить грудь, и этим я не только опозорю себя, но и весь выпускной класс. Это обстоятельство, рассуждали они, должно заставить каждую порядочную девушку вынести всевозможные мучения скорее, чем идти в лазарет. То одна, то другая задавала мне вопрос: неужели у меня не хватит твердости характера вынести боль? Я, конечно, вполне разделяла мнение и взгляды моих подруг на вопросы чести, но не могла им отвечать как от головокружения, так и от смертельной обиды на них за то, что они могут сомневаться во мне по такому элементарному вопросу, как честь девушки. Я решила, что к такому дурному мнению обо мне они пришли только потому, что я посещала инспектрису. Все это я высказала им в отрывочных фразах, проливая потоки слез и от обиды, и еще более от мучительной боли в груди. Подруги успокаивали меня, просили не волноваться, чтобы сохранить силу мужественнее вынести несчастие, ниспосланное мне судьбою. Когда я оделась с их помощью и зашаталась, они заботливо поддерживали меня со всех сторон, давали нюхать одеколон, смачивали виски. На этот раз забота обо мне подруг, не склонных вообще задумываться над несчастием друг друга, была поистине трогательна. Когда мы вошли в класс, они, посоветовавшись между собой, подошли к дежурной даме и просили ее позво-

лить мне сидеть в пелеринке во время всех уроков. «У нее кашель, — говорили они ей, — но она не желает из-за таких пустяков идти в лазарет и пропускать урок». Та согласилась на это. Но полотняная пелеринка мало защищала от холода, и я вся тряслась от лихорадки; тогда воспитанницы собрали платки, укутали ими мои ноги и колени, даже обмотали мои руки, советуя не поднимать их из-под пюпитра.

Я сидела и ходила, как автомат, но как только от боли у меня вырывался стон, подруги шаркали ногами и кашляли, чтобы заглушить его, умоляя меня воздерживаться от стонов. У меня пропал аппетит, и они по-братски поделили мою порцию во время завтрака и обеда.

Когда на другой день я опять после бессонной ночи встала с постели с еще более значительной опухолью на шее и груди и двигалась еще с большим трудом, они решили, что это произошло оттого, что я накануне ничего не ела и что они должны заставлять меня есть. Я понимала, что я в их власти, и не имела силы ни сопротивляться, ни говорить, а потому делала усилия и ела, как они этого требовали. Но когда мы пришли в класс после обеда, меня стало так тошнить, что подруги насилу вытащили меня в коридор к крану, где можно было скрыть последствия тошноты, и принялись обливать холодной водой мою несчастную голову, горевшую как в огне. Всю последующую ночь то одна, то другая подруга подбегала к моей постели, укрывала меня, клала намоченное полотенце на мой горячий лоб, но мне становилось все хуже. На третий день утром я заявила им, что не могу встать. Хотя то одна, то другая из них, осматривая меня, вскрикивала: «У нее еще более распухла грудь и посинела шея!» — тем не менее было решено, что мне нужно встать и отправиться в класс. Общими усилиями они одевали и обували меня в постели, уговаривали не терять мужества, и это заставило меня встать, хотя и с их помощью. Но они сами убедились, что вести меня вниз по лестнице невозможно, а потому решили *скрыть* меня и, когда все отправятся в столовую, оставить при мне одну из подруг.

У нас не было обычая пересчитывать воспитанниц; к тому же во время чая на столе не стояло приборов, а потому скрыть отсутствие одной-двух воспитанниц было нетрудно. Когда наши возвратились в класс, моя сторожиха стащила меня туда же и усадила на скамейку, а другие подошли к дежурной даме просить ее о дозволении для меня сидеть на уроках в пелеринке. Но та отвечала, что так как с тою же просьбою они уже обращались к ней третьего дня, то она убеждена, что это какой-нибудь фокус, а

потому и приказала мне подойти к ней. Я встала, но, сделав несколько шагов, упала без чувств.

Когда я пришла в сознание, я лежала в отдельной комнате лазарета, предназначенной для труднобольных. В ту минуту в ней толпилось несколько человек: инспектриса, лазаретная дама, сиделка и трое мужчин, из которых я узнала только одного нашего доктора. Кто-то незнакомый мне, наклонившись надо мной, просил меня назвать мое имя, отчество и фамилию; я исполнила его желание, и только позже мне стало известно, что этот вопрос был задан с целью узнать, в порядке ли мои умственные способности. На его вопрос, сколько времени я нахожусь в лазарете, я отвечала:

— Часа два-три.

— Вы лежите в лазарете одиннадцать дней, пролежали все время в бреду, и вам только что сделана операция. Старайтесь побольше спать и есть.

Прошло уже около двух месяцев, как меня принесли в лазарет, а я была так слаба, что не могла сидеть и в постели. Тупое равнодушие овладело мною в такой степени, что мне не приходила даже в голову мысль о том позоре, которому я, по институтским понятиям, подвергала себя при ежедневных перевязках, когда доктора обнажали мою грудь; не терзалась я и беспокойством о том, как должны были краснеть за меня подруги. Кстати замечу, что, по тогдашнему способу лечения, мою рану не заживляли более двух месяцев, и я носила фонтанель[42]. Но вот наконец, когда однажды я почувствовала себя несколько бодрее, доктор, делавший операцию, сел у моей кровати и начал расспрашивать меня о том, почему я не тотчас после падения с лестницы явилась в лазарет. Когда он несколько раз повторил свой вопрос, я отвечала:

— Просто так.

— Немыслимо, чтобы вы без серьезной причины решились выносить такие страдания!

— Я вам отвечу за нее, профессор... Я ведь знаю все их секреты! Хотя никто не сообщал мне, но я не сомневаюсь в том, что ее подруги и она сама считают позором обнажить грудь перед доктором, — вот милые подруженьки, вероятно, и уговаривали ее не ходить в лазарет.

— Однако этот институт — презловредное учреждение. — И, обращаясь ко мне, профессор добавил: — Понимаете ли вы, что из-за вашей пошлой конфузливости вы были на краю могилы?

Это меня жестоко возмутило. Когда доктор, проводив профессора, подошел ко мне, я со злостью сказала ему:

— Передайте вашему профессоришке, что, несмотря на его гениальность, он все-таки тупица, если не понимает того, что каждая порядочная девушка на моем месте поступила бы точно так же, как и я... Покорнейше прошу сказать ему также, чтобы он не смел более называть меня девочкой... Еще должна вам заявить, что перевязок я более не позволю делать... Вы могли их делать до сих пор только потому, что я отупела во время болезни...

Несмотря на усовещивания инспектрисы, до сведения которой было немедленно доведено мое намерение, я оставалась твердой и непоколебимой. На другой день с одной стороны к моей кровати подошел наш доктор, с другой — профессор. В ту минуту, когда я приподнялась, чтобы выразить им мое нежелание показать рану, один из них схватил меня за руки, а профессор спустил с плеч рубашку и стал разбинтовывать рану. Все это было сделано с такой быстротой, что я не успела сказать ни слова, а перевязка и очищение раны были сопряжены со смертельною болью, и у меня сразу вылетело из головы все, что я собиралась сказать.

Однажды вдруг распространилось известие, что государь уже на Николаевской половине. Ко мне вошла инспектриса и предупредила, что государь, вероятно, зайдет в это отделение, так как он всегда заходит к труднобольным, если только в лазарете нет эпидемии. При этом она учила меня, как я должна приветствовать его. Она приказала мне отвечать на вопросы государя, как можно лучше обдумывая каждое слово, и передала все то, что государь, по ее мнению, мог спросить меня.

Меня стали облекать в чистые одежды, кругом все торопливо вытирали и подчищали, хотя нужно отдать справедливость, что у нас не только в лазарете, но и в классах все блестело идеальной чистотой.

И император Александр II вошел в мою комнату в сопровождении инспектрисы, доктора и всего лазаретного персонала. Дрожащим голосом я произносила свое приветствие на французском языке. Государь подошел к моей постели, в виде поклона чуть-чуть наклонил голову и стоял, выпрямившись во весь рост. Он не задавал мне вопросов о моей болезни, — вероятно, доктор сообщил о ней, прежде чем он вошел ко мне, но спросил меня по-французски:

— Вы и теперь еще сильно страдаете?

— Теперь мне лучше, ваше императорское величество, — отвечала я.

— Что нужно, по мнению врачей, чтобы ускорить ее выздоровление? — спросил государь, обращаясь к доктору.

— Деревенский воздух, ваше императорское величество, мог бы укрепить ее расшатанное здоровье.

— Mademoiselle! — обратился ко мне государь. — Есть у вас родственники в Петербурге?

Я отвечала, что здесь живет мой родной дядя, Гонецкий.

— Вы можете отправиться к нему, как только врачи найдут это желательным, и оставаться у него до тех пор, пока совершенно не поправитесь, затем возвратитесь в институт и кончите ваше образование. А пока вы здесь, вы, может быть, хотели бы чего-нибудь сладкого?

Так как такой вопрос не был предвиден maman и я не получила по этому поводу никаких инструкций, то я простодушно отвечала:

— Я благодарю вас от всего сердца, ваше императорское величество, ко мне *здесь*, в лазарете (я нарочно подчеркнула слово «здесь», чтобы государь узнал, что только в лазарете, но мой заряд пропал, конечно, даром), все очень добры, мне дают даже peau de la vierge.

Государь сдвинул брови:

— Что это такое peau de la vierge? Как вы называете это по-русски?

— Ваше императорское величество! Мы называем так «девичью кожу»...

— Ничего не понимаю. Что это значит? — И государь обратился к доктору.

— Род пастилы, ваше императорское величество, которую мы держим как лакомство для больных: она называется у институток «девичьей кожей».

— А когда вы захотите еще чего-нибудь, кроме «девичьей кожи», — сказал государь, обращаясь ко мне и чуть-чуть улыбаясь углами губ, — вы можете об этом заявить господину доктору. Вы все получите, что не повредит вашему здоровью.

Радостный, веселый, подбежал ко мне доктор после обхода всего лазарета и стал говорить о том, как милостив был ко мне государь, какой продолжительной беседы он меня удостоил, сколькими благодеяниями меня осыпал... Через неделю-другую меня отпустят домой, а теперь будут раскармливать: цыплята, вино — все будет к моим услугам...

— Да вы стоите этого! Как мило вы о нас отозвались... Конечно, вы нас выделили, чтобы сделать маленькую неприятность кое-кому. Но ведь этого никто, кроме инспектрисы, не заметил.

Вошла и инспектриса. Несмотря на ее обычный ласковый тон, я заметила, что она мною очень недовольна.

— Напрасно, совершенно напрасно ты утруждала государя такими длинными ответами и всякими пустяками!.. Задерживать государя таким вздором считается верхом неприличия!.. И эта «peau de la vierge» была так некстати!

Но я решила, что ее раздосадовало то, что я в разговоре с государем упомянула о хорошем отношении ко мне *только* лазаретных служащих.

ГЛАВА IV
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТИТУТСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

Религиозное воспитание. — Образцовая кухня. — Обучение рукоделию. — Изучение французского языка. — Дневники и стихотворения воспитанниц

Наше воспитание отличалось строго религиозным характером. Начальница Леонтьева, если судить по ее донесениям императрице, была им очень довольна. Она писала ей: «Трогательное зрелище представляют молодые девушки, глубоко проникнутые религиозными идеями; они уносят их далеко от того света, в котором им предназначается жить и к которому они должны были бы чувствовать влечение уже вследствие своего юного возраста!..» (Мордвинова, «Статс-дама Мария Павловна Леонтьева». С. 84).

Религиозное воспитание, получаемое нами, состояло как в теоретическом изучении обширного курса Закона Божия, так и в практическом применении к жизни предписаний православной религии, из которых на первом месте стояли строгое соблюдение постов и чрезвычайно частое посещение церкви. Что касается постов, то все условия нашей жизни лишали нас возможности строго их соблюдать. Хотя мы и получали в это время постную пищу, но так как мы в такие дни особенно сильно испытывали муки голода, то, когда родственники приносили кому-нибудь из нас съестное, мы не могли разбирать, было ли то скоромное или постное, и с одинаковым наслаждением уничтожали и постный пирог с грибами, и курицу.

Во все воскресные, праздничные и царские дни[43] и в кануны их, а также в первую и Страстную недели Великого поста мы посещали церковь, нередко даже по два раза в день, а также и всю четвертую неделю этого поста, когда говели. Церковными службами нас так утомляли, что многие воспитанницы падали в церкви в обморок. Непосильное утомление заставляло многих употреблять все средства, чтобы избавиться от посещения церкви, но так как этого добивались решительно все, то между нами обыкновенно устанавливалась очередь (сразу не более трех-четырех в дортуаре), которая давала право заявить дежурной даме о том, что они не могут идти в церковь по причине зубной, головной или другой какой-нибудь боли. При большом количестве воспитанниц желанная очередь наступала редко, а потому многие решались симулировать дурноту, и некоторые воспитанницы делали это очень искусно. Во всем блеске этот талант проявлялся у девиц старшего класса, так как в нем уже более рельефно отражалось все дурное, привитое закрытым заведением.

Взрослые институтки удивительно ловко умели представлять обморок: задерживая дыхание, они бледнели, тряслись, вскрикивали, как будто внезапно теряли сознание, ловко падали на пол, даже с грохотом, не причинив себе ни малейшего вреда. Но были в этом отношении и совсем бесталанные: несмотря на обучение их этому искусству опытными подругами, они никак не могли усвоить его. Такие несчастные создания в известный момент богослужения вытягивали из кармана махорку, приобретенную у сторожа за дорогую цену, и засовывали ее за щеки. У них подымалась рвота, и их выводили из церкви.

В конце концов религиозное воспитание, получаемое в институте, содействовало только нравственной порче и полному индифферентизму к религии. К выпуску оставалось чрезвычайно мало девушек религиозных; даже те, которые с таким благоговением и трепетом приступали к причастию в первый год своей институтской жизни, перед последним причастием уже грызли шоколад, нередко делая это демонстративно и громко высмеивая религиозные обряды. Утрате религиозных чувств сильно помогало ханжество как начальницы Леонтьевой, так и всех классных дам; на языке у них всегда были слова: милосердный Бог, всепрощение, любовь к ближнему, святая религия, но на деле никто из них не выказывал участия, христианского милосердия и любви к воспитанницам.

Точно так же и большая часть других правил и предписаний, положенных в основу институтского воспитания и обучения, давала лишь самые

печальные результаты. Чтобы приготовиться к скромной доле, ожидавшей многих из нас в будущем, мы должны были уметь готовить кушанья, для чего существовала образцовая кухня. Девицы старшего класса, соблюдая очередь, по пяти-шести человек ходили учиться кулинарному искусству. В такие дни они не посещали даже уроков. К их приходу в кухне уже все было разложено на столе: кусок мяса, готовое тесто, картофель в чашке, несколько корешков зелени, перец, сахар. Одна из воспитанниц должна была рубить мясо для котлет, другая толочь сахар, третья — перец, следующая мыть и чистить картофель, раскатывать тесто и разрезать его для пирожков, мыть и крошить зелень. Все это делалось воспитанницами с величайшим наслаждением. Кухня служила для нас большим развлечением; к тому же она избавляла от скучных уроков и на несколько часов от полицейского надзора классных дам. Но такие кулинарные упражнения не могли, конечно, научить стряпне и были скорее карикатурою на нее. Воспитанницы так и не видели, как приготовляют тесто, не знали, какая часть говядины лежит перед ними, не могли познакомиться и с тем, как жарят котлеты, для которых они рубили мясо. Кухарка смотрела на это как на дозволенное барышням баловство и сама ставила кушанье на плиту, опасаясь, чтобы они не обожгли себе рук или не испортили котлет; сама она возилась и около супа. Барышням она поручала толочь сахар, перец и все, что нужно было рубить и толочь, что те и производили в такт плясовой, а это заставляло смеяться и кухарку и воспитанниц. Их веселому настроению содействовало и то, что обед, приготовленный «их руками», они имели право съесть сами, а он был несравненно вкуснее, питательнее и обильнее обычного[44].

Обучение рукоделию хотя и не носило столь комичного характера, как обучение кулинарному искусству, но тоже не достигало никакой цели и роковым образом отражалось на успехах в науках весьма многих воспитанниц. В институте было немало девочек, которые уже при вступлении в него умели порядочно шить и знали несколько женских работ. На первом же уроке учительница рукоделия осведомлялась, кто к чему приучен был дома: необученным шить она давала обметывать швы, мотать мотки или выдергивать нитки из полотна, чтобы с их помощью разрезать его, учила их сшивать полотнища, но далее этого обучение не шло. Тех же воспитанниц, которые заявляли учительнице о том, что они любят вышивать ковры или шить гладью, немедленно присаживали за эти работы.

В институте всегда приходилось заготовлять большое число вышивок и прошивок для украшения всевозможных юбок, полотенец, накидок. Ковры шли как на подарки, так и на украшение церкви. Редко выпадал месяц в году, когда не требовалось окончить какого-нибудь сюрприза: то наступал день именин начальницы или кого-нибудь из высокопоставленных лиц, то годовые праздники[45], в которые также подносили подарки. Вследствие этого учительница страшно обременяла работою воспитанниц, имевших неосторожность выказать любовь к рукодельям. Уроки рукоделья происходили раз в неделю, по полтора часа, — этого времени было крайне недостаточно, чтобы покончить со всеми работами. Воспитанницам, хорошо исполнявшим шитье гладью, раздавали на руки полосы различной материи, чтобы по вечерам, когда они должны были готовить уроки к следующему дню, они занимались вышиваньем. Ковры же вышивали в пяльцах, и учительница рукоделия просила классных дам отпускать воспитанниц вечером к ней в мастерскую. Нередко оказывалось, что и вечеров не хватало на окончание какого-нибудь подарка. Тогда учительница обращалась с просьбой к инспектрисе отпускать к ней воспитанниц даже во время урока. Если сюрприз предназначался высокопоставленному лицу, инспектриса находила невозможным отказать в такой просьбе, и несколько воспитанниц вследствие этого не посещали уроков неделями, а то и месяцами.

Превосходно исполненные ковры, на которых изображены были цветы, ландшафты, сцены из рыцарской и пастушеской жизни, приводили в такой восторг не посвященных в это искусство воспитанниц, что многие из них умоляли учительницу выучить их этой работе. Но та обыкновенно отвечала:

— Если вы испортите материал, я должна будут откупить его на свой счет!.. И когда мне возиться с вами! Вы жалуетесь, что я заваливаю работою ваших подруг... А посмотрите, когда я сама ложусь спать! Мне то и дело приходится по ночам оканчивать работу, которая будет поднесена в подарок от вашего имени...

Во время публичного выпускного экзамена в особых комнатах института устраивалась выставка работ учениц. Тут можно было видеть превосходно вышитые ковры, вышивки по батисту и цветной материи гладью, белой и разноцветной бумагой и шерстями, искусно исполненные цветы, а также белье, сшитое ручною строчкою. На стенах висели картины,

написанные масляными красками и акварелью: здесь красовалась головка гречанки, там — девочка с козой, цветы. Хотя все эти картины с художественной точки зрения были ниже всякой критики и оказывались плохими копиями, но и они исполнены были с помощью учителя рисования, который не только исправлял рисунок, но и рисовал в нем все более трудное; однако и на это способны были лишь очень немногие воспитанницы, а громадное большинство так и выходило из института, не умея срисовать с рисунка даже простого стула, не говоря уже о рисовании с натуры: наглядный метод совершенно отсутствовал в обучении дореформенного времени. Что же касается рукоделия, то громадное большинство кончало курс, выучившись одному или двум швам.

Знанию французского языка придавали громадное значение. На девочку, умевшую болтать на этом языке при своем вступлении в институт, смотрели с большим благоволением. Ей прощали многое такое, чего не прощали другим; находили ее умною и способною даже тогда, когда этого вовсе не было. На изучение этого языка во всех классах отводили наибольшее количество часов: в белом (старшем) классе изучали французскую литературу, писали письма и сочинения на этом языке. Классные дамы и все начальство говорило с нами по-французски. Между собою воспитанницы тоже обязаны были говорить на этом языке. Какое громадное значение уже издавна приписывали в институте французскому языку и до какого комизма доходила наивная вера в его могущество, видно из воспоминаний воспитанницы Патриотического института. Когда 14 декабря 1825 года раздалась пальба из орудий, начальница Патриотического института обратилась к воспитанницам с такою речью: «Это господь Бог наказывает вас, девицы, за ваши грехи. Самый главный и тяжкий грех ваш тот, что вы редко говорите по-французски и, точно кухарки, болтаете по-русски». «В страшном перепуге, — говорит автор воспоминаний, — мы вполне познавали весь ужас нашего грехопадения и на коленях перед иконами, с горькими слезами раскаяния, тогда же поклялись начальнице вовсе не употреблять в разговоре русского языка. Наши заклятия были как бы услышаны: пальба внезапно стихла, мы успокоились, и долго после того в спальнях и залах Патриотического института не слышалось русского языка» («14 декабря 1825 года в Патриотическом институте» С.А. Пелли, «Русская старина» 1870 года, август). Я же описываю несравненно более поздний период времени, уже накануне реформ в Смольном. Но и в это время, как и прежде, институтки были просты до наивности и вслед-

ствие своего невежества очень суеверны, но в мое время нас никто, а тем более начальство не могло запугать гневом Божьим уже по одному тому, что даже религиозные девочки утрачивали в институте свою простодушную веру. Что же касается французского языка, то хотя изучению его у нас и придавали громадное значение, но так как в нас не выработали серьезного отношения к какому бы то ни было знанию, не научили умению заниматься, не привили нам должной усидчивости и интереса к какому бы то ни было предмету, мы все обучение обращали в пустую формальность. Если до слуха классной дамы доходила русская речь воспитанницы, она кричала ей: «Как ты смеешь говорить по-русски?» Та отвечала: «Но я сказала: comment dit-on en français?»[46] Классная дама удовлетворялась этим ответом, а та продолжала болтать по-русски. Разговоры с классными дамами и с более высшими начальственными лицами ограничивались каким-нибудь десятком-двумя официальных фраз (в это число входили всевозможные поздравления), которые заучивались воспитанницами в первый же год их вступления в институт. Вследствие этого институтки не могли поддерживать серьезного разговора на французском языке, не могли они и читать на этом языке серьезные книги, — впрочем, и по-русски они не могли ни вести серьезного разговора, ни читать серьезных книг, и русская речь воспитанниц не отличалась ни богатством слов, ни разнообразием выражений. Можно себе представить, какие успехи делали воспитанницы в других предметах, если изучение французского языка было столь неудовлетворительно.

Наше время было так распределено, что если бы преподавание в институте и было поставлено более правильно, у нас не хватало бы времени для серьезных занятий. Уроки в старших классах заканчивались в 5 часов, когда шли к обеду. После него до вечернего чая можно было готовить уроки, но один вечер в неделю уходил на танцы, один, а то и два вечера — на церковную службу перед праздничными днями, один — у некоторых на упражнение в пении, у других — на рукоделие; таким образом, оставалось в неделю всего два-три свободных вечера. В кофейном классе большая часть времени тратилась на переписку: переписывали басни и рассказы, писали неправильные французские глаголы, — для всего этого существовали особые тетради. Если в одной из них оказывалось несколько чернильных пятен или несколько строк, криво написанных, классные дамы заставляли девочку переписать всю тетрадь. В старших классах не обращали внимания на чистоту тетрадей, но девицы также убивали мно-

го времени на переписку: большая часть учителей задавала им уроки не по учебникам, а по собственным запискам, — вот эти-то записки и приходилось переписывать. Из сказанного ясно, что на учение уроков у нас оставалось крайне мало времени, тем более что в эти свободные вечера приходилось не только переписывать записки учителей, но и делать сочинения на русском и французском языках.

Как мало знаний выносили мы из преподавания, какими поразительными невеждами оканчивали курс, будет видно из следующего очерка; к сказанному же прибавлю только, что большая часть наших учителей сами были людьми невежественными и никуда не годными педагогами. Даже по внешности, кроме француза, они представляли, точно на подбор, отовсюду набранных, отживших стариков, навсегда сданных в архив в эту, так сказать, учительскую богадельню Смольного. Случалось, — впрочем, крайне редко, — что вследствие болезни или смерти тот или другой из престарелых педагогов выбывал из строя, и его место замещал еще не совсем старый человек, но после нескольких уроков такие учителя обыкновенно исчезали с нашего горизонта по неизвестной для нас причине. Один из них был удален после пяти или шести уроков только за то, что сказал:

— Девицы, вы передаете все в зубрежку и плохо рассказываете оттого, что ничего не читаете, — просите начальство снабдить вас книгами для чтения.

Поступив в институт в раннем детстве и во время всего своего пребывания в нем удаленная от природы и людей, институтка не имела ни малейшего представления о жизни. За высокие стены ее заколдованного замка не долетало ни одного человеческого стона, ни малейшего сведения не доходило до нее о каком-нибудь общественном движении, и вообще решительно ничего не знала она о положении своей родины, о ее несчастиях и надеждах. Окончив курс в дореформенном институте, институтка вступала в жизнь с самыми дикими воззрениями, с самыми наивными предрассудками, с нелепыми требованиями от людей, с пошлыми и сантиментальными мечтами. Ее манили к себе роскошь, балы, выезды, туалеты, танцы, ухаживания блестящих кавалеров. Одним словом, она мечтала о том, о чем мечтали тогда все так называемые «кисейные барышни»[47]. Нужно, однако, заметить, что и русское общество того времени предъявляло девушке лишь эстетические требования. Наклонную к серьезному чтению и разговору называли «синим чулком» и жестоко

высмеивали. Что же мудреного в том, что в институте, этом все более дряхлеющем и отживающем свой век учреждении, не следившем за новыми течениями в лучшей части современного общества, продолжали воспитывать в дворянском духе, развивая пристрастие к аристократическим нравам. Девушка того времени при домашнем воспитании, как бы оно плохо ни было, испытав в семье материальную нужду и житейские невзгоды, все же могла скорее и легче понять все ничтожество, всю призрачность и эфемерность эстетических иллюзий, все неудобство применения их к практической жизни. Институтка же, наоборот, все время своего умственного и нравственного роста проводила в заточении, как сказочная царевна. Все, что требовалось для жизни: стол, платье, постель, комната, — было к ее услугам; она оказывалась устраненною от каких бы то ни было забот. Откуда бралось все существенное для жизни, она не знала; не слыхала, чтобы и другие интересовались этими вопросами. Она не могла даже догадываться о том, какою тяжкою борьбою добывают люди свой насущный хлеб, совсем не была приготовлена к трудовой жизни.

Вот почему после окончания институтского курса большая часть ее понятий были нелепы, ее страх безрассуден, отношение к обыденной жизни и ее явлениям подчас просто комично. Она идет по улице, а с противоположной стороны навстречу ей приближается мастеровой под хмельком, — она с ужасом бросается в сторону; поползет по руке червяк, сядет насекомое — она с визгом несется куда глаза глядят. Многие из воспитанниц после выпуска были убеждены в том, что если кавалер приглашает во время бала на мазурку[48], это означает предварительное сватовство, за которым последует формальное предложение. Одна институтка, прождав напрасно в продолжение нескольких дней своего кавалера в бальной мазурке, была так скандализирована этим, что бросилась к своему брату-офицеру, умоляя его выйти на дуэль и стреляться с человеком, по ее мнению, опозорившим ее. Если родители институтки не соглашались выдать ее замуж за человека, сделавшего ей предложение, если он был даже известный негодяй, она воображала, что получивший отказ должен непременно застрелиться, — и на этой почве происходило немало комичных и трагичных инцидентов.

Институтка прежнего времени, покинув стены ее «alma mater»[49], была конфузлива до дикости: самый простой вопрос ставил ее в тупик. Она не умела разобраться даже в том, смеются над нею или обращаются к ней серьезно, не знала, как отнестись к людям, заговорившим с нею, и бы-

вало немало случаев, когда она срывалась с места и выбегала из комнаты только потому, что кто-то подходил к ней «очень страшный». От этого сплошного обмана всех чувств, от этой ребячьей наивности некоторые институтки не избавлялись до конца своих дней. Если от природы девушка была умна, если институтское воспитание не успело вытравить в ней всех ее душевных способностей, она энергично начинала перевоспитывать себя. Но, прежде чем житейские обстоятельства переделывали ее настолько, что она становилась хотя несколько пригодною к жизни, ей приходилось сделать много ошибок, принести много вреда и себе и другим. Если она выходила замуж за бедного человека и делалась матерью, она не умела ни ухаживать за детьми, ни найтись в затруднительном положении: для нее было немыслимо при ничтожных средствах устроить мало-мальски сносный обед, смастерить что-нибудь для ребенка из незатейливого материала, — она совершенно лишена была предприимчивости и находчивости в практической жизни.

Институтская жизнь дореформенного периода проходила в притупляющем однообразии монастырского заключения без горя и радостей, без нежных ласк и сердечного участия, без житейской борьбы и волнений, без надежд и разумных стремлений. Все, точно нарочно, было приноровлено к тому, чтобы воспитать не человека, не мать, не хозяйку, а манекен и, во всяком случае, слабое, беспомощное, бесполезное, беззащитное существо. Иначе и быть не могло: в институте девушка лишена была всего, что дает возможность выработать собственное суждение, наблюдательность, энергию, волю, характер, самостоятельное чувство. Несмотря на то что в институте все было точно размерено и определено, все делалось по звонку и воспитанницы ни на одну минуту не оставались без надзора классных дам, они, в сущности, росли без всякого призора. Хотя классные дамы вечно наблюдали, чтобы воспитанницы разговаривали как можно меньше и тише, те научились болтать перед их носом, не шевеля губами, делать вещи, строго запрещенные. Не имея возможности ни с кем из старших побеседовать по-человечески, посоветоваться, хотя изредка слышать человеческие разговоры и споры, воспитанницы предоставлены были только самим себе. Но что могли позаимствовать друг у друга девушки, воспитанные при одинаково ненормальных условиях? Они прекрасно знали несложную психологию друг друга, понятия и даже слова, в которых они выражали свое суждение по поводу того или другого явления институтской жизни; все они употребляли в своих разговорах одни и те же

выражения, когда их что-нибудь поражало, выкрикивали одни и те же восклицания. Их воззрения, понятия, мысли и способности развивались по одному шаблону, их поступки нередко вредны были для их здоровья и нравственности. Они ели всякую дрянь: куски грифеля, графит, угольки, мел, стягивались корсетом в рюмочку, а некоторые даже спали в корсетах, чтобы приобрести интересную бледность и тонкую талию, — никто их не останавливал, никто не объяснял им, какой вред они себе причиняют.

Грубость классных дам делала и институток грубыми существами: так же как и их наставницы, они имели собственный лексикон бранных слов. Они то и дело ссорились между собой, и бранные слова сыпались, как горох из мешка. Громадному большинству была недоступна деликатность, бережное отношение к чувствам ближнего: соберутся вместе и пересчитывают красивых и безобразных подруг и тут же в лицо кричат им: «Ты первая по красоте в нашем классе! Ты первая по уродству! Ты вторая по идиотству!»

Начальство делало выставку решительно из всего, — все должно было иметь показную сторону. Перед приемом высоких посетителей на видные места помещали красивых воспитанниц. Они же должны были в первых рядах танцевать перед ними на балах. Выпускные, публичные экзамены были пустою формальностью, — каждая знала, что ей придется отвечать; сочинение писали заранее, учитель поправлял его, и оно зазубривалось слово в слово, — выученные наизусть сочинения задавали писать на публичных экзаменах. В конце концов жизнь для выставки, жизнь напоказ так въедалась в нравы воспитанниц, что они учились только для хорошей отметки, поступали хорошо только тогда, когда надеялись получить похвалу. Красивого наряда для выпуска требовали даже те, матери которых в отчаянии ломали руки, не зная, как справиться, чтобы устроить дочери мало-мальски сносный туалет для ее выхода, который сразу требовал огромных издержек.

О выпуске мечтали все, как те, которым предстояло блестеть на балах, так и те, которых ожидала трудовая дорога, но о ней никто не думал. И это естественно: чем ближе подвигалось время к выпуску, тем более утрачивали воспитанницы какое бы то ни было представление о действительной жизни. Многие из них имели род подвижного календаря: мелко написав на длинную ленту числа всех месяцев своего пребывания в институте, они отрезали истекшее число и торжественно провозглашали, сколь-

ко дней осталось до выпуска. Воспитанницы дореформенного института представляли себе жизнь не иначе как усеянную розами. В институтских стенах им приходилось постоянно сдерживать себя, помнить кодекс правил, вечно слышать брань озлобленных старых дев, испытывать голод, холод, тяжесть раннего вставания, — и они мечтали, что в будущем их ждет золотая свобода, что они будут вставать поздно, делать что захотят, что окружающие будут относиться к ним с искреннею любовью. Что же удивительного в том, что весьма многим мечтательницам скоро пришлось сказать себе: «Жизнь, ты обманула меня!»

Дневники и стихотворения институток[50] обнаруживали в авторах отсутствие серьезного содержания, мысли, творчества, фантазии, даже естественных сердечных чувств. К институтке прививали все искусственное: учителя французского языка восторгались, когда их ученицы декламировали стихи Корнеля и Расина замогильным голосом, с искусственным пафосом. Это создавало фальшивую атмосферу, прививало любовь к фразе. Не только в Смольном, но и во всех закрытых заведениях дореформенного периода истинные чувства девушек заглушались высокопарными фразами. Они были в моде, в ходу, сильно поощрялись и высшим и низшим начальством, что еще более искажало природу воспитанниц. Вот что говорит А.В. Стерлигова в своих воспоминаниях о петербургском Екатерининском институте: «Одна из институток, узнав о смерти двух своих братьев, убитых на войне, составлявших притом единственную поддержку семьи, зарыдала, а все-таки сквозь слезы проговорила: “Слава богу, что они умерли за царя и отечество”. Об этих словах было доведено до сведения императрицы, пожелавшей увидеть воспитанницу. Государыня сделала ей подарок, а отцу ее была назначена пенсия в 1000 рублей, которая после его смерти перешла к дочери» («Русский архив» 1898 года, № 4, «Воспоминания А.В. Стерлиговой о петербургском Екатерининском институте 1850—1856 годов»)[51].

Я перечитала несколько институтских дневников и чаще всего встречала в них описание того, как автор дневника встретил «свое божество» или как был наказан классной дамой; иногда встречалось восторженное описание посещения института императрицею, бросившей свой носовой платок на память воспитанницам, которые немедленно разорвали его на мелкие лоскутки, зашивали их, как ладанки, и носили на шее[52].

То же самое находим и в поэтическом творчестве институток, выражавшемся преимущественно в писании стихов в альбомы подругам. При

отсутствии мысли, наблюдательности и творчества они отличались еще крайне неуклюжею рифмою, набором фраз и страшных слов, сопоставлением самых противоречивых понятий (например, «в моей крови горячей — жар холодный», «счастливое страданье»), а чаще всего наклонностью к сантиментальности, таинственному и загробному.

Порвав нравственную и родственную связь детей с родителями, сделав их чуждыми и далекими друг другу, дореформенный институт делил старое и молодое поколение на два враждебных лагеря. И в этом лежит одна из причин, почему у нас всегда «отцы и дети» так враждовали между собой. У институток отнимали все, что красит жизнь, все, что оживляет чувство, заставляет радостно трепетать юное сердце от чистого счастья и восторга. Сердца молодых девушек, столь податливых на откровенность, засушивались, черствели и рано научились ненавидеть.

Муштровка и дисциплина приводили воспитанниц к одному знаменателю, стирали индивидуальность, делали институток похожими друг на друга не только манерами, но, за небольшими исключениями, даже характерами и вкусами, вырабатывали из них созданий, «к добру и злу постыдно равнодушных»[53], лишенных воли, энергии, и прежде всего какой бы то ни было инициативы. Начальство сознательно стремилось обезличивать их, — с такими ему легче было справляться, чем с «отчаянными». Их было сравнительно очень немного, этих «отчаянных»: ломая характер, ожесточая более, чем остальных, все же не могли стереть с них некоторой индивидуальности. «Отчаянных» классные дамы не переносили, но не выказывали ни малейшей симпатии и к остальным. «Дрянь на дряни и дрянью погоняет» — вот поговорка, которую мы всегда слышали, когда подымался шум в классе. Из всех воспитанниц они выделяли только «парфеток» (от французского слова «parfait» — совершенный). Несмотря на всю грубость и испорченность «отчаянных», между ними попадались благородные, иногда даже рыцарские натуры, а парфетками являлись самые тупые в нравственном и умственном отношении. Эти до мозга костей испорченные девушки, с премудростью старых дев, целовали руки и плечи классным дамам, пожирали глазами начальство, стремглав бросались по его поручениям, и большинство их шпионило за подругами и доносило на них классным дамам.

Выше было сказано, что процент смертности в институте был сравнительно невелик, но и вполне здоровых среди воспитанниц было чрезвычайно мало. В 1859 году инспектор по медицинской части петербург-

ских учреждений императрицы Марии[54], лейб-медик Маркус представил свой отчет государыне, в котором говорит, что весьма многие воспитанницы страдают «оскудением крови». Причину этого явления он видел в том, что институтки мало двигались на воздухе и плохо питались. Он заметил также немало случаев искривления позвоночного столба, что происходило, по его мнению, от продолжительного сидения в согнутом положении при вышивании по канве и переписывании тетрадей[55].

Но почему же матери так стремились отдавать в институт своих дочерей? Неужели он так-таки ничего хорошего не вырабатывал в своих питомицах? В русском обществе придавали тогда огромное значение хорошим манерам. И действительно, институтки отличались ими. Но не начальство содействовало этому, а подруги. Многие девочки при своем вступлении были крайне неуклюжими: одна ходила, переваливаясь с ноги на ногу, другая размахивала руками при ходьбе, закатывала глаза при разговоре, гримасничала. Когда воспитанница обращалась с вопросом к подруге, та отвечала ей, копируя в карикатуре ее манеры, причем весь класс покатывался со смеху. Иногда выстраивался целый отряд воспитанниц, дефилировавших перед злополучной девочкой, неимоверно топая ногами, выпячивая живот, — одним словом, представляя в комичном виде ее недостатки. Несчастная девочка сердилась, бранилась, плакала, но постепенно отвыкала от усвоенных дурных привычек и скоро уже сама высмеивала других. Таким образом, воспитанницы самостоятельно вырабатывали в себе отвращение к дурным манерам, но, конечно, все это касалось внешней, одной только внешней, стороны.

Однако институт приносил и более существенную пользу. Эпоха крепостничества перед освобождением крестьян была временем, когда страсти, разнузданные продолжительным произволом, у весьма многих помещиков выражались отчаянным развратом, когда в помещичьих домах содержались целые гаремы крепостных девок, когда пиры сопровождались невообразимым разгулом, пьянством, драками, грубою бранью, когда из конюшен раздавались отчаянные крики засекаемых крестьян. Разлучая дочерей с подобными родителями, институт спасал их от нравственной гибели. Так было в дореформенное время.

Наконец и в институт, окаменевший в своей неподвижности, ворвался солнечный луч: в качестве инспектора классов к нам явился К.Д. Ушинский, этот величайший русский педагог-реформатор, а вместе с ним хлынула и волна новых идей, которые стали подтачивать допотопные институтские устои, даже изменять институтские нравы и обычаи.

ГЛАВА V
СМОЛЬНЫЙ ВО ВРЕМЯ РЕФОРМ

Назначение Ушинского инспектором классов. — Его отношение к бывшим учителям. — Его преобразования и вступительная лекция

В самом начале 1859 года разнеслась молва, что инспектором классов в Смольном, на Николаевской и Александровской половинах, назначен Константин Дмитриевич Ушинский. Если бы кто-нибудь сказал нам тогда, что этому человеку суждено не только пошатнуть устои двух огромных институтов, незыблемо покоившиеся на основах безнравственной нравственности, ханжеской морали и рутинных схоластических приемов преподавания и в корне изменить взгляды и мечты институток, мы, воспитанницы, ни за что не поверили бы этому. Перед появлением у нас Ушинского нам никто ничего не рассказывал о нем, а мы сами мало интересовались инспекторами вообще. Инспектор должен был наблюдать за преподаванием наших учителей, замещать их новыми, если кто-нибудь из них выбывал из строя, но это случалось лишь вследствие смерти или продолжительной болезни кого-либо из них, да и такие права его были скорее фиктивными. Наша всесильная начальница Леонтьева давно забрала в обоих институтах всю власть в своих руки и всегда действовала по своему личному усмотрению: ни один учитель не мог проникнуть к нам или оставаться у нас, если он ей не нравился. Не имея ни малейшего представления о просвещенном абсолютизме, Леонтьева управляла двумя институтами, как монарх, не ограниченный никакими законами, по образцу восточных деспотов. Все отношения инспектора к воспитанницам состояли в том, что он от времени до времени посещал урок того или другого учителя и присутствовал на экзаменах.

Когда однажды у нас только что кончился какой-то урок и мы уже направились было к двери, чтобы выйти из класса, в него вбежал, буквально вбежал, среднего роста худощавый брюнет, который, не обращая внимания на наши реверансы и нервно комкая свою шляпу в руках, вдруг начал выкрикивать: «Ведь вы же здесь специально изучаете нравственность, а не знаете того, что портить чужую вещь духами или другою дрянью неделикатно!.. Не каждый выносит эти пошлости! Наконец, почем вы зна-

ете... может быть, я настолько беден, что не имею возможности купить другую шляпу... Да куда вам думать о бедности! Не правда ли... ведь это fi donc...[56] совсем унизительно!» И с этими словами он выбежал из класса.

Мы были так ошеломлены, что стояли неподвижно. И было отчего: хотя классные дамы ежедневно осыпали нас бранью, упреками и намеками на что-то гнусное с нашей стороны, но от мужского персонала, от наших учителей и инспектора, мы никогда не слыхали грубого слова. Для этого не было ни малейшего повода. Наши учителя редко вызывали плохих учениц, а хорошие твердо учили свои уроки. Если воспитанница не знала урока, ей ставили плохую отметку, и этим ограничивались все неприятности между учителями и нами. Учителя и инспектор обращались со всеми весьма вежливо. Что же касается вступления нового инспектора в институт (это случалось крайне редко), то он обыкновенно торжественно входил в класс в сопровождении инспектрисы. При этом она произносила по-французски: «Monsieur, — рекомендую: воспитанницы такого-то класса», а обращаясь к нам, — «mesdemoiselles: ваш новый инспектор». Мы чинно приподнимались со скамеек, кланялись и выслушивали несколько фраз нового инспектора, правда стереотипных, но в чрезвычайно вежливой форме, в которых высказывалась уверенность, что мы своими успехами заставим его всегда вспоминать о проведенном с нами времени как о самом приятном для него. Затем начинался урок, во время которого учитель вызывал самых лучших воспитанниц, а инспектор старался ободрить конфузившихся и в конце концов высказывал, как он удивлен нашими успехами и хорошею подготовкою. «А это что за инспектор? Не успел появиться и уже осмеливается орать на нас, взрослых девушек, как на базарных мужиков! Наконец, даже не мы это сделали! Вероятно, кто-нибудь из другого отделения... А если бы и мы? Неужели такое преступление облить шляпу духами? Мы всегда так делали, и порядочные мужчины были только польщены этим! Какой-то невоспитанный, некомильфотный!.. И как приличны с нами эти разговоры о бедности!..» — рассуждали мы. Но долго останавливаться над этим вопросом не пришлось: раздался колокол, призывавший нас на урок немецкого языка.

За солидным немцем[57], отрастившим себе порядочное брюшко и неторопливо приближавшимся к скамейкам, нервною и стремительною походкою вошел в класс Ушинский. Он поклонился, попросил воспитанниц, сидевших на последней скамейке, подойти к его столу и приказал одной из них открыть книгу, но не на том месте, где был заданный

урок, а на несколько страниц вперед, и переводить. «Мы этого еще не учили...» — получил он в ответ. Но Ушинский заявил, что он желает знать, как воспитанницы переводят á livre ouvert[58]. Из страницы, прочитанной каждою, одна могла перевести два-три слова, другая несколько больше, а третья решительно ничего не знала. Когда же он предложил передать по-русски своими словами только что прочитанное, ни одна из нас ничего не могла ответить, никто не понимал даже, о чем идет речь.

На вопрос, сделанный учителю, сколько у нас в неделю уроков немецкого языка и сколько лет мы учимся, он отвечал, что уже шестой год и что мы имеем по два урока в неделю. На это инспектор заметил:

— Вычитая каникулы и бесконечное число праздников, воспитанницы учатся, во всяком случае, не менее месяцев семи, следовательно, в году имеют по крайней мере пятьдесят шесть уроков... Ведь если бы они выучивали в каждый урок только несколько слов и на эти слова делали упражнения и переводы, то подумайте сами, какой громадный запас слов они приобрели бы в двести восемьдесят ваших уроков! Между тем воспитанницы не понимают даже смысла прочитанного, хотя текст оригинала простой и легкий.

Учитель оправдывался тем, что вызваны были плохие ученицы, но еще более подчеркивал то, что в институте все внимание обращено на французский язык, что воспитанниц заставляют разговаривать по-немецки очень редко, да и то для проформы, и указывал на то, что сами они терпеть не могут немецкого языка.

Ушинский возражал, что для того, чтобы заставить воспитанниц полюбить немецкий язык, он, учитель, должен был отчасти читать, а отчасти сообщать им содержание лучших произведений Шиллера и Гете.

— О господин инспектор! — насмешливо-добродушно отвечал немец. — Уверяю вас... хотя они и в старшем классе, но ничего, решительно ничего не поймут в сочинениях этих писателей и не заинтересуются ими.

На это Ушинский заметил, что только идиота может не заинтересовать гениальное произведение.

Так как учитель в свое оправдание указывал на то, что инспектором были вызваны плохие ученицы, Ушинский предложил ему вызвать самых лучших и начал внимательно вслушиваться в их чтение. Когда одна из них начала бойко переводить, Ушинский заметил ей, что хотя она прекрасно понимает прочитанное, но по-русски выражается неправильно, и указывал ей, как нужно переводить то или другое немецкое выражение.

Когда мы поближе познакомились с Ушинским, мы заметили, что он так уходит в дело, — все равно, читал ли он лекцию или слушал наши ответы, — что не видел и не слышал, что происходило вокруг. Но когда кто-нибудь внезапно нарушал тишину, он вздрагивал, резко делал замечание нарушителю ее, не обращая ни малейшего внимания, к кому оно относилось, — к воспитаннице, учителю или к классной даме. Так было и в этом случае. Дежурная дама, m-lle Тюфяева, внезапно с шумом отодвинула свой стул, встала со своего места, подошла к скамейке и начала что-то вырывать из рук одной воспитанницы. Как только она скрипнула стулом, Ушинский быстро поднял голову и стал пристально всматриваться в нее, точно не понимая в первую минуту, что его отвлекло от дела. Но когда у нее завязалась борьба с ученицей, он привстал с своего места и резко закричал: «Перестаньте же, наконец, шуметь! Кто вас просит сидеть в классе? Учитель сам обязан поддерживать порядок!» И сейчас же уселся как ни в чем не бывало, продолжая занятия. Тюфяева побледнела, но промолчала, может быть от неожиданности. С институтской точки зрения замечание Ушинского, как по форме, так и по существу, могло считаться возмутительною дерзостью. Наши инспектора и учителя разговаривали с классными дамами не иначе как с величайшим почтением. Если же приходилось о чем-нибудь их попросить или сделать самое ничтожное замечание (то и другое случалось крайне редко), то они обращались к ним, наклонив голову и с приятной галантностью: «Mademoiselle N, простите великодушно, если я решаюсь вас беспокоить...» — и т.п. А новый инспектор только что показался и уже смеет кричать на нее, заслуженную классную даму, как на последнюю горничную! Между тем Ушинский, сделав ей такое неподходящее, по институтскому этикету, замечание, моментально забыл о ее существовании.

— Вы, кажется, немка? — спросил он у воспитанницы, которая только что переводила с немецкого на русский. Получив утвердительный ответ, он узнал и от двух других воспитанниц, прекрасно ответивших на все его вопросы, что они хотя и русские, но дома говорили больше на немецком, чем на родном языке.

— А, вот что! Значит, эти первые ученицы знанием языка обязаны семейству, а не учебному заведению! — сказал Ушинский, обращаясь к учителю, поклонился и повернулся, чтобы уходить, но Тюфяева загородила ему дорогу.

— Позвольте вам заметить, милостивый государь, что мы дежурим в классе по воле нашего начальства... что мы... что я... я высоко чту мое начальство...

— Если вы уже обязаны здесь сидеть неизвестно зачем, то, по крайней мере, должны сидеть тихо, не скрипеть стулом, не шмыгать между скамейками, не вырывать бумаги у воспитанниц, не отвлекать их внимания от урока... Понимаете? — резко перебил ее Ушинский.

— Я, милостивый государь, служу здесь тридцать шесть лет... мне, милостивый государь, седьмой десяток... да-с, седьмой десяток... я не привыкла к такому обращению... Это все, все будет доложено кому следует.

— Если вы дежурите с такой определенной целью, то и исполняйте ваши священные обязанности!.. — с последними словами он вышел из класса.

Тюфяева возвратилась на свое место, но была так взволнована, что не брала даже чулка в руки, который она обыкновенно вязала; горько покачивая головой, она вдруг расплакалась и направилась к выходу. Воспитанницы в первый раз остались в классе с глазу на глаз с учителем. Все молчали. Наш немец что-то крепко призадумался, но это был один момент: он вдруг встрепенулся и, по заведенному порядку, начал вызывать учениц одну за другой. Ратманова, пользуясь отсутствием классной дамы, встала с своего места и, прикрывая рот и нос платком (указывая этим, что у нее кровь идет носом), смело вышла из класса, но не в ту дверь, в которую ей надлежало выйти для этого. Мы поняли, что она отправилась «на разведки». Нам тоже не сиделось: мы чувствовали сильнейшую потребность обсуждать происшедшее, а между тем приходилось ждать до звонка, мало того, необходимо было запастись терпением и на весь обед, так как в это время не очень-то удобно было болтать. Немец не обращал ни на что внимания, и мы то и дело оборачивались по сторонам: одна показывала другой на свою голову и вертела над нею рукою, выражая этим, что у нее бог знает что там творится, другая била себя в грудь и закатывала глаза, — это означало, что у нее разрывается сердце от муки из-за того, что приходится так долго молчать.

В столовую мы спустились без классной дамы. Когда мы шли по парам, Ратманова незаметно присоединилась к нам и сидела за обедом, загадочно улыбаясь. Подруги то и дело подталкивали ее соседок, умоляя

их выспросить ее о том, что она успела узнать. «Удалось ли что-нибудь?» — спрашивали ее. Гордо подняв голову, она отвечала, что неудачи преследуют только трусих и идиоток.

Наступил конец и нашим страданиям. Когда мы возвратились в класс, Тюфяева, на наше счастье, ушла в свою комнату заливать горе кофеем. Сбившись в кучу, воспитанницы кричали, перебивая друг друга:

— Это какой-то ужасающий злец!

— Просто невежа!

— Не конфузится сознаться, что у него денег нет даже на покупку шляпы!

— Неправда, и опять неправда! — смело выскочила на его защиту воспитанница Ивановская[59]. — Ушинский... это, прежде всего, человек неземной красоты!

— Не ты ли облила его шляпу духами?

— Я не могла этого не сделать!.. Спускаюсь утром на нижний коридор и вдруг вижу — входит... Меня точно стрела пронзила! Я так была поражена его красотой!.. Дала ему пройти и сейчас же бросилась к вешалкам, облила его шляпу духами, вылила духи в карманы его пальто — одним словом, весь флакончик опорожнила, благо он был под рукой.

Воспитанницы, однако, не одобрили поступка Ивановской. Хотя почти каждая из них делала то же самое, но в данном случае они ссылались на то, что стоило только взглянуть на Ушинского, и каждая должна была бы понять, что он не оценит такого внимания. Хотя это суждение высказывалось post factum[60], но с ним все согласились, судили, рядили, и все-таки никто из нас не мог сообразить, почему Ушинский так обозлился только за то, что его одежду облили духами. Нашим учителям это обыкновенно очень нравилось: при встрече после этого они улыбались нам лишний раз. Особенно возмутило нас в Ушинском, как величайшая неблаговоспитанность с его стороны, что он осмелился кричать на нас, взрослых девиц, а также и то, как он разговаривал с m-lle Тюфяевой. Конечно, мы все были до невероятности счастливы, что он ее так «отбрил» и «унизил», но многие находили, что хотя она и классная дама, следовательно, гнусное существо, но все же она дама вообще, а каждый образованный мужчина должен относиться к даме по-рыцарски, с утонченною любезностью и почтением.

— Он не только невоспитанный человек, но и форсун!

— Он не форсун, а хвастун!

— Верно, верно! Постарался блеснуть перед нами даже знанием таблицы умножения! Он воображает, что мы без него не сумеем помножить число недельных уроков на семь месяцев!

— А ведь ты бы не сумела! — вдруг зацепила одна другую. Но на них моментально зашикали за то, что они своими глупостями мешают говорить о серьезных вещах.

— Он, наверно, прогонит нашего немца! — кричали некоторые.

— Ого, руки-то коротки! Не сегодня завтра Леонтьева его самого вытурит отсюда!

— Много вы понимаете! Он сам может вышвырнуть целую дюжину таких начальниц, как наша. Ушинский — это такая силища!.. Такая!.. Это просто что-то невероятное!.. — говорила Ратманова.

— Какая там силища! Наглый человек, вот и все тут! — возражали некоторые.

— Разве вы можете оценить смелость, дерзость, силу, с которыми человек говорит правду в глаза? Классные дамы вам втемяшили в голову, что это дурно, вы презираете их, а сами повторяете за ними!.. Жалкие вы созданья, даже просто, можно сказать, стадо баранов! — вдруг отрезала Ратманова.

Страшная буря негодования поднялась против нее и, вероятно, окончилась бы тем, что многие жестоко перебранились бы между собой и, уже наверно, большая часть воспитанниц перестала бы разговаривать с нею на неделю-другую, но на этот раз все охвачены были новым, не испытанным еще настроением: хотелось обсуждать происшедшее, узнать как можно более новостей об инспекторе. Сознавая, что Ратманова обладает хорошею памятью и, будучи весьма толковой и неглупой, умеет точно передавать слышанное, воспитанницы упрашивали друг друга прекратить перебранку и умоляли свою оскорбительницу рассказать все, что она узнала. В другое время Ратманова не упустила бы случая «поломаться», но в эту минуту ее охватило сильное желание говорить, ее всегдашнее стремление «пофигурять» (так мы определяли ее желание первенствовать) взяло наконец верх над остальными ее соображениями, и она передала следующее.

По выходе из класса она, прежде чем завернуть за угол коридора, заметила прогуливающихся и разговаривающих между собою инспектрису и Ушинского. За углом ей все было слышно, но первой части разговора она не застала. Она пришла, когда Ушинский рассказывал m-me Сент-Илер о своем столкновении с Тюфяевой, но, не зная ее фамилии, он так ха-

рактеризовал ее: «Знаете, такая дряблая старушонка... хвастала тем, что высоко чтит начальство, что тридцать шесть лет служит здесь, что живет очень долго... Я хотел было сообщить ей, что слоны живут еще дольше, что продолжительность жизни ценится только тогда, когда она полезна ближним, да не стоило терять времени с этой скудоумной головой! Но так как она грозила донести своему начальству, то я и предупреждаю вас об этом».

Инспектриса, по мягкости своего характера, просила его о снисхождении к классным дамам, указывая на то, что некоторые из них действительно не блестят своим образованием, но где же взять образованных?

Ушинский указывал, что если бы при приеме классных дам руководились правилом приглашать умственно развитых, а не особ, умеющих только «кадить всякой пошлости», то при старании, конечно, можно было бы найти подходящих...

— «Кадить всякой пошлости»! «Кадить всякой пошлости»! Какое чудесное выражение! — подхватывали мы, ошеломленные столь новой для нас фразой.

— А что еще он сказал! — продолжала Ратманова. — «Нужно, говорит, создать иные условия для приема воспитательниц и *скорее выбросить весь теперешний старый хлам...*»

— Какой он умный! — всплеснули мы руками в восторженном изумлении.

— Не мешайте же слушать! — взывали другие, боясь проронить хоть слово Ратмановой, которая продолжала передавать его разговор с инспектрисой.

— Выбросить старый хлам служащих и сделать это как можно скорее необходимо уже потому, — говорил Ушинский, — что теперешние классные дамы притупляют умственные способности воспитанниц и озлобляют их сердца.

— Притупляют умственные способности и озлобляют сердца! — повторяли мы, как молитву, за Ратмановой. Вообще в Ушинском нас на первых порах поражали не только его ум и находчивость, но, кажется, более всего слова и выражения, так как, кроме официальных, обыденных слов, мы до тех пор ни от кого ничего подобного не слыхали.

— Инспектриса отвечала ему, что она, хотя и с большим трудом, может еще представить себе, что при приемах классных дам будут более, чем теперь, обращать внимание на их умственное развитие, но никогда,

она за это ручается, ни одна начальница института не согласится на то, чтобы оставлять воспитанниц в классе с глазу на глаз с учителем. Это немыслимо уже потому, что идет вразрез со всем характером институтского воспитания, и такой обычай, по ее мнению, имеет основание: учитель во время урока занят своим делом, а классная дама обязана наблюдать, чтобы воспитанницы не занимались посторонним.

«О, когда начнут занятия новые учителя, они сумеют настолько заинтересовать воспитанниц, что те сами не будут заниматься ничем посторонним...»

«Вы, кажется, твердо верите в то, что вам удастся создать идеальный институт?»

«На идеальный не рассчитываю, но если бы я не верил в то, что мне удастся оздоровить это стоячее болото...»

— Ах ты боже мой!.. Душка, Маша, неужели он так-таки и сказал: *стоячее болото*? Вот-то дерзкий! Ведь этими словами он унизил наш институт! Maman должна была его оборвать тотчас же. Ну, говори, говори, что же на это инспектриса?

— Ни гугу! Да разве он только это говорил! Он вот еще что загнул: «Я, говорит, до сих пор думал только о том, как бы получше поставить преподавание, но те немногие дни, которые я провел здесь, показали, что мне придется вмешиваться и в некоторые стороны воспитания... Если не будут уничтожены многие безнравственные обычаи, развращающие воспитанниц, они будут мешать их правильному развитию».

«Что же безнравственного вы нашли в наших обычаях?»

«Но разве не безнравственно заставлять учениц снимать пелеринки перед приходом учителя? Ведь в послеобеденное время я сам видел, что они сидят в пелеринках, значит, тут дело идет не о том, чтобы приучать к холодной температуре...»

На это maman весело расхохоталась.

«Помилуйте, вы хотите не только переформировать наш институт, но переформировать всю жизнь женщины вообще, изменить даже все людские отношения! В таком случае вам придется восставать и против балов, на которые девушки являются декольтированными».

Ушинский не уступал и тоже весело смеялся.

«Ну, в бальные порядки я вмешиваться не собираюсь... Но согласитесь сами: ведь с обнаженными плечами на балы являются для того, чтобы ловить женихов. А класс для институтки должен быть храмом науки!

И вдруг здесь с раннего возраста приучают девушек оголять себя!.. Всеми силами буду добиваться уничтожения этого неприличного обычая».

Но тут колокол прервал их беседу, и madame Сент-Илер от всего сердца пожелала ему перестроить институт на идеальных началах, хотя сильно сомневалась в удаче; он тоже задушевно пожелал ей всего лучшего. Характер их беседы не носил ничего официального: они называли друг друга по имени и отчеству, разговаривали просто и дружески.

Колокол призывал и нас к чаю, хотя души наши рвались обсуждать без конца небывалые новости. До сих пор никто, ничто и никогда не волновало нас так, как это первое появление у нас Ушинского. Так же оживленно болтали мы и после чаю, когда пришли в дортуар, чтобы ложиться спать. Мы быстро разделись и, закутавшись в одеяла, разместились на нескольких кроватях. И на этот раз каждая спешила высказать свое мнение. Мы совсем не были подготовлены ни к самостоятельному мышлению, ни к критическому анализу. Мысли наши были какие-то коротенькие и несложные, высказывались отрывочно и непоследовательно. Наши чувства и выражения были не только стадными, но часто извращенными, язык наш страдал однообразием и бедностью выражения, запас слов был крайне невелик. Но, как бы то ни было, наша мысль зашевелилась впервые, нас охватил какой-то вихрь вопросов, глаза у всех блестели, щеки пылали, сердца трепетали. Мы сидели и рассуждали далеко за полночь, бросаясь к кроватям при каждом шуме из комнаты классной дамы.

— Он просто отчаянный какой-то! — было мнением большинства. Однако, несмотря на отзывы, не совсем благоприятные для Ушинского, мы сразу, инстинктивно, почуяли в его личности что-то сильное, крупное и оригинальное. Эпитет отчаянного, который ему давали, польстил «отчаянным»: то одна, то другая обращала внимание подруг на то, что отчаянность уже вовсе не такой порок, как у нас принято думать. Вот он отчаянный, а между тем очень умный и, кажется, даже хороший: сейчас раскусил, что Тюфяева дрянь, а немец плохой учитель. Но не все соглашались с этим определением: умные и хорошие люди, утверждали они, непременно в то же время люди благовоспитанные, а его насмешки над нами и разговор с Тюфяевой показывают его невоспитанность. Другие в число его преступлений заносили и то, что он осмелился назвать наш институт «стоячим болотом», а «всем известно, что это первоклассное заведение». Более всего трепались в институте выражения: «все говорят»

и «всем известно», — они казались многим сильнейшим подтверждением сказанного.

— А что в нем хорошего, в этом вашем институте? — с лицом, пылающим гневом, выскочила Ратманова. — Пусть говорит каждая все хорошее, что знает о нем!.. Разве то, что мы в нем ничему не научились, что мы холодали и голодали, как жалкие собаки, что нас всячески поносили классные дамы, что нашими воспитательницами были даже сумасшедшие, что мы ни в ком не находили защиты, что мы ни от кого не слыхали доброго слова? Ах, молчите, молчите вы, несчастные, с вашим первоклассным заведением или, лучше сказать, с вашей первоклассною чушью и тупостью! — И действительно, все замолчали, сознавая справедливость ее слов.

— А все-таки он странный! Как это он не понимает, что ничего нет дурного в декольтировании? Это только красиво! Ведь если бы это было пошло и неприлично, то во дворцах и в аристократических домах на балах не являлись бы с голыми плечами? — Этот довод показался настолько веским и убедительным, что все присоединились к нему. Но тут же некоторые старались оправдать непонимание Ушинским таких простых вещей тем, что он, вероятно, очень ученый, сильно заучился, а потому и ничего не смыслит в жизни, особенно же в красоте.

— Небось очень понял, что maman красива, а Тюфяева урод: он потому-то так и накричал на нее, а с красивою maman у него и дружеские разговоры.

— Не то, не то... — возражали ей. — Тюфяева идиотка, а maman умна и умеет всех очаровать. Да он скоро и ее раскусит!.. Что-то будет завтра? Ах, если бы он подольше у нас остался! — восклицали воспитанницы, но тут же единогласно высказывали твердое убеждение, что ему у нас несдобровать.

Через несколько дней после описанных событий Ушинский посетил урок русского языка учителя Соболевского[61], который преподавал во всех младших классах. Это был человек сухой как скелет, длинный как жердь, с низким лбом, с провалившимися щеками, с косыми глазами, с коротко подстриженными волосами, торчащими на голове, как у ежа. Самое неприятное в этом преподавателе было то, что он при своем чтении и объяснении брызгал слюною во все стороны, отчего сильно страдали воспитанницы, близко к нему стоящие. Его урок делился на две части: первую

половину времени он спрашивал заданную страницу из грамматики, требуя, чтобы ее отвечали слово в слово, ничего не пополняя, не изменяя и не сокращая в ней. Диктантом он никогда не занимался, как будто не имел даже представления, что это следует делать, и дети разучились бы писать, если бы он не задавал списывать и выучивать басню за басней Крылова.

Самая характерная часть урока наступала тогда, когда Соболевский приказывал отвечать басню. Он всегда был недоволен ответом и каждой вызванной им девочке показывал, как следует декламировать. Начиналось настоящее представление. Зверей он изображал в лицах: лису, согнувшись в три погибели, до невероятности скашивая свои и без того косые глаза, слова произносил дискантом, а чтобы напомнить о ее хвосте, откидывал одну руку назад, помахивая ею сзади тетрадкой, свернутой в трубочку. Когда дело шло о слоне, он поднимался на носки, а длинный хобот должны были указывать три тетради, свернутые в трубочку и вложенные одна в другую. При этом, смотря по зверю, он то бегал и рычал, то, стоя на месте, передергивал плечами, оскаливал зубы.

Ушинский вошел на урок как раз в ту минуту, когда Соболевский декламировал басню «Слон и Моська». Когда он произнес слова: «Ну на него метаться, и лаять, и визжать, и рваться», он старался все это драматизировать более, чем когда-нибудь. С изумлением смотрел на него Ушинский, не делая ни малейшего замечания, но, чтобы прекратить комедию, наконец сказал: «Я буду диктовать». Когда после этого он просмотрел несколько тетрадей, то заметил, что некоторые воспитанницы делают в словах больше ошибок, чем букв, кивнул головой и вышел.

Оба они встретились на нижнем коридоре, и Ушинский заметил:

— Вы, вероятно, слышали много похвал выразительному чтению, но у вас уже выходит целое представление... Так кривляться даже как-то унизительно для достоинства учителя.

Соболевский и тут не понял, что эти слова — его приговор, и отвечал, что он с трепетом будет ожидать окончательного решения г. инспектора. Ушинский резко отвернулся от него и начал искать свои калоши. Соболевский нашел их и уже нагнулся, чтобы подать их ему, но Ушинский со злостью вырвал их у него и произнес с запальчивостью:

— Лакей на кафедре — уже совсем неподходящее дело!.. Это мое окончательное решение!

— «Лакей на кафедре»! «Лакей на кафедре»! — повторяла одна воспитанница другой. — Господи, какие у него все чудные выражения! Знаешь,

душка, я сейчас сошью маленькую тетрадку и буду записывать все его выражения...

Мы с большим нетерпением ждали посещения Ушинским урока нашего учителя литературы и словесности Старова, который считался у нас лучшим преподавателем. Мы тщательно готовили его уроки, а потому наперед праздновали победу.

Старов по натуре был человек порядочный, мягкий, добросердечный и обязательный. Он пользовался всеобщим расположением. В то время как мы считали минуты, когда окончится урок того или другого учителя, мы заслушивались Старова и каждый раз с нетерпением ожидали его урока. Мы проходили у него теорию прозы и поэзии, а также и литературу. Как у большинства других учителей, мы не имели и для его курса никакого учебника. Руководством для этого предмета нам служили листки, составляемые Старовым, которые мы из любви к учителю заучивали очень твердо и переписывали особенно изящно. Нужно сознаться, теория прозы и поэзии Старова была образцом самых нелепых определений, громких, напыщенных фраз, отрывочных сведений, не приведенных в систему. Но мы тогда не понимали этого и более других предметов любили учить уроки Старова, так как они были испещрены словами «высокое», «прекрасное», «эстетическое», «идеал» и отрывками из произведений в стихах и в прозе, которые Старов, по нашему мнению, читал нам в совершенстве. Читал он несколько гробовым голосом, сопровождая чтение классическими жестами, но нам это чрезвычайно нравилось. В стихотворениях нас увлекала музыка и мелодичность стиха, в прозе — возвышенные выражения, и хотя до смысла мы не додумывались и наш учитель не объяснял нам его, но все же это нас увлекало более, чем сухое заучивание грамматики. Отрывки из теории прозы и поэзии Старова нам очень мало давали и потому, что они были слишком отрывочны и служили пояснением мало для нас понятного определения какого-нибудь рода поэзии или прозы. Так же проходили мы у него и историю литературы. В его записках в хронологическом порядке были названы все произведения автора, с несколькими страницами объяснений при наиболее крупных из них. Сами мы никогда не читали ни одного произведения знаменитого русского писателя, а преподаватель знакомил нас с ним лишь в отрывках. Таким образом, мы не имели ни малейшего понятия ни о фабуле произведения, ни об идее, которая осуществлялась в том или другом художественном образе. Несмотря, однако, на все это, Старов был самым

лучшим и даже единственным искренно любимым учителем. В то время когда остальные учителя держали себя с нами хотя и вежливо, но официально, он один неизменно относился к нам с самым теплым участием. К тому же он так возвеличивал, так идеализировал женщин вообще, а это, конечно, не могло не льстить нам.

— Женщина, — слышали мы чуть не на каждой его лекции, — самое возвышенное, самое идеальное существо! Ей одной предназначено обновить мир, внести идеалы, уничтожить вражду, поселить любовь, внушить уважение... Только женщина может примирить человека с жизнью! Только красота женщины, ее грация и прелесть, кротость и неземная доброта могут разогнать душевную тоску, тяжесть одиночества.

Мы, конечно, не имели ни малейшего представления, каким образом мы можем разгонять тоску одиночества, как мы будем обновлять мир и зачем его обновлять, ни малейшего понятия не имели мы и об идеалах, какие нам предназначено внести в мир, но все же из этих слов нам было ясно, что назначение женщины очень прекрасное, и мы весьма гордились этим.

Добрая натура Старова не выносила официальных отношений: встречая на коридоре толпу всегда поджидавших его девиц, он не только радушно со всеми раскланивался, но, замечая облачко на чьем-либо лице, нежно произносил: «Что затуманилась, зоренька ясная»[62] — или что-нибудь в этом роде, всегда с экстазом декламируя множество стихов и вне классов, и во время уроков.

— Ах, monsieur Старов, — говорит ему одна воспитанница, — я сегодня буду наказана. — И она откровенно рассказывает ему, за что ей придется вынести наказание и кем оно назначено. Старов, как стрела, бросается к классной даме и, хватая ее за руки, со слезами на глазах, начинает ее умолять простить воспитанницу.

— Вы добрая, прекрасная, хорошая. Может ли в вашем сердце, в сердце такого благороднейшего существа, как женщина, жить злое чувство!.. Нет, это невозможно! Карать... казнить... и кого же?.. Такое юное, такое невинное существо!.. Возможно ли казнить юность за ее увлечения? Прощать, прощать — вот назначение женщины! Клянусь вам, прощающая женщина — это... это... ангел в небе! Нет, я не уйду отсюда! Я вымолю у вас прощение! Я стану перед вами на колени!

Опасаясь, что Старов приведет это в исполнение, и польщенная прекрасными эпитетами, которые ей едва ли когда-нибудь приходилось слышать от мужчины, классная дама обыкновенно торопилась исполнить его

желание. «Ах вы чудак! Добряк вы этакий! Ну, хорошо, хорошо, для вас я прощаю», — и она немедленно подзывала провинившуюся воспитанницу и громогласно объявляла, что прощает ее для г-на Старова... Все садились за урок в самом добром, мирном настроении.

Начальство смотрело на Старова как на очень вежливого человека, прекрасного учителя, прощало ему его экстаз и эксцентричные выходки и нисколько не мешало нам, воспитанницам, окружать его толпою на коридоре, так как отлично знало, что характер его разговоров и вне классов, и на уроках неизменно один и тот же. И действительно, Старов везде был одним и тем же незлобивым, восторженным человеком, легко приходившим в экстаз, по-видимому часто даже без малейшего для этого повода. Вследствие своей ограниченности он как учитель не мог принести нам особенной пользы, но зато не сделал никому не только ни малейшего вреда, но и какой бы то ни было неприятности. Восторженность его положительно была беспредельна: когда знаменитый артист Олдридж давал в Петербурге свои представления и публика во время антракта вызывала его, Старов пробрался на театральные подмостки, бросился перед ним на колени и поцеловал его руку[63].

Итак, мы считали Старова не только симпатичнейшим из людей, но и замечательным преподавателем и не находили ни малейшего пятнышка в его преподавании. Когда в первый раз после назначения Ушинского мы поджидали Старова на урок, мы вышли встретить его целой толпой. При его появлении мы тотчас начали рассказывать ему все «выходки» нового инспектора.

— Несомненно, — говорил Старов грустно и задумчиво, — такое лакейство со стороны Соболевского некрасиво... Но зачем же такая резкость тона, за что оскорблять! Он человек семейный, бедняк, неразвитой, конечно, но совсем не злой...

Когда мы сообщили ему, как Ушинский отнесся к нам за то, что мы облили его шляпу духами, он глубоко возмутился:

— Господи! И к такой, можно сказать, поэтической черте характера юных созданий приурочивать этот... грубый материализм! — И затем, несколько помолчав, он добавил уже совсем печально: — Что же, девицы, может быть, и мне придется расстаться с вами!

— Ну, уж этому не бывать! — закричали мы в один голос. — Если он вас не сумеет оценить... он, значит, уж совсем невежда! Мы все тогда восстанем! Мы ни за что этого не допустим!

Старов обводил толпу институток восторженными глазами, которые без слов говорили: «прелестные создания», затем, раскачиваясь из стороны в сторону, как это всегда с ним бывало перед какой-нибудь наиболее восторженной импровизацией, он начал:

— Вы не знаете, что творится в мире! О, как прелестны вы вашим неведением! Не теряйте его, этого лучшего сокровища юного сердца!

Но мы перебили его, желая во что бы то ни стало с его помощью хотя несколько уяснить себе загадочный характер нового инспектора.

— Monsieur Старов, скажите нам, пожалуйста, ваше мнение об Ушинском... Вы сказали... грубый материализм... Что это значит? — приставали мы к нему.

— Полноте, зачем вам это?.. Я, наконец, совсем не знаю господина Ушинского. Слышал, конечно... Как бы это вам объяснить... Видите ли... В большом ходу теперь новые идеи... Конечно... многие из них заслуживают полнейшего уважения... Мне говорили, что Ушинский... в высшей степени образованный человек... Он, говорят, поклонник новых идей! Что ж!.. Нам, старикам, по правде сказать, и давно пора очищать место для новых людей, для новых идей!

Звонок прекратил наши расспросы, заставив нас опрометью бежать в класс. Мы не успели еще рассесться по скамейкам, как к нам вошла инспектриса, а за нею Ушинский. Он, к нашему удивлению, приветливо раскланялся со Старовым.

— Вам угодно будет экзаменовать девиц? — обратился Старов к Ушинскому.

— Нет! я буду вас просить продолжать ваши занятия.

Старов начал вызывать воспитанниц и спрашивать заданный урок о Пушкине. Вызванная воспитанница прекрасно отвечала.

— Очень твердо заучено... — заметил Ушинский. — Но вместо «фразистых слов учебника» (о ужас! эти, как он называл, «фразистые слова учебника» были записки самого Старова) расскажите мне содержание «Евгения Онегина»!

Старов начал объясняться за воспитанницу. В классе не существует библиотеки. Свой единственный экземпляр он, Старов, не может нам оставлять, так как об одном и том же писателе в один и тот же день читает нередко в двух-трех заведениях.

— В таком случае я совсем не понимаю преподавания литературы! Вы обращались по этому поводу с запросом к администрации заведения?

— Дело здесь испокон века так ведется... Забота о библиотеке — не мое дело...

— Девицы, кто из вас читал «Мертвые души»? Потрудитесь встать...

Никто не двигался с места.

— Это невозможно! Вы, сударыня, читали? А вы? Но, может быть, что-нибудь другое читали из Гоголя? «Тараса Бульбу» знаете? Неужели и произведений Пушкина никто не читал? А Лермонтова, Грибоедова? Но это невозможно! Я просто этому не верю! Как, ни одна воспитанница, проходя курс русской литературы, не поинтересовалась прочесть ни одного наиболее капитального произведения!.. Да ведь это, знаете, что-то уже совсем баснословное! — Ушинский не получал ниоткуда никакого ответа и, все более горячась, обращался то к воспитанницам, то к учителю. — Но чем же набит ваш шкаф? — И с этими словами он подбежал к шкафу, который был наполнен тетрадями, грифельными досками и другими классными принадлежностями; две-три полки были уставлены произведениями Анны Зонтаг[64], Евангелием и несколькими дюжинами разнообразных учебников. Пожимая плечами, нервно перелистывая учебники, Ушинский, точно пораженный, несколько минут молча простоял у шкафа, затем быстро захлопнул его, подошел к столу и сел на свое место. — Что ж, потрудитесь продолжать занятия, — сказал он как-то вяло, обращаясь к Старову и вытирая платком пот, струившийся по его бледному лбу.

— Какие тут занятия! — обиженно процедил сквозь зубы Старов, однако вынул из портфеля один из томов Пушкина и начал читать стихотворение «Чернь»[65], с каждой строчкой приходя все в больший экстаз. Последнее четверостишие:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв, —
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв... —

он читал, уже вскочив с места, с воспаленными глазами, голосом, прерывавшимся от волнения и выражавшим все ядовитое презрение, какое только могло накопиться в этой доброй душе ко всем поборникам материализма, не умеющим ни понимать, ни ценить небесных вожделений и поэтических восторгов.

— Но ведь воспитанницы незнакомы еще и с более капитальными произведениями Пушкина... — заметил Ушинский. — Впрочем, продолжайте... Вы, вероятно, будете теперь им это объяснять?

— Что же тут объяснять! Они отлично все понимают... У этих девушек весьма сильно развито художественное чутье...

— Ого, даже художественное чутье!.. А чем бы, кажется, оно могло быть развито при таких условиях, — сказал Ушинский, не скрывая иронии, и, вызвав одну из воспитанниц, он попросил ее передать стихотворение своими словами. Но ни эта девица, ни другая, ни третья ничего не могли рассказать, хотя все слушали с напряженным вниманием.

Тогда в дело вмешалась инспектриса. Она заявила Ушинскому, что Старов замечательный преподаватель, что воспитанницы чрезвычайно любят его предмет и много над ним работают, но в данную минуту они очень переконфузились и потому не могут отвечать.

— Может быть, может быть, — недоверчиво улыбаясь, отвечал Ушинский. — Попробуем объясниться письменно! Пусть одна из воспитанниц вслух раза два прочтет стихотворение, и затем, девицы, потрудитесь своими словами письменно изложить прочитанное. — И он вышел в коридор.

Наша письменная работа оказалась в высшей степени бестолковою: у одних она представляла шумиху напыщенных фраз, не имеющих между собою элементарной логической и грамматической связи, у других черни приписывалось то, что говорил поэт, и наоборот, и при этом у тех и у других немало было крупных орфографических ошибок. К счастью для нас, звонок помешал Ушинскому читать вслух наши сочинения, и он взял их с собой.

Мы скоро пришли к убеждению, что новый инспектор не уволит нашего общего любимца Старова только в том случае, если мы выступим на его защиту. Мы предполагали, что, когда ученицы очень хвалят своего учителя, каждый обязан понимать, что при этом уже нельзя усомниться в его педагогических талантах. И мы решили защищать его до последней капли крови.

Нельзя сказать, чтобы мы не сознавали всей трудности задачи говорить с Ушинским, перед которым робеют и теряются даже учителя. Но нам казалось, что уклониться от этой обязанности было бы величайшею низостью.

Как плохо, однако, мы были вооружены для этого! Если между нами и были поэтессы́, то ораторов, даже плохоньких, совсем не существовало. Мы наивно выражали наши детские мысли, не умели выделить главного от мелочей и при этом страшно конфузились всех, а тем более Ушинского. Но для любимого Старова никакая жертва не была тяжела. Мы

условились между собою, что одна из нас во всем блеске выставит необыкновенную доброту Старова, другая укажет на его таланты, видимо, совсем неизвестные «господину инспектору».

Мы бросились к нему, как только он показался в коридоре.

— Monsieur Ушинский! — кричали мы, окружая его.

— Ах, пожалуйста, не называйте вы меня monsieur! Чересчур официально! Константин Дмитриевич, да и все тут!..

Это неожиданное предложение так переконфузило нас, что мы забыли даже, о чем собирались с ним беседовать.

— Что же вы хотели сказать? Ради бога, не конфузьтесь! Останавливайте, спрашивайте меня обо всем, что вам угодно... И не очень сердитесь за мою резкость, за мой, может быть, не совсем вежливый тон... Работы у меня гибель, я всегда так тороплюсь: вот для скорости иногда и отхвачу приставочку к речи, которою можно было бы закруглить, смягчить то, что хочешь сказать... Ну, в чем же дело?

Мы толкали ту, которая должна была начинать, но она могла только проговорить:

— Вы недовольны Старовым! Ведь он же не виноват, что нам не дают книг! Вы его совсем не знаете!.. Он такой добрый!.. Просто даже чудный человек!

— Правда, правда: незлобивый, даже весьма недурной человек, но, к сожалению, этого еще очень мало для преподавателя...

— Вы, должно быть, не знаете, что он поэт! Даже очень знаменитый поэт! — лепетала Ивановская, обязанностью которой было выставить его таланты.

— Не знал... не знал, что такой поэт существует! Да еще знаменитый! Гм... подите же!.. Какие же такие его произведения? Он уже, конечно, познакомил вас с ними и, может быть, даже не в отрывках только?

Ивановская пролепетала, что у него есть чудное стихотворение «Молитва». Ушинский в конце концов уломал ее продекламировать его, и она начала дрожащим голосом:

Как много песен погребальных
Еще ребенком я узнал,
И скорбный смысл их слов прощальных
Я часто юношей внимал.
Но никогда от дум печальных
Старов душой не унывал!

Создатель мира, царь всесильный,
Мне много, много подарил,
Когда веселостью обильной
Он трепет жизни домогильной
Во мне...

— Довольно... довольно! Это бог знает что такое! Ведь Старов уже много лет читает литературу в разных заведениях и мог бы понять, что в его стихотворении нет ни поэзии, ни мысли, ни чувства, ни образа. А он не стыдится показывать эту свою замогильную чепуху своим ученицам! Нет, воля ваша, это просто фразер и пустозвон!.. Не горюйте вы по нем... У меня в виду имеется для вас превосходный преподаватель. И если в учителе вы ищете доброты... по-моему, и одного ума достаточно... так ваш будущий учитель в то же время и очень добрый человек...

— Чем же он лучше Старова? — спрашивали мы, удивляясь, что с Ушинским можно разговаривать.

— Да хотя бы тем, что он научит вас работать, заставит полюбить чтение, познакомит не только с названиями великих произведений, но с их содержанием и с идеями автора.

— А как его фамилия?

— Водовозов[66].

— Ну, уж одна фамилия чего стоит! — выпалила, расхохотавшись, одна из нас, неожиданно даже для себя самой.

— Вы ошибаетесь, — запальчиво возразил Ушинский, решительно не переносивший не только ни малейшей пошлости, но и глупой остроты. — Он будет пригоден и для того, чтобы научить вас понимать, что достойно смеха и что не заслуживает его.

Переконфуженные резким замечанием Ушинского и обозленные провалом, воспитанницы ввалились в класс, ругая на чем свет своих ораторш, не умевших защитить Старова, и перекоряясь между собой. Хотя при этом сильно доставалось и Ушинскому, которого мы честили эпитетом «непроходимой злюки» за то, что он выгоняет даже добрых учителей, но когда несколько успокоились, то некоторые начали высказывать, что незачем-де было цитировать стихи Старова, которые действительно уже вовсе не так прекрасны, забывая о том, что еще недавно они так восторгались ими, что каждая переписывала их в свой альбомчик и знала наизусть. Это критическое отношение пошло и дальше: говорили, что хотя Старов и чудный человек и превосходно читает, но как-то от всех его лекций в голове ничего не остается. На это Ратманова закричала во все горло:

— Если бы сюда собрать всех мировых гениев прошлых, настоящих и будущих веков, все они вместе ни на йоту не просветили бы ваши дурацкие головы!

Поднялась страшная буря, — все набросились на Ратманову. На это как сумасшедшая вбежала m-lle Лопарева:

— Как вы смеете так орать? Хотя вы и выпускные, но в наказание будете стоять весь следующий урок.

Она перед этим с кем-то разговаривала в коридоре, куда сейчас же и выбежала.

— Не смейте подчиняться этому! Преспокойно садитесь, когда войдет учитель... — кричали некоторые.

И действительно, когда в класс вошла Лопарева, а за нею учитель, мы, несмотря на наказание, преспокойно уселись на свои места. Это был первый протест, устроенный сообща всем классом без исключения. Лопарева густо покраснела от злости, но не решилась пикнуть, вероятно поняв по выражению наших лиц, что на этот раз мы скорее сделаем скандал, чем подчинимся требованию.

Хотя Ушинский некоторым учителям отказал при первом же посещении уроков, но большая часть их оставалась у нас до официального утверждения его учебной реформы[67].

Воспитанница старшего класса Аня Ивановская отправила однажды письмо к своему отцу через классную даму Тюфяеву, в котором она просила его прислать ей денег. Ответ получился через ту же даму, у которой была родственница, несколько знакомая с г-ном Ивановским; она приносила о нем разные сплетни m-lle Тюфяевой. Ивановский на этот раз отказывался исполнить просьбу дочери за неимением денег. Тюфяева, прочитав письмо и передавая его Ивановской при ее подругах, начала попрекать ее тем, что она научилась «нос задирать», а между тем у отца ее ничего нет; если же что и перепадает ему, то он предпочитает тратить деньги на театры, чем посылать их дочери. Из этого примера Тюфяева сделала общий вывод и начала обычную свою канитель на тему, что-де от них, классных дам, теперь требуют бог знает чего, даже каких-то нежностей с воспитанницами, которые для них совершенно чужие, а вот и отец родной, а нежностей к дочери и особых забот о ней не проявляет.

Зная необыкновенную вспыльчивость Ивановской, воспитанницы незаметно, но ловко выталкивали ее локтями в задние ряды, и она наконец выбежала в коридор. В эту минуту проходил Ушинский и с большим

участием обратился к ней, упрашивая ее оказать ему маленькое доверие, сказать, почему она так грустна. Она объяснила ему, что воспитанницы обязаны переписываться с родителями не иначе как через классных дам. Такое правило существует, и тут уже ничего не поделаешь, но она злится на себя за то, что не постаралась, как другие ее подруги, переслать свое письмо через их родственников. К тому же ее оскорбляет то, что m-lle Тюфяева воспользовалась письмом ее отца для того, чтобы попрекать ее теми сплетнями, которые она собирает о нем у своей родственницы, с умыслом искажает его слова, чтобы унижать ее и часами говорить свои опостылевшие проповеди.

Ушинский горячо поблагодарил Ивановскую за доверие и сказал, что оно поможет ему обратить внимание на эту сторону жизни институток, что он поговорит об этом с кем следует и будет стараться уничтожить этот обычай. И действительно, мы узнали, что Ушинский со всей энергией, присущей его страстному темпераменту, говорил с принцем Ольденбургским, а также и на разных совещаниях о том, что обычай контролировать письма воспитанниц подрывает основы семейных уз и приучает их хитрить, лгать и обманывать. Развивая в воспитанницах рабские чувства, он не дает начальству возможности достигать единственной цели, к которой оно при этом стремится, то есть мешать воспитанницам передавать родителям что бы то ни было непочтительное о начальстве. Когда им необходимо снестись с родственниками так, чтобы этого никто не знал, они умеют обходить это правило. Воспитанница, раздраженная тем, что не может по душе говорить с своими родителями, в своем секретном письме отделает начальство так, как это ей не пришло бы в голову, если бы ей не мешали быть откровенной с ними всегда, когда она того пожелает.

Однако Ушинскому, несмотря на красноречивые доказательства вреда этого обычая, не удалось его уничтожить, но он сильно ослабил его: в либеральную эпоху его инспекторства некоторые классные дамы начали передавать воспитанницам письма, не распечатывая их, другие распечатывали лишь для проформы. Но, конечно, оставались и такие, которые не меняли своего поведения в этом отношении.

Зато Ушинскому удалось настоять на том, чтобы воспитанницы во время уроков не сидели без пелеринок; достиг он уничтожения и еще несравненно более вредного обычая. До его вступления воспитанницы не имели права предлагать вопросов учителям. Ушинский настоял на том, чтобы они спрашивали у них не только то, чего не понимают, но чтобы вообще урок

носил характер живых бесед. Однако большинство нововведений, которых Ушинский достиг путем тяжелой борьбы с консервативным до дикости начальством, погрязшим в рутине и предрассудках, были уничтожены тотчас же после того, как он сложил с себя звание инспектора и оставил институт.

Прошло недели три со дня вступления Константина Дмитриевича в должность инспектора. Пока никаких реформ еще не было введено; несмотря на это, буквально каждая встреча с ним, каждое его слово, все, что мы слыхали о том, что он объяснял в двух классах, было для нас откровением, поражало нас, давало нам огромный материал для споров и бесед между собой. Иной раз то или другое в его словах, казалось нам, противоречило тому, что он говорил перед этим. Но нередко все это вдруг выяснялось каким-нибудь одним его замечанием, а затем постепенно мы сами стали доходить до разгадки некоторых его слов и поступков. То, что мы не понимали самых элементарных вещей, было естественным последствием нашей оторванности от жизни, нашего монастырского воспитания.

С водворением Ушинского мы, как по мановению волшебного жезла, проснулись, ожили, заволновались и не могли наговориться друг с другом. Раздоры и пререкания между собой, даже отчаянные выходки против классных дам проявлялись теперь несравненно реже уже вследствие того, что мы были заняты другим. Еще так недавно наша жизнь протекала крайне однообразно, не давая нам никакого материала для живого общения между собой, и наши разговоры ограничивались рассказами друг другу о выходках классных дам и о наших мечтах подкузьмить так или иначе ту или другую из них. Теперь мы каждое слово и замечание Ушинского обсуждали со всех сторон и все более критически относились к прежним нашим взглядам. Мы постепенно примирялись и с резкими выходками Ушинского, начиная мало-помалу сознавать, что они обыкновенно вызывались какою-нибудь глупостью с нашей стороны. Все искреннее и глубже проникались мы сознанием того, что Ушинский приносит нам действительную пользу, что он стремится сделать нашу жизнь более человеческою и содержательною, чем это было раньше. Наши дикие, специфические институтские взгляды незаметно сглаживались и заменялись воззрениями иного характера. Наш страх, что Ушинский будет уволен из института за то, что он с такою прямотою, смелостью и резкостью, не щадя мелкого самолюбия начальства, проводит свои взгляды и идеи, не только исчез, но заменился совершенно противоположным. Нам казалось

уже, что такого человека, как Ушинский, никто не посмеет тронуть. Конечно, такое мнение говорило об отсутствии понимания жизни, но, как бы то ни было, наша вера во всемогущество Ушинского все росла и укреплялась слухами о нем. Мы узнали, что его педагогическая и литературная деятельность, его блестящие успехи в Гатчинском институте, где он раньше был инспектором[68], обратили на него всеобщее внимание. Наши учителя, классные дамы, инспектриса открыто говорили о том (и это подтвердилось), что императрица Мария Александровна, желая поднять институтское образование, решилась ввести в нем многие реформы и сама указала министру народного просвещения Норову (члену совета института по учебной части) на Ушинского как на желательного для этого человека. И для нас стало очевидным, почему Леонтьева до сих пор не уволила его. Мы твердо начали верить, что при энергии Ушинского реформы будут проведены, и безапелляционно решили, что он будет в институте таким же реформатором, каким был Петр Великий в России.

Как-то, когда до выпуска оставалось всего несколько месяцев (тогда выпуски бывали в марте), ко мне подошел Ушинский и спросил:

— Не вы ли та воспитанница, которая вследствие падения с лестницы чуть не вдребезги разбила себе грудь и, испытывая жестокие боли, подвергая себя смертельной опасности, не пошла к доктору, опасаясь этим опозорить себя?

Я почувствовала в его вопросе иронию и молчала; подруги, стоявшие подле, подтвердили, что это была именно я. Вдруг этот строгий, суровый человек, тонкие, крепко сжатые губы которого так редко улыбались, разразился громким веселым смехом, а мне это показалось каким-то оскорбительным издевательством, и я повернулась, чтобы уйти даже без реверанса, что считалось у нас невежеством.

— Что же вы сердитесь? Кажется, даже обиделись?

— Каждая на моем месте поступила бы так же...

— Ну нет! Если даже у всех вас такие «идеальные убеждения», то все-таки редко кто мог бы выдержать характер до конца. Право же, вы оказались настоящей героиней! Если у такой девочки, как вы, такой характер, столько силы воли, она может употребить их на что-нибудь более полезное. Одним словом, я хочу предложить вам, вместо того чтобы уехать домой после выпуска, остаться еще здесь и поучиться в новом, седьмом классе, который я устраиваю для выпускных[69]. Уверяю вас... почитаете,

подумаете, поработаете головой, и даже на такой вопрос, который мы только что обсуждали, будете смотреть иначе.

Видя мои колебания, он добавил, что если я соглашусь, то должна буду спросить разрешения родителей, но что для этого еще много времени впереди.

Ушинский явился первым светлым лучом в царстве институтского мрака, пошлости, невежества и застоя. Нужно, однако, иметь в виду и то, что во второй половине 50-х годов во всей России занималась заря новой жизни, являлись проблески наступающей эпохи возрождения. В обществе распространялись новые идеи, вырабатывались новые идеалы, пробуждалось отрицательное отношение к окружающим явлениям русской действительности. Оживление среди воспитанниц, наступившее вслед за назначением к нам Ушинского, усиливалось вследствие того, что прогрессивные идеи стали проникать и к нам, несмотря на наши высокие стены и на полную монастырскую замкнутость нашей жизни. После непробудной спячки у нас вдруг зашевелился мозг и мы стали обращаться к нашим родственникам с более живыми вопросами; поэтому каждый раз после приема родных одна из воспитанниц сообщала что-нибудь новенькое. Нечего и говорить о том, что все эти новые идеи в передаче институток и по форме и по содержанию носили характер не то наивный, не то комичный.

— Представьте, мой брат-студент утверждает, что скоро все люди без исключения будут равны между собой. Ведь это же значит, что никакой разницы не будет между генералами и солдатами, между крестьянами и высокопоставленными людьми! Все должны будут решительно все делать сами, значит, даже люди знатные будут сами выносить грязную воду. Ведь если это верно, значит, все на свете перевернется!

— А мой папа говорил, что у всех помещиков скоро отберут крестьян, что мужицкие дети будут учиться на одной скамейке с господскими, а мы — с нашими горничными...

— Мой дядя настаивает, чтобы после выпуска я сделалась учительницею и учила самых простых детей, а взрослым внушала мысль о том, что теперь стыдно мучить крестьян, что это даже очень гадко...

— Мой папа (он служит в министерстве) говорит, что человек должен гордиться бедностью, — это значит, что он ничего не накрал, а что большая часть богачей богаты потому, что они наворовали на службе.

Все это мы обсуждали, обо всем вели бесконечные споры, судили-рядили вкось и вкривь, но хорошо было уже то, что у нас заработала голова.

Нашему оживлению и развитию помогало и то, что наш библиотечный шкаф, в котором никогда не было ни одной книги для чтения, наполнился номерами журнала «Рассвет» Кремпина[70] и другими книгами, пригодными для чтения юношества. Произведения русских классиков появились в нашей библиотеке несколько позже.

Внимательно осматривая в институте каждый уголок, Ушинский заметил одну, всегда запертую комнату. Наконец она была открыта перед ним, эта таинственная дверь. Каково же было его удивление: он увидел огромную комнату, заставленную по стенам старинными шкафами с огромной коллекцией животного царства, с прекрасными для того времени коллекциями минералов, драгоценные физические инструменты, разнообразные гербарии.

Императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна, получив от кого-то эти сокровища, подарили их институту, где их никогда не употребляли в дело, где никто никогда не показывал их воспитанницам. Ввиду того что это были дары двух императриц, институтское начальство находило необходимым беречь их, то есть крепко-накрепко запереть в большой отдельной комнате, о существовании которой, вероятно, уже давным-давно никто не вспоминал, кроме сторожа, наблюдению которого они были поручены, но и тот, видимо, не очень затруднял себя заботами о них, так как немало дорогих вещей оказалось испорченными молью. Впоследствии Константин Дмитриевич не раз вспоминал при мне об этой находке, особенно приятно поразившей его. Считая необходимым ввести преподавание физики и естествознания вообще, он прекрасно знал, какое встретит затруднение: начальство, косо смотревшее на введение чего бы то ни было нового, сделало бы все, чтобы затормозить преподавание этих предметов. Под предлогом того, что на покупку физических инструментов, различных коллекций и моделей пришлось бы затратить значительную сумму, начальство могло отложить введение преподавания естествознания в долгий ящик. К тому же в институте уже многие поговаривали о том, что производить физические опыты немыслимо в классе, а особого помещения для этого не имелось. И вдруг мечта Ушинского осуществляется так неожиданно! Сравнительно небольшую сумму, необходимую для ремонта испорченных вещей и на добавочные приобретения кое-чего, выдали без затруднения, — так поразил всех доклад Ушинского об его находке. «Начальство увидало в этом чуть не перст божий, споспешествовавший мне в моих предприятиях», — смеясь, рассказывал он об этом.

Для присмотра за кабинетом был приставлен особый сторож. Комната, еще недавно постоянно запертая, с большим удобством послужила для уроков физики: для опытов в ней все было под руками учителя.

Этот «музей» тоже внес в жизнь институток некоторое оживление. «Все видели вечно запертую комнату, однако никто не заинтересовался ею настолько, чтобы проникнуть в нее... Он один все смеет, все может, из всего извлекает пользу, обо всем думает», — рассуждали мы, проникаясь все большим благоговением к Ушинскому, и после находки музея начали смотреть на него как на что-то вроде мага и волшебника.

Мы то и дело бегали осматривать «музей», но скоро это было строго запрещено. Вместе с Ушинским туда приходил посторонний человек, выносил оттуда порченые чучела животных и приносил их обратно в исправленном виде. Так как вход в кабинет был запрещен до приведения его в порядок, то мы еще сильнее стремились заглянуть в него. Однажды две воспитанницы нашего класса, увидав, что Ушинский только что вышел из «музея», вбежали в него. Никого не заметив и рассматривая животных, расставленных временно на полу, одна из них, указывая подруге на зверька, утверждала, что то был соболь, другая настаивала, что это — куница. Вдруг из-за шкафа вышел молодой человек и проговорил:

— Ни то, ни другое, mesdemoiselles, — это только ласка... Мне говорили, что институтки не умеют отличить корову от лошади? Правда?

— Какая дерзость! — закричала ему в упор одна из воспитанниц.

— Мы непременно пожалуемся на вас Ушинскому! — бросила ему другая.

— Ах, барышни, барышни! Вы даже не понимаете, что жаловаться стыдно!.. — со смехом возразил молодой человек, видимо нисколько не испуганный их угрозою.

Девицы как ошпаренные выскочили из «музея» и чуть не со слезами передавали подругам этот эпизод. Мы долго обсуждали сообща, как бы проучить «нахала». Нам казалось это необходимым, так как в этом случае была затронута наша корпоративная честь. Но мы пришли к убеждению, что это немыслимо. Ушинский обыкновенно уходил и приходил вместе с молодым человеком (оставлять постороннего у нас не допускалось), и на этот раз он вышел, вероятно, лишь на несколько минут; следовательно, всякая «история» с нашей стороны причинила бы большую неприятность Ушинскому и он мог бы посмотреть на это с очень нелестной для нас стороны.

Это маленькое приключение имело большое влияние на мою личную судьбу. «Разве Ушинский не сдерживает порою улыбку, когда мы с ним разговариваем? Разве при наших рассуждениях с ним с его уст не срываются слова: "Как это странно, как это наивно!" А мой брат еще более бесцеремонно повторяет, когда я что-нибудь рассказываю ему об институтской жизни: "Как это глупо, как это пошло!" Да... Над нами все издеваются, все смотрят на нас как на последних дур! Учиться, учиться надо!» — вот какие мысли обуревали теперь мою голову, вот что ясно и определенно сложилось теперь в моем уме.

В первый раз за всю мою институтскую жизнь я написала матери неказенное письмо: в нем я описывала появление у нас нового инспектора, оживление и волнение, которое нас всех охватило, предстоящие у нас реформы, устройство нового класса, в котором будут преподавать новые учителя, извещала ее о том, что Ушинский предложил мне остаться в нем, и просила на это ее разрешения; об этом я написала и моему дядюшке.

Начались выпускные экзамены; подготовление к ним и в то же время чтение только что доставленных нам книг, новые мысли, взгляды и вопросы, перегонявшие и сменявшие друг друга, образовали в моей голове невообразимый хаос. Вследствие своей наивности и невежества я решила, что, наверно, существует такое руководство, которое может мне выяснить, чем и как было бы полезно заниматься, что мне следует читать раньше и что позже. Это заставило меня обратиться к одной подруге с просьбою, чтобы она попросила своего брата-студента снабдить меня таким руководством. Как она формулировала мое желание своему брату, я не знаю, но он прислал мне книгу Павского «Филологические наблюдения над составом русского языка»[71].

Боже мой, сколько мучений вынесла я из-за этой книги! Я отнеслась к ней как к кладезю величайшей премудрости, твердо верила в то, что, как только я ее осилю, передо мной выяснится все и в жизни, и в книгах. Но ужас охватил меня с первой же страницы. Я решительно ничего не понимала, перечитывала каждый период по многу раз, твердила наизусть, но в голове не прояснялось, а только затемнялось. Тогда я решила записывать в тетрадь непонятные для меня слова и выражения, рассчитывая на то, что объяснения Ушинского дадут мне ключ к уразумению глубины премудрости Павского, но для этого я считала необходимым прочитать книгу до конца. Однако с каждой страницей я приходила все в большее отчаяние, и вместе с непонятными для меня фразами, выписы-

ваемыми из Павского, и вопросами по этому поводу я заносила в тетрадь и отчаянные вопли моего сердца о моем умственном убожестве.

В это время я получила от родных разрешение на продолжение образования. Как диаметрально противоположны были по своему содержанию письма дяди и матери! Дядя писал мне, что мое желание остаться в институте весьма удобно для него и для его жены: ввиду того что моя мать не может взять меня к себе, я должна была бы жить в его семействе, а он находит меня слишком молодою для того, чтобы вывозить в свет и на балы. Моя же мать выражала изумление, что я вдруг пожелала учиться и для этого решаюсь даже остаться в институте; она приписывала перемену, совершившуюся во мне, всецело влиянию Ушинского. «До сих пор, — прибавляла она, — ты писала мне деревянные, официальные письма, глубоко огорчавшие меня. Если такая перемена могла произойти с тобой, которую я считала совсем окаменевшею, то это мог произвести только гениальный педагог». Она умоляла меня передать Ушинскому не только свое глубочайшее уважение, но и изумление, что он даже такой ленивой девочке, как я, мог внушить желание учиться. Она приказывала мне сказать от ее имени этому «необыкновенному человеку», что ее мечта о таком величайшем счастье, как продолжение мною образования, вероятно, разлетится в прах. Она объясняла, что я была принята в институт по баллотировке, следовательно, имею право воспитываться на казенный счет только до выпуска; за остальное образование мое в институте ей пришлось бы, несомненно, платить, а для этого у нее нет никаких средств.

Хотя мне был очень неприятен конец письма, напоминавший о бедности, но я поняла, что скрывать это от Ушинского не имеет смысла. Моя мать была особа энергичная и, долго не получая от меня ответа, могла еще ярче изобразить ему свое тяжелое материальное положение. Вследствие этого я решила сама кое-что прочитать Ушинскому из письма моей матери, но никоим образом не доводить до его сведения ее похвалы о нем: мне казалось, что он мог принять их за ее желание «подлизаться» к нему. В то же время я собиралась поговорить с Ушинским и насчет книги Павского. Я решила напрямик высказать ему, что совсем не поняла содержания этой книги и что это, вероятно, заставит его отказать мне в приеме на новые курсы. Я находила, что скрывать это от него было бы не только наглым обманом, но и совершенно лишним: мои занятия, конечно, скоро покажут ему отсутствие у меня умственных способностей. Как это ни странно, мне гораздо легче было сознаться в этом, чем в бедност-

ти, несмотря на то что Ушинский так открыто издевался над теми, кто стыдился ее. Стыд за свою бедность исчез у нас позже всех других недостатков и диких взглядов, усвоенных в институте.

Стараясь поймать удобный момент для переговоров с инспектором, я расхаживала по коридору с письмом матери, с книгою Павского и с тетрадкой, в которой были помечены непонятные для меня слова и выражения. Но когда мне посчастливилось встретить Ушинского, я переконфузилась и стала бессвязно бормотать, что не могу перейти во вновь устраиваемый им класс, потому что не понимаю Павского; к тому же и казна не будет меня держать бесплатно после моего выпуска. Он не мог сразу понять мой бестолковый лепет. Продолжая объяснять ему свои недоразумения, я подала ему книгу, а сама начала пробегать по тетради вопросы, которые собиралась ему сделать, как вдруг услыхала с верхней площадки, что меня зовет к себе инспектриса. Я окончательно растерялась и в рассеянности сунула ему в руки письмо, книгу и тетрадь с просьбою, чтобы он сам прочитал. Когда через несколько минут я вспомнила, что письмо в руках Ушинского, что он узнает даже содержание моей тетради, — я пришла в отчаяние, но дело было сделано.

Возвращая мне Павского, Ушинский заметил, что на основании совсем неподходящего чтения нелепо приходить в отчаяние. «Прочел я и вашу тетрадочку... Что же... она в полном смысле полна “сердца горестных замет”[72]! Это все трогательно!.. Ваши замечания еще более побуждают меня уговаривать вас остаться в институте, чтобы вы имели возможность серьезно поработать. Со всеми вашими недоразумениями можете обращаться ко мне. Только никогда не читайте книг, не посоветовавшись раньше со мною, а Павского, пожалуйста, не раскрывайте больше». Относительно платы за будущее мое обучение в институте он добавил, что постарается все уладить.

Не прошло после этого и месяца, как он вошел в наш класс, вызвал меня и сказал: «Вы будете стипендиаткой экзарха Грузии[73], который отправил в контору вполне достаточную сумму на ваше образование». Я сделала обычный реверанс, не сказав ему ни слова признательности, не имея ни малейшего представления о том, как трудно вообще выхлопотать какую бы то ни было стипендию, а тем более такую значительную, какая была внесена за меня, сколько хлопот и трудов стоило Ушинскому ее добиться. Всю силу великодушия этого благороднейшего человека я поняла гораздо позже: продолжая знакомство с Ушинским и после выпуска

из института, я лично была не раз свидетельницею того, как он не только приходил на помощь советом, но и доставал работу нуждающимся, выхлопатывал им стипендии, а за некоторых вносил деньги из своего кармана. В последнем случае он неизменно просил не называть его имени тем, кому он помогал.

Выпускные экзамены окончены, а вот и выпуск. Церковь переполнена народом. Мои подруги, не пожелавшие продолжать своего образования, в первый раз, как птички из клетки, вылетают на волю. Все они в пышных белых платьях, в белых кушаках, в белых перчатках. Недостает только крыльев, чтобы походить на ангелов. Теперь, когда институты сделались полузакрытыми интернатами, когда институтки, оставляя школьную скамью, имеют хотя какое-нибудь представление о жизни, они уже не могут испытывать при выпуске такого волнения, какое испытывали воспитанницы дореформенного периода. Некоторыми из них овладевал невообразимый страх за будущее, и они ожидали чего-то страшного сейчас, сию минуту, точно вот-вот их поведут на эшафот; другие твердо верили в какое-то сказочное счастье, которое сразу свалится на их головы, как только они переступят порог института. Каковы бы ни были их надежды, все они были крайне взволнованны, и это отражалось на их лицах: у многих стояли в глазах слезы; щеки, даже у бледных воспитанниц, горели румянцем. Еще вчера, в неуклюжем форменном платье, девушка не отличалась особенною миловидностью, а сегодня, в рамке пышных белокурых или черных волос, она имела прелестный и грациозный вид. А я стояла тут же в своем форменном платье.

Безысходное отчаяние вдруг овладело мною. Мне сделалось невыразимо завидно и тяжело смотреть на подруг, навсегда оставлявших институт, а я меняла возможную свободу на прежнюю кабалу и неволю. «Счастливицы! — думала я. — Завтра их не разбудит ни свет ни заря проклятый колокол, вместо криков бранчливых дам их горячо прижмут к сердцу родные руки! Зачем, зачем я осталась? Ничего не выйдет из моего ученья, да и на что оно мне пригодится?» Я бросила взгляд на присутствующих в церкви: среди мужчин и пестро разодетых дам, родственников выпускных, резко выделялись стройные фигуры в белом, говорившие о чистоте, невинности и юной прелести. В углу я заметила серьезную фигуру Ушинского. У меня закипела злоба против него, как против человека, который уговорил меня остаться в институте. Чтобы не разрыдаться, я вышла из церкви, и в первый раз в жизни никто не обратил на это никакого внимания.

Когда я пришла в класс, он был совершенно пуст. Тоска одиночества, непоправимая ошибка, которую, как мне казалось, я сделала, добровольно оставшись в прежней тюрьме, письма матери и дяди в ответ на мою просьбу остаться — все представлялось мне теперь в новом, несравненно более мрачном свете, чем прежде. И я в отчаянии, упав лицом на пюпитр, рыдала, рыдала без конца. Вдруг я услыхала позади себя торопливые, нервные шаги Ушинского. Бежать уже было поздно, и я почувствовала, что, если он со мной заговорит, я выскажу ему все в глаза. На его вопрос о том, что я делаю, я в первую минуту молчала из боязни, что голос выдаст мои слезы.

— Чего вы вечно конфузитесь? — начал он, подвигая свой стул к моей скамейке и положив свой портфель на пюпитр. — Вы годитесь мне в дочери и могли бы без стеснения разговаривать со мною. Скажите-ка откровенно, ведь вам взгрустнулось потому, что не удалось сегодня, как подругам, надеть беленькое платьице и беленький кушачок? Пожалуйста, отвечайте откровенно, да не смущайтесь вы, бога ради.

Я не только не намерена была смущаться, но почувствовала, что на меня напала даже «отчаянность», совсем исчезнувшая в последнее время. Я отвечала, что конфузиться не буду: все равно, он всегда издевается над нами...

Он отвечал, что такое мнение крайне для него прискорбно, но он все-таки надеется, что это только недоразумение. И он начал говорить о том, что вследствие оторванности нашей от жизни наши взгляды и выражения нередко оказываются действительно странными, иногда даже комичными... Очень возможно, что как-нибудь, слушая нас, он улыбнулся, но он не предполагал с нашей стороны такой обидчивости, такого недоверия к нему. Издеваться над кем-нибудь из нас здравомыслящий человек не может: мы не виноваты в том, что нас здесь ничему путному не научили, что нам привили дикие понятия... Наконец, он спросил, что я делала с тех пор, как возвратилась из церкви, и получил в ответ, что ничего не делала. Он выразил удивление, как это можно целых два часа просидеть, ничего не делая, даже без собеседника, говорил и о том, что человек, серьезно предполагающий работать, должен давать себе отчет в каждом проведенном часе.

Злое, мрачное настроение охватывало меня все сильнее. Мне казалось, что я своими заметками о Павском, а теперь и своими ответами достаточно унизила себя в его глазах, что теперь мне уже нечего терять в его мне-

нии, и стала высыпать перед ним все, что думала перед его приходом. Он ошибается, говорила я ему, предполагая, что я взволновалась из-за того, что не могла надеть белое платье. Я несравненно более пуста, чем он думает, и вовсе не желаю казаться лучше, чем есть. Так вот, я считаю своею обязанностью признаться ему, что прихожу в отчаяние от того, что согласилась остаться в институте продолжать учение, которое меня вовсе не привлекает, а нередко кажется даже постылым. Да и к чему это учение? В ученые лезть я не собираюсь, а «синим чулком» называться не хочу.

— Да чего это вы из кожи лезете показать мне всю вашу институтскую пустоту? Раз вы уже более откровенны, чем это даже требуется в данном случае, то скажите по правде: вы, вероятно, думаете всеми этими словами уязвить меня, причинить мне боль? А между тем вы одна будете внакладе, если уедете с такой пустой головой... Если вы решили не учиться, так вам, конечно, лучше просить родственников взять вас завтра же отсюда.

Этот ответ меня и переконфузил, и разобидел, и я, еле сдерживая рыдания, начала жаловаться ему на то, что теперь взять меня из института уже немыслимо. Моя мать не может приехать за мной, следовательно, я вынуждена буду жить в семье дяди, а он находит, что я слишком молода, чтобы вывозить меня на балы, точно я просила когда-нибудь его об этом. Несчастнее меня нет человека на свете! Моя мать, моя родная мать, вместо того чтобы выразить желание повидать меня, обнять родную дочь после долгой разлуки, только в восторг приходит от того, что я могу продолжать свое учение.

— Вы не имеете ни малейшего нравственного права так говорить о своей матери! Это, знаете ли, даже совсем нехорошо с вашей стороны! Я читал ее письмо к вам и сам получил от нее недавно письмо (я узнала потом от матери, что она благодарила его за хлопоты о стипендии для меня) и нахожу, что она на редкость разумная женщина: вместо жалких слов, поцелуев, объятий и всех этих дешевых сантиментов она горячо высказывает одно желание — чтобы ее дочь была образованной девушкой, чтобы она училась и трудилась.

Мое злобное настроение против Ушинского как-то сразу рассеялось, и мне вдруг страшно захотелось узнать, что он ответит на один мой вопрос.

— Как вы прочли письмо моей матери... (я вам отдала его по рассеянности). Она так превозносит вас... вы могли подумать, что она к вам подлизывается...

Ушинский расхохотался.

— Ну, казните меня. Право же, немыслимо оставаться серьезным, слушая иногда, как вы выражаетесь! Уверяю вас, я не нашел, что ваша матушка подлизывается ко мне. Я уже говорил вам, что я лучшего мнения о ней по ее письмам, чем ее родная дочь. А вот за вашу заботу о моей нравственности, — ведь вы боитесь, чтобы похвалы не вскружили мне голову, — я приношу вам глубочайшую благодарность... Мне кажется, что тучи рассеялись, и теперь можно приступить к делу. Итак, решено, вы остаетесь здесь, несмотря на ваше отчаяние! Так принимайтесь же за чтение! Я захватил для вас восьмой том Белинского и несколько томов Пушкина... Окажите мне маленькое доверие. Начинайте сейчас же читать «Евгения Онегина», а затем немедленно прочитайте критику Белинского на это произведение. Так читайте и остальные сочинения Пушкина. Я бы желал также, чтобы вы по этому поводу написали все, что вам придет в голову. Если вы добросовестно отнесетесь к моей просьбе, даю вам слово, что вашу досаду как рукой снимет.

Как мне было совестно всего того, что я наговорила Ушинскому! Мне так хотелось просить его простить меня за все мои глупости, но порыв отчаяния прошел, а вместе с этим улетучился и подъем смелости, когда я только и могла говорить все, что мне приходило в голову. Мною овладела обычная конфузливость, и я знала, что, если бы в ту минуту встретила Ушинского, я бы не решилась произнести ни одного слова. Мое волнение быстро улеглось уже потому, что мне удалось высказать все, что меня так смущало. Этому душевному умиротворению помогло и чувство благодарности, и надежда, что при Ушинском все в институте изменится к лучшему. «Наконец-то и в этой казарме, — думала я, — появился человек, который действительно заботится о нас, с которым можно поговорить и посоветоваться, который, несмотря на мои пошлые выходки, не только не отвернулся от меня, но поспешил даже оказать новую услугу, — и при этих мыслях теплая струйка крови прилила к моему сердцу и согрела его. — Что из того, что меня не интересует чтение, — думала я. — Ушинский сделал для меня все, что мог, и я оказалась бы неблагодарной, если бы не исполнила немедленно его желания».

Хотя вновь устроенный класс именовался теоретически-специальным, но это было не совсем точное название: кроме естествознания, физики и педагогики в нем проходили курс наук по программе среднеучебных заведений, но в более расширенном виде, чем в нашем прежнем выпускном классе. К тому же из этого седьмого класса желающие могли переходить

в специальный класс, где во второй год своего пребывания воспитанницы должны были обучать детей кофейного класса под руководством учителей. Воспитанницы, оставленные во вновь сформированном классе, в числе которых была и я, поступая на новые курсы, переходили, собственно, в седьмой класс, но в ту минуту он не мог так называться потому, что при прежнем делении не было шестого класса.

Относительно воспитанниц, очутившихся в совершенно новом положении, то есть не вышедших из института по собственному желанию, не было установлено никаких правил: выпуск был в марте, а занятия в седьмом классе должны были начаться не ранее как через месяц, да и это не было еще точно определено. Какие классные дамы должны были руководить этими воспитанницами, что они должны были заставлять их делать до начала занятий, на это не было получено никаких инструкций. Классные дамы заявили, что они вовсе не желают торчать с нами, раз это не вменено им в обязанность. И действительно, они не обращали на нас ни малейшего внимания. «Пусть их околачиваются как знают», — говорили они про нас, и мы в полном смысле слова околачивались: кто из нас сидел в классе, кто в дортуаре, кто отправлялся в лазарет.

Времени для чтения было много, и я последовала совету Ушинского. Чем более я читала, тем более увлекалась чтением. Я скоро поняла, что прежде меня не прельщало чтение классиков только потому, что оно было отрывочно, а объяснения Старова лишь сбивали с толку. В несколько дней я так пристрастилась к чтению, что институтский колокол, отрывавший меня от него, сделался моим злейшим врагом. Я забыла все на свете и читала, читала без конца, читала днем, захватывая и большую часть ночи. Чтение так поглотило меня, что когда однажды я столкнулась с maman, выразившей удивление, что я не посещаю ее теперь, когда у меня много свободного времени, я поблагодарила ее и сказала ей о том, какую работу дал мне Ушинский. Несколько позже я очень пожалела, что легкомыслие, а может быть, и некоторая потребность протеста заставили меня при этом прибавить: «Как обидно, что нас прежде никто не заставлял читать произведения русских писателей!» Хотя я заметила, что maman как-то особенно сухо простилась со мной, но я уже несравненно меньше придавала значения всему тому, что происходило вокруг: вся погруженная в новый мир идей и случайно оторванная от чтения, я торопилась снова погрузиться в него. За обедами и завтраками я с восторгом передавала подругам, какие интересные вещи я читаю: скоро все они точно так же набросились на чтение.

Узнал об этом Ушинский и немедленно прислал нам остальные тома Пушкина, Белинского и других русских писателей, кажется, из своей библиотеки.

Мы с великим нетерпением ожидали лекций Ушинского, но так как занятия все еще не начинались, у нас явилась мысль просить его прочитать нам что-нибудь. В то время, о котором я говорю, он особенно сильно был завален работою и разносторонними заботами, связанными с преобразованиями в институте. Несмотря на это, он с восторгом отнесся к нашей просьбе и заявил, что у него как раз теперь свободный час и он сию минуту может приступить к чтению. Хотя в это время в классе сидело всего лишь несколько человек, он сказал, что прочтет вступительную лекцию в педагогику.

Он начал ее с того, что доказал всю пошлость, все ничтожество, весь вред, все нравственное убожество наших надежд и несбыточных стремлений к богатству, к нарядам, блестящим балам и светским развлечениям.

— Вы должны, вы обязаны, — говорил он, — зажечь в своем сердце не мечты о светской суете, на что так падки пустые, жалкие создания, а чистый пламень, неутолимую, неугасимую жажду к приобретению знаний и развить в себе прежде всего любовь к труду, — без этого жизнь ваша не будет ни достойной уважения, ни счастливой. Труд возвысит ваш ум, облагородит ваше сердце и наглядно покажет вам всю призрачность ваших мечтаний; он даст вам силу забывать горе, тяжелые утраты, лишения и невзгоды, чем так щедро усеян жизненный путь каждого человека; он доставит вам чистое наслаждение, нравственное удовлетворение и сознание, что вы недаром живете на свете. Все в жизни может обмануть, все мечты могут оказаться пустыми иллюзиями, только умственный труд, один он никогда никого не обманывает: отдаваясь ему, всегда приносишь пользу и себе и другим. Постоянно расширяя умственный кругозор, он малопомалу будет открывать вам все новый и новый интерес к жизни, заставит все больше любить ее не ради эгоистических наслаждений и светских утех... Постоянный умственный труд разовьет в душе вашей чистейшую, возвышенную любовь к ближнему, а только такая любовь дает честное, благородное и истинное счастье. И этого может и должен добиваться каждый, если он не фразер и не болтун, если у него не дряблая натуришка, если в груди его бьется человеческое сердце, способное любить не одного себя. Добиться этого величайшего на земле счастья может каждый, *следовательно, человека можно считать кузнецом своего счастья.*

От пламенного, восторженного апофеоза труда Ушинский перешел к определению, что такое материнская любовь и какою она должна быть. Любовь к своему детенышу заложена в сердце каждого животного: хищные звери — медведица, волчица — защищают его с опасностью для собственной жизни, нередко падая мертвыми в борьбе с врагом; они питают его собственной грудью, согревают собственным теплом, бросают в нору сухую траву, листья, чтобы ему мягче было спать. Возможно ли, чтобы женщина, разумное существо, заботилась, как и зверь, *только* о физическом благосостоянии и сохранении жизни своего ребенка? Инстинктивно сознавая это, женщина к естественной заботе, вложенной в ее сердце матерью-природою, присоединила еще любовь, которую она считает человеческою, но в громадном большинстве случаев ее следует назвать кукольной, так как она является результатом мелкого тщеславия. Тут он привел в пример матерей, употребляющих все средства, чтобы красивее разодеть ребенка, сделать его миловиднее, — они играют с ним, как дитя с игрушкой. Уже с раннего возраста воспитатели должны развить в ребенке потребность к труду, привить ему стремление к образованию и самообразованию, а затем внушить ему мысль о его обязанности просвещать простой народ, — «ваших крепостных, так называемых ваших рабов, по милости которых вы находитесь здесь, получаете образование, существуете, веселитесь, ублажаете себя мечтами, а он, этот раб ваш, как машина, как вьючное животное, работает на вас не покладая рук, недопивая и недоедая, погруженный в мрак невежества и нищеты».

Теперь все эти мысли давным-давно вошли в общее сознание, всосались в плоть и кровь образованных людей, но тогда (1860 год), накануне освобождения крестьян, они были новостью для русских женщин вообще, а тем более для нас, институток, до тех пор не слыхавших умного слова, зараженных пошлыми стремлениями, которые Ушинский разбивал так беспощадно.

Все, что я передаю о первой вступительной лекции Ушинского, — бедный, слабый конспект его речи, тогда же кратко набросанный мною, и притом лишь в главных чертах.

Чтобы понять, какое потрясающее впечатление произвела на нас эта вступительная лекция, нужно иметь в виду не только то, что идеи, высказанные в ней, были совершенно новы для нас, но и то, что Ушинский высказывал их с пылкою страстностью и выразительностью, с необыкновенною силою и блестящею эрудицией, которыми он так отличался.

Что же мудреного в том, что эта речь огненными буквами запечатлелась в наших сердцах, что у всех нас во время ее текли по щекам слезы.

Вся внешность Ушинского сильно содействовала тому, чтобы его слова глубоко запали в душу. Худощавый, крайне нервный, он был выше среднего роста. Из-под его черных густых бровей дугою лихорадочно сверкали темно-карие глаза. Его выразительное, с тонкими чертами лицо, его прекрасно очерченный высокий лоб, говоривший о недюжинном уме, резко выделялся своею бледностью в рамке черных, как смоль, волос и черных бакенов кругом щек и подбородка, напоминавших короткую густую бороду. Его тонкие, бескровные губы, его суровый вид и проницательный взор, который, казалось, видит человека насквозь, красноречиво говорили о присутствии сильного характера и упорной воли. Мне кажется, если бы знаменитый русский художник В.М. Васнецов увидел Ушинского, он написал бы с него для какого-нибудь собора тип вдохновенного пророка-фанатика, глаза которого во время проповеди мечут искры, а лицо становится необыкновенно строгим и суровым. Тот, кто видел Ушинского хотя раз, навсегда запоминал лицо этого человека, резко выделявшегося из толпы даже своею внешностью.

Много десятков лет прошло с тех пор, мой жизненный путь окончен, и я у двери гроба, но до сих пор не могу забыть пламенную речь этого великого учителя, которая впервые бросила человеческую искру в наши головы, заставила трепетать наши сердца человеческими чувствами, пробудила в нас благородные свойства души, которые без него должны были потухнуть. Одна эта лекция сделала для нас уже невозможным возврат к прежним взглядам, по крайней мере в области элементарных вопросов этики, а мы прослушали целый ряд его лекций, беседовали с ним по поводу различных жизненных явлений.

Дальнейшему изменению наших взглядов, совершенному перевороту в нашем умственном и нравственном миросозерцании содействовали и новые преподаватели. Тем не менее все шло от Ушинского и через него: он был наставником и руководителем не только для нас, но и для приглашенных им учителей, главным виновником нашего полного перерождения. Наша жизнь, если можно так выразиться, раскололась на две диаметрально противоположные части: на беспросветное, бессмысленное. жалкое прозябание до его вступления и на только что наступившую новую эру, полную живого интереса, стремлений к знанию, к мыслям и мечтам, облагораживающим душу. Постоянное чтение книг, выбором

которых руководили опытные наставники, шевелило наш мозг и быстро расширяло наш умственный кругозор.

И теперь еще, каждый раз, когда мой взор встречает портрет Ушинского, этого великого педагога, я вспоминаю его вступительную лекцию: необыкновенное волнение и глубочайшая признательность охватывают мою душу, и мне так хочется преклонить колени перед светлым образом этого замечательного человека.

С благоговением сохраняя в наших сердцах память о заветах великого учителя, я должна сознаться, что не все его ученицы могли сделаться «кузнецами своего счастья». От наших отцов и матерей, пропитанных вожделениями крепостнической эпохи и узкоэгоистическими принципами, мы не могли получить в наследство надлежащего закала для альтруистических устоев. Он утверждал, что высшее счастье человека состоит исключительно в служении народу, что личное счастье ничто: оно эфемерно, призрачно, часто не дает даже нравственного удовлетворения, а потому оно и должно быть принесено на алтарь служения народу. Выполнение такого сурового требования было не по силам большинству молодых существ, только что вступавших в жизнь, которых она опутывала всеми своими чарами, которых она так заманчиво, так властно манила испытать личное счастье.

ГЛАВА VI
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ИНСТИТУТЕ

Деятельность Ушинского. — Отношение учащихся к новшествам. — Перемена взглядов воспитанниц. — Блестящий успех реформ. — Речь Ушинского по поводу освобождения крестьян. — Воскресные занятия с горничными. — Клевета и доносы. — Реакция. — Выход Ушинского в отставку

Если я начну рассказывать о том, какое оживленное время переживали мы, когда к нам приглашены были новые преподаватели, читатель, конечно, придет к выводу, что Ушинский был талантливым педагогом, разумным реформатором и энергичным организатором, но это будет еще

слабой оценкой его деятельности, и притом останется совсем невыясненным вопрос, как могла сложиться такая крупная сила, откуда он мог приобрести столь всестороннее образование, каким образом мог он стоять по своим педагогическим идеям, совсем незнакомым тогда русскому обществу, на одном уровне с величайшими педагогами западноевропейских культурных стран? Чтобы это понять, нужно познакомиться хотя с главными моментами его предшествующей деятельности.

В 1840 году Ушинский поступил на юридический факультет Московского университета и, несмотря на то что ему было тогда лишь шестнадцать лет, начал заниматься серьезно, но особенно увлекался он лекциями Грановского и Редкина, профессора энциклопедии законоведения и государственного права[74]. Редкин прочел своим слушателям ряд блестящих лекций по истории философии права, которые произвели на Ушинского потрясающее впечатление, и он со всем пылом страсти отдался изучению философии.

Уже с самого вступления в университет Ушинский обратил на себя внимание как своих товарищей, так и профессоров. Обладая большим природным умом, остроумием, быстрым соображением и изумительною памятью, он не только легко усваивал основную мысль лекции, но и ее подробности. Те из его товарищей, которым плохо давались наиболее трудные философские и юридические теории, обращались к Ушинскому с просьбою излагать им эти лекции в популярной форме. Это очень рано приучило его к популяризации науки и оказало ему впоследствии, когда он окончательно сделался педагогом, огромную услугу.

В свободное от лекций время он весь уходил в чтение русских писателей и изучение французского и немецкого языков, которые он знал еще раньше, но не настолько основательно, чтобы легко читать иностранных классиков в подлиннике; этого он вполне достиг во время университетского курса.

Уже на университетской скамье Ушинский отличался полнейшею независимостью характера и привычкою высказывать откровенно свои убеждения, не обращая внимания на то, как это будет принято. Он был отъявленным врагом всякой пошлости, всякого заискивания и низкопоклонства и беспощадно казнил своими меткими сарказмами тех из товарищей, которые ввиду приближающихся экзаменов ездили к профессорам с визитами и поздравлениями.

Ушинский много тратил времени на уроки, которые давал ради заработка. Лихорадочно-трудовая жизнь, полная научных и литературных интересов, послужила прекрасною школой для выработки твердого характера и сильной воли, уменья много и упорно работать.

Через два года после блистательного окончания университета, имея от роду всего лишь 22 года, Ушинский получил профессорскую кафедру в ярославском Демидовском лицее[75], где читал лекции энциклопедии законоведения, истории законодательств и финансового права и обратил на себя внимание не только как талантливый лектор, но и как человек с самостоятельными, оригинальными взглядами.

После четырех лет профессорства, то есть в 1850 году, ему пришлось навсегда оставить лицей. То были тяжелые времена сурового николаевского режима, особенно подавлявшего преподавание в высших учебных заведениях[76]. От преподавателей лицея потребовали, чтобы они представили подробные программы читаемых ими лекций, притом не только с распределением курсов всех предметов по дням и часам, но и с точным указанием того, что они намерены цитировать из того или другого автора. Ушинский же доказывал, что преподавание вообще, а тем более научное, «невозможно связывать такими формальностями», а потому и вышел из лицея[77].

Перебравшись в Петербург, Ушинский вынужден был сделаться чиновником Министерства внутренних дел. Хотя эта служба вознаграждалась крайне скудно, но давала ему много досуга, и он, по обыкновению, с жаром принялся за работу. В это время он изучил английский язык, занимался английской литературой, продолжал прежние занятия по философии и юридическим наукам. Результатом этих занятий и изучения трех иностранных языков был целый ряд самостоятельных трудов, а также и компилятивных статей в «Современнике» и в «Библиотеке для чтения»[78]. Кроме журнальной работы, Ушинский принимал участие в переводе политической экономии Милля[79]. Его труды обратили на себя внимание публики и критики, и за ним упрочилась репутация талантливого и образованного писателя.

В 1855 году Ушинский был назначен преподавателем словесности и законоведения в Гатчинский сиротский институт, а затем и его инспектором. Здесь ему представилось огромное поле для применения своих педагогических способностей. Гатчинский институт состоял из учеников

различных возрастов, начиная от детей, обучавшихся азбуке, и кончая высшими классами с курсом законоведения. Ушинский тут впервые понял, что педагогическая деятельность — его главное призвание. Этому более всего содействовало то, что, осматривая библиотеку заведения, он наткнулся на два запечатанных шкафа с значительным собранием педагогических сочинений.

Как только эта библиотека оказалась в его распоряжении, он весь погрузился в изучение педагогической литературы. Наряду с теоретическим изучением педагогики он приобрел опытность и в практике воспитательного дела: ему не только приходилось следить за преподаванием учителей, но он и сам обучал огромное количество юношей. Этим, однако, не ограничивалась его тогдашняя деятельность: он в то же время писал педагогические статьи и начал заниматься одним из главных своих трудов для первоначального обучения — «Детским миром», напечатанным несколько позже[80].

Таким образом, когда Ушинский в 1859 году был приглашен инспектором в Смольный, он уже пользовался некоторою литературною известностью, обратил на себя внимание улучшениями, сделанными в учебной части Гатчинского института, и был на редкость основательно вооружен знаниями и педагогическим опытом.

Облеченный полным доверием императрицы Марии Александровны, пожелавшей не только оживить преподавание в институте, но и обновить устарелый учебный строй, Ушинский написал проект преобразования обоих институтов Смольного, утвержденный в феврале 1860 года. По одному из его пунктов требовалось, чтобы воспитанниц переводили из класса в класс не раз в три года, как это было до тех пор, а каждый год. До нового проекта воспитанница по окончании каждого трехлетнего курса, как бы плохо ни училась, все-таки переводилась в следующий, то есть в старший класс. При прежней системе и не могло быть иначе: невозможно было даже крайне плохую ученицу оставлять еще в младшем классе, тогда бы ей пришлось шесть лет пробыть только в одном кофейном классе. Неизбежным следствием такого порядка вещей было то, что плохие ученицы, ничему не научившись в младшем классе, переходили без всяких элементарных знаний в старший класс, в котором они приобретали еще меньше знаний и выходили из института круглыми невеждами. По проекту Ушинского, курс учения на обеих половинах Смольного должен был продолжаться семь лет (до этого на Николаевской половине он продолжался

девять, на Александровской — шесть лет). Преимущество семилетнего курса заключалось в том, что при ежегодных экзаменах и переходах из класса в класс это давало возможность малоуспешных воспитанниц оставлять еще на год в том же классе, чтобы они могли пройти то, что ими было упущено[81].

Учебные программы точно так же не только подверглись полному преобразованию, но введены были даже новые предметы, как, например, естествоведение и физика[82], которые должны были преподаваться не иначе как с помощью моделей, чучел, рисунков, приборов, опытов. Я называю эти предметы новыми потому, что хотя в некоторых институтах их и преподавали, но большею частью на французском языке, и притом без каких бы то ни было пособий и опытов — одним словом, их преподавание скорее походило на пародию, на карикатуру, а не на преподавание естественно-научных предметов.

Серьезное внимание было обращено на языки и географию. Теперь, когда программы, выработанные Ушинским, в своих основных чертах приняты во всех средних женских учебных заведениях, когда они вошли, можно сказать, в плоть и кровь преподавателей, они, конечно, никого не поразят своею новизною, но тогда они произвели полный переворот в учебном деле, и все высказываемое Ушинским по этому поводу, как в его статьях, так и в различных педагогических совещаниях, было новостью. Так как далеко не все намеченное Ушинским было принято и сохранилось в программах женских учебных заведений, то я и упомяну здесь кое о чем, что он считал существенным. Он находил необходимым сильно увеличить число уроков русского языка в младших классах: по его понятиям, учитель русского языка не должен ограничиваться преподаванием грамматики, а обязан давать ученицам ясное представление об окружающем, научить их рассуждать о знакомых предметах и правильно выражать свои мысли. Благодаря Ушинскому, впервые заговорили о необходимости давать учащимся *право рассуждать и даже вменяли учителю в обязанность научить их этому*[83]. Ушинский находил необходимым в среднем возрасте упражнять учениц в переводах с иностранных языков на русский, выбирая для этого очерки географического и исторического содержания. Он указывал, какой вред приносили прежние сочинения, в которых воспитанницы выставляли чувства, никогда не испытанные ими, или описывали явления природы, которых они никогда не наблюдали, либо высказывали мысли слишком сложные и отвлеченные для юного возраста. Переводы с иностранных

языков Ушинский считал для воспитанниц младшего возраста наиболее полезным упражнением. Но он вовсе не рекомендовал избегать и сочинений, а указывал на необходимость того, чтобы ученицы передавали в них виденное, слышанное или прочувствованное ими.

Ушинский чрезвычайно порицал тогдашнее преподавание словесности: оно почти всюду начиналось с определения родов и видов литературных произведений. Он указывал, что сначала необходимо изучать образцы каждого рода и вида этих произведений и уже на основании такого изучения составлять понятия о них. Возмущался он и преподаванием литературы, состоявшим из перечня имен писателей и краткого изложения их произведений. Он находил, что учитель обязан зорко следить за тем, чтобы ученица прочитывала целиком каждое классическое произведение и давала о нем подробный отчет то устно, то письменно; и только после этого, по его мнению, необходимо развивать критический взгляд на произведение, побуждая воспитанниц высказывать и собственное мнение. Он требовал также, чтобы их знакомили со всеми выдающимися произведениями не только русской, но и иностранной литературы[84].

Ушинский придавал огромное значение изучению иностранных языков, но находил мало толку в том, как оно до тех пор велось в институте. Практическое знание языков он считал делом второстепенной важности, а главное значение его видел в том, чтобы учащиеся могли свободно понимать и переводить прочитанное.

Учебные предметы распределены были по классам тоже совершенно иначе, чем прежде, — изменена была и продолжительность уроков: полуторачасовые уроки были заменены часовыми, с переменою в пятнадцать минут для отдыха, что было несравненно менее утомительно для слушательниц. В то время все вообще учебные программы чрезвычайно устарели, а программы женских среднеучебных заведений — тем более. Таким образом, Ушинский явился инициатором постановки как общей программы преподавания, так и распределения предметов по классам.

Ушинский находил, что поручить проведение реформ прежним учителям было немыслимо: сжившись с устарелыми методами преподавания и будучи в большинстве случаев людьми консервативными, они стали бы выполнять новые программы обучения на старый лад, чисто формально, и тогда его проект преобразования всего учебного дела, над которым он так много трудился, остался бы мертвою буквою. Он был глубоко прав. Его учебные программы (в главных основах) были приняты и в других

институтах, но так как они применялись на практике большею частью прежними учителями (кроме вновь введенных предметов, для которых волею-неволею пришлось пригласить новых учителей), воспитанницы других институтов и не пережили той лучезарной поры умственного обновления и расцвета, которую переживали мы, институтки Смольного. Новые учебные программы у нас проводились в жизнь новыми учителями, выбранными Ушинским, под непосредственным наблюдением и руководством этого величайшего русского педагога. К тому же он сам своими собственными лекциями, беседами, разговорами, даже своею личностью, преисполненною пламенною, кипучею страстью к общественной просветительной деятельности, производил полный переворот в нашем миросозерцании, поддерживал наше стремление к занятиям и наш необычайный умственный подъем.

Ушинский смотрел на выбор новых учителей как на задачу чрезвычайно ответственную: от этого зависела вся будущность обновления преподавания. Тут необходимо было все предусмотреть, все предвидеть: новые преподаватели должны были не только знать свое дело и быть более или менее талантливыми педагогами, но должны были явиться истинными сотрудниками и товарищами Ушинского. Вместе с ним они должны были представлять одну семью, объединенную одними и теми же прогрессивными интересами, вполне ясно и отчетливо сознавать вред рутинного преподавания, выработать с помощью своего руководителя определенный взгляд на преподавание, соответствующий требованиям науки.

У Ушинского было много знакомых в учительской среде, но нужных для себя людей он искал всюду. Чтобы познакомиться с преподаванием как можно большего числа учителей, он усиленно посещал различные лекции, слушал преподавание не только в среднеучебных заведениях, но и в элементарных школах. Так, он приехал однажды в Таврическую бесплатную школу, прослушал урок Косинского[85], подметил в нем опытность и талантливость в преподавании геометрии и пригласил его преподавателем в институт. Не стесняясь ни летами, ни дипломами, ни социальным положением, Ушинский приглашал каждого учителя, у которого находил то, что ему было нужно. При своих основательных научных знаниях, при исключительной педагогической талантливости, при настойчивости характера, он отличался еще удивительным умением быстро разгадывать способности ближнего. Все это помогло ему найти действительно подходящих сотрудников. Из привлеченных им новых преподавателей назову лишь

тех, которые так или иначе оставили след в общественной жизни, в преподавании или в литературе: Я.П. Пугачевский — преподаватель физики, Н.И. Раевский, М.И. Семевский, Д.Д. Семенов, Л.Н. Модзалевский, В.И. Водовозов, О.Ф. Миллер, Г.С. Дестунис[86], молодой священник-академист Головин[87] и другие.

Объединив новых учителей в тесный дружеский кружок, всею душою преданный делу обновления преподавания, Ушинский устроил *учительские конференции*, чего никогда не существовало в стенах Смольного. На них обсуждалось применение новых программ и способов обучения, и делалось это с главною целью установить единство преподавания во всех предметах. Здесь же Ушинский давал советы и делал замечания учителям относительно только что прослушанных им лекций и занятий в классе.

Объединение учителей и живая связь между ними и инспектором поддерживалась и журфиксами[88], устроенными Ушинским у себя по четвергам, на которые у него кроме различных писателей собирался тот же учительский кружок. Тут в приятельской беседе, запросто, они передавали друг другу свои мнения о способностях учениц и их суждения по поводу изучаемых ими исторических личностей и героев классических произведений, толковали и спорили о литературных, научных и политических новостях.

Таким образом, Ушинский сделался истинным вождем, духовным отцом и руководителем новых учителей. Нет ничего мудреного в том, что они оказались на высоте своего положения. Характер их преподавания был действительно диаметрально противоположен существовавшему прежде в Смольном. Вместо отрывочных знаний, сухо изложенных отвлеченным или высокопарным слогом, получился живой систематический курс.

Ушинский рекомендовал ученицам записывать лекции за учителями. При новой системе преподавания избежать этого было довольно мудрено. Каждый учитель приносил с собою все, что было напечатано по его предмету наилучшего и популярного. Составляя лекцию того или другого учителя, слушательницы должны были пополнять ее прочитанным из указанных им книг. Так мы начали работать не только у преподавателя литературы В.И. Водовозова, но и у преподавателя географии Д.Д. Семенова, русской истории М.И. Семевского и у некоторых других. Если принять во внимание, что по каждому предмету воспитанницам приходилось чрезвычайно много читать и все прочитанное приводить в порядок, набрасывать

конспекты и составлять лекции, то можно сказать без преувеличения, что при Ушинском мы работали совсем не по-институтски[89].

У нас шла до невероятности напряженная, лихорадочная работа. Каждую лекцию по очереди должны были составлять пять-шесть воспитанниц; остальные делали то же по другим предметам, а между тем в послеобеденное время каждой приходилось готовить еще уроки по двум, а то и по трем предметам, вот почему большая часть девушек работала и по ночам. Самую лучшую работу учитель прочитывал в классе. Если воспитанница почему-нибудь не могла составить лекцию, она заявляла об этом учителю и должна была заняться ею в следующий раз. Никто не заподозривал ее в лености: работали прежде всего потому, что явился живой интерес к знанию, охвативший все наши душевные силы, все наши помыслы, но нельзя, конечно, отрицать и того, что известную роль здесь играли и соревнование, и боязнь осрамиться перед новыми учителями.

Когда к пяти часам кончались занятия с учителями и после обеда возвращались в класс, мы немедленно принимались за работу. Классным дамам не приходилось бранить нас ни за шум, ни за беготню по коридорам: в классе стояла полная тишина, прерываемая только шелестом переворачиваемых страниц и скрипом перьев. Такая же напряженная деятельность продолжалась и после чая, когда мы приходили ложиться спать. Как только классная дама уходила в свою комнату, мы снимали передники и платья и, закутавшись в платки, свертывали свои салопчики, клали их на пол у кроватей и садились на них. На наших матрацах мы размещали книги и карандаши, укрепляли свечку в самодельный подсвечник из картона и принимались за дело. Хотя в дортуаре стоял большой стол и скамейки, но они помещались у того конца спальни, где находилась комната дамы; к тому же лампу гасили к десяти часам, и мы не имели права сидеть дольше. Если бы посторонний человек вошел ночью в дортуар, когда над кроватями торчали головы воспитанниц, склоненные над книгами, когда здесь и там уныло мерцали огоньки огарков, он мог бы подумать, что попал в какую-нибудь капеллу[90], где богомолки молятся у гробов с мощами.

Иметь свечку для ночи сделалось первою заботою. Наиболее услужливые из подруг каждый вечер разрезали перочинным ножом свою свечку на несколько частей и раздавали неимущим. Чуть, бывало, ночью раздастся шум из комнаты классной дамы — мы моментально тушим огни и полураздетые бросаемся в кровать, под одеяло. Ни усовещивания класс-

ных дам, ни их брань за ночные бдения не могли уничтожить этого нового обычая.

Можно себе представить, как дико было классным дамам, получившим воспитание в том же институте и прослужившим в нем по многу лет, смотреть на все то новое, что делалось тогда в институте! Лекции некоторых учителей воспитанницы обращали в живую беседу с ними, беспрестанно вставали с своих мест, спрашивая их то о том, то о другом.

— Зачем понадобилось Лермонтову загрязнить образ поэтической Бэлы («Герой нашего времени»)? Он не должен был представлять ее так, что ради любви к Печорину она готова отказаться от родины и веры! Нравственная обязанность человека всегда оставаться патриотом, — заявляет одна.

— Для любимого человека, — срывается с своего места другая, — можно все принести в жертву!

— Для такого, как Печорин, ничем не следует жертвовать: он бездушный эгоист... Таких, как он, следует выгонять из России!

— Но он самый привлекательный человек на свете!..

— Да побойтесь же вы Бога, господин учитель! Неужто о таких вещах вам дозволено рассуждать с воспитанницами, совсем еще девочками? — в ужасе обращается дежурная дама к учителю литературы.

— Да... да... пожалуйста, не мешайте! Это прекрасно, что они высказывают все, что думают! — простодушно отвечает учитель литературы и, не вступая в дальнейшие пререкания с классною дамою, переходит к обсуждению высказанного. Правда, нередко высказывались мнения до невероятности детские, даже дикие, но иными они и не могли быть у воспитанниц закрытого заведения. Учителя не только терпеливо, но даже с интересом выслушивали и обсуждали все высказанное каждою из нас.

Однажды Ушинский пришел на урок Д.Д. Семенова и взял со стола тетрадь, в которой был написан очерк о Белоруссии, составленный одною из воспитанниц как по его лекции, так и по материалам, им доставленным. Ушинский отошел читать к окну, а Семенов вызывал учениц и спрашивал их из только что у него пройденного. Ушинский от времени до времени прекращал чтение и прислушивался к бойким ответам учениц. Когда раздался звонок, мы окружили их обоих плотною стеною и начали живо болтать с ними, не обращая внимания на присутствие классной дамы.

— Я никогда не сомневался, что при новой системе преподавания вы будете делать успехи... Но вы превзошли мои самые смелые ожидания! Я

знаю, какого труда это стоит вам без привычки к усидчивой работе!.. — растроганно говорил Ушинский, тороватый[91] на порицание, но очень скупой на похвалу.

Несмотря на работу, требующую большой затраты сил, мы не хворали. Правда, две воспитанницы из нашего класса сильно отставали от подруг, но одна из них всегда была болезненною и малокровною, а у другой — умственное развитие шло вперед вообще весьма медленно. Ее фамилия была Быстродумова, и уже в дореформенное время она получила кличку Тиходумовой. В высший класс она попала случайно: перед выпуском она умоляла Ушинского оставить ее в седьмом классе, но он не соглашался, ссылаясь на то, что хотя по отметкам она числится не из последних, но все же в высшем классе ей трудно будет учиться. Настойчивые мольбы Быстродумовой в конце концов заставили его исполнить ее просьбу.

Девочка употребляла всевозможные усилия, чтобы не отставать от подруг, но стала прихварывать, часто жаловалась на головную боль, по неделям лежала в лазарете. Ее ответы учителям и особенно письменные работы были сравнительно с другими довольно плохи. Но сила влияния Ушинского отразилась и на ней. Года через три после нашего окончательного выпуска Ушинский как-то приехал ко мне и рассказал следующее: гуляя по улице, он прочел на одной из вывесок «школа» и вошел в нее послушать урок, который уже начался. К нему вышла какая-то женщина, но он не спросил у нее фамилии учительницы, которая продолжала свою в высшей степени оживленную беседу с ученицами. Когда окончился урок, учительница (то была Быстродумова) повернулась в сторону Ушинского и вскрикнула от удивления, затем бросилась к нему и разрыдалась.

На другой день он получил от нее письмо, в котором она говорила, что накануне была взволнована неожиданною встречею с ним и не могла высказать свою признательность за все то добро, которое он ей сделал. Между прочим, она писала, что если бы не его влияние, она после выпуска продолжала бы жить так же, как и вся молодежь в семьях ее родственников, мелких чиновников, где девушки ведут борьбу с родными не за право учиться, как в других современных семьях, а за право приобрести новую тряпку, чтобы пленить сердце чиновника и продолжать такое же постылое существование, какое они вели в родительском доме. «И меня ожидала та же участь: ведь институт до Вашего вступления в него не возбуждал более чистых стремлений...»

Но я забежала далеко вперед. Нравственный облик институток совершенно изменился. Сами мы не замечали в себе перемены, кроме того, конечно, что прежде некоторые из нас зубрили уроки, другие решительно ничего не делали, а теперь все работали серьезно, многие даже с страстным увлечением[92]. Не так относились к этому наши родственники: то одна, то другая воспитанница сообщала подругам, что ее брат, отец или мать поражаются происшедшей с нею переменой, говорят, что она стала серьезнее, мягче, благоразумнее. Их изумляло, между прочим, и то, что еще недавно их «институточка», не находившая темы для разговора с ними в часы свиданий, оживленно рассказывала им теперь о том, что она читает, забрасывала их вопросами, просила, вместо того чтобы купить ей духи, достать ей те или другие книги. Традиционное обожание исчезло, как по мановению волшебного жезла: никто из воспитанниц не вырезал на руках перочинным ножом инициалов имени того или другого учителя, никто не выкрикивал глупых слов обожания, никто не обливал их одежду духами. Даже Ивановская, проникнутая общим настроением, не высказывала более своих восторгов относительно «неземной красоты» Ушинского. Обожание казалось нам теперь уже чем-то пошлым и неуместным. Вместо него у нас явилась родственная, духовная связь с учителями и самое дружеское отношение к ним. Мы искали встречи с ними, чтобы поболтать, и бежали к ним в каждую перемену между уроками. В наиболее либеральный период нашей жизни некоторые из учителей приходили даже в сад побеседовать с нами, передавали нам содержание виденных ими в театре пьес, знакомили нас с игрою известных артистов, с явлениями общественной жизни и со стремлениями лучшей части общества. Конечно, все это было крайне отрывочно, но все же будило нашу мысль, усиливало интерес к духовной жизни.

Однажды веселая ватага воспитанниц, среди которой раздавались шутки и смех, прогуливалась в саду с учителем литературы, называя его по имени и отчеству, что прежде было немыслимо. Он также, обращаясь к ним, называл их по имени и отчеству. В эту минуту воспитанницы поравнялись с двумя классными дамами — Лопаревой и Тюфяевой, проходившими мимо с противоположной стороны.

— Боже, по именам называют! Скажите мне, скажите, что я ошиблась! — воскликнула m-lle Лопарева, склонная к сантиментальности, с ужасом хватая товарку за руку.

— Не ошиблись, моя милая, не ошиблись!.. Если они по канатам станут скакать с этими совратителями и со своим шалым инспектором, то и это меня уже больше не удивит... — отвечала Тюфяева.

Кратковременная эпоха реформ в Смольном была самым светлым воспоминанием нашей юности, нашей институтской жизни, только порою отравляемой злобным шипением классных дам, всеми силами души возненавидевших Ушинского и новых учителей.

Однажды императрица Мария Александровна посетила институт и долго разговаривала с Ушинским. Это убедило наше начальство в том, что государыня продолжает благосклонно относиться к нему. На первый же институтский бал после этого были приглашены Ушинский и все учителя, — этого никогда еще не бывало у нас и едва ли могло быть без ведома императрицы.

Все это лишь усиливало злобу классных дам; раздражало их и то, что наша инспектриса продолжала дружить с инспектором. Классные дамы, еще недавно игравшие в институте доминирующую роль, сразу потеряли свое значение; вследствие этого они крепче сплотились между собой, держались как-то особняком и за свое унижение мстили пока одной только фразой, которую они частенько повторяли, вкладывая в нее и озлобленные вопли своего сердца, и угрозы по нашему адресу, и все свои злорадные надежды на будущее: «Недолго, недолго это продлится!..»

Наступил 1861 год. Когда Положение 19 февраля было обнародовано[93], у нас отслужили молебен. Через несколько часов после возвращения из церкви вошел Ушинский и заявил, что он желает объяснить нам значение этого великого акта. В блестящем, популярном, сжатом очерке он набросал картину жизни помещиков во время крепостного права, познакомил нас с тем, как они забавлялись, сменяя пиры охотами и другими барскими затеями, указал и на жестокость многих из них к своим крепостным. Считая позором трудиться, рассказывал он, помещики сами или через управляющих обременяли своих крестьян непосильным трудом, оставляя их влачить жалкую жизнь, полную жестоких лишений, погруженных в беспросветный мрак невежества и унизительного рабства. Заключительный аккорд этой блестящей речи состоял в том, что акт освобождения крестьян налагает на всех нас обязанность уплатить им хотя ничтожную часть нашего долга. За наше образование, за возможность жить безбедно, за блага, приобретенные на счет векового рабства масс, мы,

чтобы искупить тяжелый грех многих поколений, должны отдать все свои силы на просвещение народа. «И каждый, у кого в груди не камень, а сердце, искренно откликнется на этот призыв!»[94] По словам Ушинского, с этого момента все обязаны нести в народ свой труд, знания и таланты, а на русских женщин наступившая эпоха освобождения налагает еще особую обязанность — раскрепоститься от предрассудков, специально тяготеющих над ними. Еще не так давно у нас не находили нужным даже учить женщину грамоте, но и теперь в семьях людей образованных, там, где считают необходимым давать высшее образование сыну, дочь учат как попало и кой-чему. И все, даже сами женщины, находят такой порядок вещей нормальным. Быть наставницею молодого поколения — великая и благородная задача, но в то же время в высшей степени трудная и сложная. Выполнить ее с успехом женщина может, только основательно вооружившись серьезными знаниями. Следовательно, женщины, так же как и мужчины, должны получить высшее образование. «Вы обязаны, — говорил он, — проникнуться стремлением к завоеванию права на высшее образование, сделать его целью своей жизни, вдохнуть это стремление в сердца ваших сестер и добиваться достижения этой цели до тех пор, пока двери университетов, академий и высших школ не распахнутся перед вами так же гостеприимно, как и перед мужчинами». Нужно помнить, что Ушинский говорил это еще в 1861 году.

Во время моего знакомства с Ушинским после выпуска, какие бы разговоры и споры он ни вел в кругу своих знакомых, мне никогда не приходилось слышать, чтобы он высказывал идеи социалистические или радикально-политические: он всегда и всюду являлся лишь страстным поклонником, сторонником и пропагандистом просвещения вообще и распространения его среди простого народа в особенности, а также проповедником широкого образования женщин. Лишь в достижении женщиною высшего образования он видел альфу и омегу женского равноправия, его конечную цель и предел. Такими взглядами на женский вопрос были проникнуты в то время лишь наиболее прогрессивные люди русской интеллигенции; сами женщины, даже и наиболее передовые из них, под равноправием подразумевали тогда одинаковое с мужчинами право на высшее образование, а также и право на самостоятельный заработок.

Недели через две после своей речи Ушинский сообщил, что у нас будет открыта школа грамоты для горничных и что воспитанницы седьмого

класса, желающие обучать их, могут заниматься с ними по воскресным дням. Все с восторгом выразили желание учить.

В одно из воскресений после молебна, на котором присутствовали все наши горничные, воспитанницы приступили к занятиям с ними. Ушинский подходил к каждой скамейке и внимательно прислушивался к преподаванию молодых учительниц, а по окончании занятий указывал промахи в их приемах обучения. Таким образом, новая воскресная школа приносила пользу и воспитанницам и горничным.

Мне не раз приходилось слышать мнение, что Ушинский был главным вдохновителем идеи о необходимости нарушить замкнутость институтов, но это совершенно несправедливо. В 1858 году, когда он не был еще инспектором Смольного, уже появлялись статьи в журналах и подавались отчеты членами институтских советов, в которых, между прочим, подчеркивалось, что институтки совершенно утрачивают чувство семейной привязанности, указывалось на тяжелые последствия отчуждения детей от родителей, на непригодность институток к действительной жизни[95].

В отчетах инспекторов по медицинской части петербургских учреждений императрицы Марии то и дело встречались указания на вред женских закрытых заведений для здоровья воспитанниц[96]. Одним словом, со второй половины XIX столетия институтское затворничество начало повсеместно встречать неодобрение и все большее число лиц высказывалось за необходимость, хотя изредка, отпускать институток домой. Наконец, в 1862 году императрица Мария Александровна дала на это разрешение, но лишь в виде опыта в течение двух лет, а по прошествии этого времени было окончательно раз навсегда установлено правило отпускать домой воспитанниц на лето, а также в рождественские и пасхальные дни.

Нашу воскресную школу для горничных скоро закрыли по неизвестной нам причине[97], но, будь мы поопытнее, мы поняли бы, что это было первым признаком наступившей в институте реакции. Очевидно, подул не тот ветер, который год тому назад принес нам освежающую струю чистого воздуха. И что-то странное началось у нас твориться.

По окончании классных занятий то одна дама, то другая забегала к своей товарке, отзывала ее в сторонку и оживленно перешептывалась с нею. Нередко обе они усаживались за столик и передавали друг другу новости с явным желанием, чтобы воспитанницы их слышали. «Этот gamin (уличный мальчишка), этот прохвост осмелился не отдать мне по-

клона», — сообщала одна из них. Другая отвечала ей, что «этот негодяй» так нагло посмотрел на нее вчера, а m-lle Лопаревой он даже засмеялся в лицо, что же касается m-lle Носович, то он не извинился перед нею даже тогда, когда толкнул ее при встрече... Фамилию преступника дамы не называли, но мы догадывались, что дело идет о ком-нибудь из молодых учителей[98].

Несомненно, что все эти новости были пошлою выдумкою: классных дам возмущало не только то, что они постепенно утрачивали свое значение, но и то, что от новых учителей они не видели галантной предупредительности и расшаркивания перед ними, к чему они так привыкли при прежних учителях. Еще более возмущало их то, что когда во время урока одна из них начинала войну с воспитанницею, то есть отнимала у нее какую-нибудь бумажонку, учитель прекращал чтение лекции и не произносил ни слова до тех пор, пока она не садилась на место. Ушинский первый предъявил требование, чтобы в классе ни воспитанницы, ни классные дамы не нарушали тишины. После его столкновения с Тюфяевой никто из классных дам не осмеливался более мешать ему: с ним считались и его побаивались. Более или менее сдерживали они себя и во время занятий учителей во весь первый год. Но как только появились первые признаки реакции, классные дамы начали придираться к воспитанницам, имея в виду прежде всего раздражить этим учителей, а через них насолить и Ушинскому[99]. Они то и дело начинали вставать с своих мест во время уроков и расхаживать между скамейками. Как только воспитанница передвигала машинально книгу или тетрадь, дама громко бранила ее за это, тянула к себе с пюпитра что попало, обдергивала ее якобы за небрежный туалет и т.п. Вражда раздувалась все сильнее и разделила наконец все население института на два лагеря: на одной стороне стояли преподаватели с Ушинским во главе и воспитанницы, а в противоположной партии — весь женский персонал начальства и двое учителей, оставшихся в институте от дореформенного времени[100]. Конечно, и классные дамы успокоились бы в конце концов, во всяком случае менее утруждали бы себя выдумками, если бы начальница Леонтьева твердо решила претерпеть до конца новшества Ушинского. Но решимости на это у нее хватило лишь на первое время, да и то потому только, что, с одной стороны, его реформы были санкционированы свыше, а с другой — она просто не поняла, что Ушинский был не из тех людей, которые вводят реформы только внешним образом, напоказ. К тому же Леонтьева не имела представле-

ния о том, что преобразования так глубоко коснутся внутреннего быта института. Когда она это поняла, она решила, что государыня, сама желавшая оживить умственную жизнь воспитанниц, не знала о том, как это перевернет вверх дном все устои института.

И вот на голову Ушинского мало-помалу начинают сыпаться самые неожиданные неприятности. Классным дамам стоило только заметить, что начальница недовольна инспектором, и у них явилась надежда, что не все еще потеряно, что старое можно вернуть, что новое долго не удержится... И они начали более чем когда-нибудь подлаживаться к Леонтьевой. Их примеру скоро последовала и наша бесхарактерная инспектриса, m-me Сент-Илер.

Однажды она заявила нам, что хотя во время уроков нам и дозволено обращаться к учителям с вопросами, но мы должны помнить, что имеем право спрашивать их только о том, чего не понимаем из предмета, преподаваемого каждым из них. Но так как ей сделалось известным, что мы слишком широко воспользовались этой свободой, с шумом, криком и гиком, доходящими до полной непристойности (чего никогда не бывало), окружаем наших учителей в перемену, перебивая их и друг друга, болтаем с ними о всяких пустяках, — этого она не потерпит долее. Никоим образом не может она допустить и того, чтобы учителя приходили в сад вести с нами бесконечные беседы.

И так сразу был положен конец нашему живому общению с преподавателями. В классе водворилась полная тишина. Это было для нас крайне тяжелою, незаслуженною карою: мы продолжали усердно работать и читать, но «проклятые вопросы» осаждали наши головы, а поговорить о них теперь было не с кем. Тогда некоторые из нас начали прибегать к такой хитрости: подавая учителю составленную лекцию, мы в конце ее, а то и посреди излагали (в скобках) то, что нас интересовало. У учителя литературы в эти скобки мы включили вопросы о том, почему герой или героиня такой-то повести поступили так, а не иначе. У учителя истории — возможен ли в настоящее время на престоле такой жестокий царь, каким был Иоанн Грозный? Был ли Павел сумасшедшим или нормальным человеком? Правда ли, что его убили? Можно ли Петра I называть великим только за то, что он производил крупные реформы, а между тем являлся палачом своих подданных?

Через много лет после выпуска, когда меня как-то посетил Д.Д. Семенов (бывший у нас учителем географии), он сказал, что только что

случайно нашел между своими бумагами исписанный лист, который живо напомнил ему «период скобок» (то есть время, когда мы сносились с учителями посредством скобок). Вот в это время одна воспитанница подала Семенову составленную ею лекцию о Малороссии, а в скобках обратилась к нему с курьезным вопросом, который он списал на память, так как лекцию должен был вернуть составительнице:

«На днях мне дали для прочтения маленькую книжечку и сказали, что это стихотворения Михайлова. Но так как титульный лист был оторван, а на оберточной бумаге для безопасности от классной дамы было написано: "Перевод стихотворений Корнеля" (наше начальство считает его благонамеренным писателем), то я не знаю, были ли стихотворения Михайлова оригинальными или переводными. Из них мне врезались в память две строчки:

Отчего под ношей крестной
Весь в крови влачится правый?[101]

(Цитирую не по книге, а по памяти, но за смысл ручаюсь.) Вот в чем дело, многоуважаемый Дмитрий Дмитриевич! Если это стихотворение Михайлова переводное и, следовательно, в этом двустишии автор подразумевает жителей западных государств, то для меня оно понятно. Я недавно читала, что строй этих государств пришел в негодность, в одном месте книги было даже сказано: "гнилой Запад". Ведь не может же автор иметь в виду Россию после великого акта освобождения крестьян, когда прежним несчастным рабам дана свобода, когда, следовательно, все уже пользуются полной свободой и равенством? Не правда ли, такой ужас в России исчез с освобождением крестьян? Но если он существует и теперь, почему же все вы, честные, добрые, великодушные наши преподаватели, не соединитесь вместе с великим нашим Наставником и общими усилиями не уничтожите это страшное зло в России? Как подло со стороны "ведьм", что они прекратили наши беседы со всеми Вами! Пожалуйста, Дмитрий Дмитриевич, когда будете возвращать мне эту лекцию, ответьте мне на мой вопрос так, чтобы "ведьма" не могла заподозрить, что я спрашиваю Вас об этом в лекционной тетради».

— И вот, как на грех, — рассказывал Семенов, — в один из четвергов я снес эту выписку Ушинскому. Преподаватели очень смеялись, когда я прочел им ее, а Ушинский, боже мой, я и сам был не рад, что познако-

мил его с содержанием этого курьеза! Он вскочил из-за стола и ну ходить по комнате в страшном волнении и говорил, говорил битых часа два, пока не раскашлялся и не разволновался так, что мы должны были разойтись по домам. Ушинского особенно возмущало то, что девочкам запрещают невинные беседы с учителями; это запрещение институтское начальство объясняло ему тем, что такие отношения к преподавателям будто бы лишают учениц женской скромности и комильфотности, но он был глубоко убежден, что, даже при тупости классных дам, они не могли этого думать и что тут был умысел иной. Он заметил, что если нас, учителей, и поражает наивная болтовня девочек, их до невероятности ребячливое миросозерцание, то его оно только радует: из этих «скобок» видно, что у воспитанниц уже являются мысли относительно общественной жизни, а еще недавно у них были на уме лишь «кавалергарда шпоры»[102].

Получая составленную лекцию, заключающую самые разнородные вопросы в скобках, учителя прекрасно справлялись с своей новой задачей: они старались удовлетворить любознательность своих учениц, отвечая на их вопросы в безразличной форме.

Нас, воспитанниц, начала удивлять необычная суетливость нашей инспектрисы, которая к тому же все усиливалась: она то возвращалась от начальницы, то отправлялась к ней, то призывала к себе классных дам. Однажды в дежурство m-lle Тюфяевой, когда мы ждали преподавателя русской истории М.И. Семевского, к нам вошла maman. Мы встали с своих мест с обычным приветствием, а она голосом, срывающимся от нервного возбуждения, произнесла (по обыкновению, по-французски):

— Этот невоспитанный мальчишка, который должен к вам прийти сию минуту (он в то время был одним из самых молодых), так непристойно-заносчиво держит себя здесь со всеми, что я считаю долгом проучить его за это. Теперь я выйду из класса, а как только он войдет, я возвращусь, пройду к противоположной двери в коридор, но когда я буду позади скамеек, mademoiselle Тюфяева, а за нею и все вы должны присоединиться ко мне, вставая со своих мест без всякого шума. Таким образом мы все выйдем из класса. Он останется один среди пустых стен! Может быть, хотя это образумит негодяя!

Почему этот скандал был устроен М.И. Семевскому, а не кому-нибудь другому из учителей, навсегда осталось неизвестным. Сам он категорически отрицал взводимые на него обвинения в том, что он при встрече с той или другой классной дамой толкал кого-нибудь из них, нагло и с

издевательством смотрел им в глаза и т.п. При этом он совершенно справедливо указывал на то, что если бы что-нибудь подобное случилось с ним, то оскорбленная дама не стала бы ждать случая, а тут же подняла бы «историю», как это было при столкновении Ушинского с m-lle Тюфяевой.

К.Д. Ушинский уже после выпуска как-то спрашивал нескольких своих бывших учениц, чем они объясняют этот скандал, и те единогласно отвечали ему, что, по их мнению, он начат был с М.И. Семевского, как с самого молодого, и, наверно, устроен был бы и другим учителям, если бы он, Ушинский, тотчас и сразу не положил этому предела.

Что касается того, как могла инспектриса Сент-Илер, о которой Ушинский был такого хорошего мнения, не только играть главную роль в этой истории, но даже взять на себя инициативу, то это вытекало из всего характера нашей трусливой, безвольной maman. Когда у нас наступила реакция, Леонтьева всеми своими действиями обнаружила полную решимость выжить Ушинского из института; maman, по обыкновению, тотчас испугалась за свое положение и тогда уже открыто стала на сторону врагов Ушинского.

Однако вернемся к инциденту. Как только мягкосердечная maman на этот раз с каким-то злорадством объявила свое оригинальное распоряжение, прозвонил колокол. Она быстро вышла, а вслед за нею появился учитель. Он поклонился Тюфяевой, но она не отдала ему поклона; мы привстали, чтобы раскланяться с ним, но в эту минуту вошла инспектриса. Мы продолжали стоять, а учитель, уже успевший сесть, снова встал с своего места и поклонился инспектрисе, но та только выше подняла голову и величественно направилась к противоположной двери.

Однако не все произошло так, как было предписано: вышла m-lle Тюфяева, а за нею последовали и смущенные воспитанницы, но три из них продолжали сидеть в классе на своих местах: Ратманова, Саулова и я. Учитель как встал для поклона инспектрисе, так и продолжал стоять, растерянно оглядываясь по сторонам. Ни он, ни мы трое, оставшиеся в классе, не произносили ни звука. Наконец он сел и начал вынимать книги из портфеля, но затем быстро положил их обратно со словами: «При таких условиях я не могу читать!..» — встал, раскланялся и вышел.

Весь этот инцидент продолжался несколько минут.

Вслед за уходом учителя в класс вошли все, только что вышедшие из него. M-me Сент-Илер, бледная, со слезами, которые текли по щекам,

обратилась к нам, оставшимся в классе, со словами, звучавшими гневом и возмущением:

— А вы трое, как осмелились вы поступить вопреки моему приказанию? За всю мою службу здесь еще не было примера, чтобы кто-нибудь позволил себе так дерзко нанести мне оскорбление! И это за то, что, кроме ласки и привета, вы ничего не видели с моей стороны?.. Я не верила, когда все кругом говорили мне, что вы в конце концов и относительно меня запятнаете себя черною неблагодарностью!

— Простите, maman, простите! — вдруг бросилась к ней, рыдая, Саулова, очень чувствительная девушка, которая чрезвычайно быстро увлекалась и еще быстрее остывала в своем увлечении. — Я необдуманно поступила! Я не знала, maman, что это вас так огорчит! Вы лучшая, самая лучшая здесь!..

Инспектриса, ничего не отвечая и прикрывая глаза платком, молча направилась к себе, а Саулова бежала за ней, выкрикивая на все лады те же мольбы, и скоро получила прощение.

Вечером меня позвали к инспектрисе. Она начала с повторения уже сказанного, но так как я молчала, она вдруг спросила меня:

— Ты имеешь что-нибудь против меня лично? О, я могу смело задавать подобные вопросы... Я никому из вас не сделала зла! Напротив даже, всех вас, а особенно тебя, всегда защищала перед классными дамами!..

— Конечно, maman, я ничего не имею против вас! Даже не смею иметь!.. Уверяю вас, мне очень больно, что я вас огорчила!..

— Если бы это было так, то ты много раз могла бы сегодня же прийти ко мне и попросить прощения.

— Я не могла... Это было против моих убеждений!

— Что?.. Повтори! — грозно настаивала она и, не дожидаясь ответа, разразилась искусственным смехом. — А, так вот чему вас научили новые учителя! Говорить высокопарные фразы!..

— Фразами, maman, называют слова, когда их повторяют без смысла. Вероятно, я понимаю, что значит убеждение, если решилась пострадать за него!

— Опомнись!.. Знаешь ли ты, что я в первый раз в этих стенах слышу такие слова!.. Ваши учителя исковеркали, изломали вас!

— Прежде здесь не произносили таких слов, потому что не имели ни взглядов, ни убеждений...

— Если ты будешь сыпать твои фразы в гостиной, над тобой будут издеваться как над последней дурой и фразеркой.

Конечно, свою скромную мысль мне следовало отстаивать попроще, да и говорить с инспектрисой об убеждениях было более чем наивно, но ведь нужно помнить, что мы были еще почти детьми: никому из нас в это время не было более 16—17 лет.

— Будь же любезна, объясни мне, какое отношение имеют твои возвышеннейшие убеждения к моим распоряжениям?

— Вы приказали, maman, воспитанницам уйти с лекции, чтобы наказать учителя за его неблаговоспитанность. При нас все учителя раскланиваются с классными дамами, даже теперь, когда те перестали отвечать на их поклоны. С нами все они очень вежливы и усердно заботятся о нашем просвещении. За что же нам наказывать их? Это было бы низостью с нашей стороны. Следовательно, ваше приказание было против моего убеждения.

— Пошла вон отсюда, скверная, до мозга костей исковерканная девчонка!.. — Но когда я сделала реверанс, чтобы удалиться, инспектриса гневно закричала: — На днях тебя уволят из института, и я буду настаивать на этом даже более, чем на удалении Ратмановой. Твое пребывание — настоящая зараза для твоих подруг. Тут уже и твой дядюшка не спасет тебя!

Хотя мне во время всей нотации очень хотелось, чтоб maman скорее кончила ее и я могла бы убежать в дортуар, но теперь я не могла уйти раньше, чем выскажу все, что подсказывали мне раздражение и обида.

— Мой дядюшка не обеспокоит вас более!.. Полтора года тому назад я валялась у ваших ног, целовала ваши руки, умоляя вас защитить меня от клеветы...

— О, конечно, конечно, — язвительно перебила она меня, — при твоих возвышеннейших убеждениях это для тебя теперь совсем унизительно!

— Совсем не то!.. Выключенная из института тогда, я не знала бы, что с собою делать! Теперь совсем другое: я так хочу учиться, так твердо решила самостоятельно зарабатывать свое существование, что нет такой силы на свете, которая бы задавила это желание! А вы говорите о гостиных, указываете, что там надо мною будут издеваться!.. Да я и не пойду в эти гостиные, я хочу только учиться! И эти взгляды у нас явились под влиянием наших честных преподавателей, а вы требуете, чтобы я пошла на такую низость — устраивала им скандалы!..

— Ты, значит, милая моя, считаешь себя и Ратманову перлом создания, исключительно возвышенными натурами, а твоих подруг, которые не решились меня ослушаться, низкими тварями?..

— Нисколько! Ведь они это сделали только потому, что не успели опомниться, не успели сообразить, в чем тут дело! Я также обыкновенно делаю то, что делают другие: мы уже здесь так приучены...

— А вот чтобы ты не была чересчур сообразительной, ты будешь уволена, и даже через несколько дней...

— Сейчас же извещу об этом моих родных!..

— Не ты известишь их о твоем увольнении, а учреждение, в котором ты воспитываешься! А теперь ты снимешь передник и будешь ходить без него вплоть до твоего удаления! И в церкви будешь стоять без передника и отдельно от других...

— Все ваши приказания, maman, я исполню, но *этому церковному наказанию*... извините... я взрослая девушка... я не могу подчиниться! Теперь, когда цепи рабства пали, вы наказываете меня, как последнюю рабыню! Вот ваше христианское милосердие!.. Выгонять из института — ваше право, но наказывать меня в церкви — не позволю! — Последние фразы я уже выкрикивала дерзко и запальчиво, быстро сделала реверанс и повернулась, чтобы идти, когда она закричала:

— С глаз долой!

Для меня долго оставалось непонятным то, что инспектриса дала мне высказать кое-что, удостоила меня даже своими возражениями, правда ироническими, но, согласно с нашими правилами, ей следовало бы прогнать меня при первых же моих словах. Только гораздо позже я поняла, что она у меня же, в моей запальчивой, путаной, фразистой детской речи черпала аргументы для доказательства перед Ушинским негодности и безнравственности новых учителей и новой системы образования и воспитания.

Мне и в голову не приходило сомневаться в моем увольнении: это объявила мне не Тюфяева, а инспектриса, которая никогда не прибегала к подобным угрозам. Когда я вышла от инспектрисы в коридор и встретила воспитанниц, я просила их передать дежурной даме, что почувствовала себя дурно и вынуждена сию минуту отправиться в лазарет, — это было для меня единственным средством обдумать мое положение.

Ночью, лежа в лазаретной постели и перебирая в уме все происшедшее, я нашла, что задача избежать наказания в церкви, считавшегося

самым позорным для выпускной воспитанницы, еще была одною из легких по сравнению с другими моими заботами. Прежде всего мне необходимо было известить дядю о моем увольнении. Я прекрасно знала, что он, столь энергично защитивший меня против явной клеветы Тюфяевой полтора года тому назад, в настоящем случае примет сторону инспектрисы. Он всегда стоял за беспрекословное подчинение воле начальства, а я осмелилась высказать неповиновение и к тому же не раскаялась в своем поступке, — все это не только должно было усугубить мою вину в его глазах, но показаться ему настоящим преступлением. От него я могла ожидать всего: при известии о моем удалении он мог немедленно явиться к инспектрисе и, когда та объяснит ему, в чем дело, потребовать от меня, взрослой девушки, чтобы я коленопреклоненно просила у нее прощения. Эта мысль леденила кровь в моих жилах. Нет, ни за что не буду его извещать о моем удалении! К кому же обратиться? Моя мать жила в глухой деревне, очень далеко от Петербурга и, получив от меня известие, могла приехать за мной лишь через месяц-другой. Мне пришло в голову, что у меня остается единственная обязанность известить об этом Ушинского. Благодаря ему я получаю стипендию: он должен узнать о том, что меня исключают, чтобы немедленно передать ее другому лицу (относительно стипендий у меня было самое смутное представление). Известить обо всем Ушинского меня побуждала и боязнь, что начальство доведет эту историю до его сведения в искаженном виде. И я всю ночь обдумывала письмо к Ушинскому и на другой же день засела за него: я рассказала ему, как инспектриса приказала нам оставить класс, когда войдет учитель истории, объяснила ему причину, не дозволившую мне повиноваться ей, изложила и мой разговор с maman, не утаив от него и моих выражений, так возмутивших ее. Я писала ему, что не сомневаюсь в моем увольнении из института, и ввиду этого просила его руководить моими занятиями вне стен заведения.

В субботу вечером, перед тем как воспитанницам приходилось идти в церковь, ко мне забежала Ратманова с известием, что инспектриса продолжает каждый день ходить к начальнице и что, несмотря на это, никто из них не вспоминал о нас. Но я все-таки опасалась, что инспектриса вспомнит свою угрозу насчет церкви, и, чтобы избежать этого наказания, слегла в постель. Это оказалось совершенно лишним: прошло более недели, а между тем никто не напоминал мне о моем исключении из института, и я отправилась в класс как ни в чем не бывало. Ушинский пос-

ле отсутствия своего вследствие болезни опять начал читать лекции. В первый же раз после своего прихода он долго сидел у инспектрисы, но о чем они толковали между собой, для нас осталось неизвестным.

Я несколько раз после этого встречалась с Ушинским и одна, и в обществе подруг, но он ни разу не дал мне заметить, что получил мое письмо. По внешнему виду он становился все более угрюмым и болезненным: его и без того бледные, исхудалые щеки осунулись еще более, лоб пожелтел, глаза горели лихорадочным огнем. Мы не решались подходить ни к нему, ни к учителям, и никто из них не разговаривал с нами более.

Г-жа З.Е. Мордвинова[103] в своем биографическом очерке «Статс-дама М.П. Леонтьева» возмущается тем, что биографы Ушинского приписывают расстройство его здоровья неприятностям, клеветам и доносам, испытанным им в Смольном. Хотя биографы, говорит она, не называют фамилии Леонтьевой, но прежде всего имеют в виду именно ее, как особу, облеченную наибольшею властью в Смольном. Желая опровергнуть это и показать, что Леонтьева сочувствовала всему благородному и прекрасному, а следовательно, и реформам Ушинского, она старается доказать это, поместив в своей книге два подлинных письма (Леонтьевой и Ушинского), извлеченных из архивов, из которых видно, что в 1858 году Леонтьева через Делянова (бывшего тогда членом совета женских учебных заведений и попечителем Петербургского учебного округа)[104] предлагала Ушинскому занять должность инспектора в Смольном и что он на это согласился. Но эти письма не доказывают того, что желает доказать г-жа Мордвинова. Очень возможно, что Леонтьева предложила Ушинскому инспекторство уже тогда, когда узнала об этом мнение императрицы и Норова, которым биографы и приписывают назначение Ушинского, ссылаясь при этом на его собственные слова. Но если бы даже Леонтьева и совершенно самостоятельно выразила желание иметь инспектором Ушинского, то это еще совсем не говорит о ее сочувствии к нему, тем более что в то время она ни разу не видала его[105].

Нужно заметить, что за несколько месяцев до приглашения Ушинского умер инспектор Смольного Тимаев, а на его место члены совета*

* Смольный находился под коллективным управлением трех лиц: 1) начальницы, которой вверен был надзор за нравственным и физическим воспитанием двух институтов, 2) члена по учебной части, следившего за образованием, и 3) члена по хозяйственной части, наблюдавшего за правильным расходованием сумм. Все члены совета назначались высочайшею властью и двое из них — из высших сановников государства[106].

предложили принять на испытание Полевого, сына писателя[107], очень молодого человека, который весьма не понравился Леонтьевой. Желая как можно скорее избавиться от него, она предлагала нескольким лицам занять должность инспектора, но дело не налаживалось, и уже тогда она через Делянова обратилась к Ушинскому, который в то время был инспектором Гатчинского института. Что же касается утверждения г-жи Мордвиновой, что Леонтьева не мешала проведению реформ в учебном деле, то это верно лишь в известной степени. Конечно, довольно мудрено было начальнице препятствовать их введению, когда они официально были утверждены свыше. Но, будучи особой до мозга костей дико консервативной, Леонтьева не могла индифферентно смотреть на какие бы то ни было перемены, а особенно когда заметила, что они в корне подтачивают нравы и обычаи института. Правда, она допустила беседы учениц с учителями во время уроков, но, как только они приняли живой характер, этому был положен конец. Точно так же и в остальных реформах она старалась вытравить все живое.

Что же касается личности Ушинского, то, как только Леонтьева поняла его характер, она начала делать все, чтобы отравить ему существование. Как она, так и классные дамы не могли сразу проявить ненависть, которую они почувствовали к нему: благосклонное отношение к нему императрицы заставляло их до поры до времени весьма дипломатично обращаться с ним. Да и сам Ушинский был не из тех, которых можно было легко и просто затереть. И вот потому-то, желая досаждать и мстить ему, они пока травили учителей. Да и могли ли не только сочувствовать друг другу, но мало-мальски переваривать один другого эти две личности — Леонтьева и Ушинский, столь различные между собой по своему характеру, понятиям и воззрениям! Леонтьева — осколок старины глубокой, особа с допотопными традициями и взглядами, с манерами, до комизма чопорными, с придворным высокомерием, с ханжеской моралью, требующая от каждого полного подчинения своему авторитету и подобострастного поклонения перед каждым своим словом, и он, Ушинский, — представитель новой жизни, носитель новых, прогрессивных идей, с энергией страстной натуры проводящий их в жизнь, до мозга костей демократ по своим убеждениям, считавший пошлостью и фокусами всякий этикет, всем сердцем ненавидящий формализм и рутину, в чем бы они ни проявлялись! Такие же диаметрально противоположные цели преследовали обе эти личности и в воспитании: она, упорно стремившаяся

к тому, чтобы воспитанниц двух огромных институтов привести к одному знаменателю, он — горячий защитник свободной мысли и индивидуального развития. У них была только одна черта, общая друг другу, — властолюбие, но, конечно, она лишь усиливала их взаимную ненависть и вражду. Нервный и болезненно-раздражительный, Ушинский, человек во всеоружии знаний, прекрасно знавший себе цену, не мог вынести препятствий при своем быстром шествии вперед по пути прогресса и новшеств и наносил удары своим врагам, не обращая ни малейшего внимания на их служебное положение. Властолюбивая Леонтьева, от которой до сих пор исходило все, что делалось в институте, которой всегда и во всем принадлежала власть и инициатива, не смела более вмешиваться в учебное дело. И прежде оно находилось в ведении инспектора, но, несмотря на это, она по своему произволу выбрасывала из заведения каждого учителя, который ей не нравился. Теперь уже в выбор учителей она совсем не могла вмешиваться. Уже одним этим она была уязвлена в своем самовластии и самодержавии. К тому же Ушинский отличался еще одною чертой характера, совершенно непереносной для институтского начальства: наблюдательный, остроумный, находчивый, резкий и прямой, с презрением относившийся к пошлости, он решительно не мог удержаться от сарказмов, а институтское начальство, по своему совершенному невежеству, представляло для этого широкое поле.

В то время, о котором я говорю, Ушинский уже пользовался большою известностью в обществе: его остроумные замечания, меткие выражения и характерные эпитеты о женском персонале Смольного ходили по городу и нередко оттуда переносились через наши стены. Как отравленные стрелы, вонзались они в сердца нашего высшего и низшего начальства и все большую ненависть возбуждали к Ушинскому. Преданные ему друзья-учителя предостерегали его, говоря, что этим он создает себе особенно много врагов, которых и без того у него достаточно вследствие его реформаторской деятельности.

Наконец начальство почувствовало, что настало время не только косвенно задевать Ушинского, нападая на учителей, и начало распускать лично о нем всевозможные клеветы. Мы, воспитанницы, слышали об обвинениях, сыпавшихся на него, но они доходили до нас в такой неопределенной форме, что мы не могли составить себе ни малейшего представления о борьбе, которую ему пришлось вынести.

Уже после выпуска, когда он однажды посетил меня, я в присутствии нескольких его знакомых просила рассказать нам, в чем обвиняло его институтское начальство и почему ему так скоро пришлось оставить институт[108]. Константин Дмитриевич начал свой рассказ довольно спокойно, но скоро пришел в крайне нервное возбуждение, а через несколько минут бросал уже отрывочные фразы и наконец со словами: «Не могу!» — совсем умолк. С тех пор я боялась беспокоить его тою же просьбою.

Вот что я могла узнать по этому поводу, отчасти от него самого, а также и от близких к нему учителей, которым он тоже кое-что сообщал об этом.

Когда он понял, что классные дамы стараются своими «фокусами и мелочною пошлостью» раздражать учителей, он убедительно просил их не обращать на это ни малейшего внимания. И они действительно твердо держались данного ему слова. Но вот однажды М.И. Семевский пришел рассказать ему об описанном выше инциденте с ним. Ушинский взглянул на это как на простое недоразумение. Он смотрел на инспектрису как на единственную образованную, умную и порядочную женщину в нашем институте; к тому же она всегда выражала сочувствие его реформам. Правда, в беседах с ним она соглашалась далеко не со всеми его взглядами на воспитание, но тем более Ушинский верил в искренность ее сочувствия. Когда он узнал о скандале, устроенном ею М.И. Семевскому, он не мог допустить, чтобы инспектриса без всякой причины могла ошельмовать человека, и решил, что, вероятно, она вынуждена была спешно увести куда-нибудь воспитанниц. Но когда через несколько дней получено было мое письмо, он понял, что ошибся. Он отправился к инспектрисе и заявил ей, что если она еще раз, не проверив надлежащим образом обвинений классных дам относительно учителей, найдет необходимым нанести кому-нибудь из них оскорбление и тем лишит воспитанниц лекции, он немедленно же оставит институт.

Вероятно, инспектриса, переговорив об этом с начальницею, не нашла возможным тотчас же довести свое дело до конца; вследствие этого и меня с Ратмановой решено было оставить в покое, но свою борьбу с Ушинским они не прекратили. Хотя в одном из писем к императрице, скоро после введения учебной реформы, Леонтьева хорошо аттестует ей Ушинского и новых учителей, но, вероятно, это нужно было по ее соображениям, тем более что высшие власти находили тогда реформы Ушинского необходимыми; а затем настали другие времена. В наиболее острый период раздоров между начальницей и Ушинским, что происходило

в конце третьего и последнего года его инспекторства, начальница все чаще намекала ему на то, что избранные им учителя оказались людьми невоспитанными. Но этим она не ограничилась и начала задавать ему вопросы, то под личиною добродушия, то не скрывая иронии, что учителя, может быть, и введены были им с целью пропагандировать опасные и вредные идеи. Еще чаще она упрекала его за то, что он, по ее словам, подкапывается под устои морального институтского воспитания, стараясь выбросить за борт как ненужный хлам всю женственность, скромность и другие особенности, составляющие главный фундамент воспитания молодой девушки. Она не говорила прямо, что она подразумевала под этим обвинением, и Ушинский объяснял его только тем, что лекции учителей после реформы приняли характер дружеских бесед между ними и ученицами, — других преступлений он за собою не знал. Раздражало начальницу и то, что Ушинский открыто стремился к уничтожению власти классных дам. По этому поводу она объяснялась более определенно и говорила ему, что святое значение классной дамы как воспитательницы он решил свести на роль простого сторожа и привратника. Этих «уважаемых» наставниц, по ее словам, он, Ушинский, обрывал, обращался с ними надменно и тем ронял их авторитет перед воспитанницами. Ушинский отрицал надменность в обращении с ними, но настаивал на том, что их педагогическая система приносит воспитанницам огромный вред, и указывал на злоупотребления ими своею властью. Сильно уязвляло самолюбие Леонтьевой также и то, что Ушинский осмелился ломать и переделывать на свой лад не только учебные программы, для чего он, по ее словам, был призван, но и обычаи и нравы, установившиеся в институте, забывая, что нравственное воспитание поручено ей, одной только ей, как члену совета и как начальнице, утвержденной императрицею.

Были и недоразумения, начавшиеся с момента введения реформ, но тогда они смягчались уступчивостью с той или с другой стороны, впоследствии же они сильно обострились. Когда учебные программы были утверждены, учениц пришлось распределять по классам: лучшие из них были назначены в седьмой, высший класс, а следующих за ними, весьма значительную группу воспитанниц, Ушинский не находил возможным оставить в институте, так как они оказывались не только совершенно невежественными по всем предметам пройденного курса, но между ними находилось немало безграмотных, даже плохо читавших по-русски. Начальница настаивала на том, чтобы Ушинский все-таки оставил их в инсти-

туте, а он находил, что им волею-неволею приходится явиться жертвами до невероятности неудовлетворительной системы прежнего преподавания. Он доказывал, что эти девушки, несомненно, могли бы еще многому научиться, но только в том случае, если бы их образование и умственное развитие начато было с обучения первоначальной грамоте и предметам элементарного курса младшего класса. Между тем вследствие их возраста он не имеет права посадить их в младший класс, а может устроить для них лишь особую параллель седьмого класса. Если в ней будут читать даже сокращенный курс и, насколько возможно, популярный, то, по мнению Ушинского, и из этого для этих воспитанниц не будет никакой пользы. Они не только ничего не усвоили за все время своего воспитания, но, не работая головой в продолжение всего юного возраста, притупили свои способности и не будут в состоянии воспользоваться даже упрощенным курсом. Однако Леонтьева настояла на том, чтобы для них был устроен параллельный класс.

Предсказание Ушинского сбылось: воспитанницы этого класса плохо учились (как это ни странно, их называли «вдовами», и эта кличка так и осталась за ними). Перед их выпуском опять возникли пререкания между Леонтьевой и Ушинским, но теперь уже более острого характера, так как к этому времени их отношения ухудшились. Леонтьева настаивала на том, чтобы воспитанницам, учившимся в параллельном отделении, были выданы аттестаты; Ушинский наотрез отказался это сделать. Он находил, что аттестаты могут вводить в заблуждение родителей, которые часто только на основании их приглашают девушек в качестве преподавательниц. И воспитанницам параллельного отделения были выданы лишь свидетельства с обозначением успехов по каждому предмету, большею частью весьма плохих.

Последним моментом борьбы между этими двумя лицами было следующее: после окончания выпускных экзаменов в начале марта 1862 года императрица Мария Александровна приехала в Смольный на Николаевскую половину раздавать награды. Ушинский по списку вызывал каждую воспитанницу, которой государыня вручала награду. Когда это торжество окончилось, Ушинский, по институтскому этикету, должен был моментально раскланяться с государыней и быстро отойти в сторону, уступив свое место начальнице. Но он не имел об этом ни малейшего понятия и продолжал стоять на своем месте. Государыня заговорила с ним и в то же

время отправилась приветствовать воспитанниц, выстроенных по классам. Ушинский следовал за ней, отвечая на ее вопросы. Для людей, не посвященных в нравы института, в этом не было ничего особенного: императрица подходит к воспитанницам то одной, то другой группы, произносит слова приветствия, а когда идет далее, продолжает разговор с инспектором. Но институтское начальство находило, что честь сопровождать императрицу принадлежит только начальнице: Леонтьева дрожала от волнения, а классные дамы, усматривая в поведении Ушинского величайшее оскорбление, нагло нанесенное их начальнице, подошли к членам совета, присутствовавшим здесь, и просили их довести до сведения императрицы о «наглой проделке» Ушинского. Выпускные воспитанницы Николаевской половины, стоявшие поблизости и слышавшие весь разговор, были им возмущены, толпой двинулись к любимому инспектору и при государыне выразили ему свою благодарность за его труды и заботы о них. Государыня обратила на это внимание и сказала, что ее трогают добрые чувства воспитанниц к людям, потрудившимся на их пользу[109].

После этого положение Ушинского в институте сделалось невыносимым: на него не только посыпались клеветнические обвинения, но полетели даже доносы, на которые ему пришлось давать официальные объяснения. Пунктов обвинения оказалось так много, что на составление оправдания потребовалось почти двое суток, которые Ушинский провел, лишь изредка вставая с места. Когда он кончил работу, кровь хлынула у него горлом, а на следующий день он встал с постели страшно поседевшим. В конце того же марта месяца 1862 года, ровно через три года после своего вступления в должность инспектора, Ушинский подал прошение об увольнении его от службы в Смольном. Вместе с ним, кроме двух-трех, вышли и все преподаватели, введенные им[110].

Несправедливо было бы утверждать, что вечные дрязги, недоразумения, бессмысленные клеветы и доносы институтского начальства были единственными причинами, погубившими здоровье Ушинского: оно было слабо у него с юных лет, но несомненно, что из ряда вон тяжелая борьба, которую ему пришлось вести во все три года его инспекторства в связи с необыкновенно напряженною деятельностью, дала сильный толчок развитию болезни легких, которою он страдал во все время своей последующей короткой жизни. Тяжелая утрата Ушинским сына в 1870 году была другим роковым ударом в его жизни, и он умер в том же году от воспаления легких, всего лишь сорока семи лет от роду.

Моя задача состояла в том, чтобы показать, какой переворот произвел Ушинский в Смольном, в этом в то время совершенно отжившем учебно-воспитательном учреждении, и выяснить его влияние на учениц. Я хотела представить эту сторону деятельности великого русского педагога, потому что она была лишь намечена его биографами, но совсем не описана, а я могла это сделать как одна из его учениц, испытавшая на себе всю силу его влияния, и как свидетельница его преобразований в институте. Я не пишу биографии Ушинского, не останавливаюсь и на той стороне его деятельности, которою он преимущественно стяжал громкую славу, то есть на его замечательных литературных трудах на пользу семьи и школы, но буду указывать и в некоторых последующих очерках на те стороны его характера, которые выяснились для меня еще более при дальнейшем моем знакомстве с ним уже вне институтских стен.

ГЛАВА VII
ВЫХОД ИЗ ИНСТИТУТА

В первых числах февраля 1862 года я должна была сдать в институте последний экзамен. За неделю до него приехала в Петербург моя мать. Я умоляла ее взять меня из института в тот день и час, когда окончится мой последний экзамен, не ожидая официального выпуска. От последнего экзамена до формального выпуска должно было пройти более месяца, и, сидя в институтских стенах без всякого дела, я бы напрасно потеряла много времени. Должна сознаться, что хотя я действительно рвалась к занятиям, но все же на первом плане тут умысел был другой. Мне казалось, что если меня возьмут домой тотчас после последнего экзамена, это будет блистательным протестом против начальства и наглядно покажет ему, что я сидела последние полтора года в ненавистном для меня институте только ради нового преподавания. О желании сделать из моего ускоренного выхода протест и тем уязвить моих врагов в самое сердце я не говорила матери.

Экзамен окончился в двенадцать часов утра. Воспитанницы отправились завтракать, а я бросилась в дортуар, где меня уже поджидала матушка со свертками и картонками. Возвратившись из столовой, несколько подруг прибежали к нам и начали помогать мне одеваться, сопровождая свои услуги болтовней, шутками, звонким смехом, примеривая на себя

то одно, то другое из моего туалета. Окруженная толпою молодых девушек, моя мать с восторгом наблюдала их оживленные лица и обнимала то одну, то другую из них.

Прежде всего мы отправились прощаться к инспектрисе. После инцидента на лекции истории Сент-Илер, кроме официальных замечаний, ни разу не разговаривала со мной, и я делала все, чтобы не попадаться ей на глаза. И вот после долгого промежутка холодных отношений нам пришлось наконец столкнуться с нею, чтобы распрощаться навсегда. Радушно поздоровавшись с матушкою, она прижала меня к своей груди со словами: «Конец всем недоразумениям. Я всех вас горячо любила! И ты когда-нибудь вспомнишь меня с добрым чувством!» При этом она высказала мне самые лучшие пожелания, просила навещать ее и сама обещала посетить нас. Мою мать, видевшую нашу maman в первый раз, но знавшую ее не только по моим, но и по дядюшкиным рассказам, она просто очаровала. Когда мы вышли от нее, она все повторяла: «Нет человека без греха! А все-таки она обворожительная женщина!»

Как только мы спустились вниз, швейцар доложил нам, что инспектор просит нас зайти к нему в приемный зал. Последние дни я обдумывала все, о чем хотела говорить с ним в этот знаменательный для меня день. Я собиралась сказать ему, что буду с благоговением вспоминать о нем, укажу ему, какое громадное значение он имел для нас, его учениц. Но меня охватил ужас при мысли, что если я сию минуту и не прощаюсь с ним окончательно, то через месяца два-три, когда мне придется уехать из Петербурга, навсегда потеряю его, и я мысленно повторяла себе, что вместе с ним потухнет для меня весь свет, что я останусь навсегда без руководителя и поддержки. У меня так забилось сердце, когда я вошла в залу, где расхаживал Ушинский, что я забыла все, что собиралась ему сказать, да у меня и не хватило бы смелости произнести перед ним такую речь. Увидав его, я так сконфузилась, что забыла даже отрекомендовать мою мать, и стояла посреди комнаты с опущенной головой, делая усилия, чтобы не разрыдаться, а слезы градом катились из моих глаз.

Ушинский молча остановился передо мною, положил руку на мое плечо и с отеческою ласкою заговорил:

— Ну вот, ну вот... (Его всегда смущали слезы.) А я ведь приказал скорее позвать вас сюда, думал, что вы носитесь теперь всюду с видом победительницы! Боялся, что устроите скандал, какой-нибудь протест! Ну что же, еще не успели?

Слезы душили меня, и, не будучи в силах отвечать, я лишь отрицательно покачала головой.

— И прекрасно! Какие там счеты! — И, видя, что я все еще взволнованна, он обратился к матушке, которая начала горячо благодарить его за все, что он сделал для меня.

— Вы знаете, — говорил он мне, — что я никого из моих учениц не оставлю теперь в покое. На какой конец света вы бы ни заехали, вы должны давать мне отчет о своем времяпрепровождении, о своих занятиях. Ведь вас нужно держать в ежовых рукавицах!

Моя мать тоже шутливо возразила ему, что со мною можно теперь обойтись и без этого, что я сама только и рвусь к занятиям.

— Вы не очень-то полагайтесь на ее слова: она особа увлекающаяся! Правда, в последнее время она серьезно занималась, ну, а услышит звон шпор (он знал, что до отъезда в провинцию я буду жить в военной среде), и вся уйдет в звуки вальса!.. Жаль, очень жаль, что она не может жить среди людей трудящихся! Тогда я не боялся бы за нее! Ну, да я вам не дам погрузиться с головой в ваши оборочки и фалборочки[111]! Через недельки две-три непременно нагряну к вам, узнаю, что вы путного сделали за это время. Вы не думайте, что я враг веселья, напротив даже, но развлечения могут быть только после труда!

И он, по-прежнему обращаясь то ко мне, то к моей матери, говорил о том, как необходимо развивать в себе вкус к здоровым удовольствиям: советовал ходить в театр на пьесы Островского, но перед каждым представлением прочитывать пьесу, которую придется смотреть, а если есть возможность, и критический ее разбор, указывал на необходимость посещать публичные лекции, особенно лекции Костомарова, с тем же условием, то есть чтобы до нее подготовиться к ее слушанию[112].

— Видите ли, я все толкую о развлечениях, но ведь, кроме них, должны же вы подумать и о каком-нибудь серьезном умственном труде. Когда я к вам приеду, я привезу вам список книг, и мы сообща решим, над чем вам следует поработать во время вашего пребывания в Петербурге. Но рука об руку с серьезной умственной работой и здоровыми развлечениями вы должны выбрать еще какую-нибудь воскресную школу, чтобы обучать детей грамоте, и посещать лучшие элементарные школы, прислушиваться к преподаванию хороших учителей. Я вам привезу рекомендательные письма и укажу, в какие из школ вам полезнее проникнуть. Вы со все-

ми уже простились здесь? — вдруг спросил он, протягивая мне руку на прощанье.

Я отвечала, что мы должны явиться еще к начальнице, которая дала нам знать об этом через инспектрису. Ушинский пристально посмотрел на меня своими проницательными глазами и строго добавил:

— Надеюсь, вы не унизите себя на прощанье какою-нибудь неуместною выходкой?

Каждое слово Ушинского было для всех нас, его учениц, законом, нарушить который никто бы не решился. Но если бы он и не предупредил меня о том, что я должна держать себя с начальницей в границах предписанного почтения, я сама уже решила, что не пророню у нее ни звука.

Однако, несмотря на то что я строго выдержала обет молчания и была нема как рыба, визит наш к ней окончился весьма печально. Как только мы были введены в приемный покой начальницы, мы подошли с матерью к столу, за которым она сидела. Чуть-чуть кивнув нам головой в знак официального приветствия, она тотчас начала говорить о том, как радо институтское начальство, что оно на месяца полтора раньше положенного срока избавляется от присутствия в институте моей особы. Все это она произносила, обращаясь к моей матери и, по своему обыкновению, медленно отчеканивая слова, желая точно молотом вбить их в ее голову, но та все выслушивала молча. Я уже начинала надеяться, что все сойдет благополучно, как вдруг Леонтьева, по-прежнему обращаясь только к моей матери, начала припоминать, как она выразилась, «грязную историю с братьями вашей дочери, в которой такую недостойную роль играл ваш брат, а ее дядюшка, с виду почтенный генерал, наделавший всем нам массу неприятностей».

Тут уже вспыльчивая по натуре матушка не стерпела и, прервав разглагольствования начальницы, запальчиво заговорила о том, что только институтское начальство могло сделать что-то грязное из простого свидания ее сыновей с их родною сестрой. Что касается ее брата, то она, начальница Леонтьева, должна быть ему еще бесконечно признательна за то, что он не довел эту историю до сведения государя. Матушка прибавила еще, что она решительно не понимает, «зачем ее превосходительству понадобилось вспомнить об этой во всех отношениях выясненной истории, в которой кругом виновато было институтское начальство, поверившее клеветническому доносу классной дамы. Вероятно, ее превосходитель-

ство, — смело добавила матушка, — вспоминает эту историю потому, что она, ее превосходительство, привыкла говорить *только* с подчиненными, не смеющими возражать ей, что же касается ее, Александры Степановны Цевловской, то она не подчиненная ей, а потому и не желает выслушивать клевет, признанных за таковые даже институтским начальством, а что это было именно так, как она говорит, видно уже из того, что инспектриса просила ее брата не доводить эту историю до государя».

Такого потока горячей речи моей матери начальница не в силах была остановить. Величественно поднявшись с дивана, она протянутой рукой гневно указала моей матери на дверь. Но та повернулась к ней спиной только тогда, когда договорила последнее слово.

Мы спускались уже по лестнице, когда, вся запыхавшись, нас нагнала Оленкина (dame de compagnie Леонтьевой). Она протягивала мне какую-то книгу и с ужасом лепетала: «Какие неслыханные дерзости вы осмелились наговорить начальнице! И все-таки ее превосходительство так ангельски добра, так бесконечно снисходительна, что приказала передать вам Евангелие. Она надеется, что эта священная книга...» Но я заметила, что моя мать еще не остыла, порывается что-то возражать, и, схватив книгу, потянула матушку за собой.

Мы быстро спустились вниз, тронулись в путь, и я навсегда оставила стены «alma mater», чтобы вступить на новую, совсем неизвестную мне дорогу жизни, к которой я была совершенно не подготовлена институтским воспитанием.

Т. Г. Морозова

В институте благородных девиц

ОТ АВТОРА

Этот труд автобиографичен. В центре его — моя личность, мои переживания. Настало время отдать себе отчет в своих жизненных просчетах и достижениях. Не коренятся ли их истоки в твоем характере, с наибольшей ясностью проявляющемся в детском и юношеском возрасте.

Я не обдумывала заранее формы своих воспоминаний. Я писала, как вспоминалось, и о том, что запомнилось. Здесь ничто не выдумано. Все дано совершенно честно, как сохранила моя память. Все лица названы их подлинными именами.

Я испытывала большое затруднение в точном определении времени пережитых явлений. Стремясь к хронологической точности, я использовала некоторые материалы, на которые и ссылаюсь в соответствующих местах.

Наибольшие трудности представляло расположение материала: сочетание хронологической линии с желанием охватить разные стороны жизни института, характеризующие своеобразие его быта и нравов. Мне не удалось достичь единства в расположении материала, хотя я и стремилась не нарушить хронологической последовательности событий.

История нашего института — факт истории. Харьковский институт благородных девиц был создан в 1812 году[1]. В 1912 году отмечалось столетие его существования. К этой дате была издана книга, написанная преподавателем института Н. Жебылевым «Исторический очерк деятельности Харьковского института благородных девиц» (Харьков, 1912). Я нашла в этой книге много знакомых имен.

Харьковский институт окончила в 1840 году писательница Н.С. Кохановская[2] (псевдоним Н.С. Соханской). Она училась в институте в 30-е годы прошлого века — в период его становления. Н.С. Соханская оставила воспоминания о своем пребывании в институте. В них немало мрачных страниц.

Я поступила в институт в 1915 году и застала конец его жизни. Мне не пришлось закончить институт, но я была его питомицей до последних его дней.

Несмотря на то что в моих воспоминаниях далеко не одни светлые краски, они сильно отличаются от тех, которые характеризуют воспоминания Н.С. Кохановской. Мне кажется, что факты и обстоятельства последних дней жизни института не менее важны и интересны, чем время его становления и роста. Это — второй мотив, помимо личных побуждений, который руководил мной в моей не такой уж легкой работе.

Москва, 1994 г.

I
Я ПОСТУПАЮ В ИНСТИТУТ

Подготовка

Харьков. Зима 1914—1915 годов. Идет германская война. Мой отец, капитан, командир одной роты 124-го пехотного Воронежского полка, стоявшего в мирное время в Харькове, теперь в действующей армии.

Мне 10 лет, и я учусь в очень хорошей частной школе Веры Александровны Платоновой[3], жены известного в Харькове профессора-психиатра[4]. В эту школу я поступила шести лет, и, наряду с общеобразовательными предметами, мы рано начали изучать немецкий и французский языки, занимались рисованием, лепкой, пением.

В этом году мама[5] все чаще принималась рассказывать мне и моей младшей сестре Наташе[6] об институте. Обычно начиналось с полушутливой угрозы: «Вот будете шалить, отдам вас в институт. Там заставят вас по струнке ходить». А затем все оказывалось очень интересным и привлекательным. Институт — это такая школа, где девочки и живут и учатся. У них очень красивая форма. Правда, их будят очень рано, в 7 часов, и каждое утро девочки должны по пояс мыться холодной водой. В каждом классе две классные дамы. Один день в институте говорят на французском языке, другой день — на немецком. Поэтому выпускницы института хорошо владеют иностранными языками. Все это произносилось таким тоном, будто это было необыкновенно заманчиво, даже раннее вставание и обтирание холодной водой.

И вот весной 1915 года меня всерьез стали готовить в институт — в VI класс. В институте самым младшим был VII класс. Ни младшего, ни

старшего приготовительных, как это было в гимназиях, в институте не существовало. Старшим же, выпускным, был I класс[7].

Среди документов, которые нужно было подать при зачислении в институт, значилось свидетельство об исповеди и причастии. Мы пришли с мамой в полковую церковь. Священник увел меня за небольшую перегородку:

— Табак куришь?

— Нет.

— Водку пьешь?

— Нет.

— Родителей слушаешься?

— Слушаюсь.

Он накрыл мне голову епитрахилью[8] и отпустил мои грехи. Мама меня спросила: «О чем с тобой говорил батюшка?» Я пересказала маме наш диалог. Мама подошла со мной к отцу церкви. «Батюшка, — сказала она, — ну о чем вы спрашиваете маленькую девочку? Разве она солдат?» Священник засмеялся и сказал: «А о чем ее спрашивать? И то она неправду сказала, что родителей слушается... Наверное, не слушается...»

И это была первая в моей жизни исповедь.

Экзамены

Я была допущена к экзаменам.

Большой зал (позже я узнала, что он называется рекреационным) был весь уставлен, на небольшом расстоянии один от другого, маленькими столиками. У каждого столика стояли стулья и сидел преподаватель-экзаминатор. В глубине зала стоял большой стол, за который прежде всего и села группа девочек — писать диктант. А потом мы переходили от столика к столику сдавать отдельные предметы.

У внутренней стены зала, где высились большие застекленные шкафы, расположилась немолодая, но красивая француженка Мария Францевна Зубова[9]. Здесь у меня произошел неожиданный казус. Группе девочек, подошедших к ней, в их числе и я, Мария Францевна задала какую-то письменную работу. На столе стояла большая, странной формы чернильница. Я неловко повернулась, чернильница опрокинулась, чернила блестящей широкой лужицей расползлись по столу и стали капать на блестя-

щий паркетный пол. Я не успела смутиться, как Мария Францевна с такой необыкновенной поспешностью стала успокаивать меня, что мне стало смешно. «Нитшего! Нитшего!» — быстро говорила она и, порывисто вскочив, куда-то умчалась. Она вернулась с девушкой, одетой в синее платье и белый передник. Девушка спокойно вытерла фиолетовую лужицу на столе и такую же лужицу на полу. Мной овладело озорное настроение, и пока Мария Францевна просматривала наши письменные работы, я весело отчеканивала вслух спряжение глаголов. Потом я была очень огорчена, узнав, что мое прекрасное знание parfait и plus-que parfait[10] не было учтено, а за письменную работу мне было поставлено «7» — скромное «удовлетворительно[11]».

Последний экзамен был по Закону Божьему. Священник почему-то сидел не за столиком, а у окна. Он хитро и насмешливо щурился и поглаживал большую седоватую бороду. Я встала перед ним. Он о чем-то спросил меня, а потом велел прочитать «Отче наш». Я прекрасно знала молитву, но почему-то в одном месте приостановилась. «Вот и сбилась», — насмешливо произнес священник и подсказал мне нужные слова. Я дочитала молитву до конца, но вместо того, чтобы отвесить поясной поклон, как полагалось, сделала реверанс. Священник опять посмотрел мне в лицо с легкой усмешкой и отпустил меня.

Я была принята в институт. Но маме сообщили, что я зачислена не на казенный счет, а на частную стипендию. Пожилая женщина, рано потерявшая дочь, внесла в институт соответствующую сумму и выразила желание, чтобы на основанную ею стипендию была зачислена дочь офицера, находящегося в действующей армии. Выбор пал на меня. Одновременно маме сообщили, что старая дама желает видеть девочку, ставшую ее стипендиаткой. Вот мы с мамой и отправились к этой незнакомой почтенной даме.

Я не знаю, что чувствовала мама, но я, несмотря на свой юный возраст, ощущала некоторую неловкость от этой непредвиденной зависимости.

Мы вошли в большую полупустую комнату, очевидно переднюю. Слева у стены были вешалки и большая дверь, а напротив стоял ряд стульев. Из боковой двери, очевидно, по докладу горничной, вышла худенькая пожилая женщина. Не пригласив нас в комнату и не предложив нам сесть, она перемолвилась с мамой несколькими словами, мельком взглянула на меня, и мы ушли. Я долго помнила фамилию этой моей непрошеной благодетельницы, теперь, к сожалению, совершенно забыла.

И вот я зачислена в VI класс Харьковского института благородных девиц, что на центральной улице города — на Сумской, д. 33.

В списке необходимых в институте предметов значилось: крест на золотой или серебряной цепочке или на черном шнурке; Евангелие, молитвенник, шкатулка такого-то размера с ключиком для хранения мелких вещей, кружечка, зубная щетка, щетка для ногтей, зубной порошок, мыльница, мыло, губка; гребенка, частый гребешок, ножницы; черная лента в косу определенной ширины или круглый гребень для тех, у кого волосы были короткими; мешок из холста для хранения сладостей в столовой, иголки, две катушки, белая и черная.

Мы с мамой целый день с длинным списком в руках ходили по городу. Были затруднения со шкатулкой. После некоторых обсуждений решили, что я возьму папину, которую он привез с японской войны. Молитвенник я взяла школьный, а Евангелие, в ярком синем переплете, мама привезла мне потом: в день покупок мы не нашли в книжных магазинах ни одного нового экземпляра.

В первый раз в жизни мне надели на шею мой золотой крестильный крест на серебряной цепочке. Я была снаряжена.

В бане

Как сквозь сон, вспоминаю путешествие с приветливой женщиной в холстинковом сером платье и белом переднике по невысокому, но широкому коридору внизу. Пол коридора покрашен яркой красной краской. Темновато. Дверь налево — большая длинная комната — швейная мастерская. Всюду — на столах, скамьях, на полу — горы зеленых и темно-красных платьев. Такие же платья аккуратными рядами висят на раздвижных вешалках. У большого стола с меня снимают мерку, а одно из длинных и широких зеленых платьев надевают прямо поверх моего домашнего — для примерки.

Рядом со швейной — другая комната. Большие полки уставлены кипами аккуратно сложенного чистого белья. Особый бельевой запах. Слух прорезывает незнакомое слово: кастелянша. Толстая опрятная женщина в сером платье и белом переднике выдает белье. Мне говорят: «Ваш номер будет “84”». И с этим номером я прошла всю жизнь в институте. Им метилось мое белье, платья, ботиночки, пальто, место в гардероб-

ной, где висело мое пальто, кольцо в столовой, в которое вставлялась моя салфетка.

И мы снова с приветливой женщиной [идем] по коридору и вниз по крашеной лестнице с деревянными перилами: баня — небольшое помещение с деревянными скамьями по стенам. Рядом другое. В нем тоже скамьи, и между ними ходит женщина в совершенно мокрой холщовой рубашке с короткими рукавами, подпоясанная шнурком. Пар стоит клубами, льется горячая вода. Я робко раздеваюсь и нерешительно останавливаюсь на пороге. Ко мне подошла женщина в мокрой рубахе, безучастно подвела к скамье, посадила и наклонила мою голову над тазом с безумно горячей водой. Большими грубыми руками она начала тереть мои волосы, обдавая мне голову, лицо, шею и плечи то мыльной пеной, то потоком горячей воды. Сжав зубы и зажмурив глаза, судорожно схватившись руками за край скамьи, я задыхаюсь в пару и потоках струящейся на меня горячей воды. Такой же горячей водой она стала обливать мое тело и тереть его жесткой мочалкой. Ничего не видя, ничего не ощущая, кроме прикосновения грубых рук, жесткой мочалки и обжигающей воды, вся уйдя в себя, я отдалась воле женщины в мокрой рубашке и молча подвергаюсь этой пытке.

Когда она нашла нужным, я, пошатываясь, вышла в раздевальню. Там вместо моего платьица, рядом с кучкой казенного белья я нашла готовое зеленое платье, белый передник, прелеринку и мягкие прюнелевые[12] башмачки. Из бани я вышла в институтской форме.

Когда недели через две уже со своим классом снова я оказалась в бане и чужая женщина снова стала деловито и безучастно терзать мое бедное тело (где мамины нежные руки?), я робко попросила: «Пожалуйста, налейте не такую горячую воду...» — «Хорошо», — ответила она лаконично, но вода оказалась по-прежнему нестерпимо горячей.

Вскоре я стала мыться сама. Придя в баню вместе с девочками своего класса, я занимала место, брала таз, сначала робко, затем все уверенней наливала воду и мылась так и столько, сколько мне было нужно. Баня перестала быть мучением.

В баню нас водили регулярно раз в две недели. Помню распущенные мокрые волосы, прихорашивание в дортуаре перед зеркалом и большие серые — в мелкую черно-белую клеточку — шали на плечах и то, что после бани мы не гуляли не только в этот день, но и на следующий.

В классе

И вот я в классе. Вечер. Класс ярко освещен. Очевидно, первые дни съезда. Девочки свободно ходят по классу, некоторые же сидят, негромко переговариваясь. Я сижу в самом центре класса. На меня никто не обращает внимания. Я чувствую себя несколько скованно. Неподалеку от входной двери у стены стоят небольшой столик, кресло и стул. За столиком сидит немолодая, довольно полная женщина в синем платье. Это наша французская классная дама. Меня удивляет, что она не подходит ко мне или не подзывает меня к себе, ни о чем меня не спрашивает и не делает мне никаких наставлений. «Ну, — думаю, — завтра будет другая, главная, она все мне расскажет».

Поднявшись на одну или две ступени кафедры, лицом к классу, стоит девочка и смотрит вперед. «Какая хорошенькая девочка!» — думаю я, взглянув на нее. У нее темные брови, большие синие глаза и нежный румянец на белом личике. Я невольно любуюсь ею. А за партой, что передо мной, сидит спиной ко мне очень большая и очень толстая девочка. У нее круглая голова, покрытая коротко остриженными черными волосами. Вдруг эта голова поворачивается ко мне, и я вижу лицо этой девочки, тоже круглое, очень белое, очень румяное. Яркие красные губы слегка приоткрываются, обнажая белые зубы, и я слышу обращенный ко мне плаксивый тягучий голос:

— Девочки надо мною смеются, дразнят меня...

— Почему? — спрашиваю я с удивлением.

— Потому что я толстая и потому, что у меня кровь...

— Что кровь? — с недоумением спрашиваю я опять.

— Ну, знаешь, месячное... — отвечает девочка, еще более гнусавя. Я не знаю и поэтому ничего не понимаю.

В этот момент к нам подходит девочка небольшого роста и, слегка посмеиваясь, говорит: «Ах ты, Верочка, Верочка Кулакова! Обрадовалась, новенькая! Начала свои жалобы и свои откровенности! Постыдилась бы!» Это Лида Алексеева. Продолжая посмеиваться, она обращается ко мне: «Ты не слушай ее!»

Вера Кулакова запрокидывает голову назад и громко смеется, а потом роняет голову на парту и смеется еще громче.

«Она глупая», — невольно подумала я.

Вдруг я вижу Милу Семенову и Женю Лобову — девочек, с которыми я держала вступительные экзамены. Я радостно бросаюсь к ним. У Милы небольшой орлиный нос и очень пышные мелко-мелко вьющиеся короткие волосы — целая копна волос. В классе ее станут звать «Мишка» — Мишка Семенова. Смугленькая, миниатюрная Женя Лобова, умненькая и изящная, на все институтские годы станет, как и Мишка, моей близкой приятельницей.

Так класс постепенно наполняется живыми лицами, живыми девичьими фигурками.

В дортуаре

Наконец нам велят построиться в пары и идти спать. По извилистой каменной лестнице мы поднялись вверх и оказались в дортуарном коридоре. Дортуар — огромная комната. Посередине стоят, изголовье к изголовью, два ряда кроватей. Вдоль внутренней стены еще кровати. Между кроватями небольшие тумбочки для умывальных принадлежностей, ночной обуви и других мелочей. В ногах у каждой кровати табуретка, на которой мы должны аккуратно сложить дневную одежду.

Мне хочется спать. Умывшись и быстро раздевшись, я укутываюсь одеялом. Но едва я начинаю засыпать, крепкий твердый палец несколько раз ударяет меня по голове и чей-то голос тихо спрашивает: «Ты спишь?» Я с трудом поднимаю голову и вижу: за изголовьем лицом к моему изголовью лежит та самая девочка, которая в классе показалась мне такой хорошенькой. «Нет», — отвечаю я с трудом. «Завтра рано утром будет звонок, ты сразу вставай», — говорит шепотом хорошенькая девочка. «Хорошо», — отвечаю я и опять закрываю глаза. Но едва я начинаю засыпать, как тот же палец, который кажется мне железным, стучит по моей голове. «Завтра будет другая классная дама», — слышу я уже знакомый шепот, закрываю глаза и зеваю. Но через минуту по моей голове опять стучит железный палец и знакомый голос спрашивает: «Ты не спишь?» Мне хочется притвориться спящей, промолчать или даже прямо сказать, что она мешает мне заснуть, но мне неловко, и я тихо отвечаю: «Не сплю!» — «Ну ладно, спи!» — милостиво разрешает неугомонный палец, но мне уже трудно заснуть, и я только через некоторое время погружаюсь в сон.

Утром, когда мы одеваемся, я рассматриваю девочку, которая мешала мне спать и которая накануне показалась мне такой хорошенькой. «Нет, нет! Она совсем не хорошенькая, — думаю я, взглядывая на нее. — Правда, у нее белое личико, темные брови и довольно большие синие глаза. Но лицо у нее худое и длинное, щеки впалые, скулы выделяются, торчит вперед подбородок, нос длинный, утиный. Нет, нет! Она совсем не хорошенькая!..» Тем не менее это — еще одно мое знакомство. Зовут ее Туся Антонова.

Общий распорядок дней

Распорядок дня был у нас необычайно четок.

Резкий звонок будил нас в 7 часов утра, и с величайшей точностью в этот момент в дверях дортуара появлялась наша классная дама. Она наблюдала, как мы одевались, мылись, убирали свои постели.

Е.Н. Водовозова в своих воспоминаниях о Смольном «На заре жизни» пишет о неуклюжих форменных платьях, о корсетах, которые носили старшеклассницы, о трудностях привязывания рукавчиков и т.д. Никаких этих или подобных трудностей мы не испытывали. Рукавчики мы привязывали легко и просто два раза в неделю, когда нам выдавали чистые передники, пелеринки и рукавчики. Это было в четверг и в воскресенье, в так называемые приемные дни. Единственно, чего мы не могли сделать самостоятельно — завязать сзади бант передника. Это охотно мы делали друг другу. Под платьем мы носили нижнюю юбку, сшитую из плотного материала, всю в сборках; юбка делала пышными, красиво спадающими сборки платья. Наши платья не доходили до пола, что делало наш наряд достаточно легким и изящным. Надо было лишь умело завязать бант пелеринки.

Умывшись, одевшись и причесавшись, мы под водительством классной дамы парами спускались в актовый зал — на утреннюю молитву, на которой часто присутствовала начальница.

Е.Н. Водовозова пишет, что институтки Смольного систематически голодали и что у них часто бывали голодные обмороки. Я совершенно не помню, в чем состояли наши завтраки, обеды и ужины — признак нормального питания. Помню лишь, что котлеты постоянно подавались не-

прожаренными и от стола уносили целые блюда раздавленных красных котлет. Хлеб давался без ограничения. Из третьих блюд помню мороженое, так как я его не любила, и пирожное Sandkuchen (зандкухен)[13], все усыпанное орехами, которое я очень любила.

В 5 часов между обедом и ужином нам давали чай с маленькими круглыми булочками, еще теплыми и очень вкусными. Их пекли в собственной пекарне.

Перед обедом и ужином нас подводили всем классом к туалетной комнате («малютке») — мыть руки. И не было никакой толчеи, никаких столкновений. Очевидно, время было рассчитано до минуты для каждого класса.

В столовой перед едой читалась или пелась старшим классом молитва («Отче наш»).

В институте была собственная церковь и свой священник, который вел и уроки Закона Божия — отец Павел Грома[14], тот самый, который меня экзаменовал.

Каждую неделю нас дважды водили в церковь: вечером в субботу ко всенощной и утром в воскресенье к обедне. Пел хор из воспитанниц института. Короткое время в хоре пела и я. Мне сказали, что у меня альт. Думаю, что у меня недостаточно был развит слух, поэтому я вскоре выбыла из хора.

Каждый класс имел в церкви свое место. Переходя в старший класс, мы передвигались в церкви на новое место.

Радостными днями в нашей институтской жизни были приемные дни. «Сегодня приемный день» или: «Сегодня прием», — говорили мы как о дне праздника. В воскресенье с 10 часов до 12, в четверг с 5 часов дня до 7 часов вечера двери института открывались для наших родных и знакомых. Это были дни и часы тепла и радостного возбуждения. «Не пришли на прием» — было подлинным горем, вызывавшим слезы и подавленное настроение. Но и расставание после приема иногда заканчивалось слезами.

Девочки, родители которых жили в других городах и не могли приезжать для свидания, казались какими-то брошенными, сиротливыми и, кажется, учились хуже.

Приемы происходили в актовом зале. Двери зала, находившиеся прямо против нашей парадной мраморной лестницы, крылья которой гармонично сходились на верхней площадке, были широко раскрыты. Слева от дверей в зале ставили небольшой столик, за который садилась дежурная классная

дама, а рядом с ней девочки, обычно младших классов, которые не ждали гостей и потому охотно выполняли роль гонцов — добрых вестников, сообщавших счастливице о приходе гостей. И им — большое развлечение.

Посетитель должен был сообщить дежурной даме не только фамилию и имя девочки и класс, в котором она учится, но и свое родство с ней. Все это записывалось в журнал посетителей. Мы же должны были войти через боковую дверь из рекреационного зала, чинно сложив руки, сделать реверанс и, отыскав глазами своих родных, так же чинно направиться к ним. Бедные девичьи сердечки! Редкие выдерживали эту церемонию чинности и благонравия. Увидев родное лицо, со всех ног бросаешься вперед, и все окружающее забыто! Но как много зависело от того, кто из классных дам дежурил у входа! Иная могла лишить свидания за нарушение установленного этикета.

Мама приходила всегда своевременно, садилась в определенном месте, и найти ее глазами в зале было нетрудно.

В следующем году в институт поступила моя младшая сестра Наташа, и мы сидели около мамы, прильнув к ней с двух сторон.

Раза два или три мама приводила с собой на прием нашего трехлетнего братишку Павлика. Обычно девочки забирали его ненадолго в класс, забавляли его и забавлялись сами.

Два часа пролетали быстро в разговорах, поцелуях, поедании сладостей, которые, минуя швейцара, обязанного отправлять их в столовую, попадали прямо к нам в наши стенные шкафчики в классе.

Вечером приготовление уроков, ужин, молитва, которую в классе читала дежурная, и сон.

Каникулы

Волнующими и радостными были разъезды на каникулы. Трудно и представить себе, как тосклива и однообразна была бы наша затворническая жизнь в институте, если бы не было этих просветов, этих выходов в мир родных, близких, друзей — на свободу. Нас отпускали под Рождество до 8 января[15]. Эти каникулы совпадали с праздниками: Рождество, Новый год, Крещение. Затем были Пасхальные каникулы и, наконец, лето.

Вот приходит день разъезда. Сидишь в классе и ждешь, когда в дверях класса покажется швейцар Яков и назовет, за кем приехали. Класс постепенно пустеет.

И вот наконец в очередной раз открывается дверь, и Яков возглашает: «Барышня Морозова! За вами приехали!» Срываешься с места и мчишься вниз в маленькую приемную. Бросишься маме на шею и в соседней комнате сбрасываешь с себя казенное одеяние, чтобы облечься в свое, домашнее. И так странно ощущаешь в первый момент после длинной формы короткое, едва прикрывающее колени домашнее платье. И едешь обыкновенно на извозчике с мамой домой.

Начальницы

На боковой стене рекреационного зала, где мы проводили перемены, над роялем висели два большие поясные портрета в золоченых рамах: бывшие начальницы института. Первый из них особенно притягивал мое внимание. На нем была прекрасно, как живая, написана маслом важная старуха в темном платье и темной кружевной наколке на голове. На верхней губе благообразного и свежего лица ясно выступали густые седые волосики. Несколько седых волосиков виднелось и на подбородке. Бородатая и усатая старуха!

Гуляя в перемены по залу, я останавливалась иногда перед портретом и, облокотившись на казавшийся высоким рояль, пристально вглядывалась в чужое, строгое и так осязаемо живо изображенное лицо. Медленно прочитывала надпись на медной дощечке, укрепленной на позолоченной раме: «А.М. Голохвастова»*[16]. И усики на женском лице, и фамилия казались странными и вместе с тем внушительными. «Голохвостова», — подставляя другую, казавшуюся более уместной букву, пыталась я читать. Но было некрасиво. «Голохвастова», — читала я снова, еще более внимательно вглядываясь в неподвижное лицо.

Кто был начальницей, когда я поступала в институт, я не знаю[17]. Я даже не знала, что существует такое лицо — начальница института. Но когда нашей начальницей стала Ольга Александровна Милорадович, ее знали, мне кажется, все.

Ольга Александровна была красивая женщина лет пятидесяти, довольно высокая и умеренно полная. У нее было не просто красивое, но приятное, симпатичное лицо. Мы часто ее видели. Она часто бывала на ут-

* Не уверена в точности инициалов. Но именно такие мне врезались в память.

ренней молитве в актовом зале. Она стояла на особом месте во время богослужения в церкви. Мы встречали ее в классном коридоре. Всегда одетая в синее шелковое платье, свежая, серьезная и приветливая, она сеяла вокруг себя свет и радость. Казалось, значение самого института повышается от того, что во главе его стоит такая начальница. Одним словом, Ольга Александровна была радостным явлением в нашей институтской жизни*.

Наши классные дамы

Нашей «французской» классной дамой была Наталья Николаевна де Витте, та, которая дежурила в день моего приезда. Это была женщина лет пятидесяти, невысокого роста, довольно полная, с правильными чертами смуглого лица и карими глазами. Редкие темно-русые волосы спереди были взбиты в небольшой хохолок, а сзади собраны в маленький пучок. На шнурке у нее висело пенсне, которое она поднимала к глазам, когда с кем-нибудь говорила. Целыми днями она сидела за своим столиком, поднимаясь очень редко. Когда нам надо было идти в столовую, на перемену или в дортуар, тогда она проявляла некоторую активность и по-французски произносила: «Arrangez-vous», когда мы должны были выровняться, построившись в пары, и «Arretez-vous»[18], когда мы должны были остановиться. В основном же она говорила с нами по-русски. И мы сами обращались к ней по-французски с единственной стереотипной фразой, прося разрешения выйти из класса.

Но французский язык она знала превосходно. В этом я убедилась, когда в старшем классе решила прочесть по-французски отрывок из Гюго и постоянно обращалась к ней за помощью.

Наталья Николаевна была слабый, нервный и больной человек. Была у нее одна непонятная и очень неприятная болезненная странность. Прохаживаясь около своего столика, она закладывала руки назад к пояснице, нервно сжимала и разжимала пальцы, зрачки ее при этом сходились к переносице и глаза начинали странно и неестественно вращаться, а на губах появлялась не то растерянная, не то блаженная улыбка. Было в этом

* Обращение «maman» по отношению к начальнице, принятое в институтах в старые времена, у нас совершенно не употреблялось. Мы звали Ольгу Александровну по имени и отчеству.

что-то ненормальное. Некоторые из девочек в эти моменты показывали на нее пальцем и смеялись. Я смеяться не могла. Смотреть же на нее в эти моменты мне было крайне неприятно.

Наталью Николаевну не уважали, за глаза постоянно называли «Наталешкой», но внешне всегда держались в ее отношении вполне прилично.

Другая наша классная дама (немецкая) — Евгения Владимировна Басова — была человеком совсем другого типа. Она была относительно молода, лет тридцати пяти, одевалась не без щегольства, носила своеобразную высокую прическу из светлых рыжеватых волос, высокие каблуки (и то и другое, очевидно, чтобы казаться выше). Она была полна, и тугой корсет не мог скрыть сильно развитого бюста и полных бедер. Держалась она авторитетно, могла быть несправедливой, резкой, но злой враждебности, грубой и просто нецензурной ругани со стороны наших руководительниц, о которой пишет Е.Н. Водовозова в своих воспоминаниях о дореформенном Смольном, мы не знали совершенно.

Помню один случай, когда Евгения Владимировна «отчитывала» наш класс за какую-то провинность (я не была к ней причастна). Прежде чем вести нас в дортуар, она поднялась на кафедру и, «отчитав» нас, заключила: «Какие-то беспардонные!» Это слово я слышала впервые, поэтому легко его запомнила. Это было самое резкое выражение, которое я слышала от нашей воспитательницы.

Но и Евгения Владимировна не пользовалась нашим уважением и любовью. И ее за глаза иногда называли «Евгешка». И вокруг ее личности вились некоторые не совсем уважительные разговоры. Так, Лиза Савич не без иронии рассказала, что ее мама подарила Евгении Владимировне коробку шоколадных конфет и вложила в нее 25 рублей. Нам казалось не очень красивым, что ей дарят деньги, а она их принимает. А родители виноваты, что девочка знает об этом.

Однажды Евгения Владимировна вышла из класса, оставив на столе недописанное письмо. Лиза подошла, прочла и повторила нам написанные по-французски строки: «Mon cher André! Je pleurais, quand je lisais votre lettre...»[19]

Итак, у Евгении Владимировны есть какой-то загадочный André.

Однажды Евгения Владимировна попросила Лиду Алексееву прийти к ней в комнату, чтобы пришить пуговицы, оторвавшиеся от шинели ее двоюродного брата, приехавшего с фронта. «Знаем мы, что это за брат!» — посмеивалась Лида, вернувшись в класс.

«Евгения Владимировна не девушка!» — утверждала еще одна моя милая одноклассница, знавшая, что классной дамой в институте могла быть только незамужняя.

Я едва слушала эти разговоры, но они падали в душу, оставляя неприятный осадок. Вместе с тем они отражали наше отношение к нашей руководительнице и, очевидно, долю истины.

Помимо классных дам нашего класса, нам волей-неволей приходилось соприкасаться с классными дамами других классов. К своему удивлению, я помню только четырех из них. Других как будто и не существовало.

Самой колоритной фигурой из них была классная дама I выпускного класса — Варвара Михайловна Чапкина[20]. Уже тот факт, что она руководила самым старшим классом, придавало ей особый вес.

Варвара Михайловна была очень старая женщина маленького роста, но державшаяся с большим достоинством. Она вечно зябла и поэтому поверх платья носила довольно длинную шелковую тальму[21]. Наиболее примечательным было в ней то, что она ходила в парике. Парик был очень аккуратный, сделанный из седоватых волос, посредине которого или немного наискось шел аккуратный шов, изображающий пробор.

Однажды в перемену, когда она сидела в классном коридоре в небольшой нише, где часто отдыхали в перемену классные дамы и некоторые учителя, я бежала мимо из класса в зал. Чапка, как непочтительно звали мы ее в своем кругу, остановила меня и сказала, что бегать мимо старших невежливо. Я извинилась и чуть было не бросилась бежать вновь. Но Чапка внушительным тоном продолжала: «Главное же в том, что, пробегая, вы поднимаете такой ветер, что можете меня простудить». Я слегка опешила: в теплой комнатной температуре Чапка боится простудиться оттого, что я пробегу мимо? Это было действительно курьезно, нелепо, смешно и... почему-то немного грустно. Со смешанным чувством недоумения — смешно и грустно — я и ушла в зал.

В следующем году, выпустив I класс, Чапка приняла новый VII класс. В том новом году в институт поступила моя сестра Ната и попала в руки Варвары Михайловны. Сестра неизменно положительно отзывалась о своей классной даме. Всегда спокойная, но строгая, она неукоснительно требовала от своих подопечных помимо внешней аккуратности старательного приготовления уроков. Она говорила со своими воспитанницами на французском языке и требовала от них того же.

Настоящим страшилищем казалась мне классная дама III класса — Пешель. Она была очень высокого роста, не худа и не полна, держалась

необычайно прямо. На каменном лице застыли высокомерие и неприступность. Бросались в глаза необыкновенно большие — не толстые, а именно большие — длинные щеки.

Однажды наш класс шел по коридору. Пешель стояла у дверей своего класса и разговаривала с кем-то из учителей и вдруг улыбнулась. Мне стало страшно от неожиданной улыбки на этом каменном лице.

В одном из поздних писем к маме из института я назвала еще одну, как я выразилась, «Кикимору», Анну Петровну[22], которая ходила «в рыжей мантилии».

В общем, по моим воспоминаниям, нас, детей и юных девушек, окружали допотопные монстры, изжившие себя старухи.

Вспоминается лишь одна молодая и внешне привлекательная классная дама — Екатерина Ивановна Малиновская. Она была высока и стройна, но следы надвигающегося старения уже ложились на милое лицо*.

II
ПЕРВЫЕ НЕ ОЧЕНЬ РАДОСТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Встреча

В школе В.А. Платоновой, в которой я училась до института, преподавать немецкий язык приглашали одну из классных дам института. Довольно долго нашей преподавательницей была немолодая, но очень милая Елена Францевна Берг. Затем она стала болеть, и вместо нее у нас появилась тоже классная дама института Валентина Васильевна**[25]. Это была молодая и довольно красивая женщина. Помню розовые щеки, слегка припудренное лицо и элегантное синее платье.

* История сняла проблему классных дам в институте благородных девиц. Но, чтобы быть справедливыми в своих суждениях, не следует ли подумать о том, как формировался контингент классных дам. Как они пришли к этой роли, как «дошли до жизни такой»? Почему они были обречены на безбрачие? На одинокую жизнь в стенах института? Чем заполнялась их жизнь, кроме суточного дежурства около молодых озорниц? Стоит, мне думается, вспомнить повесть М.В. Крестовской «Вне жизни» (М., 1889) и др. издания[23] и страшный рассказ А.И. Куприна «Наталья Давыдовна», изображающий идеальную классную даму и показывающий, до каких извращений может дойти добродетельная «девственница» в звании классной наставницы[24].

** Я не уверена, что точно воспроизвожу ее имя и отчество.

И вот в один из первых дней моего пребывания в институте я вдруг увидела Валентину Васильевну в классном коридоре. Я обрадованно кинулась к ней. Валентина Васильевна совершенно равнодушно, с какой-то снисходительной улыбкой ответила на мой порыв. Что-то треснуло в моей бедной душе, как будто она неожиданно ударилась о что-то твердое и холодное. Живая радость сменилась чувством горечи и боли. Я стояла перед ней, опустив глаза и силясь удержать слезы. Впервые я остро почувствовала холод замкнутого мира, его изолированность, его отрешенность от тепла и ласки.

Огромное здание, давящее своей громадностью, масса чужих незнакомых людей, строгая формальность отношений, суровый распорядок дня... Я еще раза два видела Валентину Васильевну то в столовой, то в классном коридоре, приседала, опустив глаза, и проходила мимо. Вскоре она исчезла из института, оставив в душе одно из нерадостных воспоминаний о первых днях моего пребывания в институте благородных девиц.

«Плевок»

В один из первых дней моего пребывания в институте в рекреационный зал, где младшие классы гуляли во время перемены, почему-то вошли две ученицы старшего класса, проводившего перемены в актовом зале. Остановив меня, мирно и одиноко стоявшую вблизи двери, они вдруг стали поучать меня необходимости уважения к старшим. Они говорили полусерьезно-полушутя о том, что старшим надо уступать дорогу, обращаться к ним на «вы», что смеяться в присутствии старших, да еще в ответ на замечание, невежливо. Я смеялась. «Да, да, невежливо!» Я фыркнула: «Пф! Подумаешь!» Неожиданно они потребовали, чтобы я извинилась. Оказывается, я плюнула одной из них на руку. Плюнула? И не думала! Они настаивали. Я отказывалась, все еще посмеиваясь. Чтобы слюна могла попасть кому-нибудь на руку в тот момент, когда я произносила свое «Пф!», казалось невероятным: мои губы были совершенно сухи. «А вот посмотрим!» — с неожиданной угрозой сказали они и убежали.

Прошло несколько дней. Я сидела в группе девочек в своем классе вблизи окна. Мы мирно разговаривали. Вдруг дверь открылась, и в класс вдвинулась величественная фигура классной дамы старшего класса — Пешель...

— Морозова! — гаркнула она с порога на весь класс.

Я встала. Пешель повернулась и, не сказав ни слова, важно направилась к выходу. Постояв несколько секунд в недоумении, я села. «Иди, иди за ней!» — раздались около меня тревожные голоса. Ко мне бросилось несколько девочек, несколько рук потянулось ко мне, поднимая и теребя меня. Я встала и в полной растерянности пошла за уже удалявшейся по коридору фигурой Пешель.

Она вошла в свой класс. «Турчанинова! Самойленко!» — услышала я мощный выкрик дамы, трепеща у дверей чужого класса. Ко мне вышла высокая девушка, одна из тех, с которыми у меня недавно произошел поучительный разговор, но не та, на руку которой могла бы попасть моя слюна, если бы мои губы тогда не были бы совершенно сухи. «Простите, ради Бога!» — произнесла я дрожащим голосом, готовая плакать от незаслуженной обиды. Молодая девушка обняла и поцеловала меня. Я ушла совершенно подавленная и растерянная. Ну как могли эти молодые девушки оклеветать меня и натравить на меня эту зловещую Пешель?! И я, совершенно невинная, должна была просить у них прощения...

Сахар

Возглавляемые Евгенией Владимировной, мы шли парами по классному коридору. В окно в конце коридора ярко светило солнце и, проникая далеко вглубь, широкими отсветами падало на блестящий паркет. Настроение у нас было спокойное. Мы направлялись в столовую. В руках у Жени Лобовой был кусочек сахара. Она несла его к чаю. Почему-то она попросила меня его подержать. В этот момент невдалеке от нас показался в коридоре маленький толстенький седоватый старичок в синем форменном мундире с золотыми пуговицами. Это был директор института[26]. Мы подтянулись, зная, что, поравнявшись с ним, мы должны будем остановиться, повернуться к нему лицом и, сложив руки на животиках, по знаку классной дамы плавно присесть...

В такой момент сахар в моих руках мне показался лишним. Я поспешила передать его Жене, которая стояла в первом ряду, и протянула руку к ее плечу. Но в эту минуту уже нужно было кланяться. Я, растерянно чувствуя, что делаю что-то не то, оставила сахар на плече Жени и присела вместе со всеми. Сахар, разумеется, не удержался на плече Жени и

скатился прямо к ногам директора. Седоватый старичок посмотрел на сахар, потом поднял глаза к потолку, снова посмотрел на сахар, безмятежно лежавший на паркете, и обратил взор на нас. Глаза смотрели равнодушно, но жест создавал впечатление шутки. Я стояла, слегка усмехаясь маленькому курьезному происшествию, виновницей которого была я. К директору подошла Евгения Владимировна и что-то тихо ему сказала.

Присев еще в одном поклоне, мы повернулись и беззаботно пошли в столовую. Ну, а для меня после началось...

Евгения Владимировна строго-настрого велела мне найти директора и просить у него извинения. Часа полтора я напряженно бегала по всем коридорам и закоулкам института в поисках толстенького старичка в синем мундире с золотыми пуговицами. Наконец я поймала его в нижнем коридоре и в страшном волнении судорожно просила у него извинения за свое преступление — за то, что уронила кусочек сахара к его ногам. Он молча выслушал меня, потом процедил что-то сквозь зубы и отпустил меня.

Это был первый и единственный раз, когда я видела директора нашего института.

Девичий переполох

Вскоре после моего поступления в институт наш класс устраивал вечер. Сначала был спектакль, подготовленный, как мне помнится, еще в прошлом году. Девочки с увлечением сыграли незнакомую мне комедию «Девичий переполох» (Виктор Крылов)[27], а затем должен был состояться костюмированный вечер. Я заранее попросила маму принести мне мой костюм «Роза», в котором я недавно была на вечере в офицерском собрании. На розовый чехол были нашиты лепестки тоже розовой материи. У горла был зеленый зубчатый воротничок, на голове шапочка из розовых лепестков с зелеными стебельками вверху.

Не могу не только вспомнить, но даже вообразить или предположить, за что Евгения Владимировна наказала меня, лишив участия в костюмированном вечере. Это было очень жестокое наказание, но я отнеслась к нему удивительно равнодушно. Тотчас отдала свое розовое платье одной из девочек, не имевшей костюма, и меланхолично бродила среди разряженных пестрых фигурок. Вообще было скучно: не было ни музыки, ни

танцев. Евгения Владимировна к концу вечера неожиданно сжалилась надо мною и позволила мне переодеться. Но переодеться уже было не во что. Не отнимать же уже отданное платье?! Я нашла остатки чужих костюмов, напялила их на себя и так же бесцельно бродила среди других, столь же бессмысленно блуждающих загадочных фигурок.

Это был единственный вечер в институте, который помню как организованное развлечение.

Движение

Если спросить, чего мне больше всего не хватало в первое время моей институтской жизни, я бы сказала: «Движения!» Часами мы сидели в классе на уроках, вечерами должны были готовить заданное. В переменах прогуливались в зале кто группами, кто в одиночку, кто парочками, обнявшись. В первые дни я общалась то с одной девочкой, то с другой, но по существу я была одна. Как-то мне понравилась одна девочка V класса Маруся Синицкая. Я искала ее в перемену. Перемолвишься словечком, пройдешь несколько шагов вместе и — конец перемены.

Однажды в великой жажде движения я помчалась с одного конца рекреационного зала в другой и так разбежалась, что заскользила по паркету, как по льду на катке. Не в состоянии остановиться, я со всей силой разбега ударилась грудью о рояль, стоявший у стены. От ушиба я потеряла сознание и упала. Надо мной тотчас тревожно склонилось несколько головок, кто-то побежал за классной дамой. Когда подошла Евгения Владимировна, я уже очнулась и открыла глаза. Кто-то сказал: «Обморок!» — «Ну, тут обошлось без обморока», — услышала я холодный, почти ироничный голос Евгении Владимировны. Девочки подняли меня, взяли под руки и отвели в лазарет. Часа через два я уже сидела в классе.

Из комнатных игр мы знали одну — в камешки[28]. Камешки нам заменяли кусочки пиленого сахара, который мы получали в столовой к чаю.

Стены здания были очень толсты, подоконники очень широки. На этих подоконниках мы подбрасывали кусочки сахара в разных вариантах. Это была игра младших классов, и движения здесь было очень мало.

Туалетная комната (мы называли ее «маленькой комнаткой», «petite chambre» — по-французски, а чаще всего просто «малюткой») состояла из двух довольно просторных частей. В задней были установлены унитазы, отделенные друг от друга небольшими перегородками, в передней же

был ряд раковин для умывания, и высоко под потолком на специальной перекладине висело, спускаясь почти до пола, длинное, скрепленное концами полотенце. Мы передвигали его, когда ближайшая его часть становилась влажной или грязной. Вот это полотенце и выбрала я для своих физкультурных занятий. Схватившись за одну его часть, я раскачивалась на нем, как на гигантских шагах. Слава Богу, и полотенце, и деревянная перекладина выдерживали этот груз.

Вскоре я научилась у девочек ходить на пальчиках, как ходят балерины. В наших легких и мягких прюнелевых ботиночках это было и легко и трудно. Но я была тоненькая, худенькая. Сначала я могла сделать всего несколько шагов, а потом ходила вдоль всей свободной стены класса — в одну сторону и обратно. Это было движение! Это было движение, притом не лишенное изящества.

Осенью, весной и зимой мы гуляли в большие перемены в нашем парке. Игр никаких не было. Теннис и крокет были в распоряжении старших, но я никогда не видела их играющими.

Зимой на дорожки парка клали доски, и мы ходили парами под руководством классной дамы по этим доскам. У нас, разумеется, были уроки гимнастики и танцев. Но они, если не ошибаюсь, были раз в неделю поочередно. На уроках гимнастики мы снимали наши формы и надевали легкие серо-голубые платьица длиной до половины голени и с полукороткими рукавами. Резиночки отделяли юбку от верхней части платья. Эти занятия слегка оживляли однообразное течение наших дней.

На уроках танцев мы снимали пелеринки и разучивали разные «па» и «позиции». Из танцев мы выучили полонез. Остальные танцы — вальс, польку, мазурку, падеспань, падекатр[29] и другие мы выучили как-то стихийно. Танцевать я очень любила.

Наказания

Самым тяжелым наказанием было у нас лишение свидания с родными. «Не пойдешь на прием» — воспринималось как настоящее горе. Но за все годы моего пребывания в институте я не помню случая, чтобы в нашем или другом классе кто-нибудь был наказан столь жестоко.

Самым же неприятным, даже позорным наказанием считалось «стоять под часами». Провинившаяся высылалась из класса и должна была определенное время выстоять в классном коридоре под часами, висевшими

высоко у двери в актовый зал. Но и это наказание применялось очень редко. В моей памяти не запечатлелась ни одна фигурка, одиноко стоящая под часами.

Но на мою долю однажды выпало это почетное наказание. Случилось это, очевидно, еще в VI классе, и я плохо помню его повод. Кажется, я слишком оживленно разговаривала с кем-то из девочек и даже спорила. Евгения Владимировна велела мне выйти из класса и стать под часами. Я безропотно покинула класс. Стояла я под часами минут 10, не более, все посматривая, не идет ли кто-нибудь по коридору. Очень мне не хотелось, чтобы меня видели публично наказанной. Но коридор был пуст, а Евгения Владимировна вскоре выслала за мной дежурную.

Панихида

Прошло совсем немного времени моего пребывания в институте, как умерла женщина, основавшая стипендию, на которую я училась. О ее смерти мне сказала Евгения Владимировна и велела идти в актовый зал: будет панихида.

В зале стояла незнакомая мне девочка, очевидно, из старшего класса. Она оказалась тоже стипендиаткой покойной. Мне почему-то было очень неловко, я стеснялась этой чужой девочки.

Пришел священник и, мне помнится, прямо здесь, в зале, отслужил панихиду.

Две незнакомые девочки стояли рядом, было неловко и грустно. Панихида оказалась очень короткой, а эту чужую девочку я больше никогда не видела. Имя же, отчество и фамилию женщины, основавшей наши стипендии, я записала в дневнике и долго ее помнила.

Милицына тревога

Вечер одного из первых дней моего пребывания в институте. Мы идем парами вверх по лестнице в дортуар. Нас сопровождает Евгения Владимировна. Неожиданно откуда-то прибегает Милица Баженова, высокая крупная девочка нашего класса, с очень длинной и толстой косой. Мы останавливаемся. Волнуясь и спеша, перебивая сама себя, Милица начинает говорить о чем-то Евгении Владимировне. Я молча стою, опер-

шись локтем о перила лестницы, силюсь понять быстро и беспорядочно падающие слова Милицы, и чувство невольного удивления овладевает мной: как можно так горячиться по таким пустякам? Наконец я улавливаю причину волнений Милицы. Наш VI класс не имеет собственного дортуара. Часть наших девочек спит в дортуаре V класса, наверху, туда шли мы, а другая — в дортуаре VII класса внизу, оттуда прибежала Милица. Девушки VII класса (нянечки) отказываются причесывать «несвоих». Нужно что-то делать: или посылать девушек VI класса вниз, чтобы они причесывали нас, или перевести в нижний дортуар девочек с короткими волосами, причесывающихся самостоятельно.

Вслушиваясь в горячую речь Милицы, я не предполагала, что прямым ее следствием окажется моя судьба: в нижний дортуар VII класса перевели именно меня. Когда я поступала в институт, у меня были короткие волосы.

Ночные страхи

По ночам в институте бывало страшно. Я помню целую полосу — длинный ряд ночей, когда я переживала мучительное чувство страха, а приближение ночи ощущала как наступление какого-то кошмара. Идешь, бывало, в парах, делаешь что-нибудь, а сердце внезапно сожмется мучительной тоской: «Боже! Сегодня опять будет ночь!» И в дортуар отправляешься, как на какую-то пытку.

Бледный свет крошечной лампочки под высоким потолком слабо освещает огромную комнату, поделенную пополам аркой. Серыми пространствами выделяются высокие окна, закрытые голубоватыми занавесками. Ровными рядами расставлены кровати. В них спят чужие, незнакомые девочки. Тишина.

Страшна, тосклива такая тишина среди большого количества спящих, когда у тебя нет сна. Страшны, еще страшней и тревожней пугающие звуки. Вдруг кто-то застонет во сне, кто-нибудь вскрикнет или внезапно быстро-быстро забормочет что-то невнятное и так же внезапно оборвет неясную речь. Или тихо, а затем громче и явственней в какой-нибудь части комнаты раздастся странный, непонятный и необъяснимый пугающий звук. Вся насторожишься, сожмешься в напряжении. «Что это?» — и тоскливо ждешь, когда замолкнут страшные непонятные звуки.

Тоской отзывается в душе и лай собак во дворе под высокими окнами. С трудом засыпала прерывистым неглубоким сном. Утром вставала невыспавшаяся, вялая.

Однажды, в одну из таких бессонных ночей, девочка в стоявшей у стены кровати вдруг спросила: «Ты не спишь?» — «Не сплю, — ответила я, — страшно». — «Ну, хочешь, иди ко мне», — тихо сказала она. Я оставила свою постель и скользнула к ней под одеяло. Близость теплого живого существа сразу уменьшила страх.

Обняв меня одной рукой, она шепотом объяснила, что страшные звуки — это девочки, у которых глисты, скрежещут зубами. В прошлом году было еще страшнее. Была девочка-лунатик. Она бродила по ночам, влезала на подоконник, уходила в коридор и однажды поднялась высоко по лестнице. Ее взяли домой.

Она заговорила о чем-то другом. Голос звучал сонно. Она заснула.

Я лежала тихо. Страха не было. В душе откладывалось чувство тепла и благодарности. Немного погодя заснула и я.

Под утро, когда стало светать и бледный свет стал явственней проникать сквозь голубые занавески, девочка разбудила меня: «Теперь иди. Несколько лет назад двух девочек застали в одной постели и с позором исключили из института». С позором? Что-то смутное, темное коснулось души и растаяло непонятное. Я поцеловала ее и ушла. Согрев свою остывшую постель, я скоро заснула и крепко проспала до звонка.

Тося Косюра, худенькая девочка с тонким личиком и огромными черными миндалевидными глазами, моя милая одноклассница...

Постепенно страхи прошли. Я привыкла к институту, все стало привычным и простым. Я спала, не слыша никаких звуков. Только иногда, когда я засыпала, мне слышалось, как будто кто-то пишет в конце дортуара скрипучим пером. Это в саду трещала колотушка ночного сторожа.

III
ДЕВОЧКИ

В бараке

Осенью того же года, когда я поступила в институт, я тяжело заболела. В письме к маме от 4 ноября 1915 года дедушка[30] писал: «Очень огорчен сообщением о болезни Танюши». Значит, я заболела в октябре, вскоре после начала занятий. Меня положили в отдельную палату лазарета и

приставили ко мне «няню Полечку». Заведовал лазаретом доктор Сергей Михайлович Ганшеев[31], известный в Харькове педиатр. Он бывал у нас дома, когда болела я или сестра. Встречая меня в институте, он поднимал вверх руку, приветливо улыбался и говорил: «А, маленький человечек, маленький человечек, здравствуйте!»

Кто была «няня Полечка» (иногда мы называли ее «тетя Полечка»), я не знаю. Она была немолода, молчалива и даже сурова, но неизменно вызывала нашу симпатию. Она ставила нам банки, клизмы, клала горчичники, измеряла температуру, давала лекарства, мыла нас в ванне. Тетя Полечка! Тетя Полечка!

И вот ночью я с высокой температурой лежу в тяжелом забытьи в отдельной палате лазарета. Вдруг я ощущаю, что мне необходимо, непременно нужно что-то посчитать на коврике, постланном на полу перед моей кроватью. От этого зависит все. Это какие-то ниточки или полоски на коврике. Их обязательно надо пересчитать. Обязательно.

Я соскакиваю с кровати, становлюсь на колени и в каком-то тумане что-то перебираю пальцами на коврике. Вдруг чьи-то руки поднимают меня с пола и кладут в постель. Я полупроснулась и рвусь из этих рук. Вдруг я вижу, что это няня Полечка, но преодолеть туман, меня окружающий, не могу... Я слабо сопротивляюсь и опять падаю в забытье.

Через несколько дней туман рассеялся. Меня одевают в чистое белье, халат и зимнее пальто, сажают в особые закрытые носилки (в виде домика, укрепленного на палках) и уносят вместе с барачной девушкой в барак. Барак — это небольшой двухэтажный домик, стоящий в нашем институтском саду, недалеко от главного корпуса, — изолятор для инфекционных больных. У меня корь. И только в конце ноября дедушка пишет: «Рад, что Танюша поправляется».

Палата, в которую меня поместили, представляла собой довольно большую комнату, окна которой выходили в сад. В ней помещалось около 20 девочек младших классов. Я помню себя здесь уже относительно здоровой, на ногах. Как и в самом институте, здесь были приемные дни. Но ко мне мама не могла приходить: дома были младшие дети. Мама подходила к стене барака, я — к окну, и вряд ли мама хорошо видела свою дочь за высоким окном.

Мама приносила допустимые гостинцы и по моей просьбе принесла цветной папиросной бумаги. Из нее я умела делать цветы (розы) и при

помощи шпильки и проволоки я разукрасила всю нашу палату букетами разноцветных роз.

Скоро нам стали сообщать уроки, и я, шагая вдоль окон палаты, с удовольствием твердила Лермонтова «Беглец» и «Бородино».

У кого-то нашлись карты, и почему-то, собираясь именно у моей кровати, играли в подкидного дурака и в «66». Я даже научилась гадать.

Пели песни. В пении принимала участие барачная девушка. Пели «Вот мчится тройка почтовая...» и украинскую — «Ой, не ходы, Грицю, тай на вечерицю». Помню и обрывки «кадетской» песни: «Прощайте, разные рулеты, и с ними жулик-эконом...».

Но не все протекало так легко и безоблачно в мое пребывание в бараке: у меня связано с ним одно очень грустное воспоминание. Однажды днем в нашу палату принесли новую больную. Это была девочка лет 14—15, всего недели две назад поступившая в институт. Ее положили на кровать, стоявшую прямо против окна, и врач стал ее осматривать. Кроме д-ра Ганшеева был кто-то еще из медицинского персонала. Когда осмотр был окончен, девочка неловко откинулась назад и упала на подушки. Рубашка была опущена по пояс, тело обнажено. И девочка, к нашему удивлению, не сделала ни малейшего движения, чтобы натянуть на себя рубашку или одеяло. Как сейчас помню, едва оформившуюся молодую грудь, нежное тело, на вид такое здоровое и сильное, неловко и, казалось, бесстыдно распростертое на подушках. Нам, девочкам, стоявшим вблизи и бывшим моложе ее, стало неловко, и чувство невольного осуждения колыхнулось в душе. У кого-то даже сорвалось шепотом: «Как ей не стыдно!» Врачи тихо совещались. Через несколько минут девочку завернули в одеяло и унесли в соседнюю пустую палату, дверь в которую до этого была заперта. Дверь снова заперли, и мы слышали, как там затопили печь.

Утром мы узнали, что ночью девочки не стало. Девочка умерла. Ужас, который испытываешь перед страшным явлением смерти и который особенно силен в детстве, заполнил душу и совершенно иначе осветил то, что мы видели вчера. «Она была при смерти, девочка была при смерти!» — звучало в душе. И в этом чувстве ужаса и огромной жалости потонуло даже чувство стыда за собственное вчерашнее несправедливое осуждение.

Оля Феттер

Вскоре после этого тяжелого случая в бараке появилась Оля. Оля Феттер пришла в институт, когда учебный год уже начался. Однажды под вечер Лида Алексеева вошла в класс и со смехом сообщила: «А у нас еще новенькая! Такая странная, громко смеется, рассказывает какие-то небылицы — вообще кривляка и воображака! Зовут ее Оля Феттер. Пойди, посмотри!» Я не пошла смотреть эту новенькую, кривляку и воображаку, как выразилась Лида, и совершенно не помню, когда и как она появилась в классе.

И вот теперь эта новенькая со мной в одной палате инфекционного барака. Ее положили в противоположном от меня углу комнаты, вблизи окна. Ей, очевидно, было плохо. Она подолгу молча лежала и много спала.

В приемные дни к ней приходила мать, маленькая, худенькая, очень скромно одетая женщина. Она садилась у кровати Оли, и они тихо разговаривали. Мое внимание привлекало необыкновенно заботливое, я бы даже сказала — покровительственное, отношение Оли к матери, как будто она была старше и мать нуждалась в ее опеке.

Я часто подходила к Оле, которая была моей единственной одноклассницей (кроме нас была Оля Ганшеева, племянница врача, которую скоро выписали), и Оля неизменно угощала меня дорогими конфетами, которые ей приносила мать. При этом она ласково шутила: «А кот Васька любит сладенькое...» Я не обижалась, старалась ее угостить, чем могла, и с удовольствием ела ее конфеты. Незаметно в ее устах утвердилось мое прозвище: «Кот Васька, Васенька, Васюточка».

Когда Оле стало лучше, она часто садилась на кровати, поджав ноги, тихо пела без слов, с закрытым ртом, но очень ясно выводя мелодию. Когда же Оле разрешили вставать, она начала давать нам целые концерты, пела громче, и мы находили, что она очень удачно подражает скрипке. Олю приходили слушать и из палаты старших. Мне казалось, что и я участвую в этих концертах: поет моя Оля.

Постепенно, неприметно для посторонних, но весьма ощутимо для нашего внутреннего самочувствия, мы сблизились. Выйдя из барака, мы с Олей сели за одну парту.

Одной из самых значительных, самых важных сторон моего пребывания в институте стала моя дружба с Олей Феттер. Это не была обычная поверхностная или сентиментальная «институтская» дружба. Это была настоящая, глубокая, органическая душевная связь, сердечная привязанность друг к другу, возникшая и выросшая сама собой и которая, как мне кажется, неудачно выражается словом «дружба». Если бы у меня не было близости с этой умной, одаренной девочкой, моей любви к ней и ее любви ко мне, моя жизнь в институте была бы гораздо более пуста, скудна, тосклива и даже тяжела. Наша дружба обогащала нас, делала полнее, значительнее, радостнее, счастливее наше существование.

Оля была старше меня на два года, была девочкой другой среды и судьбы. Но мы дружили «на равных», были совершенно равны в наших отношениях. Мы никогда не ссорились. У нас никогда не было ни малейших столкновений или недоразумений. Наша дружба включала в себя глубокое уважение и абсолютное доверие друг к другу. Вместе с тем мы никогда не стесняли друг друга. У каждой из нас была своя независимая жизнь. Я писала дневник, Оля к нему не притрагивалась. У каждой из нас был круг своих приятельниц, которые не мешали нашей основной дружбе. Помню такой эпизод. Однажды Оля долго стояла у окна с какой-то девочкой, которая явно была чем-то взволнована. Когда Оля вернулась, я спросила: «Что случилось у N?» Оля ответила: «Она просила никому не говорить, даже тебе». На том наш разговор прекратился.

Внешне наша дружба выражалась в том, что мы сидели за одной партой, в дортуаре спали на кроватях, стоявших рядом, ходили в паре в столовую и на прогулку, танцевали с ней в паре на уроках танцев. Гостинцы, которые приносили нам из дома, были наши общие. Но это были внешние признаки нашей дружбы. Суть же состояла в том, что рядом был дорогой по каким-то глубинным неисповедимым признакам близкий, родной человек.

У нас было много сходных интересов. Мы обе любили рисовать. Но Оля писала легкими широкими мазками, я же старательно вырисовывала каждый листик, каждую веточку. Мы обе писали стихи и любили танцевать. Оля великолепно читала стихи, я же не пробовала это делать. Однажды в рождественские каникулы она приехала ко мне в гости домой. Кроме моих семейных у нас были две девушки-курсистки, одна из которых училась в консерватории. Оля прочла нам два стихотворения: «Сакия-Муни» Д.С. Мережковского и «Сумасшедший» А.Н. Апухтина[32]. Делала

она это удивительно непринужденно и с большой силой выразительности. «Это чтение взрослого человека», — заметила одна из слушательниц — курсистка.

Оля обладала даром гипноза. Но соглашалась стать объектом Олиного гипнотического воздействия и поддавалась ему лишь одна девочка нашего класса Надя Альбосская. Это была непомерно, не по возрасту высокая девочка. В остальном девочка как девочка. Она и стала объектом Олиных сеансов. Сеансы обычно проходили в большую перемену в парке. Мы садились в кружок, Надю удаляли, а Оле мы давали какое-нибудь невинное поручение: внушить Наде сорвать веточку с такого-то дерева, взять книгу из рук такой-то девочки или что-нибудь в этом роде. Затем Надя возвращалась, садилась в середину круга на пень или скамью. Оля становилась перед ней и начинала свой сеанс. Пристально глядя Наде в глаза, Оля медленно ходила около нее и делала руками таинственные движения. Надя постепенно засыпала, потом медленно поднималась и выполняла то, что ей было внушено. После этого, как будто проснувшись, она озиралась вокруг и быстро приходила в себя.

Мы смотрели на эти сеансы как на забаву, как на невинную игру. Но два раза сеансы окончились драматически. Однажды, выполнив заданное, Надя внезапно сорвалась с места и помчалась по дорожке парка с неистовой быстротой. Оля, страшно перепуганная, бросилась за ней. Но догнать длинноногую Надю было не так-то просто. К счастью, Надя наконец остановилась и села на ближайшую скамью.

В другой раз получилось хуже. В большую перемену я сидела в саду с группой девочек под навесом нескольких ив, разросшихся так, что они образовали беседку. Мы мирно разговаривали. Вдруг в нашу «беседку» влетела страшно взволнованная Оля и стала просить спрятать ее. Через несколько минут мы увидели, как по дорожке, со сбившейся на сторону пелеринкой, со страшно возбужденным лицом, размахивая руками, промчалась Надя. «Я не успела ее разгипнотизировать, — рассказала нам Оля, — как она сделалась как сумасшедшая и бегает за мной. Я ее боюсь».

Одно время вместо заболевшей классной дамы у нас дежурила пепиньерка* Александра Георгиевна, рослая, веселая, красивая девушка

* Пепиньерка — девушка, закончившая институт, но оставшаяся в институте для педагогической подготовки. У пепиньерок была своя форма: серое шерстяное платье с узкой длинной юбкой, белый батистовый гофрированный нагрудник, переходящий в передник. Я помню двух пепиньерок, бывших у нас в институте в мое время.

лет 19—20. За глаза мы ее называли Шурочкой. Она очень нравилась Наде Альбосской. Мы решили, что Надя ее «обожает».

Шурочке рассказали, что Оля умеет Надю гипнотизировать. Сначала Шурочка просто не поверила, а когда ей предложили провести сеанс в ее присутствии, она долго возражала, убеждая, что гипноз не шутка. Наконец она согласилась, поставив условие, что на этом Оля прекратит свои сеансы.

Полукругом мы уселись в передней части класса, поставили стул для Шурочки, а на широком пространстве около кафедры — для Нади. Надю первоначально выслали из класса и единодушно решили, что Надя должна будет поцеловать Шурочку.

Посадили Надю на стул, и Оля начала свои пассы. На этот раз Надя долго не поддавалась Олиным воздействиям. Наконец она закрыла глаза, посидела некоторое время, встала и, как сомнамбула, подошла к Шурочке, постояла около нее и, поцеловав ее в щеку, пришла в страшное возбуждение. Она металась по классу, плакала. Ей давали воду, но все попытки ее успокоить были напрасны, и сама Оля, чувствуя свое бессилие, стала плакать. После этого оставалось одно: выполнить наше обещание Шурочке и опасные игры прекратить.

Однажды (это, вероятно, было уже в V или даже IV классе) мы с Олей сидели вдвоем в укромном уголке парка. Оля вдруг тихо сказала: «Знаешь, Васенька, а я ведь помню свадьбу моей мамы!» — «Как?» — изумилась я. Мне показалось, что она говорит о чем-то сверхъестественном, невероятном. «Так, — ответила Оля еще тише, — я была на ней...» — «Как?» — еще более изумилась я.

«Мой папа был дворянином знатного рода. И был очень богат. Он мог двадцатипятирублевую бумажку скурить, как папиросу, сторублевую бумажку употребить в уборной. А моя мама была простая бедная девушка. Они сначала жили так... Потом родилась я... Потом появилась на свет Тосенька. Папа был много старше мамы. Он стал болеть и перед смертью решил обвенчаться с мамой, чтобы упрочить ее и наше положение. Иначе как бы я могла поступить в институт...» И на Олиных широко раскрытых глазах слезы.

В другой раз, также наедине, Оля начала: «Знаешь, Васенька, моя бабушка...» И замолчала... Я ждала. «Что запретили в 14-м году?» — спросила Оля, очевидно, желая подвести меня к затруднявшему ее рассказу. Я не знала. «Водку», — сказала Оля.

Ее бабка пила. Это была совсем простая женщина из крестьянской или городской мещанской среды. Я потом ее видела. Думаю, что обо всем этом Оля никому, кроме меня, не рассказала.

Или вот еще один рассказ после каникул. «Знаешь, Васенька, летом у нас были воры. Перевязали всех. Бабушка кричит: "Развяжите меня, мне на двор нужно!"» Оля смеется. «Конечно, не отпустили. Обобрали и ушли. Утром нас развязали соседи...»

Ничего подобного в моей жизни не было.

Однажды (это было, вероятно, уже в IV классе), возвращаясь с прогулки, мы с Олей о чем-то рассуждали. «С моей точки зрения», — начала я серьезно. Оля вдруг громко и весело смеется: «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! У Васеньки точка зрения! Ха-ха-ха! У Васеньки точка зрения! Ха-ха-ха!» — «Ну что же тут особенного, — пытаюсь я защититься. — Просто я так думаю...» Оля продолжает смеяться. Ей кажется смешной серьезная фраза в устах небольшой девочки. Заражаясь Олиным смехом, смеюсь и я.

О! Если бы можно было передать, как мне теперь приятно и радостно вспоминать веселый и добрый Олин смех...

Оля прошла через всю мою институтскую жизнь. Такой дружбы, как дружба с Олей Феттер, в моей жизни больше не было.

В одном из последних классов, когда угроза разлуки близилась, я както, гуляя с Олей в том же парке, сказала: «Ну как мы будем друг без друга?!» Оля промолчала. Да и что можно было сказать?

Татьянин день

Зимние каникулы — первые в учебном году — у нас заканчивались 8 января. Позади было Рождество, Новый год, Крещение. 8 января мы должны были явиться в институт. А 12 января был день моих именин — Татьянин день. Дома их всегда праздновали. И вот в первый год моего пребывания в институте, придя 12 января после завтрака в класс и ничего не подозревая, поднимаю крышку моей парты, я с удивлением вижу пачку разноцветных открыток, красиво перевязанных цветной лентой. Это были поздравления моих одноклассниц. Я была очень тронута. Оказывается, это была давно сложившаяся традиция, и я, новенькая, не была ею обойдена. У меня до сих пор сохранилась единственная открыточка моей одноклассницы Любы Святогор-Штепиной — «подруги по классу».

В этот день именинница угощала класс тортом, присланным специально родными. Именинницу заранее отпускали в столовую, чтобы она могла перед обедом разложить торт по тарелкам. Классной даме всегда отрезали наибольший кусок. Татьян у нас в классе было двое или трое. Помню Таню Игнатович. Тося Косюра тоже, кажется, была Татьяной. Таким образом, тортов было у нас в изобилии.

Люба Святогор-Штепина

Однажды Люба Святогор-Штепина, сидевшая за партой впереди меня, обернулась и положила передо мной записку:

«Дорогая Талочка! Давай дружить!

Люба».

Я очень удивилась: разве она не знает, что я дружу с Олей? На той же записке, которую мне передала Люба, я быстро написала: «Нет», — и вернула записку. Люба низко опустила свою большую некрасивую голову. Я насупилась. Мне было неприятно. Наверное, надо было мягче ответить на Любину записку. Люба была совсем неплохая, совсем неплохая девочка. Но она была совсем чужая, совсем чужая мне девочка. Я не мыслила дружбы с ней. Но что потянуло Любу ко мне? Одиночество?

И, может быть, как укор за мою прямолинейность, как память об этом горьком эпизоде из всех поздравительных именинных открыток у меня сохранилась одна, Любина, подписанная «От подруги по классу».

Я бы сказала, что настоящая дружба так же иррациональна, как и настоящая глубокая любовь. Она проистекает из главного существа человеческой натуры. Меру моей близости с Олей, ее глубину и силу обусловили трудно определимая духовная близость, нравственное родство.

«Просвещение»

Вечер. В белой нижней юбке и ночной кофточке я стою у своей кровати с мыльницей и полотенцем в руках, собираясь идти умываться. Вблизи меня в проходе столпилась небольшая группка моих одноклассниц.

Между ними идет какой-то таинственный тихий разговор: «После свадьбы? Муж и жена? Что делают? Как это? Рождаются дети?»

Ближе всех, спиной ко мне, стояла Аня Кондратьева. «Ты знаешь?» — вдруг повернувшись ко мне, спросила она. «Нет», — ответила я. Аня помолчала, как бы испытывая какое-то затруднение. Потом сложила пальцы левой руки в неплотный кулачок и, убрав все пальцы правой руки, кроме среднего, быстро сунула выставленный палец в кулачок левой. «Понимаешь?» Я поняла. В прошлом году, когда мы жили на даче в Ораниенбауме, незнакомая девочка Тася рассказала мне об этом какими-то простыми словами. Я не поверила, пересказала все маме, заключив: «Я не верю». И забыла. И вот теперь опять...

Я спросила Олю: «Аня говорит... Как ты думаешь, это правда?»

«Правда, Васенька, — ответила Оля. — Моя мама акушерка. У нее есть такая книга... Я прочла...» А через несколько минут Оля добавила: «Я думаю, что, когда люди делают это, у них горячка. Иначе как они могли бы это делать?!»

Это было первое полугодие моего пребывания в институте. И больше в течение всей моей институтской жизни разговора на эту тему ни с Олей, ни с кем другим не было.

Поцелуй

Е.Н. Водовозова в своих воспоминаниях об институте упоминает о том, что старшеклассницы Смольного сильно затягивались в корсеты. Насколько я знаю, у нас корсетов просто не было. И волосы у нас никто не завивал. Но маникюр применяли многие. Научилась уже в V классе делать маникюр и я. Я легко своими ножничками обрезала кожицу, отпустила длинные ногти и подрезала так, чтобы они имели красивую форму.

Однажды почему-то задержались на лестничной площадке при спуске в столовую. Аня Кондратьева, стоявшая рядом, взяла мою руку, посмотрела на нее. «Хороша ручка», — сказала она, поднесла ее к губам и неожиданно поцеловала. И, вдруг смутившись, поспешно прибавила: «Ты смотри, никому не говори, что я поцеловала тебе руку». Я, конечно, никому не сказала, но в душе осталось тепло от этой неожиданной ласки девочки, моей одноклассницы.

Карандаш

Я зачем-то выходила из класса. Когда я вернулась и села на свое место, я обнаружила на парте огрызок красного карандаша. Я машинально взяла его и стала что-то чертить им на клочке бумаги. Вдруг ко мне подскочила Мельникова. «Как ты смела взять мой карандаш?! Сейчас же отдай!» — закричала она грубо. Не успела я шевельнуться, как около Мельниковой стали две девочки. «Что ты, Мельница, к ней пристала? И вовсе не твой это карандаш! Уходи отсюда!» — резко сказала одна из них. Мельникова поджала губы, повернулась и ушла.

А я осталась сидеть в состоянии мучительных сомнений. Заступничество девочек было очень приятно. Грубости Мельниковой надо было дать отпор. Но... карандаш был действительно не мой. Может быть, он действительно принадлежал Мельниковой...

Как же мне быть теперь?

После некоторых колебаний я оставила карандаш на парте, и он исчез сам собой.

Поединок

На широком, выкрашенном белой масляной краской подоконнике классного окна, где так хорошо было играть «в камешки», Маруся Мельникова, которую в классе звали Мельницей, отплясывала какой-то фантастический и довольно дикий танец. Она размахивала руками, выбрасывала ноги, притопывала ими и пыталась кружиться. Ее пелеринка сбилась в сторону, передник развевался. «Трам-там! Трам-там!» — напевала она. В этот момент в класс вошла отлучившаяся на время Наталья Николаевна. «Мельница!» — разъяренно, как всегда задыхаясь в момент гнева, выкрикнула Наталья Николаевна. «На-та-лешка!» — нимало не задумываясь, громко и раздельно крикнула Мельникова, прямо в упор глядя на Наталью Николаевну. Затем, притопнув ногами в последний раз, она спрыгнула вниз и с чувством оскорбленного, но восстановленного достоинства, приподняв одно плечо, направилась к своей парте.

Вечером мы, смеясь, рассказывали отсутствовавшим в тот момент в классе о дерзкой, но не лишенной остроумия выходке Мельниковой как о чрезвычайном происшествии, как о своеобразном поединке, победи-

тельницей в котором трудно было признать нашу Наталью Николаевну. Курьезность этого эпизода повышало то обстоятельство, что взрыв чувства собственного достоинства исходил от Мельниковой, неряхи, лентяйки, девочки, не пользовавшейся уважением в классе.

Epouvantail (Пугало)

В нашем рекреационном зале на полках одного из высоких застекленных шкафов стояли великолепно сделанные в натуральную величину из папье-маше бюсты представителей разных рас. Укрепленные на деревянных резных подставках, они, очевидно, предназначались как наглядные пособия для наших занятий. Но нам их никогда не демонстрировали. Мы с Олей с интересом рассматривали сквозь стекло шкафа черную голову негра, удивительно красивое лицо краснокожего индейца и представителя желтой расы.

И вдруг мы с Олей обнаружили, что шкаф с этими выразительными фигурами не заперт. И у нас возникла озорная мысль извлечь из шкафа особенно понравившуюся нам фигуру индейца с его коричнево-красным лицом и, задрапировав его плечи в простыню, поднять его высоко над головой и явиться с ним вечером в дортуаре.

Нам удалось тайком пронести облюбованную нами фигуру в дортуарный коридор и спрятать. Когда же все улеглись, мы с Олей, завернув индейца в простыню, прошли в туалетную комнату, закрепили простыню вокруг его шеи. Под простыней я подняла его во всю высоту вытянутых вверх рук. Фигура получилась гигантской высоты и фантастически страшной. В таком виде я и показалась в дверях дортуара.

Дружный вопль ужаса огласил дортуар. Задержавшись в дверях несколько секунд, я резким движением сбросила своего индейца с вытянутых рук, завернула его в простыню, быстро пробежала к своей кровати, сунула под нее злополучную фигуру и улеглась в постель.

Была полная тишина, когда дежурная классная дама показалась в дверях дортуара. Она недоуменно оглядела тихо лежащих в своих постелях девочек и безмолвно удалилась.

Не помню, как нам удалось вернуть нашего индейца на место. Мне кажется, что наша шалость не имела последствий. Нас никто не видал. Но в моем письме к маме от 3 ноября 1919 года есть такая фраза: «Уди-

вительное дело, хотя я и нашалила, Чапкина считает меня очень толковой девочкой и все время поручает мне заведовать разными делами...»

Другой шалости, кроме истории с индейцем, на моей совести не было. Может быть, она все же стала известна? Но она была значительно раньше моего письма маме.

Я тогда же, под живым впечатлением, описала ее по-французски «Epouvantail» — «Пугало». А сейчас мне просто не верится, что я была способна описать это приключение на французском языке.

Наше сословное самосознание...

Были ли нам, ученицам привилегированного учебного заведения, воспитанницам Института благородных девиц, свойственны дворянское самосознание, чувство социальной избранности, дворянская гордость?

Разумеется, от народа, от «простонародья», мы были отделены резкой чертой. Но родовитостью, знатностью ученическая среда нашего института отнюдь не отличалась. Я думаю, что многие из нас даже плохо себе представляли, что такое дворянство. Я знала о дворянстве по повестям Пушкина и Гоголя. Но все эти Дубровские, Муромские, Троекуровы, Берестовы, Маниловы и т.д.[33] жили в моем сознании как литературные герои и казались далеким прошлым. Я, городская жительница, никак не связанная с дворянским поместьем, просто не знала, что я — дворянка. Да и не была я дворянкой. Мой отец в своем дореволюционном послужном списке в графе «сословие» писал: «Из мещан». Звание потомственного дворянина он получил с офицерским чином, Георгиевским крестом и золотым оружием[34], заслуженным на войне. Так причислена была к дворянству и я. В институтские годы я ничего об этом не знала и совершенно не думала. В нашем классе было много дочерей офицеров. Лиза Савич, Нина Циглер были детьми состоятельных помещиков. Об этом я узнала позже и случайно. В классе моей сестры училась одна грузинская княжна Орбелиани. Сестра говорила, что это была очень милая, скромная девочка. Говорили, что в одном из старших классов есть еще одна грузинская княжна. Но грузинская... Это не то, что природная русская княжна.

И мы различали друг друга не по родовитости, знатности или богатству, о которых и не ведали, а по уму, доброте, красоте, общительности, даже по успехам в занятиях — по человеческим качествам.

И все-таки... Однажды Лиза Савич, дочь богатого помещика, прибежала в класс после музыкальных занятий несколько возбужденная и говорит: «Галя Гесс де Кальве вовсе не Галина, а Ганна». Ганна — ведь это совсем простонародное имя, деревенское, украинское... И внешность у Гали действительно не отличалась аристократичностью: курносая, с выдающимися скулами, покрытыми веснушками, рыжеволосая. Только большие карие глаза, отдававшие глубокой рыжинкой, красили ее лицо.

Свое открытие относительно Галиного имени Лиза сделала совершенно случайно. Дело в том, что инструменты для наших музыкальных занятий были расставлены по всему институту. Специальных музыкальных комнат было очень мало. Рояль стоял в актовом зале, в рекреационном, в каждом дортуаре, в салоне пепиньерок. Стоял рояль и в приемной начальницы. Именно здесь, в приемной начальницы, и занималась Лиза. Поджидая преподавательницу, Лиза заметила, что на конторке у окна лежит толстый журнал. Она стала листать его и открыла список нашего класса. Там она и встретила среди знакомых имен незнакомое имя Гали Гесс де Кальве.

Галя, как и все, слышала рассказ Лизы и спокойно, нисколько не смутившись, возразила: «Ты неверно прочла мое имя. Там написано «Галли», а не «Ганна». Мои предки — шведы, отсюда мои нерусские фамилия и имя».

Другой случай, приобретший даже легкий оттенок сенсации, произошел раньше. В нашем VI классе через некоторое время после начала занятий появилась девочка-еврейка. В Институте благородных девиц — еврейка!!! Невероятно! А дело было просто. Русский дворянин, вероятно, офицер русской армии, женился на еврейке, и появилась его девочка — Галя Барабаш. Мать сама привела ее в наш класс и никак не могла с ней расстаться. Как она ласкала свою девочку, склонялась над ней, гладила ее плечики, оправляя ее пелеринку, любовалась ею, видя свою дочь в этой своеобразной, облагораживающей форме! Было даже немножко смешно.

Я, сидя за своей партой, взглянула в этот момент на Галю, и наши взгляды встретились. Это была типичная еврейская девочка: темноглазая, темноволосая, и еще какие-то трудно определимые черты, говорящие о ее национальности. Но какое милое было это детское лицо! Какие правильных линий были все его черты. Все изумительно пропорционально: небольшой ровный нос, небольшой рот, четкий и мягкий овал лица. Но больше всего меня тронуло выражение этого юного личика: простодушие,

открытость, детская доверчивость и спокойствие. «Славная девочка», — подумала я.

В моих старых записках отмечено, что Галя Барабаш умерла. Я об этом событии не помню, но я не помню и Гали в старших классах. Так или иначе она исчезла из института. А сейчас не могу и думать, какое потрясающее горе должна была пережить ее мать, так безмерно любившая свою дочь...

Повод для социальных раздумий дала мне однажды Маруся Мельникова. Вернувшись после летних каникул, загоревшая, посвежевшая (это было, очевидно, уже в IV классе, осенью 1917 года), Маруся, стоя у своей парты спиной к окну, рассказывала группе сидевших вблизи девочек о том, что она провела лето в Крыму. Говорила она громко и с видимым удовольствием. Я, сидя на своем месте, слышала все совершенно отчетливо.

Ее мать работала кассиршей, продавала билеты для входа на пляж, она, Маруся, стояла контролером у входа на пляж. Благодаря этому они провели лето на курорте. Мне показалось, что Марусю слушают сочувственно. Я же, вслушиваясь в ее речь, не могла вообразить свою маму в роли пляжной кассирши, а себя стоящей у входа на пляж в качестве контролера. Нет, это было, несомненно, ниже нашего достоинства.

Осенью того же года мама, придя к нам на прием, мимоходом и совершенно спокойно сказала, что дочь папиного бывшего фельдфебеля[35] поступила в институт в VII класс.

Дочь папиного фельдфебеля?! Меня это сильно удивило. Я знала папиного фельдфебеля в довоенные годы. Это был серьезный, но совершенно простой человек. Ведь фельдфебель — это полусолдат!!! И дочь этого полусолдата — в институте! Мне не сразу пришло в голову, что за эти годы папин фельдфебель, участник войны, мог получить офицерский чин.

Да, некоторые сословные предрассудки и, вероятно, не у одной меня и, может быть, больше, чем у меня, у нас были.

Вообще же наша ученическая среда, как мне представляется, не блистала аристократизмом. Но ее несомненным достоинством были интеллигентный, я бы сказала, благородный тон поведения и общения. Это я хорошо почувствовала, попав на некоторое время в Чугуевскую гимназию. Никаких склок, кляуз, даже ссор — ни больших, ни маленьких — в нашем разнородном классе и, думаю, и в других не было. Мы были вежливы и доброжелательны по отношению друг к другу. Никаких ругательных и даже мало-мальски грубых слов в нашем лексиконе не было.

«Пожалуйста», «извини», «будь добра», «спасибо» — были обычны в нашем словоупотреблении. Если нужно было обратиться к группе девочек, мы легко, свободно, привычно произносили «господа». «Господа, кто помнит, что задано по географии? Господа, как вы думаете, какая завтра будет погода?» Невероятен, недопустим, немыслим был дерзкий тон, какая бы то ни было грубость по отношению к учителю или классной даме. Поэтому как «чрезвычайное происшествие» мы и восприняли выпад Мельниковой против Натальи Николаевны. Мельникова и была единственным исключением из общего тона, господствовавшего в классе. Ее и звали в глаза и за глаза «Мельница» (чего не делала я), но принимали ее такой, какая она была, с ее испачканными чернилами пальцами, криво сидящей пелеринкой, с ее задиристостью. Среда, которая поставляла детей в стены института, если не была аристократичной, то в основном была интеллигентной.

IV
НАШИ УЧИТЕЛЯ

Клепка

В один из первых же дней моего пребывания в институте Лида Алексеева спросила: «Ты любишь арифметику?» — «Да, — ответила я, — люблю». — «Ну, здесь разлюбишь», — уверенно заявила Лида и стала рассказывать о страшной учительнице — Клеопатре Петровне[36], которую боится весь институт.

«Нет, не разлюблю», — упрямо подумала я. Но учительница оказалась действительно умевшей наводить ужас.

В ее внешнем облике не было ничего ни отталкивающего, ни страшного, ни даже неприятного. Это была очень здорового вида полная блондинка лет сорока с румянцем во все полные щеки. Большой валик поднимал ее желто-русые волосы высоко над выпуклым лбом. Глаза у нее были несколько навыкате, над ними едва вырисовывались маленькими дугами светлые брови. Нос был слегка вздернут, полный, «двойной» подбородок завершал очертания ее лица. Ее крепкая полная фигура была туго затянута в корсет. От нее веяло энергией, здоровьем и опрятностью. За глаза Клеопатру Петровну мы называли Клепкой, рассказывали о ней

анекдоты, иронически посмеивались... и боялись. Боялись панически, каким-то сковывающим страхом. Поддалась общему страху и я.

В классе на ее уроках царила напряженная тишина, а к концу урока мы сидели с воспаленными щеками и блестящими глазами от пережитого в течение часа страшного напряжения. И если класс выходил на перемену с воспаленными щеками и возбужденным видом, все знали: в классе был урок арифметики.

Клепка не допускала, чтобы на уроке раздавался малейший лишний звук. Она запрещала употреблять резинку, точить во время урока карандаши. Девочка, у которой во время урока ломался карандаш, чувствовала себя мученицей, не знавшей, как поступить. Мы заготовляли на этот случай несколько тщательно отточенных карандашей. Отвечать Клепке было страшно до чрезвычайности. Лучшие ученицы терялись до беспамятства, утрачивали способность соображать. Бедные девочки метались у доски, нервно хватая то тряпку, то мел и не зная, когда отвечать, когда писать или стирать написанное.

Клепка кричала на нас грубо, оскорбительно, свирепо, не теряя при этом спокойствия. «Что вы мечетесь у доски, как телячий хвост?» — кричала она на растерявшуюся девочку. «У вас вместо головы — кочан капусты! У вас не голова, а тыква!» — громким сердитым голосом убеждала она отвечавшую. Это в институте, где с 10 лет нас величали на «вы» и, вызывая, должны были прибавить слово «госпожа». «Госпожа Морозова», — до сих пор слышу высокий резковатый голос преподавательницы географии Зинаиды Андреевны, которая мне очень нравилась.

Почему поведение Клепки нас пугало, заставляло трепетать, а не возмущаться? Мы даже смеялись над ней за глаза и все же смертельно боялись. Я не могу этого объяснить, как и того, зачем при своих несомненных преподавательских данных она выбрала эту манеру общения с девочками 10—14 лет? Мы и так вели себя очень хорошо. Кроме всего, на уроках бессменно сидела классная дама, которая наблюдала за каждым нашим движением. Никакая шалость ни на каких уроках не миновала бы взора классной дамы.

А вот такой пассаж. Мы сосредоточенно решаем классную контрольную. Клепка восседает за кафедрой. «Как стало холодно в квартирах, не правда ли, Наталья Николаевна? — обращается она к Наталешке. — Невозможно раздеваться. Я так в панталонах и сплю!»

Нам неловко, мы чувствуем неуважение к нам в таких разговорах, а она этого не понимает?!

Однажды во время урока на доске решалась задача. Девочка, стоявшая у доски, с задачей справиться явно не могла. «6» хладнокровно вывела Клепка в журнале и посадила отвечавшую на место. «6» была первая неудовлетворительная отметка в нашей двенадцатибалльной системе.

Клепка вызывает другую, посильнее. Задача не выходит. Снова «6», и девочка садится на место. Вызывается третья. Задача без движения. В журнале жирным шрифтом выводится «5», и вызванная свирепым голосом посылается на место. Вызывается четвертая. В журнале красуется «4», и вызванная гневным голосом отправляется за парту. Когда дело дошло до единицы, Клепка вызвала меня.

В моей тетради задача была уже решена, и я сидела, напряженно следя за происходящим и нервно потирая ладони вспотевших от волнения рук. Ни жива и ни мертва, я вышла к доске и, дрожащим голосом поясняя действия, довела задачу до конца. Раздался звонок. Клепка величаво спустилась с кафедры и выплыла из класса. Обгоняя классную даму, скользя по паркету, мы бросились к журналу. Жирные шестерки, пятерки, тройки, двойки и единицы метнулись нам в глаза. Против моей фамилии было четко выведено «7».

Я была поражена. Я, единственная решившая трудную задачу, получила едва удовлетворительную отметку, снижавшую при этом полугодовую, ставшую привычно высшую отметку «12».

Какова же была наша радость, когда отметки этого злополучного дня не были учтены в полугодии и в моем табеле по-прежнему красовалось «12».

Объясняла Клепка лаконично и предельно ясно, изредка сплывая с кафедры, и диктовала четкие определения и правила, которые мы записывали в толстые тетради, обязательные у каждой из нас. Я легко запоминала эти правила и определения и испытывала удовольствие от их четкости и стройности. Помню удовольствие, которое вызвало простое и ясное и вместе с тем казавшееся почти чудесным нахождение наименьшего кратного и наибольшего делителя. Пленяла меня и изумительная последовательность и стройная связанность друг с другом всех арифметических правил и действий. Было необычайно приятно открывать, как усвоенное ранее служит основанием тому, к чему мы подходили затем, как одно закономерно и последовательно вытекает из другого. Изящными казались стройные ряды дробей, в различных сочетаниях располагающиеся на страницах тетради.

Однажды, когда никто не мог решить заданную на дом задачу, даже несомненные отличницы, я решила эту задачу. И я возгордилась. Мне

было очень приятно считать себя сильной в арифметике. Мне кажется, что и в арифметике, столь точной науке, существует интуиция.

В нашем классе была девочка по имени Тоня Москвина. Она была очень некрасива, рыжая, вся усыпанная темными веснушками, с большим горбатым носом и небольшими бесцветными глазками из тех, что называют оловянными. В рыжих веснушках лица терялись светлые брови и белесые ресницы. У нее были опущенные покатые плечи, а за плечами опускалась длинная, толстая темно-рыжая коса. Короткие ноги делали нескладной всю ее фигуру. Тоня плохо училась и была неразвитой и замкнутой девочкой. Особенно плохо ей давалась арифметика. Я решила, что смогу помочь Тоне.

Близилась весна. Дело шло к концу учебного года.

За первое полугодие у Тони стояла шестерка, ей грозило или второгодничество, или исключение из института.

Я стала с ней заниматься. Вскоре мы писали классную контрольную. И вдруг после того, как Клеопатра Петровна выставила в журнале отметки за классную работу, в графе Тони, которая за полугодие ни разу не была спрошена, появились три отметки, поставленные задним числом на небольшом расстоянии одна за другой. Отметки были такие: шестерка и две пятерки.

Мы были возмущены. Столпившись у столика Наталешки, мы возбужденно объясняли ей потрясающую необоснованность этих отметок. «Москвину ни разу не спрашивали», — толковали мы на разные голоса. Особенно горячилась я, взявшая Москвину под свою опеку. Я прямо настаивала, чтобы Наталешка вмешалась в это дело. Наталья Николаевна кипятилась не менее меня, пыталась нам противостоять, брызгала слюной и кончила тем, что накинулась на меня: «Да что ты со своей Москвиной как с писаной торбой носишься?» — воскликнула она. Тогда я заявила, что сама пойду с Тоней к начальнице. Девочки горячо поддержали меня.

Теперешним школьникам трудно себе представить, какой это был смелый и решительный шаг. Начальницей тогда у нас была Ольга Александровна Милорадович, о которой я уже говорила.

И вот я и Тоня, обливаясь слезами, помчались к квартире начальницы. Квартира начальницы помещалась в конце коридора. Дверь к ней была белая и очень высокая, большая и, как казалось, всегда таинственно закрыта. И вот две дрожащие девочки робко тянут к себе ручку белой высокой и такой холодной двери.

Попадаем в приемную. На стене канделябры, портреты в золотых рамах, вдоль стен красные кресла, слева большой блестящий рояль. Красная дорожка на блестящем паркетном полу бежит направо к боковой двери. У двери звонок. Я нажимаю кнопку. На наш звонок выходит горничная, которая просто и приветливо говорит нам, что Ольги Александровны сейчас нет, но завтра в это время ее можно будет застать.

На следующий день за классной доской, слегка отодвинутой от стены (место всеобщего уединения), собралась группа сочувствующих нам девочек: кто крестит нас, кто сует за ворот иконки и крестики, целуют нас, и мы снова с великим трепетом идем за белую высокую дверь.

Нас просят подождать: начальница обедает. Она вышла к нам сразу после обеда. Увидев ее, мы с Тоней сразу, не сговариваясь, стали плакать. Потом я сбивчиво, волнуясь и спеша, рассказала, в чем дело. Ольга Александровна выслушала нас очень внимательно и сказала, что через неделю-две придет к нам на урок и сама выслушает ответ Тони. Она попросила нас напомнить ей о предстоящем уроке.

Успокоенные и радостные, мы побежали в класс. Но теперь предстояло усиленно готовиться. На дворе стояла весна. Сад был полон воздуха и света. Молодая зелень уже покрывала деревья и кусты. Слышны были переклички и щебет птиц. А две девочки в длинных платьях и белых пелеринках садились на зеленеющие ветки кустов или на скамью сада с тетрадями в руках и повторяли правила, определения, решали задачи. Мне было очень трудно. Ответы Тони были вялыми, нечеткими, сбивчивыми.

Иногда я вскакивала с места, бежала и кричала: «Догони!» Тоня стояла, опустив руки, растерянно улыбалась, обнажая некрасивые зубы, зная заранее, что ей меня не догнать.

В назначенный день мы сбегали напомнить Ольге Александровне о предстоящем уроке, и она тотчас же после звонка вошла в класс вместе с Клепкой. Когда она села рядом с Наталешкой за столик классной дамы, урок начался.

Вскоре вызвали Тоню. Тоня отвечала очень посредственно, но задачу с горем пополам решила. Ей поставили переходную оценку «7». Дело было выиграно. Я торжествовала.

На следующий год в IV классе Клепку сменил старик Колосовский[37], спокойный, мягкий. Он преподавал алгебру и геометрию. Все эти катеты, гипотенузы, треугольники казались мне простыми и ясными, и я была

очень удивлена, когда за мой первый ответ Колосовский поставил «9». О, наши учителя! Сколь субъективны порой ваши оценки!

И чтобы почтить память Клепки, которая всегда была ко мне благосклонна, я поспорила с Лидой Алексеевой, что в перемену подойду и поцелую Клепку, которая по-прежнему в переменах часто сидела в нише классного коридора. «Плитка шоколада!» — воскликнула Лида и протянула мне руку. Я пожала ее руку. «Ничего мне не надо. Просто подойду и поцелую», — сказала я, чувствуя, что в моем решении есть элемент озорства.

И вот вскоре в перемену, проходя мимо Клепки, сидевшей с какой-то из классных дам на привычной скамейке в нише, я подошла к ней, скороговоркой пробормотала: «Позвольте вас поцеловать», — и крепко поцеловала ее в полную свежую щеку у самого уха. «Ох, оглушила!» — воскликнула Клепка, смеясь и потирая ухо, как мне показалось, очень довольная.

«Поцеловала! Поцеловала!» — кричала я, вбегая в класс.

Прошло еще немного времени. Революционные события прекратили занятия в институте, и я стала учиться в гимназии в г. Чугуеве. Там у меня появились новые приятельницы. Однажды одна из них показывала мне большой семейный альбом. И среди множества чужих лиц мелькнуло одно, показавшееся мне знакомым. «Кто это?» — спросила я. «Это наша давняя знакомая Калерия Петровна». — «Клепка! Наша Клепка! Веселая, молодая, приветливая!» — кричала я.

Почему она стала такой свирепой, грубой, устрашающей? И зачем?

Madame Zouboff

Французский язык у нас преподавала Мария Францевна Зубова, та самая, которой я сдавала вступительный экзамен. Она была чистокровной француженкой, а русской фамилией ее наградил муж*.

Мария Францевна была довольно колоритной фигурой на нашем учительском небосводе как по внешности, так и по характеру. Уже не молодая, она была все еще красива, высока и стройна. Большие темные глаза, нос с явно выраженной горбинкой, резко очерченный рот — все обнаруживало ее нерусское происхождение. Темные волосы поднимал надо

* Ее девичья фамилия — Даньо.

лбом круглый валик. Движения ее были порывисты, речь экспрессивна. Она сильно грассировала, по-русски говорила с явно выраженным нерусским акцентом. Стараясь передать особенности французского произношения, она энергично растягивала губы, обнажая ровный ряд прекрасных белых зубов.

С уроками Марии Францевны у меня связано несколько воспоминаний, не только характеризующих ее личность, но заставивших меня по-новому взглянуть на состав нашего класса.

Была у нас в классе одна удивительно ленивая девочка — Клава Тамбовцева. Небольшого роста, тоненькая, изящная, она, казалось, только и занималась своей внешностью. Золотисто-рыжеватые волосы пушились над головой, а спереди были подрезаны в виде большой челки. Белое и румяное личико украшалось широко расставленными блестящими, как темные сливы, глазами, а продолговатый носик завершался круглым концом.

Однажды ее вызвала Мария Францевна и обнаружила, что Клава, как всегда, урока не выучила. Мария Францевна вспылила. Стоя за кафедрой и перегибаясь через ее край своей высокой фигурой, мешая русские слова с французскими, она почти кричала: «Votre parents — ваши родители богаты. Вы думаете, если вы богаты, вы можете не учиться?! Вы напрасно так думаете! Вы ошибаетесь! La richesse — богатство не главное в жизни. Уважают не за одно богатство! У человека другое достоинство — savoir — знание! Леность не украшает человека...»

Я внимательно смотрела на Клаву. Она стояла за своей партой, опираясь о нее кончиками пальцев, и молчала. Лицо ее было серьезно, но совершенно спокойно.

Клава богата. Значит, среди нас есть и бедные. До сих пор девочки в зеленых платьях различались мной совсем по другим признакам. Одни были умны и симпатичны, молчаливы или веселы, хорошо учились или ленились.

Однажды я спросила Олю: «Отчего Лиза Савич, такая умненькая девочка, так плохо учится?» — «Ты ошибаешься, — ответила Оля. — Присмотрись».

Скоро Лизу вызвала Мария Францевна. Лиза отвечала очень хорошо, а главное, Лиза свободно говорила по-французски. «Ее родители — богатые помещики, — мимоходом сказала мне Аня Кондратьева. — У нее с детства гувернантка».

Однажды Мария Францевна обнаружила, что многие из нас очень плохо читают по-французски. Она страшно взволновалась и решила принять экстренные меры. Она велела выучить наизусть весь французский текст рассказа Мопассана «La Parure» («Ожерелье»). Я принялась за работу, но скоро почувствовала, что мои нервы не выдерживают этой напряженной сосредоточенности. Я решила уйти в лазарет, чтобы там, ничем не отвлекаясь, выучить текст большого произведения. Доктор Ганшеев легко положил меня в лазарет, но и там я убедилась, что такая работа мне не по силам. Я была не в состоянии сидеть и все учить, учить... Тогда, прочитав весь текст рассказа, я выучила наизусть его начало, его конец и, рассчитав, какой кусок достанется мне, если Мария Францевна будет вызывать нас по алфавиту, выучила наизусть и этот довольно большой кусок.

К сроку я вернулась из лазарета. Несколько уроков шел опрос. Подходила моя очередь. И вдруг девочка, которая должна была отвечать передо мной, оскандалилась. Она текста не выучила. Но этого куска текста не знала и я. Мария Францевна вызвала меня. Набравшись смелости, я, с несвойственной мне отвагой, пока Мария Францевна выговаривала провинившейся, громко и четко стала произносить выученный мною отрывок. Затем Мария Францевна стала спрашивать значение слов, попадавшихся в моем тексте. Я знала их. Но слово «bureaux» я перевела «служба». Она поправила: «Контора» — и поставила мне «11». Я была очень довольна. И выученный мною текст рассказа Мопассана и слово «bureaux» я помню до сих пор очень хорошо.

Kennst du die Brücke ohne Bogen

Учительницу немецкого языка Маргариту Карловну Вебер* я не любила, как не любила и немецкого языка. Немецкий язык казался мне грубым, холодным, как и сама Маргарита Карловна. Может быть, тут сказался и наивный детский патриотизм. Немецкий язык был язык врага текущей войны. Сам язык напоминал мне солдатский строй. Очень много было в наших занятиях склонений и спряжений, взятых сами по себе, изолированно от живого текста. Они тоже напоминали четкий солдатский шаг, солдатский марш.

* Ее полное имя Амалия Маргарита.

Маргарита Карловна часто задавала нам учить наизусть стихотворения, и все большие, громоздкие. Проверяла же нас, заставляя класс в определенный день и час в ее присутствии написать наизусть выученное стихотворение на листке бумаги. Я выучивала старательно и писала его ради самопроверки несколько раз. Но чтобы не сделать случайной ошибки на контрольной в классе, я заготавливала специально выверенный лист и сдавала его как контрольный и не считала это обманом. Стихотворение было действительно хорошо выучено. Я не помню, какая отметка была у меня по немецкому языку. Горестно то, что сейчас я не помню ни одного из выученных тогда, казалось так прочно, стихов немецких классиков. Стихи были действительно громоздкие и малопонятные. Вот начало одного, которое сохранила моя капризная память:

Kennst du die Brücke ohne Bogen
Und ohne Joch von Diamant,
Die uber breite strome Wogen
Errichtet eines Greises Hand[38].

Я помню, но, как и тогда, не понимаю этих строк. Но тогда я воображала, что речь идет о небесном своде, «воздвигнутом» рукою старика, т.е. Богом. Таков ли действительный смысл этих строк, я не уверена.

Молекула

В отличие от арифметики мне совершенно не давалось естествознание. Его преподавала Мария Михайловна, та же учительница, которая вела у нас русский язык и литературное чтение. Выше «9» у меня по естествознанию не было. Сейчас я не могла бы сказать, какой материал мы изучали под названием «естествознание». Но запомнилось, как однажды Мария Михайловна, заключая урок, сказала: «Вот теперь вы знаете, что такое «молекула» и можете гордиться перед младшими, которые этого еще не знают».

Я действительно и теперь знаю, что такое «молекула» и, вероятно, бессознательно усвоила еще кое-что из преподносившегося нам Марией Михайловной.

И вот как-то я решила, стыдясь своей «девятки», единственной в табеле, подтянуть естествознание. Взяв в руки учебник, чтобы меня ничто

не отвлекало, ушла из класса и села у окна в дальней части классного коридора. Урок был небольшой — всего три четверти страницы учебной книги. К своему огорчению, я читала и ничего не понимала. Тогда я решила выучить наизусть непокорные строчки. Но, к моей досаде, непонятный текст упрямо не хотел укладываться в моей памяти. Весьма огорченная, я захлопнула книгу и ушла в класс. Кто или что был виноват?

Чего стоит «12»

В школе В.А. Платоновой, в которой я училась до института, не ставили отметок, и к отметкам я не привыкла. Когда кончалось первое полугодие моего пребывания в институте, Мишка Семенова как-то подошла ко мне в раздумье и говорит: «Если меня знакомые будут спрашивать, как я учусь, я скажу: "Хорошо, в первом десятке"». Я задумалась: «А как я учусь?» — и решила: «Наверное, тоже в первом десятке!»

Кончилось полугодие, мама получила мой первый табель и, увозя меня домой, удовлетворенно сказала: «Отметочки ничего!» А я удивилась: «Какие отметочки? Почему ничего?»

А через год, когда кончилось первое полугодие следующего, V класса, и в VII классе института уже училась моя сестра, мама писала бабушке (16 января 1917 года): «Радуют нас очень своими успехами... Наточка вторая ученица... Таня хуже учится, но ниже девяти нет». «9» — это мое «естествознание».

Как же я училась? Помню, в VI классе вызвала меня Мария Михайловна и дала разобрать предложение: подлежащее, сказуемое, определение, дополнение. Какими частями речи выражены: существительное, глагол, наречие, прилагательное. Так все просто и легко... И поставила мне «12». И я удивилась: «За такие простые и легкие вопросы ставит "12"». А через некоторое время опять задала мне разобрать столь же легкое предложение и поставила мне «9». Я опять удивилась: «Почему "9"?»

Так как же я училась? Собственно, я не училась, а готовила урок или не готовила. Если меня сегодня спросили, то в следующий раз, вероятно, не спросят, можно урок не готовить. А вот если давно не вызывали, урок надо готовить: могут спросить. Этой системы придерживалось большинство, и я скоро ее постигла. И мы редко ошибались. Это была не

лень. Нервная система не выдерживала постоянного равномерного напряжения. Но некоторые девочки работали действительно систематически, и главным образом из-за отметок. Такой, мне кажется, была Женя Сидорова, которая планомерно и сознательно шла к бриллиантовому шифру*.

Я же не придавала большой цены отметкам, хотя была огорчена, когда Клепка поставила мне «7». Меня даже отталкивала чрезмерная приверженность к отметкам.

Однажды Таня Игнатович получила, кажется, по-французски «11» вместо ожидаемых «12». Она безутешно плакала. Откинув голову назад, она не останавливала слез, бежавших по щекам из полузакрытых глаз и падавших на пелеринку. Она тихо всхлипывала и, казалось, не может остановить слез. Некоторые девочки пытались ее успокоить: «Ну, сегодня ты получила "11", завтра получишь "12"». Но Таня была безутешна.

Мне эта сцена показалась противной...

Эта странная Борткевич

В стипендию, на которую я была зачислена, не входила оплата музыкальных занятий. И в те часы, когда девочки, взяв ноты, расходились в разные уголки института, где были расставлены инструменты, я и еще несколько учениц оставались в классе и по большей части учили неприготовленные уроки. Но вскоре я сказала маме, что мне тоже хотелось бы учиться музыке. Мама внесла недостающую сумму, и я приступила к занятиям. Моей учительницей была назначена полька Борткевич**.

О Борткевич, ее странностях и чудачествах ходили целые легенды. И как только узнали, что моей музыкальной наставницей будет Борткевич, меня стали, посмеиваясь, посвящать в ее причуды.

Прежде всего говорили о курьезах в ее костюме: на одной ноге у нее может быть надет белый чулок, на другой — черный; на левой ноге туфля одного фасона, на правой — другого; говорили, что она неимоверно пудрится, употребляет духи с невероятно резким и неприятным запахом.

* Бриллиантовый шифр в виде вензеля царицы — высшая награда за отличное окончание института. Выше золотой медали.

** Очень жалею, что не могу вспомнить ее имени и отчества. Ее инициалы С.Ю.[39].

Говорили также, что она очень требовательна к своим ученикам и крайне несдержанна. На уроках в пылу раздражения она бьет своих учениц по рукам, ломает и выворачивает им пальцы. Сама же она необычайно музыкальна, играет превосходно, у нее абсолютный слух. С особой значительностью, но и тут не без легкой усмешки, рассказывали о ее замечательном выступлении в концерте, который был устроен в институте несколько лет назад, и как о смешной и загадочной странности упоминали, что после этого концерта она совсем не садится за рояль. Когда я выразила недоверие к этим рассказам, мне ответили: «Сама увидишь».

Естественно, что после подобной характеристики я шла на первое свидание с «этой странной Борткевич» не без волнения.

Но неожиданно наша встреча прошла очень просто и спокойно. Борткевич спросила меня, занималась ли я когда-нибудь музыкой, знаю ли я ноты. Я ответила, что музыкой еще не занималась, но ноты знаю. Она взяла мою руку, слегка согнула мои пальцы. После этого она посадила меня за рояль.

Борткевич оказалась уже немолодой и некрасивой женщиной. Ее утиный нос и все ее темное лицо было действительно сильно напудрено, а вокруг небольших серых глаз лежали темные круги, которые не могла скрыть и пудра. Уже начавшие портиться зубы она старалась прикрыть губами, когда говорила. Поэтому ее речь звучала неясно, казалась сюсюкающей. Одета она была в поношенное, но сшитое не без претензий темное шелковое платье, на шее лежала меховая горжетка, в которую она зябко куталась, а в руках была муфта. От нее исходил резкий запах духов. Особенно запомнились мне ее небольшие, но широкие и темные руки с недлинными широкими (не толстыми, а именно широкими) пальцами, очень мягкими, как будто без костей, сухие и горячие, и коротко остриженные круглые ногти.

Начались занятия. Занималась она со мной неровно, часто останавливала меня, заставляла повторить, сделать снова, иначе, лучше. Но я не помню, чтобы она при этом когда-нибудь сердилась. Иногда она клала свою горячую мягкую руку на мою, изменяла ее положение и то замедляла, то, наоборот, ускоряла, а то и совсем останавливала движение моих пальцев. «Что же, это и есть «выкручивание» пальцев?» — спрашивала я себя с усмешкой, вспоминая рассказы моих подруг. Иногда она просто держала свою руку на моей движущейся руке, как будто желая

непосредственно перелить в меня свое умение, свою волю. Но я не понимала, чего она хочет, и тогда порой мне казалось, что она мне мешает.

Иногда же во время занятий она как будто думала о чем-то своем, часто жаловалась на нездоровье, на головную боль, опускала темные веки, закрывала утомленные глаза, и тогда казалось, что она еле сидит на стуле. И вдруг обнаруживалось, что она чутко слушает меня и не пропускает ни одного не только неверного звука, но неверной силы удара.

Я занималась охотно, добросовестно, но при этом должна была признаться, что мне трудно, что я не понимаю, чего от меня хочет Борткевич и что она ищет во мне то, чего во мне нет. Удивляло и слегка раздражало, что Борткевич категорически запрещала учить наизусть даже самые простые пьески, тексты которых были в наших музыкальных сборниках. А была, например, в одном из них песенка Герцога из «Риголетто» Верди («Сердце красавицы...»). К ней Борткевич и притрагиваться не позволила.

Постепенно я привыкла к своей учительнице и не замечала ни ее обильной пудры, ни резкого запаха ее духов, ни сюсюкающей речи. Она совсем не казалась мне смешной. Она была просто Борткевич. Может быть, к моему отношению к ней примешивался легкий оттенок жалостливой нежности. Может быть, бессознательно я чувствовала ее симпатию ко мне.

Однажды Лида Алексеева, которая не занималась музыкой, явилась к концу урока в верхний дортуар, где стоял старый рояль и где проходили мои занятия музыкой, и стала совершенно неожиданно, с поразившей меня бесцеремонностью, осаждать Борткевич вопросами: «Такая-то хорошо учится?» — «Такая-то способная?» — «А такая-то хорошо играет?» И Борткевич вместо того, чтобы сказать, что урок еще не окончен, стала покорно, с легкой улыбкой отвечать на Лидины назойливые вопросы. «А Морозова успевает?» — вдруг спросила Лида обо мне. «Старается», — опять, слегка улыбаясь, ответила Борткевич. И мне показалось, что ответы Борткевич не формальные, а серьезные и правдивые оценки успехов ее учениц.

Вдруг Лида с удивительной смелостью и напористостью стала просить Борткевич сыграть нам что-нибудь. После долгих и многообразных отговорок Борткевич, к большому моему удивлению, медленно и как будто жеманясь, подвинула свой стул к роялю и подняла руки. Изумительно легкими и быстрыми прикосновениями пальцев она пробежала по клави-

шам, и из-под ее прикосновений единым музыкальным потоком полились нежные, поистине волшебные звуки.

Мы замерли. Борткевич играла минуты 2—3, не больше и вдруг оборвала игру. Мы на мгновение растерялись, так неожиданно умолк этот пленительный поток звуков, а затем мы, обе разом, бросились к ней, уговаривая, упрашивая, умоляя продолжить игру, начать снова, сыграть что-нибудь другое, но обязательно, обязательно сыграть опять. Все было напрасно. И в памяти осталось впечатление мгновенно мелькнувшего прекрасного видения, мелькнувшего и исчезнувшего навсегда.

И несмотря на все это, я ушла от Борткевич. В следующем году в институт поступила моя сестра Ната. Для занятий музыкой она была прикреплена к Ольге Ивановне Ган, которая пользовалась репутацией толковой и спокойной учительницы. Лида Алексеева тоже начала заниматься музыкой и тоже была прикреплена к О.И. Ган.

Лида стала меня уговаривать оставить Борткевич и перейти к Ган. Я колебалась. Я не верила, что Борткевич сделает из меня то, что хочет. Соблазняло меня то, что ученицы Ган много играли наизусть и быстро идут вперед. Ната тоже хвалила свою учительницу. Я сказала об этом маме. Мама, выслушав меня, написала заявление о том, что ей хотелось бы, чтобы обе ее дочери учились у одного преподавателя, а именно у О.И. Ган. Ее просьба без затруднений была удовлетворена.

Занятия у О.И. Ган показались мне удивительно скучными. Это были спокойные, методически размеренные упражнения и, как мне показалось, без вкуса и любви. Особенно запомнилась мне труженическая работа над гаммами, сходящимися и расходящимися, которые я уже усвоила у Борткевич.

Занятия постепенно стали терять для меня живой смысл и интерес. Возникло чувство вины перед Борткевич. Встречаясь с ней, я вежливо здоровалась, но чувствовала все нарастающую неловкость. Она иногда останавливала меня, смотрела на меня печальными глазами, но никогда ни в чем не упрекала. А во мне что-то назревало. Не понимая ясно, я чувствовала, что в моей нелепой, смешной Борткевич есть что-то такое, чего нет и не может быть у разумной, толковой и авторитетной Ольги Ивановны. Не отдавая себе ясного отчета, что произошло, я стала настойчиво, не объясняя причин и не обращаясь к посредничеству мамы, проситься обратно к Борткевич. Разумеется, безрезультатно.

Художник

Если не изменяет мне память, то уроки рисования были у нас только раз в две недели. Перед уроком наш швейцар Яков набрасывал на классную доску большой кусок зеленого сукна, нам раздавали наши тетради для рисования, и в класс входил учитель Митрофан Семенович Федоров. Это был немолодой человек. Его длинные волосы были изрядно тронуты сединой. Держался же он просто, в классе дышалось легко. Он поправлял складки сукна на доске, иногда усложняя линии спадающей ткани, иногда заостряя ее углы. И мы рисовали...

От урока к уроку, из года в год то же зеленое сукно, только его складки вольно или невольно ложились на доске то проще, то сложнее. Но я очень любила рисовать и с удовольствием чертила карандашом причудливо падающие складки, извилины и углы.

Только раза два за все годы наших занятий вместо зеленого сукна на доске — на кафедре красовался какой-то горшочек немудреной формы, а в другой раз на кафедру водрузили поднос со скромным набором геометрических фигур.

В моей тетради и в годовом табеле неизменно значилось «12».

Однажды во время урока Митрофан Семенович взял небольшой листок бумаги, взглянул на Женю Сидорову, сидевшую в самом центре класса, и быстро двумя-тремя штрихами набросал что-то на взятом листке. Мы были уверены, что он нарисовал Сидорову.

Маленького роста, коренастая, с большим выпуклым лбом, крошечными глазками-точечками, крошечным носиком и редкими волосами, заплетенными в короткую тоненькую косичку, Женя была на редкость некрасивой девочкой. Особенно был нехорош ее рот, напоминавший пасть лягушки. Несомненная отличница, первая ученица класса, она держалась уверенно, но просто, что сглаживало непривлекательность ее внешности.

Мы стали упрашивать Митрофана Семеновича показать нам нарисованное. Он отказался и спокойно положил листок на кафедру, убежденный, что к нему никто не дерзнет притронуться. Но едва он отошел от кафедры, как листок был схвачен, мгновенно облетел весь класс и вновь был положен на место. Да, это был легко очерченный профиль Жени. Сходство казалось удивительным потому, что на бумаге значилось всего несколько линий, и они передавали все своеобразие Жениного лица.

Талантливый художник, добрый человек, почему он так бедно, так однообразно вел свои занятия?

«Ты не плачь, береза бедная...»

Осеннее солнце заливало сад. Сквозь пустевшие ветви деревьев оно пробивалось вниз и подвижными пятнами ложилось на дорожки, устланные вялыми и сухими желтыми листьями. Было мягко и весело идти.

Я и Оля приближались к выходной калитке. Уже был звонок, оповещавший конец перемены. С отдаленных концов сада бежали девочки. «Скорее! Скорее! — закричали нам из группы наших одноклассниц. — Новый учитель словесности! Учитель молодой! Скорее! Скорее!» И они поспешно побежали вперед. Мы с Олей ускорили шаги.

Минут через 15 все сидели за партами. В класс вошел молодой человек в очках со светло-русой бородкой, невысокий, но стройный. В классе стало тихо.

Он остановился в середине класса, не поднимаясь на кафедру, между нашими партами и окном. Он заговорил о поэзии как о роде литературного творчества, о стихе, о значении интонации в чтении, о том, чем она определяется, о роли пауз и негромким голосом начал:

Острою секирой ранена береза,
По коре сребристой покатились слезы...[40]

Дочитав стихотворение до конца, он заставил кого-то прочесть его по книге и задал к следующему уроку приготовить читать это стихотворение наизусть.

Стихотворение казалось странным, непохожим на те, которые мы привыкли читать и слышать. Вообще все было необычно. Запомнилась сдержанность жестов молодого учителя.

Накануне следующего занятия весь класс твердил: «Ты не плачь, береза бедная, не сетуй...»

Я осторожно про себя или вполголоса тоже повторяла строки заданного стихотворения. Слова казались слишком нежными для произношения вслух.

«Кто хочет прочесть стихотворение?» — после некоторой паузы спросил учитель, войдя в класс на следующий урок и стоя на прежнем месте.

Класс напряженно молчал. Учитель повторил вопрос. Класс остался тих и недвижим. Молодой человек стал теребить бородку. Я нечаянно сделала какое-то легкое движение, отнюдь не означавшее желание выступить. «Вы хотите? — поспешно обратился он ко мне и сделал шаг в мою сторону. — Пожалуйста, прочтите...» Я в замешательстве встала.

«Острою секирой, — услышала я дрожь своего голоса, — ранена береза... По коре сребристой, — вела я дальше, держа голос на одной ноте, с трудом от волнения выговаривая слова, — покатились слезы... Лишь больное сердце не залечит раны...» — закончила я.

В классе еще дрожал звук негромкого напряженного голоса...

«Вы не работали над стихотворением», — сказал учитель, глядя мне в лицо серьезно и печально. Все мое существо дрогнуло от обиды и огорчения. Я молча села. «Я не работала? — думала я грустно. — Я работала. Я с любовью заучила коротенькие строчки чужого стихотворения. Мне оно нравилось. Оно казалось необычайно тонким и будило в душе грустное нежное чувство. Но чувство, очевидно, оставалось внутри и от волнения не передавалось в звучании голоса. Как же надо работать? Что нужно делать?»

После меня учитель вызвал еще кого-то. Затем стал говорить о стихе, о музыке стиха. И обещал в ближайшее время принести на урок скрипку.

Мы очень ждали этого дня. Но больше новый учитель не пришел. Мы больше его не видели, ни его, ни скрипки. Почему? Это осталось для нас загадкой. Это осталось одним незавершенным, но светлым эпизодом в нашей однообразной институтской жизни. Но и теперь, когда мне на уста приходят строки стихотворения А.К. Толстого о раненой березе, я неизбежно вспоминаю о молодом человеке, желавшем раскрыть нам тайну единства музыки и поэзии.

Ио, превращенная в корову

Она была маленькая, черненькая, с выпуклым лбом, маленькими черными глазками и кривоватыми ножками. Черные, гладко зачесанные волосы были собраны сзади в небольшой пучок. Это была учительница истории — нового предмета, начатого в IV классе. Звали ее Екатерина Дмитриевна.

С первого же урока мое внимание привлек необычайный фасон ее шерстяного, синего, как обязывала форма, платья: широкий воротник,

начинаясь у горла, волнами спадал с плеч, как наши пелеринки. Мне почудилась в этом некая претенциозность — сознательная имитация наших пелеринок.

Ее уроки нарушили монотонное течение нашей жизни. Говорила Екатерина Дмитриевна легко и живо и вызвала горячую увлеченность целой группы девочек. Особенно страстно записывали ее лекции Милица Баженова, Надя Альбосская и, кажется, Нина Иссова. Они суетливо перечитывали вслух свои записи перед ее уроками. Екатерина Дмитриевна даже становилась во время уроков справа от кафедры прямо против них, как будто предназначая свои лекции этим увлеченным девочкам.

Меня же ее лекции, к сожалению, оставили равнодушной. Из ее лекций я узнала, что богом Древнего Египта был бог солнца Ра, узнала имена богов греческого Олимпа и Древнего Рима, услышала историю о том, что кто-то кого-то зачем-то превратил в корову[41]. Наибольший интерес и даже симпатию вызвал у меня бог пастбищ и стад, вестник богов Гермес. Он казался живым человеком, но было непонятно, как совмещал он свои постоянные перелеты с заботами о кормильце народа — скоте.

Самое разительное заключалось в том, что в лекциях Екатерины Дмитриевны я не помню ни реальной Эллады, ни Древней Римской империи, ни Римской республики. Возникло впечатление бесконечных сказок, лишенных какого бы то ни было морального или философского смысла. Боги древнего Олимпа отнюдь не правили миром и не повелевали судьбами людей. Они предавались собственным страстям и безнравственным прихотям. То ли я не умела уловить сущность излагаемого материала, отделить главное от второстепенного, то ли милейшая Екатерина Дмитриевна безмерно увлекалась мелочами Древнего мира и главным образом его мифологией.

В награду за свое равнодушие к античному миру я и имела по истории весьма скромную отметку — «9».

В следующем, III классе в нашей программе значилось: «Эпоха феодализма». Это была история реальных взаимоотношений сословий, классов, живых людей. Я стала не просто слушать, но и записывать лекции Екатерины Дмитриевны. У меня чудом сохранилась выцветшая розоватая тетрадь, в которой полудетским почерком по старой орфографии сделаны, увы, весьма скудные записи и зарисована защитная башня феодалов.

Не понимаю, почему не было учебников?

Екатерина Дмитриевна заметила перемену в моем настроении и както сказала: «Морозова, кажется, в этом году собирается учиться...»

Она была права. Я свободно, никем не понуждаемая, входила в заповедную область знания. Но снисходительно-покровительственный тон, которым Екатерина Дмитриевна произнесла свои слова, задел мое юное самолюбие. Я промолчала, опустив глаза. Учительница истории по-прежнему не вызывала у меня большой симпатии.

Революционные события прервали уроки истории и жизнь института вообще.

Лучше вспыхнуть и ярко сгореть...

Через некоторое время после того, как исчез молодой учитель, обещавший прийти к нам со скрипкой, в нашем классе появилась новая учительница словесности — Любовь Андреевна. Это была средних лет женщина, высокая, худощавая, с маленькой головкой и лицом, усеянным угрями. Увы, внешность учителя слишком много значит для учащихся. Отличала ее и некоторая слащавость тона в отношениях с нами.

На одном из первых уроков она прочла нам басню Крылова «Две собаки» и так выразительно, почти нараспев произнесла слова «Жужу, кудрявая болонка», что мы за глаза стали звать ее «Жужу».

Однажды она задала нам домашнее сочинение на тему пословиц. Продиктовав нам ряд пословиц, она сказала, что желающие могут написать сочинение на пословицу, не вошедшую в список.

Я любила писать сочинения. Выбрала я пословицу «Мал золотник, да дорог». Преобразив жившую у нас одно время в Чугуеве домашнюю работницу Васильевну в доброго гения скромной интеллигентной семьи, я подробно описала трогательные заботы маленькой немолодой женщины о каждом члене этой семьи. Я получила «11».

Девочка из Смольного Маруся Смирнова, написавшая на эту же тему, рассказала о молодой женщине, торопливо идущей после тяжелого дня работы домой, где ждет ее маленькое любимое существо, ее сокровище, ее дитя, ее сынишка, который дороже ей всего на свете. Марусино сочинение было зачитано в классе и оценено высшей отметкой «12». Оля тоже получила «12». Ее сочинение тоже было зачитано в классе.

Одно же сочинение не было оценено и не было возвращено его автору. Это было сочинение Жени Рудневой.

Женя Руднева пришла к нам недавно, в один из старших классов, вероятно, в IV. Именно в этом классе, если не в начале следующего, мы и писали сочинение на пословицы.

Женя Руднева была очень высокая и очень худая девочка лет пятнадцати. У нее были большие серые глаза и белое скуластое лицо с ярким румянцем на щеках и скулах. Волосы цвета спелой ржи были коротко острижены, но лоб закрывала густая челка. Женя целыми днями читала, подперев голову руками, и, казалось, не замечала окружающего. Где она брала книги, что это были за книги, я не знаю.

Тема, которую Женя взяла для своего сочинения, не значилась в списке. Она гласила: «Лучше вспыхнуть и ярко сгореть, чем долго и медленно тлеть».

Несколько дней у парты Жени толпились девочки. Она читала им отрывки из черновика своего сочинения и что-то рассказывала. Оля тоже была среди девочек, окружавших Женю, и я видела, как, жестикулируя, она что-то горячо ей внушала.

Из обрывков разговоров, доносившихся до моей парты, я поняла, что героиней, воспетой в Женином сочинении, была актриса, совершившая какой-то экстравагантный поступок на эротической почве и погибшая.

Вдумываясь теперь в свое тогдашнее отношение к истории с сочинением Жени, я чувствую большое затруднение его понять и охарактеризовать.

Я, девочка 13—14 лет, не испытывала ни малейшего любопытства, ни малейшего желания узнать содержание этого скандального, нашумевшего сочинения, я не прислушивалась к разговорам, доносившимся до меня от парты Жени, я слышала поневоле их обрывки, и они не привлекали, а отталкивали меня. Я бессознательно отстранялась, защищалась от того, что мне казалось нечистым, ненормальным, извращающим естественные и чистые человеческие чувства, помыслы и поступки. И примечательно, когда Оля отошла от Жени и, немного возбужденная, села рядом со мной за нашу парту, а я невольно подняла на нее глаза, Оля категорично и твердо сказала: «Тебе нельзя, тебе неинтересно». Значит, не только я сама, но и мой друг оберегал меня от всякой человеческой скверны.

Я не помню, чем кончилась эта история. Женю, кажется, вызывали к начальнице. Но думаю, никакая начальница не могла переубедить ее. Могу лишь предположить, что родителям Жени предложили взять дочь из института.

«Троянда»

Звонок на урок прозвенел, мы сидели за партами и ждали.

Дверь открылась, и в класс вошел довольно молодой человек в обыкновенном черном европейском костюме. Мы встали. Он поднялся на кафедру, поздоровался с нами наклоном головы и начал урок. Так приступили мы к изучению украинского языка.

Мне сейчас очень трудно вспомнить, было ли это в IV или в начале III класса, т.е. при Украинской Раде[42] или при гетмане Скоропадском, о которых мы, вероятно, толком и не слышали. Так или иначе, но в наш курс было введено изучение украинского языка.

В Харькове до Октябрьской революции господствовал русский язык. Всюду — и на улице, и в магазинах, и в трамвае — звучала русская речь. Украинский язык, вероятно, можно было слышать на базаре, куда привозили свои продукты селяне. Мы на базаре не бывали. Но украинский язык был родственный язык. Многие из нас знали украинские песни. Я знала Шевченко. Что-то говорили сердцу и слуху украинские повести Гоголя. Не одна из нас имела те или другие соприкосновения с деревней.

Теперь мы стали изучать литературный украинский язык с особенностями его произношения, склонения и спряжения.

Вскоре учитель задал нам выучить наизусть украинское стихотворение. Я не помню его автора и забыла его последние строки. Но основную часть помню хорошо. И мне хочется позволить себе привести здесь это стихотворение как воспоминание о юности и как неувядающую память о ставшей теперь чужой, но остающейся близкой и любимой Украине.

ТРОЯНДА (РОЗА)

Цвіла Троянда у садочку,
А недалечко, у круточку,
Меж бур'яном бринів Будяк,
І каже він Троянді так:
— Нащо се ти колючок начіпляла?
— А ты нащо? — вона його спитала.
— Я? — обізвавсь Будяк, —
Я, серденько, не проста штука,
Я, — степовий козак!
Мені колючка, як шаблюка,
Щоб ворогів страшить,
Щоб всім було спокійно жить,

Вам більш нема ніякої роботи —
Цвісти, пахтіть, а не колоти.
— Не все же колоться Будякам, —
Троянда каже, — треба й нам,
Щоб Крученіі паничі боялись
І до Троянди не чіплялись.
Сунеться який біс —
Йому колючка в ніс...
Щоб не забував,
Як слід Троянду шанувать
А не знічев'я обвивать...[42а]

Уроки рукоделия

На уроках рукоделия нас учили шить. Мы освоили шов «вперед иголку», шов «назад иголку», петельный шов, «запошивку», метание петель. Потом мы учились штопать чулки. Мы носили белые плотные чулки, и в наших мягких прюнелевых башмачках они рвались очень мало, но все же они дали нам возможность штопку освоить. Все эти навыки весьма пригодились в моей дальнейшей взрослой жизни.

В старшем, кажется, III классе нас должны были учить кройке и шитью. В класс пришла средних лет скромная женщина в сером платье и белом переднике. Она научила нас пользоваться сантиметром, и в наших тетрадях появились рисунки женской рубашки с короткими рукавами и открытым воротом и с обозначением размера каждого ее элемента. Но, увы, претворить рисунок в раскроенную ткань нам не было суждено. Наступило такое время, когда институт потерял возможность закупать материал и для наших скромных рубашек.

V
МОЛОДЫЕ ДУШИ

«Обожание»

Специфической особенностью институтского быта считается «обожание». Е.Н. Водовозова в своих воспоминаниях о Смольном институте «На заре жизни» изображает обожание как явление уродливое, нелепое, смеш-

ное, искусственное и вместе с тем широко распространенное в институтской среде. В мое время в нашем институте «обожание» было явлением совсем незаметным. Я бы даже сказала: «Его не было». Но я «обожала».

Сначала я познакомилась с девочкой старше меня на один класс — Марусей Синицкой. Я встречала ее в рекреационном зале, подходила к ней, и мы обменивались несколькими словами. Мне нравилось ее правильное овальное личико и синие глаза. Мы были на «вы», я относилась к ней с некоторым почтением, как к старшей, но нас, смею думать, связывала простая взаимная симпатия. Почему это называлось «обожанием»? Просто здесь сказывалась жажда дружеского общения. Оли в институте тогда еще не было.

Совсем другим было мое, возникшее несколько позже отношение в девушке II класса Мурочке Вольской. Это было действительное, мной самой признанное «обожание», издалека, на расстоянии.

Я совершенно не помню, когда и чем она привлекла мое внимание. Она вовсе не была красавицей. Но у нее были большие светлые глаза и прекрасная, очень длинная, опускающаяся значительно ниже пояса, темная коса. Среднего роста, тоненькая, она дышала юностью, изяществом и чистотой. Ей было 17 лет, мне 11. Мне она казалась существом высшим, отрешенным от всего пошлого, низменного и даже обыденного.

Я никогда не подходила к ней, не искала встреч. Только однажды она шла по классному коридору с подругой, а я на некотором расстоянии шла с Женей Лобовой сзади. Я сделала шаг-два вперед, взяла кончик Мурочкиной косы и поцеловала его. «Как ты можешь так унижаться?» — укоризненно сказала Женя. А я и после укоризны Жени не почувствовала себя униженной.

Я не помню, чтобы я думала о Мурочке, когда я ее не видела. Но она жила в моей душе как что-то светлое, прекрасное, возвышенное, одухотворяющее и обогащающее мое существование.

Внешне мое «обожание» выражалось в том, что в день своих именин я ставила на стол ее класса кусок торта с надписью: «Мурочке Вольской от Тани Морозовой», а в день ее рождения или именин я просила маму купить торт или цветы и прямо через швейцара отправить Мурочке от моего имени. Я не помню, чтобы Мурочка как-нибудь реагировала на эти проявления моего внимания.

Прямая моя встреча с Мурочкой произошла в бараке. В бараке, делая розы из цветной бумаги, я составила целый букет роз и послала его

Мурочке. Я боялась, что она примет это за насмешку — «бумажные цветы», но, право, они были вовсе не плохи, и мне сказали, что Мурочке они понравились. Таковы были доступные мне, очень скромные и, кажется, совершенно невинные проявления моего обожания.

Однажды к Мурочке в приемный день пришла в барак целая компания гостей. Кроме матери в ней было много молодых людей и среди них один офицер. Из открытых дверей палаты старших через общий коридор в нашу палату доносился оживленный разговор на польском языке (Мурочка была полькой). Выделялся веселый Мурочкин голос и часто повторявшееся звонкое «цо» («что»). Я чутко прислушивалась к этому разговору, но, разумеется, ничего не понимала. «Идеал польской красоты», — сказала о Мурочке в этот вечер мать одной девочки, посещавшая дочь.

Лицом к лицу я столкнулась с Мурочкой в коридоре барака. На моем лице, вероятно, отразилось великое смущение. Я ушла в свою палату. Мурочка последовала за мной, села рядом со мной на мою кровать, обняла меня и прижала мою голову к своей груди. Мне было очень неудобно сидеть, опустив и повернув голову в сторону, я была смущена и растрогана.

Мурочка окончила институт. Я перешла в IV класс. Позади была Февральская революция. Я не помню, как мне стал известен Мурочкин адрес. Но я из дома, во время зимних каникул, написала ей письмо. Я писала о переменах, которые произошли в институте, вероятно, об отъезде Ольги Александровны. И получила от Мурочки в маленьком конверте написанное изящным почерком небольшое, простое и доброе письмо. «Милая Таня» — так начиналось письмо. Далее Мурочка писала, что она не ожидала, что «наши отношения» продолжатся после ее выхода из института и что она рада, что они не прервались... Значит, она помнила и думала обо мне. Ничего смешного, карикатурного, пошлого в наших отношениях не было.

Но на этом «наши отношения» действительно прекратились. Революционные события разобщили нас окончательно. Я не знаю ничего о дальнейшей судьбе моей Мурочки. Но если в обожании выражалась жажда молодой души прекрасного, возвышенного, доброго, мне хочется верить, что моя Мурочка отвечала этим стремлениям, была на высоте.

Я убеждена, что «обожание» имеет место в среде любого учебного заведения. В институте оно усиливалось замкнутостью жизни и бедностью

серьезных внешних впечатлений. По опыту собственной восьмилетней работы в средней школе знаю, что и советскую школу не миновала влюбленность юных в старших, трогающих молодое воображение, несущих в себе зерно прекрасного или кажущихся воплощением идеала.

«Житие великомученицы Татьяны...»

Однажды вечером, это было в первый год моего пребывания в институте, классная дама почему-то не могла дежурить у нас в дортуаре, и к нам приставили даже не пепиньерку, а старшеклассницу. Когда мы улеглись, мы попросили ее что-нибудь нам рассказать. И она рассказала. Она рассказала нам сказку о царевне-лягушке.

Мне было 11 лет. Эту сказку я знала с раннего детства. Но молодая девушка рассказывала ее так прекрасно, с такими красочными подробностями, так выразительно, что мы слушали, затаив дыхание и испытывая необыкновенное наслаждение.

В рекреационном зале стояли высокие шкафы. Сквозь стекла одного из них были видны корешки множества книг. Однажды старик Колосовский, который с IV класса стал преподавать у нас математику, открыл один из них, и целая группа любителей чтения кинулась к нему. Я стала перебирать книгу за книгой, но не встретила ничего, тронувшего бы мое внимание. Бесконечные жития святых шли одно за другим. Плотными рядами стояли толстые книги на французском языке. Я вынула одну, другую. Они были совершенно мне недоступны. Кончилось тем, что я взяла «Житие великомученицы Татьяны» потому, что носила ее имя. Я добросовестно прочла эту небольшую брошюру, содержащую описание религиозных подвигов великомученицы, и, увы, совершенно ее забыла.

Ярким пятном лежит воспоминание о двух уроках рукоделия. То ли они не состоялись, то ли мы выполняли какую-то механическую работу, но наша классная дама Наталья Николаевна взяла книгу и в течение урока читала в затихшем классе повесть В.П. Желиховской «Над пучиной» и другой раз — повесть неизвестного мне автора «Против течения»[43]. Я поражаюсь, что память удержала названия прочитанных нам столько лет назад повестей, тем более, что я абсолютно не помню теперь их содержания. Помню только, что от повестей веяло чем-то близким, привлекала молодость героев, захватывал интригующий ход событий.

Однажды вечером, сидя за партой, я просматривала хрестоматию по литературе. В середине толстой книги мне попался отрывок: «Молодая девушка Марфинька кормит в саду голубей»[44]. Какой-то необыкновенной свежестью и пленительной поэзией повеяло на меня от этого отрывка, и я перечла его еще раз.

Другой раз, когда я перелистывала ту же хрестоматию, мое внимание привлекло стихотворение, начинавшееся строками: «Был суров король дон-Педро, трепетал его народ...» Стихотворение дышало суровой поэзией, трогало и поражало его содержание. Оно было таково: одной страной в отдаленные времена правил жестокий и своенравный король. Однажды, разгневанный чьим-то проступком, он повелел казнить провинившегося. Но среди его подданных не нашлось ни одного, кто согласился бы привести казнь в исполнение. Все поднялись и ушли в горы, оставив жестокого правителя в одиночестве. Когда же они вернулись, в стране водворился мир, страна не знала больше ни преступлений, ни казней. Стихотворение как-то особенно запало мне в душу, и в последующие годы мне оно часто вспоминалось. Мне очень хотелось его найти и прочитать. Но я не помнила ни автора, ни названия.

Много лет спустя я как-то держала в руках томик Майкова и перелистывала страницу за страницей. Вдруг я чуть не вскрикнула от радости. Я читала: «Был суров король дон-Педро...» Но, увы, это было совсем другое стихотворение, начинавшееся знакомыми строками («Пастух»).

Я до сих пор не могу разгадать этой пленительной загадки. Могу лишь предположить, что в моем сознании непроизвольно слились два стихотворения, помещенные в нашей хрестоматии. Но в какой?

Скудны были мои литературные впечатления в стенах института. Некоторым дополнением были наши вечерние устные рассказы. Устроившись в постелях для ночного сна, когда в дортуарах гасили большой свет, а под потолком оставался голубой ночничок, кто-то как-то удачно рассказал прочитанный дома рассказ. И повелось... Постепенно ролью ежевечернего рассказчика завладела Женя Сидорова. Говорила она гладко, легко. Иногда она рассказывала несколько вечеров подряд какой-нибудь роман. И, заканчивая, сообщала: «Это из Писемского». Я тогда Писемского[45] не читала и не могу судить, действительно ли это было «из Писемского». Но мне не нравилось, что рассказывала Женя. От ее романов веяло пошлостью. Это были бесконечные любовные истории, в которых влюбленные почему-то всегда соединялись до или без брака. Этот момент назывался «Это».

Женя Сидорова была девочкой, с которой за все годы пребывания в одном классе мы, кажется, ни разу не обменялись ни взглядом, ни словом. Вместе с тем я иногда наблюдала, как она готовит уроки, легко двигая руками, аккуратно укладывает в парту книги и тетради. Она была отличница. Никакого недоброго чувства у меня к ней не было. Но и симпатии не было никакой.

Летом 1917 года мы совместно с семьей папиного однополчанина Ф.И. Васильева сняли дачу под Харьковом в поселке Васищево в имении Мельгуновой.

В семье Васильева было два мальчика, Котя и Митя, ровесники, мой и моей сестры. Васильевы привезли на дачу много книг. Среди них я обнаружила Тургенева. И стала читать. Читать поглощенно, забывая окружающее. Как-то я сказала маме: «Котя не читает, а у них есть Тургенев, а у нас нет». Мама ответила: «У нас есть Тургенев...»

Следующее лето мы проводили в Чугуеве, куда наша семья переехала из Харькова. И я повторно с упоением читала Тургенева. Я читала Тургенева, Гончарова (теперь я узнала, где живет милая девушка Марфинька), Лескова, Данилевского, Станюковича[46]. Но Тургенев... Вместе с ним в мое сознание вошел новый огромный прекрасный мир. Я знала его теперь превосходно. Я могла перечислить не только его романы, но все его произведения, называя не просто «Записки охотника», но каждый очерк, входящий в прославленный сборник, знала все его второстепенные произведения, ранние и поздние, его юношеские стихи, его поздние стихотворения в прозе. Тургенев определил мои понятия о должном, о прекрасном, о любви, о красоте природы. Может быть, в какой-то степени создания Тургенева затмили тот реальный мир, в котором я жила. Из романов Тургенева мне были наиболее близки «Дворянское гнездо» и «Накануне». Л.Н. Толстого и Достоевского я прочла позднее, когда институт был позади.

«Мне душно, мне тесно в стенах института...»

Я не знаю, многие ли из моих одноклассниц писали дневники. Это было делом интимным. Но знаю, для некоторых из нас дневники составляли важную сторону их душевной жизни. Оля писала дневник не часто и довольно скупо. Я не могла и помыслить коснуться ее дневниковой тетради.

Однажды Женя Лобова подвела меня к своей парте, вынула толстую тетрадь, открыла ее. В верхнем левом углу открытой страницы был наклеен небольшой пожелтевший кленовый листик, а рядом написаны грустные строки об увядающей природе и о том, какое печальное чувство будит этот маленький пожелтевший листик. Я отдала дань Жениным элегическим настроениям, их поэтичности, но мне они показались несколько излишне сентиментальными.

Я писала дневник почти ежедневно. Это было моей настойчивой потребностью. Если мне не удавалось в какой-нибудь день сесть за дневник, я чувствовала неудовлетворение. Хорошо помню две толстые клеенчатые тетради, заполненные полудетским почерком и с крупными цифрами, обозначающими годы: 1915, 1916, 1917. В конце одной из тетрадей были вписаны стихи моего сочинения*.

Разумеется, в дневнике были запечатлены события нашей довольно однообразной институтской жизни. Но главным в моем дневнике было излияние настроений и особенно — тоски, неудовлетворенности. Насколько я помню себя в институте, я не была тоскующей, ноющей девицей. Может быть, то, что копилось в душе на почве однообразия нашего существования, неудовлетворенности, отсутствия развлечений, недостатка радостных впечатлений, выливалось в дневнике и освобождало юную душу от угнетающих настроений.

Помню одно свое довольно аляповатое стихотворение, вписанное в текст дневника, вероятно, в V и не позднее IV класса:

Мне тесно, мне душно в стенах института,
Мне хочется волей свободной дышать,
Мне хочется страстью бездумной упиться,
Мне хочется жить, и любить, и страдать!

Стихотворение совершенно не соответствовало моему темпераменту и моим реальным настроениям, но все же оно в преувеличенной форме выражало какие-то порывы и действительную душевную неудовлетворенность.

Я совсем не помню конкретного содержания своих дневниковых записей, но одну помню довольно хорошо: она отразила сложные колебания воли, когда я никак не могла принять определенного решения.

* Очень жалею, что дневники пропали.

Взяв лист бумаги, я необыкновенно удачно набросала на нем силуэт институтки с тонкой талией, легко спадающей с плеч пелеринкой, красиво поставленной головкой. Изящество рисунка доставило мне большое удовольствие. Тося Косюра стала просить меня подарить его ей, я пожалела и спрятала рисунок. Потом заколебалась: мне стало стыдно, что я отказала Тосе. Потом опять решила оставить его себе на память. Я запуталась в своих колебаниях, чувствуя странное равновесие «за» и «против». В конце концов раздосадованная тем, что я потонула в таком ничтожном вопросе, я решила просто уничтожить рисунок. Но и уничтожить его было жаль и казалось нелепостью. И все же я кончила тем, что смяла его и выбросила в сорную корзину, стоявшую у двери.

У меня не осталось чувства, что я правильно решила ставший мучительным вопрос, но я его решила бесповоротно и подробно описала в дневнике весь ход своих колебаний и мотивы принятого решения. Это описание заняло шесть страниц, и я твердила: «Написала шесть страниц!» и даже немного гордилась, что написала так много. Записав, я вышла из душевного тупика. И борьба «за» и «против» тоже была закончена совершенно.

«На память!»

Взглянув когда-нибудь на верный сей листок,
Написанный когда-то мною,
На время улети в лицейский уголок,
Где подружились мы душою.

А.С. Пушкин «В альбом Пущину»[47]

Мой институтский альбом не сохранился. Он был довольно большой и красивый, густо-зеленого цвета с вытисненной на переплете мохнатой головкой рыжей собачки. Он мне очень нравился. Чем он был заполнен, совершенно не помню, может быть, еще ничем. Зато чудом сохранился маленький школьный альбом, в который попало несколько записей моего первого институтского года.

Напрасно смеются над пустотой и сентиментальностью институтского альбомного творчества. Назначение этого законного литературного жанра — не только добрые пожелания или наставления, но и сохранение в памяти. И стихи в альбом, как бы наивны они ни были, действительно

помогают вспомнить «быстрые минуты первых дней», воскресить в памяти «что было — что не будет вновь».

Давным-давно ушедшим в прошлое своеобразным институтским духом веет на меня от аккуратно вписанных строк на одной из последних страниц старого альбома:

На память!

Будь хорошей ученицей,
Всегда уроки знай,
С единицей не встречайся,
А всегда двенадцать получай.
От любящей Нины Иссовой.

1916 год

Нина Иссова перевелась к нам из Белостокского института в связи с войной во втором полугодии VI класса или в начале занятий в V классе и скоро стала «своей».

С удовольствием читаю простые строки милой девочки Тоси Косюра, с именем которой у меня связаны памятные переживания:

На память Тане.

Пишу тебе в альбом три слова:
Расти, цвети и будь здорова.

1915

С особым чувством смотрю на строки на последней странице:

«Не забудь противную девчонку. Т.И.».

Это Таня Игнатович. Не свободная от некоторого самомнения, эта девочка вдруг открывается мне в этой строчке игривой простотой и милой душевностью.

Знаменательно для меня и стихотворение моей младшей сестры, готовившейся вслед за мной к поступлению в институт:

Я не знаю,
Но я страдаю,
Мне все под тягость,
Но будет радость,
Когда я в институт поступлю,
Ведь я его люблю, люблю, люблю...

Сестры уже нет. Она поступила в институт, прекрасно училась и умерла профессором, известным в своей науке и за рубежом.

В основном же мой альбом заполнен произведениями русской первоклассной поэзии, вписанными моими родными: сестрой, братом, двоюродными братом и сестрой. Это — Жуковский («Дружба», «Козлик и котик»), Лермонтов, Плещеев, Полонский, Блок («Вербочки»).

Больше же всех внесла в свой альбом я сама. Мельчайшим, бисерным, но очень старательным почерком я переписала стихотворение Лермонтова «Ангел» и целых шесть страниц из разных глав «Демона».

Одно же «Стихотворение в альбом» неизвестного мне автора вписано мной как мое собственное, идущее из глубины души, — наставление себе самой на всю жизнь. Я и подписала его «Т. Морозова». Оно было особенно близко мне. Вот его текст:

Завет Христа, завет любви предвечной,
Будь путеводною звездою для тебя,
В нем жизнь, в нем к правде бесконечной
Найдешь ты верную дорогу для себя.
Пускай вокруг тебя шумит людская злоба
И волны клеветы вздымает — не страшись,
Неси свой крест, люби, как Он, до гроба,
Люби и верь, надейся и молись[48].

Когда я теперь вчитываюсь в эти кругленькие каракули, в которых звучит призыв служить «правде бесконечной», «любви предвечной», которые зовут к бесстрашной верности великому идеалу, в моей памяти воскресает худенькая фигурка девочки, склоненная над столом, и я напряженно думаю: «Что же лежало в детской душе, если она всем сердцем откликалась на высокие призывы?»

Не так уж пусты и ничтожны институтские альбомы...

Романы... Романы... Романы...

Это, вероятно, произошло в IV классе. Из института загадочно исчезла Вера Кулакова. Ее задержали на одной из станций под Харьковом в обществе молодого офицера и отправили домой. Больше в институте она не появлялась.

Летом во время каникул при переходе в III класс Варя Яржембская познакомилась где-то с каким-то юнкером или молодым офицером. Он влюбился в нее и стал писать ей в институт.

Всегда сдержанная, даже замкнутая, казавшаяся мне высокомерной, общавшаяся только со своей подругой по Смольному Ниной Манюковой, Варя неожиданно стала удивительно развязной. Она читала вслух получаемые письма и издевательски смеялась.

Я недоумевала. Как можно слова любви и поклонения произносить таким насмешливым, пошлым тоном?! И казалось, что, издеваясь над молодым человеком, она публично хвастается своей победой. Таким же тоном она читала вслух свои насмешливые ответные письма, не обращая внимания на то, слушают ее или нет.

Я потеряла к Варе всякое расположение.

Примерно в те же дни, когда разыгрывался «роман в письмах» Вари, Женя Лобова как-то подошла ко мне и тихо сказала: «Пойдем, я что-то покажу». Мы подошли к ее парте, Женя подняла ее крышку, вынула небольшой конверт, а из него фотографическую карточку. На меня открыто и прямо глянуло привлекательное умное лицо молодого офицера (опять офицер!!!). «Он сказал моей маме, — произнесла Женя шепотом, — я надеюсь, когда Женя окончит институт, она будет моею...» Женя тихо счастливо засмеялась и, совсем по-институтски воскликнув: «Дуся!», поцеловала карточку.

Женя была дочерью казачьего офицера. В это время ей было лет 15—16. Она не была красавицей. Небольшого роста, смугленькая, с тонкими, почти черными волосами, небольшими карими глазами, но с очень красиво очертанным ртом и великолепными белыми зубами, она все же могла казаться очень привлекательной. Уже начавшие полнеть плечи, тонкая талия и очень красивые правильной формы руки придавали ее облику обаятельную женственность. Кроме того, она была умна.

Женя — моя приятельница с первых дней институтской жизни. Она часто тосковала, подходила ко мне и говорила: «Мне плохо», — и глаза ее туманились. А я не умела развеять ее тоску, сказать ей бодрящее слово. Но я умела выслушать. Когда мы были во II классе, она подарила мне открытку с подписью: «Помни Женю Л.». Я, как видите, помню.

И у меня был роман. Но роман не реальный, а воображаемый. Героем его стал один персонаж Тургенева.

К 14—15 годам кроме Пушкина, Лермонтова, Гоголя, которых я читала очень рано, я прочла Гончарова, Лескова, Станюковича. Но всевластно завладел моим сознанием Тургенев.

Живому восприятию Тургенева, вероятно, способствовало то обстоятельство, что к дому, в котором мы жили в эти годы в Чугуеве, прилегал большой сад. У самого дома росли большие старые липы, а дальше — множество фруктовых деревьев. Сад заканчивался довольно глубоким обрывом, поросшим густой травой и кустами. Соседний дом был пуст, а сад, в котором он стоял, был запущен настолько, что ветви его деревьев, стоявших у ограды, спускались в наш сад. Была иллюзия уединенной дворянской усадьбы.

Увлечению чтением, игре воображения способствовала изолированность нашей жизни на новом месте в те трудные революционные годы. У меня совсем не было общества, кроме членов нашей семьи. Я была одна со своими книгами и своими мечтами.

Вот моим героем и стал литературный персонаж и, конечно, Тургенева. Им не стал ни Инсаров и ни Лаврецкий[49], который вызывал мои симпатии и сочувствие. Им стал юноша Давыд — герой повести «Часы».

Давыд прежде всего был близок мне по возрасту. Пленили же меня в этом юноше мужественная сила, решительность характера и вместе с тем его трогательно заботливое отношение к своей юной подруге — Раисе. Он и Раиса встречались у плетня, и Раиса, в жизни которой было много забот и тревог, не раз обращалась к Давыду: «Ты, Давыдушка, уж постарайся!» И Давыд старался и действительно помогал Раисе в ее бедах.

Вот мне и грезилось, что в соседнем пустом доме кто-то живет и есть там прекрасный юноша. Он немного старше меня, он умен, серьезен, добр. А зовут его Сережа, Сергей. И встречаемся мы с ним по вечерам у ограды, отделяющей наш сад от соседнего, и разговариваем тихо о каких-то невинных вещах, о книгах. И за этими простыми разговорами мне мерещилась живая душевная близость между мной и этим несуществующим молодым человеком.

Мне настолько живо рисовались эти воображаемые встречи, что, вернувшись осенью в институт, я, совершенно не склонная ко лжи, рассказала о своих фантастических встречах как о реальных Марусе Смирновой. Она в ответ рассказала мне о своем смутном, непонятном ей самой чувстве к одному родственнику.

Однажды я стояла в проходе между партами, о чем-то задумавшись. Маруся подошла ко мне и спросила: «О Сереженьке думаешь?» Я смутилась, и не только потому, что я рассказала ей неправду, но и потому, что она коснулась чего-то интимного, о чем я не должна была ей говорить.

Так и живет в моей памяти большой сад, а за его оградой старый деревянный дом, в котором живет серьезный близкий мне юноша, оставшийся моей мечтой.

Религия

Я росла в традиционно-религиозной семье. Все ее члены были, разумеется, своевременно крещены. Помню крестины брата[50], который родился в 1913 году. Священник был приглашен к нам домой, и после обряда было устроено соответствующее застолье.

В комнатах у нас висели иконы. Рождество, Пасху, Крещение отмечали в нашей семье торжественно, но скорее не как религиозно-памятные дни, а просто как большие праздники. Так, по крайней мере, воспринимала эти дни я девочкой.

В канун Рождества мы, дети, под маминым руководством и с ее участием украшали большую елку. Обязательным был торжественный постный ужин с традиционными на Украине кутьей (рис с изюмом) и узваром (компот из сухофруктов). Рождество знаменовало и приглашение детей из близких семей «на елку», и поездку в нарядных платьицах в Офицерское собрание, где в огромном зале стояла большая елка, играл оркестр, были танцы и скромные рождественские подарки.

Под Пасху пекли куличи (на Украине их называли «пасха»), красили яйца, заблаговременно выращивали на тарелках овес, в зелень которого клали крашеные яйца. Получалось ярко и красиво. Обязательно делали сырную (творожную) пасху. С вечера накрывали стол, который был очень ярок и красив. Были цветы, почему-то обязательно гиацинты. Куличи, вероятно, святили в церкви, но делали это денщик или домашняя работница.

Я не помню, чтобы мои родители ходили в церковь. Только однажды под Пасху, когда отец был на фронте, мама уехала в какой-то женский монастырь под Харьковом — помолиться о благополучии мужа. Неожиданно папа приехал из действующей армии. Он сейчас же отправился в

монастырь и произвел там страшный переполох ночным вторжением в женскую обитель. На следующий день мама и папа вернулись домой спокойные и радостные.

В декабре 1916 года отец получил чин полковника и принял под свое командование полк[51]*. Пока формировалась новая дивизия, отец приехал на несколько дней.

16 января 1917 года мама писала бабушке[52], своей матери: «Григорий Федорович пробыл до 10-го — в день своего Ангела уехал. Накануне у нас был образ Озерянской Божией Матери. Новый год встретили всей семьей, были в церкви, а потом, придя домой, зажгли елочку, выпили винца, закусили и просидели до двух часов. Так хорошо побеседовали. Девочки с 8-го в институте».

Я совершенно не помню этого вечера. Нас, детей, в церковь не водили.

С раннего детства я знала, что на небе живет Бог, который сотворил мир, вокруг него множество Ангелов с белыми крыльями, что у меня есть свой Ангел-Хранитель.

В школе, в которую я поступила шести лет, я уже учила библейские легенды о сотворении мира, об Адаме и Еве, о Всемирном потопе, о Благовещении — явлении Архангела Гавриила деве Марии, возвестившего ей о предстоящем рождении ею сына Божия, об Ироде, умертвившем тысячи младенцев, надеясь погубить среди них недавно рожденного Мессию, о распятии Иисуса на кресте и о его чудесном Воскресении. В школе я выучила важнейшие молитвы («Отче наш», молитву Ефрема Сирина и др.), а также, кажется, в школе же — десять заповедей Божьих. Все, что я учила, я брала на веру как общепризнанные и не вызывающие сомнения факты. Дома меня выучили класть крестное знамение (креститься). Но молиться меня не учили. Молитвенных настроений у меня не было.

В Харькове мы жили на Петинской улице (теперь Плеханова). Вблизи стояла большая Михайловская церковь. В ней в положенные часы шла служба и звонил колокол. Когда он звонил по вечерам (благовест?), его мощный басовый звук раздавался с такой силой, что действовал на меня угнетающе, раздражал меня. «Ну зачем они звонят, зачем они звонят?!» — повторяла я, почти плача.

В школе я выучила наизусть стихотворение Лермонтова «Ангел» («По небу полуночи Ангел летел...»). Это стихотворение мне очень нравилось

* Во время Германской войны отец участвовал в ряде значительных победных сражений, был три раза ранен и один контужен.

и, разумеется, очень нравится и теперь. В этом стихотворении я бессознательно чувствовала тонкую поэтизацию «безгрешных миров», «звуков небес», неземной чистоты, дыхание возвышенного.

Чувство же святыни, сливаясь с чувством прекрасного, возвышенного, возникло в моей душе довольно рано.

В институтском быту религиозным традициям мы платили немалую дань. Но в нашей духовной жизни религиозные настроения, вера, как мне кажется, не играли большой роли.

Утро начиналось общей молитвой в актовом зале, на которой обычно присутствовала начальница. Может быть, это было недолго удержавшееся нововведение Ольги Александровны. Я помню ее присутствие в актовом зале. Пели молитву старшеклассницы. Старшеклассницы же пели молитву перед трапезой («Отче наш»). На ночь перед отправкой в дортуар молились в своем классе. Читала молитву дежурная или одна из желающих. Раз или два за все время пребывания в институте читала молитву и я, как дежурная. Но вскоре, по присущей мне некоторой застенчивости, я навсегда передала эту обязанность охотницам.

В церковь нас водили регулярно каждую субботу вечером, каждое воскресенье — утром. Церковь у нас была своя в здании института. Вход в нее из рекреационного зала шел через небольшой коридорчик, застекленный с обеих сторон.

В церкви каждый класс имел свое место и по порядку вливался в церковное помещение по блестящему паркетному полу: младшие впереди, старшие сзади. Переходя в старший класс, мы передвигались на новое место в церкви*.

Строились мы правильными рядами по 5 или 6 человек. Сзади за нашими рядами на полу лежал ковер, и на нем стояло несколько кресел, обтянутых красным плюшем. Это было место для начальницы и другого начальства, а также для возможных гостей. Их присутствие придавало службе большую торжественность, но начальство и гости бывали чрезвычайно редко. В задней стене церкви на некоторой высоте были небольшие хоры. Служил в церкви тот же священник, который экзаменовал меня, о[тец] Павел Грома.

В церкви пел свой хор, состоявший из девочек разных, но преимущественно старших классов. Недолгое время, по собственному желанию,

* Так же, как в новый класс, на дверях которого значился его постоянный номер, и в новый дортуар старшего класса.

пела в хоре и я. Мне сказали, что у меня альт. Но мое пение не удовлетворило участников хора, и меня скоро деликатно выставили, заявив, что я пою «не так, как надо». Я, помню, совсем не обиделась.

Около каждого класса стояло несколько стульев, на которые в течение службы классные дамы периодически сажали слабеньких на несколько минут передохнуть. За время моего пребывания в институте помню два случая, когда девочек выводили под руки из церкви: им от долгого стояния становилось дурно.

Я была тоненькая, худенькая и, несмотря на нежную розовость щек, могла казаться слабенькой, и первое время классные дамы не раз предлагали мне сесть — передохнуть. Но я твердо отказывалась, без труда выстаивала всю службу, и мне перестали предлагать сесть.

В дни Великого поста нас водили в церковь чаще, готовили нам постную пищу (как и в среду и в пятницу). Помню очень вкусные маленькие рыбешки — «копчушки». Остальной пищи не помню.

Во время поста старшеклассницы читали в столовой не «Отче наш», как обычно, а молитву Ефрема Сирина. Служба в церкви во время поста была особенно торжественна. В определенный день три (две?) старшеклассницы выходили во время службы на середину церкви и пели «Иже херувимы» или «Да исправится молитва моя». Пели хорошо, слушать было приятно. Кроме того, в этом выступлении был элемент театральности, это привлекало.

В конце поста нас ждала исповедь, а затем причастие. Должна признаться, что сейчас не вспомнила бы ни об исповеди, ни о причастии, если бы случайно не нашла одной своей старой записи — свидетельство, что этим столь важным обрядам я придавала столь малое значение, что они не оставили следа ни в душе, ни в памяти.

О[тец] Павел Грома вел у нас и уроки Закона Божия. К сожалению, в нашем батюшке не чувствовалось ни благодушия, ни душевной теплоты. Иногда он казался даже грубоватым.

На уроках Закона Божия мы читали Евангелие на старославянском языке. Известное знание старославянского языка, полученное от этого чтения, мне впоследствии пригодилось в моих филологических занятиях. В старших классах мы изучали «Катехизис» — т.е. заучивали наизусть главные догмы Православия в форме вопросов и ответов. Сейчас я не помню ни строки из этой книги.

В первый год пребывания в институте я обшила куском темно-розового шелка небольшую деревянную иконку, привезенную из дома, и на

розовой же ленточке повесила ее у изголовья своей кровати. Это была скорее дань традиции, чем религиозному чувству, и проявлением эстетических склонностей.

Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что религиозная стихия мало владела нашими умами и нашими душами. В воспоминаниях об институте другие стороны нашего быта, наших впечатлений — нашей жизни ярче, сильнее выступают в моей памяти. Они и отлагались глубже в росте моего сознания, моей души.

Я никогда до последнего класса не говорила с Олей на религиозные темы — свидетельство отсутствия серьезного интереса к этой стороне человеческого сознания. Я думаю, что большинство из моих сверстниц, не подвергая сомнению ни религиозных догм, ни ритуала церковного действа, не были религиозно настроены. Истинно и глубоко впитавших христианское учение и мораль, подлинно верующих у нас были редчайшие единицы. Верующей была Люба Советова и, кажется, Нина Циглер.

В течение почти 5 лет регулярно посещая церковь, я не знала текстов церковного богослужения, не воспринимала его смысла. А предрассудки, думаю, были у нас у всех. Кто-то из моих одноклассниц сказал мне, что в такой-то момент богослужения, после того, как священник произнесет такие-то слова, можно задумать желание, желание исполнится. Я не очень-то поверила, но какое-то время, стоя в церкви, ловила момент, когда священник произнесет заповедные слова, и задумывала желание.

И вот наступил момент, когда я совершенно непроизвольно ощутила мир, Вселенную без Бога. Это произошло внезапно, но явилось следствием какого-то постепенного внутреннего неосознаваемого процесса. Это было несомненное озарение, освобождение от чего-то наносного, навязанного, выдуманного. Мир очистился. Бога не было. Не было и дьявола и белокрылых ангелов. Было огромное мировое пространство, воздушный океан, в котором «без руля и без ветрил»[53] в гармоничном единстве плавает множество планет: огромное, изливающее жгучий свет солнце, луна с ее туманными излучениями, чудесное сочетание звезд и наша зеленая земля. Было волшебно хорошо, величественно, таинственно и вместе с тем просто и ясно. Христос? Я не знаю. Да, вероятно, был такой светлый человек. Но... я о нем мало думала.

Нет, я не могу больше молиться Богу, думать о его святой воле. Не хочу стоять в церкви, как истукан, без мысли и воли. Я не верю в Бога...

И вот при первом посещении церкви в тот момент, когда Наталья Николаевна усаживала уставших, я заявила, что тоже хочу сесть. «Ты же здорова», — сказала Наталешка недовольным шепотом, однако посадила меня на ближайший стул. Но едва я опустилась на его сиденье, мне стало так щемяще стыдно, так неловко, что я еле высидела положенные минуты. Я, только что приобщившаяся к ощущению величия и красоты Вселенной, унижаюсь до такого мелкого поступка, до такого пошлого проявления своего безбожия! Как я могла совершить эту пошлость?! Больше я никогда не садилась в церкви.

Но христианское вероучение вошло в противоречие не только с теми познаниями, которые давала нам наша скромная институтская программа, но которые тем не менее формировали наши представления о мире. Может быть, и «молекулы» Марии Михайловны сыграли свою роль. Основы христианской морали противоречили сущности моего характера, моей естественной природе. Мне бессознательно, органически не нравилась мораль христианского самоотречения, смирения, самоунижения. Эта мораль не отвечала моему ощущению жизни, и это часто определяло и мое отношение к людям, мои симпатии и антипатии.

С институтом я рассталась в спокойном состоянии безверия.

VI
ИНСТИТУТ И РЕВОЛЮЦИЯ

«Красный бант»

В классный коридор вошла группа мужской молодежи и направилась прямо к квартире начальницы. Говорили, что это студенты ветеринарного института, который помещался рядом с нашим. Они потребовали, чтобы нас вывели на улицу.

Мы пошли вниз в гардеробную — одеться. Кто-то сказал, что необходимо, чтобы на груди было что-то красное. У меня в шкатулке оказалась широкая красная лента. Я продела ее в петлю пальто, завязала бантом и спрятала его за борт пальто так, что снаружи остался лишь уголок ленты.

Все было необычайно, весело. На улице нас поставили на тротуаре вдоль ограды нашего института. По мостовой стройными широкими ря-

дами шли и шли люди. Они пели. В руках у многих из них были красные флаги, цветы. Все были радостны, оживленны:

«Институтки!!! Идите с нами!» — кричали они нам.

Когда мы возвращались и я, тоже почему-то радостная и оживленная, шла по коридору в группе своих одноклассниц уже в расстегнутом пальто, мой бант освободился и ярким цветком алел на борту черного пальто. Рядом со мной шла Наталешка. Она схватила мой бант и стала трепать его из стороны в сторону, раздраженно приговаривая: «Вот, нацепили красные банты, а сами ничего не понимают! Ничего не понимают!»

Когда мы поднялись в класс, нам рассказали, что студенты вошли в актовый зал, сорвали со стены портрет царя и разрезали его ножом. Одна из старшеклассниц, которая присутствовала при этом, притворилась, что теряет сознание, и упала на портрет. Подруги унесли ее на портрете в лазарет. Они гордились, что спасли портрет от окончательного уничтожения.

Это был февраль 1917 года. Февральская революция. Актовый зал остался без портрета царя. Мы совершили неожиданную прогулку на улицу. Видели ликующее шествие с флагами и песнями. Но Наталья Николаевна была права: мы ничего не поняли. И в нашем быту ничто не изменилось. Для меня это было второе полугодие V класса. Мне было 12 лет.

Отъезд О.А. Милорадович

Осенью 1917 года нас ожидало грустное событие. Нашу начальницу, заслужившую нашу любовь, Ольгу Александровну Милорадович переводили в другой институт, кажется, в Новочеркасск.

7 ноября 1917 года* я писала бабушке в Екатеринослав: «Наш класс хочет устроить прощальный концерт Ольге Александровне (нашей начальнице, так как она уезжает от нас). Я рисую программы».

Теперь я совершенно не помню, состоялся ли наш концерт. Помню лишь один эпизод, который отложился в сознании как свидетельство заботливого внимания к нам нашей начальницы, а не как память о концерте.

Я шла по классному коридору и несла на спине в комнату пепиньерок ширму. В этот момент из своей квартиры вышла Ольга Александровна и

* Здесь и далее стиль старый.

увидела силуэт небольшой девочки, которая несет на спине громоздкий предмет, похожий на шкаф. «Остановитесь! Остановитесь! — закричала Ольга Александровна и поспешно направилась ко мне. — Разве вам можно носить такие тяжести?!» Я остановилась. Когда Ольга Александровна приблизилась, недоразумение разрешилось. Вот эта ширма и является косвенным доказательством, что нам удалось выразить Ольге Александровне свои симпатии небольшим концертом. Ширма могла служить кулисами.

В день отъезда Ольги Александровны весь институт выстроился в коридоре. Каждый класс стоял вдоль стены своего класса. Мы плакали. Мы сильно плакали. Мы плакали навзрыд. Это было одно из самых сильных переживаний за все годы пребывания в институте. Вероятно, здесь присутствовал элемент экзальтации, массового заражения определенным настроением. Но это было действительно большое душевное напряжение, возвышающее душу переживание, вбирающее в себя грусть об утрате дорогого, любимого и счастье общения с прекрасным. Это было действительно возвышенное переживание.

Ольга Александровна обошла все классы и, тоже плача, поцеловала каждую девочку.

С дороги (из Ростова) она прислала в институт большое письмо и, кроме него, каждому классу по открытке. Простую теплую открытку «воспитанницам четвертого класса», т.е. нашему классу, мы разыграли. Открытку выиграла я. Она сохранилась. Она у меня.

Новая начальница

Когда уехала Ольга Александровна, начальницей у нас стала маленькая старушка, имени которой я не помню[54]. Маленькая, худенькая, в синем, широкими воланами спадающем на пол платье, с влекущимся сзади шлейфом, она, как тоскующая тень, раза два показалась в нашем коридоре и однажды, как будто невзначай, забрела в наш класс. Услужливые руки подставили ей кресло, она покорно опустилась в него. Вокруг на полу, сидя и стоя, расположились мы, с любопытством наблюдая неожиданное появление.

Она просидела у нас минут 7—10, блуждая по нашим лицам мало говорящим взором, задала нам несколько простых вопросов, показавшихся нам в устах начальницы незначительными, и покинула класс, оставив впечатление неопределенности.

Вилка. В пустом классе

Мы спускались в столовую и рассаживались за столом. У края длинного стола пары планомерно расходились. Одна шеренга, постепенно продвигаясь вперед между столом и слегка отодвинутой скамьей, садилась с правой стороны стола, другая делала то же — с левой. Все шло легко, привычным порядком.

Вдруг я увидела, как Мельникова, шедшая впереди с противоположной стороны стола, схватила что-то у моего прибора и присоединила к своему. Вслед за этим к тому месту, где должна была сесть я, полетела вилка. Подойдя к своему месту, я взяла брошенную вилку в руки. Вилка была без зубца. «Что ты сделала? — с легким возмущением обратилась я к Мельниковой. — Зачем ты взяла мою вилку?» Мельникова молчала и с упрямым видом прикрывала руками свой прибор, как будто ожидая, что я стану отнимать ее вилки и ножи. «Сейчас же отдай мою вилку!» — настойчиво сказала я и, протянув Мельниковой беззубую вилку, хотела сесть. «И не подумаю!» — презрительно буркнула Мельникова, не глядя на меня и продолжая держать руки над своим прибором. «Нет, ты должна отдать», — начала я.

«Морозова! В чем дело?» — вдруг резко крикнула Евгения Владимировна со своего места. Я повернулась к ней. «Мельникова взяла мою вилку, а мне...» — начала я слегка дрожащим голосом. «Прекратите заниматься глупостями, — еще более резко оборвала меня Евгения Владимировна, — или сейчас же отправляйся из столовой!»

Мгновенно смолкнув, я несколько секунд стояла неподвижно, глядя на Евгению Владимировну широко открытыми глазами. Затем, как будто что-то поняв, я легко переставила одну ногу через скамью, перенесла вслед за ней другую и бегом бросилась прочь из столовой. Я бежала в суровой решимости и огорчении через длинную столовую, не оглядываясь, не придерживая развевающейся пелеринки.

У выхода я должна была остановиться. По лестнице в столовую, опираясь на руку пепиньерки, спускалась новая начальница. Увидев ее, я испугалась, что она остановит меня. Быстро, на ходу, я сделала глубокий реверанс и, вся во власти своего негодования, вбежала вверх по лестнице в классный коридор — прямо в свой класс. Порывисто открыв дверь, я опустилась за ближайшую парту.

Большие двухстворчатые окна класса были открыты. Класс проветривали. Было холодно. Я невольно огляделась вокруг, и в этом пустом проветривающемся классе почудилось мне что-то новое, незнакомое. Все как будто по местам. Только непривычная пустота, да немного сдвинуты парты, да у стены стоит прислоненная к ней половая щетка и около нее лежит сметенный, но еще не подобранный сор. Убиравшая в классе девушка, очевидно, только что вышла. И вдруг в этот момент огорчения и обиды мне внезапно открылась какая-то закрытая до того сторона институтской жизни. Эти открытые окна, эта щетка, этот мусор на полу неожиданно обнаружили передо мной какую-то новую, не существовавшую для меня ранее и не подозреваемую сторону институтской жизни. И на мгновение я забыла о том, что привело меня сюда, что было там, внизу. С новым чувством, поглощенная им, я озиралась вокруг. Институт — это мы. Сейчас мы обедаем. Значит, институт сейчас — это столовая. А вот тут сейчас тоже что-то происходит...

Кончался третий год моего пребывания в институте. Мне четырнадцать лет. Я в III классе. Конечно, я давно, с первых дней, знаю о существовании наших девушек в синих платьях и белых передниках. Вот в дортуаре у нас работала милая молодая женщина Катя. Ее муж тоже кем-то работал в институте. Когда я заболела корью, пришли два служителя, взяли домик-носилки и отнесли меня с лазаретной девушкой в барак. А кто топит многочисленные печи на всех этажах нашего огромного здания? И в дортуарах и в классах у нас тепло. И когда? Ночью? Рано утром? Кто разметает дорожки в саду? Готовит обед? Стирает белье? Кто? Кто? Сколько их? Моя мысль текла, что-то открывая с каждым мгновением, и, кажется, не могла остановиться...

Вдруг в коридоре послышались быстрые шаги. Стук каблуков четко раздавался в пустых стенах. Я повела плечами от холода и как будто очнулась от какого-то сна. Дверь в класс резко распахнулась, и на пороге появилась Евгения Владимировна. «Ступай в столовую!» — строго сказала она и, бросив на меня сердитый взгляд, повернула обратно.

Я понимала: по институту ходит начальница, а я бегаю по пустым классам в неположенное время. Кто будет отвечать? А может быть, девочки...

Я спустилась в столовую. У моего прибора лежала новая чистая вилка. Я села и, почти не замечая окружающего, стала есть остывший суп.

«Большевик»

В классе испортился свет. Пришел электромонтер, молодой человек угрюмого вида. Он принес длинную лестницу и сосредоточенно копошился под высоким потолком.

Моя парта была недалеко от стены, и поэтому лестница оказалась довольно близко. Я сосредоточенно смотрела на работу молодого человека.

Неподалеку от меня сидела Люба Константинова. Это была крупная, очень красивая девочка лет пятнадцати, с тонкими чертами лица, которое не портили и бледные веснушки. Густые светлые вьющиеся волосы были заплетены в небольшую толстую косу.

Люба что-то громко говорила и чему-то громко смеялась. Было что-то вызывающее и необычное в ее смехе и громком говоре. Когда монтер ушел, на Любу накинулась Наталешка. «Ты вела себя неприлично! Ты кокетничала с монтером! Ты ломалась перед ним!» — кричала она, задыхаясь и брызгая слюной.

С Любой сделалась истерика. Она громко рыдала, билась в руках утешавших ее подруг. «Старая дура!» — прорвалось среди рыданий. Утешавшие взволнованно засуетились около Любы.

Другая группа девочек окружила Наталешку. «Вы неправы, дорогая Наталья Николаевна, вы обидели Любу!» — выговаривали они ей.

«Вы не знаете, кто он! — истерично выдохнула Наталешка. — Он, он большевик!»

Так я впервые услышала слово «большевик».

«Кочерга»

В летние каникулы умерла Катерина Ивановна. Катерина Ивановна была старшей над девушками, блюстительницей институтской чистоты. Мы часто слышали ее хриплый голос в нижнем дортуаре, видели ее в коридоре и изредка встречали в умывальне, когда она выдавала «девушкам» чистые полотенца, тряпки, мыло или делала выговор за непорядки. Кроме всего, на обязанности Катерины Ивановны лежало охранять наш ночной покой, ради чего она спала в нашем большом дортуарном коридоре за перегородкой.

Катерина Ивановна была немолода, лет 45, среднего роста и страшно худа. Худоба и хриплый голос — вот что воспринималось прежде всего.

Она была так худа, что порой казалось, что перед нами скелет, одетый в синее платье, белый передник и резко постукивающий каблуками вместо костей. На ее темно-желтом лице с большими впадинами глаз отчетливо обозначались скулы, а в глубоких и темных глазницах горели огромные темные глаза. Ходила она странной развинченной походкой, и опять казалось, что идет, слегка пошатываясь, скелет, а не живой человек.

Катерина Ивановна была очень раздражительна и казалась нам сердитой и нетерпимой. Как сейчас, слышу ее голос, когда она отчитывала провинившуюся девушку. И казалось, что она только и делает, что кричит и сердится. Мы звали ее за глаза Кочережка или Кочерга.

И вот Катерины Ивановны не стало. Она умерла. Как это произошло, сочувственно рассказывала мне Люба Советова, когда я после каникул вернулась в институт.

Катерина Ивановна простудилась, и, так как по всем данным у нее была чахотка, простуда оказалась смертельной. Сперва она лежала в своей комнатушке, а когда ей стало хуже, ее перенесли в наш лазарет. В лазарете на твердой казенной постели ей показалось жестко и неудобно. Ей принесли ее перину и подушки. Перед смертью, по ее просьбе, позвали священника, она исповедовалась и причастилась, у всех просила прощения, а сама она «обид не помнит», завещала свои перины и подушки и все свои вещи служившим с нею девушкам и умерла просветленная и спокойная. «Ты представь себе, — говорила мне Люба, — ведь у нее никого, никого не было на целом свете». Слушая Любу, я разделяла чувство жалости к Катерине Ивановне и умиление по поводу того, как она умирала. Но на дне души копошился червячок сомнения, действительно ли все так хорошо. Со дна души поднималась терпкая грусть, которая сводила на нет чувство удовлетворения, что так хорошо умерла Катерина Ивановна. Жизнь ушла. Жизнь закончена. А чем она была заполнена? Нервной суетой, раздраженными криками и хриплым кашлем...

Бедная, бедная Катерина Ивановна, Катерина Ивановна — Кочерга...

Год 1917-й. Октябрь. Голод

Между тем революционные события, потрясавшие Россию, своеобразно проявлявшиеся на Украине, не могли не отражаться в жизни института. Но институт продолжал существовать, он жил, сохраняя свой

порядок. Если теперь всмотреться в даль прошлого, то поражаешься сочетанию устоявшихся традиций в жизни института, своего рода инерции его существования, и неизбежного воздействия на его быт общественных потрясений.

29 октября 1917 года я писала бабушке, жившей под Екатеринославом: «Родная и дорогая моя бабуся! Как ты поживаешь? Как твое здоровье? Я и Ната пока здоровы. Отметки у меня ничего.

У нас ужасное происшествие: зарезали нашу экономку 19-го ночью. Ужасно. После этого ночей не спали. Трое каких-то забрались к ней в комнату, обокрали и зарезали. Служили панихиду».

Письмо написано после Октябрьской революции, но о ней ни слова. О ней мы просто слыхом не слыхали. А местное событие, весть о котором принесли нам утром дортуарные девушки, взволновало нас как потрясающее. Теперь оно воспринимается как знак наступивших общественных бурь.

И в этом же письме, в котором я писала об убийстве экономки, я сообщала: «Знаешь, бабуся, у нас издается журнал. Наш класс издает. Я дала свое летнее стихотворение «Майский вечер» и еще загадки кое-какие. Буду рисовать».

Между тем понемногу стала нарушаться строгая и привычная упорядоченность дня. Все чаще мы простаивали минут 10—15 на лестнице при спуске в столовую: не был готов обед.

Но самое разительное, что давало себя знать порой весьма мучительно, был голод. Мы стали голодать. В письме к бабушке от 9 ноября 1917 года я прямо писала: «Есть хочется безумно. Теперь нам дают по одному кусочку хлеба. В прошлом году кто сколько хотел, столько брал. В начале этого года давали по два, а теперь по одному».

Иной характер приобрели гостинцы из дома. Вместо пирожных, печенья, конфет и фруктов нам стали приносить бутерброды, пироги, хлеб. Однажды мама Оли принесла в баночке нарезанную кусочками селедку с луком и постным маслом. С каким наслаждением мы ее ели!

Позднее, если у нас были деньги, нас стали выручать девушки: они охотно покупали нам в ближайшей лавочке хлеб, яйца, сахарный песок. В кружке (а у каждой из нас была своя кружка) мы стирали яйца с сахаром (гоголь-моголь), всыпали в кружку ложечку сухого ячменного кофе и с удовольствием ели. Это было вкусно и утоляло голод.

Роскошное подношение

Однажды днем в классе за партами почему-то сидели всего лишь пять-шесть девочек, в их числе я. Каждая была занята чем-то своим. Одна девочка ела хлеб. Наталешка судорожно ходила через весь класс — от двери к окну и от окна к двери, то и дело поглядывая на девочку, евшую хлеб. «Сейчас сделает ей замечание, — подумала я, — в классе не едят...» И вдруг меня осенило: «Господи! Да она сама хочет есть!» Я встала, подошла к ней и тихо спросила: «Наталья Николаевна, вы голодны?» — «Да, — ответила она просто, — я с удовольствием съела бы кусочек хлеба...»

У меня был хлеб. Я быстро подошла к своему шкафчику и отрезала ломтик хлеба. Две девочки, догадавшиеся, в чем дело, поспешно подбежали ко мне, и одна из них посыпала ломтик сахарным песком. Я положила его на лист чистой белой бумаги и поднесла Наталешке. Она взяла его и тотчас стала есть, а я, сев на свое место, с удовольствием смотрела, как Наталешка поглощает наше роскошное угощение.

Гостьи из Петрограда

В нижнем коридоре института стали мелькать девичьи фигурки в платьях незнакомого густо-голубого цвета. Оказалось, из Петрограда привезли к нам воспитанниц Смольного института*.

Смольный, ставший штабом Октябрьской революции, был занят Петроградским Советом в августе 1917 года. В здании института еще жили классные дамы и воспитанницы, не разъехавшиеся на каникулы. Сначала их перевели в Ксеньевский институт[55] в Петрограде, а затем девочек-сирот отправили к нам в Харьков. Вероятно, это было в декабре 1917 года. Я была в IV классе.

Вскоре смолянок переодели в наши платья и распределили по классам. В наш класс пришло 15 девочек. Мы встретили девочек Смольного очень тепло. Я и Оля пережили настоящий взрыв гостеприимства и радушия. В два-три дня были поглощены все наши запасы съестного. Разговорам не было конца.

* Платья голубого цвета в Смольном носили в младших классах, в старших — темно-красные. У нас, включая III класс, носили зеленые, два старшие — темно-красные (бордо).

Вечером Оля сказала мне: «Знаешь, смолянки говорят, что самые симпатичные девочки класса — Тала Морозова и Оля Феттер». Эта похвала меня тронула очень мало. Наше радушие было непосредственным и бескорыстным душевным порывом, выражением радости новизны и дружеского общения.

Но в течение нескольких дней я часто ловила на себе светящийся ласковый взгляд девочки-смоляночки Иры Волковой. Я смущалась и отворачивалась.

Вскоре мы узнали, что Смольных институтов было два: Николаевский и Александровский. Николаевские высокомерно считали Александровский ненастоящим Смольным. Нам же было все равно. Все были такие же девочки, как и мы. Александровских, между прочим, к нам прибыло значительно больше, чем Николаевских.

С приездом смолянок в нашем классе произошла одна неожиданная перемена. Наталью Николаевну, нашу Наталешку, заменила классная дама из Смольного — Ольга Максимовна Яржембская. Она, между прочим, была сестрой одной из смолянок нашего класса — Вари Яржембской, о которой я уже упоминала. Ольга Максимовна, мало похожая на сестру, была очень молода и внешне очень привлекательна. Немного выше среднего роста, стройная, с чудесными светлыми волосами и карими глазами, она держалась с изящной простотой и приветливостью, но часто казалась задумчивой и озабоченной. Мне она очень нравилась, я часто подходила к ней и однажды даже показала ей фотографии моих родных.

Наталья же Николаевна должна была вместо умершей Катерины Ивановны («Кочерги») охранять наш ночной покой. Помню, как мне было грустно смотреть на нее, когда она в первый раз вошла в дортуарный коридор в скромном ситцевом халатике с двумя белыми подушками под мышкой.

Дружба, овеянная поэзией красоты

Однажды вечером, собираясь выйти из класса, я подошла к двери и только что хотела взяться за ручку, как дверь резко распахнулась и ко мне из коридора, необычайно взволнованная, бросилась Оля. «Васенька! Васенька! — громко восклицала она, плача и смеясь одновременно и нервно притоптывая ногами. — Васенька! Там девочка! Какая девочка!» Край-

не удивленная и даже немного испуганная, я серьезно взглянула в лицо Оли. Глаза ее, широко раскрытые, были полны слез и сияли радостью.

Я вышла в коридор. У окна стояла небольшая группа незнакомых девочек, очевидно, младшего класса. Не нужно было присматриваться, чтобы решить, какая девочка привела Олю в столь бурный восторг. Девочка была действительно очаровательна. Небольшого роста, с хорошо развернутыми плечами, на которых на стройной шее стояла темноволосая головка с карими глазами под тонкими дугами бровей, с тонким, слегка опущенным вниз носом и изумительного матового тона кожей лица, она была прелестно хороша. С левой стороны верхней губы чернела маленькая родинка и такая же на правой щеке, придавая неожиданную пикантность юному личику. Ее лицо не было классически правильным, но его черты сочетались так гармонично, что оно казалось неповторимо прекрасным. А я, небольшая еще девочка, почувствовала в этой чужой девочке какую-то внутреннюю притягательную силу, отражавшуюся в выражении ее лица. Вероятно, именно это прежде всего так остро почувствовала Оля.

Девочка была воспитанницей Смольного института (Александровского), недавно прибывшего к нам из революционного Петрограда. Она была ученицей VI класса, то есть на два класса младше меня. Звали ее очень просто: Катя Фещенко.

Я не помню, как началось наше сближение. Вероятно, с первой же встречи. И уже скоро, если наши классы шли одновременно парами по коридору, мои глаза тотчас отыскивали Катину фигурку, а ее глаза находили меня. Мы кивали друг другу головой и улыбались.

Я не могла не любоваться Катей. Однажды я шла по коридору мимо ее класса. Дверь была приоткрыта, Катя сидела прямо против двери и вышивала. В ее позе было столько непринужденного изящества, что я невольно замедлила шаги, любуясь ею.

У нас в институте не было принято заходить в чужой класс. Только сестры иногда навещали друг друга. И вот скоро стало нашим обычаем встречаться в «малютке», а чаще в умывальной комнате нижнего дортуара. Я приходила с Олей, Катя — со своей соседкой по парте — Варей. Варя радостно улыбалась, очень довольная новым знакомством, общением с девочками старшего класса. Но Варя скоро исчезла. Очень удивила меня и Оля, восторженно встретившая Катю, но вскоре отошедшая от нас. Я же продолжала встречаться с Катей, иногда специально вызывая ее из класса в умывальню.

Вскоре я узнала, что Катя — моя ровесница. Ей было, как и мне, 13 лет. Но я была двумя классами старше, и это создавало известную дистанцию между нами. Я держалась просто и дружественно, но мы были на «вы» и свое «старшинство» я чувствовала постоянно.

В ответ на мои осторожные вопросы Катя рассказала мне, что она — круглая сирота, что своих родителей она потеряла очень рано и воспитывалась у «богатого дяди». Потом ее отдали в институт, и вот она — здесь... Я как-то спросила, где сейчас ее дядя, в Петрограде ли он. «Нет», — ответила Катя так тихо, что я почувствовала невозможность дальнейших расспросов.

Из повседневных разговоров случайно запомнился один. В это время в институте было трудно с обувью, и я носила собственные полуботинки. Как-то я радостно сказала Кате, что скоро нам выдадут новые казенные ботиночки. «А мне очень жаль, — сказала Катя, улыбаясь... — Ваши полуботиночки оставляют открытой часть белых чулок, и я всегда издали узнаю вас по белой полоске...» Мне было приятно, что она радуется встречам со мной.

Как-то вечером, когда из-за отсутствия света было невозможно делать уроки, мы собрались в большом зале — танцевать. Оли почему-то не было. Ко мне подошла Катя и крепкой, властной ручкой обняла меня за талию (мне показалось это немного дерзким), и мы поплыли в общем круге вальса. Так две неглупые девочки и целый ряд других, не думая, почему нет света, почему, вместо того, чтобы готовить уроки, они танцуют при свете огарка, совсем не представляли масштабов произошедшего за стенами их здания. И поэтому они всецело во власти своей юности, своих непосредственных отношений, увлечений и симпатий. «Дружба, овеянная поэзией красоты», — сказала я как-то о наших отношениях. Но когда корабль Смольного института уплыл в неизвестность, я с тревогой думала о судьбе этой чужой девочки, девочки редкой красоты, обаяния и так бесконечно одинокой. Как сложилась ее судьба?

«Хитительница»

Из наших стенных шкафчиков стали пропадать продукты: у кого-то исчез пирог, у другого пачка печенья, у третьего бутерброд, а у кого-то и просто кусок хлеба. Девушки, убирающие класс? Но этого никогда не было...

Вскоре «хитительница» была обнаружена. Ею оказалась девочка Смольного института Лена Долье*. Она плакала и во всем призналась.

Лена была прелестная девочка с мягким и нежным личиком, светлыми локонами и красивыми карими глазками. Сущий ангел. И вдруг...

Огромное пустое пространство легло между мной и ею. Я смотрела на нее с недоумением, отчуждением и неприязнью. Ну, как она могла?! Разве она не чувствовала, что делает что-то стыдное, позорное?! И вот теперь плачет... Позор на весь институт...

Еще с большим недоумением я увидела, что Лена окружена особым, повышенным вниманием. Настоящая героиня дня! Она все время ходит, окруженная целой группой девочек, обнявшись. Что это? Что их так тянет к ней? Неужели скандальность истории? Скандальный душок?

Я взглянула на Лену. Личико ее было серьезно и бледно. А может быть... может быть, они более правы, чем я со своим отчуждением?! Может быть, они просто жалеют ее?

Через неделю та же история повторилась с нашей девочкой. И так же группа сочувствующих несколько дней ходила с ней обнявшись... А на лице ее я не заметила и тени смущения... Я недоумевала. Что же, голод сильнее всего? И можно все простить??

Нет! Нет!

Хлеб... Хлеб...

Выходя из столовой, я и Геня Буйко задержались и отстали от класса. У Гени в руках был ломтик хлеба. «Ты что? Не съела?» — удивилась я. «Я всегда оставляю часть своего хлеба для маленьких. Они трудней переносят голод».

Геня Буйко была девочка из Смольного, болезненная на вид и очень некрасивая. На ее круглом лице сильно выдавался вперед небольшой острый нос, а подбородок был резко усечен, и, если смотреть на ее лицо в профиль, оно образовывало острый угол. Кроме того, она была очень близорука и постоянно ходила в очках... Держалась она несколько обособленно.

* Здесь и фамилия и имя вымышлены.

И вот она, сама полуголодная, делится крохами своего хлеба... Нет, мне не понравилось ее самопожертвование. Мне почудилось здесь что-то ненормальное, нездоровое, родственное христианской жертвенности, своего рода самоуничижение. Мне даже показалось, что она своим самоотречением и великодушием хочет возместить свои физические недостатки, отсутствие внешнего благообразия. Может быть, так и было: своего рода форма самоутверждения...

Мне было органически чуждо ее настроение, а все-таки я подумала: «Геня Буйко несчастливая, но хорошая девочка. Одна таскает чужой хлеб, а эта делится своим последним».

«Покажите хорошеньких...»

Осеннее прохладное утро. Солнце едва успело бросить свои лучи сквозь сыроватую серую мглу. Пустынно на большой широкой улице города, слабо освещенной утренним светом. Серые здания молча глядят на серую же широкую мостовую. Прохожих нет. Воскресенье.

Но вот из ворот стоящего в глубине большого старинного здания медленно выходят какие-то черные фигурки. Целая вереница пар строго и молчаливо ползет из ворот и медленно движется по улице. Это мы, институтки.

«Бим-бам-бом!» — вдруг раздается звон церковного колокола. Медленно движутся пары черных шубок и шапочек. Мы идем в церковь. Почему мы идем в городскую, когда у нас есть своя? Я не знаю, я не помню. Может быть, был болен священник, может быть, это одно из нарушений порядка этих дней?

Перед переходом на другую сторону улицы мы остановились. К Евгении Владимировне, сопровождавшей наш класс, неожиданно подошел молодой офицер и еще какой-то молодой человек в штатском. Поздоровавшись с Евгенией Владимировной, офицер, весело улыбаясь, попросил: «Покажите хорошеньких...»

Евгения Владимировна сделала легкое движение рукой в нашу сторону и глазами показала меня и Варю Яржембскую. Я была крайне удивлена. Варя действительно красива. У нее строгое и правильное лицо, небольшой с горбинкой нос, небольшие, но красивые глаза. Но лицо бесцветное, холодное, а маленькая головка приставлена к непомерно

длинному телу. В ее лице нет жизни, игры, красок, приятной улыбки. Разве это «хорошенькая»!

Еще менее я мыслила себя хорошенькой. Я ведь каждый день смотрела на себя в зеркало, причесываясь и завязывая бантик пелеринки. У меня очень хороший цвет лица. Нянька маленького брата, хохлушка-смуглянка, глядя на меня, все причитала: «Какая беленькая! Ах, какая беленькая! Вот бы мне быть такой...» Я очень мало значения придавала ее восклицаниям, хотя я знала, что у меня белая кожа, а щеки покрывает нежный румянец. Но хорошенькая ли я? Вовсе нет.

И на лице молодого офицера, когда его взгляд скользнул по нашим лицам, не отразилось ничего...

Вечером я рассказала Оле, которая почему-то утром не была со мной, о встрече по дороге в церковь. «Не удивляйся! — ответила Оля категорично. — Евгения Владимировна действительно считает тебя красивой. На днях мы группой девочек сидели с ней и перечисляли наших хорошеньких. "Все это чепуха, — сказала Евгения Владимировна. — Вот Морозова действительно красива. У нее правильные черты лица"».

Мнение Евгении Владимировны меня не убедило. Я не считала себя ни красивой, ни хорошенькой.

Невероятное происшествие

С левой стороны здания института, если подойти к нему с улицы, была сложенная из кирпича, невысокая, но плотная стена-забор. Я никогда не обращала на нее внимание, так как она была отделена от входа деревьями и покрыта вьющейся виноградной лозой.

И вот однажды утром в класс вошла женщина в сером платье и белом переднике и что-то тихо сказала Евгении Владимировне. Евгения Владимировна позвала: «Морозова! Феттер!» Когда мы подошли к ее столу, она велела нам следовать за женщиной в сером платье.

Была ранняя осень. Мы пошли за ней, не одевая пальто, и дворами подошли к внутренней стороне той самой кирпичной стены, которую могли видеть с улицы. За ней оказался двор. Какой огромный двор! А в нем какие огромные сараи! Около сараев стояли большие козлы, одни и другие. Около одних две незнакомые девочки в зеленых платьях пилили огромное бревно. Нам велено было делать то же: не хватало дров готовить

обед. Мы с Олей с трудом вытащили из сарая длинное бревно, взвалили его на вторые козлы и стали пилить.

И вот четыре девочки в зеленых платьях, белых передниках и белых пелеринках часа два старательно пилят толстые бревна.

Так вот где наши дрова, которыми отапливают наше здание, на которых готовят обед и пекут наши булочки!

Мы устали, но отнеслись к этому случаю как к неожиданному, чрезвычайно забавному приключению. Больше пилить дрова нас не посылали. Может быть, звали других?

Почему дрожали кровати?

Когда я перешла в III класс (это была осень 1918 года), мы переместились в дортуар, окна которого выходили не в сад, как было в прежнем, а на улицу. И хотя здание института отстояло от проезжей части улицы довольно далеко, за оградой, наши кровати странно и весьма ощутимо дрожали. Было непонятно, таинственно и страшно. Казалось, там, внизу, в подвалах здания, идет какая-то зловещая опасная работа. Мы звали Евгению Владимировну, чтобы она удостоверилась, что мы не фантазируем. Она касалась рукой кровати и говорила: «Уснете, не будете чувствовать».

Мы стали сдвигать кровати, чтобы не было так страшно, но Евгения Владимировна запрещала это делать. Когда же она уходила, мы с Олей (как и другие) сдвигали наши кровати, брались за руки и так засыпали.

Почему дрожали кровати, мы так и не узнали, но это усугубляло тревожное настроение тех дней.

А мы танцевали...

В письме к бабушке от ноября 1917 года я писала: «У нас почти каждый день тухнет электричество, и мы едва успеваем делать уроки».

Затем электричество перестали давать совсем. В класс приносили свечу и ставили ее на кафедру. Приносили свечу и в актовый зал и ставили ее на рояль. Тогда мы просили Зою Плохотину, хорошо игравшую на рояле, играть нам танцы. Зоя брала ноты и шла в зал. Она играла нам валь-

сы, польки, падекатр, падеспань, мазурку, лезгинку, галоп, и мы танцевали. В зал приходили девочки других классов и вливались в кольцо кружившихся вдоль стен огромного зала пар.

За окнами на всем пространстве России и Украины совершались какие-то неведомые нам события, что-то меняло жизнь и нашу судьбу, шла неведомая нам борьба, кто-то страдал, умирал, погибал, кто-то торжествовал. А мы, объятые бездумием неведения, танцевали. Мы танцевали...

Последняя начальница

В эти трудные дни у нас появилась новая начальница, сменившая безликую старушку. Новая начальница стала и последней начальницей института. Это была княгиня Мария Алексеевна Неклюдова.

В облике новой начальницы, несмотря на ее княжеский титул, не было ничего аристократического. Довольно высокая, голубоглазая, с лицом простой крестьянской женщины, она держалась просто и деловито.

Отсутствие утонченности в ее внешности компенсировалось обилием дорогих украшений: в ушах сверкали серьги, пальцы были унизаны кольцами, на груди блистало не то ожерелье, не то крупная брошь. Само синее шелковое платье казалось дорогим и нарядным.

Мария Алексеевна была необыкновенно энергична и деятельна. Это была самая главная черта ее личности. Мы мало ее видели, но знали, что она все время в разъездах: о чем-то хлопочет, что-то отстаивает, чего-то добивается. При ней у нас в классе появилось несколько новеньких, были даже две-три приходящих — небывалое явление в стенах института. Они приходили в неформенных платьях и держались обособленно.

Не помню, при Марии Алексеевне или еще при Ольге Александровне был создан для желающих кружок изучения английского языка. Я тотчас записалась в него и часто ходила по нижнему коридору, заучивая такие странные английские слова.

Разъезд

К концу ноября 1918 года гражданская война на Украине приняла крайне острый характер. Был создан советский украинский фронт, начали поход большевистские повстанческие дивизии, было разгромлено движе-

ние Петлюры[56]. 29 ноября 1918 года Временное рабоче-крестьянское украинское правительство низложило правительство гетмана.

Мы, разумеется, об этом ничего не знали. Но руководство института, понимая серьезность положения, решило прекратить деятельность института и отправить нас по домам. Это, вероятно, было в начале ноября. Насколько я помню, в этот год (III класс) мы занимались очень недолго.

Отпуская нас, нам сказали, что мы уезжаем на небольшой срок и поэтому мы можем часть своих вещей оставить в институте. Я упаковала в свою шкатулку умывальные принадлежности, положила на нее две толстые тетради своего дневника, аккуратно обвязала все это тесьмой и, спокойная, радостная, уехала с сестрой домой в Чугуев.

Своих дневников я больше не видела.

Папа был дома. Его очень тревожила раненая нога, а еще больше, вероятно, политическая обстановка в стране и собственное положение офицера царской армии. Он часто лежал, у него часто бывал врач.

Очевидно, в этот период к нам из-под Екатеринослава переехала бабушка. Ее небольшой дом в поселке, где она жила, большевики конфисковали.

Через некоторое время меня и сестру вызвали в институт получить институтскую одежду. Я с сестрой и папой поехала в Харьков.

Одежду выдавали не в здании института, а в каком-то большом одноэтажном доме, стоявшем недалеко от института. Мы пришли в огромную полупустую комнату, похожую на камеру, в которой стояли огромные сундуки. В них лежали наши платья и пальто. Может быть, эта комната и была нашей камерой хранения.

Одежду почему-то выдавала наша историчка Екатерина Дмитриевна. Она выдала нам пальто, шапки, башлыки[57], наши зеленые платья, передники, пелеринки, рукавчики и большие розовые чехлы-наматрасники. Я о чем-то спросила Екатерину Дмитриевну, она ответила так резко, что я повернулась и ушла.

Вероятно, именно в эти дни девочек из Смольного эвакуировали в Новороссийск.

3 января 1919 года в Харьков вступили войска красных, и в течение двух недель Советская власть установилась на всей территории Харьковской губернии.

В Чугуеве я и сестра поступили в местную гимназию: я в V класс, соответствовавший нашему III-му. В гимназию я ходила в институтской

форме. Белую пелеринку, передник, рукавчики я теперь стирала и гладила сама.

Класс был совсем другой, чужой. Мои отношения с моими новыми одноклассницами были нейтральны, но с двумя девочками я подружилась. Одна — Тася Гридина, умненькая, прекрасно учившаяся, очень самолюбивая, о которой вспоминаю с великой симпатией и уважением, — была дочерью шапошника, и у ворот ее дома висела вывеска с изображением фуражки.

Другая — Шура Сердечная, живая, приветливая, сама как-то расположившаяся ко мне. Это она демонстрировала мне семейный альбом, в котором я нашла изображение молодой Клепки. Обитательница села, она в период занятий в гимназии жила с сестрой, которая, как говорила Шура, служила у местного врача экономкой. Потом Шура стала сельской учительницей, а Тася, я думаю, пошла учиться дальше.

Дома у нас теперь никаких работниц не было. Мама сама готовила обед, мы с сестрой убирали комнаты. Однажды я мыла пол в большой комнате. К порогу подошла бабушка и вдруг с какой-то горечью говорит мне: «Никак не могу понять, кто же вы: барышни или горничные?!» Я очень удивилась, выпрямилась и сказала: «Барышни, конечно, барышни! Мою пол, а все равно я барышня!»

Вместе с бабушкой приехала и ее библиотека. Я запойно читала.

Когда пришла весна, мы с папой разделали в саду грядки, посадили картофель, морковь, зелень. Кроме того, на моей обязанности лежало готовить топливо для кухни. Сидя на бревне, я топором рубила большие сухие ветви. Рядом лежал том Тургенева, и я не могла оторвать глаз от книги. Мама выходила на крыльцо и спрашивала плачущим тоном: «Таня, ну скоро ли? Мне же надо готовить обед!» И я с трудом отрывалась от книги.

VII
ГОД 1919-Й. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

25 июня 1919 года армия генерала Деникина после напряженных боев вытеснила красных и заняла Харьков, а затем и всю Харьковщину. Начался новый поворот в нашей жизни. Самым значительным следствием смены власти было для меня возобновление деятельности института, его новое открытие, и приезд Оли ко мне на несколько дней в Чугуев.

Встреча с Олей

Со времени нашей разлуки прошло более полугода. При однообразии моей внешней жизни, отсутствии общества, духовном одиночестве в эти месяцы нашей разлуки я жила своей внутренней жизнью. Я много читала, в голове роились какие-то мысли, в душе рождались какие-то настроения. Шла выработка жизненной позиции, формировалось мировоззрение, определялись вкусы, симпатии. Мне было 15 лет.

Одно время я была охвачена мечтой стать в центре какого-то общества — «толпы», быть предметом поклонения, любви, обожания. Я даже чувствовала себя окруженной этой воображаемой боготворящей меня «толпой». Но это было недолго, неглубоко и легко развеялось. Я думаю, это настроение противоречило сущности моей натуры, моей застенчивости.

Гораздо глубже, тверже, органичней вошло в мое сознание утверждение: «Лучше умереть, чем отступить от истины, от правды».

Вот записала этот краткий, но весьма ответственный тезис, отражающий великий нравственный принцип жизни, и вспомнила стихотворение, которое я занесла в свой детский альбомчик так много лет назад. Освобожденный от религиозных мотивов, которые господствуют в стихотворении, этот тезис по существу выражает тот же нравственный принцип бесстрашной верности истине, добру, правде, призыв к которому составляет сущность стихотворения. Сколько времени это убеждение, казавшееся несомненным, зрело в душе, чтобы выразиться в такой простой, энергичной и столь ответственной формуле? И хватит ли смелости, не покажется ли наивным поставить теперь перед собой вопрос: «Выполнила ли я в своей жизни то наставление бескомпромиссности, душевной стойкости, твердой верности определенным нравственным принципам, которые я сама начертала себе в своем детском альбомчике и подтвердила юношеским тезисом?»

После первых приветствий мы с Олей взобрались с ногами на мою кровать, сели лицом к лицу. Я была настроена говорить с Олей о пережитом и переживаемом серьезного характера. Моя грудь была переполнена, напряжена. А Оля вдруг так весело, так непринужденно говорит: «Знаешь, Васенька, в наш двор поставили отряд казаков, и я влюбилась в одного». Это было так неожиданно, так противоречило моему настроению, что я расплакалась. Оля, смеясь, стала меня успокаивать: «Что ты, Васенька, что ты?! Ведь это несерьезно».

Мы стали разговаривать. Оля рассказала мне, что этим летом она провела неделю в имении Нины Циглер. Оля была в восторге от богатства и красоты имения, дома, парка, водоема. А я испытывала легкое недоумение. Нина Циглер была новенькой. Она поступила к нам в IV класс. Нина была, несомненно, очень хорошей девочкой, мне только была чужда ее религиозность, и мы совсем не были с ней близки. Почему вдруг пригласили Олю? Как девочку, которая не имеет возможности летом выехать из города? Своего рода милостыня? Мне было слегка неприятно.

Нет, нет! Оля приняла это приглашение со всей присущей ей непосредственностью и широтой души. Она одарила Нину своим обществом там, в уединенном уголке.

Я стала говорить Оле, как хорошо жить среди природы в маленьком уютном домике вблизи реки или большого озера. Чтобы вокруг дома был фруктовый сад, а за ним лежало бы большое поле, усеянное цветами, и стоял бы густой лес. Как хорошо жить в окружении природы!

«Нет, — сказала Оля. — Я хотела бы, чтобы мой дом был как дворец, с большими комнатами, высокими потолками, огромными окнами, блестящим паркетным полом и хрустальными люстрами. Как приятно чувствовать себя окруженной роскошью!»

«Что ж, — подумала я, — вероятно, хорошо и то и другое, но больше тепла и уюта в маленьком доме...»

Мы ходили с Олей купаться. В Чугуеве протекает приток Донца — Малый Донец, гуляли в саду, немного хлопотали по хозяйству.

«Хочешь, — сказала мне Оля, — я сделаю так, что ты никогда не будешь есть мяса?» И подняла руку для какого-то пасса. «Нет, — сказала я без колебаний, — не хочу». И я не хотела, но не потому, что не желала лишиться мясной пищи, а потому, что не допускала и мысли о возможности подчинить себя чужой воле, сделаться объектом чьего бы то ни было воздействия. Я должна была оставаться самой собой, независимой от чьей бы то ни было воли. Именно так я ясно ощущала это и тогда.

Но и чувство своей независимости, и все эти расхождения во вкусах, разные оттенки в настроениях тонули в не подвластном никаким внешним толчкам чувстве любви, непоколебимой дружбы, вере друг в друга, поглощались нашей взаимной глубокой привязанностью.

В день Олиного отъезда мы взобрались на толстые ветви одной из старых лип, росших у дома. В моих руках был листок бумаги, на котором я недавно записала сочиненное мной под влиянием увлечения тургеневскими

стихотворениями в прозе свое стихотворение. Я не помню его текста, но помню, что в нем в краткой, лаконичной форме с большой энергией была выражена напряженная интенсивность какого-то страстного чувства. Я прочла его Оле. Она молча взяла из моих рук карандаш и листок со стихотворением и крупными цифрами написала внизу: «12+» — высший балл наших институтских отметок.

Я очень жалею, что забыла это свое творение. Мне и теперь кажется, что стихотворение было действительно сильным и выразительным.

Письмо Оли

Через некоторое время Оля прислала мне письмо из Харькова, к сожалению, без даты. Это была, вероятно, середина сентября 1919 года. Письмо ясно воссоздает облик моей Оли, наши отношения и те обстоятельства, в которых находился тогда институт.

Поражаюсь количеству орфографических ошибок в письме способной и хорошо учившейся девочки. Я писала тоже подчас с грубыми ошибками, несмотря на то что я много читала.

Привожу текст ее письма полностью.

Олино письмо

Адрес: г. Харьков. Сомовская ул. 1—25 Н.М. Петровой, для меня.

Милая, дорогая моя, славная Васюточка.

Как давно я тебе не писала. Веришь, столько непредвиденных дел, маленьких и больших, что, право, некогда было написать. Как только я от тебя приехала, нам заявили, что надо очищать квартиру. Начались поиски, конечно безуспешные. Одна комната, без отопления небольшая, со всеми неудобствами стоит от 400 р. до 1000 р. в месяц (в нагорной части) (а по окраинам положительно все занято). Мама, бедная, не знала, что делать. Ты понимаешь, что у нас творилось. Наш дом заняли под фабрику и уже перешли, а мы все никак не могли выбраться. Наконец нас приютила у себя одна знакомая, на Рашкиной даче (опять на старом пепелище). Но перевозка! Ужас. Одна подвода стоила в то время (т.к. подводы реквизировали) 500—600—700 рублей, смотря куда ехать. Наконец переехали.

Деньги, конечно, получили от продажи вещей. Ну, первые 2—3 дня устанавливались, потом как будто и ничего себе стало. Но вдруг заболевает мама. Температура 40, бредит, горит (это было ночью). Я, понятно, не спала. То компресс, то вода. Господи, думаю, неужели у мамы тиф? Кое-как дотянули до утра. Пришел доктор. Плеврит в очень сильной форме. Тут настали для меня деньки. Чуть с ума не сошла. Ночью с мамой вожусь. Утро настает, то воды принести, то дров расколоть, сготовить хоть какой-нибудь обед, об Тосе позаботиться, денег раздобыть, и все я одна. Только недавно мама стала поправляться, но ужасная слабость. Сейчас и то мама говорит: чего сидишь? Но уж тебе я не могу не написать.

Только раз вечером сидела и вылилось у меня стихотворение.

Сейчас у нас тепло, уютно и больнично.
Горит огонь.
Рутандле учит стих, и кажется на миг
Под мамин бред, под звук дождя привычный,
Я позабыла день...

Здесь идет продолжение, фантазия. Когда увидимся в институте, то прочту тебе все. Теперь у меня очень изменился стиль.

Эта картина самая спокойная за все эти ужасные вечера. Тосю я назвала «Рутандле». Так ее называла покойная тетечка. Васенька, будешь ли ты в институте? Детей добровольцев принимают бесплатно. Формы будут другие. Задержка только в приютских детях, 2 этажа уже освобождено, остался верхний. Занятия неизвестно когда начнутся. Тося ходит в гимназию I-ю пока, а я, к моему сожалению, не могу ходить, далеко, и самое главное, некому ничего делать. Васенька, почему ты мне не написала? Ты, наверно, думаешь, что я не хочу тебе писать? А может быть, и тебе было некогда? Думаю, что последнее предположение вернее. Как вы поживаете? Вы в Чугуеве или уехали? Как здоровье мамы, бабушки. Кланяйся, пожалуйста, всем. Мама передает привет Вере Павловне. В институт надо брать по 3 тарелки. 1 глубокую, 2 мелких. Ты одну мелкую не бери, т.к. я тебе отдам ту, что я разбила. Книги у нас в целости и невредимости. Пиши, голубчик Васенька, скорее.

Крепко, крепко целую.

Оля Феттер.

P.S. Кладу деньги для доплаты за письмо 1 р.

Последние дни института

Осенью 1919 года нас наконец собрали в институте. Эти последние месяцы существования института памятны мне особенно. Может быть, потому, что они были последними, может быть, потому, что действительно были особенными, может быть, потому, что я была уже старше.

Нас съехалось немного. Смолянки выбыли совсем, и о дальнейшей их судьбе я ничего не знаю. С ними выбыла и милая Ольга Максимовна. Свое место нашей классной дамы заняла опять Наталья Николаевна.

На верхних этажах института шел ремонт после пребывания там детского дома, и нас поместили в палатах лазарета. Я попала в ту самую палату, в которой некогда не совсем удачно учила наизусть «La parure» Мопассана. Со мной были Оля, Женя Лобова, Маруся Мельникова, еще несколько моих одноклассниц и девочки других классов.

Обедали все собравшиеся за общим столом в центральном зале лазарета.

Жить нам было трудно. Было холодно. В письме к маме от 3 ноября 1919 года я просила: «...пришли, пожалуйста, гамаши и перчатки, холодно ходить гулять. В здании тоже очень холодно, и мы мерзнем. Но на ночь я укрываюсь шубой, и мне тепло... Если есть что-нибудь теплое — фуфайка, или платок, или вообще что-нибудь такое, то пришли, пожалуйста, мамочка. Мои руки никогда не перестают быть сине-лилово-красными».

Мы голодали. У кого-то в нашей палате оказалась поваренная книга, и мы услаждали свой аппетит чтением вслух рецептов приготовления разных изысканных блюд.

Институт был разорен или разграблен. В том же письме к маме, в котором я говорила о теплых вещах, я просила прислать ложки, вилки и ножи, «а то приходится мясо грызть прямо с куска».

Занятий не было. Кто что хотел, то и делал. Я рисовала, шила к шестилетию брата суконные ботиночки.

Наталешку после ее возвращения на старый пост безобразно третировали старшие классные дамы. Я писала маме: «Наталешка до того ненавидит Чапкину и еще другую кикимору Анну Петровну, знаешь, в рыжей мантилье, что делает им рожи вслед, ни капли не стесняясь нашим присутствием. Меня она выбрала в поверенные и все мне жалуется на них и боится их, т.к. они распоряжаются ею и ее классом».

А в нашу среду проникали новые веяния. Пели куплеты из оперетт, песенки Вертинского.

Вертинский мне не нравился. Его песенки казались мне изысканными и одновременно пошлыми, какая-то пошлая изысканность. От них пахло мертвечиной.

Но одна песенка неожиданно ответила моим настроениям. Это — «Безноженька»[58]. Но и «Безноженька» мне не нравилась. Кто эта Безноженька? Странное безымянное убогое существо из страшной сказки? Убогость этого существа, наверное, нарочно доведена до предела. Не слишком ли? И это мертвенное окружение: ночь, кладбище, могилки. И почему колокольцы, а не колокольчики? И разве они лиловые? Какой мрачный цвет! Что такое «хорал»? Зачем тут это торжественное слово?!

Привлекла же меня эта песенка вычитанным мной ее смыслом. И я имела наивность передать Наталешке свои размышления. «Или Бога нет, — говорила я, — или он недобрый. Иначе почему он не подарил бедной безноженьке «ноги большие и новые», о которых она так горячо молилась?!» Наталешка промолчала. Она или не поняла меня, или нашла удобным сделать вид, что не понимает.

Оля рассказала мне, что летом она познакомилась с двумя молодыми людьми, сторонниками нового религиозного учения — теософии[59] и кратко передала мне его основные положения. Но меня это учение не заинтересовало.

Самое интересное этого времени было то, что мы что-то восприняли из революционных настроений. Привычное обращение «господа» мы легко заменили словом «товарищи». «Товарищи! Кто может дать лист чистой бумаги?»

А я сочинила целую сказку-аллегорию, посвященную идее революции, под названием «Красная девочка». Красная девочка, воплощение революционной идеи, собирает силы для создания нового счастливого общества равных. Деревья, к которым она обращает свои пламенные призывы, реагируют на них по-разному. И хотя моя «Красная девочка» все выше поднимала свое знамя и за ней уже следовала «огромная могучая толпа», когда я прочла Жене Лобовой свое творение, Женя криво усмехнулась и холодно спросила: «Что же, ты не допускаешь возможность равенства?» Я была смущена и озадачена. Я с такой симпатией рисовала свою красную летунью, но разве все так просто? Разве все хотят равенства? Посмотри, какой везде разброд! Да и в чем равенство? Как уравнять красоту и уродство? Одаренность и бездарность? Равенство должно быть в чем-то другом. Нищенство и богатство? Да, я не знаю ответа на этот вопрос.

В дневнике 1920 года я записала: «Лежит у меня под матрасом начатое сочинение «Революция между дерев», но не хватает деревьев, в которые я могла бы воплотить типы людей, создавших революцию и мешавших этому великому перевороту».

Грустная встреча

Однажды, направляясь к себе в лазарет, у нижнего коридора я неожиданно столкнулась с Борткевич, моей бывшей учительницей музыки. Она так взволновалась, так обрадовалась, увидев меня, что заплакала. Вынув из муфты грязный носовой платок и поспешно вытирая слезы, она сказала, что «много перетерпела от большевиков и жидов».

О, моя дорогая, нелепая, добрая и бедная Борткевич! Как я счастлива, что Вы простили мне мою старую измену и по-прежнему считаете меня своей! И как мне жаль Вас! Что же могли сделать Вам, такой безобидной, больной и одинокой, большевики? Неужели переселили Вас из вашей комнаты в какую-нибудь трущобу или отняли ваш инструмент, чтобы передать его в какой-нибудь клуб?

Грустный обломок прежней институтской жизни! Что же ждало Вас в дальнейшем?!

Бесценные сокровища

На один из дней этих осенних месяцев, которые стали последними в нашей институтской жизни, падает мое незабываемое, близкое к душевному потрясению переживание.

Я бежала по нижнему коридору, направляясь к месту нашего обитания — в лазарет. Справа почему-то оказалась приоткрытой дверь в нашу бывшую музыкальную комнату. Я непроизвольно заглянула в нее и, войдя, внезапно остановилась, потрясенная представшим передо мной зрелищем. На полу, на подоконниках, на рояле лежали книги. Масса книг, огромная гора книг, достигая потолка, громоздилась в левом углу, наискось от дверей.

— Книги! Книги! Сколько книг! — Неизъяснимое страстное волнение охватило меня. Мир перестал существовать. Существовали только книги

и я. Я стала дрожать. Книги! Книги! Бесценные сокровища лежали передо мной. Книги! Владеть ими всеми, прочесть их все!!! Я бережно, как к чему-то хрупкому, прикоснулась к одной книге, подняла другую, раскрыла ее. Ею оказалась французская хрестоматия «Morceaux choisis»[60]. Там я нашла большой отрывок из «Miserables»[61] Гюго, и «Матео Фальконе» П. Мериме. Другая оказалась «Историей». Я поняла. Это наши учебники, снесенные сюда на время ремонта. И я решила: «Буду приходить сюда и брать книги, чтобы прочесть их одну за другой».

Я осторожно спрятала взятые книги за корсаж передника и унесла с собой. Под руководством Натальи Николаевны я методически читала Гюго.

А затем институт закрыли. Книги уехали со мной и долго хранились у меня эти украденные сокровища.

Отъезд

В моем письме к маме из института в Чугуев, единственном сохранившемся из моих писем того времени (3 ноября 1919 г.), есть приписка: «Сегодня была конференция. Постановили: съезда не будет. Занятия для приехавших начинаются через три дня».

Очевидно, было совещание руководителей института, на котором решили, что сбор всех институток в современных обстоятельствах нерационален. Для нас же, съехавшихся, занятия должны были вскоре начаться.

Занятия не начались. Красные наступали. Под напором их отрядов Деникин начал отводить свои войска на юг. В декабре институт стал готовиться к эвакуации. Говорили, что он отправится на остров Мальту.

Олина мама была зачислена кастеляншей института, и, таким образом, Оля, ее сестренка и мать — все уедут с институтом. Я и моя сестра ждем, когда за нами приедут из Чугуева.

В эти дни я впервые была у Оли дома. В небольшой скромной квартире я помогала разбирать и укладывать вещи. Я рассматривала семейные фотографии и взяла на память одну, где Оля, девочкой лет шести с умненьким и очень серьезным лицом, сфотографирована с младшей сестренкой Тосей. Взяла я на память и морскую раковину с надписью «Ялта».

После сборов в квартире Оли, после нервного возбуждения и ожидания чего-то неизвестного мы с Олей длинными улицами шли вечером к институту. Из бездонных карманов институтских юбок мы вынимали ка-

кие-то печеные лепешки и ели их на ходу. Шли как в тумане. Больше я не помню себя и Олю вместе.

Мне с сестрой надо было ехать домой в Чугуев. А денег не было. Папа говорил, что оставит нам денег у давней нашей знакомой — у Варвары Михайловны Образцовой, которая в это время жила в семье моей крестной матери — Лидии Константиновны Пушенко. Ни я, ни сестра города не знали. К нам пришла наша двоюродная сестра Милочка, учившаяся в гимназии и прекрасно знавшая Харьков. С ней мы и пошли к Пушенко по оставленному папой адресу.

Вечером в полутьме мы подошли к большому дому в фешенебельном районе города, и вдруг я почувствовала, что не могу войти в этот богатый дом и спрашивать деньги. Я пережила настоящий нервный припадок гордости и стала почти со слезами просить сестру идти с Милочкой без меня.

Город был в тревоге. Масса людей готовилась к отъезду. Так было и у Пушенко. Зять моей крестной, крупный инженер, весьма состоятельный человек, собирался с женой и сынишкой за границу. Шли сборы. Наташа и Милочка вернулись ни с чем. Денег не было.

На следующий день мы решили идти к Васильевым. У Васильевых мы застали ту же картину, что и у Пушенко. Шли сборы к отъезду — за границу. Ф.И. Васильев, папин однополчанин, был крестным отцом Наташи. Его жена тотчас дала нам денег. Да и много ли нужно было денег, чтобы доехать из Харькова в Чугуев?

Чуть ли не на следующий день за нами приехал присланный папой солдат. В черных институтских шапочках, длинных черных пальто, прикрывавших наши платья, с мешками за плечами мы вошли в поезд. Вагон был переполнен. Я, Ната и солдат остановились в тамбуре. Мимо шел солдат, очевидно, какой-то дежурный. Он грозно сказал: «Здесь стоять нельзя. А то...» — и погрозил мне шомполом. Я опустила глаза, но с места не двинулась.

На вокзале в Чугуеве нас ждала посланная папой лошадь. Дома та же картина, что у Феттер, Пушенко, Васильевых. Шли поспешные сборы в неизвестную далекую дорогу.

Мы брали с собой множество вещей. Помню огромную плетеную корзину, чуть короче кровати и почти вдвое выше. В ней поехали и наши институтские формы. А кроме корзины бесчисленные ящики, чемоданы, узлы. Не брали только мебель.

Мы погрузились в теплушку товарного поезда со множеством самых разнообразных незнакомых людей. Было несколько молодых белых офицеров.

Вечером, когда укладывались спать, мне не хватило места на нижней полке нар. Решили положить меня на верхнюю рядом с каким-то незнакомым пожилым человеком. Но этот человек сразу внушил мне такое отвращение, что я наотрез отказалась лечь рядом с ним. Несмотря на мамины уговоры, я упорно стояла на своем. Маме пришлось извиниться, и меня положили рядом с незнакомым молодым офицером. Спали мы все в одежде. Мы легли с моим соседом лицом к лицу, несколько минут поговорили и заснули до утра, как невинные голуби.

В Новочеркасске мы сделали остановку, и один из ехавших с нами молодых офицеров пригласил нашу семью к своим родственникам отобедать и помыться. Мы с благодарностью приняли его приглашение. Помыться мы смогли только в тазу до половины, а пообедали в милой интеллигентной семье скромным, но настоящим обедом.

Поезд шел на Новороссийск. Наша же семья покинула поезд раньше (может быть, именно в Новочеркасске). Ехать дальше, ехать за границу нам было не с чем и незачем.

Прощаясь со спутниками, мама взяла мой институтский башлык и повязала им голову поверх фуражки одному молодому офицеру, которому нездоровилось. Мне было немного жаль башлыка, но все же я одобрила маму.

Папа договорился с подводами, и мы двинулись куда-то в сторону. Ехали мы мимо каких-то хуторов. Был декабрь. Снег лежал на полях, но из хат выбегали полуголые ребятишки и носились по полям. Это была Кубань.

Вечером мы приехали в Анапу. В большой частной гостинице нас поместили в огромной комнате. В ней уже расположилась семья генерала Анисимова — жена, двое детей, учитель. Мой отец к концу войны был полковником. Мы познакомились, перекусили и устроились спать.

Под высоким потолком горела большая электрическая лампа. Ночью я сняла с себя рубашку и принялась уничтожать вшей, неизвестно каким образом расплодившихся. Вдруг я заметила, что пожилой генерал, приподняв одеяло, пристально смотрит на меня из его угла. Я поспешно накинула на себя рубашку, укрылась и постаралась уснуть.

На следующий день мы вместе с семьей Анисимовых сняли на одной из окраинных улиц Анапы небольшой домик в три комнаты с кухней и застекленной галереей и поселились в нем. Хозяйство стали вести совместно.

За все время нашей совместной жизни я хранила к генералу молчаливое презрение.

VIII
ПОСЛЕ ИНСТИТУТА

Судьбы и встречи

В Анапе мы прожили около года: с конца декабря 1919 года до осенних месяцев 1920 года. Когда мы приехали в Анапу, Кубанью владела Добровольческая армия[62]. 6 марта Анапу захватили «зеленые»[63]. 10 марта в город вступил отряд казаков-добровольцев, но через час он был выбит красными. «У нас большевики», — записала я в дневнике.

Для меня пребывание в Анапе шло под знаком мучительнейших душевных метаний и страстной тоски по институту.

В последние годы жизни в институте определилась моя горячая жажда знаний, потребность серьезной умственной работы. Я привыкла к размеренному ритму жизни, я привыкла к самому институту. В нем я жила дольше, чем дома, уезжая домой только на каникулы. В старших классах я почувствовала себя личностью, заслуживающей уважения, в институте я его получала и от старших, и от подруг. Как это ни странно, в институте я стала себя чувствовать свободней и независимей, чем дома. С резкой переменой жизни в стране произошел срыв моих мечтаний и моих надежд.

Все вдруг оборвалось. 15 марта 1920 года я писала: «Итак, у нас красные... Где Сергей? Что с ним? Мечты об институте, где вы? Рухнуло все. Институт! За что я так полюбила его? Эта любовь болезненно отзывается во мне. Каждую ночь вижу себя в институте». Вместо того чтобы «погрузиться в искусства, в науки», я должна была отдавать свои силы грязной домашней работе на большую семью. Я мыла посуду, мыла грязные полы (10 человек в маленькой квартире), стирала, часами стояла в очередях за хлебом. Весной я стала носить на коромысле воду из колодца.

Я тосковала и беспокоилась об Оле. В дневнике 3 января я писала: «Где сейчас Олюся, мой милый родной друг? Неужели институт не успел выехать из Новороссийска и большевики захватили город?»

Упоминание имени «Сергей» тоже здесь не случайно. Это не был воображаемый герой моих детских грез. Это был реальный молодой человек, сын военного врача, постоянно лечившего папу, офицер царской армии Сергей Савинов. Он уже прошел войну, лежал в госпитале и теперь ехал с нами в одном поезде, но в другом вагоне. У него была приятная интеллигентная внешность, он проявил ко мне некоторое внимание, и я вообразила, что он «мой»... Я часто вспоминала о нем в своем дневнике, думала о нем.

Тяжелое же мое настроение усугубилось неожиданными постоянными и, как мне казалось, необоснованными оскорбительными конфликтами с мамой. Я и теперь не могу постичь их почву. Может быть, я не вполне понимала, что у нас были огромные материальные трудности. Но я ничего не требовала. Главное же над папой, полковником царской армии, а стало быть, и над всей нашей семьей, висели страшные угрозы расправы, гибели. Это, естественно, не могло не создавать повышенного нервного состояния мамы. Вероятно, ее раздражало и мое наивное стремление вернуться в институт. Но то и дело происходили события, пробуждавшие мою мечту, напоминавшие мне об институте. 8 января (1920) я записала в дневнике:

«Сегодня в Анапу пришел пароход, переполненный институтками Московского и Смольного институтов. Какая радость для меня! Мы узнали, что наш институт в Новороссийске и через 3—4 дня отправляется в Батуми или на остров Мальту. Институт в 35 верстах от нас. Поеду! Мне хочется ехать. Неужели мое желание исполнится?»

Папа и Наташа пошли на пристань (я осталась, так как мне нужно было приготовить завтрак). После завтрака я поспешила на пристань и неожиданно встретила по пути сестер Тамбовцевых: Клаву, мою одноклассницу, и Марусю, успевшую окончить институт. Обе необыкновенно оживлены и великолепно одеты. Обе в беличьих шубках и шапочках, паутинковых чулках и лакированных туфельках, завиты и напудрены. С ними был молодой грек или армянин. Они вели с ним какие-то переговоры.

Когда он ушел, Маруся подошла ко мне и стала восторгаться окружающим: «Какая красота! Вам нравится?» — «Только не здесь, — отвечаю я. —

Здесь, кроме тины, грязи, мутной воды и серого неба, нет ничего...» Подошла худая облезлая собака. Маруся опять начала восклицать: «Какая чудесная собачка! Просто прелесть!» Я с удивлением посмотрела на нее. «Вот что называется "институтством"», — с горечью подумала я и поспешила расстаться с Тамбовцевыми, досадуя, что завтра придется их навестить, чтобы узнать о телеграмме, которую они ждали из института.

Я подошла к пристани. Пароход стоял очень близко к берегу. К борту подошла небольшая группа девочек. Институт оказался не наш и не Смольный. Девочки очень охотно вступили со мной в разговор. Но что это был за разговор! Одна очень милая девочка, указавшая мне на подругу, стоявшую рядом и державшую ее за руку, улыбаясь, произнесла: «Вот она очень хорошо рисует». — «А эта девочка, — вступила в разговор другая, — очень хорошо поет». — «Куда вы едете?» — спросила я. Они не знали. «Боже, какие институтки! — опять с грустной иронией подумала я. — Они живут вне времени и пространства. Это, вероятно, девочки какого-нибудь младшего класса», — заключила я в их оправдание.

12 января был день моих именин — Татьянин день, и я с утра надела свое «праздничное» платье — институтскую форму. Это вызвало крайнее неудовольствие мамы. Она и все семейные не поздравили меня. Поздравили только чужие. Я почти весь день проплакала.

Когда я узнала, что наш институт в Новороссийске, я стала просить папу отвезти меня в институт. Папа сказал, что это стоит 5 тысяч рублей, а таких денег у нас нет и что мне лучше поступить в реальное училище.

Я разыскала это училище, но о зачислении девочки, не имеющей никаких документов, да еще в середине учебного года не могло быть и речи.

Несмотря на трудности нашего быта, в нашем коллективе, сложившемся из двух семей, не угасли культурные запросы. Довольно скоро у нас возникла традиция совместных вечерних чтений. После ужина все оставались в большой комнате у стола и кто-нибудь читал вслух. Первой чтения открыла мама, прочитав нам повесть своего сочинения «Аделаида». Затем генерал Анисимов прочел свой автобиографический роман. Затем мама стала читать вслух «Онегина» по маленькой книжечке, подаренной ей ее дядей писателем П.В. Засодимским[64]. (Взяла с собой!)

Я разыскала городскую библиотеку. Она оказалась очень хорошей. Я принесла однажды роман Д. Лондона «Морской волк», и его читали несколько вечеров.

Но я недолго была участницей этих совместных чтений. Помыв посуду после вечерней трапезы, я оставалась в кухне и читала то, что меня интересовало. Так я взяла в библиотеке «Анну Каренину», которую еще не читала, и в кухонном уединении прочла этот еще не совсем доступный мне роман. Чаще же я изливала свои настроения в дневнике. «Дневник — моя отрада», — записала я на одной из его страниц. «Я безумно хочу учиться», — написала я на другой.

Я тяготела к искусству. Еще в школе я удачно лепила из глины, я любила рисовать, я увлекалась литературой и уже недурно знала русскую классику. И вместе с тем писала в дневнике: «Я хочу быть криминалистом, философом, физиком, общественным деятелем» — и сама чувствовала непомерную широту своих стремлений, мучилась неспособностью определиться. То я сомневалась в возможностях своей личности и боялась уподобиться гончаровскому Райскому[65], которому было много дано, но который ничего не свершил.

Я металась между демократическими симпатиями, привитыми семьей и русской литературой, и чувством родства с белой армией, гордостью за своего отца и своей связью с институтом, с «званием» институтки. И даже казавшаяся установившейся безрелигиозность подверглась колебаниям. «Словом, — записала я в дневнике 10 января, — во мне происходит сумятица».

В Анапе читались публичные лекции. Мама была на лекции священника Григория Петрова[66], я же слушала лекцию о спиритизме. Лекция произвела на меня сильное, пугающее впечатление, и я решила никогда не заниматься спиритизмом. И вдруг заколебалась: захотела при помощи спиритизма заглянуть в потусторонний мир, узнать, что это за духи, говорящие с живыми людьми, предугадать свое будущее.

Через несколько дней я неожиданно встретила на улице еще одну свою одноклассницу — Любу Советову, и 18 января она была у меня. Разговаривая с Любой, я полушутя упомянула о своем намерении заняться спиритизмом. «Я тебе не советую, Талочка, — сказала Люба, — это от дьявола». Я засмеялась. «А мне кажется, — заметила я, — что дьявола нет». — «Нет, есть, Тала. И Бог есть», — тихо, но очень серьезно ответила Люба. Люба была верна себе. Еще в институте она отличалась религиозностью. А я все металась.

Встреча с Любой была для меня встречей с институтом. Люба дала мне своей адрес, и я через некоторое время разыскала ее дом. Он был заперт

висячим замком, а на двери большая табличка: «Доктор медицины Советов». Я оставила Любе записку, но она не пришла, и мы больше с ней не виделись.

20 января 1920 года я неожиданно получила письмо от Жени Лобовой из Екатеринодара (Краснодара) «с очень печальным известием об институте и об Оле Феттер», как записала я в дневнике. «Читала я его несколько раз вслух и всем надоела с ним». Несмотря на важность для меня Жениного письма и на то, что я многократно читала его вслух, я совершенно не помню его содержания.

Почему Женя в Екатеринодаре? Она кубанская казачка? Как она узнала мой адрес? Может быть, она виделась с Тамбовцевыми и те сообщили ей обо мне?

Но я не только занималась хозяйством, читала, писала дневник и тосковала об институте. Это одна из сторон моей тогдашней жизни. Постепенно я стала делать одно весьма полезное для семьи дело. Я систематически занималась с братом, которому осенью исполнилось шесть лет. Я обучала его грамоте, читать, писать, элементарным арифметическим действиям и даже некоторым обиходным французским словам. К нему присоединилась шестилетняя дочь Тимченко, местного жителя, с семьей которого мы сблизились. А затем молодая женщина, которая носила нам молоко, узнав о моих занятиях, попросила взять ее девочку Марфутку, и за это она стала носить нам молоко бесплатно. А затем к нам присоединилась еще одна крошка из интеллигентной семьи — Наташа, милейшее умненькое существо.

С величайшим удовольствием вспоминаю эту свою неожиданную школу, которую я затеяла бесплатно. Через некоторое время я устроила нечто вроде концерта. Каждый читал специально выученное стихотворение. Брат читал Пушкина: «Что ты ржешь, мой конь ретивый...», а маленькая краснощекая Марфутка, к великому удовольствию ее матери, волнуясь, но очень выразительно прочла «Уж как я свою коровушку люблю...»[67]. Инсценировала я и басню Крылова «Демьянова уха», для чего привлекла старшего брата Даши, с которым одно время я тоже занималась.

Через некоторое время, когда я была у Тимченко (я дружила с его дочерью Таней, моей ровесницей и тезкой), он вынул бумажник, перебрал содержавшиеся там купюры и дал мне 1000 рублей, сказав: «Она стоит». Это была немалая сумма. Я начала свою школу как бесплатную

из-за брата, но деньги, немного смутившись, взяла и, разумеется, тотчас отдала маме. Семья Тимченко была простая семья. Ее глава был вдовец, и хозяйство вела его старшая дочь Васюта, очень хорошая девушка. Кто был Тимченко, я не знаю. Мне кажется, он занимался извозом.

Вы спросите, зачем я пишу о себе, когда я была уже вне института. Но я, не рассказав хотя бы кратко, что было со мной, носившей заряд института в дальнейшие годы, не могу довести тему института до ее полного завершения.

Если не ошибаюсь, в августе 1920 года Советским правительством был издан указ всем офицерам царской и белой армий явиться в Особый отдел для регистрации. Отец, устроившийся было на какую-то скромную работу, двинулся в путь. Явиться, наверное, надо было в Ростов. Но в Краснодаре ему неожиданно предложили, основываясь на его боевой и теоретической подготовке, зачислиться в только что созданные Высшие военные курсы действующих родов войск для чтения лекций по военным дисциплинам. На отца произвел дельное впечатление начальник курсов, и он согласился.

Поздней осенью 1920 года наша семья переехала в Краснодар, и в январе 1921 года я уже училась в единой трудовой советской школе. Я зачислилась в последний 9-й класс, пропустив, таким образом, около полутора лет среднего образования.

Я старательно взялась за занятия. Я участвовала в кружке обществоведения, читала книги по естествознанию, ходила на занятия художественного кружка, созданного при Высших курсах, где работал папа, и удивительно просто чувствовала себя в среде красных курсантов. А на выпускной вечер в школе я в последний раз надела институтскую форму и декламировала стихотворение Мережковского «Сакия-Муни», которое еще недавно так удачно читала моя Оля.

Через некоторое время мама, ничего не сказав ни мне, ни сестре, продала на базаре наши широкие и длинные, прекрасного зеленого цвета институтские платья. Жить было трудно. Купила их, как рассказывала мама, толстая казачка, важно сидевшая на возу, — «настоящая кулачка». Так и доносили, очевидно, в виде юбок, форменные платья воспитанниц Института благородных девиц в какой-то кубанской казачьей станице... Так оборвалась еще одна тоненькая ниточка, связывавшая меня с институтом...

А из розового плотного чехла на матрац, который мне выдали в институте, я собственноручно сшила себе летнее (!) платье с короткими рукавами и широким вырезом у шеи. И прощеголяла в нем лето, несмотря на его плотность и частые жаркие дни.

Окончив школу, я тотчас поступила на работу, сперва в канцелярию одного из батальонов курсов, а затем учительницей в детский дом для детей голодающего Поволжья, созданный при тех же курсах, где работал отец.

Одновременно я подала заявление в Кубанский институт народного образования. После легких колебаний между историческим и филологическим факультетами я выбрала последний и никогда в этом не раскаивалась. Я была принята и с осени стала учиться, совмещая занятия с работой. Так мой рабочий стаж начался, когда мне еще не исполнилось 17 лет.

Я успешно перешла на 2-й курс, но едва начались занятия в новом учебном году, как моему отцу предложили более ответственную работу — в Москве. 29 октября 1922 года я записала в дневнике: «Мы переехали все в Москву, папу перевели по службе». Он стал преподавателем знаменитой школы «Выстрел»[68]. Между прочим, его лекции слушал будущий маршал Василевский. Василевский упоминает о лекциях моего отца в своей книге воспоминаний[69].

Меня на 2-й курс Московского университета не приняли (нужно было досдать чуть ли не 8 предметов) и посоветовали обратиться во второй МГУ*. Там зачли мне некоторые предметы, но приняли на 1-й курс. И благо: общеобразовательные предметы этого курса восполнили в известной степени пробелы моего среднего образования.

Я училась. Я слушала лекции первоклассных профессоров. Я много читала. Я бывала в столичных театрах, консерватории. Я больше не думала о заработке. У меня появились новые приятельницы, друзья. Но я по-прежнему очень тосковала по Оле. Мне часто снилось, что мы встретились, нашли друг друга. Я писала в разные города, думая, что, может быть, она не уехала за границу. Однажды один из папиных слушателей ехал в Новочеркасск. И я попросила его зайти в адресный стол. Через несколько дней он привез ответ: «Анна Григорьевна Феттер в 1921 году умерла от тифа. Ольга Владимировна выбыла неизвестно куда». А Оля продолжала мне сниться. «Вот мне снилось, что я тебя нашла, а теперь

* Затем 2-й МГУ назывался Государственным педагогическим институтом им. В.И. Ленина, теперь Государственный педагогический университет.

мы встретились на самом деле», — говорила я ей во сне. Да, такого органически близкого друга, как моя Оля, у меня больше не было никогда.

Весной 1923 года я заболела воспалением легких. Так случалось со мной почти каждую весну. Профком нашего университета дал мне путевку в Крым. На обратном пути я решила сделать остановку на родине, в Харькове. Там жили папин старший брат и сестра, моя тетка[70]. У нее я и остановилась. Я, разумеется, не могла не думать о том, чтобы побывать у столь знакомого здания на Сумской, 33. Там в эти годы царил Педагогический институт. И я пошла.

Я подошла к знакомой ограде, вошла во двор, медленно поднялась по ступенькам, вошла в вестибюль. Перед дверью у входа в нижний коридор на стуле сидел Яков. Да, да, наш швейцар Яков, который несколько лет назад, войдя в класс, возглашал: «Барышня Морозова! За вами приехали!»

Что я должна была сделать?! Но я не сделала ничего. Яков пристально посмотрел на меня. Он узнал меня! А я прошла мимо и поднялась на второй этаж.

Это была измена. Это было предательство. Но я была связана обязанностью забыть об институте, не упоминать о нем в анкетах, ни в разговорах с кем бы то ни было. Я никогда не училась в этом заведении. Я кончила единую советскую трудовую школу. А в опасном 1937 году мама, не сказав нам ни слова, уничтожила наши табели, мой и сестры, такие красивые, напечатанные на бледно-розовой атласной бумаге.

Итак, я поднялась на второй этаж, в наш классный коридор, и направилась к дортуару, в котором я некогда провела немало тревожных ночей. Наш дортуар, наша большая умывальная комната были перегорожены и всюду стояли столы, столы. Это, наверное, была канцелярия.

«Вам кого?» — спросила меня женщина, около которой я остановилась. «Товарища Иванова», — ответила я не задумываясь. «Он — там!» — сказала женщина и махнула рукой по направлению к выходу.

Я вышла из дортуара, посмотрела на наш классный коридор, пол его не блестел, как это было у нас, и больше не пошла никуда. На сердце лежала тяжесть.

6 сентября 1924 года, в субботу, я шла в Москве по левой стороне Тверской улицы, направляясь от центра к Пушкинской площади. На Тверской было какое-то учреждение, где принимали подписку на газеты. Шедшая

мне навстречу молодая женщина прошла мимо, но вдруг вернулась и, обращаясь ко мне, спросила: «Простите, ваша фамилия Морозова?»

Я стала напряженно всматриваться в ее лицо. «Мельникова!» — воскликнула я в волнении и, схватив ее за руки, беззвучно заплакала. Я оттащила ее с прохожей части тротуара к стене дома и стала расспрашивать. Она рассказала мне, что она приехала в Москву с мужем по делам Харьковского театра оперетты. Муж ее актер этого театра, и она тоже работает в театре. Она прошла со мной подписаться на газеты и пригласила меня к себе. Звалась она теперь Магдалина Петровна. И так странно привычно прозвучало в ее устах мое институтское имя «Талка».

«Знаешь, — сказала я ей, — я учусь в университете. Отгадай, на каком факультете?» — «На математическом», — не задумываясь ответила Мельникова. Это оставили нестираемый след мои успехи у Клепки. «Нет, — ответила я, — на литературном».

Маруся была очень недурна собой. Примерно моего роста, прямая и стройная, блондинка с карими глазами. Я была у нее однажды. Но отношения не установились. Слишком разные мы были, да и в Москве она оказалась временно.

Как-то летом в Крыму я столкнулась в толпе идущих с моей первой институтской симпатией — Марусей Синицкой. Мы узнали друг друга. Внешне она мало изменилась. Но с первых же слов я почувствовала себя старше, умней, интеллигентней. А она... Такая обыкновенная советская женщина... Ничего от института. И этот говор с украинским оттенком, фрикативное «г»... Она заговорила о невозможности завязывать близкие знакомства на курорте — «Привязываешься»... Да, курортные романы, Бог с ними...

Милая Маруся! Я не отплатила Вам теплом при неожиданной встрече за те минуты радости, которые Вы подарили мне в первые дни моего одинокого пребывания в институте, я не узнала, как Вы живете, чем занимаетесь... Но я испытала какое-то неожиданное разочарование и растерялась. Простите!

Вскоре после встречи с Мельниковой я опять была в Харькове. В адресном столе я легко узнала адрес Нины Иссовой. Вероятно, Мельникова сказала мне, что Нина в Харькове.

Я пришла к Нине днем и застала ее дома. Мы никогда не были особенно близки, но встреча наша была совсем сдержанной. Я рассказала о

себе. «А я — вот...» — сказала Нина, указывая мне на свой вспухший животик.

«Плохая настала у нас жизнь», — полувопросительно, полуутвердительно заметила я. И моя одноклассница, в недавнее время институтка, дворянка (?), отрицательно покачав головой, тихо произнесла: «Неет...»

Пришел ее муж, молодой человек деловитого вида, поздоровался со мной кивком головы и начал говорить с Ниной о чем-то своем так, как будто меня нет. Я попрощалась и ушла.

«Кто он? — думаю я. — Комсомольский работник? Партиец? Не он ли причина поворота Нины к новой — советской действительности?! Но я сама, разве я не стою лицом к новой жизни, не принимаю в ней участия?»

А совсем недавно судьба свела меня с сестрой моей одноклассницы Оли Ганшеевой Марией Ивановной Ганшеевой, по мужу Гирко. От нее я узнала, что наша последняя начальница М.А. Неклюдова вывезла институт в Сербию, в Белград, где девочкам дали возможность закончить образование и устроиться на работу. Но после прихода фашистов судьба многих бывших институток оказалась трагической. Оля и ее муж погибли, а двух их детей взяли чужие люди. Мальчик был увезен в Советский Союз, девочку удочерила французская семья.

ЭПИЛОГ

Наше прекрасное, ставшее родным здание института было разбито бомбами фашистов. Это был совершенный конец. Я была в Харькове после Отечественной войны и специально ходила к тому месту, где еще недавно высилось здание института. Все его остатки были уже убраны. Но слева еще стояла надломленная невысокая стена, за которой я с Олей некогда пилила дрова. Была неровной полоской сбита ее верхушка. Обнажились кирпичи, из которых она была сложена. Бедная милая стена! Помнишь ли ты девочек в зеленых платьях, которые под твоей охраной пилили тяжелые бревна?

Потом и стена исчезла.

Мне сказали, что парк института преобразован и в нем стоит памятник Шевченко. Я и пошла туда. Но ничто вокруг не напоминало мне наш

сад. Мне даже казалось, что институт был ближе к той башне, на которой и теперь горделиво красуется надпись «Salamandra». Когда мы с мамой ехали на извозчике после каникул в институт, то всегда смотрели на эту башню. Знали: за ней почти тотчас будет наша обитель.

Я подошла к деревцу парка Шевченко, которое стояло неподалеку от дороги, взяла его за веточку и сказала: «Нет, ты слишком молодо, чтобы знать девочек, гулявших по этой тропинке и думавших о своих горестях, обидах, переживавших невинные радости и мечтавших о счастье. Тебе все равно, как сложились их судьбы. Наблюдай же другую, новую жизнь! Будет ли она лучше? Кто знает?

Прощай!»

КОММЕНТАРИИ

Г.И. Ржевская. Памятные записки

Ржевская Глафира Ивановна (урожд. Алымова, во 2-м браке Маскле; 1759—1826) — «первая смолянка», была лучшей в первом выпуске Воспитательного общества благородных девиц при Смольном монастыре (впоследствии Смольного института). Поступила в 1764 г., выпущена с золотой медалью первой величины и золотым шифром в 1776 г. Пользовалась особой любовью и покровительством Екатерины II, фрейлиной которой стала сразу после выпуска. Считалась одной из лучших арфисток своего времени; с арфой изображена и на известном портрете кисти Д.Г. Левицкого (Русский музей).

Первым браком (с 1777 г.) была за А.А. Ржевским (1737—1804) (см. о нем примеч. 16), от которого имела троих сыновей и дочь. В 1780 г. Г.Р. Державин посвятил супругам Ржевским оду «Счастливое семейство». Во втором браке Г.И. Ржевская была за И.П. Маскле (см. о нем примеч. 43). Скончалась в Москве, похоронена на Ваганьковском кладбище.

«Памятные записки» были написаны в начале XIX в. на французском языке. Для публикации в «Русском архиве» (1871. Кн. 1. Вып. 1), использованной в настоящем издании, были переведены на русский язык правнучкой Г.И. Ржевской, дочерью известного декабриста П.Н. Свистунова — Магдалиной Петровной Свистуновой (1848 — ?) и сокращены.

В примечаниях использованы комментарии П.И. Бартенева к первой публикации.

[1] Предваряя публикацию, Бартенев сообщал, что рукопись записок сохранилась в Калуге у Варвары Александровны Зыбиной (воспитанницы Г.И. Ржевской) и была предоставлена в редакцию «Русского архива» внуком мемуаристки П.Н. Свистуновым. По словам Бартенева, Ржевская «в понятиях своих и суждениях, в образе мыслей и действий <...> представляет собой замечательный тип так называемой "монастырки" доброго старого времени».

[2] *Отец* Г.И. Ржевской — Иван Акинфиевич Алымов (? — 1759), отставной полковник лейб-гвардии Конного полка.

[3] *Мать* Г.И. Ржевской — Анна Васильевна Алымова.

[4] В «Русской родословной книге» А.Б. Лобанова-Ростовского (Т. 1. СПб., 1895) учтена одна сестра и пять братьев Г.И. Ржевской: Евграф (1744 — после 1793), коллежский асессор, женат на Наталье Ивановне Тютчевой (1758 — ?);

Дмитрий (1750 — после 1800), тайный советник, управляющий экспедицией государственного казначейства при Павле I, женат на Евдокии Афанасьевне Буниной (сводной сестре В.А. Жуковского); Аркадий (1754 — после 1798), коллежский советник, женат на Екатерине Васильевне Смирновой (1761 — ?); Александр (1754 — после 1798), коллежский асессор, женат на Александре Адамовне Потресовой (1759 — ?), и Прасковья (1730 — ?), в замужестве за Михаилом Степановичем Шеншиным.

[5] *Смольный институт* (официальное название — Воспитательное общество благородных девиц) был основан указом Екатерины II 5 мая 1764 г. Соответствовал разработанной Екатериной и И.И. Бецким программе «создания новой породы людей», сформулированной в «Генеральном учреждении о воспитании обоего пола юношества», согласно которой «просвещенный науками разум не делает еще доброго и прямого гражданина, но во многих случаях паче во вред бывает, если кто от самых нежных юности своих лет воспитан не в добродетелях, и твердо оные в сердце его не вкоренены. Посему ясно, что корень всему злу и добру — воспитание. Достигнуть же сего последнего с успехом и твердым исполнением не инако можно, как избрать средства к тому прямые и основательные, т.е. произвесть сперва способом воспитания, так сказать, новую породу или новых отцов и матерей, которые детям своим те же прямые и основательные воспитания правила в сердце вселить могли, какие они получили сами, и от них дети передали паки своим детям, и так следуя из родов в роды в будущие века» (цит. по: *Семенов Д.Д.* Деятельность К.Д. Ушинского в Смольном институте по личным воспоминаниям автора // Памяти К.Д. Ушинского. СПб., 1896. С. 70). Для осуществления плана воспитанницы нового учебного заведения должны были надолго быть изъяты из семьи и в отрыве от пагубных домашних примеров воспитаны в соответствии с новыми правилами благонравия и добродетели. В институт принимали в шестилетнем возрасте; курс обучения длился 12 лет и состоял из четырех трехлетних классов. Все это время воспитанницы безвыездно пребывали в стенах института и не имели свиданий с родными. Для занятий первоначально назначались только учительницы, которые должны были неотлучно днем и ночью находиться при детях. Эти правила просуществовали в Смольном до кончины Екатерины II. Императрица Мария Федоровна, взявшая институт под свое покровительство, провела в нем ряд преобразований: срок обучения был сокращен до 9 лет — трех трехлетних классов, возраст приема в институт повышен до 9 лет, разрешены свидания с родными, для преподавания приглашены учителя-специалисты, а круглосуточно находиться при детях стали классные дамы.

[6] *Долгорукова* Анна Сергеевна (1719—1778) — княжна, камер-фрейлина, начальница Смольного института в 1764—1767 гг. «Княжна Долгорукова недолго пробыла начальницей; надменная, малообразованная, суеверная, лишенная педагогического и административного такта, она скоро обнаружила неподго-

товленность и неспособность к выполнению возложенной на нее императрицей трудной и ответственной должности» (*Черепнин Н.П.* Императорское воспитательное общество благородных девиц: Исторический очерк. СПб., 1914. Т. 1. С. 81).

[7] *Лафон* Софья Ивановна де (1717—1797) — из семьи гугенотов; переселилась в Россию из-за религиозных гонений. Правительница Воспитательного общества благородных девиц в 1764—1773 гг. и его начальница с 1773 г.; статс-дама (1796), кавалерственная дама ордена Св. Екатерины малого креста (1797). Оценка мадам Лафон современниками была неизменно высока. Так, И.М. Долгоруков писал о ней: «Жена моя, как и все монастырки, имела к ней неограниченную доверенность и почтение <...> По тому уважению, которое оказывала ей жена моя до последнего издыхания, я не могу и сам забыть г-жи Лафон, хотя, впрочем, не входил никогда с ней <...> ни в какое непосредственное отношение» (*Долгоруков И.М.* Капище моего сердца. М., 1997. С. 42—43). См. о ней: Русский биографический словарь. Том «Лабзина—Ляшенко». СПб., 1914. С. 91.

[8] *Бецкой* Иван Иванович (1704—1795) — видный русский просветитель, главный попечитель Воспитательного общества благородных девиц (1764—1795), инициатор школьной реформы 1763—1764 гг., в результате которой была создана система закрытых учебно-воспитательных учреждений сословного характера. См. о нем: *Майков П.М.* И.И. Бецкой: опыт его биографии. СПб., 1904.

[9] То есть остерегаться, беречься.

[10] *Сен-Сир* — первая в Европе женская закрытая школа, основанная на государственные средства и предназначенная для воспитания дочерей небогатых французских дворян. Была учреждена в 1686 г. недалеко от Парижа мадам де Ментенон — фавориткой, затем морганатической женой Людовика XIV. Просуществовала до Великой французской революции. Носила название «Институт св. Людовика» (а также «Дочери св. Людовика»). Школа в Сен-Сире, которую окончила и С.И. де Лафон, послужила образцом для Смольного института, а затем и других женских институтов России.

[11] Речь идет об особо почетной награде, занимавшей в иерархии знаков отличия, принятой в России, исключительное место. Она представляла собой небольшой овальный медальон с изображением правящего монарха (в редких случаях — двух монархов: предшествующего и настоящего), обычно в бриллиантовой оправе. «Портрет» вручался лицам, наиболее близким к особе государя либо наиболее им отличаемым.

[12] Имеется в виду Анна Васильевна *Рубановская* (1750-е гг. — 1783), одноклассница и близкая подруга Ржевской по Смольному. Окончив — также с шифром — в 1776 г. курс Смольного, Рубановская в том же году вышла замуж за писателя А.Н. Радищева. От этого брака у нее были дочь и три сына: Василий (1777 — ?), Николай (1779—1829) и Павел (1783 — после 1858), которых после

смерти Радищевой в 1783 г. воспитывала ее сестра, также выпускница первого набора Смольного, Елизавета Васильевна Рубановская (? — 1797), вскоре ставшая гражданской женой Радищева и последовавшая за ним в сибирскую ссылку.

[13] В Москве воспитательный дом был создан по проекту И.И. Бецкого в 1763 г., в Петербурге — в 1770 г. Воспитательные дома представляли собой благотворительные закрытые учебно-воспитательные учреждения для «приема и призрения подкидышей и бесприютных детей». Воспитанники дома получали начальное образование, обучались ремеслам.

[14] *Два заведения при Смольном монастыре* — Воспитательное общество благородных девиц (с 1842 г. — Николаевская половина, или Николаевский институт) и Мещанское отделение (с 1765 г.). Первоначально обучение «мещанок» продолжалось также 12 лет. Императрица Мария Федоровна сократила срок обучения до 6 лет (два трехлетних класса) и с 1814 г. распорядилась принимать в Мещанское училище дочерей военных (до чина подполковника включительно). Позднее сюда стали принимать дочерей полковников и штатских чиновников от титулярного советника до коллежского советника, а также дочерей дворян, внесенных в третью часть дворянской книги, священников, протоиереев, евангелических пасторов. В 1842 г. училище стало называться Александровским (Александровской половиной) в честь наследника-цесаревича Александра Николаевича; с 1891 г. — Александровский институт. Оба института находились на территории Смольного монастыря, имели единое начальство и штат учителей, но размещались в разных зданиях и различались программой и длительностью обучения.

[15] Речь идет о первой жене (с 1773 г.) великого князя Павла Петровича — принцессе Вильгельмине Гессен-Дармштадтской (в православном крещении Наталья Алексеевна; 1755—1776).

[16] Имеется в виду Алексей Андреевич Ржевский (1737—1804) — по словам Бартенева, «один из образованнейших людей того века». Депутат Уложенной комиссии 1777 г., исполняющий обязанности директора Академии наук (1772), президент Медицинской коллегии (с 1783 г.), сенатор; под конец жизни имел чин действительного тайного советника. Видный масон; известный в свое время литератор: в 1760—1763 гг. участвовал в журналах М.М. Хераскова «Полезное увеселение» и «Свободные часы», переводил статьи из «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. Д'Аламбера, был автором трагедии «Смердий и Прелеста», многих стихотворений. См. о нем: *Лонгинов М.Н.* Биографические сведения о русских писателях XVIII в. и библиографические известия об их произведениях // Рус. старина. 1870. Кн. 2. № 7. С. 78—80. Его первая жена Александра Федотовна Ржевская (урожд. Каменская; 1740—1769), сестра фельдмаршала А.Ф. Каменского, также писала стихи и прозу.

[17] Речь идет о князе Григории Григорьевиче Орлове (1734—1783).

[18] *Великий князь* — Павел Петрович (1754—1801), император Павел I с 1796 г.

[19] Имеется в виду Анна Степановна Протасова (1745—1826), камер-фрейлина, кавалерственная дама, с 1801 г. графиня.

[20] *Куртизан* — льстивый царедворец.

[21] *Рибас* Анастасия Ивановна де (в девичестве Соколова; 1741—1822), камер-юнгфера Екатерины II (по некоторым сведениям, сопровождала Екатерину 28 июня 1862 г., в день ее восшествия на престол, из Петергофа в Петербург); с 1776 г. жена Иосифа де Рибаса (1749—1800), адмирала русской службы, известного своей ролью в основании Одессы (в его честь была названа Дерибасовская улица). О ней см.: *Казнаков С.* Дочь Бецкого и философ Дюваль // Старые годы. 1916. № 10—12.

[22] *Аргус* — в древнегреческой мифологии многоглазый великан, у которого спали одновременно только два глаза, символ неусыпного наблюдения.

[23] Из смолянок первого выпуска ко двору были взяты пять человек: Г.И. Алымова-Ржевская, Е.И. Молчанова (1758—1809), А.П. Левшина (1757—1782), Н.С. Борщова (1758—1843) и Е.И. Нелидова (1758—1839). В 1772—1776 гг. Д.Г. Левицкий выполнил для Екатерины II их портреты (ныне в Русском музее).

[24] *Разумовский* Андрей Кириллович (1752—1836) — граф, известный дипломат, фаворит великой княгини Натальи Алексеевны.

[25] 15 апреля 1776 г. великая княгиня Наталья Алексеевна умерла от родов, поэтому торжества первого выпуска в Смольном были значительно скромнее, чем первоначально предполагалось. Их перенесли с 21 апреля на 30-е, и императрица Екатерина II на празднике не присутствовала (см.: *Черепнин Н.П.* Императорское воспитательное общество благородных девиц. СПб., 1914. Т. 1. С. 174).

[26] *Брат* Натальи Алексеевны — *принц* Людвиг Гессен-*Дармштадтский* (1753—1830).

[27] Речь идет о принцессе Софии-Доротее-Августе Виртембергской (1759—1828), в православном крещении Марии Федоровне, второй жене (с сентября 1776 г.) великого князя Павла Петровича.

[28] *Румянцева* Екатерина Михайловна (урожд. княжна Голицына; 1724—1779) — графиня, статс-дама, гофмейстерина двора великого князя Павла; жена генерал-фельдмаршала графа П.А. Румянцева-Задунайского.

[29] *Нелидова* Екатерина Ивановна (1758—1839) — смолянка первого выпуска, была награждена малой золотой медалью и шифром и взята фрейлиной к великой княгине Наталье Алексеевне. Затем стала фрейлиной Марии Федоровны. Фаворитка Павла I в 1785—1798 гг. Последние годы жизни провела в стенах Смольного института, где занимала неофициальное положение дамы-патронессы. Как вспоминала смолянка В.И. Анненкова, «личность эта страстно интриговала воспитанниц своею таинственной загадочностью и почетом, которым окружали ее институтское начальство и вся царская фамилия. Словно теперь вижу я, как крадется вдоль стен во время наших экзаменов странное маленькое

существо в сером платье, пробираясь к месту позади начальницы, и как нам было жутко, когда она останавливала на которой-нибудь из нас пристальный взгляд своих больших серьезных черных глаз. <...> Все были почему-то убеждены, что она ужасно горда, считает себя выше всех и, никого к себе не приближая, никого ни о чем не расспрашивая, все знает, и что от ее проницательности ничто не может укрыться» (Люди былого времени. Из рассказов В.И. Анненковой и др. старожилов // Рус. архив. 1906. № 1. С. 111—112). О Е.И. Нелидовой см.: *Шумигорский Е.С.* Е.И. Нелидова. СПб., 1898.

[30] *Бенкендорф* Анна Юлиана (урожд. баронесса Шиллинг фон Канштадт; 1758—1797) — подруга детства великой княгини Марии Федоровны, вместе с которой приехала в Россию. Мать графа А.Х. Бенкендорфа, шефа жандармов и начальника III отделения в 1826—1844 гг.

[31] Ср. комментарий Бартенева: «Читатели, знакомые с перепиской Е.И. Нелидовой (напечатанной в 3-й книге «Осьмнадцатого века»), с трудом поверят этому. Впрочем, такого рода толки долго держались, но известно, что императрица Мария Федоровна впоследствии сделалась и до конца жизни осталась другом Нелидовой» (Осьмнадцатый век. Исторический сборник, издаваемый П.И. Бартеневым. М., 1869. Кн. 3. С. 422—429, а также: Записки А.С. Шишкова. Берлин, 1870. Т. 1. С. 31, 32).

[32] *Дочь* Ржевской — Мария Алексеевна, в замужестве Свистунова (? — 1866).

[33] Знаком ордена Св. Екатерины был белый эмалевый медальон с изображением Св. Екатерины, в крестообразной оправе из бриллиантов. Орден носился на красной ленте с серебряной каймой. Он имел две степени: малый и большой крест. Малый крест носили на левой стороне груди на банте из орденской ленты с вышитым девизом «За любовь и отечество». Число кавалерственных дам малого креста не могло быть более 94, большого — более 12.

[34] *Кутайсов* Иван Павлович (1759—1834) — граф (с 1799 г.), любимец Павла I. Егермейстер (1798—1800), обер-шталмейстер (1800—1801).

[35] *Гагарина* Анна Петровна (урожд. княжна Лопухина; 1777—1805) — княгиня, фаворитка Павла I с 1798 г.

[36] *Жених* — камергер Николай Петрович Свистунов (1770—1815), его *отец* — сенатор Петр Семенович. По словам Бартенева, оба они «были любимцами императора Павла. Н.П. Свистунов долго не мог примириться с воцарением Александра, тотчас вышел в отставку и лишь в 1812 г., по настоянию своего приятеля С.К. Вязмитинова, поступил директором департамента в Министерство полиции». У четы Свистуновых были дети: Петр (1803—1889), декабрист; Алексей (1808—1872); Александра (в замужестве баронесса де Мальвирад), Глафира (в замужестве де Бальмен) и Варвара. О Н.П. Свистунове см.: Русские портреты XVIII и XIX столетий. СПб., 1907. Т. 3. № 78.

[37] А.А. Ржевский был отрешен от должности 4 сентября 1800 г.

[38] Ржевский *Павел* Алексеевич (1784—1852) — в 1802 г. поручик лейб-гвардии Семеновского полка, в 1805 г. ротмистр, с 1807 г. в лейб-гвардии Гусарском полку; позднее камергер, действительный статский советник.

[39] *Безбородко* Александр Андреевич (1747—1799) — князь, действительный тайный советник; государственный канцлер с 1797 г.

[40] Ржевский *Александр* Алексеевич (1781—1807) — офицер лейб-гвардии Семеновского полка с 1796 г. В 1802 г. флигель-адъютант, в 1806 г. полковник. Погиб в сражении. Был женат на Варваре Александровне Римской-Корсаковой (1784—1813).

[41] *Волконский* Петр Михайлович (1776—1852) — князь, адъютант великого князя Александра (с 1797 г.); генерал-квартирмейстер (1810), генерал-фельдмаршал (1843); начальник Главного штаба армии (1812—1823); министр двора и уделов (с 1826 г.).

[42] *Уваров* Федор Петрович (1769—1824) — генерал-адъютант (1794), генерал-майор (1799), генерал от кавалерии (1814); входил в ближайшее окружение Александра I.

[43] Речь идет о втором браке Г.И. Ржевской, с савойцем Ипполитом Петровичем (по другим источникам — Ивановичем) Маскле, переводчиком басен Хемницера и Крылова на французский язык, камергером.

[44] Вероятно, имеется в виду Николай Александрович *Толстой* (1761—1816), обер-гофмаршал.

А.В. Стерлигова. Воспоминания

Стерлигова Анна Владимировна (урожд. Дубровина; 1839 — не ранее 1878) — биографических сведений, кроме содержащихся в тексте «Воспоминаний», разыскать не удалось.

Воспоминания публикуются по: Рус. архив. 1898. Кн. 1. № 4.

[1] *Екатерининский институт* благородных девиц официально именовался Институтом ордена Св. Екатерины. В 1802 г. институт с таким же названием был открыт и в Москве. С 1844 г. им был присвоен первый разряд. Кавалерственные дамы ордена Св. Екатерины считались покровительницами этих институтов.

[2] *Итальянский дворец* находился на набережной Фонтанки, 36. В 1804—1807 гг. на том же месте специально для Екатерининского института архитектором Дж. Кваренги было построено новое здание, сохранившееся до наших дней.

[3] *Дубровин* Владимир Иванович (1810—1847) — поручик.

[4] *Непейцын* Сергей Васильевич (ок. 1770 — после 1843) — участник Русско-турецкой войны 1787—1791 гг. и Отечественной войны 1812 г. (командовал

партизанским отрядом от корпуса П.Х. Витгенштейна). С 1812 г. полковник лейб-гвардии Семеновского полка; в 1816 г. уволен от службы генерал-майором.

[5] Сведений о братьях и сестре В.И. Дубровина найти не удалось.

[6] *Орлов* Владимир Григорьевич (1743—1831) — граф, генерал-поручик; брат екатерининских вельмож Григория и Алексея Орловых; *Новосильцева* Екатерина Владимировна (урожд. графиня Орлова; 1770—1849).

[7] Возможно, речь идет об исполняющем обязанности предводителя дворянства Калужской губернии в 1846—1847 гг. титулярном советнике Константине Ивановиче Сорохтине.

[8] *Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров* была основана в 1823 г.; позднее (в 1864 г.) преобразована в Николаевское кавалерийское училище.

[9] *Орлов* Алексей Федорович (1786—1861) — граф (1825), генерал от инфантерии, шеф жандармов и начальник III отделения собственной е.и.в. канцелярии с 1844 г. Личный друг Николая I. Внебрачный сын Ф.Г. Орлова, А.Ф. Орлов приходился племянником В.Г. Орлову.

[10] *Орлов* Григорий Владимирович (1777—1826) — граф, сенатор, сын В.Г. Орлова; *Орлова* Анна Ивановна (урожд. графиня Салтыкова; 1779—1824).

[11] *Мятлева* Прасковья Ивановна (урожд. графиня Салтыкова; 1772—1859) — родная сестра А.И. Орловой; мать поэта И.П. Мятлева.

[12] Имение перешло к В.Г. Орлову, так как у Г.В. и А.И. Орловых не было детей. Кроме Е.В. Новосильцевой (см. примеч. 6), у В.Г. Орлова были дочери Софья Владимировна (1774—1844), жена действительного тайного советника графа Никиты Петровича Панина (1771—1837), и Наталья Владимировна (1782—1819), жена Петра Львовича Давыдова. Поскольку Н.В. Давыдова умерла раньше своего отца, ее часть имения, очевидно, перешла к ее сыну, графу Владимиру Петровичу Орлову-Давыдову (1809—1882), впоследствии действительному статскому советнику. (Как единственный в то время представитель рода графов Орловых, после смерти деда получил графский титул и право на двойную фамилию.)

[13] *Орлов* Михаил Федорович (1788—1842) — генерал-майор, декабрист. Родной брат А.Ф. Орлова; племянник В.Г. Орлова.

[14] *Скобелев* Иван Никитич (1778—1849) — генерал-майор, комендант Петропавловской крепости в 1839—1849 гг., писатель.

[15] Речь идет о С.В. Непейцыне, потерявшем ногу во время Русско-турецкой войны 1787—1791 гг.

[16] *Болотов* Алексей Павлович (1803—1853) — генерал-майор, профессор Генерального штаба, где преподавал геодезию и топографию. Внук известного А.Т. Болотова. С Дубровиными был в дальнем родстве; предком Дубровиных был родной брат Тимофея Петровича Болотова (отца Андрея Тимофеевича

и прапрадеда А.П. Болотова) — Матвей Петрович (? — 1766). Об А.П. Болотове см.: *Старк В.П.* Портреты и лица. СПб., 1995. С. 232—234.

[17] *Хрущовы* были в отдаленном родстве с Дубровиными: прадед мемуаристки Михаил Матвеевич Болотов (1739—1791) был женат на Марии Петровне Стахеевой (? — 1786); ее сестра Прасковья Петровна Стахеева была замужем за Николаем Яковлевичем Хрущовым (1759 — ?).

[18] Точная дата смерти В.И. Дубровина — 22 июля 1847 г.

[19] *Мать* — Дубровина Елена Андреевна (урожд. Болотова; 1811—1894).

[20] Скорее всего, речь идет о Михаиле Николаевиче *Хрущове* (1786 — ?), полковнике Смоленского полка, сыне Н.Я. Хрущова и П.П. Стахеевой.

[21] Имеются в виду Николай и Иван Владимировичи Дубровины.

[22] *Болотова* Екатерина Алексеевна (урожд. Ляхова; 1781—1856) — вдова губернского секретаря Андрея Михайловича Болотова (1780 — до 1831).

[23] *Серапин* Федор Дмитриевич (1787—1862) — коллежский асессор, владелец гостиницы и конторы дилижансов в Петербурге.

[24] *Филарет* (Дроздов Василий Михайлович) (1782—1867) — митрополит Московский и Коломенский в 1826—1867 гг.

[25] *Орлова* — Чесменская Анна Алексеевна (1785—1848) — графиня, фрейлина, тетка А.Ф. Орлова; была известна своей набожностью.

[26] *Сутгоф* Александр Николаевич (1799—1874) — полковник, начальник Гвардейской школы подпрапорщиков в 1843—1859 гг., затем в чине генерал-майора начальник Николаевского кавалерийского училища (1859—1863).

[27] *Александр Николаевич* (1818—1881) — будущий император Александр II.

[28] *Олсуфьев* Василий Дмитриевич (1796—1858) — обер-гофмейстер, гофмаршал двора великого князя Александра Николаевича.

[29] *Смирнов* Николай Михайлович (1807—1870) — калужский гражданский губернатор в 1845—1851 гг.; муж мемуаристки А.О. Смирновой-Россет.

[30] *Константин* Николаевич (1827—1892) — великий князь, сын Николая I.

[31] Елена Владимировна Дубровина была выпущена из Смольного института в 1857 г. (28-й выпуск).

[31а] Васильчиков Алексей Васильевич (1778—1854) — сенатор с 1820 г.; Оржевский Василий Владимирович (1797—1867) — в то время служил директором Департамента полиции исполнительной, сенатором стал только в 1855 г.

[32] *Пепиньерка* (от *фр.* pépinière) — воспитанница, оставленная в институте по окончании курса для обучения в специальном педагогическом классе и для педагогической практики.

[33] *Родзянко Екатерина Владимировна* (урожд. Квашнина-Самарина; 1794—1877) — начальница петербургского Екатерининского института с 1839 г. Воспитанница Смольного института, вдова генерал-майора Михаила Петровича Родзянко. По воспоминаниям воспитанницы, а с 1869 г. классной дамы Екатерининского института С.А. Аникеевой, «Е.В. Родзянко была личность заме-

чательная. Это была настоящая русская боярыня, любившая свою родину и свой институт, <...> любимая и уважаемая царской семьей и умевшая привлечь расположение царя и царицы к нашему институту. При всем этом она была весьма проста, задушевна и симпатична в обращении со всеми. Это была женщина умная, благочестивая, с теплой отзывчивой душой, обожаемая мать, нежнейшая бабушка <...> была образованна и глубоко сердечна, умела хорошо понять труд и достойно оценить его» (*Аникеева С.А.* Воспоминания бывшей институтки о С.-Петербургском Екатерининском институте. СПб., 1899. С. 32—33). В. Гарулли характеризовала Родзянко как «утонченно-образованную, в высшей степени гуманную и религиозную старушку» (*Гарулли В.* Институтские воспоминания и стихотворения. Нежин, 1901. С. 5). А.О. Смирнова-Россет, впрочем, закончившая институт задолго до вступления Родзянко в должность начальницы, полагала, что «она вовсе не понимала своего назначения» и институт при ней пришел в упадок (*Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 151). См. также: *Ковалевская Н.* Воспоминания старой институтки // Рус. старина. 1898. № 9. С. 615.

[34] *Пицулевич* Матвей Антонович, статский советник.

[35] Воспитанницы большинства женских институтов (за исключением Смольного) делились на два возраста (класса) — младших и старших. Внутреннее деление возрастов было на параллельные отделения (в различных институтах их могло быть 3 или 4). В первое отделение и старшего и младшего возраста попадали девушки наиболее знатного происхождения и наилучшей подготовки.

[36] «Тише, барышни!» (*фр.*).

[37] *Камлотовое* — сшитое из камлота, шерстяной или полушерстяной ткани, жестковатой на ощупь.

[38] *Рукавчики* — съемные рукава, подобие нарукавников. Были длиной от запястья почти до плеча, в верхней части имели продернутую тесьму, с помощью которой их подвязывали, пряча края под короткий рукав платья.

[39] *Дортуар* (*фр.* dortoire) — общая спальня.

[40] *Табельные дни* — дни официальных государственных праздников (тезоименитства государя, годовщины коронации и пр.); в обиходе отличались от обычных (церковных) праздников, т.к. в табельные дни устраивалась иллюминация, улицы украшались государственными флагами и т.д.

[41] *Мария Александровна* (1824—1880) — императрица (с 1855 г.), жена Александра II.

[42] *Родзянко* Евдокия Петровна (в замужестве княгиня Хилкова) — племянница Е.В. Родзянко по мужу: дочь Петра Петровича Родзянко (1807—1852) и Марии Васильевны Муратовой (1820—1850).

[43] отличниц (*фр.*). В среде екатерининских институток бытовала жаргонная форма «бонсюжешка» (см.: *Гарулли В.* Указ. соч. С. 8).

[44] стоянием за столом (*фр.*).

[45] О *принце* Петре Георгиевиче *Ольденбургском* (1812—1881), председателе Главного совета женских учебных заведений с 1845 г., институтки вспоминали очень тепло. См.: *Гарулли В.* Указ. соч. С. 35—36; *Аникеева С.А.* Указ. соч. С. 35—36; *Ковалевская Н.* Указ. соч. С. 618—619.

[46] Ломакин (*Ламакин*) Гавриил Акимович (1812—1885) — титулярный советник, регент Екатерининского института и Шереметевской капеллы в Петербурге, «знаменитый в то время, известный своими музыкальными произведениями по части церковного пения. По мнению некоторых подруг, он был немного похож на <...> Александра II. Почти такой же величественный рост, такие же бакенбарды. <...> Разделив нас по разным голосам, он торжественно садился за рояль и аккомпанировал нам с закрытыми глазами, такая была у него привычка. Всякий раз, заслышав фальшивую ноту, он широко раскрывал глаза и, обращаясь в ту сторону, где слышалась фальшь, протяжно произносил: "Альты врут"» (*Гарулли В.* Указ. соч. С. 31).

[47] *Кавос* Иван (Джованни) Катаринович (1805—1861) — композитор, хормейстер петербургской оперы, преподаватель итальянского пения в Екатерининском институте.

[48] Ср. описание распорядка дня в воспоминаниях старшей соученицы Стерлиговой С.А. Черевиной: «Распределение времени было следующее: круглый год вставали по звонку в 6 часов утра. В $6\frac{1}{2}$ общая молитва в большом зале, — католички составляли поодаль круг и молились; лютеранки молились в другом конце нашего огромного зала. В 7 час. попарно отправлялись в столовую — подавали сбитень (молоко с медом), оно было вполне по вкусу, — некоторые за известную годовую плату получали у классных дам чай. От $7\frac{1}{2}$ до 8 ч. 45 м. шло приготовление уроков или урок музыки — по расписанию перед каждым из многочисленных фортепиано. От 8 ч. 45 мин. до 9 час. читались вслух Евангелия в каждом отделении. От 9 до 12 ч. две смены учителей (между двумя уроками — проветривание класса и выметался сор). В 12 час. шли попарно в столовую к обеду, и некоторым, по расписанию, приходилось приготовление или урок музыки. В 1 час пополудни они составляли несколько пар и отправлялись к обеду. От 1 до 2 ч. гуляние по саду; если погода не дозволяла, то наставало свободное время, столь ценимое для приготовления какого-нибудь урока. От 2 до 5 ч. снова две смены учителей (в промежутке тоже проветривание и прочее). В 5 ч. вносили корзину с ломтями черного солдатского хлеба да квас. Некоторые (даже числом больше, чем утром) пили опять-таки чай у классных дам. От 6 до 8 ч. танцы и пение (у кого оказывался голос), а в субботу — всенощная. Этим объяснялось, что назначенное это время от 6 до 8 ч. не существовало для многих, особенно в старших классах, в виде приготовления уроков, — мастерски урывали мы для этого часы предполагаемого сна. В 8 ч. попарно отправлялись в столовую к ужину, затем общая молитва, а в 9 ч. ложились спать» (Воспоми-

нания воспитанницы XVIII выпуска Софии Черевиной, по замужеству Родзянко, от декабря 1847 до февраля 1853 г. СПб., 1898. С. 5).

[49] *Просвет* — здесь в значении: узкое отверстие для света.

[50] *Капот* — домашняя распашная одежда типа халата.

[51] О классной даме М.Г. *Араловой* (Ораловой) сохранились упоминания в записках нескольких екатерининских институток. В частности, В. Гарулли запомнила эту престарелую даму, «оправдывавшую свою фамилию» и «вечно оравшую на весь институт» (*Гарулли В.* Указ. соч. С. 11). См. также: Воспоминания воспитанницы XVIII выпуска Софии Черевиной... С. 3. Отцом Ораловой был петербургский учитель Григорий Федорович Оралов, преподававший в начале XIX в. грамматику, арифметику и катехизис в Юнкерской школе. У него учился Н.И. Греч (см. о нем: *Греч Н.И.* Записки о моей жизни. М., 1990. С. 132). Сама Оралова окончила петербургский Екатерининский институт, где была одноклассницей А.О. Смирновой-Россет (*Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 330).

[52] *Норов* Авраам Сергеевич (1785—1869) — товарищ министра просвещения в 1850 г., министр народного просвещения в 1853—1856 гг., член совета училища ордена Св. Екатерины; *Борх* Александр Михайлович (1804—1867) — граф; действительный тайный советник, обер-церемониймейстер, также член совета.

[53] «наставница»; «ученица» (*фр.*).

[54] «Рапортичка» (*фр.*).

[55] «Рапорт» (*фр.*).

[56] дурно себя ведущих (*фр.*).

[57] Пестереллой Крикуньей (*фр.*)

[58] выписки (*фр.*).

[59] *Александра Федоровна* (1798—1860) — императрица, жена Николая I.

[60] Родзянко *Екатерина Михайловна* (1823—1900) — дочь Е.В. Родзянко, фрейлина с 1862 г.

[61] *Черевина* Софья Александровна (1835—1910) — мемуаристка, с 1854 г. жена полковника Кавалергардского полка М.М. Родзянко (см. примеч. 158), сына Е.В. Родзянко.

[62] *Деер* (Дейер) Анастасия Александровна, вдова действительного статского советника; начальница московского Екатерининского института в 1852—1862 гг.

[63] Об инспектрисе *Фан дер Фур* есть упоминание в воспоминаниях В. Гарулли (*Гарулли В.* Указ. соч. С. 26).

[64] 24 ноября по старому стилю отмечался день Св. Екатерины; в этот день был праздник в институтах ордена Св. Екатерины.

[65] «Как вы глупы!» (*нем.*).

[66] Речь идет о так называемом «Фонтанном доме» графов Шереметевых (наб. Фонтанки, 34; архитекторы С.И. Чевакинский и Ф.С. Аргунов, 1750—1755).

[67] *Шифр* — металлический вензель царствующей императрицы; вручался на выпуске лучшим институткам. Носился на левом плече на банте из белой в цветную полоску ленты (цвет полосок варьировался в зависимости от института: Смольный — розово-палевая, Екатерининский — красная и т.д.). В случае, если институтка, имевшая шифр, жаловалась во фрейлины, которым шифр был присвоен как знак их придворного звания, она носила его на двойном банте: нижняя его часть институтских цветов, а верхняя — фрейлинская, из голубой ленты. См., напр., портрет неизвестной фрейлины из собрания ГИМ (Портретная миниатюра в России XVIII—XIX вв. Из собрания Государственного Исторического музея. Л., 1988. № 217).

[68] *Бюнтинг* Мария Николаевна фон (урожд. фон Медем) — выпускница петербургского Екатерининского института, начальница его с 1878 г.

[69] *Черевина* Наталья Александровна (в замужестве Казнакова; 1841 — ?) — сестра С.А. Черевиной.

[70] *Болеро* — сольный танец испанского происхождения.

[71] *Гофман* Андрей Логгинович (1798—1863), статс-секретарь, и *Броневский* Дмитрий Богданович (? — 1867), генерал-лейтенант, директор Царскосельского лицея (1840—1853), — члены Главного совета женских учебных заведений.

[72] Русский аналог этого французского выражения — «шерочка с машерочкой».

[73] *Черевин* Петр Александрович (1837—1896) — юнкер Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, брат Н.А. и С.А. Черевиных; в дальнейшем товарищ шефа жандармов, товарищ министра внутренних дел в 1880—1883 гг.

[74] Речь идет о Н.В. Дубровине.

[75] *Аршад* (оршад, оржат) — прохладительный напиток из разведенного миндального молока.

[76] мастерская (*фр.*).

[77] Слово «кучка» зафиксировано и в «Воспоминаниях старой институтки» Н.М. Ковалевской (Рус. старина. 1898. № 9) как обозначающее «несколько дружных между собой девиц» (С. 623).

[78] *Бомбоньерка* (бонбоньерка: от *фр.* bonbonnière) — конфетная коробка; *несессер* (от *фр.* nécessaire — необходимый, нужный) — компактный футляр с туалетными принадлежностями и другими необходимыми в дороге предметами.

[79] Буквально: грязь, отбросы (*фр.*); французское жаргонное слово обозначавшее в школьной и студенческой среде смесь орехов и сухофруктов.

[80] *Пьеретта* — персонаж итальянской народной комедии, тип мечтательной влюбленной; *papes de fous* — король шутов (*фр.*).

[81] В 1855 г. Россия вела войну с Англией, Францией и Турцией.

[82] О костюмированных балах в петербургском Екатерининском институте вспоминала Н.М. Ковалевская: «Можно сказать, что костюмы были великолеп-

ные: турчанки, гречанки, тирольки, словом, всех наций, какие нам были известны, являлись в зал пестрой толпой, сияя молодостью, красотой и красивым нарядом. <...> Было 7 часов вечера, большой зал был освещен светло и красиво. Его высочество принц Ольденбургский, начальница со своими знакомыми, родные — уже заняли свои места; попарно ввели девиц в казенных платьях, за ними шли костюмированные тоже парами, в порядке надетых национальных костюмов. Когда все заняли свои места, начались танцы. Вдруг музыканты заиграли какой-то веселый вальс, двери из физической комнаты с шумом широко распахнулись и в зал стала катиться со звоном и треском огнедышащая гора, выбрасывающая из своего жерла не лаву, нет, а конфеты, фрукты и разные сласти, которые ловко подхватывали девицы. За горою появился верстовой столб и ветряная мельница. Махая своими крыльями, она захватила ими столб и стала вертеться в бешеном вальсе. Все это очень понравилось начальнице, но больше всего — показавшаяся затем цыганская палатка с группами цыганок в самых разнообразных костюмах, которые под звуки музыки плясали по-цыгански, а кончив танцы, запели песню» (*Ковалевская Н.* Указ. соч. С. 619—620). В. Гарулли в числе маскарадных костюмов называет черные и белые домино, костюмы времен года, цыганок, ведьм (*Гарулли В.* Указ. соч. С. 43).

[83] тюль-иллюзион (*фр.*), то есть узорчатый тюль.

[84] спина к спине (*фр.*).

[85] Речь идет о княжне Софье Сергеевне *Трубецкой* (1838 — ?), дочери князя Сергея Васильевича Трубецкого (1815—1859) и Екатерины Петровны Мусиной-Пушкиной. В 1857 г. Трубецкая вышла замуж за герцога Шарля-Луи Огюста де Морни (1811—1865), побочного брата Наполеона III, посла Франции в России в 1856—1857 гг., президента французского Законодательного корпуса в 1854 и 1857—1858 гг.

[86] светский человек (*фр.*).

[87] Речь идет скорее всего либо о Павле Алексеевиче *Болотове*, либо о Владимире Алексеевиче, его брате.

[88] По свидетельству В. Гарулли, «кусочками» назывались у институток всякие лакомства. К числу «кусочков» относились паточные леденцы, замороженные яблоки, медовые пряники, колбаса, драже и т.п. (*Гарулли В.* Указ. соч. С. 43).

[89] «*Звездочка*» — журнал для детей, выходивший в Петербурге в 1842—1863 гг.; с 1845 г. — двумя отдельными изданиями с подзаголовками «Журнал для детей младшего возраста» и «Журнал для детей старшего возраста» (в 1850—1860 гг. второе издание выходило под названием «Лучи. Журнал для девиц»). Издательницей обоих журналов была А.О. Ишимова.

[90] *Декокт* — отвар лекарственных трав.

[91] Имеются в виду дети институтской прислуги, размещавшейся в подвальном этаже.

[92] гигантские шаги (*фр.*).

[93] *Тиковый* — обитый тиком, плотной хлопчатобумажной тканью, как правило, в широкую полоску. Тик производится до сих пор; идет на матрасы.

[94] Первое отделение называлось так потому, что размещалось в помещениях, выходивших окнами в сад.

[95] *Памятник И.А. Крылову* в Летнем саду Петербурга был открыт 12 мая 1855 г. (скульптор П.К. Клодт). *Домик Петра Великого* — Летний дворец Петра I в северо-восточной части Летнего сада (архитектор Д. Трезини, 1710—1714).

[96] *Шу* — пышный бант из насборенной ленты.

[97] «совершенная манера» (*фр.*).

[98] *Принцесса Матильда* (1820—1904) — дочь Жерома Бонапарта (младшего брата Наполеона I), жена Анатолия Николаевича Демидова (1812—1869), получившего в результате этого брака итальянский титул князя Сан-Донато. Их брак длился всего около четырех лет (1841—1845); затем супруги разъехались.

[99] История родителей Трубецкой была скандальной: ее мать Екатерина Петровна, дочь генерал-майора Петра Клавдиевича Мусина-Пушкина, фрейлина двора, была известна своей красотой и легкомыслием. С.Н. Карамзина писала о ней: «Катрин Пушкина пошла, глупа, как мало женщин на земле; ни зернышка здравого смысла в голове и никаких принципов поведения в сердце. Тот, кто женится на ней, будет отъявленным болваном, над которым она же, не стесняясь, станет издеваться, обуреваемая страстью к десяти другим, ибо в этом она превзошла всех» (Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 гг. М.; Л., 1960. С. 341). В 1835 г. ею увлекся и едва не женился на ней писатель граф В.А. Соллогуб, затем В.А. Давыдов (сын пушкинского «толстого Аристиппа» А.Л. Давыдова). В конце 1837 г. она оказалась беременна. А.Я. Булгаков в письме П.Ф. Макеровскому от 9 июля 1837 г. рассказывал: «Весь Петербург теперь только занят обрюхатевшею фрейлиною Пушкиною. Государь всегда велик во всех случаях. Узнавши, кто сделал брюхо, а именно князь Трубецкой, молодой повеса, сын генерал-адъютанта, он их повелел тотчас обвенчать и объявил, что она год уже, как тайно обвенчана. <...> Экой срам!» (Рус. архив. 1908. № 3. С. 376). Вскоре после венчания Трубецкие разъехались, ребенок родился и воспитывался за границей.

С.В. Трубецкой вступил в службу из камер-пажей в Кавалергардский полк, в 1837 г. за «шалости» был переведен в лейб-гвардии Кирасирский полк. Входил в известный по биографии М.Ю. Лермонтова «кружок шестнадцати», в конце 1839 г. перевелся на Кавказ и был прикомандирован к Гребенскому казачьему полку. Здесь участвовал в боевых действиях, продолжал приятельствовать с Лермонтовым. Во время последней дуэли поэта был секундантом Н.С. Мартынова. В 1843 г. вышел в отставку и «определен к статским делам». В 1851 г. нашумела история похищения им «жены коммерции советника» Лави-

нии Жадимировской, ознаменованная вмешательством III отделения и лично Николая I; описана в очерке П.Е. Щеголева «Любовь в равелине» (см.: Алексеевский равелин. М., 1998. Кн. 1. С. 357—377) и послужила основой романа Б. Окуджавы «Путешествие дилетантов». Трубецкой был арестован, полгода провел в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, был судим военным судом, лишен чинов, дворянства и княжеского достоинства и переведен рядовым в Оренбургские линейные батальоны, в порт Петровский на Аральском море. В ноябре 1855 г. был уволен со службы с чином подпоручика и до конца жизни находился под секретным надзором (в 1857 г. дворянство и титул были ему возвращены).

Семья Трубецких была очень близка ко двору, чем и объясняется особое внимание императорской семьи к дочери «урожденного князя». Старший брат Сергея Васильевича — Александр (1813—1889), штаб-ротмистр Кавалергардского полка, пользовался большим расположением императрицы Александры Федоровны; сестра — Мария Васильевна (1819—1895) была фрейлиной двора. Сплетники, и в их числе князь П.В. Долгоруков, уверяли, что она имела добрачную связь с великим князем Александром Николаевичем (см.: *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. М., 1992. С. 229). М.В. Трубецкая была замужем за флигель-адъютантом А.Г. Столыпиным, а после его смерти — за князем С.М. Воронцовым (с 1851 г.). Подробнее см.: Сборник биографий кавалергардов. СПб., 1908. Т. 4. С. 74; Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 4. С. 25; *Герштейн Э.* Судьба Лермонтова. М., 1964. С. 63, 333—340.

[100] *Мантошка* — от манто: разновидность широкого пальто, обычно с пелериной.

[101] *Арабы* — вид придворной прислуги: чернокожие лакеи, одетые в стилизованный «восточный» костюм — чалмы и шаровары.

[102] Скорее всего — Прасковья Арсеньевна *Бартенева* (1811—1872), фрейлина императрицы Александры Федоровны, певица-любительница. А.Ф. Тютчева вспоминала о ней: «Полина была очень добрая девушка, чрезвычайно толстая и с прелестным голосом; мой отец (Ф.И. Тютчев) про нее говорил, что это соловей, заключенный в перину» (*Тютчева А.Ф.* Воспоминания. М., 2000. С. 33—34; см. также: *Сабанеева Е.А.* Воспоминания о былом // История жизни благородной женщины. М., 1996. С. 396—397). Фрейлиной была также родная сестра П.А. Бартеневой — Надежда (1821—1901).

[103] «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество»; «Здравствуйте, дети» (*фр.*).

[104] *Царицын луг* — территория между Лебяжьим каналом и рекой Мойкой, первоначально болотистая луговина. В первой половине XVIII в. был осушен и превращен в место проведения праздников и военных парадов. Традицион-

ные ежегодные парады на Царицыном лугу проводились со второй половины XVIII в. до начала XX в. См. их описание: *Игнатьев Н.П.* Пятьдесят лет в строю. М., 1955. Т. 1. С. 90—93. После возведения в 1801 г. в южной части Царицына луга памятника А.В. Суворову «в образе Марса» (скульптор М.И. Козловский; в 1918 г. памятник перенесен ближе к Неве) за площадью постепенно закрепилось второе название — Марсово поле.

[105] *Цесаревич Николай* (1843—1865) и *великий князь Александр* (1845—1894) — сыновья Александра II.

[106] «Покажите детям комнаты» (*фр.*).

[107] *Мантилья* — изначально испанская кружевная накидка; здесь: модная деталь женского костюма середины XIX в. В описываемое время представляла собой подобие широкой кофты произвольного фасона; могла иметь рукава, сборы на спинке, полы в виде фестонов или свисающих языков; могла быть обшита по краям мехом или кружевной оборкой и т.п.

[108] *Цесаревна* — великая княгиня Мария Александровна, будущая императрица.

[109] отдельных листках (*фр.*).

[110] По всей видимости, имеется в виду *Дмитрий* Никитич *Максимов*, протоиерей, духовник и законоучитель Екатерининского института.

[111] *Макарий* (в миру Булгаков Михаил Петрович; 1817—1832) — архиерей, позднее митрополит Московский; *Бажанов* Василий Борисович (1800—1883), богослов-популяризатор, духовник царского дома с 1849 г.; какой *Лебедев* имеется в виду, установить трудно, скорее всего речь идет о протоиерее Петре Алексеевиче Лебедеве (1806—1887) — выпускнике С.-Петербургской духовной академии, священнике и законоучителе во многих петербургских учебных заведениях.

[112] *Боголюбов Петр Иванович* (1808—1880).

[113] *Ободовский Платон Григорьевич* (1803—1864) — педагог, драматург, поэт и переводчик. Инспектор классов в Екатерининском институте с 1839 г.; с 1844 г. также преподавал там российскую словесность. Автор «Прощальной песни девиц училища ордена Св. Екатерины, петой по случаю выпуска 1850» (СПб., 1877), которая исполнялась на музыку М.И. Глинки институтками на торжественных актах. См. о нем: *Городецкий Б.М.* П.Г. Ободовский // Исторический вестник. 1903. № 12; Рус. писатели. 1800—1917: Биогр. словарь. М., 1999. Т. 4. С. 370—372 (статья О.В. Голубевой).

[114] «*Три пальмы*» — баллада М.Ю. Лермонтова.

[115] летучую почту (*фр.*).

[116] «*Три мужика*» — басня И.А. Крылова.

[117] *Аникиев* Александр Сергеевич (? — 1853) — преподаватель истории, составитель учебного пособия по истории.

[118] *Тимаев* Николай Матвеевич, коллежский асессор. Его отец — Тимаев Матвей Максимович (1798—1858), действительный статский советник, инспектор Смольного института в 1839—1858 гг.

[119] *Вержбилович* Валерий Варфоломеевич (1813—1865), титулярный советник.

[119а] Имеется в виду герой Крымской войны прапорщик-артиллерист Александр Петрович Щеголев.

[120] *Менетрие* Эдуард Петрович, коллежский советник.

[121] *Буссе* Франц Густав (Федор Иванович; 1800—1861) — коллежский советник, директор 3-й мужской гимназии в Петербурге.

[122] *Леврие* Яков Петрович, титулярный советник.

[123] *Эрнст* Андрей Егорович, титулярный советник.

[124] *Эйринг* Карл Андреевич, коллежский асессор.

[125] клейкой бумаги (*фр.*).

[126] «*Эмилия Галотти*» — трагедия Г.Э. Лессинга.

[127] В 1853 г. в учебных заведениях была введена 12-балльная система оценок (ранее оценки выставлялись без баллов, одним определением: отлично, удовлетворительно и т.п.). 12 баллов — высшая оценка.

[128] *Мухин* Михаил Петрович (1811—1883), надворный советник.

[129] Возможно, речь идет о балерине Ришар, преподававшей танцы в Екатерининском институте в 1850-х гг.

[130] *Шелихов* Алексей Алексеевич.

[131] «Здравствуйте, Ваше Императорское Высочество» (*фр.*).

[132] *Долгорукова* Александра Сергеевна (в замужестве Альбединская; 1836—1913) — княжна, фрейлина великой княгини Марии Александровны. Фаворитка Александра II. См. о ней: *Тютчева А.Ф.* Воспоминания. М., 2000. С. 39—40.

[133] *Габер-суп* — немецкий овсяный суп. Рецепт его приготовления: «Стакан хорошей, перемытой овсяной крупы варить в закрытой кастрюльке с 10 стаканами воды <...> положив 1—2 ложки масла и немного соли. Когда суп уварится до густоты хороших сливок, дать устояться и <...> протереть все через дуршлаг. Между тем отварить отдельно $\frac{1}{2}$ фунта чернослива или изюма, который положить в миску, налить овсянкой, подавать с греночками» (*Молоховец Е.* Подарок молодым хозяйкам. 29-е изд. Пг., 1917. С. 85).

[134] «Почему вы не едите?» — «Мы это не любим, Ваше Императорское Высочество». — «Но почему? Это очень вкусно. Мне очень понравилось». — «Это естественно, Ваше Императорское Высочество, это ваш национальный суп» (*фр.*).

[135] О знании Александрой Федоровной русского языка свидетельствуют ее письма к В.А. Жуковскому; см.: Письма императрицы Александры Федоровны к В.А. Жуковскому (1817—1842) // Рус. архив. 1897. № 4. С. 493—510.

[136] То есть к воспитанницам женского Патриотического института, открытого в Петербурге в 1813 г.

[137] танец с шалью (*фр.*). Танец возник на рубеже XVIII—XIX вв. как отклик на появившуюся тогда моду на шали, дополняющие легкие дамские платья «в античном стиле». Умению изящно драпировать шаль стали учить танцмейстеры; сольный танец с шалью помогал продемонстрировать это умение. В танце участвовало обычно от одной до трех танцовщиц, которые под музыку из какого-нибудь известного балета начинали различные игры с легкой шалью, принимая изящные танцевальные позы и создавая красивые балетные группы. Они подбрасывали шали, ловили их, набрасывали на головы, обвивали вокруг талии, перескакивали через них и т.п. (см.: *Петровский Л.* Правила для благородных общественных танцев <...> Харьков, 1825. С. 36). В женских институтах этот танец постепенно немного изменился, сделался из сольного групповым. Н. Ковалевская вспоминала, как танцевала в петербургском Екатерининском институте «па де шаль»: «с голубыми креповыми шарфами, с цветочными гирляндами, венками; маленькие девицы с букетами в руках составляли прелестные группы в своих белых с красными лентами коротеньких муслиновых платьицах; составлялись различные фигуры из шарфов, перемешанных гирляндами и венками, словом, балет в миниатюрном, но строгом стиле» (*Ковалевская Н.* Воспоминания старой институтки // Рус. старина. 1898. № 9. С. 626).

[138] *Голубой класс* — средний из трех трехлетних классов, существовавших на Николаевской половине Смольного. Его ученицы носили голубые платья.

[139] «Бозьер из Соленси» (*фр.*).

[140] *Корпия* — нитки, нащипанные из полотняной мягкой ветоши; перевязочный материал, заменявший в XIX в. вату.

[141] Реляции генерала от артиллерии князя Михаила Дмитриевича *Горчакова* (1793—1861), назначенного в феврале 1855 г. главнокомандующим Крымской армией (вместо князя А.С. Меншикова), печатались в «Рус. инвалиде».

[142] Возможно, ошибка мемуаристки: в Высочайшем приказе по морскому ведомству от 4 мая 1855 г. был исключен умерший член аудиториата Штаба Черноморского флота и портов генерал-майор Попандопуло (Рус. инвалид. 1855. 12 мая). Больше ни в одном из списков убитых и раненых за время Крымской кампании эта фамилия не встречается. В 1850-х гг. в Одессе жила вдова генерала Попандопуло с дочерьми Клеопатрой Эммануиловной (в замужестве Энно) и Марией Эммануиловной; обе они были выпускницами петербургского Екатерининского института (см.: *Мацеевич А.С.* М.Л. Магницкий в Одессе // Рус. архив. 1898. № 2. С. 226—227).

[143] Свадьба В.В. Панаевой (1834 — ?) с Львом Петровичем Толстым (1818—1870) состоялась 17 января 1854 г.

[144] *Суташ* (сутаж) — шелковый рельефный шнур или тесьма для отделки.

[145] английское шитье (*фр.*), разновидность вышивки гладью, при которой узор состоит из вырезанных на ткани дырочек, обметанных по краю петельным швом.

[146] *Глазет* — разновидность парчи.

[147] *Никанор* (в миру Клементьевский Николай Степанович; 1787—1856) — митрополит Новгородский, Петербургский, Эстляндский и Финляндский (с 1848 г.), архимандрит Александро-Невской лавры.

[148] Предсмертную болезнь Николая I, начавшуюся в конце января 1855 г., довольно долго скрывали. Первый официальный бюллетень от 13 февраля появился в газетах только 18 февраля, когда император уже умирал. Официальное известие о кончине было опубликовано только 21 февраля.

[149] Николай I умер 18 февраля 1855 г. в 12 часов 15 минут.

[150] *Мандт* Мартин (1800—1858) — лейб-медик с 1840 г.; после смерти Николая I покинул Россию. Отрывки из его воспоминаний, посвященные болезни и смерти царя, см.: Рус. архив. 1884. № 1. С. 192—198.

[151] *Кашемир* — тонкая шерстяная ткань.

[152] *Баранова* Юлия Федоровна (урожд. Адлерберг; 1789—1864) — графиня, статс-дама, в 1855 г. была назначена гофмейстериной при императрице Александре Федоровне. Была воспитательницей дочерей Николая I и близким другом императорской семьи.

[153] *Ермолов* Алексей Петрович (1772—1861) — генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 г. и Кавказской войны. В 1815—1827 гг. главноуправляющий в Грузии. Член Государственного совета.

[154] «Если бы я была птичкой» (*фр.*); «Утро в деревне» (*нем.*).

[155] *Первоклассные институтки* — учащиеся Смольного, Екатерининского и Патриотического институтов, относящихся к институтам первой категории (класса).

[156] декольте и с короткими рукавами (*фр.*).

[157] «Барышни, награждаемые шифром, проходите. Вас требует Ее Величество Императрица» (*фр.*).

[158] Речь идет о Владимире Михайловиче Родзянко (1820—1893), в 1847 г. штаб-ротмистре, в 1859 г. полковнике Кавалергардского полка, и Михаиле Михайловиче Родзянко (1821—1887), полковнике Кавалергардского полка в 1853 г. Последний был женат на С.А. Черевиной.

[159] Великая княгиня *Мария Николаевна* (1819—1876), великие князья *Михаил Николаевич* (1832—1909) и *Николай Николаевич* (1831—1891) — дети Николая I.

[160] П.Г. *Ободовский* был учителем великих князей Константина, Николая и Михаила Николаевичей и великой княжны Александры Николаевны.

[161] «Прощайте, дети. Слабость здоровья не позволяет мне присутствовать на вашем вечере и видеть ваши успехи» (*фр.*).

[162] Великая княгиня *Александра Петровна* (урожд. принцесса Александра Ольденбургская; 1838—1900); жена (с 1856 г.) великого князя Николая Николаевича, сына Николая I. В 1886 г. приняла иночество под именем Анастасии. В описываемое Стерлиговой время была еще невестой великого князя.

Энгельгардт А.Н. Очерки институтской жизни былого времени

Энгельгардт Анна Николаевна (урожд. Макарова; 1838—1903) — общественная деятельница и переводчица. Дочь лексикографа Н.П. Макарова и А.П. Болтиной, правнучки известного историка И.Н. Болтина. Мать умерла, когда Анне было 6 лет; в 1848 г. отец отдал ее в московский Екатерининский институт, который она закончила в 1855 г. После выпуска несколько лет жила под Тулой в деревне Рождествено у отца и мачехи, занималась переводами французских классиков, много читала. В 1859 г. вышла замуж за поручика артиллерии Александра Николаевича Энгельгардта (1832—1893), впоследствии известного химика и агронома, автора многократно переиздававшихся «Писем из деревни».

С начала 1860-х гг. Энгельгардт активно включилась в женское движение. В 1862 г. работала продавщицей в книжном магазине Н.А. Серно-Соловьевича, в 1863 г. была в числе учредительниц Общества поощрения женского труда. Тогда же вместе с М.В. Трубниковой и Н.В. Стасовой организовала женскую издательскую артель. В 1870-х гг. она работала библиотекарем Женского медицинского института; в 1890-х гг. стала основательницей Женского взаимно-благотворительного общества.

В 1870 г. Александр Энгельгардт был заподозрен в причастности к революционному движению, арестован и отправлен в ссылку в село Батищево Смоленской губернии. Анна Николаевна, также арестованная, провела в крепости полтора месяца и была отпущена за недостатком улик. С мужем она не смогла отправиться, так как должна была заботиться о воспитании и образовании троих детей. Сохраняя с мужем хорошие отношения, они с этого времени фактически разошлись. Вторым (гражданским) браком А.Н. Энгельгардт была за профессором Ф.Н. Бургольдом.

С 1860-х гг. Энгельгардт стала пробовать себя в профессиональном переводе. Как вспоминала М.А. Бекетова, Анна Николаевна «была литературно и исторически образованна, очень начитанна и сделалась вскоре хорошей переводчицей» (*Бекетова М.А.* Шахматово. Семейная хроника // Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990. С. 509).

С 1868 г. Энгельгардт сотрудничала в «Биржевых ведомостях», «Голосе», «Вестнике Европы», «Отечественных записках», «С.-Петербургских ведомостях» и др. изданиях, переводя (с четырех языков: французского, английского, немецкого и итальянского) ежедневно до половины печатного листа. Широкую известность получили ее переводы книг Э. и Ж. Гонкуров, Г. Мопассана, Ф. Рабле, Г. Джеймса, Ф. Брет-Гарта и особенно Э. Золя, который во многом благодаря А.Н. Энгельгардт приобрел популярность в России. В 1890—1893 гг. Анна Николаевна редактировала журнал «Вестник иностранной литературы».

Оба ее сына (Михаил и Николай) и дочь Вера были литераторами.

«Очерки институтской жизни былого времени» печатаются по тексту первой публикации: Заря. 1870. № 8—9 (Энгельгардт подписала их псевдонимом А. Бельская, образованным от названия Бельского уезда Смоленской губ., где находилось родовое имение Энгельгардтов Покровское).

[1] *Отец* А.Н. Энгельгардт — Николай Петрович Макаров (1811—1890), известный в свое время составитель «Французско-русского словаря», литератор. Офицер лейб-гвардии Литовского полка, участник Польской кампании 1831 г.; в отставке — генерал-майор. Автор книги «Мои семидесятилетние воспоминания» (Ч. 1—4. СПб., 1881—1882). См. о нем: Рус. писатели. 1800—1917: Биогр. словарь. М., 1994. Т. 3. С. 471—472 (статья Л.Н. Черниговского).

[2] *Монтировал* (от фр. monter) — возбуждал.

[3] Мать А.Н. Энгельгардт Александра Петровна Макарова (урожд. Болтина) умерла в 1844 г. от холеры.

[4] *Грановский* Тимофей Николаевич (1813—1855) — историк, профессор всеобщей истории Московского университета с 1849 г. В биографиях Грановского никаких указаний на преподавание его в пансионе обнаружить не удалось. Возможно, имеется в виду пансион Варвары Николаевны фон дер Пален (? — 1849), располагавшийся в Хамовнической части Москвы. А.Д. Галахов, хороший знакомый Грановского, который преподавал там, вспоминал о ней: «Более добросердечной женщины мне редко случалось видеть на моем веку. Доброта ее выказывалась и в отношении к воспитанницам. Я хорошо знал многие, очень известные московские пансионы (Жарни, Данкварт, Севенар), но ни в одном не видал, чтобы пансионерки были так искренно привязаны к своей начальнице, как в пансионе Варвары Николаевны. Они любили ее родственной любовью» (*Галахов А.Д.* Записки человека. М., 1999. С. 144).

[5] Речь идет о реформах 1860-х гг., коснувшихся различных сторон русской жизни, в том числе и женского образования (подробнее об этом см. в воспоминаниях Е.Н. Водовозовой).

[6] Здание московского Екатерининского института сохранилось. Оно находится на Суворовской площади, д. 2 (прежняя Екатерининская площадь). Здание XVIII в. принадлежало графу Салтыкову; в 1820-х гг. было перестроено Д.И. Жилярди и А.Г. Григорьевым под институт. До настоящего времени сохранилась и часть примыкающего к зданию парка с прудом. В комплексе располагается Центральный дом российской армии.

[7] *Покой* — название буквы «п» в церковно-славянском языке.

[8] «особняк между двором и садом» (*фр.*).

[9] Директрисой института в 1826—1852 гг. была Софья Карловна Певцова (урожд. Модерах; 1782—1857). О ней сохранилось немало воспоминаний. Так, А.Д. Галахов писал: «Начальница Екатерининского института, С.К. Певцова,

вполне отвечала занимаемому ею месту. Светски образованная, ловкая, представительная и вдобавок генерал-лейтенантша, она держала себя независимо, потому что стояла в уровень как с почетными опекунами, заведовавшими учебною и экономическою частями ее заведения, так и с именитыми фамилиями лиц, дети которых воспитывались под ее началом. В молодости своей красотою и любезностию она кружила головы молодым людям» (*Галахов А.Д.* Записки человека. М., 1999. С. 131; Отзывы о молодой Певцовой см. в: *Вяземский П.А.* Старая записная книжка // Вяземский П.А. Полное собрание сочинений: В 12 т. СПб., 1883. Т. 8. С. 410—411). Писательница С.Д. Хвощинская, выпускница Екатерининского института 1842 г., писала о Певцовой: «Я никогда, ни прежде, ни после, не встречала почтенной женщины прекраснее ее. У нее был гордый вид, но он не отталкивал, а, напротив, подчинял себе невольно. <...> Наш выпуск сохранил о ней прекрасное воспоминание: всегда приветливая, и с таким вниманием к нашим успехам, что хотелось учиться хорошо, лишь бы только получить ее одобрительный взгляд и улыбку. <...> Это была женщина глубоко религиозная и, кажется, очень образованная» (N. [*Хвощинская С.Д.*] Воспоминания институтской жизни // Рус. вестник. 1861. № 10. С. 524—525).

[10] Ср. в воспоминаниях Е.А. Половцевой, урожд. княжны Кропоткиной (сестры известного анархиста князя П.А. Кропоткина): «В то время существовало нелепое подразделение классов. Всех их было семь, из них один приготовительный. Та из девочек, которая поступала в четвертый класс, т.е. первый или старший для маленького возраста, оставалась в нем три года с одной и той же классной дамой и переходила затем сразу в первый класс, считавшийся наилучшим, где оставалась до выпуска, то есть еще три года. Из пятого класса, пробыв три года, девочки переходили сразу во второй, из шестого после трехлетнего пребывания сразу в третий. Таким образом, первый, второй и третий класс были высшими, в которых воспитанницы оставались по три года до выпуска. Третий класс считался наихудшим, впрочем, не столько по знаниям учениц, сколько по их родословной» (*Половцева Е.* Екатерининский институт полвека назад. М., 1900. С. 5—6).

[11] Рафаил Мартьянович Кистов преподавал чистописание в Екатерининском институте в 1838—1852 гг.

[12] Ср. у А.Д. Галахова: «Учителей по исконному обычаю набирали преимущественно из класса людей женатых, которые поэтому предполагались нравственными и степенными. Из холостяков допускали только пожилых; молодые же получали право учительствовать лишь в том случае, если они имели несчастие (а в настоящем случае — счастие) быть невзрачными и, следовательно, от природы запаслись как бы наличным свидетельством полной своей безопасности для институток» (*Галахов А.Д.* Указ. соч. С. 128).

[13] *Живые картины* — разновидность любительского театрального представления, популярная в XIX — начале XX в. Для них выбирались сюжеты, хорошо

известные всем присутствующим, — чаще мифологические, исторические, этнографические или литературные, затем распределяли роли, делали реквизит, костюмы и элементы декорации. Во время представления участники живой картины под музыку выходили на сцену, располагались группой, соответствующей сюжету, и по команде замирали в полной неподвижности. Через минуту позы менялись и возникала новая картина на тот же сюжет; затем еще раз. Обычно за одно представление показывали 3—5 картин. См. описание: *Каменская М.Ф.* Воспоминания. М., 1991. С. 222.

[14] повесь на нее (*фр.*).

[15] «Дамы, передайте язык Н.Н.!» (*фр.*).

[16] Красный язык навешивался в виде наказания на воспитанницу, говорившую не на положенном иностранным языке (французском или немецком), а по-русски. «Заслужившая такое украшение обязана была в своих интересах подслушивать, не говорят ли где по-русски; изловив кого-либо в этом преступлении, она освобождалась таким образом от противного языка. Не успевшая передать язык до обеда, должна была за третьим блюдом стоять как наказанная» (*Половцева Е.* Указ. соч. С. 18).

[17] «Я сказала: как это сказать по-французски?» (*фр.*).

[18] Эй, Н.Н. Вы съели соленый гриб! (*фр.*).

[19] Гадкая! мовешка! (*фр.*).

[20] барышни (*фр.*).

[21] Парами (*фр.*).

[22] Ср.: «Дортуар — это половина отделения, и заведующая им классная дама имеет над ним непосредственную власть. Нравственность девиц, их занятия, их здоровье стоят на особой ответственности дамы дортуара. Можно сказать, что от этой ближайшей начальницы зависит вся судьба девочки» (N. [*Хвощинская С.Д.*] Указ. соч. // Рус. вестник. 1861. № 9. С. 270).

[23] «Дайте мне», «передайте мне», «идите», «позвольте мне» (*нем.*).

[24] «Как сказать по-немецки?» (*нем.*).

[25] «Как сказать по-французски?» (*фр.*).

[26] побоев (*фр.*).

[27] *Реприманды* (*фр.* réprimande) — споры, выговоры.

[28] зловредная (*фр.*).

[29] полный поворот (*фр.*).

[30] *Рекреация* (от лат. recreatio — восстановление) — время, свободное от занятий.

[31] *Экзерсис* (*фр.* exercice) — упражнение.

[32] Ср. у С.Д. Хвощинской: «Полдника мы буквально алкали... Тут, едва выходил учитель, мы стаей налетали на классную служанку. Она вносила булки. Эти булки (половина хлеба в 5 коп. серебром) съедались мгновенно. Горе

той, которая имела неосторожность спросить всю свою булку в утренний завтрак! Она не находила сострадания» (*N.* [Хвощинская С.Д.] Указ. соч. С. 281).

[33] *Локаль* (*фр.* local) — помещение.

[34] С.Д. Хвощинская вспоминала: «Классная комната была далеко не нарядна; желтые штукатурные стены, обвешанные плохими ландкартами, две черные доски на станках, исчерченные мелом, и ряды скамеек с пюпитрами, горою возвышавшиеся от середины комнаты до стены. Скамейки, выкрашенные темно-зеленою краскою, смотрели немного мрачно... В простенке был такой же крашеный столик, и за ним сидела классная дама; другой столик стоял посреди комнаты, и за ним сидел учитель» (*N.* [Хвощинская С.Д.] Указ. соч. С. 267).

[35] *В два света* — с окнами, расположенными в два яруса.

[36] *Вирхов* Рудольф (1821—1902) — немецкий врач, общественный деятель. Инициатор ряда общественно-гигиенических мероприятий по устройству школ и больниц.

[37] В 1888 г. в письме к дочери Энгельгардт вспоминала: «Я росла <...> вечно голодная в самом буквальном физическом смысле этого слова. Я часто плакала от голода, *только от голода*, нестерпимого, больно рвущего все внутренности голода. Ощущения голодного человека мне вполне понятны. Я по целым годам никогда не была сыта, и от недостатка питания у меня, при моем железном организме, было самое хилое, самое чахлое детство. Я не росла все время, пока находилась в институте и вечно бывала больна. <...> мне казалось, что быть вполне сытой достаточно для счастья человека» (Цит. по: *Мазовецкая Э.* Анна Энгельгардт. СПб., 2001. С. 20—21).

[38] В XIX в. слово «туфли» (иногда — пантуфли; от *нем.* pantoffels) значило только домашнюю, комнатную обувь — «хлопанцы, шарканцы... башмаки без задников» (Даль), т.е. комнатные шлепанцы. Другие разновидности женской обуви — прогулочной, бальной и т.д. — все то, что в современном русском языке называется туфлями, — именовались башмаками. Отсюда старинная обувная специализация: сапожник шил мужскую обувь, башмачник «бабью» (см.: *Каменская М.Ф.* Воспоминания. М., 1991. С. 103; ср.: *Кирсанова Р.М.* Костюм в русской художественной культуре XVIII — 1-й половины XX в.: Опыт энциклопедии. М., 1995. С. 33—34).

[39] О верхней одежде екатерининских институток писала Е.А. Половцева: «Наши уродливые синие шубки и безобразные шляпы на шнурках были предметом общего негодования, до такой степени костюм наш уродовал даже самую красивую девочку» (*Половцева Е.А.* Указ. соч. С. 27). Костюм институток был утвержден императрицей Марией Федоровной в конце 1820-х гг. и оставался с того времени неизменным. К 1840—1860-м гг. его фасон безнадежно устарел и, как все, вышедшее из моды, вызывал негодование институток. К

концу XIX в. старомодное превратилось в старинное, и негодование по поводу костюма прекратилось (см. ниже воспоминания Т.Г. Морозовой).

[40] *Амфибии* — земноводные; здесь: персонал, не относящийся ни к числу «начальства», ни к прислуге.

[41] Очень хорошо (*фр.*).

[42] То есть подпольная, тайная.

[43] в массе (*фр.*).

[44] «Это дитя — бедовая голова, но доброе сердце» (*фр.*).

[45] С.К. Певцова умерла спустя два года после выпуска Энгельгардт.

[46] С 1852 г. начальницей института стала вдова действительного статского советника Анастасия Александровна Дейер (оставалась на этой должности до 1867 г.).

[47] *Октроировать* (*фр.* octroyer) — жаловать, даровать.

[48] Возможно, речь идет о Екатерине Михайловне Книгиной, вдове статского советника, служившей в Екатерининском институте с 1834 г.

[49] косы (*фр.*).

[50] неряха, лентяйка (*фр.*).

[51] Поведение учениц 1-го отделения удовлетворительное, за исключением м-ль NN, которая проявляет признаки дурного характера или которая неряшлива и ленива (*фр.*).

[52] Ну, милая, расскажи мне, что случилось (*фр.*).

[53] Иди, милая, и в дальнейшем веди себя хорошо (*фр.*).

[54] «Ваше превосходительство» (*фр.*)

[55] Умерший — Александр Антонович Бунин, преподававший в институте с 1836 по 1852 г.; приглашенный на его место — вероятно, Владимир Иванович Собчаков.

[56] Инспектором классов в 1838—1859 гг. в Екатерининском институте был Николай Дмитриевич Брашман (1796—1866). См. о нем: *Галахов А.Д.* Записки человека. М., 1999. С. 129—131.

[57] В начале 1850-х гг. инспектрисами московского Екатерининского института были Клеопатра Аггеевна Певцова (дочь С.К. Певцовой) и Паулина Петровна Килинская.

[58] Инспектрисой пепиньерок и приготовительного класса в Екатерининском институте с 1836 г. была дочь С.К. Певцовой Александра Аггеевна Хрущова (урожд. Певцова), жена штабс-капитана А.П. Хрущова.

[59] В повести Н.Г. Помяловского «Молотов», содержащей негативную характеристику женских институтов, подобного пассажа нет.

[60] нонсенс, нелепость (*фр.*).

[61] *Жантильность* (от *фр.* gentil) — любезность.

[62] Аллюзия на «Записки из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского, опубликованные за 10 лет до воспоминаний А.Н. Энгельгардт.

[63] Начальницы, повелительницы (*фр.*).

[64] негодницы (*фр.*).

[65] объектом; обожательницей (*фр.*).

[66] «Прелестная, божественная, очаровательная» (*фр.*).

[67] престиж, авторитет (*фр.*).

[68] на глазах у всех (*фр.*).

[69] *Аркадия* — в идиллической поэзии: счастливая страна.

[70] По какому случаю? (*фр.*).

[71] позвоночное животное (*фр.*).

[72] восхитительная (*фр.*).

[73] Сорокопуты, трещотки (*фр.*).

[74] Оставьте этих маленьких дурочек! (*фр.*).

[75] Оставьте этих больших дур! (*фр.*).

[76] Вы скоро станете взрослыми, барышни (*фр.*).

[77] В цитировавшемся выше письме к дочери Энгельгардт вспоминала: «Я росла заброшенной сиротой (вечно одинокая), хотя и в толпе институтских подруг, но это были не близкие и дружественные существа, а, напротив, такие, от которых приходилось вечно обороняться или активно — языком более или менее острым — или пассивно, т.е. гордым молчанием и не пусканием в свою душу <...> Ко всему этому с самого моего рождения и до выхода моего из института, т.е. до 15 лет, я была дурна собой как маленькая обезьянка, и это служило вечным камнем преткновения на моем пути. Большие и малые, пассивно, т.е. соболезнующими вздохами и замечаниями, или активно, т.е. резкой бранью или даже и толчками, заявляли мне о том, какая я некрасивая девочка и как им неприятно на меня смотреть» (цит. по: *Мазовецкая Э.* Указ. соч. С. 20—21).

[78] негодница, гадкая, дура (*фр.*).

[79] См. примеч. 43 к воспоминаниям А.В. Стерлиговой.

[80] Противная, нелюбезная! (*фр.*).

[81] Возможно, имеется в виду воспитанница Анна Васильевна Лисенкова.

[82] что она прямолинейна (*фр.*).

[83] *Ареопаг* — здесь: суд.

[84] было очень предупредительным (*фр.*).

[85] Речь идет о Елизавете Николаевне Арсеньевой, кончившей курс в институте первой, с большим шифром.

[86] королевская поступь (*фр.*).

[87] Имеется в виду Елизавета Николаевна Леман, окончившая институт также с большим шифром.

[88] Речь идет о воспитаннице Раисе Григорьевне Обловой.

[89] нелепыми (*фр.*).

[90] Источник цитаты установить не удалось.

[91] Ср.: «...он (Наполеон), как и каждый француз, не мог себе вообразить ничего чувствительного без упоминания о ma chère, ma tendre, ma pauvre mère (моей милой, нежной, бедной матери)» (*Толстой Л.Н.* Война и мир. Т. 3. Гл. XIX).

[92] моя бедная мать, моя бедная родина (*фр.*).

[93] Имеется в виду, по-видимому, Пьер Пелян д'Анже, преподававший в Екатерининском институте французский язык с 1853 г.

[94] «Эрнест Нолан д'Анвер — бог!» (*фр.*).

[95] моя божественная Франция (*фр.*).

[96] гнездо в листве, спор двух роз, восход солнца, триумф добродетели (*фр.*).

[97] Имеется в виду Михаил Егорович Архидьяконский. А.Д. Галахов характеризовал его как «отличного преподавателя» (*Галахов А.Д.* Указ. соч. С. 131).

[98] Речь идет о стихотворении И.И. Дмитриева «Размышление по случаю грома» (1795), представляющем собой перевод стихотворения И.В. Гете «Границы человечества».

[99] Имеется в виду пьеса Н.В. Гоголя «Театральный разъезд после представления новой комедии».

[100] Устные рассказы актера и писателя Ивана Федоровича Горбунова (1831—1895) начиная с 1850-х гг. пользовались огромной популярностью; частично были записаны автором (*Горбунов И.Ф.* Сочинения. СПб., 1904—1910. Т. 1—3; современное издание: *Горбунов И.Ф.* Избранное. М.; Л., 1965).

[101] Видимо, имеется в виду Петр Александрович Александров, преподававший физику в Екатерининском институте с 1853 г.

[102] Вероятно, Иван Александрович Скребков, преподаватель математики в Екатерининском институте в 1843—1863 гг.

[103] Видимо, имеется в виду Виктор Петрович Губо, преподававший естественную историю с 1853 г.

[104] «лошадь», «корова» (искаж. *фр.*: первое слово употреблено в женском роде вместо мужского, второе — в мужском вместо женского).

[105] Г-н Z, я вас презираю! (*фр.*).

[106] на ногах (*фр.*).

[107] Для кого предназначаются эти угрожающие розги?
Из-за кого готовится скамья?
Откуда этот шум, куда бежит прислуга?
Куда ведут несчастную Барбет?
Она осмелилась, о ужас, оскорбить Юпитера!
Она сказала, о ужас, что презирает его!
Юпитер закричал, о ярость, чтоб она умолкла!
Она ослушалась, о боль, и получила... сюрприз! (*фр.*).

[108] Законоучителем в Екатерининском институте с 1830 по 1866 г. был Мартин Леонтьевич Ловцов (? — 1869).

[109] Дьякон Екатерининского института в описываемое время — Илья Васильевич Хинковский (? — 1859). См. о нем: *Галахов А.Д.* Указ. соч. С. 127.

[110] Итальянское пение преподавали Брисс и коллежский советник Евгений Иванович Лор.

[111] Преподавателем церковного пения в 1846—1874 гг. был Федор Алексеевич Багрецов.

[112] пару (*фр.*).

[113] Речь идет о Фелицате Вирджинии Гюллень-Сор (настоящая фамилия Ришар; в замужестве Эртель; 1805—1860), балерине и балетмейстере Большого театра в 1823—1839 гг. Ф. Гюллень танцевала в балетах Ш. Дидло, Ф. Тальони и др., преподавала в Московской театральной школе (среди ее учениц известные балерины Е.А. Санковская и Т.С. Карпакова).

[114] *Пуасардка* (*фр.* poissarde) — простолюдинка.

[115] Князь, нам нужны еще карты! — Хорошо, дети, я вам пришлю (*фр.*).

[116] *Святая* — пасхальная неделя.

[117] пломбир (*фр.*).

[118] *Карем* Мари-Антуан (1784—1833) — французский повар, автор ряда поваренных книг. Служил у Талейрана, Ротшильда, английского короля Георга IV и др.

[119] *Щепкин* Михаил Семенович (1788—1863) — актер Малого театра.

[120] чревовещатели (*фр.*).

[121] Пунш гляссе (*фр.*). Готовился из ананасового пюре, лимонного сиропа, апельсинового сока с добавлением шампанского, рома и ликера. Все это смешивалось, процеживалось, замораживалось и подавалось «вроде жидкого мороженого в бокалах» (*Молоховец Е.* Подарок молодым хозяйкам. Пг., 1917. С. 408).

[122] Катание яиц — старинная пасхальная игра. Для нее наклонно устанавливали неширокий желоб (деревянный, жестяной и т.п.). Возле нижнего края клали («на кону») несколько яиц. Затем все играющие по очереди скатывали по желобу яйцо, стараясь, чтобы оно ударилось в одно из лежащих внизу. Задетое яйцо считалось выигранным, а скатившееся и не ударившее другое оставалось лежать на кону. См.: *Покровский Е.А.* Детские игры, преимущественно русские. М., 1895. С. 233—234.

[123] *Гоголь-моголь* — сладкое блюдо из яичных желтков, взбитых с сахаром в белую пену.

[124] *Бортнянский* Дмитрий Степанович (1751—1825) — композитор, директор придворной певческой капеллы с 1796 г., автор ряда церковных концертов.

[125] *Ажитация* (*фр.* agitation) — возбуждение.

[126] *Коленкоровые* — из коленкора, хлопчатобумажной, довольно плотной ткани, накрахмаленной или прокаленной в процессе производства, что при-

давало ей специфический глянец. Коленкор шел на белье, рубашки; гладкокрашеный — на подкладку, книжные переплеты, иногда на летнюю одежду.

[127] *Батист-декосовые* — из батист-декоса (английский батист), тонкой, полупрозрачной хлопчатобумажной ткани, употреблявшейся на белье и предметы дамского туалета.

[128] *Викарный* (от викарий, *лат.* — заместитель) — епископ, назначаемый в помощь епархиальным архиереям.

[129] для лучшего, для худшего (*англ.*).

[130] Ср. описание баллотировки: *N.* [*Хвощинская С.Д.*] Указ. соч // Рус. вестник. 1861. № 9. С. 277.

[131] *Серсо* — игра, состоящая в перебрасывании партнерами тонкого легкого кольца, которое нужно поймать на специальную палочку, похожую на шпагу.

[132] *Бурнус* — широкое пальто с капюшоном.

[133] *Опойковый* — из опойка, телячьей кожи.

[134] Речь идет о находившемся неподалеку от Екатерининского Александровском институте (Новая Божедомка; ныне ул. Достоевского, 4). Институт был основан в 1805 г. как Мещанское училище при Екатерининском институте, в 1830-х гг. стал самостоятельным учебным заведением. Здание института, построенное в 1809—1811 гг. архитектором И.Д. Жилярди, сохранилось до настоящего времени.

[135] *Булава* — принадлежность парадной формы швейцара; представляла собой длинную палку с шаром наверху.

[136] В 1844 г. институты были разделены на четыре разряда. К первому относились Смольный, Патриотический институты, оба училища (института) ордена Св. Екатерины (в Петербурге и Москве), большинство губернских институтов; ко второму — Павловский институт, Александровские институты в Петербурге и Москве, дома трудолюбия в Петербурге, Москве и Симбирске, Иркутский и Астраханский институты. Заведения третьего—четвертого разрядов предназначались для мещанок. В перворазрядных училищах главное внимание обращалось на иностранные языки, во второразрядных преподавание искусств и рукоделий было расширено за счет наук. При том, что те и другие заведения являлись по преимуществу дворянскими, в институты первого разряда отбирались дочери более знатных и чиновных родителей, а во втором разряде допускался прием девочек из недворянских семей (дочерей высшего духовенства и т.п.).

[137] *Канифасная* — из канифаса, плотной хлопчатобумажной ткани с выделкой в виде полос.

[138] предметом ненависти (*фр.*).

[139] Лазаретной дамой (надзирательницей) в 1842—1853 гг. была Кузнецова; ее сменила Е.К. Юнг.

[140] Врачом в Екатерининском институте в 1837—1852 гг. был Граф, затем В.В. Рихтер.

[141] а-ля Виктор Гюго (*фр.*).

[142] козлом отпущения (*фр.*).

[143] *Девичья кожа* — пастила из корня просвирника; применялась как лекарство от кашля, а также как лакомство. Художник К.А. Коровин вспоминал: «...из аптеки приносили длинную конфету, называлась "девья кожа", от кашля» (Константин Коровин вспоминает... М., 1990. С. 25).

[144] Речь идет о лимонно-кислом магнии, называвшемся в обиходе *магнезией* и использовавшемся как слабительное средство. Имел вкус лимонада.

[145] побоев (*фр.*).

[146] Софья Николаевна Беловодова — персонаж романа И.А. Гончарова «Обрыв», впервые опубликованного в 1869 г., за год до появления воспоминаний А.Н. Энгельгардт. И.А. Гончаров в статье «Намерения, задачи и идеи романа "Обрыв"» писал, что Беловодову «укрыло от страстей заботливое воспитание большого, знатного дома, где хотели уберечь ее от всяких опасных увлечений, от всякого faux pas (ложного шага. — *фр.*), — и так успели в этом, что заглушили в ней почти все женские инстинкты, чувства, принеся ее в жертву свету, гордости рода и всяким convenances (приличиям. — *фр.*). Она — красивая фигура, машинально исполняющая все, что указал ей неумолимый долг ее круга и воспитания» (*Гончаров И.А.* Собр. соч. М., 1980. Т. 6. С. 454).

Е.Н. Водовозова. На заре жизни

Водовозова Елизавета Николаевна (урожд. Цевловская; 1844—1923) — детская писательница, педагог. Дочь небогатого смоленского помещика Н.Г. Цевловского, умершего, когда Елизавете было 4 года.

В 1855—1861 гг. обучалась в Смольном институте. Ее пребывание здесь совпало с реформой женских учебных заведений, которую в Смольном осуществлял известный педагог К.Д. Ушинский. Еще в институте Елизавета Николаевна стала невестой своего учителя словесности В.И. Водовозова (1825—1886), а сразу по выпуске вышла за него замуж.

Журфиксы («вторники») Водовозовых в 1860—1880-х гг. посещали многие народнически настроенные педагоги, литераторы, журналисты (А.В. Слепцов, П.И. Якушкин, С.В. Максимов, К.Д. Ушинский, Г.З. Елисеев и др.).

С 1863 г. Водовозова регулярно писала для детей и на педагогические темы, сотрудничала в журналах «Детское чтение», «Народная школа», «Голос учителя» и др. Овдовев в 1886 г., вновь вышла замуж за известного историка В.И. Семевского (1848—1916). С 1880-х гг. часто обращалась к мемуаристике (К.Д. Ушинский и В.И. Водовозов. Из воспоминаний институтки // Рус. старина. 1887.

№ 2; Дореформенный институт и преобразования К.Д. Ушинского // Рус. богатство. 1908. № 7—11, и др.), составила в итоге книгу «На заре жизни» (СПб., 1911). Вторая часть мемуаров Е.Н. Водовозовой «На заре жизни», включенная в сборник, печатается по этому изданию.

[1] В первой публикации имелась следующая сноска: «Воспитанницы института и весь женский персонал, служивший в нем, кроме главной начальницы, названы вымышленными именами» (Рус. богатство. 1908. № 7. С. 132).

[2] Ср. в книге Е. Лихачевой «Материалы для истории женского образования в России. 1856—1880» (СПб., 1901), где ссылаясь на очерк А. Чумикова «Мои цензурные мытарства» (Рус. старина. 1899. № 12), она писала о стоявшем в 1857 г. во главе цензурного ведомства князе Г.А. Щербатове, что он «довольно снисходительно относился к статьям, указывавшим недостатки в организации учебных заведений Министерства. Но лишь только речь касалась женских закрытых учебных заведений, независимость и либерализм кн. Щербатова пасовали, и в этих случаях он пропускал статьи лишь под непременным условием, чтобы слова: институт, начальница, классная дама, сторож были заменены словами: пансион, мадам, гувернантка, прислуга» (С. 292).

[3] См.: *Черепнин Н.П.* Императорское воспитательное общество благородных девиц: Исторический очерк. 1764—1914. СПб., 1914. Т. 1. С. 55—65.

[4] *Мать* Е.Н. Водовозовой — Александра Степановна Цевловская (урожд. Гонецкая; 1813—1887).

[5] *Дворянская книга* предназначалась для записи дворян уезда или губернии. Велась соответствующими дворянскими депутатскими собраниями под наблюдением предводителя дворянства. Она разделялась на шесть разрядов по степени знатности. В третью часть дворянской книги вносились лица, получившие потомственное дворянство вследствие выслуги определенного чина на гражданской службе или в результате награждения российскими орденами.

[6] Административное разделение Александровской и Николаевской «половин» произошло в 1864 г.

[7] См. также примеч. 14 к воспоминаниям Г.И. Ржевской.

[8] *Сент-Илер* Аделаида Карловна (урожд. Гилло) — инспектриса Александровской половины Смольного института в 1848—1867 гг.

[9] *Кофейный класс* — название, закрепившееся в институтском обиходе и происходившее от цвета платьев. Первоначально, когда в Смольном было четыре класса, воспитанницы носили соответственно платья коричневого («кофейный», самый младший класс), голубого, серого и белого цвета; к платьям полагались передники: у трех младших возрастов белые, а у «белых» — зеленые шелковые (см.: *Черепнин Н.П.* Указ. соч. Т. 1. С. 127). С уменьшением при Марии Федоровне срока обучения с 12 лет до 9 (императрица находила, что не следу-

ет принимать в институт детей раньше девятилетнего возраста, ибо «шестилетние дети нуждаются больше в домашнем уходе, чем в учении» — см.: *Гиргас Л.Ф.* Статс-дама М.П. Леонтьева. Киев, 1895. С. 4) на Николаевской половине остались «кофейный», «голубой» и «белый» классы, причем «белым» было присвоено платье зеленого цвета (ср. в воспоминаниях М.С. Угличаниновой: «старший, выходной (класс) почему-то назывался "белым", хотя платья носили зеленого цвета» — *Угличанинова М.С.* Воспоминания воспитанницы Смольного монастыря сороковых годов // Рус. вестник. 1900. № 9. С. 159). На Александровской половине было два класса — «кофейный» и «белый». Те же цвета платьев — коричневый, голубой и зеленый — чаще всего использовались и в других столичных и провинциальных институтах. Серые платья обычно носили пепиньерки.

[10] *Екатерина Павловна* (1788—1818) — великая княгиня, четвертая дочь императора Павла I, с 1809 г. — замужем за принцем *Георгием* Петровичем *Ольденбургским* (1784—1812), генерал-губернатором Тверской, Ярославской и Новгородской губерний.

[11] М.П. Леонтьева (1792— 1874) была дочерью Солигаличского уездного предводителя дворянства Павла Антоновича Шипова; училась в Смольном в 1800—1809 гг., была выпущена с шифром. Муж Марии Павловны — генерал-майор Н.Н. Леонтьев был на ней женат вторым браком, его первая жена, урожд. Пестель (двоюродная тетка известного декабриста), умерла, оставив ему троих сыновей. Два родных брата Леонтьевой — Иван и Сергей — были деятельными членами ранних декабристских тайных обществ (см.: Декабристы: Биографический справочник. М., 1988. С. 200—201). Гофмейстериной Мария Павловна стала в 1838 г., тогда же была назначена помощницей начальницы Смольного Ю.Ф. Адлерберг, а в 1839 г. — начальницей института. В 1864 г. ее сделали статс-дамой. В период начальствования Леонтьевой в Смольном были устроены новый лазарет, образцовая кухня и библиотека.

[12] *Клирос* — место для певчих в церкви: возвышение перед алтарем по правую и левую руку от царских врат.

[13] Кроме названной Водовозовой книги З.Е. Мордвиновой (СПб., 1902; автор — выпускница Николаевской половины Смольного 1862 г.) была написана еще одна биография М.П. Леонтьевой: *Гиргас Л.Ф.* Статс-дама Мария Павловна Леонтьева. Киев, 1895 (автор училась на Николаевской половине одновременно с Водовозовой). Даваемая здесь характеристика в основном совпадает с помещенной у Водовозовой. Гиргас считала Леонтьеву женщиной неглупой, хорошо для своего времени воспитанной, «любившей и русский язык, и все русское, но воспитанной на старинный лад; [она] почти не брала в руки русских журналов». Суховатая и холодная по натуре, она олицетворяла «порядок, точность и усердие», «жила по инструкции» и вследствие этого часто была мелочно придирчива и несправедлива. Общение с ней могло вызвать

неловкость не только из-за несомненного консерватизма Леонтьевой, но и потому, что собеседники все время боялись «ответить невпопад и тем нарушить созданный ее воображением идеальный мир, где воспитательницы, ни на минуту не забывая исполнять инструкцию, следят за поведением гладко причесанных, аккуратно одетых, вежливых и сдержанных воспитанниц, всегда ходящих по парам и говорящих между собою на иностранных языках. <...> Сослуживцы ее никогда не могли решить вопроса: было ли высказываемое ею незнание зла и человеческих слабостей действительным неведением и близорукостью, или только позицией, удобной для начальствующего лица, которое, не видя зла, не может и помогать переносить его. <...> Она не была проницательна от природы, и этот недостаток еще усиливался от господствующей в то время методы замалчивать или смягчать пред распекающим за все начальством темные стороны всякого дела» (С. 11—12, 21).

[14] Под псевдонимом Оленкина выведена воспитанница и компаньонка Леонтьевой — приемная (а скорее всего внебрачная) дочь ее институтской подруги Олимпиады Петровны Шишкиной — Анастасия Петровна Алонкина (1809—1885), которая жила у Леонтьевой с 1854 г.

[15] Имеется в виду отдельно стоящий в институтской столовой стол, обедать за которым сажали в виде наказания.

[16] *Гарусный капор* — шапочка с оборкой вокруг лица, вязанная из крученой шерсти; *камлотовый салопчик* — широкое пальто из камлота.

[17] *Мостки* — деревянный настил, тротуар.

[18] Врачей в описываемое время в Смольном было несколько: старший врач — действительный статский советник Иван Иванович Ниман, младший врач — статский советник Август Андреевич Зандер; штатный врач — Сергей Михайлович Ганшеев.

[19] Температура в институте измерялась по Реомюру. По Цельсию —11—12°.

[20] При Водовозовой рукавчики и пелеринки полагалось снимать во время уроков; после реформы 1860-х годов этот обычай был отменен.

[21] *Нюта* — Анна Николаевна Савельева, урожд. Цевловская (ок. 1835 — ?), *Шура* (Саша) — Александра Николаевна Цевловская (ок. 1836 — ?), с 1861 г. помощница начальницы Мариинского женского училища в Смоленске.

[22] Дочь А.К. Сент-Илер — Аделаида Карловна Сент-Илер, выпускница педагогического класса Александровского института в 1857 г. (см.: *Захарченко М.М.* Исторический очерк педагогических классов С.-Петербургского Александровского института: 1848—1898. СПб., 1898. С. 96).

[23] *Табурет* — здесь: соединение прикроватной тумбочки и сиденья.

[24] Вдовьи дома были учреждены в 1803 г. при Московском и Петербургском Воспитательных домах для призрения неимущих, увечных и престарелых вдов государственных чиновников; в 1828 г. выделены в самостоятельные учрежде-

ния Ведомства императрицы Марии. У Е.Н. Водовозовой речь идет о Вдовьем доме при Смольном монастыре, основанном в 1808 г.

[25] *Книксен* — приседание, короткий реверанс.

[26] В Смольном институте, как и в большинстве других учебных заведений России, использовалась двенадцатибалльная шкала оценки знаний: «1 и 2 — худо, 3 и 4 — слабо, 5 и 6 — посредственно, 7 и 8 — хорошо, 9 и 10 — очень хорошо, 11 и 12 — отлично. Первая ученица, имея 12 по всем предметам, получала шифр, вторая — золотую медаль, третья — большую серебряную, следующая — мелкую серебряную, далее шли книги» (*Р.Ф.* Воспоминания институтки 60-х годов // Рус. старина. 1909. № 9. С. 483—484).

[27] То есть ученицы «кофейного», младшего класса.

[28] По свидетельству Л.Ф. Гиргас, Таврический сад в это время еще не был открыт для публики. «Обыкновенно для этой partie de plaisir (увеселительной прогулки. — *фр.*) выбирался хороший день и с утра отсылали во дворец [Таврический] лакомства для детей. После раннего обеда длинные вереницы девиц (младшие классы впереди) тянулись в строгом порядке под присмотром классных дам вдоль нынешней Тверской улицы по направлению к саду. Посреди улицы медленно шел швейцар с булавой и в парадной красной ливрее с гербами; шествие замыкалось служителями и служанками, необходимыми для услуги в саду. После всех выходила Марья Павловна [Леонтьева] и вместе с инспектрисой и дежурной пепиньеркой садилась в карету, которая, обогнав детей, привозила начальницу в сад, где она и встречала воспитанниц. На одной из лужаек ставились стулья для начальства, а девицы гуляли, танцевали на скошенном лугу, играли, ни на минуту не забывая, однако, что кроме наблюдающих за их поведением воспитательниц, из окна дворца "на нынешнюю молодежь" смотрят почтенные отставные фрейлины, которых может побеспокоить слишком громкий говор или смех. К вечернему чаю или ужину все возвращались домой» (*Гиргас Л.Ф.* Указ. соч. С. 29).

[29] *Антраша* — прыжок на двух ногах, во время которого ноги, разойдясь несколько раз, быстро скрещиваются. *Пируэт* — круговой поворот тела на носке.

[30] «восхитительная», «прелестная», «божественная», «небесная» (*фр.*).

[31] Положению гувернанток Водовозова посвятила специальную статью «Что мешает женщине быть самостоятельною» (Библиотека для чтения. 1863. № 9).

[32] «Извольте терпеть, когда вас наказывают, извольте терпеть!» (*фр.*)

[33] *Дядя* Водовозовой — Иван Степанович Гонецкий (1810—1887), старший брат матери, генерал-адъютант. Отличился при подавлении Польского восстания 1863 г. См.: *Корнилов И.П.* Воспоминание о польском мятеже 1863 года в Северо-западном крае (по рассказам генерал-адъютанта И.С. Гонецкого) // Рус. архив. 1899. № 7.

[34] *Младший брат* Водовозовой — Захар Николаевич Цевловский (ок. 1839 — ?).

[35] *Дворянский полк* был учрежден в 1807 г. при 2-м Петербургском кадетском корпусе как Волонтерный корпус для молодых дворян от 16 лет и выше, не

желающих поступать на службу прямо в полк унтер-офицерами. Обучение в новом учебном заведении давало элементарное военное образование и при выпуске — сразу офицерский чин. В 1852 г. в Дворянский полк стали помещать воспитанников других корпусов, которые по молодости не могли быть выпущены в офицеры. В 1855 г. Дворянский полк был переименован в Константиновский кадетский корпус, а в 1859 г. — в Константиновское военное училище.

[36] Старший брат Водовозовой — Андрей Николаевич Цевловский (ок. 1834 — ?) окончил в 1850 г. Полоцкий корпус; затем учился в Дворянском полку, с 1853 г. служил в 3-м Финляндском батальоне.

[37] *Старов* Николай Дмитриевич — преподаватель словесности в Смольном институте в 1851—1860 гг., известный педагог. Среди учеников Старова были историк В.И. Семевский (второй муж Водовозовой), художница и мемуаристка Е.Ф. Юнге и др. См. о нем: *Юнге Е.Ф.* Воспоминания (1843—1860). М., 1914. С. 146—147.

[38] А.Н. Цевловская, взяв место гувернантки, была вынуждена бежать из помещичьего дома, спасаясь от приставаний хозяина. См. об этом: *Водовозова-Е.Н.* На заре жизни. М., 1987. Т. 1. С. 283—284.

[39] Этот эпизод был использован В.И. Водовозовым в его очерке «Секретные воспоминания пансионерки» (Отечественные записки. 1863. № 3. С. 228—230).

[40] нахальной особы (*фр.*).

[41] *Ушинский* Константин Дмитриевич (1824—1870) — педагог, служил инспектором классов Смольного института с февраля 1859 г. до лета 1862 г.

[42] *Фонтанель* — искусственно вызванное нагноение: глубокий надрез на коже, куда закладывали горошину, кусок марли и т.п. Мобилизуя защитные средства организма, фонтанель способствовал быстрому выздоровлению. Считался также хорошим профилактическим средством при эпидемиях.

[43] *Царские дни* — дни коронования царствующего императора, а также дни рождения императора, императрицы и наследника.

[44] Судя по сохранившемуся конспекту уроков домоводства одной из смолянок, относящемуся к началу XX в., с течением времени многие из недостатков, перечисленных Водовозовой, были устранены. Институткам сообщали не только способы приготовления блюд, но и сведения по качеству, сезонности и ценам продуктов. Например: «Парное мясо на второй день убоя цвета спелой малины. Оно не должно увлажнять руки, если до него дотронуться; если его положить на стол, не должно давать вокруг себя кровавого озерца и не должно давать истечения сока. Оно должно быть упруго, если нажать пальцем, ямка сейчас же заполнится. На обоняние — запах приятный, ароматичный. При варении и жарении мягкое. Оттаявшее мясо — признаки, противоположные парному мясу: цвет — красновато-коричневый, не упругое, мягкое, т.е. ямка, сделанная пальцем, не заполняется; если дотронуться рукой, она увлажняет-

ся; положить на стол — получается кровяное озерцо, если его подвесить, то будет капать. Под верхнею оболочкой лежит коричневая полоса. <...> Капуста бывает ранняя и осенняя. Ранняя — зеленая, горькая, кочаны неплотные, стоит 20—30 коп. маленький кочан. Надо ее ошпаривать кипятком, чтобы уничтожить горечь. Осенняя капуста — белая, кочны плотные. При покупке надо обращать внимание, чтобы кочерыжка не была бы очень толстой, чтобы кочан был плотный, чтобы не было слизняков и чтобы снаружи кочан не был бы объеден. Самый дешевый сезон — это август, стоит 1—0,5 коп. фунт» и т.д. (Уроки домоводства в Смольном институте: Учебные конспекты смолянки. М., 1995. С. 23—24, 54).

[45] *Годовые праздники* — двунадесятые праздники (12 важнейших православных праздников — Рождество, Крещение, Сретение, Пасха и др.).

[46] См. примеч. 25 к воспоминаниям А.Н. Энгельгардт.

[47] Выражение «кисейные барышни» впервые употребил в повести «Мещанское счастье» (1861) Н.Г. Помяловский: «Кисейная девушка!.. Ведь жалко смотреть на подобных девушек — поразительная неразвитость и пустота!.. Читали они Марлинского, пожалуй, и Пушкина читали; поют "Всех цветочков боле розу я любила" да "Стонет сизый голубочек"; вечно мечтают, вечно играют... Легкие, бойкие девушки, любят сентиментальничать, нарочно картавить, хохотать и кушать гостинцы... И сколько у нас этих бедных кисейных созданий!» (*Помяловский Н.Г.* Мещанское счастье // Помяловский Н.Г. Сочинения. Л., 1980. С. 103—104). Происхождение выражения — от названия легкой полупрозрачной хлопчатобумажной ткани, кисеи, широко распространенной в обиходе с 1810-х гг. и считавшейся наиболее пригодной для платьев молодых девиц. См. также: *Кирсанова Р.М.* Костюм в русской художественной культуре XVIII — 1-й половины XX в.: Опыт энциклопедии. М., 1995. С. 126—127.

[48] *Мазурка* — бальный танец польского происхождения; быстрый, с прыжками, притоптываньем и прищелкиванием каблуками, с эффектным мужским соло. Некоторые из фигур мазурки предусматривали возможность выбора партнера из двух кавалеров (или дам), в чем усматривали проявление особой благосклонности или даже влюбленности. Очевидно, что здесь исток того представления институток, о котором пишет Водовозова.

[49] «Кормящая мать» (*лат.*) — уважительное наименование учащимися своего учебного заведения.

[50] Фрагменты из дневников и стихотворений институток, сохранившихся у Водовозовой, легли в основу очерка В.И. Водовозова «Секретные воспоминания пансионерки» (Отечественные записки. 1863. № 8).

[51] См. настоящее издание, с. 117.

[52] Подобное «обожание» членов императорской семьи культивировалось во всех столичных институтах и до известной степени инициировалось начальством. В мемуарах М.Ф. Каменской описывается, как начальница Патриотического

института собственноручно «искрошила на мелкие кусочки... и раздала "на память" всем девицам» турецкую шаль, подаренную одной из воспитанниц императрицей Елизаветой Алексеевной (*Каменская М.Ф.* Воспоминания. М., 1991. С. 67). В. Гарулли вспоминала: «Один из приездов Государя (Александра II) ознаменовался тем, что одна из мовешек моего класса тайно вытащила из кармана Государя носовой платок, который по его удалении был разрезан на маленькие кусочки, из которых один сохранился у меня на память. Этот платок был из тончайшего батиста с роскошным вензелем, вышитым гладью. Вензель достался виновнице похищения». В другой раз институтки остригли любимую собаку Александра II — Милорда и вырезали в нескольких местах дорогой мех от царской шубы (*Гарулли В.* Институтские воспоминания и стихотворения. Нежин, 1901. С. 12—13).

[53] Цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Дума».

[54] *Учреждения императрицы Марии* (Ведомство учреждений императрицы Марии) — высший государственный орган управления женскими учебными заведениями и благотворительными заведениями, находившимися под покровительством императрицы и других представительниц императорской фамилии. Ведомство было основано в 1828 г. как IV отделение собственной е.и.в. канцелярии, получило свое название (в 1854 г.) в честь императрицы Марии Федоровны.

[55] *Маркус* Михаил Антонович (1789—1865); о его докладе см. ниже, примеч. 96.

[56] фи (*фр.*).

[57] Скорее всего, речь идет о Карле Андреевиче Беккере, преподававшем немецкий язык в Смольном с 1848 г.

[58] с листа (*фр.*).

[59] Воспитанница, скрытая под псевдонимом Ивановская, была выведена Водовозовой в мемуарной повести «К свету» (впервые: Голос минувшего. 1916. № 4—8; см. также: *Водовозова Е.Н.* На заре жизни: Мемуарные очерки и портреты. М., 1987. Т. 2. С. 241—357).

[60] после совершившегося (*лат.*).

[61] *Соболевский* Дмитрий Петрович — выпускник Киевской духовной академии; преподаватель русской словесности в Смольном в 1851—1860 гг.

[62] Строка из поэмы А.Ф. Вельтмана «Муромские леса» (1831; в оригинале: «Что отуманилась, зоренька ясная»). Фрагмент поэмы с этой строкой («Песня разбойников») был положен на музыку А.Е. Варламовым и со временем сделался народной песней.

[63] Гастроли американского чернокожего актера-трагика Айры Олдриджа (1805—1867) впервые проходили в России в 1858 г. По свидетельству Юнге (ученицы Н. Старова), «после спектакля все поехали в гостиницу, где он (Ол-

дридж) остановился. Старов поцеловал ему руки, его благородные черные руки» (*Юнге Е.Ф.* Указ. соч. С. 107).

[64] *Зонтаг* Анна Петровна (урожд. Юшкова; 1786—1864) — детская писательница, автор нравоучительных повестей и сказок.

[65] Под этим названием печаталось тогда стихотворение А.С. Пушкина «Поэт и толпа».

[66] *Водовозов* Василий Иванович (1825—1886) — преподаватель русского языка и словесности в Смольном институте в 1860—1862 гг.; детский писатель, переводчик; первый муж мемуаристки.

[67] 16 мая 1859 г. К.Д. Ушинский представил в совет Воспитательного общества «Проект некоторых преобразований в распределении классов Воспитательного общества благородных девиц и С.-Петербургского Александровского училища». 27 февраля 1860 г. проект был утвержден императрицей Марией Александровной, возглавлявшей совет, и с апреля началось преподавание по новой системе. Текст «Проекта» см.: *Ушинский К.Д.* Полн. собр. соч.: В 11 т. М.; Л., 1948. Т. 2. С. 265—274.

[68] Ушинский служил в Гатчинском сиротском институте в 1855—1859 гг., сначала преподавателем, а с 1856 г. инспектором.

[69] Этот класс официально назывался теоретически-специальным или дополнительным. Уже в 1861 г. была введена новая программа обучения, рассчитанная на семь лет, при которой 7-й класс сделался младшим, а 1-й выпускным.

[70] Журнал «для девиц» «Рассвет», издававшийся в Петербурге В.А. Кремпиным в 1859—1862 гг., имел просветительский характер, он проводил также идею женской эмансипации. В нем сотрудничали: Н.К. Михайловский, В.И. Водовозов, М.И. Семевский, Д.И. Писарев, Марко Вовчок и др.

[71] См.: *Павский Г.П.* Филологические наблюдения над составом русского языка (Рассуждения 1—3). СПб., 1841—1842 (2-е изд.: Т. 1—4. СПб., 1850). Труд Герасима Петровича Павского (1787—1863), удостоенный Демидовской премии Академии наук, явился «целой эпохой в истории русских грамматических исследований» (*Виноградов В.В.* История русских лингвистических учений. М., 1978. С. 298).

[72] Строка из вступления к «Евгению Онегину» А.С. Пушкина.

[73] Экзархом (главой православной церкви) Грузии в 1858—1866 гг. был Евсевий (Ильинский), позднее архиепископ Тверской и Кашинский.

[74] *Редкин* Петр Григорьевич (1808—1891) — профессор юридического факультета Московского университета в 1835—1848 гг.

[75] *Демидовский лицей* — высшее учебное заведение в Ярославле (основанное в 1803 г. Н.Г. Демидовым, с 1870 г. — высшее юридическое учебное заведение). К.Д. Ушинский преподавал в Демидовском лицее в 1846—1848 гг.

[76] Речь идет о последнем периоде царствования Николая I, «мрачном семилетии» 1848—1855 гг., когда из-за революционных событий в Европе русское правительство прибегло к целому ряду репрессивно-стеснительных мер в сфере образования и печати. См.: *Нифонтов А.С.* Россия в 1848 году. М., 1949.

[77] Ушинский оставил Демидовский лицей не в 1850-м, а в 1849 г., и не по собственному желанию, а по указанию начальства (см.: *Зажурило В.К.* Ушинский в Петербурге. Л., 1979. С. 19—20)

[78] Ушинский опубликовал в «Современнике» очерк «Поездка за Волхов» (1852. № 9) и ряд компилятивных статей: «История одной французской эскадры» (1853. № 3); «Труды Уральской экспедиции» (1853. № 8—10); «Магазин землеведения и путешествий <...>» (1854. № 5—6); «Сведения о современном состоянии Европейской Турции» (1854. № 4—5, 7) и др. В «Библиотеке для чтения» появились его статьи: «Сейденгемский дворец» (1854. № 7, 8), «О преступности в Англии и Франции» (1854. № 10) и др.

[79] Речь идет об издании: *Милль Дж.С.* Основания политической экономии / Пер. и примеч. Н.Г. Чернышевского. СПб., 1860. О возможной причастности к этому изданию Ушинского сообщал его секретарь, биограф Фролков (см.: *Фролков А.Ф.* К.Д. Ушинский: Краткий биографический очерк. СПб., 1881. С. 20).

[80] См.: *Ушинский К.Д.* Детский мир и Хрестоматия. Книга для классного чтения, приспособленная к постепенным умственным упражнениям и наглядному знакомству с предметами природы. СПб., 1861; книга многократно переиздавалась. Современное издание: *Ушинский К.Д.* Педагогические сочинения: В 6 т. М., 1989. Т. 3. С. 22—457.

[81] В результате реформ 1860-х годов в Смольном и других женских институтах была установлена семилетняя программа обучения (седьмой класс был самым младшим) с ежегодным переводом из класса в класс, а также введена единообразная программа и учреждены специальные педагогические классы (см.: *Ушинский К.Д.* Программа педагогики для специальных классов женских учебных заведений // Памяти Ушинского. СПб., 1896. С. 135—150). Воспитанницам разрешили ежегодные праздничные и летние отпуска. Все предметы, за исключением иностранных языков, стали преподаваться на русском языке. В провинциальных институтах был расширен социальный состав воспитанниц — во многие институты стали принимать купеческих дочерей, а в Восточно-Сибирский институт (Иркутск) — выходцев из всех свободных сословий. Подробнее см.: *Лихачева Е.* Материалы для истории женского образования в России. 1856—1880. СПб., 1901. С. 290—295.

[82] Включение физики в число преподаваемых в Смольном институте дисциплин было сочтено необходимым еще Екатериной II (одна из смолянок, Е.И. Молчанова, была написана Д.Г. Левицким на фоне физического кабинета), но изучали ее в очень ограниченных масштабах и в основном на Никола-

евской половине. Преподавание естественных наук долгое время исключалось из ханжеских соображений. «Уроки ботаники и физиологии смущали Марию Павловну (Леонтьеву), пока она не побывала в классе нового преподавателя Я.П. Пугачевского, который показал ей, что можно учить девиц ботанике, не употребляя пугавших ее терминов» (*Гиргас Л.Ф.* Статс-дама М.П. Леонтьева. Киев, 1895. С. 48).

[83] Л.Ф. Гиргас вспоминала: «При тогдашнем (дореформенном) состоянии учебного дела роль учителя ограничивалась спрашиванием уроков, причем выставлялись отметки с указанием того, что нужно выучить к следующему разу, а обязанность объяснить непонятное для детей <...>, спросить выученное, заставить решить задачу <...> падала на классных дам, которые справлялись с этим трудным делом, как умели, в каждую свободную минуту. Ученицы играли при этом пассивную роль: так как учителя редко что-нибудь объясняли и рассказывали, то девицам слушать было нечего, кроме монотонных ответов подруг, и они сидели в классе прямо, не шевелясь, как статуи, думая только о том, чтобы строгая классная дама не наказала за "manque de tenue" (неумение держаться — *фр.*). «При новых порядках <...> ученицы усваивали без чужой помощи, т.к. учителя умели заинтересовать их уроками; ученицам хотелось показать инспектору и его друзьям-учителям, что они понимают свою пользу и способны работать без наказания» (*Гиргас Л.Ф.* Указ. соч. С. 12, 13).

[84] Постепенное изменение программы по основным предметам — русскому языку и словесности, истории и т.д. — началось в учебных заведениях с 1848 г. (первоначально в ведомстве военно-учебных заведений) по инициативе великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II) и продолжалось до конца 1860-х гг. К составлению новых программ были привлечены многие видные ученые и педагоги, в том числе Т.Н. Грановский, И.И. Введенский, Ф.И. Буслаев, А.Д. Галахов и др. Подробнее см.: Т.Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 1. С. 227—231; *Буслаев Ф.И.* Мои воспоминания. М., 1897. С. 327—330; *Галахов А.Д.* Записки человека. М., 1999. С. 290—299.

[85] *Косинский* Михаил Осипович (1839—1883) — барон, преподаватель математики в Смольном институте в 1861—1869 гг.

[86] *Пугачевский* Яков Павлович (1818—1896) — преподаватель естествознания и физики в Смольном институте в 1860—1872 гг. Д.Д. Семенов вспоминал: «Из Гатчины он (Ушинский) вызвал талантливого учителя физики Я.П. Пугачевского; тот долго упирался, не хотел покинуть любимой Гатчины, давно насиженного места, любивших его учеников. "Что я буду делать с девчонками; я не привык к ним; глупые, они не поймут меня", — твердил бедный Яков Павлович. Но красноречие Ушинского сломило и упорного Я.П., и он сделался любимцем всех институток» (*Семенов Д.Д.* Деятельность К.Д. Ушинского в

Смольном институте. По личным воспоминаниям автора // Памяти К.Д. Ушинского. СПб., 1896. С. 93). *Раевский* Николай Иванович (1835—1898) — преподаватель естествознания в Смольном в 1860—1867 гг., позднее директор реальных училищ в Пскове и Петербурге, учительских институтов в Оренбурге и Москве; автор ряда учебников по географии, зоологии, ботанике и минералогии. *Семевский* Михаил Иванович (1837—1892) — историк, преподаватель истории в Смольном в 1861—1862 гг., редактор и издатель журнала «Русская старина» с 1877 г. до конца жизни. *Семенов* Дмитрий Дмитриевич (1834—1902) — преподаватель географии в Смольном институте в 1860—1865 гг. *Модзалевский* Лев Николаевич (1837—1896) — филолог, преподаватель русского языка и педагогики в Смольном в 1861—1862 гг., наставник-наблюдатель детей великого князя Михаила Николаевича. *Миллер* Орест Федорович (1833—1889) — историк русской литературы, фольклорист, преподаватель русской словесности в Смольном в 1861—1862 гг., профессор Петербургского университета в 1870—1887 гг. *Дестунис* Гавриил Спиридонович (1818—1895) — преподаватель истории в Смольном институте в 1861—1865 гг., с 1867 г. профессор греческой словесности Петербургского университета.

[87] *Головин* Василий Васильевич (1835—1871) — священник, магистр богословия, законоучитель Александровской половины Смольного института в 1860—1870 гг. *Академист* — выпускник Духовной академии.

[88] *Журфиксы* (от *фр.* jour fixe — определенный день) — приемы по определенным дням недели. О «четвергах» у Ушинского вспоминал Д.Д. Семенов: «В карты мы не играли, поздних ужинов тоже не было, — Ушинский был враг всяких излишеств, — а за чашкой чая толковали и спорили о новостях тогдашней литературы, о современных государственных реформах, одушевляющим образом действовавших особенно на хозяина, да и на всех его гостей; но больше всего говорили, конечно, о смолянских делах, о программах, методах, о разных педагогических вопросах и системах, которыми в то время интересовалось вообще все образованное русское общество» (*Семенов Д.Д.* Указ. соч. С. 99).

[89] Л.Ф. Гиргас вспоминала: «Появление инспектора и новых учителей, их преподавание, а главное, их общение с ученицами, не начальническое, а дружеское, произвело на воспитанниц, не избалованных вниманием взрослых, такое впечатление, как будто в темном и душном помещении вдруг отворили наглухо запертые окна и впустили туда широкую струю света и воздуха; заключенные зашевелились и заговорили не по правилам, а как кому вздумалось и радовались своей свободе. Но когда они увидели, что инспектор, обращаясь к их уму и совести и всячески стараясь возбудить в них самолюбие, строго преследует лень и небрежность, то поняли, что за свет и воздух нужно пожертвовать покоем. Тогда способные и деятельные ученицы с радостью принялись читать и работать (инспектор наполнил библиотеку и выписал «Рассвет»), а слабые и ленивые, продолжая кое-как схватывать слова и фразы из каждого

урока, старались по возможности скрыться от глаз инспектора, чтобы неумение их справиться с делом не было видно» (*Гиреас Л.Ф.* Указ. соч. С. 49).

[90] *Капелла* — католическая часовня.

[91] *Тороватый* (тароватый) — щедрый.

[92] Ср.: «За эти полтора года, проведенные нами в институте после реформы Ушинского, мечты и стремления институток совершенно изменились. Никто из нас не мечтал более о балах, о выездах, об эффекте, произведенном роскошью туалета и легкостью танца, — теперь все хотели работать, все мечтали о серьезных занятиях, даже девушки, совершенно обеспеченные в материальном отношении» (*Титова Н.* [Водовозова Е.Н.] К.Д. Ушинский и В.И. Водовозов. Из воспоминаний институтки // Рус. старина. 1887. № 2. С. 485—491).

[93] «Манифест об отмене крепостного права» и «Положение 19 февраля 1861 г. о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» были опубликованы в столичных газетах 5 марта 1861 г.

[94] На отмену крепостного права Ушинский откликнулся статьей «Вопрос о народных школах» (Сын Отечества. 1861. № 8), где указывал на необходимость «устройства народных школ в селах и деревнях» как на насущнейший «государственный вопрос».

[95] О необходимости преобразования женских учебных заведений в сторону их большей открытости и приближения к жизни постоянно говорилось во второй половине 1850-х — начале 1860-х гг. в многочисленных официальных записках, статьях в периодике (прежде всего в «Русском педагогическом вестнике» и «Журнале Министерства народного просвещения») и т.п. Подробнее см.: *Лихачева Е.* Материалы для истории женского образования в России. 1856—1880. СПб., 1901. С. 1—41. В записке одного из членов Тамбовского институтского совета от начала 1860-х гг. можно было прочесть следующее: «...при институтском воспитании не всегда имеется в виду возвысить в глазах девицы собственное ее назначение, облагородить ее стремления указанием высшего идеала, представительницей которого суждено ей сделаться, вообще расширить ту узкую сферу, в которой простая жизненная практика хочет вместить назначение женщины». Классные дамы, — указывалось в записке, — по большей части сами бывшие институтки. «Действительная жизнь с ее назначением, условиями и правилами представляется для них неизменною и не прежде, как через призму институтской рутины. Эта рутина, дополненная собственным отвлеченным положением, передается ими следующему молодому поколению. В направлении, передаваемом воспитанницам классными дамами, очень мало живительных начал; в собственном развитии и образовании немногие классные дамы идут впереди <...> остается одно формальное отправление своих обязанностей, в чем они и достигают крайностей. Анализ душевных сил воспитанницы, умение определить ее направление и вообще психическая сторона воспитания — едва ли даже бывает для них предметом серьезного рассмотрения. Напротив, особен-

ности характера, каковы бы они ни были, тщательно изглаживаются и все подводится под один никого не беспокоящий уровень». Отношения классных дам и учителей враждебны, «как будто опасаются нравственного влияния наставника и он там (в институте) имеет лишь официальное положение. Оживленная беседа во время урока считается неприличною, и поэтому уроки идут вяло, безжизненно, с вечным опасением встретить подозрительный взгляд классной дамы. В учителе видят не наставника, а только мужчину».

О новеньких институтках автор записки писал: «Никого не занимает ее тоска по родным, новые знакомства, игры, беседы. Она стремится чем-нибудь наполнить свою душу, а со всех сторон ей слышатся замечания о приличной выдержке, которая на всяком шагу охлаждает детскую резвость. Искренность, беззаботность и детское веселие мало-помалу оставляют девочку. Рождается недоверие, привычка скрывать свои мысли и желание искать удовольствий никем не подмеченных. Отсюда непостижимое для многих стремление к уединенности, к употреблению в пищу мыла, грифелей, бумаги и т.п., тайное обожание и явное нервное расстройство». «Не привыкши делиться своими мыслями с воспитательницами и наставниками, институтка вырабатывает мало-помалу свой особенный, фантастический взгляд на жизнь, резко противоположный действительности. Домашняя семейная обстановка забывается, и взамен является новый мир, полный роскоши, блеска и населенный сказочными героями. Rêve de la fortune (грезы о богатстве — *фр.*) — общее последствие и неотъемлемая принадлежность институтской замкнутости. В умственном отношении она ведет к односторонности, в нравственном — к исключительности и даже эгоизму, в физическом — к раннему расстройству физических сил, в житейском — к недовольству окружающей действительностью» (цит. по: *Лихачева Е.* Указ. соч. С. 307, 308).

[96] Речь идет главным образом об отчете лейб-медика М.А. Маркуса, инспектора по медицинской части петербургских учреждений Ведомства императрицы Марии, представленном в 1859 г. Александру II. «В отчете Маркуса между прочим говорилось, что хотя по первому взгляду здоровье воспитанниц женских учебных заведений довольно удовлетворительно, но при более внимательном наблюдении оказывается, что между считающимися здоровыми воспитанницами есть такие, которые "одержимы болезненным расположением, свойственным женскому полу в возрасте развития". Причину такого расположения Маркус объяснял оскудением крови и недостаточным питанием. Он допускал, что некоторые воспитанницы уже приносят с собою в заведение такое болезненное расположение, но у других оно развивается в самом заведении вследствие местоположения и устройства некоторых из них, сидячей жизни воспитанниц, недостаточного движения их на воздухе, дурного воздуха в спальнях, недостатка питательной мясной пищи. Как на причину замеченных Маркусом

случаев искривления позвоночного столба у некоторых воспитанниц, он указал на продолжительное сидение в согнутом положении тела при вышивании на канве и переписывании тетрадей. Лучшим средством для укрепления сил воспитанниц Маркус признавал отпуски их на летние вакации домой, в деревню, к родителям и родственникам. "Не говоря уже о полезном во многих отношениях, — писал он, — влиянии домашнего крова, где воспитанницы свыкаются с семейною и общественною жизнью, от этого может составиться экономия, которая позволит улучшить их содержание вообще, и в особенности улучшенное питание для нуждающихся в оном"» (*Лихачева Е.* Указ. соч. С. 293).

[97] С конца 1850-х гг. возникло широкое движение интеллигенции за открытие воскресных народных школ, предназначенных бороться с неграмотностью. К 1862 г. насчитывалось до 300 воскресных школ, получивших официальный статус. Некоторые из них использовались преподавателями для ведения антиправительственной пропаганды. Обнаружение подобных фактов в двух петербургских школах (вследствие чего было арестовано около 50 преподавателей и учащихся и часть их предана суду) привело к временному закрытию всех воскресных школ высочайшим повелением от 9 и 10 июня 1862 г. См.: Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1865. Т. 3. 1855—1864. С. 757—758. В 1864 г. они были вновь открыты при церковно-приходских училищах и духовных семинариях.

[98] На бесцеремонное поведение «молодых преподавателей» как на одну из причин возникшего конфликта указывала и Л.Ф. Гиргас (см.: *Гиргас Л.Ф.* Указ. соч. С. 54—56).

[99] Гиргас отмечала также недовольство классных дам намерением Ушинского свести их деятельность только к присмотру за воспитанием, а обучение предоставить преподавателям и инспектору (см.: *Гиргас Л.Ф.* Указ. соч. С. 50—51).

[100] В Смольном с дореформенного времени оставались преподаватели В.Ф. Буссе (математика), Н.М. Тимаев (история), А.Ф. Бодров (история и география), Л.Ф. Фрей, Ж.Б. Сюзор и Ж.А. Бюо (французский язык), К.А. Горбунов (рисование).

[101] Строки из переведенного М.Л. Михайловым стихотворения Г. Гейне «Брось свои иносказанья...» (впервые: Современник. 1858. № 3). Стихотворение вошло в сборник «Песни Гейне» (СПб., 1858).

[102] Вольная цитата из XXVIII главы «Евгения Онегина» А.С. Пушкина.

[103] *Мордвинова* Зинаида Евграфовна (урожд. Золотилова; по первому мужу — Каблукова) — историк педагогики, жена тайного советника Н.Л. Мордвинова.

[104] *Делянов* Иван Давыдович (1818—1897) — граф (1888); попечитель Петербургского учебного округа в 1858—1866 гг., товарищ министра народного просвещения в 1866—1874 гг., с 1882 г. министр народного просвещения.

[105] Другой биограф М.П. Леонтьевой, Гиргас, писала: «Мирное течение жизни было нарушено преобразованием института, принятым начальницей,

может быть, скрепя сердце, как желанное улучшение, от которого и она ожидала блестящих результатов; но когда она увидела, что влияние реформатора на ее воспитанниц грозит пересилить ее собственное, то вооружилась всеми силами против нарушителя дорогого ей строя жизни» (*Гиргас Л.Ф.* Указ. соч. С. 19). Тем не менее поначалу отношения Леонтьевой и Ушинского были хорошими. Начальница неизменно одобрительно отзывалась об инспекторе, заботилась о его здоровье. «От внимания учениц не ускользнуло и то, как начальница подавала Ушинскому спирт или одеколон, заметив, что у него болит голова. Со своей стороны он был очень доволен тем, что грозная начальница, о деспотизме которой ему, конечно, насказали много анекдотов еще до поступления его в Смольный, выказывает столько предупредительности, и, стараясь поддержать хорошие отношения с ней, не делал ничего без ее совета <...> Хорошие отношения между начальницей и инспектором продолжались до тех пор, пока не пришлось проводить составленный им проект в исполнение» (Там же. С. 45—47).

[106] Членами совета в описываемое время были: по учебной части — А.С. Норов, Н.А. Муханов, князь А.В. Мещерский; по хозяйственной части — принц П.Г. Ольденбургский, Д.Б. Броневский, граф А.М. Борх, барон Б.А. Фредерикс.

[107] Имеется в виду сын писателя и журналиста Николая Алексеевича Полевого (1796—1846) Владимир Николаевич Полевой, окончивший Петербургский университет. С мая по октябрь 1858 г. он занимал должность инспектора классов Смольного института.

[108] Главной причиной отставки Ушинского был донос, написанный на него институтским священником В.В. Гречулевичем. В прошении от 22 марта 1862 г. Ушинский писал: «...Обвиняют меня также в том, что когда-то и кому-то я говорил, что всегда предпочту преподавателя-атеиста, но человека честного и правдивого, ханже и фарисею. Не помню, так ли и кому это говорил, но это действительно мое мнение» (*Ушинский К.Д.* Полн. собр. соч.: В 11 т. М.; Л., 1952. Т. 11. С. 323). Ср. в воспоминаниях Семенова: «Упрекнуть К.Д. можно было разве в его болезненной раздражительности, в горячности и прямоте характера, в неумении идти к цели окольными путями, в нежелании подлаживаться и заискивать расположения своих врагов. Но с полным убеждением, как его самый близкий друг, я могу засвидетельствовать, что Ушинский был искренно преданный правительству человек, глубоко религиозный и честнейший гражданин. Императрица Мария Александровна знала это и не смутилась взять К.Д. под свое покровительство и в его несчастии. По ее воле Ушинский был прикомандирован к Учебному Комитету IV Отделения Соб. Е.И.В. канцелярии с сохранением полного содержания; сверх того, ему дана была продолжительная командировка за границу, с целью поправления совершенно расстроенного

здоровья, осмотра заграничных женских учебных заведений и составления учебника педагогики для специальных классов» (*Семенов Д.Д.* Указ. соч. С. 103).

[109] По рассказу Гиргас, «в день раздачи наград выпускному классу, воспользовавшись присутствием императрицы Марии Александровны, инспектор доложил государыне при воспитанницах обоих заведений <...>, что Ее Превосходительство своим постоянным противодействием всем его намерениям мешала ему исполнять Высочайше возложенное на него поручение, вследствие чего он принужден отказаться от своей должности <...> Классные дамы и инспектрисы, окружив барона Фредерикса, оправдывали начальницу, обвинив Ушинского в резкости и неуважении к ним, подрывающих авторитет их перед детьми» (*Гиргас Л.Ф.* Указ. соч. С. 56—57). Инцидент дорого дался обоим участникам: у Ушинского усилилось кровохарканье, заставившее его летом 1862 г. уехать на лечение в Швейцарию; у семидесятилетней Леонтьевой случился нервный срыв. Уже после отставки Ушинского Леонтьева отзывалась о нем как об «умном, но гордом человеке» (Там же. С. 57).

[110] Прошение Ушинского об отставке по состоянию здоровья в совет Воспитательного общества от 22 марта 1862 г. см.: *Ушинский К.Д.* Полн. собр. соч.: В 11 т. М.; Л., 1952. Т. 11. С. 326—327. Вместе с ним институт покинули М.И. Семевский, В.И. Водовозов, О.Ф. Миллер и Л.Н. Модзалевский. Водовозов писал Е.В. Цевловской, тогда уже его невесте: «В нашем институте поднялась целая гидра сплетен. Ушинский выходит в отставку вследствие доноса Гречулевича; я тут тоже замешан <...> Оставить институт мне небольшая потеря: 40 руб. в месяц я могу выработать в два вечера. Жаль только оставить девочек <...> После моей истории уж вряд ли кто из порядочных людей решится поступить в институт! Они меня слезно умоляют остаться еще хоть на год, да вряд ли это исполнится». В другом письме: «Со Смольным вообще нам всем: и Михаилу Ивановичу (Семевскому), и мне <...> придется распрощаться. Там совершенное землетрясение: все повернулось вверх дном <...> Я был сегодня у Ушинского. Он истинно страдает, что все дело расстроилось. Можно себе представить, кто после нас пойдет преподавать в Смольном <...> Но нам, Лиза, теперь предстоит серьезная обязанность поддержать то доброе направление, которого мы желали. Твои подруги и друзья остались еще в Смольном и верно будут действовать. В нынешнем 1-м классе есть много хороших голов. Второй класс с каким-то безнадежным вниманием слушает мои лекции, и милые девочки шепчут: "Что же это, — Ушинский выходит, и вы уйдете, что это будет?" Право, так их жалко» (цит. по: *Семевский В.И.* В.И. Водовозов. СПб., 1888. С. 56).

[111] *Фалборочки* (от *фр.* falbala) — широкие оборки.

[112] Публичные лекции читались в Петербурге с конца 1861 до 8 марта 1862 г. в связи с закрытием осенью 1861 г. Петербургского университета из-за студенческих волнений. В числе лекторов, продолжавших в новой форме чтение

университетского курса, были Н.И. Костомаров, Д.И. Менделеев, Д.И. Сеченов, К.Д. Кавелин и др. Лекции историка Николая Ивановича *Костомарова* (1817—1885) вызвали большой интерес в обществе, часть их печаталась в периодической печати в виде статей. Протестуя против закрытия университета, студенты потребовали прекращения чтения публичных лекций, однако Костомаров не согласился с этим. 8 марта 1862 г. на его лекции произошла студенческая демонстрация, что положило конец публичным лекциям.

Т.Г. Морозова. В Институте благородных девиц

Морозова Татьяна Григорьевна (1904—1997) — дочь генерал-лейтенанта, участника Русско-японской войны, Первой мировой и Великой Отечественной войн Григория Федоровича Морозова (1872—1947). До революции училась в Харьковском институте благородных девиц; в 1921 г. окончила единую трудовую школу, поступила в Кубанский педагогический институт. В 1922 г. перешла на педагогический факультет 2-го МГУ (в дальнейшем Московский государственный филологический институт им. Ленина), где училась у Н.К. Пиксанова. По окончании работала в школах Москвы и Казахстана, в Уфимском пединституте. В 1945 г. защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Философская проблематика в творчестве В.Г. Короленко». В 1955—1957 гг. по направлению Министерства просвещения читала в Китае лекции по русской литературе. С 1966 по 1982 г. работала на кафедре русской литературы МГПИ. Автор более 50 работ по истории русской литературы, составитель сборника «В.Г. Короленко в воспоминаниях современников» (М., 1962).

Фрагменты воспоминаний Т.Г. Морозовой печатались в журнале «Новый мир» (1995. № 8). Целиком печатаются впервые, по рукописи (авторизованная машинопись), предоставленной автором для публикации издательству «Новое литературное обозрение».

[1] *Харьковский институт благородных девиц* был основан в 1812 г. первоначально как частное учреждение, содержащееся на счет харьковского дворянства. В 1818 г. перешел под Высочайшее покровительство императрицы Марии Федоровны; был отнесен к институтам 1-й категории.

[2] *Кохановская* Надежда Степановна (настоящая фамилия Соханская; 1823 или 1825 — 1884) — прозаик и драматург. См. о ней: Русские писатели. 1800—1917: Биогр. словарь. М., 1994. Т. 3. С. 112—113 (статья В.А. Викторовича). Воспоминания о Харьковском институте содержатся в «Автобиографии» Н.С. Кохановской (Рус. обозрение. 1896. № 6—12).

[3] Речь идет о подготовительном училище В.А. Платоновой в Харькове, находившемся в 1910-х гг. по адресу: Михайловский пер., д. 3.

[4] Муж В.А. Платоновой — психиатр Иван Яковлевич Платонов.

[5] Мать мемуаристки — Морозова Вера Павловна (урожд. Богданова; 1884—1947).

[6] Сестра мемуаристки — Морозова Наталья Григорьевна (1906—1989), психолог.

[7] Семилетний курс обучения, при котором 7-й класс был младшим, а 1-й выпускным, был введен в Харьковском институте в 1860 г.

[8] *Епитрахиль* — часть богослужебного облачения православного священника: широкая, украшенная изображениями крестов лента, перекинутая через шею и сшитая или застегнутая спереди. Во время исповеди священник накрывает епитрахилью голову кающегося.

[9] Зубкова Мария Францевна (урожд. Даньо) — преподавательница французского языка в Харьковском институте с 1905 г.

[10] перфект и плюсквамперфект (*фр.*) — видо-временные формы французских глаголов.

[11] Согласно введенной в 1853 г. 12-балльной системе оценок, 12 — высший балл, 7 — удовлетворительно, 6 — первая неудовлетворительная оценка.

[12] *Прюнелевые* — сделанные из прюнели: плотной хлопчатобумажной, шелковой или шерстяной ткани.

[13] *Зандкухен* — разновидность печенья. Готовилось оно следующим образом: тесто из муки, сахара, сливочного масла, лимонной цедры и желтков замораживалось и раскатывалось пластом толщиной в карандаш. Из теста вырезались кружочки печенья, которые смазывались белком, посыпались сверху шинкованным миндалем и запекались в печи (Уроки домоводства в Смольном институте: Учебные конспекты смолянки. М., 1995. С. 122—123).

[14] *Грома* Павел Степанович — протоиерей, законоучитель в Харьковском институте.

[15] То есть до следующего после Крещения (7 января) дня.

[16] Александра Петровна *Голохвастова* была начальницей Харьковского института в 1884—1900 гг.

[17] Тогда начальницей института была Ольга Александровна Уважнова.

[18] «Подравняйтесь...», «остановитесь» (*фр.*).

[19] «Мой дорогой Андре! Я плакала, читая ваше письмо...» (*фр.*).

[20] В.М. *Чапкина* служила в Харьковском институте с 1908 г.

[21] *Тальма* — женская пелерина длиной до пояса или чуть ниже, с воротником-стойкой. Названа по фамилии французского актера Ф. Тальма (1763—1826).

[22] *Анна Петровна* Альховская служила в Харьковском институте с 1881 г.

[23] В повести Марии Всеволодовны Крестовской (1862—1910) «Вне жизни» рассказывается о судьбе бывшей институтки-отличницы и всеобщей любимицы, которая превращается во вздорную, с тяжелым характером, разочарованную и озлобленную классную даму.

[24] Героиня рассказа А.И. Куприна «Наталья Давыдовна» (1896) — классная дама института благородных девиц, ведущая за его стенами жизнь куртизанки.

[25] Видимо, Валентина Викторовна Соханская.

[26] Речь идет об инспекторе Харьковского института с 1911 г., статском советнике Михаиле Петровиче Савинове.

[27] Комедия Виктора Александровича Крылова (1838—1906) «Девичий переполох» (1890) пользовалась в то время большим успехом у публики.

[28] Игра *в камешки* существовала в нескольких вариантах. Наиболее часто играли в пять камешков: четыре разбрасывали на земле, а пятый подбрасывали вверх. Пока он летел, игрок старался схватить последовательно в разных комбинациях (один, два, три и т.д.) лежащие на земле камешки и успеть поймать падающий. Подробнее см.: *Покровский Е.А.* Детские игры, преимущественно русские. СПб., 1994. С. 340—347.

[29] *Полонез* (польский) — танец-шествие, основу которого составляли два шага и небольшое приседание на третьем такте. *Полька* — бальный танец чешского происхождения, участники которого парами, вприпрыжку, все время кружась, двигались то вбок, то по кругу. *Падеспань* — танец, созданный в 1901 г. балетмейстером А. Царманом; включал элементы испанских народных танцев. *Падекатр* — бальный танец начала XX в., включающий в себя элементы вальса (исполнявшегося на 4/4) и движения, состоявшие из четырех скользящих шагов (что дало название танцу, буквально: «четыре шага»).

[30] Дед мемуаристки — Богданов Павел Николаевич (1854—1921), железнодорожный служащий.

[31] С.М. *Ганшеев* служил штатным врачом Харьковского института с 1915 г.

[32] Стихотворения «Сакья-Муни» (1886) и «Сумасшедший» (1890) в 1910-х гг. часто исполняли профессиональные чтецы-декламаторы. См.: *Шнейдер И.* Записки старого москвича. М., 1970. С. 95—96.

[33] *Дубровские*, *Троекуровы* — персонажи повести А.С. Пушкина «Дубровский»; *Муромские*, *Берестовы* — его же повести «Барышня-крестьянка»; *Манилов* — персонаж «Мертвых душ» Н.В. Гоголя.

[34] *Георгиевский крест* — обиходное наименование знака отличия военного ордена Св. Георгия; боевая награда для нижних чинов за личный подвиг. *Золотое оружие* — офицерская награда (сабля или шпага) за личный подвиг на поле боя. Имело позолоченный эфес и надпись «За храбрость». *Потомственное дворянство* приобреталось не только по рождению, но и по особому пожалованию императора, а также в результате получения в службе определенного чина или ордена.

[35] *Фельдфебель* — унтер-офицер в пехоте и артиллерии; заведовал хозяйственной и строевой частью.

[36] Имеется в виду *Клеопатра* (Калерия) *Петровна* Богачева.

[37] *Колосовский* Яков Михайлович — преподаватель математики в Харьковском институте с 1904 г.

[38] Ты знаешь ли мост без арки
И без алмазного венца,
Который над текучими водами
Воздвигает рука старика? (*нем.*).

[39] Имя и отчество Борткевич — Софья Юлиановна.

[40] Начальные строки стихотворения (без названия; 1856) А.К. Толстого.

[41] Речь идет о греческом мифе: богиня Гера из ревности к своему супругу Зевсу превратила в корову свою жрицу Ио, пленившую Зевса красотой.

[42] *Украинская Рада* — речь идет о Центральной Раде, объединенном органе ряда партий и организаций Украины (исполнявшем функции парламента), 1917 г. и просуществовавшем по апрель 1918 г. Была ликвидирована окупационными австро-германскими властями и правителем-гетманом стал Павел Петрович Скоропадский (1873—1945).

[42а] Приведена басня Леонида Глебова (1893). (Указано О.К. Супронюк.)

[43] *Желиховская* Вера Петровна (1835—1896) — прозаик, драматург. Рассказ «*Над пучиной*» печатался в составе сборника: Во имя долга. Кукла. Над пучиной. СПб., 1899. Что касается второй из названных повестей, то из выпущенных под таким названием книг речь может идти либо о рассказе из сборника П.М. Загуляева «Против течения» (СПб., 1894), либо об историческом романе с этим же названием Н.В. Казанцева (СПб., 1881).

[44] Фрагмент из романа И.А. Гончарова «Обрыв».

[45] *Писемский* Алексей Феофилактович (1820 или 1821 — 1881) — прозаик, драматург, автор социально-психологических романов.

[46] *Данилевский* Григорий Петрович (1829—1890) — автор исторических романов, имевших большой успех у современников; *Станюкович* Константин Михайлович (1843—1903) — автор повестей и рассказов из жизни моряков.

[47] Стихотворение Пушкина цитируется неточно.

[48] Автора стихотворения установить не удалось.

[49] *Инсаров* — герой романа И.С. Тургенева «Накануне»; *Лаврецкий* — его же романа «Дворянское гнездо».

[50] *Брат* мемуаристки — Морозов Павел Григорьевич.

[51] Г.Ф. Морозов с 1889 г. служил в 124-м пехотном Воронежском полку и прошел в нем путь от рядового до командира полка.

[52] *Бабушка* — Богданова Софья Александровна (урожд. Раух; 1854—1936), акушерка.

[53] Цитата из «Демона» Лермонтова.

[54] Фамилию этой начальницы установить не удалось (в справочниках «Весь Харьков» она не отражена).

[55] *Ксеньевский* (Ксеньинский) *институт* благородных девиц, предназначенный для обучения и воспитания полусирот из дворянских семей, был открыт в Петербурге в 1895 г. Размещался в бывшем дворце великого князя Николая Николаевича, построенном в 1853—1861 гг. архитектором А.И. Штакеншнейдером.

[56] Речь идет об украинском националистическом движении, возглавлявшемся С.В. Петлюрой (1879—1926), — «петлюровщине». После падения Центральной Рады, в которой сторонники Петлюры принимали участие, они выступили против гетмана П.П. Скоропадского и создали 13 ноября 1918 г. Украинскую директорию во главе с писателем В.К. Винниченко и С.В. Петлюрой. В конце 1918 г. Директория захватила большую часть Украины; объявила войну как Советской России, так и белому движению. На протяжении 1919 г. петлюровцы вели бои против Красной армии, а также Добровольческой армии генерала А.И. Деникина. Последняя и разбила их в октябре 1919 г.

[57] *Башлык* — съемный капюшон с длинными концами-завязками.

[58] Песенка Александра Николаевича Вертинского (1889—1957) «Безноженька», принадлежавшая к числу так называемых ариеток Пьеро (Вертинский выступал в середине 1910-х гг. в московских театрах миниатюр в гриме и костюме Пьеро), печаталась с нотами, вошла в сборник Вертинского «Песни и стихи» (Париж, 1938).

[59] *Теософия* (от греч. — богомудрие) — религиозно-мистическое учение о возможности путем особого умозрения проникнуть в мир сверхчувственного, открывающий внутренний (эзотерический) смысл всех религий, имеющих единую основу.

[60] «Избранные отрывки» (*фр.*).

[61] «Отверженные» (*фр.*).

[62] *Добровольческая армия* была создана весной 1918 г. генералами М.В. Алексеевым, Л.Г. Корниловым и А.И. Деникиным, действовала в годы Гражданской войны против Красной армии.

[63] «*Зеленые*» — общее название крестьянских партизанских отрядов, воевавших в годы Гражданской войны в разных местностях Причерноморья, Кубани, Крыма и др. как против красных, так и против белых. Название получили по лесам, в которых скрывались.

[64] *Засодимский* Павел Владимирович (1843—1912) — прозаик народнического направления. О Засодимском Т.Г. Морозова написала воспоминания, которые были опубликованы в сокращении: Север. 1973. № 2 (полностью — РГАЛИ. Ф. 203. Оп. 1. Ед. хр. 11; там же — «Воспоминания о П.В. Засодимском» В.П. Морозовой, матери мемуаристки (Оп. 1. Ед. хр. 10); Письма П.В. Засодимского В.П. Морозовой за 1899—1911 гг. (Оп. 2. Ед. хр. 6).

[65] *Райский* — персонаж романа И.А. Гончарова «Обрыв».

[66] *Петров Григорий* Спиридонович (1866—1925) — публицист, прозаик. Священник с 1891 г., в 1908 г. лишен Синодом священнического сана за печатное «поношение православной церкви» и «поругание существующего государственного строя России». С 1920 г. в эмиграции.

[67] Русская народная песня.

[68] Школа «Выстрел» — высшие офицерские курсы им. маршала СССР Б.М. Шапошникова (г. Солнечногорск Московской области). Школа была создана в 1918 г. на базе офицерской стрелковой школы русской армии; с 1920 г. — Высшая стрелковая школа «Выстрел».

[69] См.: *Василевский А.М.* Дело всей моей жизни (Воспоминания). М., 1990. Кн. 1. С. 67.

[70] Брат отца — Сергей Федорович Морозов; сестра отца — Валентина Федоровна Морозова, в замужестве Матвеева.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Азанчевский С. 75
Александр I 64—66, 512
Александр II 77—80, 106, 270, 291, 292, 300—302, 510, 515, 522, 524, 526, 544, 547, 550
Александр Александрович, великий князь 105,117,125, 523
Александра Петровна, великая княгиня 126, 526
Александра Федоровна, императрица 88, 92, 93, 94, 101, 102, 104—106, 113, 114, 116, 117, 119, 124, 125, 222, 257, 258, 312, 340, 518, 522, 524
Александров П.А. 186, 187, 188, 534
Алексеева Л. 397, 404, 417, 429, 434, 441, 442
Алексей Александрович, великий князь 126
Алонкина А.П. 223, 224, 388, 540
Альбосская Н. 419, 420
Альховская А.П. 406, 446, 490, 555
Алымов Д.И. 36, 45, 508
Алымов И.А. 35, 507
Алымова А.В. 35, 36, 507
Андерсен Г.-Х. 210
Аникиев, преподаватель 108, 523
Анисимов, генерал 495, 498
Анисимовы, знакомые Морозовых 495, 496
Антонова Туся (Наталья?) 399
Апухтин А.Н. 418
Аралова (Оралова) М.Г. 69, 88, 89, 106, 111, 112, 117, 518
Арсеньева Е.Н. 175, 178, 533
Архидьяконский М.Е. 182—186, 188, 534

Багрецов Ф.А. 190, 191, 535
Багряновский, управляющий 71
Бажанов В.Б. 107, 523
Баженова М. 412, 413, 446
Барабаш Г. 427, 428
Баранова Ю.Ф. 121, 526
Бартенева П.А. 104, 106, 522
Басова Е.В. 404, 405, 408—410, 412, 470, 471, 480, 482
Бауцен, врач 72
Бауцен В. 72
Безбородко А.А. 62, 512
Беккер К.А. 316, 317, 544
Белинский В.Г. 180, 348, 350
Бендер, учительница музыки 111, 117
Бенкендорф А.Ю. 58, 59, 512
Берг Е.Ф. 406
Бецкой И.И. 38, 41—54, 217, 508, 509—511
Блок А.А. 459, 527
Блюм, врач 81, 98
Богачева К.П. 429—434, 439, 485, 556
Богданов П.Н. 414, 415, 556
Богданова С.А. 438, 463, 468, 474, 484, 485, 556

*В указатель не внесены имена мифологических персонажей, лиц, названных в тексте только по имени или выведенных под псевдонимом, а также упомянутых лишь в предисловии и комментариях.

Боголюбов П.И. 107, 523
Болотов, юнкер 101, 520
Болотов А.П. 73, 514
Болотова Е.А., бабушка А.В. Стерлиговой 75, 81, 515
Болотова Е.А., тетка А.В. Стерлиговой 74, 76—78, 81
Болховская, классная дама 87
Борх А.М. 89, 119, 518, 552
Борткевич С.Ю. 439—442, 492, 557
Бортнянский Д.С. 197, 535
Брашман Н.Д. 156, 532
Брисс, учитель пения 190, 535
Броневский Д.Б. 96, 119
Брюль, граф 48
Буйко Е. 479, 480
Бунин А.А. 155—157, 187, 188, 532
Буссе Ф.Г. (Ф.И.) 109, 110, 524,551
Бюнтинг М.Н. 96, 519

Василевский А.М. 502, 559
Васильев Д.Ф. 455
Васильев К.Ф. 455
Васильев Ф.И. 455, 494
Васильевы, знакомые Морозовых 455, 494
Васильчиков А.В. 80, 515
Васнецов В.М. 352
Вебер М.К. 436, 437
Верди Д. 441
Вержбилович В.В. 108, 116, 524
Вертинский А.Н. 490, 491, 558
Вирхов Р. 147, 531
Витте Н.Н. де 403, 404, 424, 425, 429, 430, 432, 433, 453, 467, 468, 472, 475, 476, 490, 491, 493
Владимир Александрович, великий князь 126
Водовозов В.И. 334, 360, 537, 542, 543, 545, 549, 553
Водовозова Е.Н. 217—388, 399, 404, 423, 450, 528, 537, 538, 540—543, 549
Волкова И. 476
Волконский П.М. 65, 513
Вольская М. 451, 452

Гагарина А.П. 60, 61, 512
Ган, баронесса, классная дама 86—88, 95, 98, 99
Ган О.И. 442
Ганшеев С.М. 415, 416, 432, 556
Ганшеева М.И. 505
Ганшеева О.И. 417
Гардер, кастелянша 83, 95
Георгий Петрович, принц Ольденбургский 220, 539
Гесс де-Кальве Г. 427
Гете И.В. 317, 534
Гогель А. 95
Гоголь Н.В. 184, 331, 426, 449, 461, 556
Головин В.В. 360, 548
Голохвастова А.П. 402, 555
Гонецкая Л.Д. 273, 291, 343
Гонецкий И.С. 272—275, 284, 288—291, 293, 301, 343, 374, 387, 541
Гончаров И.А. 455, 461, 537, 557, 558
Горбунов И.Ф. 184, 534
Горчаков М.Д. 117, 525
Гофман А.Л. 96, 519
Грановский Т.Н. 131, 354, 528, 547
Граф, врач 207, 537
Грибоедов А.С. 331
Гридина Т. 485
Грома П.С. 400, 464, 465, 555
Губо В.П. 187, 534
Гюго В. 207, 493, 537
Гюллень-Сор Ф.В. 191, 535

Давыдов П.Л. 80, 514
Давыдова Н.В. 72, 514
Данилевский, сосед Дубровиных 80
Данилевский Г.П. 455, 557
Дейер (Деер) А.А. 95, 153—155, 158, 159, 194, 195, 518, 532
Делянов И.Д. 377, 551
Демидова-Сан-Донато М. 103, 521
Деникин А.И. 485, 493, 558
Державин Г.Р. 183
Дестунис Г.С. 360, 548
Дмитриев И.И. 184, 534
Долгорукая А.С. 38, 508
Долгорукова А.С. 112, 524
Долье Е. 479
Достоевский Ф.М. 455, 532
Дружинина, воспитанница 112
Дубровин В.И. 69—76, 79, 82, 513—515
Дубровин И.В. 71, 75, 76, 79, 108, 116, 515
Дубровин Н.В. 71, 75, 76, 97, 101, 116, 515, 519
Дубровина А.С. 69
Дубровина Е.В. 71, 79
Дубровина Е.А. 71, 74—78, 80—82, 515
Дубровина Е.В. 79, 515
Дубровина Е.И. 69
Дубровина Л.В. 71, 79
Дубровины 71, 73, 75, 80, 81, 514, 515

Евсевий (в миру Ильинский) 344, 545
Екатерина II 37, 43, 45, 46, 49—53, 55, 64, 96, 217, 218, 245, 508, 511, 546
Екатерина Павловна, великая княгиня 220, 539
Елена Павловна, великая княгиня 119
Елизавета Петровна, императрица 291
Ермолов А.П. 121, 526
Ефрем Сирин 463, 465

Жебылев Н.Г. 391
Желиховская В.П. 453, 557
Жуковский В.А. 459, 524

Засодимский П.В. 498, 558
Зонтаг А.П. 331, 545
Зубкова М.Ф. 393, 394, 434—436, 555

Игнатович Т. 422, 439, 458
Иван IV Грозный 369
Иогансон, преподаватель 111
Иссова Н. 446, 458, 504, 505

Кавос И. (Дж.) К. 86, 517
Казанова, дрессировщик 195
Келлер Ф.Ф. 71, 75
Килинская П.П. 159, 532
Кистов Р.М. 136, 137, 529
Клодт А. 95
Книгина Е.М. 153, 532
Колосовский Я.М. 433, 434, 453, 557
Кондратьева А. 423, 435
Константин Николаевич, великий князь 79, 515
Константинов С. 81
Константинова Л. 472
Корнель П. 370
Косинский М.О. 359, 547
Костомаров Н.И. 386, 554
Косюра Т. 414, 422, 457, 458
Кохановская Н.С. — см.: Соханская Н.С.
Кремпин В.А. 340, 545
Крестовская М.В. 406, 555

Крылов В.А. 409, 556
Крылов И.А. 103, 183, 326, 447, 500, 521, 523
Кузнецова, лазаретная дама 207, 536
Кулакова В. 397, 459
Куприн А.И. 406, 556
Кутайсов И.П. 60, 61, 512

Лафон С.И. де 38, 40—42, 44, 47, 50, 52, 509
Лалаева, преподавательница 97
Лебедев П.А. 107, 523
Леврие Я.П. 110, 524
Леман Е.Н. 175, 176, 533
Леонтьев Н.Н. 220, 539
Леонтьева М.П. 217, 220—224, 240, 258, 270, 271, 289, 290, 292, 302, 303, 315, 338, 368, 369, 377—383, 387, 388, 539—541, 547, 551—553
Лермонтов М.Ю. 276, 331, 362, 416, 459, 461, 463, 521, 523, 544, 557
Лесков Н.С. 455, 461
Лисенкова А.В. 172, 173, 175, 178
Лобова Е. 398, 408, 451, 456, 460, 490, 491, 500
Ловцов М.Л. 189, 190, 534
Ломакин Г.А. 86, 517
Лондон Дж. 498
Лор Е.П. 190, 535
Лунковские 281
Людвиг, принц Гессен-Дармштадтский 56, 511

Майков А.Н. 454
Макарий (в миру Булгаков М.П.) 107, 121, 523
Макаров Н.П. 129, 130, 132—134, 141, 527, 528
Макарова А.П. 129, 327, 528
Максимилиан, герцог Лейхтенбергский 220
Максимов Д.Н. 106, 523
Малиновская Е.И. 406
Мандт М. 120, 536
Манюкова Н. 460
Марин, крестьянин 71
Мария Александровна, императрица 84, 88, 94, 106, 112, 113, 119, 121—125, 218, 258, 302, 338, 356, 365, 367, 382, 383, 516, 523, 524, 545, 552, 553
Мария Александровна, великая княжна 119
Мария Максимилиановна, великая княжна 124, 126
Мария Николаевна, великая княгиня 124, 126, 220, 526
Мария Федоровна, императрица 56—61, 63—66, 69, 88, 89, 94, 114, 220, 257, 258, 314, 340, 508, 510—512, 531, 538, 544
Маркович, майор 76, 78
Маркус М.А. 314, 544, 550, 551
Марш, воспитанница 97
Матвеева В.Ф. 503, 559
Матильда, принцесса — см.: Демидова-Сан-Донато М.
Мельгунова, харьковская помещица 455
Мельникова М.П. 424, 425, 428, 429, 470, 490, 504
Менетрие Э.П. 109, 524
Мережковский Д.С. 418, 501
Мериме П. 493
Миллер О.Ф. 360, 548, 553
Милль Д.С. 355, 546
Милорадович О.А. 402, 403, 432, 433, 464, 468, 469, 483
Михаил Николаевич, великий князь 124, 526

Михайлов М.Л. 370, 551
Мнишек М. 176
Модзалевский Л. Н. 360, 548, 553
Мопассан Г. де 436, 490
Мордвинова З.Е. 223, 302, 377, 378, 551
Морни Ж.О. 84, 115, 520
Морозов Г.Ф. 392, 426, 428, 462, 463, 484, 494, 495, 497, 501, 502, 554, 559
Морозов П.Г. 401, 462, 500, 557
Морозов С.Ф. 503, 559
Морозова В.П. 392—395, 401, 402, 406, 409, 414, 415, 425, 428, 438, 442, 462, 463, 485, 489, 490, 495, 497, 498, 503, 555, 558
Морозова Н. Г. 392, 405, 438, 442, 458, 459, 474, 484, 485, 494, 497, 503, 555
Морозова Т.Г. 391—506, 532, 554, 558
Москвина А. 432, 433
Мохначев, учитель рисования 111
Мухин М.П. 111, 524
Мятлева П.И. 72, 514

Надаржинский, лейб-казак 77
Нарышкин, приближенный Павла I 61
Нарышкины 71
Наталья Алексеевна, великая княгиня 45, 49, 50, 52, 55, 56, 510, 511
Нейман, содержатель пансиона 71, 75, 76
Неклюдова М.А. 483, 505
Нелидова Е.И. 57, 58, 59, 63, 64, 511, 512
Непейцин С.В. 69, 73, 75, 513, 514
Никанор (в миру Клементьевский Н.С.) 119, 526
Николай I 71, 73—79, 81, 82, 103—105, 119, 120, 122, 125, 258, 521, 522, 526, 546
Николай Александрович, великий князь 105, 125, 523
Николай Николаевич, великий князь 124, 526
Никон, патриарх 176
Новосильцова Е.В. 69, 70, 72, 80, 514
Норов А.С. 89, 338, 518, 552

Облова Р.Г. 176, 533
Ободовский П.Г. 107, 125, 523, 526
Образцова В.М. 494
Олридж А. 329, 544, 545
Олсуфьев В.Д. 78, 79, 515
Орбелиани, княжна, воспитанница 426
Оржевский В.В. 80, 515
Орлов А.Ф. 72, 74—76, 78, 79, 514
Орлов В.Г. 69—72, 79, 514
Орлов Г.В. 72, 514
Орлов Г.Г. 46—49, 51, 510, 514
Орлов М.Ф. 72, 514
Орлова А.И. 72, 514
Орлова-Чесменская А.А. 76, 515
Орреджио, классная дама 89
Островский А.Н. 386

Павел I 45, 48, 49, 55—64, 369, 508, 510—512
Павский Г.П 342—344, 346, 545
Панаева В.В. 118, 525
Панин Н.П. 76, 80, 514
Панина С.В. 72, 514
Певцова К.А. 159, 532
Певцова С.К. 132—134, 152, 528, 529, 532
Пекер, воспитанница 113

Пелли С.А. 306
Пелян д'Анже П. 181, 183, 185, 534
Петлюра С.В. 484, 558
Петр I 103, 176, 338, 369, 521
Петр Георгиевич, принц Ольденбургский 86, 88, 89, 93, 94, 96, 101, 111, 113, 115, 116, 118, 119, 336, 517, 520, 552
Петров Г.С. 499, 559
Петрова, классная дама 106
Петрова Н.М. 488
Пешель А.Ф. 405—408
Писемский А.Ф. 454, 557
Пицулевич М.А. 81, 98, 516
Платонов И.Я. 392, 555
Платонова В.А. 392, 406, 438, 554
Плещеев А.Н. 459
Плохотина З. 482
Подрезов, майор 75
Полевой В.Н. 378, 552
Полонский Я.П. 459
Помяловский Н.Г. 162
Попандопуло Н. 117
Потемкина, классная дама 87
Прокофьев, знакомый Дубровиных 101
Прокофьева А.П. 77
Протасова А.С. 49, 511
Пугачевский Я.П. 360, 547
Пушенко Л.К. 494
Пушкин А.С. 184, 276, 330, 331, 348, 350, 426, 457, 461, 500, 543, 545, 551, 556, 557
Пущин И.И. 457

Раевский Н.И. 360, 548
Разумовский А.К. 55, 56, 511
Редкин П.Г. 354, 545
Ржевская Г.И. 35—66, 507, 509, 511, 513
Ржевская М.А. 60, 64, 512
Ржевский Александр А. 64, 65, 513
Ржевский Алексей А. 36, 45—49, 51—53, 57, 61, 62, 65, 507, 510, 512
Ржевский П.А. 62, 65, 512
Рибас А.И. де 51, 53, 511
Ридигер, лазаретная дама 98, 112
Рихтер В.В. 207, 537
Ришар, балерина 111, 524
Родзянко В.М. 124, 526
Родзянко Е.В. 81, 94, 96, 101, 109, 116, 117, 515, 516
Родзянко Е.М. 94, 518
Родзянко Е.П. 84, 117, 516
Родзянко М.М. 124, 518, 526
Рубановская А.В. 42, 509
Руднева Е. 448
Румянцева Е.М. 56, 511

Савинов М.П. 408, 556
Савинов С. 496, 497
Савич Е. 404, 426, 427, 435
Салтыкова, графиня 48
Самойленко, воспитанница 408
Свистунов Н.П. 61, 512
Свистунов П.С. 61, 512
Святогор-Штепина Л. 421, 422
Семевский М.И. 360, 371, 372, 380, 545, 548, 553
Семенов Д.Д. 360, 362, 369, 370, 548, 552, 553
Семенова, классная дама 87, 118
Семенова Л. 398, 438
Сент-Илер А.К. 218, 221, 236, 237, 267, 271, 272, 285—296, 299—302, 321, 323, 324, 349, 365, 369, 371—375, 380, 385, 538
Серапин Ф.Д. 75, 81, 515
Сердечная А. 485
Сесто, герцог 115

Сидорова Е. 439, 443, 545, 455
Синицкая М. 410, 451, 504
Скобелев И.Н. 73, 514
Скоропадский П.П. 449, 557, 558
Скотт В. 294
Скребков И.А. 186, 534
Смирнов Н.М. 79, 515
Смирнова М. 447, 461, 462
Соболевский Д.П. 325, 326, 329, 544
Собчаков В.И. 155—158, 187—189, 532
Советов, отец Л. Советовой 500
Советова Л. 466, 473, 499, 500
Солнцева, княгиня 69
Сорохтин К.И. 71, 514
Соханская В.В. 406, 407, 556
Соханская Н.С. 391, 392, 554
Станюкович К.С. 455, 461, 557
Старов Н.Д. 276, 282, 327—330, 332—334, 349, 542, 544, 545
Стерлигова А В. 69—126, 312, 513, 526, 533
Студитский Ф.Д. 109
Сутгоф А.Н. 76, 515

Тамбовцева К. 435, 497
Тамбовцева М. 497, 498
Тимаев М.М. 377, 524
Тимаев Н.М. 108, 524, 551
Тимченко, знакомые Морозовых 500, 501
Тимченко В. 501
Тимченко Д. 500
Тимченко М. 500
Толстой А.К. 445, 557
Толстой Л.Н. 180, 455, 534
Толстой Л.П. 118, 525
Толстой Н.А. 65, 513
Трубецкая С.С. 84, 100, 103—105, 115, 117, 125, 126, 520, 521
Трубецкие 84, 522
Трубецкой С.В. 104, 520—522
Тургенев И.С. 455, 460, 461, 485, 557
Турчанинова, воспитанница 408

Уваров Ф.П. 65, 513
Ушинский К.Д. 296, 314—327, 329—372, 375—387, 508, 537, 542, 545—549, 551—553

Фан дер Фур, инспектриса 95, 103, 518
Федор Иоаннович, царь 176
Федоров М.С. 443
Федоров Н. 101
Феттер А.Г. 417, 420, 474, 488, 489, 502
Феттер О.В. 417—423, 425, 435, 444, 447, 448, 466, 474—477, 481, 482, 486—488, 490, 493, 494, 497, 500—503, 505
Феттер Т. 420, 493
Фещенко Е. 477, 478
Филарет (в миру Дроздов В.М.) 76, 515
Флейн, классная дама 98

Хинковский И.В. 190, 535
Хрущов М.Н. 75, 515
Хрущова А.А. 160, 532
Хрущовы, родственники Дубровиных 73, 515

Цевловская Ал.Н. 229, 277—279, 281—283, 286, 540
Цевловская Ан. 229, 540
Цевловская А.С. 218, 219, 223—225, 277, 278, 286, 343, 347, 348, 384—388, 538
Цевловский А.Н. 275, 284, 292, 387, 542
Цевловский З.Н. 274—278, 283, 292, 387, 541
Циглер Н. 426, 466, 487

Чапкина В.М. 405, 426, 490, 555
Черевин П.А. 97, 519
Черевина Н.А. 96, 117, 519
Черевина С.А. 94, 517, 518, 526

Шевченко Т.Г. 449, 505, 506
Шелихов А.А. 111
Шереметев Д.Н. 96, 97
Шиллер И.К.Ф. 317
Шпревич, учитель 70
Штейн, слесарь 118

Щеголев А.П. 108, 525
Щепкин М.С. 195, 535
Щеткин, управляющий 70, 71, 79

Эйринг К.А. 110, 524
Энгельгардт А.Н. 129—214, 527, 528, 531—533, 543
Эрнст А.Е. 110, 524

Юнг Е.К. 207, 536

Яржембская В.М. 460, 476, 477, 480
Яржембская О.М. 476, 490

Bernard, преподаватель 110

СОДЕРЖАНИЕ

Институтки. *Вступительная статья А.Ф. Белоусова* 5

Г.И. Ржевская. Памятные записки 33
А.В. Стерлигова. Воспоминания 67
А.Н. Энгельгардт. Очерки институтской жизни былого времени 127
Е.Н. Водовозова. На заре жизни 215
Т.Г. Морозова. В институте благородных девиц 389

Комментарии 507
Указатель имен 560

ИНСТИТУТКИ

Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц

Редактор
М.К. Евсеева
Корректор
Л.Н. Морозова
Компьютерная верстка
С.М. Пчелинцев

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (495) 976-47-88
факс: (495) 977-08-28
e-mail: real@nlo.magazine.ru
http://www.nlobooks.ru

Формат 60x90/16
Бумага офсетная № 1
Усл. печ. л. 36. Тираж 3000. Заказ № 1035
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Чебоксарская типография № 1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева,15

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 2003 г. вышли:

Серия «**Россия в мемуарах**»

Н.Е. Врангель
ВОСПОМИНАНИЯ: ОТ КРЕПОСТНОГО ПРАВА ДО БОЛЬШЕВИКОВ

Впервые на русском языке публикуются в полном виде воспоминания барона Н.Е. Врангеля, отца историка искусства Н.Н. Врангеля и главнокомандующего вооруженными силами Юга России П.Н. Врангеля. Мемуары его весьма актуальны: известный предприниматель своего времени, он описывает, как (подобно нынешним временам) государство во второй половине XIX — начале XX века всячески сковывало инициативу своих подданных, душило их начинания инструкциями и бюрократической опекой. Перед читателями проходят различные сферы русской жизни: столицы и провинция, императорский двор и крестьянство. Ярко охарактеризованы известные исторические деятели, с которыми довелось встречаться Н.Е. Врангелю: М.А. Бакунин, М.Д. Скобелев, С.Ю. Витте, Александр III и др.

ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНА

Роковую роль в судьбе выдающегося русского драматурга А.В. Сухово-Кобылина (1817—1903) сыграло убийство в 1850 г. его гражданской жены Л. Симон-Деманш. Убийцы не были найдены, следствие и суд тянулись семь лет, Сухово-Кобылин дважды был заключен в тюрьму по подозрению в убийстве и в течение этого времени в полной мере испытал на себе чиновничью волокиту и произвол, что дало ему материал для знаменитой сценической трилогии «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина». В книге собраны материалы следственных и судебных дел, она включает также воспоминания современников о Сухово-Кобылине и впервые публикуемый дневник Сухово-Кобылина за эти годы.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 2004 г. вышли:

Серия **«Россия в мемуарах»**

«ОХРАНКА»: ВОСПОМИНАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОХРАННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

В воспоминаниях начальников Московского охранного отделения П.П. Заварзина и А.П. Мартынова, начальника Петербургского охранного отделения А.В. Герасимова и директора Департамента полиции А.Т. Васильева подробно описана «кухня» российского политического сыска конца XIX — начала XX веков, даны характеристики его ключевых фигур (С.В. Зубатов, Е.П. Медников, М.И. Трусевич, С.П. Белецкий и др.), рассказано об убийствах Плеве, Сипягина, Столыпина, Распутина, о нашумевших делах Гапона, Азефа и др. Все представленные в сборнике мемуары (за исключением книги Герасимова) впервые публикуются в России, а книга Васильева вообще впервые выходит на русском языке.

А.В. Амфитеатров
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА, НЕУДОБНОГО ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ МНОГИХ

Подавляющее большинство составивших книгу мемуарных очерков известного публициста и прозаика извлечено из эмигрантской периодики и архивных источников и впервые публикуется в России. Воспоминания дают широкую картину русской жизни конца XIX — начала XX века: по собственным впечатлениям описаны Московский университет, журналистская среда, оперный мир, предприниматели и купцы, охранка, масоны, революционный Петроград, тюрьма ЧК и т.д. Подробно рассказано о встречах с Л.Н. Толстым, П.И. Чайковским, А.П. Чеховым, А.С. Сувориным, Вл.С. Соловьевым, В.М. Дорошевичем, Н.С. Гумилевым, М.С. Урицким и многими другими.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 2005 г. вышли:

Серия **«Россия в мемуарах»**

М.Г. Рабинович
ЗАПИСКИ СОВЕТСКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛА

Михаил Григорьевич Рабинович (1916—2000) — известный археолог и этнограф. Публикуемые воспоминания, в которых неразрывно переплетаются лирика и юмор, отражают различные этапы жизни страны и его жизни: учеба в горно-химическом техникуме, работа мастером на руднике в годы индустриализации, учеба на историческом факультете МГУ, военная Москва, руководство раскопками в Зарядье и в Кремле, кампания борьбы с «космополитизмом», работа в Музее истории и реконструкции Москвы и в Институте этнографии. Перед читателем проходят родственники и друзья автора, известные писатели и ученые (В. Каверин, Е. Дорош, А.В. Арциховский, М.Н. Тихомиров, С.Д. Сказкин, М.Я. Гефтер и др.).

**ВОЙНА ЖЕНСКИМИ ГЛАЗАМИ:
РУССКАЯ И ПОЛЬСКАЯ АРИСТОКРАТКИ
О ПОЛЬСКОМ ВОССТАНИИ 1830—1831 ГОДОВ**

Воспоминания двух свидетельниц — Наталии Кицкой и Надежды Голицыной — дают уникальную возможность увидеть с разных сторон драматическую историю польского восстания 1830—1831 годов, во многом предопределившего дальнейшие взаимоотношения двух стран.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 2006 г. вышли:

Серия **«Россия в мемуарах»**

Е.М. Шор
**СТОИЛО ЛИ РОДИТЬСЯ,
ИЛИ НЕ ЛЕЗЬ НА СОСНУ С ГОЛОЙ ЗАДНИЦЕЙ**

Взросление ребенка и московский интеллигентский быт конца 1920-х — первой половины 1940-х гг., увиденный детскими и юношескими глазами: семья, коммунальная квартира, дачи, школа, война, Елисеевский магазин и борьба с клопами, фанатки Лемешева и карточки на продукты...

**ВОСПОМИНАНИЯ РУССКИХ КРЕСТЬЯН XVIII —
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА**

Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а другие (за единственным исключением) никогда не переиздавались. Книга иллюстрирована картинами русских художников и гравюрами иностранных путешественников по России, позволяющими получить наглядное представление о труде, быте и развлечениях крестьян.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 2007 г. вышли:

Серия **«Россия в мемуарах»**

Н.А. Цуриков. **ПРОШЛОЕ**

В своей мемуарной книге публицист и политический деятель эмиграции Николай Александрович Цуриков (1886—1957) с любовью воссоздает портреты своих предков и картины детства, проведенного в родительском поместье, вспоминает о людях, с которыми довелось встречаться (Л. Толстой, И.А. Бунин, В.Я. Брюсов и др.), рассказывает анекдотические истории из собственной жизни.

Ф.Ф. Фидлер
ИЗ МИРА ЛИТЕРАТОРОВ: ХАРАКТЕРЫ И СУЖДЕНИЯ

Впервые публикуется на русском языке дневник переводчика, коллекционера и педагога Ф.Ф. Фидлера (1859—1917) — одной из центральных фигур петербургской литературной жизни 1880-х — 1910-х годов. Дневник запечатлел колоритные (подчас интимные) подробности литературного быта и частной жизни русских писателей того времени: Н. Лескова, Я. Полонского, К. Фофанова, А. Чехова, Д. Мамина-Сибиряка, А. Куприна, Л. Андреева, Вяч. Иванова, З. Гиппиус, Д. Мережковского, Ф. Сологуба, М. Кузмина и многих других.

Издания
«Нового литературного обозрения»
(журналы и книги)
можно приобрести в следующих магазинах:

в Москве:
«Политкнига» — ул. Малая Дмитровка, 3/10. Тел.: (495)200-36-94
«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7. Тел.: (495)951-93-60
«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6. Тел.: (495)924-46-80
«Гилея» — Нахимовский просп., 51/21. Тел.: (495)332-47-28
«Гнозис» — Зубовский проезд, 2, стр. 1. Тел.: (495)247-17-57
«Книжная лавка писателей» — ул. Кузнецкий Мост, 18.
Тел.: (495)924-46-45
«Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 8. Тел.: (495)238-50-01
«Москва ТД» — ул. Тверская, 8. Тел.: (495)797-87-17
Московский Дом книги — Новый Арбат, 8 (а также во всех остальных магазинах сети).
Тел.: (495)203-82-42.
«Старый свет» (книжная лавка при Литинституте) — Тверской бульвар, 25
Тел.: (495)202-86-08.
«Фаланстер» — Малый Гнездниковский пер., 12/27. Тел.: (495)749-57-21
«У Кентавра» — Миусская пл., 6. Тел.: (495)250-65-46
«Букбери» — Никитский б-р, 17. Тел.: (495)291-83-03
«Русское зарубежье» — ул. Нижняя Радищевская, 8 (м. Таганская-кольцевая)
Тел.: (495)915-11-45
Primus Versus — ул. Покровка, 27, стр. 1. Тел.: (495)951-93-60
Магазины сети «Книжный клуб 36'6». Тел.: (495)223-58-20
«Топ-книга». Тел.: (495)166-06-02

в Санкт-Петербурге:
Книжные салоны при Российской национальной библиотеке —
Садовая ул., 20; Московский пр., 165 (812)310-44-87
Книжный салон — Университетская наб., 11
(магазин в фойе филологического факультета СПбГУ) (812)328-95-11
Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13 (812)232-33-07
Подписные издания — Литейный пр., 57 (812)273-50-53
ОАО «Санкт-Петербургский Дом Книги» — Невский пр., 62
(812)570-65-46, 314-58-88
ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера) — Невский пр., 28
(812)448-23-57

в Екатеринбурге:
Дом книги — ул. А. Валека, 12. Тел.: (343)358-12-00

в Нижнем Новгороде:
«Дирижабль» — Б. Покровская, 46. Тел.: (8312)31-64-71

в Ярославле:
ул.Свердлова, 9. В здании ЦСИ «АРС-ФОРУМ». Тел.: (0852)22-25-42

в Интернете:
www.ozon.ru
www.bolero.ru

ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера)
Невский пр., 28. Тел.:(812) 448-23-57
Фонотека Ул. Марата, 28. Тел.:(812)712-30-13

в Екатеринбурге:
Дом книги — ул. А. Валека, 12. Тел.: (343)358-12-00

в Нижнем Новгороде:
«Дирижабль» — Б. Покровская, 46. Тел.: (8312)31-64-71

в Ярославле:
ул.Свердлова, 9. В здании ЦСИ «АРС-ФОРУМ». Тел.: (0852)22-25-42

в Интернете:
www.ozon.ru
www.bolero.ru

ISBN 978-5-86793-637-2

РОССИЯ В МЕМУАРАХ